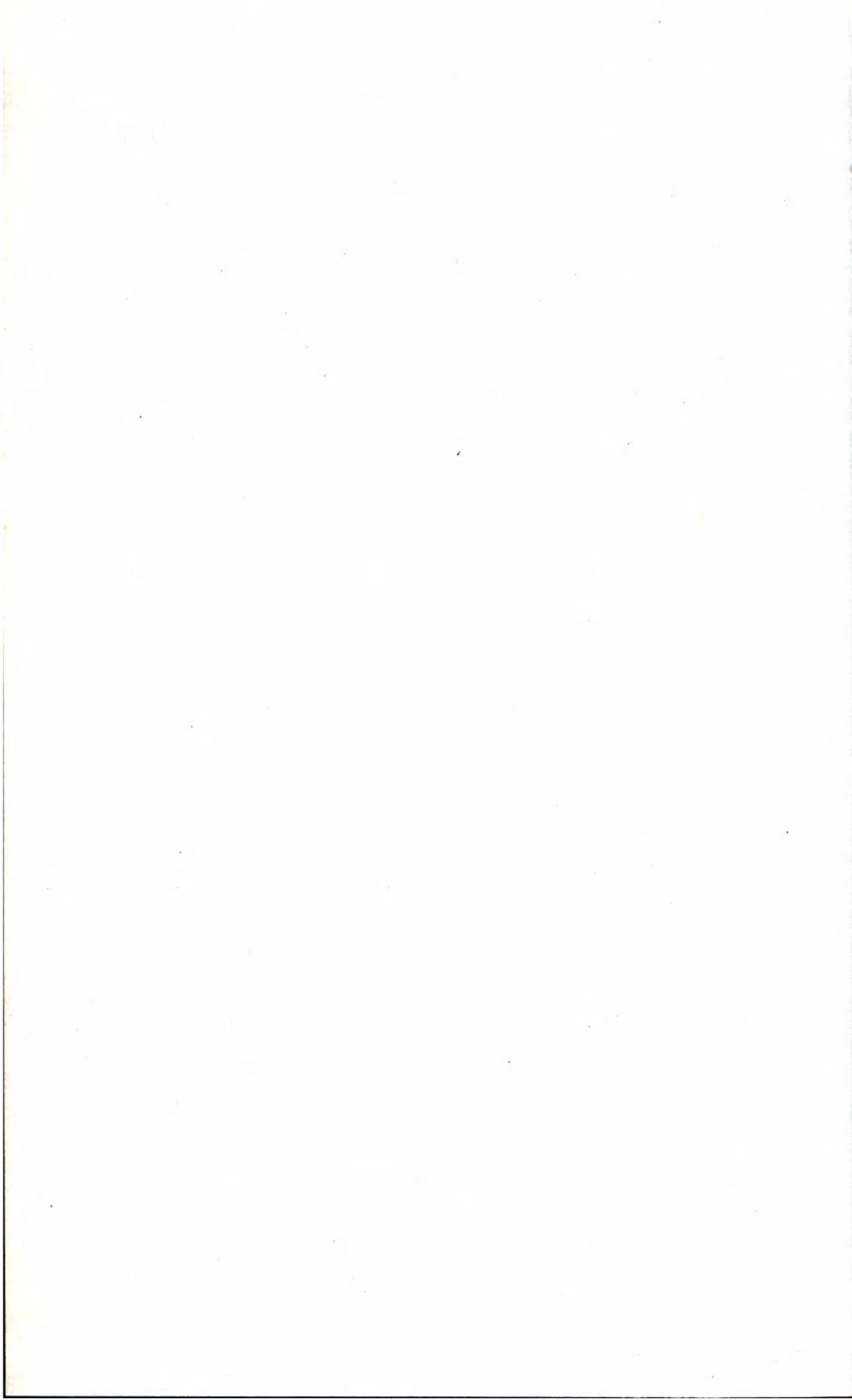




ВЛАДИМИР
ТЕНДРЯКОВ

Кончина



Мирзоев К.
М 63 — Муки любви: Повести
писатель, 1989. — 268
300 000 экз.

В книгу таджикского про-
заика три повести: "Муки любви", "З-
везда", "В центре внимания автора".
В центре внимания автора —
рисует таджикскую деревню —
наше время, Великий Отечество
и наше стремление народа к но-
вым

Гос. б-ка СССР им. В.И.Ленина
Издательство "Книжная палата"
Вып. 28.90—ЦБС—1100

БИБЛИОТЕКА
"ДРУЖБЫ НАРОДОВ"

ВЛАДИМИР
ТЕНДРЯКОВ

Кончина

ПОВЕСТИ. РАССКАЗЫ

МОСКВА
"Известия"

1990

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ
БИБЛИОТЕКИ
«ДРУЖБЫ НАРОДОВ»

Председатель редакционного совета
Сергей Баруздин

Первый заместитель председателя
Леонид Теракопян

Заместитель председателя
Александр Руденко-Десняк

Ответственный секретарь
Елена Мовчан

Члены совета:

Акрам Айлисли, Ануар Алимжанов,
Лев Аннинский, Альгимантас Бучис,
Василь Быков, Юрий Ефремов,
Игорь Захарошко, Наталья Иванова,
Анатолий Иващенко, Наталья Игрунова,
Юрий Калешук, Николай Карцов,
Алим Кешоков, Юрий Кишин,
Григорий Корабельников, Георгий Ломидзе,
Рафаэль Мустафин, Леонид Новиченко,
Борис Панкин, Вардгес Петросян,
Тимур Пулатов, Юрий Суровцев,
Бронислав Холопов, Константин Щербаков.

—
59865

4702010200—020
Т —59—90 подписное
074(02)—90

ISBN 5—206—00068—X

© Составление, оформление. Издательство «Известия», 1990 г.



Составитель Н. АСМОЛОВА-ТЕНДРЯКОВА

Художник Л. ГРИТЧИН

П О В Е С Т И

КОНЧИНА

Дом отличался от других домов не красотой, не игривостью резных наличников, а тяжеловесной добротностью: кирпичный фундамент излишне высок и массивен, стены обшиты пригнанной шелевкой, оконные переплеты могучи, крыша словно кичится, что на нее пошло много кровельного железа, — в железо упрятаны по пояс трубы, сверху на них красуются грубые жестяные короны, стоки-лотки несоразмерной величины и длины. Добротность дома не просто откровенна, она назойлива и даже чем-то бесстыдна.

Хозяин, который строил этот дом, по-мужицки считал — красиво то, что вечно. Ему самому вечность была не суждена. Сейчас он умирал в этом доме.

Умирал Лыков Евлампий Никитич, знаменитый человек по области, председатель колхоза «Власть труда».

Он был не так уж и стар — на шестьдесят третьем.

Вылезая из машины у скотного на Доровищах, он рухнул на талый мартовский снежок — перекосило рот, тихо мычал, непослушное веко затянуло левый глаз.

Шофер Леха Шаблов провез его по тряской дороге шесть километров, на руках внес в дом. Спешно вызванный главврач районной больницы объявил: «Не транспортабелен».

На следующее утро на лугу за рекой приземлился самолет — из областного города прилетел профессор. Он каких-нибудь полчаса пробыл у постели больного да еще полчаса беседовал с районным начальством — улетел обратно.

И тут-то разнеслась весть — умирает.

Со всех концов большого колхоза — из самого села Пожары, из Доровищ, из Петраковской — потянулись доброхоты под окна лыковского дома. Каждому ясно — жди перемен.

Стояли кучкой у крыльца, смотрели издали, беседо-

вали, внутрь не совались. За дверью днюет и ночует верный Леха Шаблов, у Лехи рука тяжелая...

Волоча из последних сил подшитые валенки, опираясь на деревянную клюку, с хрипотой и клекотом дыша, пришел старик — потертый треух упал на глаза, полущубок гнет к земле, мотня штанов висит у колен. Он приступом взял крыльцо, ступенька за ступенькой, попробовал открыть запертую дверь, не сумел и обессиленно сел, сразу же впал в дремоту.

В кучке толкущихся доброхотов он вызвал острый интерес:

— Это чтой за моща? Не Альки ли Студенкиной свекор?

— Он и есть! Лет пять не вылезал за порог.

— Эй, дедко Матвей! Ты ль это?

Дед разлепил веки, повел хрящеватым носом:

— Ай?

— Он самый! Что тебя с печки стряхнуло, Жеребый?

— Пийко-то... А?.. Сказывают: помирает.

Кто-то не выдержал, подпустил:

— Не в компанию ль пришел напрашиваться?

— Пийко-то... А? Я вот жив.

И все острословы вспомнили — «вечный председатель» при смерти, какие тут шуточки, — разглядывали старика недоброжелательно, ввел в грех.

А тот сидел: из-под облезлого треуха—крючковатый нос, на сизом кончике мутная капля, деревянная клюка поставлена между большими валенками, на клюке отдыхают руки — крупные окаменевшие мослы вдеты в слишком просторную, морщинисто-жесткую кожу. Сидит старый Матвей, глаз не видно из-под шапки — может, спит, может, думает...

Заставив потесниться людей, подкатил «газик». Проворно выскочил из него заместитель Лыкова — Валерий Николаевич Чистых, долговязый, без углов человек — покатые плечи, маленькая голова, болтающиеся бескостные руки. Он почтительно принял костыли, помог вылезть наружу неуклюжему, грузному человеку. И пока тот утверждался на костылях, Чистых суетливо крутился в своем длинном, узком — что плечи, что талия — пальто, гибкий, как лоза под ветром.

У грузного гостя под мерлушковой шапкой старчески отечное, восковое лицо домоседа. Ноги, обутые в белые чесанки, не повиновались. Налегая на костыли, привычно выкидывая белые чесанки, брезгливо касаясь

ими несвежего, затоптанного снега, гость направился к крыльцу и остановился...

На крыльце сидел старик Матвей — дремал или думал, — загораживал путь.

И Чистых налетел, словно хорек на ворону:

— Ты что тут расселся?.. Эй, как тебя?! Слышишь, марш отсюда!

Старик очнулся, запрокинул голову, взглянул на белый свет из-под треуха и стал с натугой подыматься.

— Давай, давай, шевелись! Торчат тут всякие... Остороженько, Иван Иванович. Скользко тут, не оступитесь... Ах ты господи! Да не путайся ты, старик, под ногами!

Приехал главный бухгалтер колхоза, соратник Евлампия Лыкова и вторая фигура после знаменитого председателя на селе.

Дверь, до сих пор непроницаемо захлопнутая, распахнулась. На пороге вырос Леха Шаблов — шевелюра выше косяка, красные, лопатами лапищи на весу, в них услужливая готовность: «Только разрешите, внесу на ручках». И внес бы в одной охапке толстого бухгалтера с костылями и длинного, тощего Чистых.

Но Иван Иванович, усердно сопя, сам одолел последнюю ступеньку.

У крыльца, опираясь дрожащими руками на клюку, стоял дед Матвей — в серой свалывшейся шерстке провал беззубого рта, из-под шапки потухший взгляд в широкую, пухлую спину, воющую с костылями.

Иван Иванович перевел дух у дверей, оглянулся назад, на нелегкий для него путь в десяток шагов и пять ступенек, встретился с потухшим взглядом из-под облезлого треуха.

— Эге! Да это же он, — удивился бухгалтер.

— Торчат тут всякие...

— Старый ворон на запах мертвечины...

Деду Матвею, должно быть, стало неловко под взглядами начальства, взиравшего с крыльца, да и стоять не под силу, и сесть снова на ступеньку уже не смел, потому, вяло поправив шапку, повернулся и побрел, с натугой волоча тяжелые валенки, налегая на клюку.

Иван Иванович, расслабленно повиснув на костылях, глядел вслед старику — горбом топорщащийся потертый кожушок, мотня штанов, нависающая над коленками.

Чистых и дюжий Леха Шаблов недоуменно переглядывались друг с другом — чтой это с Иваном Ивановичем, эк, диковинку узрел?..

Нет бога, кроме аллаха, и Магомет пророк его. Для Чистых, для Шаблова, почти для всех в селе Пожары первый и единственный пророк — Лыков Евлампий, тот, кто сейчас лежит за стеной. Но самым-то первым колхозным пророком был не Лыков, а дед Матвей. Это помнили немногие. Помнил бухгалтер Иван Слегов.

МАТВЕЙ СТУДЕНКИН — РОДОНАЧАЛЬНИК

Привычно для России: шел солдат с фронта... Шел неспешно и споро, куличьим шагом.

Наверно, он был последний в округе солдат с войны — как-никак стояла осень 1925-го! Все остальные или давно вернулись, или сложили кости в чужих краях. Добирался издалека, с берегов Тихого океана. Сейчас последние шаги — хилые ели да голые березки, и впереди поворот, а там покажутся знакомые крыши... Дома давно устала ждать жена — помнил, как звать, да забыл, как выглядит, — и еще сынишка, родившийся в тот год, когда ушел воевать.

Сзади слышался звон бубенцов. Оглянулся, пришлось посторониться — на рысях шла серая пара. Лошади, что близнецы, шеи дугой, крупы в яблоках — лебеди, а не кони! — сбруя с кистями и медными бляхами, спицы и ступицы легкой ковровки крашены ясным суриком. Прошли мимо, обдало конским потным теплом, сверху на помятого, отошавшего за долгий путь солдата глянули серые глаза с румяного лица. И вдруг руки натянули вожжи, осадили коней:

— Тпр-ру-у!.. Эй! Никак, Матвей Студенкин?..

Матвей подошел куличьим шагом, отставил в сторону ногу в тугой обмотке, сощурился, как прицелился:

— Не ошибся... А вот ты из каких-таких бар? Что-то не припомню.

— Ивана Слегова помнишь?

— Ваньку-то... Считаю, соседи.

— Так я сын его, тоже Иван.

— В гимназиях который?..

— Вот-вот. Садись, подвезу.

А в пролетке сидит молодая бабенка, черные брови из-под цветастой шали, расфуфырена и одеколоном пахнет.

— Женка, что ли?

— Ее тоже знать должен — Антипа Рыжова дочь... Подвинься, Марусь, дай сесть человеку.

— Н-да-а... — Оглядел с откровенной недобротой обоих, но влез, не смущаясь, что может помять городскую юбку у бабы, удобно устроился.

— Что поздно?

— Дела держали, очищал землю от контры.

— Как — очистил?

— Там, где был, — без меня доскребут. В Охотске генерала Пепеляева застукали. Из генералов-то последний... Сюда бы пораньше, да болел вот шибко в дороге, по лазаретам валялся. Долгая дорога получилась — два года ехал. Теперь все, приплыл.

— Чем займешься?

— Тем же самым, буду контру стричь.

— Генералов в наших краях не водится.

— Зато вижу: мелкой сволочи наплодилось.

Иван Слегов-младший усмехнулся, поднялся, крутанул над лошадиными крупами вожжами:

— И-эх! Серы кролики! Над-дай!.. Еще одного судью в село везем!

И когда кони наддали, Иван снова обернулся, оскалив крепкие зубы:

— Судей теперь у нас много, вот хлеборобов настоящих крутая не достача.

Прогнал по селу, не дал даже учуять святой момент, когда заносишь ногу в родные Палестины, осадил перед крепким домом с белыми наличниками, на задах которого громоздилось еще новое, не обдутое ветрами строение — конюшня не конюшня, коровник не коровник, — сказал:

— Слезай, ваша честь... Тут я живу. В гости особо не зову, уж извини. Что поп, что судья — гость скушный, любят проповеди.

— Обожди, может, приду гостем, — пообещал на прощание Матвей.

Дал повисеть на себе жене — баба она и есть баба, пусть на радостях слезу пустит.

Через ее плечо увидел: возле лавки стоит он — длинная грязная рубаха, короткие холщовые порточки, сизые босые ноги, похож на маленького старичка, отошавшего от долгих постов.

Отстранив жену, шагнул тяжело навстречу. Из-под нестриженных косм — замирающий от робости взгляд. И через прозрачные с нерасплесканной детской тревогой глаза словно бы сам увидел себя со стороны — грязен, мят, устрашающе щетинист, от такого отца шарахнешь-

ся в сторону. Но сынишка только всем телом вздрогнул, когда отец положил на его плечи руки.

— Сенька-а...

Сквозь рубаху — легкая связь тонких косточек, хрупкая плоть.

— Сенька-а... Сы-ын...

Знал, что ему должно исполниться скоро десять, знал, что не люлечный, но как-то не представлял — человек уже, со своим страданием, и не шуточным, считайся. Запершило в горле, глаза зажгло едкой слезой, но плакать, видать, разучился.

Тут бы подарок вынуть, но где уж — после Красноярска и вещевой мешок загнал, налегке ехал, питался по бумажке, выбивал харч у несердобольного начальства. Вздохнул, опустил плечи:

— Ты того...

Хотел сказать, что не тужи о подарке, я тебе, парень, жизнь новую привез, да постеснялся — поймет ли?..

Жена ахала:

— Ну-тка, как снег на голову. В доме-то одна квашеная капуста. Хоть щей бы сварила.

И верно, дом большой, отцовский, со старой копотью по бревнам — в нем голо и пусто, только на божнице старорежимные (тоже под густой копотью) иконы, которые надо будет, не откладывая надолго, снять и выбросить. На холодном шестке голодная кошка лазает по порожним корчажкам. И вид у жены под стать — высока, широка в кости, доброго мужика из нее можно выкормить, но эта широкая, как у старого, с запалом мерина, кость слишком наглядно выпирает из-под ветхой до прозрачности кофтенки, и плоское лицо в нездоровую зелень. Ясно, обстановочка не мелкобуржуазная.

— Сойдет, — успокоил он жену, — не жиреть приехал. Капуста так капуста — тащи и сама садись, буду задавать наводящие вопросы.

Жена собрала на стол, как приказано, села напротив — в глазах счастливо слезливый блеск, даже румянец прокрался на увядшие щеки. Сын в сторонке, смотрит диковато и заворуженно, привыкает к незнакомому отцу. А тот ел хлеб, который покалывал нёбо мякиной, выуживал из миски капусту с запашком, косил глазом на сына, разузнавал об Иване Слегове.

— Он ведь чудно разбогател, — докладывала жена. — Он лошадь на поросенка сменял, с того и пошла у него прибыль...

— Как это — лошадь на поросенка? — Матвей многое повидал, удивляться разучился, а тут удивился. Даже ему, оторвавшемуся от села, была известна немудреная мужицкая заповедь: ценней лошади только твоя жизнь и не всегда-то жены, — при доброй лошади новую жену найдешь.

— Уж народ-то смеялся, уж все-то тогда потешались... Ну-ко, хряка молоденького выменял. И поди ж ты, не прогадал. Сказывают, книги такие есть... А сам знаешь, Ванька Слегов к книгам сызмала привык. Отец потакал, со старухой на картошке да на квасе сидел, а сынка единственного в гимназию сунул. Сказывают, по книгам Ванька и дошел, что ежели разыскать какого-то там английского хряка да свести с нашей свиньей, то приплод получится на отличку.

— Англицкий, не наш?.. Так-то, поди, мировая буржуазия и подсовывает нам свинью — хочет заново расплодить богатеев в пролетарской стране.

— Уж, право, не знаю, кто там... Но у Ваньки ловко получилось: за два года стадо набрал, а свиньи-то — что тебе чувалы, вот-вот лопнут, каждая брюхом землю гладит. Все-то на продажу везли, кто рожь, кто овес, а Ванюха — мясо. За мясо-то погуще платят, так что быстро перьями оброс: свинарник сколотил, хоть сам живи, а коней каких купил...

— Коней его видел. Агент империализма этот ваш Ванька.

— А ведь смеялись-то как люди. То-то смешки...

— Им бы плакать надо — буржуй под боком, как поганый гриб, растет.

— Ты на него зря серчаешь, он ничего, обходительный и в помощи не откажет.

— В молодости-то и волк молочко пьет.

За дверями раздались шаркающие шаги и стук тяжелой палки.

Жена Матвея встрепелась:

— Ох, господи! Афанас Саввич идет! А что ему подать, не капусты же жменю...

Дверь распахнулась, на пороге вырос плоский, как сама дверь, старик с холщовой сумой на плече и сквозной апостольской бородой, рассыпанной по груди. Переложив из правой руки в левую суковатую палку, он степенно перекрестился в угол на еще не снятые иконы, суровым голосом потребовал:

— На пропитание, Христа ради.

Матвей проворно вскочил, выставив обтянутую обмоткой ногу, тонкую, как голень болотной птицы, сощурил глаз. В степенном старике с нищенской сумой он признал Афанасия Тулупова, самого наиболее богатого мужика не только по селу, но и в округе. Когда Матвей уходил в армию, Тулупов имел больше ста десятин земли, маслобойку, мельницу, широко торговал кожами. В сапогах из тулуповской кожи люди топтали дороги к Вятке, к Вологде, к Архангельску.

— Тэк, тэк... К пролетариату пришел?

— На пропитание, Христа ради.

— Тэк, тэк, Христа ради. Обличье-то новое, а песни у тебя, Афанас, старые. Нет, ты повинись передо мной: я, мол, бывший мироед и эксплуататор, прошу кусок хлеба у своего батрака Матвея Васильевича Студенкина. Тогда я, может, тобой не побрезгую, за стол посажу.

Старик, как в стенку, глянул мутными глазами в Матвея, стоявшего перед ним фертом, еще раз не спеша перекрестился:

— Бог тебя простит.

Взыграло ли прежнее, спесивое, или разглядел, что после Матвея за стол садиться нечего — хлеб с мякиной щедрый хозяин сам умял, осталась-то капуста... Повернулся и, согнувшись в низких дверях, вышел.

— Эвон, как обернулось, — вздохнула жена, — он — и перед нами христарадничает. Светопреставление.

— Дура ты несознательная. Богатого с сумой по миру пустили. Радуйся.

Давно уже в селе Пожары разделили тулуповскую землю. А земля не хлеб, ее трудно делить поровну — тебе кус, мне кус. Тебе попался черноземный клин на вылоге, мне — чистый песочек на припеке, ты доволен, а я нет!

С революции в Пожарах тянулась глухая война, подзатихла было с подразверсткой, да опять вспыхнула. Большая семья Тулуповых давно расползлась, остался лишь сам старик Афанасий, ходил под окнами:

— Христа ради, на пропитание.

И вот в спорах да дрызгах раздался трезвый голос вернувшегося Матвея:

— Ставлю два вопроса, и оба ребром. Первый: запретить поминать Христа как имя старорежимное. Всех кусошников, какие сейчас Христовым именем под окнами просят, предлагаю гнать в шею. Во-вторых, — заявляю вам: несознательная стихия вы! Тулупова распотроши-

ли, а сами?.. Каждый из вас в нутре мироед Тулупов, только кишкой потоньше. Вот лично я, как осознавший и презревший всю гнусную суть частной собственности, не хочу для себя тулуповской земли! Я за то, чтоб не делить ее вовсе, чтоб сообща ее пахать, сеять, урожай сымать. Чтоб одной семьей — коммунией! Да здравствует, дорогие товарищи, братство да равенство!..

Мужики, поносившие друг друга, тут дружно ухмылялись — блажит Мотька, мало ли в последнее время с ума сходят.

Но должны бы знать эти мужики — коль один петух вскинется, то и другие отзовутся. Скажем, кому-то отрежут от тулуповского каравая жирный ломоть, а укусить его нечем — нет ни лошади, ни плуга, ни обрати, ни семян. Таких беззубых по селу оказалось немало. Беззубые, но не безголосые:

— Не жела-им своей земли! Артельно чтоб!

Ишь ты — «не желаим», тоже гордые — смех и грех.

Мотька Студенкин в свободное от митингов время занимался безобидным баловством, сидел на крылечке, строгал ножиком из досок ружья. Вся пожарская ребятня, как пчелы у ведра с патокой, кружились возле него. Он им и сопли утирал, и судил, если поссорятся, снабжал всех без отлички деревянными ружьями и свистульками.

— Эх, мокроносые, счастье вам — в самое время родились. Пока доспеете, глядишь, последнего буржуя в мире, как вошь, придавим. Богатство поровну всем, чтоб ни один человек на свете с голой задницей не ходил — у всех штаны одинаковые. Ни зависти в мире, ни злобы, ни забот тебе, чтоб деньгу зашибить, — красота, а не жизнь у вас впереди, ребятки. Может, и мы на старости лет успеем того хлебнуть.

А изба у него кособочилась, прясла изгороди попадали, жена одна, как прежде, убивалась по хозяйству.

Мотька баловался с детишками, а вокруг его имени собиралась бедняцкая голосистая вольница, для них все — трын-трава, терять нечего. Степенные мужики продолжали посмеиваться:

— Не разберешь, где стар, где мал. Ком-па-ния!..

Но вдруг Пожарский мир притих от удивления. На сторону Мотькиной вольницы встал Ванюха Слегов.

Шло обычное собрание в тулуповском доме, давно уже ставшем сельсоветом. Обычное собрание, где крикливые ораторы дубасили себя кулаками в грудь, с визг-

ливыми бабьими криками из задворок людной горницы, с солеными шуточками парней, с густым угаром от само-сада.

Тут-то и вышел Иван Слегов. Он вышел к столу, и все притихли, знали — этот пустое брехать не будет. Из молодых, да ранний, на сажень под землю видит.

Иван Слегов начал с байки:

— Бежит свора собак за зайцем. Какая быстрее да сноровистей — хватает, а другие чужой удачи не терпят, на счастливую да на удачливую скопом наваливаются. Зайца — в клочья, никто не сыт, зато все покусаны... Не напоминают ли, мужики, эти собачьи порядки нашу жизнь? Каждый старается урвать для себя, покусать другого. Не пора ли жить иначе, не по-собачьи — по-человечьи, с умом, сообщая, чтоб не было обиженных...

Он говорил, а его разглядывали: полушубочек, стянутый в талии, брюки добротного сукна вправлены в бурки с отворотами, желтой кожей обшитые. Таких бурок ни у кого не отыщешь — не деревенской выделки. «Не было обиженных...» А сам-то не обижен ни богом, ни людьми, сам-то из тех быстрых да сноровистых, какие первыми зайца хватают да еще примеряются, чтобы пожирней какой. Слушали его в немом недоверии, когда зазывал объединять все хозяйства в одно-единое.

Может, слова Ванюхи Слегова не понравились кому-нибудь Петру Гнилову, у кого на дворе тоже пара копей, овцы, свиньи, три молочные коровы, — не расчет ему брататься. Петру Гнилову не понравилось, но еще больше пришлось не по душе Матвею Студенкину — неспроста кулак рвется в коммунию, держи на мушке, зри сквозь прорезь.

Матвей кривить душой не любил, решил выяснить напрямую:

— Ну-ка, по совести, чего тебя к нам потянуло?

— Масштабы, — ответил Слегов.

— Это чтой за штуковина?—Матвей книг не читал, слов мудреных не знал.

— Простор, чтоб развернуться.

— Эвон-он что! Развернуться тебе нужно?.. А дадим ли?

Иван Слегов отступил на шаг, расправил плечи:

— А ну, Матвей, погляди...

— Гляжу.

— На меня повнимательней погляди, не стесняйся, с ног до головы обозрей.

И Матвей долго и хмуро разглядывал Ивана: красив, сукин сын, рожа румяная, глаз серый с блеском, из-под мерлушковой шапки с кожаным верхом русая прядь на гладком лбу, из-под ладного полшубка брючки тонкого сукна, и эти бурки — генералу надеть не совестно. Сам Матвей, в неизносимой короткой шинелишке, обдубтой ветрами Тихого океана, в старых, с чужих ног валенках, сменивших разбитые армейские ботинки с обмотками, с небритым, изрезанным морщинами лицом, почувствовал себя таким жалким, хоть возьми да запой голосом Афанаса Тулупова: «На пропитание, Христа ради!»

Матвей сглотнул комок в горле, пошевелил скрюченными пальцами:

— Картинка. Жалею — трехлинейки не захватил.

— Тебя жизнь одному научила — из трехлинейки стрелять. А пулей, Матвей, жизнь не построишь.

— Значит, сложи оружие?

— Значит, жизнь устраивай. Пора! Я себя устроил, хочу устроить других, да так, чтоб все выглядели, как я, даже лучше. Все, и ты тоже.

Матвей криво усмехнулся небритой физиономией:

— Ваяй. Нам до поры до времени попутчики нужны. Но помни, Ванька, я палец-то на крючке держу.

— Попутчиком под твоей трехлинейкой?

— А то как же.

— Выходит, воевал ты воевал, да так ничего и не изменил.

— А по-моему, переменилось. Иль не замечаешь?

— Да ведь о прежнем мечтаешь: один с трехлинейкой, другой с сохой, один барин-господин, другой раб. Шубу изнанкой вывернуть — она лучше не станет.

— Ты-то чего бы хотел?

— Одного — чтоб ты в сторонку отошел. А то поведешь вперед да заблудишься, на старое место попадешь.

— В сторонку?.. Не выгорит!

— Поживем — увидим.

— Поживем — увидим, — согласился Матвей.

Иван Слегов сказал слово и продолжал жить, как и жил, — тянул с женой свое большое хозяйство, выезжал на серой паре, вечерами жег керосин, читал книги.

А Мотька Студенкин отложил нож, которым строгал балясины для забавы пожарной ребятни, натянул фронттовую шинелишку и своим куличьим шагом двинулся в город Вохрово. Без робости он вваливался в кабинеты районного начальства, наседа напористо, чуть не брал за грудки:

— Вы что это, так вашу перетак, не чешетесь? Беднякам в Пожарах продыху нет!.. Мировой революции задержка на нашем участке!..

Не Иван Слегов, а Матвей Студенкин выколотил из властей бумагу:

«Земельные угодья старорежимного кулака-эксплуататора Тулупова с этого года и навсегда подушному разделу не принадлежат, а целиком и полностью отдаются в руки беднейших крестьян села Пожары, которые объединяются в сельскую коммуну и зачинают на практике коммунизм, предсказанный великим вождем мирового пролетариата Карлом Марксом».

Землю делили раз в четыре года, подошел срок. И вот, бумага по всем правилам — с лиловой печатью и подписями. Умойся, кто ждал себе тулуповской землицы. Повоевали, и хватит — ничья, неделима.

Не Иван Слегов, а Матвей созвал голытьбу на первое собрание коммунаров, сел на председательское место, заявил: «Выбирай, народ, народного вожака!»

Выбирать?.. Да ясно же — Матвей заводила. Матвей достал бумагу, он уже сидит за столом, чего там долго тень на плетень наводить, поднять руки, и шабаш.

Но и на ясном солнышке бывают пятна, а в любом стаде коза с норовом.

— Сомненьице есть!

Одна-единственная рука над шапками и бабьими платками.

— Кто там еще?.. Э-э, Пийко... Ну что ж, давай.

Пробился к столу Пийко Лыков, один из заговевших в холостяжничестве парней — лет под тридцать, невысок, крепко сбит, голова затылком растет из широких плеч, голубые глазки ласково жмурятся, как у кошки, которую гладят. Пийко — из незаможных, живет у брата, ходит по деревням, «растирает» бревна на тес, кой-какой заработок имеет, даже старшего брата с выводком подкармливает, а в коммуну принести — только пару рабочих рук, не больше того. И еще на одно Пийко мастак — может против шерстки погладить, что и не заметишь. Сейчас в его голосе медок:

— Матвей Васильевич — человек заслуженный. Кто Колчака бил? Матвей Студенкин! Кто с японцами воевал? Матвей Студенкин! Спросите меня, кого я больше всех уважаю, — Матвея Студенкина! По моему-то разумению, мы, может, тебе, Матвей Васильевич, памятник должны поставить. Ты же что сделал? На новый путь нас толкнул! Не-ет! Памятник для внуков — вот, мол, с кого началось... Но уж не будь в обиде, Матвей Васильевич, за неуважение не сочти, а распоряжаться хозяйством я бы пригласил Ивана Слегова. Заслуг у него ровно никаких, до памятника не дорос, а вот хозяйская хватка есть. Сметлив и удачлив — все видим... Служил он себе, а теперь пусть людям послужит... под нашим доглядом, не иначе. А в первую очередь, само собой, станет за ним доглядывать Матвей Васильевич. Уж старому боевому орлу с высоты будет видней — верный ли курс берет Слегов или неверный...

Высказался, развел с улыбочкой короткие руки — мол, не судите строго, ежели что не так, — и Матвею Студенкину покивал вросшей в плечи головой, — не изволь гневаться.

Матвей, однако, не клюнул на обещание Пийко Лыкова поставить памятник. Он сам себе объявил слово:

— Эх вы, простаки, простаки! Легко же таких Пийко на кривой объехать. Чутья классового ни на понюшку! Как нынче ты живешь, Пийко? Слегов-то наверху, ты где-то у него под коленками. И не дивно ли тебе, Пийко Лыков, что Ванька Слегов к тебе вниз полез? Почему бы это ему, богатенькому, братства да равенства захотелось? А потому, проста душа, чтоб крепче тебя оседлать, снова наверх выскочить — работай, я покомандую! Братство!.. По селу головы ломают — мол, коней, свиней, коров своих — все отдает. Задаром, от доброго сердца? Ой нет, ставка-то не мала, но и выигрыш велик. За коней и свиней он силу получить хочет над нами, над деревенскими пролетариями.

Матвей помахивал сухим кулаком, с каждым словом словно гвоздь вбивал, а в толпе слышались одобрительные вздохи. Кто про себя не гадал да не носил подозрение: «Неспроста отдает хозяйство...» Теперь ясно: «Ох и ловок! Но шалишь, поплела петли лисичка, да нарвалась-таки...»

Иван Слегов сидел тут же, в первом ряду, на видном месте — полушубок распахнут, полотняная рубашка перехвачена шелковым пояском, нога перекинута на ногу,

лицо спокойное, слушает, не сводит глаз с Матвея, словно речь идет не о нем.

А Матвей продолжал:

— Идешь к нам — иди! Любой иди! Запрету нет, но иди на равных, не цель оседлать нас. Сдай коней, свиней, будь таким, как все, пролетарием. Только вот беда, захочешь ли? Хитрость-то твою раскусили. У меня все, граждане-товарищи. Выложил. А вы судите.

И с ходу поднялись судить:

— Пусть-ко теперь Слегов скажет!

— Вер-рна! Поделись-ка, Ванька, мыслей!

— Перед миром-то не отвертишься!

— Валяй лучше начистую!

Иван встал, все смолкли. Ждали — скажет сейчас: «Да ну вас к чертям собачьим. Велика ли мне корысть с вас!» Поди, и прав будет. Но он, повернувшись спиной к столу, к Матвею Студенкину, лицом к людям, снял шапку, помял в руках кожаный верх, глядя поверх голов, сказал твердым голосом:

— Ежели скажу: верьте — поверите? Нет, не надеюсь. Так и уверять да клясться не буду. Думайте как хотите, пока делом не докажу. Все!

Сел, перекинул ногу на ногу.

Собрание больше против Слегова не кричало, но выбрали председателем коммуны Матвея Студенкина — единогласно, и Пийко Лыков не посмел поднять руку против.

После собрания Матвей при всех подошел к Ивану:

— Ну как? Поживем — увидим?

— Так ведь жить-то еще не начали, — ответил Иван.

Бывший тулуповский приказчик Левка Ухо, один из самых наигорьких пьяниц по селу, но грамотей, собственноручно наклеивал вывеску: «ШТАБ КОММУНЫ «ВЛАСТЬ ТРУДА». А в штабе — Матвей Студенкин за столом. А на столе — чугунный письменный прибор (тулуповское наследство), над дырой для чернил младенец с крылышками грозит пальцем. Об этого крылатого младенца Матвей давил махорочные окурки.

И еще сбоку стоял стол — для счетовода. Туда посадили Левку Ухо. Сидел примерно, даже когда был совсем пьян, только в те моменты делами не занимался, а, подперев голову ладонями, капая слезы на коммунарские бумаги, тянул «Лучинушку».

И-извела меня-а кручина,
По-одко-олодная змея-а...

Матвей терпел его нытье — другого верного грамотея на примете не было. Слава богу, что пьяным Левка не буянил — человек тихий, мухи не обидит.

Дело Матвея — быть председателем, держать марку и распоряжаться. А для того чтобы распоряжения передавались куда надо, без задержки, назначил заместителя попроворней да посмекалистей. Под него по всем статьям подошел Пийко Лыков.

Он родился шестым в семье, а потому в десять лет отец выдал ему двадцать пять копеек на дорогу, мать повесила на плечи мешок с сухарями. В подпаски по соседству никто не брал, издавна повелось ходить под Ярославль, а путь туда не близкий — верст триста от деревни к деревне. Триста верст пехом с котомкою, а лет тебе десять, в других семьях в такие годы мамка чуть ли не с ложки кормит. Ночевка в попутной избе стоит две копейки — место на полу и кипяток хозяйкин.

Помяла Пийко жизнь и потерла, умел ладить со всяким: голубые глазки глядят в зрачки с готовностью, порывисто быстр, только кивни — обернется на живой ноге: «Сделано!» Удобный человек, потом самого бедняцкого роду.

Весна, а в коммуне — шесть лошадей, из них четыре еле себя носят, и три плуга.

Председатель Матвей Васильевич Студенкин сидит за столом, признает:

— Да-а, туговато придется...

Но на то он и председатель, чтоб, не раскисая, давать установку:

— Мужики! Себя не жалеть — работать! Так-то!

И мужики соглашаются, не перечат.

Матвей сидит за столом, давит окурки под чугунным младенцем, подымать мужиков на работу — обязанность Пийко Лыкова.

Собралась в кучу деревенская голь. Каждый мечтал о свой земле. На вот землю — твоя!

Моя?.. Ан нет, маленькая поправочка — наша.

Земля общая, все на ней равны. Все равны, и ты снижаешь усердие, равняешься на того, кто тебе не равен. Но и тот не из последних, и он оглядывается на тех, кто силой пожиже, подравнивает себя, подравниваешься и ты. День за днем идет равнение друг на друга — до нуля, до полного покоя!

На Березовский клин наряжены пахать Федька Самоха и Гришка Кочкин. Кони брошены в борозде, Федька с Гришкой греют животы на солнышке. Попробуй на них прикрикнуть, пошлют по матушке самого Матвея-председателя, а уж Пийко-то и совсем не постесняется.

Пийко не совестит, не кричит, не разоряется, он весел и ласков:

— Жирок нагуливаете, ребятушки? Ну лежите, лежите, а я поработаю.

«Ребятюшки» не успеют поднять очумевшие от дремы головы, а уж Пийко идет за плугом, отваливает пласт... Посидят, похлопают глазами, станет неловко:

— Эй, Пийко! Катись по своим делам!.. Мы ведь на минутку, мы — так...

— Вижу — как. На Тулупова ломали по-другому.

— Да ладно тебе.

И Пийко бежит рысью дальше. И когда, обежав всех, является в правление, пыльный, потный, пахнущий землей, навозом, лошадьми, Матвей Студенкин встречает его вопросом:

— Ну, как там?

— Порядочек! — физиономия в красной парноте, голубые глазки в усмешечке.

Поряdochек? Ой нет!

Пахали и сеяли — мучились, засеяли половину земли.

Косили — мучились: ни «живой» телеги, чтоб вывезти сено, ни целого хомута.

Мучились, убирая тощий урожай.

Сник веселый Пийко Лыков, рад бы оставить руководящую должность — пила-растируха кормила лучше.

А зимой пали три лошади.

Левка Ухо, сжимая голову руками, лил пьяные слезы на свои счетоводческие бумаги:

Извела меня кручина,
Подколотная змея...

Он уже никогда не бывал трезв.

Коммуна гибла от бедности.

Один только Матвей Студенкин не терял головы. Он читал. Читать-то умел, а вот писать — только свою фамилию под бумагами.

Матвей читал газеты. Газеты же призывали к наступлению на кулака, но по-разному — одни требовали крайних мер, другие остерегали от перегибщиков.

Матвей откладывал газеты в сторону, просил заложить рессорную пролетку, принадлежавшую не так давно Ивану Слегову; лошадь обряжалась в сбрую с бубенцами, с медными бляшками — тоже слеговскую, — и председатель отправлялся в район, к начальству, утрясать вопросы.

В районе ясных указаний не давали, кидали скупое:

— Ждем решений.

— До кой поры ждать? Нас мироеды с костями sloпaют.

— Скоро съезд партии...

Пятнадцатый съезд ВКП(б) собрался в декабре. С отчетным докладом выступал генсек Сталин, он сказал: «Не правы те товарищи, которые думают, что можно и нужно покончить с кулаком в порядке административных мер, через ГПУ; сказал, приложил печать, и точка. Кулака надо взять мерами экономического порядка, на основе революционной законности. А революционная законность не есть пустая фраза. Это не исключает, конечно, применения некоторых необходимых административных мер против кулака. Но административные меры не должны замещать мероприятий экономического порядка».

Взять Петра Гнилова «экономическим порядком», а как тут возьмешь, когда он, Гнилов, едва ли не богаче всей коммуны. И есть еще Ефим Добряков, есть Митька Елькин — та компания. Да если они возьмутся, то «экономическим порядком» все село узлом свяжут, никто и не брыкнется.

Матвей угрюмо давил окурки о крылатого младенца, но в район ездить не перестал. Ездил от нечего делать, не надеялся сговориться.

Однако Сталин, видать, знал, как действовать, — слова словами, а дело делом. После одной поездки Матвей привез плакат, повесил у себя над головой. На плакате нарисован жирный, бородатый, звериного вида кулак с обрезаом, стояла надпись: «Ликвидируем кулачество как класс!»

Матвей вызвал своего заместителя Пийко:

— Собери всех по селу с мала до велика. Говорить буду.

Собрались стар и млад — тревожное в воздухе, каждому хотелось узнать, что это привез Матвей Студенкин? В тулуповской горнице, что гам яблоко, лущеное семечко упади — до полу не долетит.

Матвей выступал часто, ни одного собрания не проходило без того, чтобы не толкал речугу, не призывал до хрипоты к сознательности. Но эта его речь не походила на обычные.

В те дни он простыл, до прокуренных усов туго обмотан бабьим платком, голос сиплый, лицо темное, глаза сухо и зло поблескивают под изборозженным морщинами лбом.

— Хреновы наши дела в коммуне! — сипел он. — Хуже надо, да некуда. Тонем, братцы, скоро на дно сядем...

И в набитой горнице наступила погребная, бросающая в озноб тишина, даже скамьями скрипеть перестали. Шутка ли, сам начал с того — коммуна тонет, садится на дно. Сам председатель Студенкин!

А Матвей рвал эту тишину простуженным голосом:

— Нам — хреново, не на чем пахать, нечем сеять, а вокруг коммуны?.. А?.. Со сторонки на нас смотрите да похихикиваете, что вам, лошади у вас гладкие, справа добрая, семена в закромах! Кто вы в сравнении с нами, коммунарами? Богачи! А для чего революцию делали?.. А?.. Мы потопнем, пузыри пустим, а вы дальше поплывете?.. Нет, землячки, не пройдет такой номер! Мы вот что вам скажем: революция-то не кончена! Эй! Слышишь меня, Петр Гнилов? А ты, Елькин Митрий, слышишь? А Добряков Ефим здесь ли?.. Слышите вы, справные хозяева?..

После этого собрания Матвея пытались убить.

Он приказал жене истопить баню:

— Простыл шибко. Ужо толком попарюсь, может, полегчает.

Жена ушла управлять, а он прилег и заснул.

Он спал так крепко, что не слышал, как со всего села с гвалтом сбегался к его дому народ.

— Мам-ка-то! Мам-ка!..

Вскинулся:

— Ты чего?

Сынишка у изголовья, в полутьме на бледном лице виден лишь раскрытый рот, хватает воздух, цепляется руками за рубаху:

— Ма-ам-ка!.. В бане!..

За темным окном — накаленный, словно из тусклой красной меди, ствол березки. Матвея ошпарило, сорвался с койки...

Вдавленная в землю черная банька пряталась в оль-

ховом овраге, в который упирался двор Матвея. На селе поздно увидели зарево, сбежались, когда не подступись.

Бабы ахали, кричали на мужиков:

— Чего вы, охломоны, топчетесь? Живая ж душа там!

— Гос-поди! Да крючья несите!

Кто-то бегал и суетился без толку:

— Ве-едра! Где ве-едра?! К ручью цепью надоть!

Кто-то стоял завороженно: банька с нижних венцов до верхних — золотисто-сквозная, крыша в чадных лохмотьях пламени. Где уж...

Кто-то судил да гадал:

— Добрались-таки до Мотьки.

— Царствие ему небесное.

— Ой, не похвалят за душегубство!

— Авдотья будто слышала: из бани-то вроде бабий голос кричал.

— Тут не по-бабьи, по-поросычьи заверещишь, коль поджарит.

И вдруг шарахнулись на две стороны — ворвался Матвей, босой, по залежавшемуся апрельскому снежку, без шапки, в исподней рубаше, воскресший для всех из огня. Он ворвался и словно наткнулся на стенку, встал на шаг от весело постреливающих, зло раскаленных бревен, дико уставился слепыми запавшими глазами. За его штаны цеплялся сынишка, трясся худеньким телом.

Какая-то баба не выдержала, взвыла позади:

— Горе-емыч-ные! Да что же теперь с вами станет!..

В это время крыша баньки прогнулась, с хрустом и шорохом обвалилась внутрь. Вспухла тугая розовая волна, осыпала искрами Матвея, его всклокоченные волосы, его полыхающую отсветами рубашу. Матвей вздрогнул, оторвал взгляд от огня, повернулся к людям, замершим от робости, от горестного сочувствия, — лицо накаленно-горячее, вместо глаз темные ямины.

А к отцу жался сынишка. Матвей заметил его, нагнулся, поднял, прижал к себе, ступая босыми ногами по расквашенному снегу, понес от огня. Люди, тесня друг друга, торопливо расступались.

Шагов через десять Матвей остановился, снова повернул безглазое лицо к бане, и лицо скривилось судорогой.

— Нет, Сенька! Нет, гляди, сын! — хрипло закричал Матвей. — Гляди, Сенька, и выпитывай! Кулачье на всю жизнь запомни! Их рук дело!..

В тревожно пляшущих отсветах пламени теснился народ. А Матвей хрипло кричал:

— Гляди, Сенька! Чтоб жалости потом не знал! Чтоб давил гадов и жег! Гляди, сынок, любуйся!..

Люди поеживались, молчали. Баня догорала, багрово высвечивая Матвея, растрепанного, в длинной выпущенной рубахе, прижимавшего к груди сына.

Неизносная армейская шинелишка, единственный наряд председателя, его шапка из псिनного меха попутали охотничков. Их на себя надела жена. Ее приняли за Матвея — баба была рослая, корпусом походила на мужика, — выследили, приперли дверь колом. Баня-то сгорела, а кол остался, только обуглился с одного конца. Этот кол Матвей поставил на видном месте в конторе.

— Разбираться лишка не стану, — говорил он каждому, кто приходил, — кто тут виноват, кто нет — дело судейское. Для меня все богатеи виноваты. Пусть все они загодя богу молятся.

Он почернел лицом, страшно исхудал, сквозь небритые щеки выпирали челюсти, глаза провалились. Прежде вроде бы жену ласковым словом не баловал, а теперь всяк видел — сохнет. Сыну он сам стирал рубахи, вместе с бабами не стеснялся полоскать нищенское бельешко на вымостках, сам латки ставил, сам варил варево, обиходил, как мог, и учил:

— Помни, Сенька, мать от кулацкой руки лютую смерть приняла, держи это под сердцем. А пока ты силу не наберешь, я буду стараться... Уж буду!..

Но прошел год, прежде чем Матвей Студенкин развернулся.

В начале мая, сразу после праздников, он диктовал опухшему, вечно похмельному Левке Ухо:

— Пиши: Гнилов Петр Емельянович — две лошади, три молочные коровы... Написал?.. Теперь ставь Добрякова Ефима — тоже две лошади — кобыла да стригунок, две коровы. Елькин Митрий Осипович...

Список был длинный, в него входили все, кто жил в достатке. Последним стоял Антип Рыжов, гость Ивана Слегова. Против его фамилии Матвей указал проставить: «Не шибко богат — лошадь да корова, зато язык длинный, пускает вражеские разговоры по селу». Жаль, что Ваньку Слегова теперь не зацепишь — ни лошадей у него, ни коров, ни даже курицы своей во дворе не держит, и разговоры вражеские не приклеишь, молчун, хотя кому не ясно — думает не по-нашему.

Самих убийц найти не смогли, да Матвей тут особо и не усердствовал: так ли уж важно открыть только убийц, война-то идет классовая — все, кто не с нами, тот наш враг.

Реквизированные у раскулаченных богатеев шубы, поневы, зипуны, сапоги раздавались по списку самым беднейшим. В беднейших числился и сам Матвей Студенкин, что у него — пара горшков шербатых, обгрызенные деревянные ложки да из живности тараканы в стенах. Он мог бы взять много — своя рука владыка, — но взял лишь полушубок с плеча Ефима Добрякова. Шинель-то сгорела вместе с женой, жену, что уж, не вернешь, а шинель законно и возместить. Пригребать себе кулацкое Матвей не хотел — за идею воюем, не за бахло, пусть знают.

В освободившиеся дома вселяли тех, кто не имел крыши. На тридцать первом году своей жизни Пийко Лыков въехал в собственный дом — пятистенник Петра Гнилова. Въехал?.. Да нет, просто вошел, неся с собой фанерный чемоданчик и узел, где лежали суконные штаны и яловые сапоги.

А по селу опять ходила молва о бесовской сметливости Ванюхи Слегова. Загодя знал, к чему причалить, ехал бы теперь в компании Гниловых да Елькиных. Ан нет, цел, при деле, живет тихо и мирно, еще и наверх выбьется. Ох, ловок нечеловечески!

В доме Слеговых лила слезы Маруська, жена Ивана, дочь Антипа Рыжова. Она оплакивала отца, мать, трех братьев, высланных Матвеем Студенкиным в дальние края.

Матвей прежде читал газеты да давил окурки о чугунного младенца. Пришло время — нашлось занятие по характеру: обходил дом за домом. Дверь открывал пинком ноги, не ломал шапку, не бросал «здравствуйте», спрашивал у оробевшего хозяина в лоб:

— Заявление подал?

И если отвечали: «Нет», цедил сквозь зубы:

— Мотри у меня.

Матвей выполнял сто процентов. Ни одного человека не должно быть в селе, кто не подал бы заявление в колхоз. Охват на сто процентов, и никак не меньше.

Левка Ухо разрисовал новую вывеску — пошире и покрасней: «ПРАВЛЕНИЕ КОЛХОЗА «ВЛАСТЬ ТРУДА». Уже не «штаб», а «правление» и не «коммуна», а

«колхоз» — такова установка сверху, хотя сердцу Матвея старые слова милей.

Эта вывеска была последним, что сотворил в своей жизни Левка Ухо, грустного характера человек, которого даже не веселило злое вино.

Он в последнее время пил без просветов, являлся утром в контору, уже держась за стенку, до своего стула все-таки добирался, обхватывал руками голову и начинал «Лучинушку». Дошло до того, что не выдержал и Матвей. Выбрал момент, когда Левка был чуток «попрозрачней», заявил со всей прямоотой:

— Хоть ты и не кулацкого роду, но работать с тобой трудно, даже совсем невозможно. Ежели бы ты революционные песни пел, а то тянешь какую-то нуду — душу воротит. Сымаю тебя с должности.

Снять просто, расчета не требовалось, Левка лучше других знал, что колхозная касса не то чтобы пуста, просто ее не существовало. Матвей же не мог дать ему из своих и щербатого гривенника на опохмелку — какие у него деньги. Левка встал и тихо ушел.

Вечером все слышали, как он нудил свою «Лучинушку» на крыльце Секлетии Ключвишны. А утром исчез, говорят — тихо скончался в районной больнице.

Стараниями Матвея в Пожарах не осталось ни одного единоличника.

Матвей Студенкин — сила, Матвей Студенкин — власть. Когда он шагает по улице своей куличьей походкой, разговоры смолкают, мужики невесело расступаются, на бабьих лицах появляется невинно-постное выражение. Только дети не боялись Матвея, увязывались за ним:

— Дяденька Матвей, ты коня на колесах сделать сулился!

Матвей в жизни ни одного мальчишку не шуганул сердито, всегда сбавит шаг, пообещает:

— Обожди, милой, недосуг теперь.

А то и остановится, нагнется:

— Эх, пролетарий, нос-то у тебя... Ну-тка.

Утрет, шлепнет по заду:

— Иди, воюй!

Мальчишке и горя мало, что дяденька Матвей марширует к его отцу. Того при виде Матвея бросает в холодный пот.

— Мотри у меня...

Не дай бог, ежели прибавит — «подкулачник», долго и зашагать из села под доглядом милиционера.

Кто теперь против Матвея Студенкина? Никого.

Ой ли?.. В колхоз вошел крепкий середняк — хозяйственные мужики, они принесли заботу и тревогу — жить-то надо, а как? В колхозе касса пуста, но бедным теперь его не назовешь — тягло, скот, инвентарь раскулаченных и высланных перешли в колхоз. Надо жить и, поди, можно жить. Но на житье-бытье студенкинской коммуны все досыта нагляделись.

Против Матвея открыто — никто, но за спиной, шепотком — все: «Пропадать нам с таким председателем, по миру с котомками пойдем».

Матвея же — как жить? — не волнует. Для него это вопрос ясный. Во-первых, новую колхозную жизнь надо начать с общего собрания, где его законно выберут председателем. Во-вторых, на этом собрании следует твердо заявить — кто не работает, тот не ест! В-третьих, если его слово собрало в колхоз все сто процентов работоспособного пожарского населения, то оно заставит собирать и стопроцентные урожаи. Матвею ясно, у Матвея — твердая линия.

На общем собрании он, как всегда, восседал в центре стола — острые плечи разведены, хрящеватый нос с сухого лица нацелен «на массы», лоб изборозжен суровыми морщинами. Даже первые скамьи люди занимали неохотно — приятно ли сидеть под прицелом председателя, за спинами вольготней.

Взял слово Иван Слегов. Укатали сивку крутые горки — не тот Иван, ладный полушубочек потерт, на ногах уж не бурки городской выделки, а подшитые валенки, и в осаночке нет прежней вальяжности. Попробовал бы теперь сказать Матвею Студенкину: «Погляди на меня, хорош ли?»

Выступать Ивану против Матвея опасней, чем кому-либо, — сразу помянет старые замашки — из кулаков чудом выскочил. Никто и не ждал от Ивана храбрости.

Но Иван повернулся к Матвею и заговорил:

— Ты, Матвей, большой мастер. Вытряхнуть из кого-то там потроха умеешь. И спасибо тебе, натряс — есть лошади в колхозе, есть все, чтоб работать. Но трясти-то больше некого, вот беда. Не пригодится твое мастерство. Что же тебе дальше делать? Опять газетки читать, покуривать?.. От этого, сам знаешь, жизнь не на-

ладится. Мой совет тебе — уходи, пока колхоз не развалился. Чем быстрее ты на это решишься, тем лучше. Все хотят! — Круто повернулся к людям: — Иль неправда?

И Матвей только успел налиться кирпичным цветом, открыть рот, но выдать слово ему уж не дали. Взорвалось в воздухе единым дыханием:

— Пра-ав-да-а!.

И загромыhalo:

— Не хотим Студенкина!

— Какой ты хозяин!

— Сами выберем!

— Газетки-то читать многие умеют!

— Братцы, кричи другого!

— А вот Лыкова, что ли?..

— Обходительный!

— Пийко, бери власть!

И никто не обмолвился об Иване Слегове. О нем как-то все забыли. Иван постоял, постоял перед шумящим народом и незаметно сел на свое место.

Ташит с натугой валенки старый Матвей Студенкин. Растянулось село Пожары, длинна до дому дорога. Не верится, что доберется до теплой лежанки, — считай, пять лет от нее не отходил.

Встречаются люди. Кто помоложе, даже не оглядываются — совсем незнаком. Кто постарше, скучновато дивятся: «Эва, Альки Студенкиной свекор вылез, износу ему нет». Он — Алькин свекор, и только-то, забыли люди напрочь, что когда-то боялись его взгляда, слову его перечить не могли.

Ташит Матвей груз долгих лет, налегает на клюку...

После того собрания он махнул в район за помощью: «Добро же! Кулацкого слова послушались. Думалось, подкулачников-то — раз-два и обчелся, ан нет, все село подкулачники! Будет работка...»

В Вохрово недавно появился новый секретарь райкома — Чистых Николай Карпович, из молодых выдвиженцев, про него уважительно говорили: «Застегнут на все пуговицы».

Застегнут-то, положим, но на шее галстук, никак не рабоче-крестьянский — интеллигентская висюлька.

— Народ против вас. Так что ж это, товарищ Студенкин, вы нас с народом поспорить хотите?..

Попробовал было Матвей прижать его по-фронтальному:

— Ты кровь проливал за революцию? Нет... То-то, вижу, тебе наша революция не дорога, перед подкулачниками потрухиваешь!

Чистых вежливенько отчесал его за партизанские ухагочки, указал на дверь:

— Идите!

И Матвей пошел бродить из кабинета в кабинет, искать правду. Кой-кто из старых работников ему сочувствовал, но грудью прикрывать не собирался.

А потом бродил с места на место: развозил мешки с почтой, подался на лесозаготовки, но там даже на самом низком руководстве гребовалась грамота, а иначе бери в руки топор да пилу.

Наконец осел на маслозаводе учетчиком, хоть туго, да считал литры сданного молока, килограммы масла и просчитался — открылась недостача, чуть не попал под суд, хотя ни сном ни духом не виноват. Пришлось за-вернуть лыжи в колхоз:

— Прими, Пийко.

Ан нет, уже не Пийко, а Евлампий Никитич.

— Приму. Иди конюхом.

А сам же когда-то говорил: Матвею Студенкину поставить в селе памятник.

— Не хочешь, дело хозяйское. Вот бог, вот порог — неволить не будем.

Он, можно сказать, вытащил Пийко из грязи в князи, — кто бы заметил его, если б Студенкин не пригрел в заместителях.

Он много лет работал конюхом. Не Евлампий, нет — тот и не замечал, — а любой бригадиришка из молодых да голосистых мог накричать:

— Поч-чему черессидельники на полу валяются? Почему обрати перепутаны? Рук нет, чтоб прибрать!

В войну бригадирствовали бабы, тоже командовали Матвеем:

— Эй, дед, закладывай лошадь — сено возить! Да мотню подтяни, не то запутаешься.

И сын Сенька забыл, как отец показывал ему горящую баню. Забыл? Да нет, такое не забывается. Только отцовские наказы не держал у сердца. Убийцы-то Сенькиной матери, скорей всего, сосланы, давно затерялся их след. Сенька рос смирным парнем, к отцу относился с почтением, в колхозе работал с охотой, был призван в армию, в финскую ранен, вернулся домой, успел жениться, и новая война... А вскоре и похоронная...

Матвей после этого чуть не отдал богу душу, пошел к конюшне да вспомнил, как увидел Сеньку в первый раз — в длинной рубахе, в холщовых порточках, похожего на отощавшего старичка, и не выдержал, упал, подобрали добрые люди... Горевала и Аляка, видать, это-то и свело их накрепко. Грех жаловаться на сноху — кормила, обиходила, с печи не гоняла. Вот ежели б еще внук остался, нянчил бы, совсем, считай, тогда счастливый. Но внука нет, а нынешние ребятишки не ведают, что дедко Матвей когда-то умел затейливо вырезать ружья из досок...

Плетется Матвей по улице села, даже собаки на него не лают.

Пийко-то... А?..

Он вот жив.

Нет, не старые обиды, не торжество со злобой сорвало Матвея с печи, заставило добраться до крыльца умирающего Евлампия. Давно разучился обижаться и злобиться — выгорело. Вспомнились лучшие деньки в жизни, когда сам Пийко Лыков по его кивку на живой ноге: «Порядочек!»

Пийко умирает... Приполз с ним проститься, с ним и со своим прошлым. Но не пустили, прогнали с крыльца... Что ж...

Палка ощупывает неверную землю, норовящую ускользнуть из-под ног. Шагает старый Матвей к печи... Даже Пийко... А он-то моложе лет на пятнадцать добрых, коль не больше...

Палка ощупывает неверную землю.

ИВАН СЛЕГОВ

Крашенные полы, почти больничной белизны подоконники, стол, неуютно стоящий посредине, над столом свисает электрическая лампочка, голая, ничем не затененная. От комнаты ощущение пустоты и простоты казенного места — жилье прославленного по области человека, который ворочал миллионами и не любил отказывать себе в чем-либо. Жилье?.. Председатель дома лишь ночевал, да и то далеко не каждую ночь. Он в пять утра уходил, возвращался затемно. Он здесь гостевал, а жил в стороне.

Сейчас дом пропах насквозь нечистым, почти звериным запахом, как медвежья берлога.

Иван Иванович стоял на своих костылях, громозд-



кий, приземистый, беспомощно неуклюжий, словно морское чудо — большой черный краб, вытащенный из воды на сушу, изнемогающий от собственной тяжести.

Он почувствовал на себе взгляд Чистых. Давно привык, что на него глядят с сожалением — калека горемычный, — но за готовной услужливостью в круглых прилипчивых глазах лыковского зама уловил тоскливую зависть. Ему, оказывается, еще могут завидовать...

Из-за перегородки вышла жена Лыкова, подавленно поздоровалась с бухгалтером, высохшая, морщинистая, в белом платочке, несвежем фартуке, под которым прятала свои корявые, натруженные бабьи руки. На унылом остроносом лице не видно большого горя, веки, нет, не красны, глаза потухшие, вылинявшие, углубленные в себя, а в фигуре неловкая связанность, как у человека, попавшего в чужой дом. Такая же, как всегда, а муж-то умирает...

Иван Иванович кивнул ей в ответ шапкой, бросил нетерпеливый кивок в сторону Чистых: «Веди».

— Сюда. В боковушке он, Иван Иванович.

Костыли глухо стукнули, валенки подмели крашенный пол.

Из открытой двери сильней ударил застоявшийся запах. Иван Иванович не удержался, поморщился. На встречу поднялась сестра-сиделка в халате, с вязаньем в руках. Она поспешно пододвинула свой стул, немолча пригласила: «Садитесь».

Но Иван Иванович остался висеть на костылях, утопив глубоко в плечах голову. На лбу под шапкой собрались жирные суровые складки.

Вот он, прославленный Лыков: на подушке выделяется бескровно серый, бородавчато неровный цвет кожи, все рыхлое лицо оттянуто на одну сторону, потончавшие бледные губы, казалось, выражают предельную безразличность, левый глаз прикрыт веком, в правом проглядывает мутноватая студенистость глазного яблока, в запававших висках копятя тени.

У Ивана Ивановича не было в жизни друзей. Кроме жены, Евлампий Лыков — самый близкий человек, чаще ни с кем не встречался, теснее никого не знал. Висит над ним на костылях верный Иван.

— Больше тридцати лет... — произнес он невнятно, — почитай каждый божий день виделись...

— Да-а, друзья,— сокрушенно вздохнул Чистых. — Нынче такое редкость.

— Тридцать лет каждый день, а сказать все друг дружке так и не успели... Кой-что осталось...

Чистых снова вздохнул с почтительным сокрушением. И снова Иван Иванович уловил на себе его тоскливо-завистливый взгляд.

Ему завидовали, а у него давно уже не было будущего, в свое же прошлое он оглядываться не любил.

Жил когда-то в селе Пожары учитель Семиреченский — из обедневших поповичей, носил косоворотку и лапти, как пророка почитал поэта Некрасова, днем и ночью, в будни и праздники мог без устали рассуждать о великой душе русского мужика. Ванюшка Слегов на одном из его первых уроков без натуги решил задачу: «Летело стадо гусей...» И Семиреченский поверил:

— Быть тебе новым Ломоносовым!

Он заставил верить и Ванюхиного отца — «быть ему, отдай в гимназию!» — взялся хлопотать, нашел опекунов, добился-таки, что Ванька Слегов надел тужурку со светлыми пуговицами.

Семиреченский про Ванюхова отца говорил: «Мудр в своем хозяйстве, как Соломон в государстве». А хозяйство Ивана Слегова-старшего было невелико, и мудрость его умещалась в одной заповеди: «Латай портки вовремя, тогда сносу не будет». Обвалилось прясло изгороди, видел, да рукой махнул — «а-а, потом!» А тут соседская коза влезла, обгрызла всю капусту, зимой без капусты, значит, картошки больше уйдет, значит, поило корове пожиже, значит, молока меньше, а без достатка в картошке, без молока, без масла на хлеб расход, того и гляди, до нового урожая не достанет. Малую дырку не залатал, и разрослась прореха в хозяйстве — «латай портки вовремя».

Невелико слеговское хозяйство, земли не больше других, но крепко, опрятно, как молодой грибок боровичок: стожки на пожне огорожены — лось не подступится, лошадь одна, зато гладкая, корова обильно молочная, свиней, овец не густо, но все в теле, и над поветью всегда крыша чинена. Все потому, что латал вовремя, без дела ни минуты не сидел. Правда, после неурожайных лет поджимались, но опять же семья невелика — не семеро по лавкам, сын единственный. Зато сынок лаптей не на-

шивал — всегда по ноге сапожки и рубашонки из покупного ситчика.

А уж тут совсем замахнулся—в гимназию!.. Из села Пожары в гимназиях-то одни тулуповские дети учились, тому что — доходы тысячные, сравнить в округе не с кем.

Чужим и неприветливым показался город Ванюхе — земля на улицах забита камнем, дома друг к дружке вплотную, в домах людей полно, а чем люди живы — неизвестно, не пашут, не сеют, а ситный едят, на день по пять раз чай с сахаром гоняют.

Жил у одинокой Пелагеи Клюквиной. Пелагею девкой вывез из Пожар бывший офеня, от короба с бусами да сережками дотянувший до собственной торговли льном и холстами. Задолго до приезда Ванюхи он умер, вдова жила в просторном доме, к новому жильцу была ласкова.

Первое время сильно тосковал, вспоминая: съезд с повети бревенчатый, между бревнышек трава сочится, весною черемуха цветет, по утрам под петушиный крик колодезный журавель начинает кланяться...

К учебе в гимназии он подошел с отцовской заповедью—латай вовремя, не откладывая, что наказывали выучить, помни, что ешь хлеб Пелагеи не задаром, отец ей платит, на квасе сидит. Учился хорошо, стал книги читать, удивился тургеневскому Базарову, который гордился: «Мой дед землю пахал», «Эва, дед, а у меня отец и до сих пор пашет!» Сошелся с товарищами, те тоже читали Тургенева, уважали Ванюху: «От земли человек». А домой тянуло: «Меж бревнышек травка сочится...»

И в первый же приезд в Пожары день порадовался, потом оглянулся, и разочаровало родное село. Сам город, где он учился, был тих, горбатился сорными булыжными мостовыми, а уж в Пожарах-то и совсем обычай вятичей и родимичей (узнал о них в гимназии): ребята бегают без штанов, в одних посконных рубахах, землю ковыряют прадедовской сохой, мужики, сходясь на завалинках, тянут одну постылую песню: «Ох, плоха наша земля, никудышна — силушку жрет, а не родит».

Местные земли и на самом деле считались незавидными — подзол да суглинок, кой-где пополам с песком.

И все-таки с наслаждением сбрасывал куртку со светлыми пуговицами, косил, метал стога, помогал отцу подымать паровище. Соседи завидовали: «Всем парень взял, и умом, и крестьянской сноровкой». Отец раздувался от похвал, но одергивал сына:

— Не лезь, без тебя управимся. Не для того учим, чтоб руки навозом пачкал.

Увозил Ванюха в город отцовское бесхитростное понятие о счастье — трудись, чтоб прорех не было, делай вечером то, что мог бы отложить на утро. И вот тогда-то каждое утро будет тебя встречать: все налажено, все на месте. Капуста на огороде топорщится — матовые, хрящевато негибкие листья чуток за ночь подросли. Подсвинок в закутке довольно похрюкивает — сыт, стервец, за ночь нагулял золотник жирка. Корова мычит со стоном — вымя тяжело... Утро, слава тебе господи! Жизнь идет, и жизнь без прорех, с подарочками, которые не сразу-то и заметишь. Покой — дорогóй, душа поет, умытому солнышку радуется.

Только в самом селе нет покою и ладу, кругом житье-бытье серенькое, дерганое, толки и перетолки только о прорехах: то дождь обошел — хлеба сохнут, то дождь подвалил — сено погнило, то овцы паршивеют, то корова брюхо проколола, а то и прямо беда — лошадь пала, кормилица, вой в доме, как по покойнику. А чаще всего о земле: «Ох, плоха! Ох, никудышна!..»

В городе Ивану попалась книга Лекутэ «Основы улучшающего землю хозяйства», в переводе Энгельгардта.

«Плоха земля, не родит...» Ой ли?.. Ежели она питает могучие леса, то уж человека пропитать как-нибудь сможет, сумеи из нее взять.

Иван штудировал Лекутэ.

Ему исполнилось семнадцать лет, когда загремело по стране:

Это есть наш последний и решительный бой!

Село жило как в осаде. Мир, вставший дыбом, обложил со всех сторон Пожары. Голодный, тифозный, озлобленный, время от времени этот мир засылал продотряды — небритых, угрюмых, напористых людей с винтовками и наганями.

— Показывай, где хлеб?

И откидывались крышки погребов, выворачивались половицы, разметывались укладки сена и прошлогодней соломы.

Село робко пряталось по избам, с тоской молило: «Пронеси, господи, лихую напасть!»

Иван сразу же после революции бросил гимназию. До нее ли — потянуло домой, к земле.

К земле! — звало Ивана воспоминание об отцовском покойном счастье. К земле! — звал читанный и перечитанный Лекутэ. К земле! — звало и гордое:

Это есть наш последний и решительный бой!

«Последний и решительный...» Но последний ли? Разве не придется воевать с пожарской землей? С винтовкой на эту клятую землю не пойдешь. Не всем стрелять, кто-то и пахать должен. До сих пор те, кто читал Лекутэ, сами не пахали и не сеяли. А кто надрывался на пахоте, не только Лекутэ, календарей не читали.

Будь жив учитель Семиреченский, он бы понял Ивана, а отец встретил его с вожжами в руках:

— Пахать-то и без гимназий можно! Для того я, дурак, на квасе сидел...

Иван отобрал у отца вожжи, отец заплакал.

У старого Слегова все шло вкривь и вкось: мобилизовали лошадь, оставили кобыленку недоростка, забрали хлеб по разверстке. «Латай портки вовремя...» Где уж... И на вот — сын, последняя надежда, отказывается учиться, вернулся на насест, значит, будет, как все, мужиком, быдлом, косолапой деревенщиной. А думалось — не отцовская доля, выбьется в люди: «Не пачкайся навозом, сокол ясный, береги себя, тебе высоко летать».

Прилетел, кукарекает:

— Хочу пахать землю!

От сплошных огорчений отец как-то круто свернулся, три месяца поболел и умер, а за ним и мать слегла на печь, тихо угасала...

Зимними вечерами село вымирало. Мужики ненавидели все — и новые песни, и новые речи, и новых людей в трепаных шинелях и кожушках, перепоясанных нагами, ненавидели разоренного богатея Тулупова, ненавидели друг друга, прятались по избам от злой вьюги, от чужого лиха. Эхма, от подразверстки бы спрятаться!

Будь жив учитель Семиреченский, он бы объяснил. Теперь Ивану приходилось дозревать один на один.

На лавке торчком круглое полено. В него вбит нехитрый железный светец, в огне корчится лучина, роняет угли в щербатый горшок с водой. По бревенчатым стенам бесшумная, натужная война — свет лучины воюет с мраком, шевелятся конопаченные пазы, и кажется, что потолок то подымается, то опускается до макушки.

В городе он, где мог, понахватал книг, были сборники Безобразова и разрозненные журналы «Отечественных записок», Дюма, Лажечников, «Князь Серебряный», «Заратустра» Ницше, Чичерин «Собственность и государство» и Зибер «Рикардо и Карл Маркс». Хранил кой-какие работы Тимирязева... Но самой большой ценностью оказалась недавно приобретенная брошюра Ленина — «Государство и революция». Ее-то и листал при свете лучины, как в окно заглядывал — в будущее.

Как в окно... На низенькие оконца слеговской избы вплотную навалился тревожный мрак, выл ветер, мел снег. И где-то в этом полуночном лещащем вое, в бесконечной метелице кружились обезумевшие люди, стреляли друг в друга, умирали от голода, от сыпняка, от морозов. Беспросветный мрак за низенькими оконцами, не жалкой лучине пробить его. Лучина освещает раскрытую брошюру, а там ясная картина:

«...Люди постепенно *привыкнут* к соблюдению элементарных, веками известных, тысячелетиями повторявшихся во всех прописях правил общежития, *без особого аппарата* для принуждения, которое называется государством».

Неужели привыкнут?..

Иван отрывается от строчек, пляшущих вместе с нервным пламенем.

Привыкнут?..

Он знал пожарский мир, знал в нем каждого человека. Еще недавно все перегрызлись, когда делили тулуповские земли. Петр Гнилов, отец пятерых сыновей, борода сивая от седины, бросился с колом на Митьку Елькина. Теперь вроде и земля особенно не нужна, что ни посеешь — отберут по продразверстке, за нее не только в колья, но спорить лень. А Гнилов и Елкин до сих пор готовы друг дружке клок из горла выхватить. И такие-то привыкнут без принуждения мирно жить, честь честь блюсти вежливые правила? Что-то не верилось.

Но потому-то и раскололась страна — одни верят, другие нет, одни глядят вперед, другие назад. Ты что, Иван, назад норовишь, тебя к старому тянет?..

Гуляют беспокойные тени по бревенчатым стенам, сердитая лучина воет с мраком, и ветер воет снаружи...

Обратно в старое, где когда-то пригревало нехитрое отцовское счастье: «Латай портки вовремя...» Что скрывать — как вспомнишь, теснит сердце: капуста топор-

шит хрящеватые листья, подсвинок сыто похрюкивает, корова мычит со стоном — музыка! Живи, не заглядывай далеко, трудись честно, не станет сил трудиться, лезь на печь, жди смерти. Неужели только-то и надо человеку, чтоб отбыть свой срок на белом свете? Так просто отбыть, оставить детей, чтоб и они отбыли положенное. Чем тогда человек отличается от крапивы, от куста калины под изгородью? Той калине тоже век отмерен, она тоже семя бросает, чтоб рос, отбывал срок новый калиновый куст.

Мир у отца был от задворок до калитки, Иван чувствовал — уже никак не уместается в нем.

«Люди постепенно привыкнут...» Надо верить, иначе жизнь бессмысленна. Любая человеческая жизнь, и его, Ивана, и Петра Гнилова, и Митьки Елькина — всех в Пожарах, всех на всей круглой земле.

Но ведь прежде чем новая привычка росточком проклюнется, надо вырубить старый лопушник.

Весь мир насилья мы разрушим
До основанья, а затем
Мы наш, мы новый мир построим —
Кто был ничем, тот станет всем!

Ленин в упор указывает — частная собственность! Вот зло!

Иван и прежде где-то нутром это чуял. Мое, кровное, — не трожь, зубами вгрызусь! — Как ни просторна Россия, но вся разгорожена — то твое, то мое, и кому-то не хватало, кто-то оставался без доли. Из века в век так было, только теперь полыхнуло против этого волчьего — мое, зубами!.. Из века в век, с глухой древности впервые — ты угадал родиться.

Ни мое, ни твое — общее. Как просто! И не хотят понимать, льется кровь из-за этого. Он, Иван Слегов, бывший гимназист, мужицкий сын, кровь свою не пролил за революцию. Он хлебороб, а хлеб наш насущный выращивается не на крови.

Свет лучины, неровный, больной, горячечный, как бред тифозного. И раскрытая брошюра на столе, и цветными радугами плывут мечты.

«Люди постепенно привыкнут...» — общая земля, общая забота! Раньше кому какое дело, что Ванька Слегов читал Лекутэ, для себя читал, для своей корысти. Теперь твоя башка в артели, твои мозги общие. Разве это не счастье — себя перед другими наизнанку вывер-

нуть? Все, что знаю, — ваше, люди добрые! Еще школу особую заведу в Пожарах, мужицкие дети станут читать Лекутэ.

Вы все сейчас нищи, прячете друг от друга жалкие копейки в чулки, в кубышки, на дно сундуков под бабкины поневы. А рассудите, если эти копейки вынуть, сложить в один карман — уже богатство. Не на пьянку, не в кабак — купим машины, заставим их работать. Машины непременно родят новые машины, на автомобиль сиволапый пожарец усядется, коней для красы, для уважения держать будем — тоже потянули лямку, пусть отдохнут. И есть такая вещь, как электричество, она ночь в день повернет... Молочные-то реки и кисельные берега, право, не сказка с издевочкой, не смейтесь!

Пусть не сразу, пусть не скоро, но наступит час, когда все оглянутся и признают — с Ваньки Слегова началось! В селе Пожары мир до него — тот мир, что умирает сейчас при свете лучины! — будет так же походить на мир после него, как малярийное болото на райские куши.

Воет ветер, заносит снегом село. Каждая изба — берлога, люди прячутся друг от друга, боятся стука в дверь, а не ведают, что уже стучится, да, сейчас, да, в лихую темень, ко всем стучится их счастье.

В Пожарах только он, Иван, слышит этот стук. Жаль, учитель Семиреченский не дожил — слушали бы вместе, было бы теплей, не так одиноко.

Лежит на столе раскрытая брошюра, обещающая: вот забросят винтовки, сделавшие свое дело. И тогда «люди постепенно привыкнут...»

Пляшущий свет лучины освещает стол, свет лучины, одной из последних в России.

Молочные реки не сказка, не смейтесь, люди!

По продразверстке у него, как и у других, отобрали хлеб, оставили только на семена. Тянул к весне на картошке. Мать до весны не дотянула, схоронил на погосте, поставил, как просила, крест. И тут спохватился — нельзя жить только мечтаниями.

В ростепельный мартовский вечер Иван пришел к Антипу Рыжову с бутылкой первача в кармане.

— Породнимся? Отдай за меня Маруську.

А чего бы Антипу не породниться, чем Ванька Слегов плох — не богат, но собой виден, в работе споровист и даже в гимназиях сидел.

Антип Рыжов, рослый мужик, на широком лице черти горох молотили, опрокинул стакан первача, крякнул, понюхал корочку:

— Эй, Манька!

И она вышла на обманчиво веселый огонек светца: по белой кофте сполохи неверного света, заплетенные туго косы под матицей, мрак бровей под чистым лбом, да пьяной влагой блестят глаза. Пригнула голову, спрятала лицо...

Антип ухмыльнулся:

— Ишь, кобылка, тут как тут.

В приданое Маруська получила годовалого жеребенка. В хозяйстве Ивана оказалось две лошади. А на что две, когда и с одной пока справляется, как справлялся отец: «Латай портки вовремя...»

Раскрыл ей, кто он такой — поводырь в сказку, к молочным рекам.

Она покорно поверила, раз верил он.

Она-то поверила, но должны поверить и люди. Докажи делом! Не просто — на это, пожалуй, уйдет не один год.

Земля еще пресно пахла талой водой. По стерне мотыками гуляли грачи, ждали первой борозды.

Первая весна в новой семье.

Он взялся за ручки плуга, сказал озабоченно:

— Ну, лиха беда начало.

Из-под лемеха отваливались сытые куски. Грачи выстроились растянутым цугом. Спину его провожали счастливые глаза Маруси.

Первая борозда. Обоим верилось, что она уведет далеко-далеко, и не только их.

В эту весну он совершил дерзость — кто б из мужиков на такое осмелился! — лошадь сменял на поросенка. А расчет оказался верным. С тех пор начал богатеть.

Матвей Студенкин привык смотреть на белый свет сквозь прорезь винтовки.

Он, Иван, по-своему уважал Матвея, голосовал бы обеими руками за памятник ему, но Матвей лег бревном на пути...

Верил: не твое дело толкать это бревно, люди сами спихнут, а он, Иван, не спешит, он молод, ждать может, жизнь-то только началась. Он верил и ждал...

Любил и берег коней — эх, серы кролики! — но отвел их в коммуну. Коней, корову, свиней. Что еще? Ру-

баху с плеч? Готов! Его даже не особо огорчило, что Матвея Студенкина выбрали в руководители.

Поживем — увидим.

Его назначили заведовать живностью коммуны. А вся живность, считай, — в его бывшей свиноферме. За какой-нибудь год-два он так развернет свое дело, что все кругом ахнут от удивления.

Поживем — увидим!

Но с первых же дней неприятность. Пригнали обобществленных бедняцких свиней, хребтисто тощих, в коростах от неведомых болячек, в свежих ранах от недавних драк — лютное, визжащее зверье.

Приказ:

— Размещай!

— Куда?

— Как — куда? К твоим.

— Рядом с породистыми-то?

— Эва, твоим курорт, а наши, бедняцкие, в канаве. Своих отличаешь! Кулацкое нутро взыграло?.. Мотри!

И попробуй докажи, что этих коростяных, чесоточных нельзя и на версту допускать до породистых. Дешевле их выгнать в лес подальше.

У Ивана на год вперед, до нового урожая, было заготовлено и муки, и картошки, овса и круп с избытком, чтоб стадо жирело и плодилось. Но нагнанная свора оказалась прожорливой. В них, как в прорву, — жрут, гадят, а глаже не становятся.

Весной приказ от Матвея, обухом по голове:

— Передать излишки кормов со свинофермы ко-
нюхам.

— Излишки? Где они?

— Не рассуждать! Передавай, что есть.

Все в коммуне одобряли Матвея: на лошадях-то пахать, а на пустое брюхо они плуги не потянут, эка беда, ежели свиньи и потощают чуток.

В тесном свинарнике — голодный вой, страшно войти, породистые и те стали бешеными.

А от Матвея новый приказ:

— Выделить трех свиней на убой!

Опять верно, надо кормить не только лошадей на пахоте, но и самих пахарей.

Иван наметил на убой не трех, а пять свиней — не из породистых, из сброда. Туда им и дорога, нисколько не жаль — меньше ртов, легче прокормить.

Но как только стало об этом известно, поднялся вопль:

— Это что же, трудящемуся человеку — кусок по-жестче, мягкий жадуешь?

— Свое добро бережет!

— Нутро-то кулацкое!

— Не финти, Ванька, режь тех, что пожирней.

Иван пробовал втолковывать, обещал — лошадей новых купим, плуги, машины, дайте только сохранить свиней, только они дадут доход в звонкой копеечке, помимо них коммуне рассчитывать не на что.

Сули орла в небе... Когда-то этот доход будет, а мясцом полакомиться и сейчас можно. Прежде слеговская свининка уплывала на сторону, теперь — шалишь, наша, «общая», чего цацкаться.

Поживем — увидим.

Трезво оглянуться — это грабеж, дикий, необузданный.

Земля наша — не твоя, потому не усердствуй особо. Свиньи — наши, не твои, —чего их жалеть, режь! Не твои лошади, не твои коровы, не твой инвентарь. И ты, как в крепком хмелю, — зачем думать о завтрашнем дне, живи минутой!

Матвей Студенкин сидел в окопах, валялся в тифу, лил кровь, он не жалел себя, чтоб отвоевать новую жизнь. И отвоевал! А теперь не жалел отвоеванного.

Иван заговорил было во весь голос:

— Куда катимся? Опомнитесь! Революцию в навоз втоптываем! Жизнь это или издевательство?

Кой-кто с опаской его слушал и, должно, соглашался. А кто-то сразу затыкал ему рот:

— Эва! Это ты-то революцию спасаешь. Помним — каких коней имел. Тебе назад любо.

Коней ему припоминают, тех, что добыл своими руками, а потом сам отвел, не пожалел. Стыдись их, они на тебе Каиновой печатью.

Никто его не поддержал — молчали. Замолчал и он.

По утрам он разносил жидкое пойло, свиньи встречали его голодным ревом.

Он продал свои фетровые бурки, чтоб купить пять мешков мякины для свиней. Фетровые бурки — ложкой море не вычерпаешь.

От жены он ждал попреков. Должна бы попрекать—обманул же: расписывал себя пророком, попал к свиному корыту.

Маруся—ни слова, молча билась вместе с ним, лазала с пестерем и серпом по чужим огородам, жала для голодных свиней крапиву, запаривала, нянчилась с сосунками, выносила ехидную бабью жалость: «Болезная ты, мужик-то у тебя умом тронутый... Какое хозяйство, ну-тка, на распыл отдал...» Руки ее были жестки и корявы, сама похудела и почернела, от глаз потянулись морщины. И старых нарядов она уже не надевала, шелковая шаль, в которой когда-то выезжала на серой паре, лежала на дне сундука.

Однажды в масленицу, в морозный ясный день, когда солнце освещало пышное кружево заиндевевших берез, она увидела вышедшего на крыльцо Ивана в подшитых валенках, в старом заскорузлом кожаном плаще и заплакала. Вспомнила недавно проданные нарядные бурки, обшитые желтой кожей, вспомнила, как в такие дни, празднуя масленицу, они катались по селу на серой паре: «Э-эх! Серы кролики!»

Иван стоял пришибленный, не знал, чем успокоить, не находил слов. И вдруг — диво! — вместо того чтобы от него ждать успокоения, она сквозь слезы стала успокаивать сама, нашла слова:

— Ничего, Ванечка, жизнь-то она ровно не идет. Перетерпим, масленицы дождемся.

Сквозь слезы, виновато улыбаясь дрожащими губами.

А в голубой путанице закуржавевших ветвей застряло желточно переспелое солнце, по подрумяненному снегу тянулись синие тени.

Иван сжал зубы, чтоб самому не расплакаться, приказал:

— Иди, надень шаль... Ту... шелковую... Ради праздника.

Матвей Студенкин — колода на пути. Даже ребятишкам в селе ясно — Федот, да не тот. Но что ни день, то крепче его власть — получил право указывать перстом: этого раскулачить и выслать, этого, этого!.. На Ивана не ткнул, но задеть задел. Маруся рыдала, билась головой о стену, лежала разбитая. Иван боялся — подымется ли Маруся на ноги, ездил в Вохрово за врачами. Она поднялась, пошла жать крапиву для свиней.

После того Иван пришел к Матвею, положил на стол заявление:

— Вот. Ухожу из колхоза.

Матвей ухмыльнулся:

— Уж так просто — ухожу. От раскулачивания увильнул, за коммуны спрятался, теперь — хвост трубой да на сторону. Шалишь, Ванька!

Тогда-то Иван решился: все молчат, а он скажет.

Сказал...

Эхом откликнулись люди.

Откликнулись... Казалось, тут-то и должны бы вспомнить все, что он сделал. Доверьтесь, силу и душу отдам без остатка!

Вспомнили об Евлампии Лыкове, ему доверились — он понятней, он свой, ты — белая ворона.

Мальчонка, один из лыковских племянников, в первый раз привез с маслозавода сыворотку для свиней.

— Принимай, дядя Иван.

Об этой сыворотке шла долгая переписка с районом, извели пуды бумаги — улита едет, не скоро будет. И вот улита приехала.

Лошадь у паренька была крупная, грязная, под линялой шкурой туго выпирали ребра, голову держит понуро. Иван подошел, чтоб помочь парнишке, — вдруг лошадь подняла голову, обдала влажным взглядом и тонко-тонко, с тоской заржала. Он-то не узнал, а она узнала... Один из двух серых лебедей — копыта разбиты, бабки вздуты, брюхо в коросте грязи, и влажный взгляд, и тоскующий плач по прошлой жизни, по теплому стойлу, по ласковой руке хозяина, сующей в бархатные губы куски сахара.

Он любил своих лошадей, гордился ими... Он никогда не заглядывал в общественную конюшню; если видел серых коней на дороге — отворачивался, боялся разбередить душу.

И вот нос к морде, глаза в глаза столкнулся... Конь первым признал его...

Ночью не спал, лежал с горячей головой, видел перед собой влажный, преданный, тоскливый глаз, а в ушах — тихое, проникновенное, призывно-жалобное ржание. Копыта разбиты, бабки вздуты, ребра что обручи, проведи палкой — загремят.

Довели... Так-то, Иван, и тебя изъездят...

А утром — пасха, печные трубы источали запах сдобных куличей. Церковь недавно закрыли, против церковных праздников шла напористая агитация, но праздновали все — верующие и неверующие. Кто по русской привычке откажет себе лишний раз выпить да повеселиться?

Село праздновало пасху, бабы, выскакивающие на крылечки, полыхали яркими поневами.

Иван с женой разносил пойло свиньям.

Вечером горела лампа с надтреснутым стеклом, освещала начищенный рюмчатый самовар, блюдо с горшечного цвета крашеными яйцами. За черным окном моросил мелкий дождь, никак не пасхальный. В сырой темени пиликали гармошки, доносился резаный крик пьяной бабы и вызверевшие от самогона голоса.

Они вдвоем сидели за столом. Маруся, старательно причесанная, в чистой кофте, а лицо желтое, усталое. Им даже не к кому пойти в гости. Принято ходить к родне, а родни-то в селе у них не осталось — отец и мать Ивана померли еще до коммуны, Матвей Студенкин освободил от родни Марусю.

Пиликают за окном гармошки, чужое веселье идет стороной, они вдвоем с глазу на глаз, никто не вспомнит, никому не нужны. А завтра снова придется отбиваться от озверевших с голодухи свиней, и завтра, и послезавтра, и на третий день, без конца — в тупике жизнь, в тупике мысли, давящее молчание за столом.

— Иван... — У Маруси в тени под бровями нехороший, блуждающий блеск, голос придушенный: — Иван, сходил бы ты... Разыскал деда Бляху, что ли...

Он внутренне содрогнулся от ее голоса:

— Зачем?

— Все гость у нас будет.

Не было презренней человека на селе, чем старый, без роду, без племени, выживший из ума бобыль Бляха. И занятие у него — помогает чистить нужники. Косноязычен, грязен, умом убог, робостью пришиблен. И такого-то за стол, вот уж гость от великого отчаяния.

— Маруся, ты в своем уме?

— А что тут плохого?

— Выходит, нам вдвоем плохо?

— Сиротливо, Ванечка, сам чуешь. Теплей станет, когда одно сиротство к другому прислонится... Не перечь, сходи за стариком, Христом-богом молю.

Они привыкли друг друга слушаться. Она просит, отказать не смел — поднялся в смятении...

Окна изб были по-праздничному освещены, в них качались тени. Но яркие окна не разгоняли сырой тьмы, напротив — от них она казалась еще гуще, жирней. И шел укрытый темнотой праздник — перекликались гармошки, чавкали сапоги по грязи, пробивалась сочная матерщина, и все еще резано кричала пьяная баба.

Вспомнилась вчерашняя встреча с лошадьё — разбухшие бабки, влажный тоскливый взгляд, тихое, выворачивающее душу ржание. Не будущее ли его это? А может, сегодня уже так выглядит? Маруська за гостем послала, за Бляхой... Сломалась!

А кругом пьют, веселятся, дерут мехи гармошек — что он для них.

Любил их, себя предлагал и оптом, и в розницу — берите, не стесняйтесь. Один Матвей Студенкин — колода?.. Ой нет, каждый! Весь путь из непролазных колод, не мечтай пройти — ноги сломаешь.

Он шел, прижимаясь к изгородям, чтоб не ступать по грязи, лез в сырую темноту, заполненную звуками чужого праздника. Стояла перед глазами лошадь с понурой мордой, с тоскливо любящим влажным взглядом. А дома под лампой сидит сейчас Маруся — причесанная на пробор, в выглаженной кофте, с желтым, усталым лицом. Он не только собой, но и ею бросался — берите, жертвую, ничего не жалею. Маруся! Маруся!.. Ради кого?..

Выгнанный из дому, Иван вдруг почувствовал буйный приступ отчаяния — вот-вот рухнет на землю, начнет вопить и корчиться в грязи. Не-на-ви-дит! Себя! Всех! Весь свет, кроме одной жены, чью жизнь он пустил на размен! Ненавидит! Обворовали, сволочи, выхолостили, горло бы рвать каждому!..

Из проулка, веющего колодезным мраком и сыростью, заревела гармонь, стала надвигаться. Темный воздух сотряс сиплый голос:

Я на Дуньке верхом —
Ножками качаю.
При колхозе можно жить,
Сталина не хаю!

Промесили грязь плотной кучей, пахнувшей избяным теплом и сивухой. Новый голос, молодой, певуче въедливый, выдал на отдалении:

Заграницу обгоняем,
Хлещем, выпучив глаза:
Пропадай, моя телега,
Все чот-тыре колеса!

«Вот они, на кого разменял себя и Марусю! Им плевать, как пойдет жизнь, плевать, будут ли сыты, плевать, как после них станут жить дети, даже в этих пьяных песнях они издеваются над собой. А на тебя им и подавно наплевать. Только юродивые в ответ на плевков утрутся и с поклоном благодарят. Ты — юродивый для них!»

В истощенный ненавистью мозг пришла простенькая мысль. Пьяное ночное село навело на нее, визгливые вопли бабы, на которые никто не обращал внимания. Ежели в такой вечер кого убить — кто удивится? В такой вечер все возможно.

В другое время эта случайная мысль мелькнула бы и исчезла, как тысячи других нелепиц. Сейчас засела занозой, стал отгонять ее, продирался вдоль изгородей вперед, к окраине села, где стояла на отшибе, задом к полям, маленькая, как банька, изба горького бобыля Бляхи.

Он позовет Бляху, он усадит его за стол. Может, Маруся права, в ней бабья мудрость — в таком вот сиротливом бобыле Бляхе и живет человечье. Пусть завтра все село начнет издеваться — вот, мол, сошлись Ванька Слегов и золотарь Бляха — два сапога пара, ха!

Вышел за село. В лицо с невидимых, спрятанных в ночи полей ударил густой и влажный ветер. Там, за толщей ночи, стоит колхозная конюшня, сооруженная из старого овина. Наверняка возле этой конюшни никого нет. Конюхи пьянствуют в селе.

Случайная мысль не давала покоя. Она росла в голове, как ряска в теплой луже.

Убить или поджечь — кто удивится! Все возможно. Конюшню поджечь, перед самой посевной. Пийко Лыкова возьмут за жабры, а в колхозе новая карусель. Ненавидит! За оплеванную жизнь, за рев голодных свиней, за Марусю, сидящую сейчас под лампой с желтым лицом, — за все!

Дул тугой, влажный ветер навстречу, за спиной гуляло село, забывшее о его существовании, там затерянная, одинокая Маруся. Она-то, может, готова простить, но он уже прощать не хочет. А ночь все покрывает... А завтра он снова положит на стол заявление:

не могу с вами, сплошные непорядки, и зачем я вам, я, читавший в гимназии Лекутэ, выписывавший журнал «Сам себе агроном», создавший в округе лучшую свиноферму... Как знать, спохватятся, да поздно! Перегорел!..

Искрились картины, одна другой злорадней. Иван впервые за последние годы снова почувствовал себя сильным, дерзким, способным на отмщение. Долго страдал от своей доброты, не хватит ли?..

Он только тут ощутил, насколько тяжела его ненависть. Не под силу носить ее, жить с ней изо дня в день, притворяться покорным, разносить свиньям пойло. Рано или поздно прорвется, это может случиться среди бела дня, без его воли, без его желания. Так не лучше ли сейчас, пьяной ночью, когда все возможно. Другой такой случай не скоро представится.

Руки сами стали шарить по карманам, искать спички.

Если б под рукой не оказалась коробка спичек... Наверно, он бы повернул домой, наверно, потом сам испугался бы дикой минуты, с годами пережил свою ненависть, и жизнь пошла бы иначе. Коробок спичек... Он отыскался: часа два назад Иван в свинарнике зажигал фонарь.

Сжимая в кулаке коробок, Иван ощупью по бровке грязной дороги зашагал в поле, испытывая зябкое, обессиливающее томление — за все! Сами постарались, чтоб стал врагом...

Он уходил в ночь от села, переборы гармошек становились все глуше и глуше.

Тьма и полевая тишь. Сыплет дождичек да налетает ветер, ночь похоронила пьяное село. В черном, как сама земля, небе не увидел, а скорее почувствовал вознесшуюся крышу. Сквозь дощатые ворота слышался мирный стук, то лошадь ударила копытами о настил. Там и его кони...

И опять вспомнилось — уроненная морда, влажный взгляд в душу, нечеловечья жалоба... И их вместе со всеми?.. Подавил жалость — им-то и подавно смерть — избавление, самому хозяину жить неумоготу...

На всякий случай окликнул сколовшимся от волнения голосом:

— Эй, кто тут живой?

Молчание, вздох рабочей коняги.

— Эй, дрыхнете, черти! Максим! Степан! Кто нынче дежурит?

Ворота не заперты, даже чуть приоткрыты, манят черной щелью. Ну и порядочки, любую лошадь уводи в овраг. Конюхи Максим Редькин и Степан Зобов и в будни-то не любят торчать по ночам в конюшне.

Что ж, Иван, неудавшийся вождь села, берись за полуночное дело.

На секунду пришла трезвая мысль: «А не бросить ли, к чертям, затею!» Бросит, унесет с собой ненависть, та станет жечь: был случай да упустил. Тряпка ты, Иван, потому-то тобой и помыкают.

Где-то тут должно быть сено. Так и есть, неразобранный воз мок под мелким дождем. Разгреб сверху волглое, кисловато пахнущее, добрался до сухого, стал охапками носить под угол, под дверь. Прижатое к лицу сено щекотало ноздри залежалыми покойными запахами тмина и медовой каши, сохранными с лета.

Рука сжимает коробок. Одна спичка — и займется, ровный ветер с поля будет нагнетать огонь на бревенчатую стену. А бревна овина старые, выстоявшиеся.

Встал перед сеном на колени, согнулся, прикрывая собой от ветра сложенные лодочкой руки. Ну, с богом...

И рука окостенела на коробке, стиснуло грудь, съежилось до ореха сердце, на ознобленной голове под шапкой вспухли волосы.

За спиной явственно прошуршало, кто-то толкнул дощатые ворота, потревожил брошенное под них сено. Вкрадчивые шаги... Нет сил обернуться. Шаги замерли. Кажется, дышат прямо в затылок. Потная рука с хрустом сдавила коробок...

Хотел вскочить... Обрушилось на спину — похоже, бревно, тупое, тяжелое...

Сено колюче встретило лицо...

Считали: он прозорлив, как никто, видит на пять лет вперед, на аршин под землю. А не рассчитал простого — пьяного праздника боялся и сам председатель Лыков, и раз уж взяли его за душу опасения, то первая мысль — конюшня. Положиться на конюхов нельзя, Максим и Степан отцов родных на смертном одре побросают, коль учуют, что спиртным пахнет.

Евлампий их отпустил — гуляйте, сам устроился спать на сене в яслях.

Его разбудил окрик:

— Эй, кто тут живой?

Не ответил, стал осторожно выползать из яслей.

Можно бы и не осторожничать — кони фыркали и шуршали сеном.

У ворот в углу стояли свежие заготовки для оглобель. Одну из них, еще хранящую тяжелую влажность живого дерева, Евлампий и опустил на спину Ивана.

Кляня в бога и мать кулацкую сволочь, святую пасху, конюхов, вслепую отыскал дугу, обротъ, хомут, чересседельник, вывел лошадь, ощупкой запряг ее, завалил в телегу размякшего, бесчувственного Ивана и повез по непролазной весенней грязи за пятнадцать километров в Вохрово, в больницу.

Едва отъехал от села, как на тычках да ухабинах Иван пришел в себя, стал надрывно кричать:

— О-о! До-бей!.. О-о-о! Мочи нет!.. Добей, ради бога!

— Заткнись, контра!

— До-обей, гад!.. Будьте вы все прокляты! Будьте трижды прокляты, сво-о-о-лочи!!

Вопли и проклятия разносились по темным, сырым, неуютным полям. Евлампий Лыков нахлестывал лошадь.

Оказалось — перебит позвоночник, отнялись ноги. Ивана упрятали в жесткий гипсовый панцирь от паха до подмышек.

Стояли славные солнечные деньки. Из больничного садика лезла в открытое окно яркая весенняя зелень. В селе, должно, суета, дым коромыслом — сев в разгаре.

Идет сев, а ему плевать, понимал — он человек конченный. Ежели даже и вылечат, и ноги снова оживут, то топтать им придется уж не зеленую землю, над которой хотел властвовать, а казенный пол тюрьмы. Попытку поджога ему не простят.

Просил врачей и сиделок:

— Жену пустите.

Просил каждый день.

— Жену...

Другого желания не было.

А его берегли после операции — обращались ласково, мерили температуру, кормили с ложечки теплым бульоном, сходились над койкой по несколько человек, рассуждали озабоченно. Может, потому и Марусю не допускали — вдруг да сильно разволнуется, не на пользу пойдет. Станный, однако, народ — берегут, чтоб потом в тюрьму упрятать. Наказывали бы сразу, раз контрой стал, чего глупые церемонии разводить, хлопот меньше, да и дешевле.

От безделья лезли в голову покаянные мысли: «Эх,

не умно сорвался, на черта их конюшня сдалась, без фокусов рано или поздно убраться мог, живите как хотите, я — сторона...» Но если прикинуть, куда бежать-то, на какие земли? Теперь всюду порядки одинаковы...

— Жену пустите.

Дадут ли поглядеть на родного человека, на единственного?

Дали...

Однажды днем задремал, уставши от пустопорожних мыслей, проснулся от того, что кто-то смотрит в лицо. Открыл глаза и вздрогнул под гипсовой жилеткой — она! Не домашняя, не знакомая, в больничном халате, лицо усохшее, нос острый, в глазах покорное страдание, как у подбитой птицы.

— Ванечка, кровинка моя...

И, словно в яму, стал валиться, потемнел в глазах ясный день. Как сквозь стену, бился пойманной чайкой ее голос:

— Лихо ты мое горькое!.. Да что с тобой?.. О господи! Кто тут! Где доктор-то?..

Но он уже пришел в себя:

— Не надо, не зови никого.

И, не скрывая выступивших слез, сказал счастливо:

— Думал, не увижу никогда.

— Куда я от тебя денусь? На веки вечные веревочкой связаны. Неразлучный ты мой!

Он взял ее грубую, в черных трещинах и ссадинах руку, прижал к небритой щеке:

— Связаны не на счастье, выходит.

— И не смей, не смей! Какие слова говоришь!.. Как только язык повернулся!

Он прижимал к щеке ее руку и глядел в глаза. Глаза тревожные, сухие, опаляющие страданием.

Знает ли? Как не знать. Поди, по селу давно звон стоит, на нее пальцами тычут — сучка каторжная... И прощает, как всегда.

Но нет, она ничего не знала, осторожно, чтоб не разбедить, спросила:

— Кто же это тебя, Ванечка? Какая зверина?

— Кто?.. А разве не известно?

— Евлампий Никитич рассказывает: за Пашутиным домом на задах тебя нашел. И как это тебя туда занесло?.. Клянусь себя, распроклятую, что толкнула из дому.

— За Пашутиным?.. На задах?.. Чего он комедию ломает?..

Не знает она, не знает и село, иначе бы донесли, уж не постеснялись. От новой тайны заметался в гипсовых оковах:

— Чего он молчит?.. Чего ему, подлецу, еще от меня надо?..

— Кто, Ванечка? Гос-поди! Кто?!

— Не спрашивай! Потом! Только не сейчас! Потом все узнаешь! Сама!.. Только теперь не спрашивай...

— Молчу, молчу. Ради Христа, утихни. Не казись, и так сердце разрывается.

Он не сразу успокоился:

— Что ему? Не пойму, что еще?..

Глаза ее потемнели, взгляд стал тяжелый, сильно, видать, хотела знать, но не допытывалась, только гладила черствой ладонью его лицо. Ему же в эту минуту не хотелось ворошить прошлое. Минута-то счастливая.

Но из головы не выходило: все-таки, что надо Пий-ко? К чему эта игра в прятки?

Скоро выяснилось. Евлампий Лыков явился собственной персоной — широкий костяк черепа проступает сквозь тугую, обветренную кожу, белесые волосы поредел, под шишкастым лбом в сумрачных яминах голубые глазки, неожиданно ласковые, с тихой улыбочкой. И пахнет от него вкусно — то ли черемухой, то ли горечью клейких листьев, обидным для закованного в тяжелый гипс человека. А в руке у Евлампия узелок — цветочками линялый ленок. От узелка тянет домашним уютом, покоем обретенной семьи. Евлампий, считай, молодожен, не столь давно, в этот мясоед, праздновал свадьбу, взял в жены Ольгу Редькину. Ей — восемнадцать, ему — за тридцать перевалило. Узелок в голубых цветочках, голубые глазки в доброй улыбочке, — ну, ни дать ни взять, пришел брат, родная душа.

— Вот... — узелок положил к подушке возле уха Ивана. — Тут курочку жинка сварила. Сам подбирал — молодая, тельная...

— Тебе чего, сукин сын? — спросил Иван в потолок. — Сам видишь, я калека, одной ногой в могиле. От меня уже не покорыствуешься.

— Выживешь. Узнавал — выживешь. Плясать — вряд ли и ходить вряд ли, а жить будешь.

— Чего тебе от меня? — сурово повторил Иван.

Он лежал наособицу в операционной палате — тесной комнатухе на одно окно, с одной койкой. И хотя кругом никого не было, но Евлампий все-таки шагнул

к окну, за которым в близком и недоступном Ивану солнечном мире скандалили воробьи, захлопнул его, снова сел напротив — короткая шея, массивные салазки, крепкий череп под шершавой шкуркой, бронзовый лоб, хоронящий под собой голубые глазки. Уже без улыбки, уже деловит.

— Ты, Ванюха, жить будешь, за это лекаря скопом ручаются. Жить будешь, но сидючи. Вот я и подумал: а зачем мне тебя в тюрьму упрятывать, бог с тобой...

— Одолжил. Может, ждешь — спасибо скажу?

— Может, и скажешь. Пока я всем говорю: стукнули тебя по пьяному делу, а кто — не знаю. Конечно, и ты ведать не ведаешь. Ясно? Припутывать кого-то там не след. Мало ли в праздники чего не бывает.

— Жалостлив или боишься, что тебе самоуправство приклеят?

— Мое самоуправство законное. На разбое тебя прихватил, так что — чист и свят, даже благодарность могу заслужить.

— Все корысть, чего отказываться-то.

— С тебя корысть поболее.

— С меня?.. Я же калека без ног.

Евламий помолчал, ощупывая голубым глазом. В его взгляде — не насмешка, не холод, а, похоже, жалость. И это поразило Ивана: застал на разбое, оглушил оглоблей и... жалеет. Притворство? Хитрость? Издевка или совесть взыграла? С чего бы?..

— Эх, Ванька, Ванька! Ведь я ждал, ждал... — произнес Евламий.

— Чего?

— Что озлобишься. Я за тобой не один год со стороны слежу. Я, может, один только и понимал тебя: и как ты показать себя хотел, и как сорвалось, как в свином корыте надежду утопил...

— Потому и приложил?

— Все-таки не думалось, что до такого дозреешь. Враг среди ночи — ударил, прощенья за то не прошу, хотя жалею.

— Хватит ерничать-то. Я же в жалость давно не верю — ни в твою, ни в чью-то.

— Может, мне надо было свое место тебе уступить — пограмотней да и поумней меня, поди, лучше смог бы колхоз поднять. Но у меня тоже душа по большому делу зудит. И с народом я лучше тебя столкнуться могу. Ни народ тебя не понимал, ни ты его. Так что — баш на баш менять, только время терять.

— Чего хочешь, Пийко?

— Иль не ясно еще? Тебя к себе приспособить. Ты мне советик, я его в дело вобью. Накормим, оденем, обучим людей, такое, может, завернем, что никому и не снилось. Может, дома белокаменные вместо изб поставим, в них у каждого столы со скатертями, полки с умными книгами. Не жизнь, а масленица. Будет! Будет! Верю! Ради такого кровь по капельке выцедить не жаль!

И под надвинутым черепом вспыхнувшие синевой глаза — верит, не врет. Невдомек Евлампию Лыкову, что он сейчас этой верой бьет Ивана больней, чем оглоблей. Старая, безнадежно потерянная сказка о счастливом селе Пожары, где молочные реки и кисельные берега. Евлампий выкрал ее, присвоил себе и ждет, чтоб помогал. Иван дернул головой:

— Нет уж, Пийко, не выйдет. Сам справляйся, а меня не трожь.

Евлампий сразу поскукнел, отвел глаза, сказал:

— Выйдет. Куды тебе такому подеться, даже ежели и помилуют. Милостыню под окнами просить не способен — ложись и помирай. А я жить даю.

— А ты спроси: хочу ли я... жить-то?

— Хочешь, Иван, хочешь, даже сидючи. Посажу тебя счетоводом. Кормить будем, поить будем.

— Мне за это перед тобой на лапках служи?

— Лапки-то у тебя попорчены, а вот голова цела.

— Все равно не захочу!

— Чего тебе еще хотеть? Только царства небесного. — Евлампий лениво встал. — Поправляйся скорей... Сев идет неплохо, авось и лето не подведет — с урожаем будем... А курочку съешь, не брезгуй. Когда варилась, соседи слюни глотали. Я-то сам не помню уж, когда и пробовал курятины...

В начале сентября, в ясное прохладное утро, когда трава еще мокра, а пыль на дороге вязка и ленива, двигался через село Иван Слегов.

Бабы останавливались, зажимали рты концами платков, глядели раскисшими глазами — ох, горемыка несчастный, господи!

Иван налегал на новенькие, недавно выстроганные костыли, перекидывал чужие, словно привязанные ноги, потел с непривычки.

Он шагал в колхозную контору, где за бухгалтерским скрипучим столом его ждал свободный стул.

Лицо серое, бородавчатое, оттянутое на одну сторону, правый глаз полуприкрыт мятым веком.

Висит над койкой грузный Иван Иванович.

Он полжизни шел к этой койке. Он почему-то верил — ему придется увидеть Евлампия Лыкова на смертном одре. Верил против здравого смысла — сам-то сидел сиднем тридцать лет и три года, оплывал тяжким жиром, страдал от сердечной одышки, от больных почек, ему ли, калеке, надеяться, что пересидит налитого кипучим здоровьем Евлампия — физиономия словно натерта кирпичом, багровый загаривок, ртуть-мужик, для всех неожиданность, что свалился. Не должен бы верить, а верил...

Вот оно... Мир уже разглядывает не живым зрачком — кисельной слизью из-под мертвого века. Очень близкий человек, чаще ни с кем не встречался, теснее никого не знал.

Вдруг Иван Иванович вздрогнул под своим толстым зимним пальто всей кожей: в тенистой впадине виска уловил — бьется жилка, натужно, неровно, еле заметно для глаза, но бьется. Последние толчки бурной, шумной, удачливой жизни.

Охватила неожиданная жалость к Евлампии, неподвижно лежащему под одеялом, чужому Евлампии, с чужим сдвинутым лицом. Собирался напомнить костыли, долги живого потребовать с покойника. Лежачего лягнуть, а лежащему безразлично.

Старый бухгалтер неуклюже зашевелился, развернулся, волоча валенки по крашеному полу, двинулся к дверям, убегая от чужого Лыкова, от своих мстительных мыслей, от самого себя. Лежачего лягнуть... Зачем?

Как тень, качнулся за Иваном Ивановичем Чистых.

Сестра-сиделка проводила их отсутствующим взглядом, села на стул возле койки, принялась за свой недовязанный носок.

В минуты откровения Евлампий Лыков признавался: «Ты, Иван, мой посох, без тебя я так далеко бы не ушагал». Иван Слегов обычно такие откровения встречал молчанием.

Земли села Пожары упирались в земли деревни Петраковской. Деревня большая, по числу дворов не уступала селу. В селе — церковь («Богу помолиться — нас не обойдешь»), зато петраковцы, хоть и подальше от бога, но всегда жили позажиточнее — сидели на заливных лугах, а значит — держали больше коров, значит — и землю погуще сдобривали навозом, почаще ставили на стол щи с наваром. Ни один престольный праздник не проходил, чтоб по селу Пожары не раздавался клич: «Бей жилу!» Пожарец с раннего детства усваивал, что каждый петраковец:

Жила, жиловат,
Тошой ухват,
Морквой разговелся,
Брюхом исстрадался...

«Бей, братцы, жилу, круши их!»
Петраковцы презирали пожарцев, дразнили:
— Вань-кя! Вань-кя! Продь-ко по доске.
— Чай, я квасу хлябанул — шатае...

Навряд ли справедливо, потому что «Бей жилу!» раздавалось не с квасу.

В Петраковской не было коммуны, как не было коммун в других деревнях и селах, в Пожарах — единственная во всей округе.

Как теперь, так и прежде, все убеждены, что пожарский колхоз поднялся только тем, что Евлампий Никитич Лыков счастливо оказался в председателях. Он — причина.

Иван Слегов вслух не возражал, но про себя никогда не соглашался с этим.

Да, Пийко Лыков — пробивной мужик, да, он и в старости — до того как свалил удар — был быстр на ногу, до всего поспевал сам, а в молодости и по-давно не знал покоя — не откажешь, вез воз на со-весть.

Но с тех забыто древних времен, когда пещерный мужик провел первую межу по земле, отделил ее от других земель, назвал своею — живет единоличность. И чтоб это тысячелетне мужицкое — мое кровное, не лезь, душу вырву! — кто-то один ретивый за год, за два лихо повернул на коллективное — ну нет, шалишь, слишком просто. Ни приткость Пийко Лыкова, ни его веселые шуточки не помогли бы. Наверное, и у него, Ивана Слегова, окажись он на месте Пийко, вышла бы осеч-

ка. Теперь-то он поумнел, великим деревенским вождем не мнит себя.

Может как-то научить уму-разуму сама жизнь. А село Пожары пережило бесшабашную коммуну Матвея Студенкина. Она прошла у всех на глазах, она насторожила даже самых отпетых: «Берись за ум, плохо будет». Одно то, что Мотьку Студенкина скинули, Пийко поставили, уже говорит — «взялись за ум».

Прыткость Лыкова — не причина. Просто Петраковская не получила науки. Председателем там покорно приняли присланного сверху, похожего на Матвея рубашку, который сердито жал «на процент», сами неученые примером мужики тянули — кто в лес, кто по дрова, сев дружно завалили в первый же год, петраковские поля — извечная зависть пожарцев — покрылись жирным лопухом и веселой сурепкой. Петраковцы одни из первых начали стряпать пироги из травы...

Лыкову верили, Лыкова слушались, Евлампий Лыков мог при случае припугнуть: «Обратно к Мотьке под крылышко захотелось, оглянитесь на петраковцев — хороши ли?» Это крепко помогало.

Лыков в те годы не мнил о себе высоко, иначе не посадил бы безногого Ивана Слегова: «Советуй!»

Ивану ничего не оставалось, как честно служить: за выручку — «от тюрьмы-то тебя оберег» — и за хлеб — «милостину под окнами просить не способен». Он не подымался со стула, не ездил по полям, но хозяйство знал не хуже самого Евлампия, который обегал его в день по нескольку раз. Советуй... Что ж, изволь.

— Земли за рекой пахать собираешься или нет? — спрашивал Иван Евлампия.

— Вот они у меня где! — Евлампий хлопает себя по короткой шее, еще не обложившейся крутым жирком. — Прыгай не прыгай — тягла нет, рук нет, весна шпарит...

— Раз так, не паши, — роняет Иван.

У Евлампия округляется косящий глаз, рот сжимается в гузку — недоверие и подозрительность на опаленной физиономии: «Иль с ума спятил, иль под монастырь подвести хочет».

— А хлеб нам с неба упадет, что ли?

В ответ спокойный вопрос:

— А много ли сымешь за рекой хлеба?

Молчание. Евлампий сердито посапывает. Он не хуже Ивана знает: абы сымешь, абы нет. Но пусть плоха земля, недородна, тогда тем более усердствуй, чтоб что-

то из нее выжать. «Не паши...» — Евлампий сопит. — Сена в эту зиму не хватило... — подсказывает Иван.

Евлампий сопит.

— И опять не хватит. И всегда не будет хватать, пока новые луга не огорюем... Нам даже суходолы — дар божий.

Евлампий перестает сопеть, глядит Ивану в глаза, по застывшей физиономии видно, что под квадратным черепом колесом крутятся мысли.

— А что, ежели... — говорит он тихо, еще не веря своему прозрению.

Иван усмехается:

— Ну, ну, рожай.

Казалось бы, дикость — забросить земли, с которых исстари сымали хлеб. Но не хватает рук, не хватает навозу, не хватает и корму для скота. Как выкарабкаться? Просто — не паши, запусти часть земли под луга и... бросай тягло и руки на другие поля, на эти же поля можно вывезти больше навозу, значит, жди с них погуще и урожай, а колхоз со временем получит новые покосы. Попробуй поступить иначе — разбросаешь силы, останешься и без хлеба и без сена, поползет хозяйство, как прелея онуча.

Евлампий хлопает себя по ляжкам:

— Дело!

Мысль родилась в председательской голове, не первая и не последняя мысль с помощью «бабки-повитухи» — безногого Ивана Слегова.

— Дело! Кой-кто на дыбки встанет. Уломаем!

Вот уламывать Евлампий умеет мастерски: и лаской, и таской, и слезливой бумажкой в район, и хлопотливым беганьем из кабинета в кабинет по нужным начальникам.

В Петраковской, по соседству, падал скот от бескормицы, люди ели хлеб из крапивы, колобашки из куглины, пареную кашу из дягиля. И не в одной Петраковской. По стране шел голодный год — тысяча девятьсот тридцать третий.

В районном городе Вохрово, на пристанционном скверике, умирали высланные из Украины раскулаченные куркули. Видеть там по утрам мертвых вошло в привычку, приезжала телега, больничный конюх Абрам наваливал трупы.

Умирали не все, многие бродили по пыльным, неказистым улочкам, волоча слоновьи от водянки, бескровно голубые ноги, собачьи просящими глазами ощупывали каждого прохожего. В Вохрове не подавали; сами жители, чтоб получить хлеб по карточкам, становились с вечера в очередь к магазину.

Тридцать третий год...

А в селе Пожары, где всегда жили по пословице: наша горница с богом не спорится, первыми оставались без урожая в засуху, терпели первыми от проливных дождей, от градобития, от конского сапа, от ящура, — в этот год собрали приличный урожай.

Евламий Лыков потирал ладони:

— Порядочек!

Пел соловьем перед сидящим в полутемной комнатенке счетоводом:

— Излишечки имеем. Ха! В такой-то год! Навар добрый. Только им любоваться нам долго нельзя. Районное начальство живо наш навар снимет. У них, сам знаешь, положение крутое, со всех сторон руки тянутся. Ты быстренько разбросай все, что есть, по работникам, и пусть не мешкают, пусть развозят. А уж развезут — шалишь, по избам районные охотники не пойдут шарить, ежели и вздумают, то следов не отыщут. Кругом-то травку жрут! Да на нас народ молиться будет!

Иван Слегов сидел, слушал, прятал под столом валенки — и летом их приходилось таскать на мертвых ногах, — наконец обдал холодом:

— С молитв шубу не сошьешь.

Евламий Лыков раздвинул плечи, выпятил грудь, надулся индюком:

— Я с народных доходов себе шуб шить не собираюсь!

— Себе не шей, а колхоз обряди. Твой колхоз в обносках ходит: конюшня из старого овина...

— Не сразу Москва строилась. Все в свое время.

— А время-то настало. Не кажется?..

— Сейчас — время строить?! Да сейчас за бешеные деньги гвоздя ржавого не раздобудешь.

— За деньги — да. А за хлеб?..

Евламий подобрался, уставился на небритого, пасмурного, как осеннее окно, счетовода — бабка-повитуха приказывает родить мысль.

— За хле-еб?.. Менять, что ли?.. У нас не частная

лавочка. Я тебе на базаре за хлеб хромовые сапоги выменяю. А кирпич, а гвозди...

— Слыхал о Лелюшинском кирпичном заводе?

— Ну, слыхал краем уха.

— Прикинь — ты там директором. Люди у тебя в столовке гоняют пустую баланду, а им глину тяжелую ворочать, какие они работники — с ног падают. И план, значит, ты не вытягиваешь, и нагоняи от начальства огребаешь, а сам рабочий с голодного брюха на тебя волком смотрит. А теперь прикинь — картошки предлагают. Картошка все заботы сымет, с сытого можешь потребовать — выполняй план, сытый рабочий тебе поверит, на сверхурочную работу встанет, лишний кирпич выгонит, чтоб эту картошку оплатить. Пошел бы ты на встречу такому предложению?..

— Пойти-то пошел...

— Так в чем дело?

— В малом. За морем телушка — полушка... Ты, может, на Америку укажешь, там тоже кирпичные заводы есть. Лелюшино-то не под боком.

— К Лелюшино железная дорога проложена.

— У меня там родня не работает.

— Работают опять такие же рабочие, которые не калачи с маслом едят. Пообещай картошки и муки — перекинут твой кирпич, найдут способ.

— М-да-а... А не нагорит нам за такой шахер-махер?

— Я тебя не на взятку толкаю. Не начальнику мешок, не снабженцу подачку — предприятию, учреждению, с документами по всей форме, чтоб комар носу не подточил.

— Соб-ла-азн!

И вправду соблазн, да еще какой. Все колхозы кругом — еле-еле душа в теле, а тут дорога в рай — новая конюшня, коровник, свинарник, о таком и в добрые времена мечтать погоди.

Но вот ведь странно: в добрые времена не мечтай, а сейчас, когда кругом худо, — делай мечту былью, куй железо, пока горячо.

Со станции потянулись подводы — везли кирпич, стекло, кровельное железо, олифу в огромных бутылках, упрятанных в плетеные корзины... Никакого шахера-махера, не сам Евлампий, а начальство с кирпичного, начальство состроек выискивало нужный пункт, чтоб по нему составить законную бумагу — вы нам, мы — вам, квиты. Кто сомневается — просим. Не слишком разговорчивый Иван Слегов брался за костыли, ковылял



к шкафам, вынимал нужную папку: «Читайте. Продолжентировано».

Евлампию только намеки — вон висит спелое яблоко, а как через забор перелезть, как сорвать — не сидячему Ивану указывать.

Пийко Лыков перерождался у всех на глазах. Давно ли к каждому подкатывал: «Лежишь, добрый молодец? Жирок нагуливаешь?.. Лежи, лежи, а я поработаю. Золотой характер, и штаны носил с заплатами. Теперь в залатанных штанах неудобно — по одежке встречают, а встречаться приходилось с директорами заводов, с начальниками строителъств, могут принять за несерьезного человека: по-крупному ворочаешь, у самого же на неприличном месте заплаты. Евлампий Лыков стал даже на шею цеплять галстучек, а вместе с галстучком и заговорил на басах.

Конюх Степан Зобов, вывозя по распутице мешки с цементом, стер до мяса холку лошади. В другое бы время Евлампий его журил: «Себе вредишь. Безобразно относишься». Теперь припечатал:

— За то время, пока лошадь лечится, высчитать убытки!

Степан по старинке лягаться начал:

— Эт-то как?! Да я за вожжи больше не возьмусь! По распутице тяжесть вез, клятое дело!

— Вожжей в руки не возьмешь?.. Что ж, снять с конюхов. Поставить на рытье фундаментов, где глина покруче.

Не прежние времена.

А счетовод Иван Слегов сидел в своем закутке. С ним никаких перемен — небрит, порыжевший пиджачок на плечах, больные ноги спрятаны в теплые валенки.

К нему Евлампий Никитич с почтением, даже сердечно: «Иван — мой посох». Евлампий опирается на Ивана, Иван на костыли, которые подарил Евлампий, — квиты, выходит.

Подводы кирпича и железа быстро слизнули излишки из колхозных амбаров, тем более что Лыков в этом усердствовал. Как и ожидал Иван — не хватило, аппетит приходит во время еды. Нужны арматура, трубы, какие-то решетки на сточные колодцы, вещи, о которых и слыхом не слыхивали в Пожарах.

— Как быть? — Евлампий Никитич сивкой-буркой встает перед столом своего счетовода.

— Покупать.

— На какие шиши?

— Я попридержал окончательный расчет по трудодням. Пускай в оборот.

Евламий Лыков дыхнул растерянню:

— Как же, брат, это?

Иван смирнехонько согласился:

— Считаешь — нельзя, не покупай.

— До будущего года отложить ежели?..

— На будущий год такой вольготности может и не случиться. Все окажутся с урожаем, хлеб упадет в цене. А у нас, как знать, вдруг да назло в урожае осечка. Вот и откладывай.

Лыков дышит в лицо Ивану:

— На трудодень законный посягаем. На то, что твердо обещали... Мужика, выходит, своего обворовываем.

— Уж так и обворовываем? Чем наш мужик питается?.. Чистым хлебом. А в других деревнях что сейчас жрут?..

— На совесть народ работал, и расчет должен быть по совести.

— По чьей? — вопрос с ледком.

— Как это — по чьей? — удивляется Евламий. — Разве у народа совесть одна, у меня — другая?

— А разве ты во всем согласен, скажем, с Пашкой Жоровым?

— Ну нет, не во всем.

— То-то и оно. По Пашкиной совести — не сули орла в небе, дай синицу в руки, плевать на новую конюшню, отвали лишнюю жменю ржи. Можешь ты, председатель, жить Пашкиной совестью? Если — да, то грош тебе цена.

— О совести ли мы говорим? — посомневался Евламий. — Может, о взглядах? Они того... у Пашки — недоразвитые.

— А разве совесть не на взглядах замешена? Ворюга-прохвост, когда в карман лезет, тоже, поди, подходящими взглядами на всякий случай запасается. Свои взглядики, своя карманная совесть, так-то!

— М-да...

— Как видишь, греха нет, ежели мы у совестливого Пашки ремешок на брюхе стянем.

Евламий долго-долго ощупывает взглядом своего счетовода. На вид ничего особого: густая копна волос, пухловато-небритое, скучное лицо, прячет неживые ноги под столом, такой, казалось бы, мухи не обидит.

— До чего ты, брат, зол, однако.

— Не ты ли в компании с пашками во мне доброту повыжег? — ответил сухо Иван и добавил: — А потом, я свой хлеб не хочу зря есть...

Евламий поступал по-сеговски, не мог иначе. Иван ощутил свою силу: вот как оно оборачивается, слушай — не слушай, да послушаться не смей.

А он сам мог и послушаться.

Посреди села, у крыльца бывшего тулуповского дома, ныне колхозной конторы, открылась ежедневная «ярмарка». Из Петраковской, где когда-то презирали пожарцев, из других окрестных деревень стали сходитьсь мужики и бабы, то в одиночку, то целыми семьями с детишками, держащимися за подолы. Они предлагали — возьмите нас, не дорого просим, кусок хлеба для детей и для себя, на любую работу готовы.

Нет, они не падали с ног, не выглядели истощенными, правда, в глазах тоскливая сухость да движения вялые.

Все хотели видеть Евлампия Никитича, палкой не сгонишь с крыльца, пока не появится председатель хлебного колхоза.

И он появляется, крепко сколоченный, широкий, с загрибочком, уже начавшим наливаться багрецом, настоящий бог сытости, только огорченный и растерянный бог, отводящий глаза от ищущих взглядов. Он разводил короткими руками, отказывал:

— Куда мне вас, посудите сами. В селе — добрая тыща ртов, как прокормить, не знаю.

А слава о новоявленной житнице росла. Из города Вохрова поползли ссыльные куркули, это уж не соседские мужики, хоть травкой, но кормленные. Ползли и ковыляли босые, раздетые под ледяным пронизывающим ветром и ледяным дождем предзимних дней, по лужам, затянутым хрустящей пленкой. Многие так и не одолевали пятнадцати километров, не добирались до сказочного села, их находили на бровках полей, в придорожных канавах. Но те, кто доползал, наводили ужас на пожарцев: оплывшие, дышащие с хрипотой и клекотом, сквозь дыры завшивевших лохмотьев — расчесанные, мягкие от водянки телеса. Мужики при виде их смирнели, виновато отворачивались, бабы вытирали глаза, стыдливо совали куски хлеба, в избы не приглашали — куда таких, одного возьми из жалости, от других отбою не будет. А предсе-

датель еще грудодни обрезал, самим бы концы с концами свести.

Евламий Лыков ловчил, старался не попадаться на глаза, отдал приказ: закладывать лошадей, усаживать незваных гостей на подводы и увозить обратно в Вохрово.

Словчить удавалось не всегда.

Так наскочил на одного: лицо подушкой, из водянистой в затхлую зелень мякоти — совиный нос, подушками и ноги, грязные пальцы пристрочены снизу, как пуговицы. Лежит в лохмотьях на крыльце, увидел председателя, поднял нечесаную голову.

— Возьми, — просипел. — Каменщик я. В Орле работал, подряды брал. Свое дело имел. Сам дюжиной работников заворачивал...

Евламий Лыков хотел обойти стороной и, не сдерживая прыть в ногах, удалиться от греха, но следом на костылях выползал Иван Слегов — неудобно бросить калеку, гость-то поперек крыльца лежит, путь загораживает.

Иван навис над кучей тряпья, а из нее в упор чудовищно раздутая, со смытыми чертами, затекшими глазками физиономия, нос крючком из студенистой мякоти. И по лицу Ивана прошла судорога.

— Возьмите. Каменщик я.

Иван поперхнулся и выдал:

— Возьми.

Евламий, отвернувшись, зло всаживал в землю каблук сапога:

— Почему этому одолжение?.. Рад бы в рай... Всех не приголубишь.

— Кирпичи-то для строительства берешь?

— Ну, беру.

— Возьми и каменщика.

— Как звать? — повернулся тугим телом Евламий.

— Чередник Михайло.

— Э, ребята! Отведите его... К Секлетии Ключишне. Пусть накормит да в бане пропарит.

Двое зевак-парней подхватили бродягу. Иван перевел дыхание, стал с привычной осторожностью спускаться со ступенек.

— Иван... — Евламий задержал его за костыль, глаза прячет к земле, но голос решительный. — Вот что... Кому-то надо разбираться, может, и в самом деле в этих вороньих пугалах нужны нам люди есть.

— Как не быть, — настороженно согласился Иван.

— Так вот, тебе поручаю — вникай, расспрашивай, кого нужно — пригреем. На твою совесть рассчитываю.

Иван уставился на председателя, а тот — глаза в землю, но в скулах каменность, не трудно прочитать: «Прощу пока добром, но особо не перечь — прижму». Хорош: неудобно нырять с головой в людскую беду, ковыряться в ней, быть жестоким — «на твою совесть рассчитываю», — ты отказывай. Принимать-то нельзя, это каждому ясно, колхоз не богадельня. Отказывай, будь ты жестоким, а я в сторонке, без тревог, не пачкаясь. Не многого ли хочешь, Евлампий Никитич? Не только за тебя мозгами шевели, но и еще грязь за тебя вылизывай, оберегай боженьку.

Иван сухо ответил:

— Не смогу, не справлюсь.

— Поч-чему? — поднял сузившиеся глаза Евлампий.

— Потому что каждого буду принимать, а ты мне сам этого не позволишь.

И, освободив костыль из лыковской руки, Иван заковылял к дому.

Евлампий стоял, расставив ноги, глядел в спину. Иван ощущал этот взгляд до тех пор, пока не завернул за угол.

И все-таки Евлампий не стал настаивать, проглотил отказ. Самому приходилось разбираться с просителями.

А Михайло Чередник, принятый по счастливой оказии, стал потом в колхозе бригадиром знаменитой строительной бригады. Его наградили орденом, о нем не раз писали газеты...

ЧИСТЫХ-СТАРШИЙ, ПРОХОДЯЩИЙ СТОРОНОЙ ПО ИСТОРИИ

У самого входа, у дверей, на табуретке сидел скромно и тихо, как ученый цирковой слон, шофер Лыкова Леха Шаблов. Руки — клешни, красные, пугающе крупные, отдыхают на коленях вместе с шапкой, в лице — лепной сдобе — прячутся маленькие глазки, выражение пшеничного каравая, но сами глазки в тревожной готовности. При появлении старого бухгалтера громадные валенки шевельнулись, попытались без успеха втиснуться под табурет, — парень хотел съежиться, стать меньше.

Иван Иванович остановился, стал хмуро разглядыв-

вать: покатые плечищи, колени округло тупые, твердые, каждое что дно чугунного казана, руки на коленях, ложающие подковы, — сила позднего Лыкова.

— Леха...

И Леха Шаблов с радостной надеждой вздрогнул — к нему обращались, он нужен.

Голос Ивана Ивановича скучен:

— Стоит ли тебе глаза добрым людям мозолить? Шел бы... Сам понимаешь, кой-кому неприятно смотреть на тебя.

Обширное сдобное Лехино лицо стало деревянным:

— Я от Евлампия Никитича — ни на шаг. Я до последней минуты...

Этот парень с мускулами матерого медведя надеется, что собачья верность старому хозяину будет поставлена в заслугу.

— Молодые Лыковы вот вернутся с работы... Теперь тебе скандал ни к чему.

— Я от Евлампия Никитича — ни на шаг. Я до последней минуты...

Бухгалтер недовольно повел плечом, бросил взгляд на Чистых, словно говоря: «Ну что тут поделаешь? Не толкать же в шею быка».

Чистых этот взгляд понял как приказ, выпрямился — рот сжат, щеки надуты, круглые глаза строго выкачены. Приблизился к Лехе скуповато чинной походочкой, выдержал паузу.

— Иль не ясно сказано? — спросил он.

Леха молчал, уныло отводил глаза.

— Ну?! — тенорком прикрикнул Чистых.

— Чего — ну?

— А того, разлюбезный... Шапку надевай и — вот бог, вот порог. Быстренько!

Леха сидел в столбняке.

— Хочешь, чтоб я к телефону подошел!

— Я от Евлампия Никитича...

— Слышали! Не ломай, браток, комедию. Хватит! Ежели сию минуту не встанешь, звоню. От имени вот Ивана Ивановича, от имени всего колхозного правления попрошу участкового вывести тебя под пистолетом.

Леха минуту тупо глядел в пуговицу пальто на животе Чистых, наконец зашевелился, разогнулся, сразу вырос под потолок, чуть ли не на голову поднялся над долговязым лыковским замом, шире его втрое, страшный деревянным выражением своего лица. Кто знает, что

может прийти такому в голову, махнет клешнятой лапой — в стенку влипнет худосочный зам.

— Не заставляй упрасивать, — уж не столь напористо повторил Чистых. — По-доброму...

По пшеничной Лехиной роже медленно разливалась краска, маленькие глаза становились колючими.

— Сволочи вы все! — зарокотал он глухим басом. — Чем я хуже?..

— Н-но! Но! — Чистых подался назад.

— Чем хуже тебя, гнида?.. Не самовольствовал, исполнял что приказывали. Ослушаться-то никто не смел. И ты тоже. Теперя съесть готовы, кры-ысы! Под пистолетом еще...

— Но! Но! По-доброму просим.

— Ляпнуть бы тебе по-доброму, чтоб копыта откинул. Ишь, чистый! Ух бы, махнул! Да дерьмо тронешь — вонь пойдет.

Леха рывком натянул шапку, согнулся под притолокой, толкнул дверь.

Чистых облегченно перевел дыхание, постоял, глядя на захлопнувшуюся дверь, и с виноватой неловкостью — «за скандальчик извините» — повернулся к бухгалтеру.

На жирном, желтом лице Ивана Ивановича ничего нельзя прочесть — покойно, словно и не было скандала.

— Не понимаю, — поспешно заговорил Чистых, — Евлампия Никитича не понимаю. Из-за такого Лехи в глазах людей себя ронял.

Иван Иванович из-под заплывшего века, из глубокой щелки остро взглянул на лыковского зама, ухмыльнулся:

— Осуждаешь?

— Ну, мне ли судить... А все-таки.

— Гм... Ты не Леха, не-ет.

— Иван Иванович! Какое может быть сравнение! Обидно слышать, право.

— Он — просто заяц, а ты, вижу, заяц отважный, из тех, какие помирающего льва лягают.

Чистых, к удивлению Ивана Ивановича, побледнел, взгляд стал совиный, стеклянно-непроницаемый, и в голосе прорезалась взволнованная сипотца:

— Несправедливо же!.. А впрочем, думайте как угодно. Тут не убедить. Но заявить уж разрешите: я Евлампия Никитича и сейчас не лягаю и лягать не стану, даже к стенке поставьте. Евлампий Никитич мне вместо отца родного.

— Поди, и Леха сейчас так же думает.

— Леха хозяина геряет. Только-то...

— Ты — отца?

— Не верьте, неволить не могу. Только напомним: из меня, может, бандюга-уголовник вырос, если б не Евлампий Никитич.

— У тебя ж отец родной жив. Его побоку?

— А что он для меня сделал? Только родил. На том и спасибо. Все знают, он ко мне, я к нему — с прохладцей. А свято место в душе пусто не бывает. У меня это место вот тут, — стукнул в грудь желтым кулаком, — Евлампий Никитич занял.

Заглядывая в округлившиеся, потемневшие глаза Чистых, Иван Иванович подумал: «Похоже, правду говорит. Не для всех Пийко — казенный человек».

Родной отец Чистых живет сейчас в Вохрове. Он старый враг Евлампия Лыкова.

Чем успешнее шли дела в колхозе, тем усерднее Евлампий Никитич мел пыль вокруг районного начальства, пуще всего боялся, как бы не приказали: делись с отстающими — пустят по ветру, долго ль. Помогали не ласковые слова, не улыбочки, а знакомства с директорами заводов, с начальниками строителъств, которые снабжали колхоз стройматериалами.

В районном клубе, переоборудованном из старой церкви, протекала крыша, по этому поводу собирались совещания, принимались решения, посылались в область запросы, а крыша текла себе и текла, даже на макушку выступавшего с очередным докладом секретаря вохровского райкома Николая Карповича Чистых. И вот тут-то Евлампий Лыков выступал в роли спасителя: через влиятельных знакомых доставал кровельное железо, создавал вокруг себя мнение — полезный человек. До поры до времени район не вмешивался в жизнь села: строятся — похвально, так держать!

Но вот начали вылезать из голодного года, подсчитывали ресурсы — к весне не хватало семян. В село Пожары приехал сам секретарь Чистых.

Среднего возраста, среднего роста, средней наружности, одет средне — поношенный пиджак, галстук, тщательно расчесанные негустые волосы, лицо молоджавое, но было в нем что-то особое, «останавливающее». Умел глянуть сквозь, сказать, не повышая голоса, чтоб собеседник ответил октавой ниже, обронить слово «товарищ» так, чтоб всякий почувствовал — дер-

жи дистанцию. Он имел за спиной не обширную, зато ничем не запятнанную биографию — не участвовал в оппозициях, не примыкал к группировкам, не имел отклонений, не получал ни выговоров, ни на вид, — этим гордился, при случае разрешал себе напомнить: «Я перед народом чист как слеза».

С ним одним Евлампий Лыков не сошелся на короткой ноге, хотя и старался вовсю: не только крышу на районный клуб, даже для усиления агитации кумач раздобыл — революционные-то лозунги по сельсоветам писали на старых обоях и газетах.

Чистых, не посоветовавшись заранее с Лыковым, собрал в колхозе узкий актив, выступил с предложением: выручить район, сдать сверх плана на семена столько-то пудов.

Сдать?.. Лыков еще осенью перегнал на цемент и стекло все хлебные излишки. Поздненько спохватился товарищ Чистых — мы теперь оконным стеклом богаты, не семенами, самим бы посеяться. Попробовал осторожненько убедить в этом.

Ну нет, не на того напал.

— Новую конюшню заканчиваете? — спросил Чистых.

— Заканчиваем.

— Новый коровник заложили?

— Заложили.

— Свинарник новый собираетесь строить?

— Да, собираемся.

— Так что же вы беднячками незаможными прикидываетесь? Сдать!..

— Сдадим, а в новом свинарнике свиней будем кормить чистым воздухом?

— Товарищ Лыков! У нас людей кормить нечем, а вы — свиней!

— Но свиней-то растим не для господ бога, для тех же людей!

Евлампий Лыков до сих никогда круто не возражал районным властям — бог миловал, а тут понял: отступать нельзя, накупил горы кирпича, цемента, хозяйство висит на струнке, легкий толчок... и ухнет вниз, сиди тогда среди штабелей драгоценного кирпича и кукарекай. Сдай! Нет, каждая горсть зерна наперед учтена. Сдай! Невозможно! Нашла коса на камень. Активисты, глядя на своего председателя, тоже уперлись.

Чистых поиграл желваками, со стеклянным блеском в глазах пообещал:

— Ну, тов-ариш Лыков, придется в отношении вас пойти на крайние меры.

Крайняя мера — долой с председателей! Лыков прикинул: сам Чистых без народа, без общего собрания колхозников снять его не посмеет. Ну, а на собрании посмотрим, народ-то должен тучей подняться за Евлампия Никитича, который блюдет его интересы, кормит не травкой-муравкой, а хлебом без мякины.

Наступление началось издалека, с глубокого тыла, из района. Чистых не трудно было разделаться с теми, кто в районных организациях за старые заслуги выгораживал пожарского председателя. Вынырнул на свет божий некий Семен Семенович Никодимов, кому суждено заменить не оправдавшего надежд Лыкова. Осталось одно — провести через общее собрание колхозников, заручиться поддержкой народа.

А в народ-то Евлампий Лыков верил, народ понимает свои интересы, стеной встанет, Никодимов какой-то, слыхом не слыхали, в глаза не видывали. Ну, дорогой товарищ Чистых, держись, дадим бой! Вспомни-ка: с активом не справился, а тут — массы, силаща!

Евлампий Лыков верил и... чуть промахнулся.

Он малого не учел — обиженных, вроде бывшего конюха Степана Зобова. Их за последний год поднабралось — не дал лошадь пахать усадьбу, задержал на потраве хлебов коров, просто обошелся резко — мало ли чего не случалось, всем мил не будешь. Нет, их не большинство, двух рук хватит, чтоб по пальцам перечесать, не масса, но обижены.

Довольному достаточно сохранить то, что имеет. На то он и довольный, чтоб не рисковать. Обиженному терять нечего, он даже может и выиграть, если полезет на рожон.

Приехал сам Чистых проводить собрание. Довольные в присутствии высокого начальства молчали. Степаны Зобовы, уловив, куда ветер дует, старались всю, кричали с надрывом, только их голоса и были слышны:

— Своевольничает! Жизни нет! Ишь, загривок-то отрастил!

И товарищ Чистых с охотой их голоса принимал за глас народный.

Кричат единицы, остальные молчат, вот тебе и в массах сила.

Собрание кончилось. Чистых бросил Лыкову:

— На днях получите окончательное решение. Сдадите дела. Придется рядовым колхозником завоевывать авторитет. Эт-то потрудней.

Лыков смотрел в пол.

Народ поспешно расходился, все старались не глядеть на развенчанного председателя.

В пустом зале у дверей, пригорюнившись, стояла Секлетия Ключишна, бабка-уборщица, ждала терпеливо, когда очнется председатель, чтоб закрыть на замок контору.

Евламий поднялся с натугой, устало побрел к выходу.

— Ох-хо-хо! — вздохнула Секлетия.

Он, переступая порог, пьяно ударился плечом о косяк.

— Охо-хо! Господи!

На темной дороге кто-то широкий и приземистый месил грязь. Евламий Никитич нагнал — Иван Слегов на костылях, последний с собрания, все остальные уже разбежались по домам.

— Иван... — Тот, работая костылями, оглянулся — под шапкой глаз не видно. — Иван, слышал?.. Молчали!.. Что ж это? А?.. Что такое?!

— Жизнь, — короткое слово, как клок бархата, ровным баском.

Евламий закричал тонким от горя голосом:

— Не жизнь это — бл.....! Жизнь-то покатится, что бочка с горки! Никодимов какой-то! Он вас не пожалеет, на распыл пустит.

— Может быть.

— И ты спокоен?

— А я волноваться-то отучился.

— Все молчали! Бараны! Их под обушок ведут!.. Ты-то умней других! Ты-то лучше меня знаешь, чем все это пахнет! Тоже молчал!!

Крепкая, накаченная костылями рука Ивана взяла за локоть, повернула Евлампия лицом к себе. Глаз не видно под шапкой, только рот да упрямый подбородок.

— Ты много от меня хочешь, Пийко. Совет в делах — готов, спасти тебя — уволь.

Евламий Никитич стоял посреди улицы, смутно различал, как борется в темноте со своей немощью Иван Слегов.

«На днях получите окончательное решение...» Но с решением пришлось повременить. В области собиралось крупное колхозное совещание, оттуда запросили — командировать Лыкова как участника. В последнее время фамилия Евлампия Никитича уже постоянно мелькала в отчетах — вверху знали, есть такой.

Сообщи — не может выехать, потому что снят, значит, и объясни — почему. Значит, не исключено, налететь на упрек — разбрасываетесь кадрами, не занимаетесь воспитанием. Там, глядишь, заставят пересмотреть решение, потребуют ограничиться выговором. Пусть прокатится, а как только вернется — решение о снятии будет уже ждать. Обречен.

И Лыков это понимал, надеждами себя не убаюкивал. Однако — терять-то нечего — готовился дать бой, выступить с высокой трибуны, видите, мол, дорогие товарищи, председателя на издыхании, снимают!..

Впервые он присутствовал на таких больших совещаниях — людей без малого тысяча, его затерли где-то в задних рядах, самый неприметный, таким счет ведут даже не на дюжины, а на круглые сотни. В кармане — заветная бумажка, назубок ее выучил, со сна спроси — не запнется. Бумажка с жалобой, стон и вопль души.

Но шло совещание, и час от часу все сильнее он впадал в уныние. Что его жалоба!.. Область вылезала из тяжких голодных лет. Чего только не рассказывали с трибуны: в таком-то районе заставляли сеять созревшей рожью, а в таком-то и вовсе не засеивали, в отчетах пером выводили цифру — засеяно.

Конца нет жалобам, каждый норовит выставить свою нуждишку, надеется на помощь. У него, Евлампия Лыкова, сравнить с другими, беда не так уж горька.

Бумажка жжет карман, она выучена назубок. Грош цена этой бумажке!

И тут-то Лыков смекнул: не след слезу пускать, без нее — море разливанное. Он начал про себя сочинять другую речь.

С далекого красного стола на сцене председательствующий объявил:

— Слово предоставляется товарищу Лыкову, председателю колхоза из Вохровского района.

Пора... Лыков, наступая на ноги, выбрался к проходу, зашагал по длинному ковру, продолжая сочинять речь.

— Товарищи!..

Тысяча голов, тысячи глаз, только что сидел не приметный в заднем ряду, никто и не подозревал о твоём существовании, пробил час — к тебе внимание.

— Товарищи! Тут я слышу — все больше жалуются на жизнь. А у нас нет охоты жаловаться и слезы лить... Тишина. Внимание.

— Да разве можно нам жаловаться, товарищи, когда в прошлом году мы получили по сто пудов с гектара, а в этом поболее...

Аплодисменты смяли тишину. Они прокатились от передних рядов к задним — и снова тишина, снова внимание. Заметил: у тех, кто сидит поближе, широкие улыбки на лицах. Эх, люди, люди, осточертели вам жалобы, черно от них, как вас не понять. Наверно, у каждого сейчас в голове вертится нехитрая мыслишка: раз где-то люди уже хорошо живут, значит, и мы жить будем.

И Евлампий Никитич не давал опомниться, хлестал фактами: строим то, строим это, собираемся строить... Тишина. Слушают!

— Мы, товарищи, твердо взяли курс на индустриализацию села!..

И тут-то зал грохнул. «Индустриализация» — святое слово, святее нет, оно в каждой газетной статье, в каждом докладе, в каждом лозунге на стене. Но ведь это слово всегда связано с городом, с заводскими трубами, с прокатными станами, а тут село, бывшие лапотники, такие же, как все. Взяли курс, а мы что, лыком шиты, нам топать по той же дорожке. Зал грохал аплодисментами.

Где-то в зале Чистых, интересно — аплодирует он или сидит сложа ручки?

И Евлампий Никитич ни слова не обронил, что его снимают с работы. Зачем? Пусть теперь попробуют.

Ему не дали спуститься в зал, к своему месту. Секретарь обкома, с революции прославленный человек, встречавшийся с Лениным, член ЦК, поднялся, аплодируя подошел к трибуне, взял Евлампия Никитича за локоток, повел к столу президиума. Какой-то военный с ромбами на петлицах уступил свой стул — честь тебе и место, товарищ Лыков, ты наша краса, наша гордость.

Через год Лыкова от области выдвинули делегатом в Москву на Первый съезд колхозников-ударников.

Этот съезд был праздничным. Как давний сон вспо-

минались первые годы коллективизации — скот, сгоняемый со дворов, кулацкие семьи с сидорами, идущие на высылку, угрозы и слезы, проклятия и жалобы, «головокружение от успехов». Позади пироги из куглины, детские вздутые животы, заброшенные поля, заколоченные деревни. Позади и угрюмое, упрямое мужицкое недоверие к колхозам: «Рази можно? В семье свары, а в артели-то в общей куче и вовсе друг дружке горло перегрызем». Оказывается, можно — не перегрызлись, живы, справились с недородами, снова стали есть досыта, на базары повезли... И город ожил, забыл карточки, в магазинах и сыры, и колбасы, и конфеты на выбор. Наверное, по всей стране великой, от Балтики до Тихого океана не было ни одной самой маленькой деревни, которая бы не поднялась, не воспрянула. Можно артельно!..

До коллективизации трактор считался диковинкой, появлялся не столько для работы, сколько для показа — стар и мал высыпали, чтоб поглазеть: «Ох, страховиден! Ох, керосином воняет! Сошка-то к земле привычней». А теперь никто и головы не повернет на ползущий по полю трактор. Даже комбайн не диво, а скажи раньше мужику, что есть такая машина — сама жнет, сама молотит, сама солому копнит — махнул бы рукой: «Бабы сказки!»

И бабы нынче полезли на эти трактора, на эти комбайны. Бабы, которым испокон веков мужик доверял только три «механизма» — печь, прялку и серп, коса уже считалась не к бабым рукам. Гремят по стране имена Марии Демченко, Паши Ангелиной, Полины Виноградовой...

Праздничный съезд колхозников. Всем казалось — трудности позади, впереди лишь победы, ведущие в сказочные времена, к молочным рекам и кисельным берегам.

Лыков не сробел, выступил с той же трибуны, с какой говорил свое слово сам Сталин. Правда, шуму особого не наделал — не областной масштаб. Да навряд ли Евлампий Никитич смог теперь удивить кого и в области — многое изменилось за один год, появились колхозы, догонявшие лыковский.

Однако, кой-кого потесня плечом, Евлампий сумел пролезть, снялся на фотографии вместе с вождем. На одной фотографии со Сталиным!

На этот раз на станции его встречала целая делегация во главе с товарищем Чистых. Чистых жал руку, поздравлял, но глаза отводил. Не любили они друг друга, жили по пословице: «Худой мир лучше доброй ссоры». С районными уполномоченными Лыков теперь обходился суровенько: «Сами с усами».

Дома же, в конторе, сидел, прислонив к креслу кофты, угрюмый, буднично небритый, начавший уже наживать бухгалтерские мешочки под глазами, Иван Слегов. Вместо поздравлений он известил:

— Пахнет дракой, Евлампий.

— Какой дракой? С кем?

На самом деле, кто в Вохровском районе осмелился сейчас поднять руку на него, председателя Лыкова, увековеченного для истории на одной фотографии с самим Сталиным?

— Как бы Чистых тебе синяков не наставил.

— Синяков?.. Хм... Только что под локоток провожал.

— Мало ли что. Похоже, слабую жилу у нас нашел.

— Какую?

— Приусадебные участки.

Сталин заявил на съезде, что колхозник имеет право на личное приусадебное пользование землей, им была даже произнесена цифра — двадцать пять соток.

Не кто иной, как Иван Слегов, год назад посоветовал урезать приусадебные участки колхозников «Власть труда» до пяти-шести соток. С ним согласился Евлампий Лыков.

Во время сева дорог каждый час, каждая пара рабочих рук, а колхозникам приходится копаться на своих огородах — раз нарезали землю, то должна же она быть обработана. Большой участок лопатой не вскопаешь, требуется лошадь, а отрывать лошадь в разгар сева от колхозной пахоты — совсем не дело. И велика ли нужда в больших личных огородах? Колхозник засеет их картошкой, но такую же картошку он получает и на трудодень, как и зерно, как и овощи. Для чего колхознику разрываться надвое между колхозной работой и своей усадьбой, не лучше ли оставить ему под домом клочок земли на несколько грядок, чтоб был лук под рукой, морковь, свекла, капуста свежая в щи? Несколько грядок много времени и сил не отымут, обрабатывай их вечами, на досуге, по-семейному, и лошадь не проси.

Колхозники особо не возражали — участки и для них бремя, вечный раздор с бригадиром за лошадь. Зачем возиться со своей картошкой, ежели ее можно получить из колхоза.

Но сам Сталин...

Э-э, нет, дорогой товарищ Чистых, нас этой дубинкой не пришибешь — подкованы, отлягнемся.

Евламий Лыков стал ждать, когда Чистых нагрянет в колхоз.

Чистых не нагрянул, он вызвал к себе Евлампия Лыкова, на бюро.

— Вам — что, слово вождя не указ? Не желаете шагать в ногу со страной? В славе купаетесь? Слава-то глаза застит, смотреть трезво мешает! Вы думаете, что уж так высоко взлетели, что вас никто рукой не достанет? Ошибаетесь! Кто вас поднял из низов на высоту? Мы подняли! Мы — народ и партия! Нужно будет, мы и стряхнем с облаков на землю!

Лыков пробовал показать зубы:

— Словом-то товарища Сталина не прикрывайтесь. Вы это слово неверно понимаете. А потом, разве вы, товарищ Чистых, — народ? Разве партия — вы один? Я тоже в партии и уж никак не по вашему желанию из народа-то вырост...

Но Чистых прятал тяжелый козырь. Им-то он и пошел:

— Лыков не согласен с товарищем Сталиным, готов его поправить. Что это — чванство или самовлюбленность? А может, что-то похуже?.. Оглянемся назад, вспомним, с чьей помощью прославленный Лыков начал свое хваленое строительство? У кого он брал, скажем, кирпич? Не припомните, дорогой Лыков, у кого именно?

— Помню и в документах представил, — ответил ничего не подозревающий Евламий. — На Лелюшинском кирпичном заводе.

— А кто им тогда руководил, этим Лелюшинским заводом, не вспомните?

— Почему же, помню: товарищ Шаповалов.

— Ага! Память хорошая... Так вот, этот ваш старый товарищ на днях... — Чистых с суровым торжеством оглядел всех, — на днях арестован! Да! Как троцкист! Отсюда вывод: не следует ли нам повнимательней прощупать вас, Лыков? Ведь рука руку моет...

И даже те из районных работников, что сочувствовали Евлампию Лыкову, шарахнулись в сторону.

Чистых выдвигал нешуточное обвинение, надо было срочно принимать меры.

Какие?

Обком! Только там могли обуздать Чистых. Первый секретарь обкома, тот самый, кто после памятного выступления усадил Евлампия Лыкова рядом с собой за стол президиума, в обиду не даст — пожалеет Чистых, да поздно будет.

Евлампий сел за письмо: разберитесь, поддержите, оградите от незаслуженных обвинений — крик о помощи!

Письмо он кончил писать поздним вечером, а утром добежал до почтового отделения и сунул в ящик возле дверей.

— Газетки возьмите! — голос Лизки-почтарки, только что выскочившей из дверей почты с нагруженной сумкой.

Взял свежие газеты, пошел в контору, отдал газеты Ивану Слегову, сам было рванул к дверям — в поля, на ветер, где легче дышится, где обступают привычные заботы.

Но удивленный возглас Слегова остановил его на пороге:

— Вот так та-ак!

— Что?!

— Веселые дела: косой по шее — и головы нет.

— Что там?

— В нашей области открыта вражеская группировка. Арестованы... — И Слегов начал читать фамилии.

Евлампий бросился к столу, вырвал газету.

Нет, не ослышался — первой в списке стояла фамилия того, на чью помощь он рассчитывал.

Весь в поту, он побежал снова на почту, сунулся в окошечко, стал объяснять:

— Клаша, дорогуша, я тут письмо опустить поторопился... Деловое. Оказалось, нужно там кой-какие уточнения сделать... Очень важные... Открой ящик, пожалуйста, выуди оттуда...

Письмо врагу народа. Письмо, просящее у врага помощи. Этим письмом заинтересуются, автора письма возьмут на прицел. А этот автор уже на крючке.

Заведующая Пожарским почтовым отделением Клашка Коробова, соседка Лыковых, рада была услужить, но...

— Мы отправили почту, Евлампий Никитич. Только что. Ну, десять минут назад подвода отошла.

— А ежели я на лошади, верхом... Ведь нагоню же?

— Нагнать-то их и пешком не трудно. Кони у нас, сам знаешь, развеселые.

— Вот и добро, вот и слава богу... Я сейчас на конюшню и быстренько...

— Не утруждайся зря. Письмо-то в общей почте, а почта опечатана. Никто ее до места вскрыть не имеет права...

— Что же делать?

— Новое письмецо напиши, с поправочками.

— А ежели я в Вохрово сейчас, на почту-то, раньше ваших прискачу?

— Тогда другое дело. Заявление напишешь — отдадут.

— За-а-яв-ле-ние!..

Письмо-то на имя врага, письмо-то, просящее у врага помощи. Писать заявление, вызывать к письму интерес. Ну нет, авось пронесет.

И Евлампий Лыков стал ждать, успокаивая себя — как-никак он человек заслуженный, на одной фотографии снят с товарищем Сталиным... И сам понимал, сколь зыбки эти утешения.

Евлампий ждал, бегал по полям, по фермам, старался как можно больше бывать на народе. Среди людей легче, среди людей и под солнышком, под светом белого дня. Зато ночами лежал и вслушивался в каждый звук за окном, не смыкал глаз.

А давно ли встречали его из Москвы, жали руки, произносили речи?.. Давно ли?.. Скажи кто-нибудь в те дни, что Чистых так оседлает, посмеялся бы — у мужицкой лошадки, мол, тоже копыто твердое... Ночами не спалось.

Не ночью, а ясным днем пришло известие. Лизка-почтарка принесла ему шершавую, в голубизну, бумажку, опечатана в типографии, только его фамилия представлена от руки, фамилия, день, час — вызов в районный комиссариат внутренних дел с остережением: «В случае неявки в указанный срок...»

Запряг лошадь, поехал. В начале дороги знобило, потом словно окаменел, а когда входил в комнату начальника, чувствовал себя даже спокойным: «Была не была, какой да ни на есть, но конец. Все лучше заячьей жизни».

Начальника Бориса Марковича Осокоря он знал, как и всякого из районного побочного начальства, приходи-

лось здороваться за руку, сживать за одним столом. Борис Маркович Осокорь был тихий, какой-то печальный человек, глаза застойные, как у замученной лошади, до синевы выскобленный подбородок и большой, вечно сомкнутый рот. Даже военная форма со скрипящими ремнями не придавала ему внушительности — спина сутулится, гимнастерка на груди висит мешком. На заседаниях он обычно молчал, был чем-то вечно озабочен, может, семейными делами — ходят слухи, жена у него погуливает с учителем физкультуры.

И кабинет у Осокоря обычен: стол с пресс-папье и дешевым чернильным прибором, стулья вдоль стены, окно, о которое зудяще бьется залетевшая оса, над столом портрет — сухошавенькое личико подростка, недавно объявившийся «железный нарком» Ежов. За столом — чисто выбритый, устало печальный хозяин. Евлампий Лыков подумал: «И в такой-то скуке прячется твоя беда... Была не была...»

Осокорь протянул из-за стола руку, пригласил:

— Садитесь, прошу. — Извинился с ходу: — Простите, что в горячую пору отнимаю время.

Ишь ты — «простите», а в бумажке-то, что лежит в кармане, сказано: «В случае неявки в указанный срок...» — без всяких «простите».

Усаживаясь, старался глядеть как можно невиннее, производил впечатление.

— Что вы можете сказать нам о Чистых Николае Карповиче?

— Как — что? То, что все знают.

— Не кажется ли вам, что этот... гм... Чистых не очень, и весьма даже, расположен к вам лично?

— Борис Маркович! Я уважаю товарища Чистых, принципиальный, честный... И характер у него... ну, непреклонный, что ли... И конечно, он бдителен... Но...

— Но с вами он поступал возмутительно! Вы ведь гордость нашего района.

— Возмутительно?.. Я этого не говорю... Просто мне казалось, возможно, я ошибаюсь, если не так, вы уж, пожалуйста, поправьте...

— Ну, ну проще, по душам.

— Ежели по душам, то товарищ Чистых кой в чем передергивает...

— Евлампий Никитич, вот вам лист бумаги, присядьте сюда, вот чернила, вот ручка... Прошу... Напишите, в чем передергивает Чистых, какие выпады он по вашему

адресу совершал, как он порочил ваше громкое имя...

— Но...

— Никаких — но! Не стесняйтесь... Скажу по секрету: он пытался на нас оказать давление, и даже весьма сильное. Наши органы не клюнули на эту удочку. Так что никаких «но». Пишите.

За твоей рукой, из-за твоего плеча следят чужие глаза. В другое бы время путались мысли, выпадало перо, и при полном-то покое Евлампий Никитич был не мастер сочинять, но сейчас он собрал себя в кулак, а потом, недавно писал письмо в обком, к тому... Памятью бог не обидел — письмо он помнил слово в слово.

— Не миндальничайте. Смелее!

Странно. Может, это ловкий ход самого Чистых? Гаданием делу не поможешь. Была не была! Сказал «господи», скажи и «помилуй».

Товарищ Осокорь прочитал написанное и в общем-то одобрил:

— Мягковато местами. Не то чтоб весьма, но мягковато. И величать его товарищем, в общем, не обязательно... Подпись поставили? Ну и прекрасно... Спасибо за помощь, Евлампий Никитич. Весьма вам обязан.— Протянул вялую, влажную руку:—Маленькая просьба: ни один человек до поры до времени не должен знать о существовании нашего разговора.

— Ясно, Борис Маркович.

Ни черта не ясно.

Светило солнце, голубело небо над головой, ветерок гнал волны по полям начавшей белеть ржи, лошадь везла его домой.

Навстречу пылила легковая машина, крытая брезентовым верхом, единственная легковая машина на весь район. Она проскочила мимо, обволокла лошадь и Евлампия пылью, мелькнула физиономия Чистых с упрямыми крепкими щеками. Чистых, конечно, узнал Лыкова,— нельзя было не узнать,— но машины не остановил, не скосил глаз в его сторону, не удостоил внимания...

Чистых и Осокорь в сговоре, они-то друг к другу ближе, рука руку моет, не трудно договориться, как утопить колхозного председателя с нашумевшим именем. Но что-то есть необъяснимое; — как, например, понимать брошенные вскользь слова: «И величать его товарищем не обязательно?» Что бы все это могло значить? Ни черта не ясно! И весьма даже!

Ясно стало через пару дней — Чистых арестовали. Чистых, а не Лыкова!

В районе, как всегда, созывались совещания, пленумы, партконференции, везде клеймили Чистых — подлый выродок, продажный наймит, запутался в связях, проводил вредительскую политику, и вот вам пример — намеревался опорочить одного из лучших по области председателей, развалить лучший колхоз...

Лыков родился в рубашке. Новое начальство трусливо заискивало. Еще бы, имя Лыкова приобрело такую угрожающую силу, что он и сам его боялся.

Спустя полгода арестовали Бориса Марковича Осокоря. А Лыкова — нет! Никто даже не ведал, что он когда-то послал письмо на имя уже обезвреженного врага, у врага просил помощи. Где-то это письмо счастливо затерялось.

В рубашке родился Евлампий Лыков!

Старый Чистых отбыл в дальних краях почти двадцать лет — начисто облысел, сморщился, потерял зубы. После реабилитации вернулся в Вохрово сразу, получил партбилет, пенсию, комнату, — руководящей должности уже не предложили. Николай Карпович любил с важностью повторять: «Я перед своим народом чист как слеза». Этой чистоты он требует и от других, посвятил себя искоренению недостатков, во все инстанции пишет жалобы: в парикмахерских очереди, при коммунальной бане не торгуют мылом, продавщицы в магазинах хамски ведут себя с покупателями, такой-то ответственный работник пьет горькую... Имя одного человека он никогда не упоминал ни устно, ни письменно — Лыкова. Зато о сыне своем он отзывался кратко: «Лизоблуд!» К сыну в гости никогда не приезжал, даже внуков, неизвестно, видел ли в глаза. Молодой Чистых отца все-таки навещал, навряд ли часто и навряд ли охотно.

Евлампий Никитич вместо отца родного... Что ж...

ЧИСТЫХ-МЛАДШИИ

Примерно через год после ареста секретаря райкома в селе Пожары произошел маленький случай.

Иван Слегов приходил по утрам в контору всегда первым. Жена засветло вставала, подымался и он. Она уходила на поля, и он брался за костыли — не любил слушать тишину в доме.

Раз он тащил по росе свои валенки, обремененные галошами. В спину кричали петухи, в лицо дул свежий ветер с реки, клал на крыши дым из труб. Село раскачивалось со сна.

В этот-то ранний час, подходя к крыльцу конторы, он увидел народ: несколько баб, собравшихся на работу, а перед ними, опираясь на стянутую проволокой берданку, картуз сбит на затылок, физиономия победно-генеральская, хотя и давно не брита, стоит, выставив тощее бедро, ночной сторож Кривой Трифон.

— Что за митинг?

Бабы, издали заметившие ковыляющего бухгалтера, все как одна прорвались хором:

— Гостишки ночные объявились!

— На запашок прискакали!

— А ведь молоденькие, мо-ло-денькие!

— Не стыдно небось зенками-то лупить...

— Цыц! Закудахтали, бесхвостые! — стукнул о землю треснувшим прикладом Трифон, с вальжной картинностью отступил. — Глянь-ко, Иваныч, на деле уловил.

На ступеньках крыльца, прижавшись друг к другу, сидели трое, лет по шестнадцати, босые, лохматые, с пугливым онемением мигающие широко распахнутыми глазами. У одного вырван рукав, проглядывает тощее плечо, у другого бархатный синяк под глазом.

— При исполнении мною служебных обязанностей было оказано сопротивление...

— Оно и видно, жизнь подвергал опасности.

— Ну не то чтобы уж жизнь, — заскромничал Трифон. — Это, значит, марширую я мимо старой кузни, но ухо держу остро, службу помню...

Старую кузню Лыков недавно переоборудовал в копильню. Коптили свиные окорока и грудинку — дело новое, а потому доходное. Туда-то и залезли три охотника, сломав замок.

Через час их разглядывал исподлобья сам председатель.

Тот, у кого фонарь под глазом, — длинный, узкий, даже сквозь рубашку видно, составлен из хрупких хрящиков, шею пальцем перешибить можно, лицо щекасто, и глаза светлые, круглые — совенки.

— Как фамилия? — спросил его Лыков.

— Чистых.

Лыков долго молчал, посапывая.

Он, как и все, знал, что у арестованного Николая Чистых остались жена и сын. Жена, первая в Вохрове модница, в районном клубе, который Лыков помог покрыть железом, играла в спектаклях самодеятельности обманутых девиц, теперь же на железнодорожной станции лопатой-грабаркой чистила шлаковые ямы. Что делал сын? Кто этим интересовался. Выходит, промышлял.

— Хочешь стать человеком?

Парнишка заплакал.

Чувствовал ли Евлампий вину за отца или просто пожалел сироту? Неизвестно. Но на полевые работы он парня не послал.

— Хлипок, долго не выдюжишь, сбежишь. Снова начнешь шупать замки. Ты сколько классов кончал?

— Восемь.

— Грамота есть. Будешь помогать избачу. Нам так и так культурные штаты расширять надо.

Валерка Чистых получил на харчи пятнадцать трудодней в месяц, угол в доме одинокой Ключишны (Михайло Чередник пристроился к одной вдовушке) и уличное прозвище — Приблудный.

С первых же дней он отличился примерным старанием: сам полы мыл в читалке, ни одна газета не стала уходить по рукам на раскурки — подшиты, пронумерованы, спрятаны под замок, во всем полный порядок. Но старание-то обычно замечается в поле или на скотном дворе, там за это лишний трудодень подкидывают. В избе же читальне хоть из кожи вон лезь, а особой награды не жди — назначено тебе пятнадцать трудодней в месяц, получи и не гневайся, так как новых центнеров хлеба, новых литров молока твое старание не приносит. Газетки бережешь, эка заслуга — ты в колхозном стаде яловая корова. Избач — самая бесперспективная должность, попробуй тут обратить на себя внимание.

И надо же, Валерка Приблудный обратил...

Сам ли додумался, или откуда-то из газет выудил идейку — никто не дознавался. Идея нехитрая: следует собирать материал по истории колхоза. Колхоз-то со славой, сколько о нем сейчас трубят, в прошлом трубили, а ведь покричат да забудут, а зря.

Своя история... Всем это понравилось, а больше всех Евлампию Лыкову.

И сразу Валерка Приблудный стал полезен, не так, как, скажем, доярка, конюх или плотник, нет, конечно, но все-таки... Не зря же вспомнили: полтрудодня на сут-

ки получает, не густо, у ночного сторожа Трифона Кривого заработок куда больше, давайте-ка ставить парню «палку». «Палка» на день, целый трудовой день — можно уже не только быть сытым, но, поднатужившись, скопить денег на новые сапоги.

Решением правления Валерке выделили даже особый фонд — конечно, копеечный — «на восстановление утраченных материалов по истории колхоза». Впрочем, Валерка этими фондами не смел пользоваться, пешком бегал в Вохрово, целыми днями сидел в районной библиотеке, ворошил подшивки старых газет — те, что до его прихода были раскурены из читалки, — искал статьи, где хвалили колхоз «Власть труда». Газеты он обычно «изымал», если не удавалось тайком изъять, сговаривался с машинисткой и перепечатывал. Все материалы он складывал в особую папку.

Конечно, Валерка сообразил, что Евлампия Никитичу не столь уж интересно будет видеть материалы, где его не упоминают. Поэтому история начиналась с Евлампия Лыкова.

По сей день существует почетная должность колхозного историка, совмещенная для экономии с должностью библиотекаря. Толстые папки с историческими документами ныне хранятся уже не в простом шкафу, а в специально купленном сейфе. Однако этот сейф охотно открывается любому, кто проявит интерес.

Интересовались приезжие очеркисты, они, с легкой руки Валерки Чистых, возвестили всем, что колхозная жизнь в селе Пожары начинается с Евлампия Лыкова, он первый, он единственный, других таких исторических личностей не было. К этому времени Матвей Студенкин работал простым конюхом, равнодушный к тому, что вычеркнут из истории.

Лыков строился, районная и областные газеты отмечали каждую его удачу — в колхозе «Власть труда» появился новый коровник, новый свинарник, клуб со стационарной киноустановкой, — Валерка добросовестно собирал эти сообщения. Коровник, свинарник, клуб, а колхозная контора размещалась все еще в старом тулуповском доме. Иван Слегов — уже не простой счетовод, подымай выше — главный бухгалтер. У него целый штат — счетовод-помощник, делопроизводитель, кассир. Все они ютились в одной комнатухе, вытеснив стол председателя Лыкова за дощатую перегородку. Теснота, толчея,

шум, махорочная вонь и никакой представительности, словно здесь не штаб процветающего колхоза, а бригадный толчок в захудалой деревеньке. Пора было строить новое здание колхозного правления.

Его возводили два года под личным присмотром архитектора из областного города. Тот знал свое дело: поставил толстые колонны возле входных дверей, а перед ними широченное крыльцо из цементных плит, крыльцо гостеприимное — милости прошу.

У Ивана Ивановича Слегова — отдельный кабинет, соединенный дверью с просторной комнатой, где сидел его счетоводческий штат. В углу отгорожен особый закуток для кассира — тяжелый несгораемый шкаф, узкое окошечко, весьма неудобное, на случай если вдруг да кому вздумается через него потянуться к кассе.

У Слегова — апартаменты, а уж кабинет Евлампия Лыкова — районное начальство бедные родственники. Все как положено: два стола, один под сукном цвета ози-ми — персональный, другой под кумачом — заседайте с удобствами.

На столе Лыкова — чернильный прибор, чугунный младенец с крыльями, вещь памятная, служащая колхозу с самого зарождения, рано ли поздно в музей пойдет; на красном столе — графины с водой, не один — несколько, захотел пить — изволь, не надо бежать в угол к ведру с ковшом. Кстати сказать, при первом заседании правления на новом месте графины так понравились, что к ним не переставая деловито тянулись, все осушили до капли.

Казалось бы, стульев хватает, но нет, есть еще мягкие диваны, да такие, что и сесть не посмеешь, особо если ты прибежал прямо с поля в рабочей одежке. У самого хозяина креслице с высокой спинкой. По правую сторону от него этажерка, всего в две полочки, верхняя — для толстых книг — «Капитал» Маркса, скажем, поставить, нижняя — пустая, картуз с головы сунуть сподручно. По левую — фикус, самим Лыковым у жены реквизированный, листья словно вырезаны из хромового голенища, уборщице строго-настрого наказано поливать его каждый день.

Выше самого председателя — вождь во весь рост. Когда Лыков сидит в креслице, макушку его попирают начищенные сапожки.

И попасть в эти с любовью оформленные покои можно было только через маленькую проходную комнатуш-

ку и двойную, с тамбуром, дверь, тепло обшитую клеенкой. Шагнул за порог, казалось бы — ты уже у председателя, а нет, погоди, еще одна глухая дверь, берись опять за ручку, проникайся.

У таких дверей положено сидеть специальному человеку — личному секретарю, хорошо разбирающемуся в том, кого сразу пропустить, кого попридержать, а кому и просто дать от ворот поворот.

Валерка Чистых был на примете. Валерка знал грамоту и вежливое обхождение. Его-то и усадил Евлампий Лыков у своих дверей за столик с телефоном.

У Валерки Приблудного появилась власть. Если ты не бригадир, не посыльный от бухгалтера Слегова, если ты не при почете, так себе, рядовой колхозник, да еще лезешь со своей нуждишкой — э-э нет, не спеши.

— В чем дело? — круглый глаз со строжинкой, остро отточенный карандашик на весу.

Объясняй, положено, человек при службе. И невольно назовешь его по имени-отчеству. А давно ли молокососа Тришка Кривой на воровстве застукал, с позором привел, да еще синяком украсил. Ай да Приблудный!

Валерка женился, не с разбегу — с разбором. Взял Галку Купцову, сама девка спелая, дом большой, хозяйство не запущено, теща покладистая.

Он просидел только год у лыковских дверей. Началась война: Валерка вместе с другими парнями был потревожен военкоматом, оставил насиженный стул, дом, молодую жену, собиравшуюся родить.

Старый бухгалтер качнулся к дверям. Выяснить родственные чувства Валерия Чистых — кто ближе, умирающий председатель или отец-пенсионер? — желания не было. Пора восвояси.

— Иван Иванович! — У Чистых нетерпеливая дрожь в губах и в ласково выкаченных глазах надежда.

Иван Иванович надавил на воротник пальто пухлым подбородком, секунду поглядывал через плечо, спросил:

— Ну, что тебе, голубчик? Что-то ты от меня кочешь? Не крути, говори прямо. Скоро ночь на дворе, а меня по старой немощи к постели тянет.

— Иван Иванович, извините, я машину отпустил на полчаса. Не думал, что мы тут так быстро...

— Вот как. Вроде бы в плен меня забрал. Ну, что же тебе от меня нужно?

— Одним словом не скажешь, Иван Иванович. Раз-

говор серьезный. И по душам хотелось бы... Коль разрешите, я тут к местечку сведу, посидим с глазу на глаз.

— Что ж, раз машину спровадил... Давай.

— Тогда сюда, пожалуйста. Вот сюда...

Чистых, бесплотно касаясь рукава главного бухгалтера, повел к двери, прячущейся за выступом печи.

За все тесное, больше трех десятков лет, знакомство с Лыковым Иван Иванович ни разу не бывал у него в гостях, ни в старом доме, ни в этом новом, выстроенном после войны. Зато Чистых, по всему видать, свой человек.

— Сюда... Осторожненько, тут порожек.

Узкая комнатуха с несвежими обоями была занята. На смятой койке, уставившись в синее вечернее окошко, сидела жена Лыкова.

— Ольга Максимовна, уж извини...

Ольга покорно поднялась.

— Извини, у нас важный разговор.

Иван Иванович каждый раз удивлялся Ольге. Лицо, словно вымоченное, выжатое, да так и высохло — в сплошных морщинах, даже цвет глаз голубовато-блеклый, старческий. Такая бы подошла в пару любому из деревенских дедов, что коротают век на побочной работе — вяжут корзины, чинят сбрую, — и уж никак не Евлампью Лыкову, вокруг которого всегда все ходило ходуном. И возраст ее не столь уж велик — только-только перевалило за пятьдесят, — и трудилась не больше других, и родами не измучена — выносила всего двоих, чем же так жизнь ее измочадила?

— Ольга, зря мы тебя тревожим. Сиди. Мы в другом месте приткнемся, — сказал Иван Иванович.

— А мне все одно, где, — равнодушно отозвалась она.

— Странная ты баба — скучна, словно ничего не случилось. Неужели о муже не горюешь?

— Разучена, — бесцветно обронила Ольга.

— Что — разучена?

— Да все... Горевать, радоваться...

— Ну и ну!

— Устала я! О господи!

Она вышла, тихо прикрыв дверь.

— Не обращайтесь на нее внимания, — успокоил Чистых. — Не привыкла. Вам вот на коечке будет удобно. Я — на стул, он хроменький.

В синем сумерке за окном вплотную стояли угрюмые заснеженные поленницы. В этом доме как-то все не вязалось с Лыковым. Иван Иванович вспомнил еще лыков-

ских сыновей, двух великовозрастных лоботрясов, и подумал: «Задворочки-то у Пийко невеселые».

Он поставил перед собой костыли, приготовился слушать. В общем-то, он догадывался, о чем пойдет разговор.

За стеной лежит пока не холодный труп, еще там теплится жизнь, но людские страсти с этим не считаются. По селу в каждой избе откровенно гадают — кто? В районном городе Вохрово идут глухие суды и пересуды — какие кандидатуры? Наверняка кто-то из номенклатурных, как кот на скворца, облизывается на жирное лыковское местечко. И даже в области, в высоких инстанциях, озабочены.

Лыков пока жив, но уже не настолько, чтоб живые считались с ним.

Вот и этот Чистых, чтящий Евлампия Никитича за отца родного...

Иван Иванович ждал, что разговор начнется издали, с ошупкой, с пристрелкой — наберись терпения. Но Чистых начал в лоб:

— Коренник выпал из упряжки, как бы наши саночки косо не пошли, не опрокинулись. Загодя спасать надо, Иван Иванович.

— И у тебя, наверно, план есть?

— Да, есть.

— Гляди ты, какой дальновидный. Что ж, выкладывай, послушаю.

— В прежние-то годы жизнь наша шла, как часы, — снаружи стрелки, внутри пружина. Евлампий Никитич нашими стрелками был, на виду, на примете, время по нему узнавали. А пружина... пружиной-то колхоза, всем это известно, вы были, Иван Иванович!

— Хм...

— Если бы эти годы вернуть. А можно, можно, Иван Иванович! И очень просто...

Широкое лицо бухгалтера замаслилось от удовольствия:

— Ясно! Оч-чень даже. Могу и не утруждать тебя дальше, сам все готов выложить.

— Не хитро, Иван Иванович, признаюсь. Потому и словил умного человека, чтоб посоветоваться.

— Хочешь сказать: дедушка Иван, есть такой молодец-удалец, который бы в оба уха ловил каждое твое слово. Тебе, калеке, удобно, и молодец не останется внакладе, времечко старое вернется, заживем припеваючи. Так ведь?

— Ну и что? — смиренно признался Чистых. — Ловил бы ваше слово, считался с ним.

— Так сказать, починить подержанную пружинку.

— Чинить, Иван Иванович, нет нужды. Она еще работает.

— Спасибо! Ой, спасибо большое, что уважил! Ведь в самую точку попал, не глядя, в самую! Конечно, я стар, конечно, в ногах нет прыти, но тоже не хочется пустым-то местом быть. Ой, как не хочется! Когда-то метил — уж что скрывать! — в отцы-командиры. Осечка тогда вышла. Но, право, ежели теперь попробовать?.. В голове шагать не могу, но командовать можно и сидячи. Почему бы и нет?.. Ведь как просто, надо только мальчика найти не тугого на ухо. Я ему — шепотком, он — эдаким дискантиком. Любо-дорого, споемся. Да ты мне, брат, мечты молодые вернул!

Чистых, отвернувшись, спросил тихо:

— Не надо мной издеваетесь, над собой. Зачем это?

Иван Иванович сразу посерьезнел, пропал блеск под опухшими веками, втянул голову в воротник пальто, ответил ворчливо, с горечью:

— А что мне еще остается?

— Как это? — горячо вскинулся Чистых. — Не дайте залезть на место Евлампия Никитича какому-нибудь хвату, который станет ломать по-своему. Тридцать же лет строили, а теперь — ломать, теперь — по-новому! Не-ет, добром не кончится.

— Верно, старый дом с клопами все лучше кучи свежих бревен.

— Иван Иванович! Сейчас в колхозе нету никого такого, который бы авторитетом вас переплюнул. Скажите слово — вас послушают. Одно только слово! Назовите нужного человека — вам нужного! — поддержат колхозники, да и в районе возражать не станут. В районе тоже знают — Иван Иванович Слегов слов на ветер не бросает.

— «Сначала было слово, и слово было бог». Сотвори единым словом паиньку председателя...

— Не шутите, Иван Иванович, не пристало вам. Сила Лыкова к вам переходит. Людям же надо чье-то слово слушать. Ваше слово может теперь все сотворить.

— Тогда назови-ка — чье имя мне кликнуть? У кого это слух подходящий? А?

Чистых, чуть зарумянившись, выдержал взгляд бухгалтера, твердо ответил:

— Ошибаетесь, Иван Иванович. Себя не назову и не собирался.

— Да ну-у! А почему же? Чем ты не подходишь? На ухо чуток, характер покладист, дрессировку тоже прошел. Из тех умных собачек — хозяин только свистнуть собирается, а они уже на задних лапках здоровья ему желают. Лучшего, брат, не найду.

Красные пятна выступили на круглой, парнишечьи моложавой физиономии лыковского зама. Он, вытянув тонкую шею, молчал, помаргивал птичьими глазами.

— За что?.. — наконец выдавил.

Ивану Ивановичу стало неловко. Теперь этого подмоченного зама любой мог клюнуть, не только он. Грозный-то заступник лежит в параличе.

— Ладно, парень, не будем выяснять. И разговор нам надо скорей кончать. Договориться не договоримся, а дерьмом друг друга накормим.

— Ненавидите! За что? Все меня ненавидят... За честность же! Только тем и виноват я, что честно службу нес. За это плевки получай!..

— Что же ты Леху передо мной не защищал, даже выгнать помог. А он тоже куда как честно свое дело исполнял.

— По слабости я его выгнал! Признаю! Пусть я слаб, а вы?.. Вот вы, Иван Иванович! Вы хра-абренький, как же. Словно вам неизвестно, что Леха Шаблов и Чистых на вожжах шли. Не лошадь винят, когда она прохожего потопчет, а извозчика. Что ж вы этого извозчика прежде не хаяли? Да что прежде, вы и теперь его боитесь! Вы и мертвым его бояться будете! Хара-аши!..

Чистых, с пятнистым лбом, с расширившимися, готовыми лопнуть от напряжения глазами, кричал на Ивана Ивановича.

Он прошел всю войну с комендантским взводом, с автоматом стоял в карауле у денежного ящика, у штабных землянок, потом получил погоны с широкой лычкой — старший сержант сам не караулит, а руководит караулом. При бомбежке на левом берегу Донца он даже был легко ранен, в госпиталь не пошел, остался при части.

В войну везло Валерию Чистых, после войны начались неудачи.

Он «сообразил» посылку из Германии, не барахлишко, не туфли, не шелковое белье, не отрезы на костюм,

а... хозяйственное мыло. Жена Галка костила муженька на чем свет стоит — сынишка-то без штанов бегал, все начисто пообтрепалось. Она носила это мыло на базар в Вохрово. На дешевые послевоенные деньги кусок стоил двадцатку, да и то отворачивались. Продала все, кроме одного куска, и в нем-то, стирая, нашла золотые часы.

Валерий ночевал со своим командиром взвода в покоех улепетнувшего немецкого барона, совсем случайно они обнаружили в стене тайничок — кольца с камнями, часы, цепочки, брошки, забавные ерундовины, у которых кто знает, есть ли даже названия. Взводный свою долю сохранить не сумел, стал менять золотое кольцо на водку и засыпался — отобрали. Валерий схитрил — посыпочки-то на проверку были самые безобидные, куски хозяйственного мыла, ишь, простота, покорыстовался.

На всю жизнь был бы богат. По двадцати рублей за кусок, глупая баба! Буханка хлеба в те горы стоила двести.

А по дороге из Германии у него стянули чемодан, как раз тот, где лежало кожаное пальто. Но второй чемодан он все-таки привез с собой, и не пустой.

На улице села Пожары, где свиньи раскачивали плетни, он объявился — костюм тонкой шерсти, манжетки из рукавов, зарубежный галстук, даже судить не смей, не ворованное, честные солдатские трофеи. Галке, безмозгой корове, тоже подарки — ночную рубаху, сквозь которую все бабье богатство до подробностей видно, и еще туфли, похожие на лисьи морды.

Со стороны каждому казалось: такому не в колхозе работать, в городе занимать руководящий пост.

Но что там город, в самих Пожарах повис в воздухе. Его старое место у дверей председательского кабинета было занято Алькой Студенкиной, молодой смазливой вдовушкой, муж которой погиб еще в сорок первом. Евлампий Лыков не собирался снимать Альку. Нечего и рассчитывать, что поставит бригадиром или заведующим фермой. Даже простым кладовщиком на склады не мечтай — занято тыловиками.

Валерий Чистых ходил по селу празднично нарядный, носил на лице, как вывеску, выражение — защитник родины, бывший воин пропадает без места. Не расстилать же ему лен с бабами? Старался чаще попадаться на глаза Евлампии Никитичу, чтоб не забывал — вот он, нужный человек.

Евлампий Никитич обещал, не отказывал: «Обожди,

придумаем что-нибудь». Обещанного три года ждут, а Чистых недосуг. Галкины туфли были спущены, ночную рубаху, что наготу не скрывала, разглядывали охотно, похохатывали, но не покупали. Того и гляди вскорости придется спустить костюм с галстуком в придачу — будешь серенькой овечкой в стаде. Жена плакалась — иди пока в бригаду. «Молчи, дура!» Молчала, знала — крупно виновата, беды б не ведали, если б не ее сноровка. Вот уж воистину, простота хуже воровства.

Помогла «лыковская паперть». Во время войны так стали называть широкое крыльцо новой колхозной конторы. Оно и вправду смахивало на церковное.

Война кончилась, но в Петраковской, в Доровищах, во всех окружающих селах и деревнях выдавали на трудодень по двести граммов зерна. По-прежнему к Евлампию Никитичу шли на поклон. Вдовы погибших фронтовиков, бывшие фронтовики, просто прижатые нуждой бабы и мужики с утра пораньше занимали места на «лыковской паперти». Теперь далеко не все просители смиренны, многие — особо бывшие фронтовики — крикливы, напористы, часто под хмельком, стучат кулаками в грудь, требуют: «За что кровь проливали?» Почти каждый идет с такой бедой, что отказывать в помощи просто совестно. А их много, для всех мил не будешь. Всесильный Лыков, распоряжающийся миллионами рублей, раз по десять в день выслушивал: «Сквалыга, свинья жирная, барин» или же — «Сердце у тебя, сатана, ссохлось камушком!» Кто-кто, а Евлампий Лыков не заслужил того, чтобы переживать неприятности. Он от природы человек щедрый — душа нараспашку. Все должны это видеть.

Но как сделать, чтоб зайку съесть и шкурку на волосок не тронуть? Наверно, нельзя.

Лыков придумал. Нужен специальный человек, который бы принимал удары на себя. Специальный заместитель, верный, непробиваемый.

Тут-то подвернулся Валерий Чистых.

С рассвета на «паперти» просители. Каждый хотел бы встретиться не иначе как с самим Евлампием Никитичем: «Умру, а не встану, коль Евлампий Никитич не примет».

Пожалуйста, почему не принять. Теперь двери председательского кабинета распахивались даже легче, чем прежде: входи, мил человек, выкладывай, Евлампий Лыков — душа нараспашку!

— Так, так, верно. Положение твое того... Надо бы

хуже. А заявление где? — Евлампий Никитич не против тебе помочь, он добр, он щедр, он готов сделать все, что в его силах, он не просто сочувствует, а выводит на углу заявления размашистую резолюцию: «Тов. Чистых! Удовлетворить по возможности!» И кудрявый завиток с хвостиком, означающий без обману, что Евлампий Лыков свою руку приложил.

Проситель вцепляется в освященное самим Лыковым заявление, не нудит, не спорит, не отымает время, осыпает доброго председателя благодарностями, ног не чуя, летит с бумагой.

Лететь недалеко, в конец коридора. Там — коннотактурка с одним окном, не чета просторному, солидно обставленному кабинету Лыкова — едва умещается письменный стол, даже лишнего стула нет, не на что присесть просителю. За столом горбится узкоплечий, с уныло навешенной над бумагами зализанной головой новый зам Лыкова — Чистых Валерий Николаевич. Он без восторга читает размашистую, доброжелательную резолюцию председателя, кислоовато объявляет:

— Не можем.

— К-как! Сам Евлампий Никитич!..

— Не можем.

— Но тут же написано!..

— Тут написано: «По возможности». Евлампий Никитич, наверно, не знает, что сейчас таких возможностей не имеем.

— Как это он не знает?!

— Очень просто. У нас хозяйство громадное. Он все знать не обязан.

Крик, обида, слезы, но Чистых этим не прошибешь:

— Не можем.

Тряси кулаками, надрывайся, стращай.

— Не можем!

С заявлением и с гневом нужда летит по коридору, обратно к доброму Евлампию Никитичу. Так просто распахнулась дверь кабинета, так внимателен и участлив был знаменитый председатель!..

Но на этот раз секретарша Алька Студенкина телом заслоняет дверь:

— Вы уже были.

На минутку... Тут безобразие сплошное!..

— Вас много, а Евлампий Никитич один. Глядите, какая очередь.

Да, очередь. В ней ждут своего времени такие же, как и ты, изболевшиеся, страдавшие, как от Христа спасителя, ожидающие помощи от Лыкова, мечтающие попасть в заветную дверь. Они с тобой особенно не церемонятся.

— Эй ты! Проваливай! Не маячь!

— Ловок! Им одним занимайся, а мы в стороне!

— Гнать его в шею!

Не знают эти крикуны, что через несколько минут будут так же рваться в эти двери во второй раз. Каждому из них Чистых кисло бросит:

— Не можем.

Лыковский заместитель Чистых и на самом деле — не может. Если б ему в голову пришла дикая мысль согласиться с резолюцией Лыкова, не обратить внимания — «по возможности», то заявление, сделав круг, попало бы на председательский стол. Тогда, как знать, Лыков, может, помог бы, но Чистых наверняка пришлось бы распрощаться с должностью. Такого на практике не случилось.

Для всех мил не будешь... Для обычных людей это верно. Как ни старайся, как ни жертвуй собой, а для кого-то все равно окажешься не милым, не красивым, с камушком вместо сердца. Для обычных, но не для Евлампия Лыкова. Оказывается, это «немилое» обличье, черствость, скупость можно, как грязную шапку, повесить на другого. Тот, другой, будет безобразен, а ты — пригож. Правда, надо быть очень влиятельным, чтобы отыскать такого, кто, не тяготясь, согласился бы повесить на себя то, чем брезгуешь сам.

Чистых хорошо платили и трудоднями и узаконенным почетом — введен в члены правления, ни от кого, кроме как от Лыкова, не зависим, кой-кто из простаков, особенно старухи, доверчиво дивились: «Эвон, чудеса в решете. Видать, хваток, коль так скоро вошел в силушку. Ну-тка самому Евлампию перечит, с самим не считается».

Поначалу должность Чистых мыслилась — отваживай просителей со стороны. Но просителями-то были и свой брат, законные колхозники «Власти труда». Перед ними председателю еще больше хотелось выглядеть добрым и щедрым, Евлампий Лыков стал посылать к новому заму и своих, с теми же размашисто доброжелательными резолюциями на заявлениях.

— Нельзя! Не можем!

К Чистых копилась крутая ненависть — мало кто был им не обижен. Все ворчали: «Собака в кресле — не укусит, не облает, и тронуть не смей».

Но в праздники, особо по вечерам, Чистых уже выходил из дому с опаской — наткнешься еще на пьяного, а пьяному море по колено. Не раз по ночам кто-то разбивал камнями окна его дома.

И сейчас Чистых кричал на Ивана Ивановича:

— Что я для Евлампия Никитича по сравнению с вами? Молю! Уж кто-кто мог указать Евлампию Никитичу, то вы только. Много ли указывали? Часто ли за руку хватали? Да, не было этого! Чем вам передо мной гордиться? Чем, спрашиваю?!

Иван Иванович слушал, не перебивал: пожалуй, даже и хотел бы, да не возразишь — прав.

Впрочем, один раз он пытался повернуть Лыкова. Один раз всего...

ПАШКА ЖОРОВ И ДРУГИЕ

Стул бухгалтера — что пожарная вышка, с него все видно, особо если у тебя хорошее зрение. Евлампий Лыков крутился по хозяйству, ужом влезал во все щели, но он-то по земле ходил, потому его, земного, удивляло, что еще рот не успевает открыть, а Иван Слегов уже говорит за него нужное слово.

«Сначала было слово, слово было бог...» — не случайно сейчас в разговоре с Чистых вырвалось у старого бухгалтера. Когда-то эта почтенно древняя фраза шла через его жизнь немим припевом.

Он уже не помнит, что тогда его, безногого, занесло на строительство большого коровника, который и по сей день считается основной молочной фермой колхоза.

У околицы, на окраине унылого пустыря, где росли неопрятные ольховые кусты и жирный конский щавель, солнечно-желтый сруб запустил в голубое небо солнечные стропила. С одного конца по этим стропилам уже начали класть матовые листы шифера.

«Сначала было слово...» Год назад он, Иван Слегов, взялся за костыли, проковылял к шкафу, достал свои бухгалтерские книги и с помощью несложной арифметики, цифра к цифре, доказал Пийко Лыкову — нужно! Все в колхозе начинается с его слова.

Пийко Лыков когда-то перебил хребет и, должно, до

сих пор свято верит — Ванька Слегов его раб по гроб жизни. Да, перебил, да, обезножил, привязал к стулу, от Пийко ни на шаг, но кто чей раб? Чье слово — бог?..

Рабочие ползали по стропилам, одевали их в шифер, новый материал, до сей поры неведомый деревне.

А напротив, оседлав крышу своей избенки, клевал молотком Пашка Жоров, на сгнившие дранки нашивал латки. Увидев подкостылявшего бухгалтера, он сполз пониже, выплюнул в ладонь гвозди.

— Наше вам почтеннице... Объясни ты мне, друг сердешный, по каким-таким правам — мне жить под латаной крышей, а комолой Пеструхе под модной?

Пашка Жоров — лицо спеченное с кулачок, в рыжей, редкой щетине уже изрядная седина — балаболка в компании, крикун на собраниях, выдает на голос все, что кем-то сказано в полшепота, — своего не родит. И уж, конечно, этот Пашка вместе со всеми когда-то отвернулся от Ивана Слегова: «Что ты нам — в упор не видим».

Иван нехотя ответил ему:

— Ежели на корову сверху не будет капать, то в обший подойник погуще капнет. Не хитро, сам бы мог догадаться.

— Эхе-хе! Догадайся тут, кто из нас хозяин-барин? Сдается мне — корова барыня.

Пашка поскреб затылок, покряхтел и, выставив тощий зад, полез вверх стучать молотком.

Только это и сказал: «Корова — барыня». И ответа не стал ждать, повернулся костлявым задом, обтянутым худыми портками.

И стоял жаркий день, и тени, съезжившиеся, скупенькие, лежали под стенами изб, и сияли в небе солнечные стропила, и в синеве, чуть ли не под обжигающим солнышком, ходили кругами два ястреба, и по крыше на четвереньках полз Пашка Жоров, по крыше, иссушенной зноем, по шелухе покоробившихся дранок.

Вдруг все перевернулось в душе Ивана, стало жаль Пашку, впервые за много лет — зад тощий, портки спадают...

И себя неожиданно жаль...

Слово — бог. Твое слово! А портки-то у тебя, бог, не лучше Пашкиных. Ни себе, ни Пашке...

Иван костылял обратно к колхозной конторе по солнцепеку.

Поросята в изнеможении прятались в ненадежную

тень под плетни, в небе важно, по-хозяйски, гуляли два ястреба. День как день, как вчера, как позавчера. И завтра будет, похоже, такой же.

Ни себе, ни Пашке. Собакой на сене и дальше жить?..

Шпарит солнце, затянулось ведро. Да, завтра день такой же.

День-то такой, но он, Иван, войдет в него новым.

Ни себе, ни Пашке. Корова — барыня...

Иван торопливо костылял к конторе.

Отодвинул в сторону все будничные бумаги, достал из шкафа прихода-расходные книги прошлых лет, уселся... Сидел до поздней ночи, подсчитывал, аккуратненько выписывал на листке цифры.

В позапрошлом году был получен такой-то доход. Куда он ушел?.. Колхоз съел. В прошлом — доход больше, колхоз его снова съел, почти целиком. В этом году... Колхоз пожирает, колхоз перемалывает, крутится жернов. Намололи достаточно, не пора ли Пашке Жорову сыпануть щедрей, нынче не прошлые «пиковые времена». Что скажешь на это, Евлампий Никитич? Цифры говорят. А цифры — вещь острая, на нее, как на рогатину, не лезь, наколешься!

Поздней ночью за ним пришла встревоженная жена.

— Иван! Я с ума схожу, а он, на-ко — дня не хватило, сидит себе и караули выводит.

Оторвался от бумаг, взглянул на жену ясными глазами. Взглянул, и сердце сжалось, пронзительно почувствовал, как далеко уплыли они оба от молодости, от тех лет, когда он, подбоченившись, покрикивал на лошадей. «Э-эх! Серы кролики!»

Она стояла перед ним прямая, высохшая, в углах поблекших губ глубокие складки, только брови по-прежнему густы, на плоской груди сложены натруженные руки, платок стянут под острым подбородком, в каждой черточке, в каждой морщинке — тревога и боль за него, уже привычные, уже не ранящие.

— Марусь... — выдавил с сипотцой, с горячим придыханием. — Ты думаешь, у нас с тобой все прошло, все кончилось?.. Марусь, в жизни, как в хороводе, рано ли поздно на прежнее ступаешь. Вот и я наново на старое ступил, только теперь тверже. Не молодой щенок, который на луну тявкал — мол, допрыгну! Не-ет! Видишь это? — хлопнул широкой ладонью по густо испсанному листку.

— Чего еще? — голос ее был поникший от испуга.

— Ты гляди, любуйся! Тут мелочь — крючки, закрючки чернильные. Не-ет, тут разрыв-трава, что в сказках пишут. От такого вот реки вспять текут, моря из берегов выходят, ночь в день обращается...

— Сказочник ты у меня. Не обломали еще Сивку крутые горки... Идем домой, голубь.

— Э-эх, Марусь! Как тебе втолковать? Жмемся, копим, пухнем, но должно же это в конце концов прорваться. Я первую прореху сделаю! Хлынет! Хлебай, люди, дыта!

— Идем домой, Иванушка...

— Скушная ты стала, Марусь.

— Не скушная, Иван, толченная да ученая, а тебе наука все не впрок. Идем домой, золотко, за полночь, поди.

— Э-эх! — Иван с досадой стал прибирать на столе бумаги, исписанный листок бережно положил в карман. — И вода плотины рвет. А тут годами текло, как не прорваться!.. Ничего ты понимать не хочешь!

— Дай-кось я тебе помогу встать... Вот и ладненько, утро вечера мудренее. Завтра кому поумней расскажешь, я-то бестолковая.

Над селом, до звона начищенная, висела луна, освещала будничный, древний мусорок на пыльной дороге — клочья сена и соломы, конский навоз. Он пружинисто перекидывал себя на костылях, топтал свою тень и говорил, говорил, упиваясь силой своего голоса.

А она молчала, скуповато вышагивала, напряженно прямая, иссушенно плоская, как монашенка.

Ее неверие не охлаждало. Он верил, верил — жизнь не прожита, впереди еще добрый кусище, неожиданной гостьей с черного крыльца постучала молодость.

А утром, чувствуя непривычную крепость в теле, как всегда, добирался к конторе. В кармане вчетверо сложенный листок. То-то сейчас оглушит им друга Евлампия.

У конторского крыльца случилось маленькое несчастье: один из костылей, верно служивший Ивану с больничной койки, треснул и надломился. Иван чуть не упал на цементные ступени. Поддержал его бригадир Черепнов, оказавшийся рядом:

— Грузнеть стал, Иван Иванович. Костыли-то придется выстрогать поматерей.

Евламий Никитич за столом, в тесном креслице, как свежий пенек на пригорке — не думай выкорчевать. Над плоской повытертой макушкой нависают сапожки вождя, по обширной физиономии разлита парная краснота — под полевым солнышком уже погулял и, видать, пропустил стопочку за завтраком, поэтому благодушен и в голубых льняных цветочках глазах сонливость.

Иван положил перед ним листок.

Он положил перед ним листок с цифрами и долго, долго смотрел на склоненную крупную голову, на вытертую плешинку на макушке. Евламий Лыков изучал, лица не было видно.

Наконец председатель поднял взгляд, нет, не сердитый, нет, не удивленный — настороженный и задумчиво ощупывающий.

Какое-то время молчали. Иван не рассчитывал, что дорогой друг Евламий сразу же раскроет ему объяснения.

Евламий Лыков, не спуская ощупывающего взгляда, спросил:

— Значит, Ванька Слегов горой за народ?

— Если б я только... Сама жизнь поворот указывает.

— Ты — за! Ты — в ногу с жизнью! Я, выходит, перевер?

— Не советую.

Голубой холодный взгляд:

— Сколько лет тебя знаю, Иван. И ведь плотно... А спроси — что ты за человек? — убей, не пойму. Опасный, должно. Вроде медведя-шатуна. Не угадаешь — стороной обойдет или бросится кожу драть. Давно ли ты, Иван, на меня жал: стягивай ремешок — мужикам польза...

— Тогда-то ты не говорил — опасен, — заметил Иван.

— М-да-а. Ни с того ни с сего — коленце: коровы-де баре, мужик в опале. То стягивай, то распусти, как тебя понять? Против же себя выступаешь.

— Да, против себя.

Пристальный, пристальный взгляд голубых глазок:

— М-да. Опасен... Ну ладно, давай по существу, — Евламий подвинул к себе листок: — Дома рушатся, надо новые... Крыши перекрыть чуть ли не по всему селу. Подсчитано — полмиллиона вынь да положи. А я возражу тебе — мало! Из каких расценок ты шиферу столько закупить собираешься? Я ведь особо-то не распространялся, что на коровник мы шифер достали как вы-

браковочный, уцененный. На такую удачу не рассчитывай, трясина мошной...

Евламий Лыков начал считать, загибая короткие пальцы. Иван сам научил его хитрой хозяйственной арифметике.

— Видишь: к круглому миллиону подбираемся. Подари его мужикам. А коровник, что заквасили, оборудовать надо или нет? Забросить прикажешь? А птичник?.. Лес на него уже привезен. А картошка гниет, убытки терпим. Надо нам овощехранилище или нет?..

Сам учил Евлампия Лыкова, теперь пришло время признать:

— Способный ты ученик, Пийко.

— Спасибо на добром слове, — ответил Лыков. — Но уж коль это смекнул, то сообрази и дальше: нужен ли мне теперь в упряжке конь с норовом?

Голубые глаза в упор, каменные скулы, подозрительная недоверчивость в жестких губах. Знал, что сразу не раскроет объятия, готов был к этому, теперь почувствовал — бессилен. Возражай сколько угодно, но ведь цифрам не хочет верить, а словом уж и подавно не расколешь. «Сначала было слово, слово было бог...»

Но друг Евламий всегда удивлял Ивана крутыми поворотами — неожиданно налился пьяным багрянцем, спросил бешеным срывающимся голосом:

— Глядишь: зачерствел Лыков, людей не жалеет?

— Чтоб жалеть, сила нужна, — уклончиво ответил Иван.

— Верно! Откуда у Пийко Лыкова сила, он же ее бережет, никому не показывает. Пашка Жоров простак, всю силушку в колхоз вкладывает. Он раньше меня встает, позже ложится. И страдает Пашка больше моего... Как бы он в моей шкуре запел. У него, видишь ли, крыша худая, а у меня?.. Старый кулацкий пятистенник обжил — углы проседают, в щели дует. У моей бабы наряды богатые, я каждый день разносолы жру? Пашку жаль, меня не стоит жалеть. Я таковский! Да почему бы тебе на свой зад не поглядеть — штаны-то у тебя, бухгалтер, не лучше Пашкиных. Так что пусть Пашки не обижаются — квиты с ними!

Иван молча потянулся к костылям и вспомнил — один-то сломан. «Грузнеть стал, Иван Иваныч. Костылики-то придется выстрогать поматерей».

Вечерами в доме Слеговых уютно: горит лампа под выцветшим абажуром, рваная тень от бахромы мирно

лежит на стареньких обоях, топится печь, стреляют по-ленья. Печь летом протапливают по вечерам, так как Мария рано утром уходит на работу, тогда уж некогда возиться с горшками.

И в этот вечер, как всегда, только сама Мария ласковее, говорит, как поет колыбельную — хошь дремли, хошь слушай:

— Чего, голубь мой, расстраиваться-то? — радоваться надо. Сам же толковал — жизнь вроде хороводы водит. И уж не дай бог, чтоб она по-старому закружила, чтоб снова тебе спину перебили. Спина-то у тебя, сокол, одна. Слава богу, что не закружилось, слава богу, что так быстренько оборвалось. Живы — и ладно...

У нее и на самом деле была тихая праздничность на лице — рада, что все идет, как шло, ничего нового не случилось.

Иван слушал, угрюмо смотрел в стол.

В доме — уют, трещит огонь в печи, пахнет щами. И жена ласкова, она всегда ласкова с ним — не продаст, не озлобится, редкий человек. Уютно в доме.

Живы — и ладно... Как-никак и это счастье.

Должно быть, разговор с бухгалтером все-таки не на шутку растревожил Лыкова. Спустя неделю он с напористой настойчивостью доказывал на правлении:

— Людей не ценим, дорогие товарищи. Колхоз-то наш растет и, так сказать, крепнет. А растет ли жизнь людей? У нас один-единственный главный бухгалтер. Чтим мы его? Скажете — да, чтим! Ой ли? Старые штаны наш бухгалтер донашивает третий год. Не замечали?..

Он тут же потребовал увеличить оплату Ивану Слегову. Ни себе, ни людям — Пеструхе комолой... Так нет же, чувствуй заботу, скидывай залатанные штаны, покупай новые.

Иван равнодушно принял подачку.

Война!

Она показала, как много Евлампий Лыков научился у Ивана Слегова и как притих, огрузнел сам Слегов.

Лыкову дали бронь — нужнейший специалист, не посылать же такого в окопы. Но самому колхозу — никаких поблажек. Ушли на фронт все мужчины, мобилизовали самых здоровых лошадей, увеличили поставки — сдавай, что положено с гектара, сдавай в фонд обороны, жертвуй на танковые колонны...

Лошадей-то мобилизовали, а на МТС теперь не надейся. Там остались только изношенные машины, опытные трактористы на фронте, их заменили девчонки и сопливые мальчишки.

В Петраковской снова принялись печь колобашки из куглины. По району уже разъезжали не одинокие толкачи-заготовители, а целые бригады их, но и эти сплоченные бригады не могли достать не только сверхплановые поставки, но и законные, плановые.

В Вохровском районе насчитывалось сорок колхозов, из них добрая половина совсем «не тянула», а сам район кое-как «тянул», с натугой выполнял обязательства. За чей счет? Да за счет наиболее крепких колхозов, и в первую очередь за счет лыковского.

В предвоенные годы догоняли Лыкова молодые председатели — Кузьма Соколов, Василий Злобин, Василий Красавин — с дипломами агрономов, ученых зоотехников, с напором, с хваткой. Правда, Лыкова на прямой не обскачешь — хозяйство поразмашистей, связей побольше и авторитет покрепче.

Кузьму Соколова мобилизовали сразу, на второй день войны — лейтенант запаса с нужной военной специальностью. Колхоз без него захирел сразу. Злобин, перед тем как уйти в армию, рекомендовал в председатели свою жену, бабу самостоятельную, изворотливую, которая не хуже мужа тянула хозяйство. А вот Красавин на фронт не ушел — астма, — но колхоз не удержал, только сам сломался. Многие падали...

Отдай за петраковцев, отдай за доровищенцев, отдай за того, о ком знаешь понаслышке. С каждым годом «тянущих» колхозов становилось все меньше и меньше — надрывались. Казалось бы, должны надорваться и пожарцы.

Но нет.

Во всю силу заработала «лыковская паперть».

У села Пожары давняя слава — хлебный остров. Раньше сюда тянулись из соседних деревень, из города Вохрова, дальние не доходили. Теперь уж к лыковской паперти пролегли дороги от Москвы, от блокированного Ленинграда, от захваченных врагом Киева и Минска, даже от Одессы и Севастополя. Каждый эвакуированный сразу же узнавал — не столь далеко есть заветный хлебный остров. Такого паломничества к Лыкову не было и раньше.

Интеллигентные старики в мятых шляпах, женщины

в рваных солдатских шинелях, в ватниках и сапогах, женщины с детьми, женщины одинокие, лица, изрытые горем, лица, отупевшие от несчастий, девушки, страдающие бледной немочью от недоедания, украинская и белорусская речь, библейские профили евреек. Все друг другу сродни, у всех одинаковое выражение усталой зависимости перед судьбой. А их судьба — невысокий, плотно сбитый человек с решительным наклоном крупной головы, с багровым загривочком, растущим из спины.

— Кто таков?

— Извините, я доктор филологии, преподавал в Киевском университете...

— У нас этой... как ее... нет. У нас в земле и навозе ковыряются. Работа не докторская.

— Я мог бы быть вам полезен по части культурного воспитания. Потом, войдите в мое положение, здесь я оказался с больной женой, с маленьким ребенком...

— А ты кто?.. Ага, просто жена военного. Так... Муж, говоришь, пропал без вести... Так... И дети погибли... Сколько тебе лет?.. Что ж, молода, поди, вилы в руках держать сможешь... Пройдешь испытательный срок — месяц. Не покажешь себя — вот бог, вот порог.

Людей, как добрый барышник лошадей, он оценивал сразу на глазок. Лыков имеет право выбора, остальным пусть занимается собес и прочие.

Иван Слеглов понимал: попади он сам в такое положение, его отменили бы в первую очередь — угасай с богом, калека! Тот, кто больше недоедал, кто сильнее других иссушен страданиями, кто уже измочален жизнью — не рассчитывай на Лыкова.

Иван понимал — ни он, ни кто-либо другой не может упрекать председателя. У Лыкова колхоз без мужских рук, без крепких лошадей, без надежной помощи МТС, и такой-то колхоз должен кормить солдат в окопах, рабочих на заводах, сдавать за соседей справа, за соседей слева, за те колхозы, что захвачены сейчас немцами. Лыков, быть может, жесток, но попробуй быть добрым в войну.

Навряд ли самому Лыкову нравилось играть роль бога-кормильца: не усыхал в теле, не тощал загривочком, но глаза запали, глядел жестко, часто срывался, кричал без нужды. И вдвое против прежнего расторопен.

Руки эвакуированных женщин заменяли не только мужские руки взятых на фронт пожарцев, но даже ло-

шадей, даже ненадежные энтээсовские машины. На этом держится лыковская экономия.

За две машины картошки можно достать угловое железо, еще две машины — получай стекло. Ни за какие деньги не найдешь мастеров-рабочих. За деньги — нет, а за муку, за масло — пожалуйста. Рабочие ставят теплицу. В этой теплице средь зимы вызревают помидоры и огурцы. Их не нужно сдавать, они не предусмотрены планом госпоставок. Огурцы, помидоры — это теперь такая редчайшая диковина, что никто о них и не мечтает. Выкинь их на рынок — вози деньги возами. Но что деньги — они военные, хлам бумажный. Гораздо ценнее крепкие связи. В столовой одной воинской части для высшего комсостава в буфете появляются салаты из свежих огурцов, а на складе колхоза «Власть труда» — кабель нужного сечения. Если облисполкому понадобился бы такой кабель — бились бы год, тревожили бы Москву, а достать — вряд ли... Кабель нужного сечения такая же редкость, как зеленые огурцы среди военной зимы.

Теплица рождает электрооборудованный паточный завод.

У кого есть померзший картофель, настолько померзший, что нельзя есть? У кого? Сообщите. Купим и вывезем. Промерзший картофель скупается за бесценок, иногда просто вывозится бесплатно. Из него гонится патока, а патока — товар ходкий. Лыков доволен. Лыков посмеивается: «Из дерьма — конфетка!»

Колхоз «Власть труда», и без того раньше богатый, раздобыл уже сказочно — новые фермы, теплицы, электростанции, мастерские, подсобные заводишки, — вкупе миллионные доходы!

Сам же Лыков от этих миллионов богаче не стал. Правда, снова к залатым штанам уже не вернулся, но щеголял в старой кожанке, обнов не покупал ни себе, ни жене, ни детям. Хоть и хвалился он в свое время Ивану Слегову, что живет в старом пятистенке Петра Гнилова, где углы крошатся и промерзают, но запасец, оказывается, на сберкнижке имел — на новый дом, конечно, с размахом — знай наших! И этот личный запас Евлампий Никитич в разгар войны выбросил широким жестом — на новый танк для победы, все до последней копейки. Потребовал от других — выкладывай, кто может, не жмитесь. Одна только просьба: пусть грозный танк называется «Пожарец». Знай наших!

В конце войны экипаж написал в колхоз, что их танк «Пожарец» дошел до Берлина.

Новый дом не очень-то печалил Лыкова — успеется. И Пашка Жоров, вернувшийся с фронта только чуть попорченным — разбило осколком локтевой сустав, — тоже латал свою старую крышу.

Вот и кончилась война,
И осталась я одна...

Евлампий Лыков носил в петлице пиджака боевой орден Отечественной войны первой степени.

ЛЫКОВ-МЛАДШИЙ

Чистых утомился, сбавил голос, но еще выкрикивал, Иван Иванович его перебил:

— Эх, парень, Америку мне открываешь.

— Не Америку — глаза открываю, Иван Иванович. Каждый небось в чужом-то зрачку...

— Зря стараешься — все о себе знаю. Давно, как в Страшном суде, взвесил: чаша-то с добрыми делами, признаю, у меня чистенькая, словно вылизанная, а грехи были...

— А вот этого я не говорю, Иван Иванович. Я за вами и добрые дела признаю.

— Как и за собой, конечно?

Чистых уже выкричался, сидел возбужденно-помятый, с бегаящими глазами, как школяр после драки, захваченный учителем.

— Я же ломовая лошадка. Неужели на мой воз только дурное клали?

— Ну, хватит нам считаться. Выскочи, погляди на машину, не пришла ли?

Чистых не особенно охотно встал, замялся у дверей:

— Иван Иванович...

— Чего еще?

— Простите, вгорячах-то чего не скажешь.

— Эх ты, человеком же стал на минуту, а теперь испугался. Не на ту сторону поклоны бьешь.

И все-таки Чистых вышел не успокоенный.

Молчал тяжело весь дом. За перегородкой что-то робко шуршало — то ли мыши возились в подпечке, то ли в соседстве, за стенкой, по-мышьиному жила лыковская жена Ольга.

Молчал дом. В затянутой густыми сумерками комнатухе, прислонившись седой головой к костылям, сидел

старый Иван Слегов, многотерпеливый помощник Лыкова, привыкший к непослушным ногам, к болям в спине перед дождливой погодой.

Молчит дом, и умирает за стеной хозяин Ивана, все- сильный человек, почти бог.

Бог?.. Всесильный?.. Ой ли?..

Рассудить трезво: наверное, сам бы хотел, чтоб над Пашкой не протекала крыша. Хотел, да не делал. Не всемогущ.

Лыков только главный в приходе, а приход-то из Пашек. Самая большая мудрость, какую Пашка получил от дедов и прадедов: «Латай портки вовремя», и то не всегда-то ею пользовался. Новые свинарники, новые коровники, новое хозяйство и стародедовское покорное «латай» еще остается в крови. Латай и плыви, куда несет, не барахтайся. Лыков главный в приходе, его ведь тоже несло, как и Пашек. Иван Слегов попробовал барахтаться — берегись, еретик! Осадил Лыков, сам же он и не пытался: еретиком стать столь же трудно, как и святым.

Жизнь Лыкова прошла под «ура». Сейчас тишина, тишина вокруг. Иван Слегов слушает тишину, его черед пока не пришел.

Лыков использовал его. Сейчас вот пытался использовать Чистых. Кто следующий на очереди?.. Кто-то должен заменить Лыкова.

Тишина, тишина...

Легкие шажки за стеной, скрипнула дверь, бочком влез в сумеречную комнату Чистых.

— Чего в темноте-то?..

Щелкнул выключателем, свет больно хлестнул по глазам, заставил зажмуриться.

— Машина скоро будет. Леху Шаблова послал — рванул на полусогнутых.

Иван Иванович недовольно жмурился, а Чистых, свеженький, будто успевший умыться за эти минуты, приобретший привычную ласковость и в лице и в голосе, забывший, что недавно истерически кричал на старого бухгалтера, присел снова на хромоу стул.

— Идет теперь по селу гадание... Свет во всех окнах, как на праздники.

— Ладно, что уж подплывать издалека, — проворчал бухгалтер. — Пытай прямо: за кого я голос подам?

— Ежели не желательно, ежели до поры в секрете держать для вас лучше, то я — боже упаси...

— Зачем мне скрывать?

Чистых замер почти в страдальческом изгибе, словно сел на гвоздь.

— Догадываешься?

— Нет, Иван Иванович.

— Опять врешь. Мы тут кучу всякой всячины наговорили, а о нем не вспомним. Почему бы это?..

— Не о младшем ли речь?.. — выдавил Чистых.

— Да.

— Иван Иваныч!..

— Что? Не нравится?

— Себя хороните, Иван Иваныч! Вот уж кто с вами церемониться не будет, вот уж кто в вашу сторону ухом не поведет...

— Опять — ухом!.. Пусть пень вместо головы, лишь бы на нем уши большие росли.

— Себя хороните, Иван Иваныч! Как этого не понять!

— Может быть, может быть, хороню...

Чистых кривовато восседал на стуле, глядя страдальчески.

Тот человек, о котором шел разговор, тоже носил фамилию — Лыков.

Он был из зеленой поросли, из тех, кто когда-то боконогими стайками бегали за грозным Матвеем Студенкиным, теребили его за штаны:

— Дядь Моть, сделай ружжо!

Сам Евлампий носил его на руках, катал на «закукорках». Его носил, а своих детей нет, — к тому времени, когда те родились, бывший Пийко Лыков стал Евлампием Никитичем, загруженным заботами председателем.

Он подросток, пошел в школу, и уже тогда его отец был в годах, занимал некое место колхозного пасечника, а все старшие братья, считай, встали на ноги. Один заведовал складами — все колхозные запасы под его доглядом, — второй руководил самой большой молочной фермой в колхозе, третий учился в военном училище, а четвертый кончал на инженера-лесозаготовителя. Всем покровительствовал их знатный родственник Евлампий Лыков, помнивший то время, когда зарабатывал себе хлеб пилой-растирухой, жил под крышей своего старшего брата.

Сергей был самым младшим племянником Евлампия Никитича. Соломенные волосы, крупная голова, уже в

ребячестве плечи с разворотом, не высок, но плотен — лыковская порода без подмесу.

Детство как детство, счастливей вряд ли бывает: купался в речке до синевы, ловил на удочку красноглазых сорожин, имел врага в школе, долговязого, цепкого Веньку Ярцева, часто дрался с ним, случалось, до крови. Венька был из Петраковской (школа-то семилетка на окружающие деревни одна — в Пожарах). Не замечал Сережка у Веньки голодного выражения на лице, и откуда ему было знать, что рваные сапоги на Венькиных ногах — одни на пару с матерью. Вряд ли во всей округе можно было найти семью более сытую, в какой рос Сережка. Сыновья самого председателя и ели не так жирно, и ходили необихоженные — Ольга, жена дяди Евлампия, хозяйка не слишком тороватая, вечно в дреме.

Ясный, как вешний день, мир окружал Сережку. Самый большой человек в этом мире — дядя Евлампий.

— Как учишься, Серега?

— Хорошо.

— Учись, учись. В министры тебя не пушу, а фигурой сделаю.

А есть еще бухгалтер Слегов — калека на костылях, черствая горбушка, слова никогда от него не услышишь, ни доброго, ни худого.

А вот конюх Матвей Студенкин — свойский мужик, он тебе и свистульку вырежет, и на лошадях разрешит прокатиться, и поговорить с ним чин чином можно.

Из ребят — Лешка Шаблов на отличку. Он даже моложе чуток Сереги, но задевать не мечтай. Мужики удивляются, когда этот Лешка гирю-двухпудовку одной рукой выжимает:

— Ядреный парнишка.

Он стал тем, кем хотел, — кончил сокращенные по военному времени курсы летного состава, сел на истребитель.

Небо — извечная противоположность постылой земли. Небо — недостижимая мечта о прекрасном, мечта о незапятнанной чистоте, мечта о бессмертии! Ложь! Красивая, благодатная, тем более оскорбляющая. В небе, как и на земле, жила смерть, и облака, когда их касаешься, — просто липкий туман, нет, не белые, нет, не сияющие — мутные и серые.

Сергею случалось попадать в переплеты не раз, нагледелся, как плещут в упор жгутовидно дымные полотнища трассирующих очередей, как взбухают тугие и ло-

бастые взрывы зенитных снарядов, слышал, как небо кругом рвется в лохмотьях. Не ласковое, не мирное небо детства, когда-то так сильно звавшее к себе.

Не раз он еле дотягивал до своего аэродрома, вслушиваясь в перебои мотора, потом на земле считал пробоины и тревожно радовался: «Пронесло».

Но однажды неспешной размашистой каруселью начала расти навстречу затянута голубой дымкой земля. Он успел выброситься, повис между небом и землей под белым куполом... Это случилось над самой линией фронта. Повезло, что ветер дул в сторону своих, повезло, что ни одна пуля не задела его, когда он, доверчиво открытый и беспомощный, висел над землей...

Дул счастливый, услужливый ветер. Он отнес его в свой тыл, опустил на поле, истерзанное гусеницами танков, исхлестанное временными дорогами, измятое, в корявых оспинах воронок, с щетинисто-пепельными заливами обгоревших мест. Сергей опустил на неубранный хлеб, на хлеб, сожженный, потоптанный.

Отстегнул лямки парашюта и сорвал колос. Земля радушно встречала упавшего с неба гостя. Искалеченная, изорванная, она одарила тишиной и частичкой своего еще не уничтоженного богатства — колоском пшеницы.

Лежал колос на ладони, странный колос. В родных местах Сергея земля лучше рожала лес, чем хлеб. Колос был незнакомого сорта. Зерно крупное, туго налитое янтарем, сам колос украшен длинными, парадно черными усами, они, жесткие, шероховато цеплялись за кожу...

Лежал колос на ладони, стояла тишина над головой, только далеко-далеко, словно спросонья, перекатывались пулеметные очереди, погромыхивали вялые взрывы. А сердце продолжало судорожно гнать раскипяченную кровь, она туго билась в венах. Только что из-под облаков, только что нырял под дымчатую лавину трассирующих пуль, сливался в одно целое с трясущимся в судорожной ненависти пулеметом, и отравленная кровь не может еще успокоиться. А кругом тишина, а небо вновь изливает на тебя ласковую синеву. Ласковую и лживую. И колос на ладони.

Только что казалось самым важным — важней всех великих проблем мироздания, важней собственной жизни — сбить! Изрешетить! Уничтожить! Только это, ничто другое!

И вот — колос на ладони, тишина... И ясная покойная

мысль: «Сбить, изрешетить?.. Нет! Важна ведь жизнь, а не смерть, колос, а не пепел».

Он не успел до конца удивиться простоте своего открытия. Прямо по измятому полю уже катил к нему приземистый, как лягушка, «виллис». К нему спешили, его хотели выручить.

— Жив, браток? Повезло тебе... Садись!

Он сел, он покорно покинул тихое, изуверенное поле и покатил туда, где люди продолжали жить знакомой ему ненавистью — убить! Изрешетить! Уничтожить! Покатил навстречу сонным перекатам пулеметных очередей, глухим погромохиваниям артиллерии.

Сорванный колос он долго хранил, завернув в бумажку. Потом тот высох, выкрошился, измялся, потерялся по частям.

«Тот человек, который может вырастить два колоса, где рос один, заслужил бы благодарность всего человечества...» Ничто не ново в этом мире, великий англичанин за сотни лет до появления Сергея на свет красиво высказал его желание. Только великий англичанин, пожалуй, крупно ошибался насчет благодарности, ему ли не знать, что памятники охотнее ставятся воинам, чем землеробам. Даже сам Сергей был не обойден похвалой как воин — набор орденов украшал его грудь.

Колосок выкрошился, потерялся, но память о нем осталась. Только память, не больше того. Он все еще думал, что и после войны останется военным летчиком.

По чужой земле, по разгромленной Германии шла весна, и ручьи в кюветах вдоль асфальтовых шоссе пели на той нежно-высокой, радостной ноте, какой они поют по оврагам вблизи села Пожары, и так же, как в Пожарах, пахла сладко и призывно подсыхающая земля на вспаханных полях.

Их авиачасть базировалась в Восточной Пруссии, в стороне от разбитых городов, среди фермерских хозяйств, укоризненно добротных, с водонапорными и силосными башнями, с черепичными крышами над просторными коровниками, с игрушечно чистенькими домишками, никак не похожими на русские избы, в них кафельные печи и даже печные дверки из начищенной меди.

Солдаты дивились:

— И чего они, сволочи, от такой жизни к нам полезли!

Солдат из аэродромной obsługi больше всего поражали автопоилки — у каждой коровы своя чашка, на жми носом, течет вода, пей от пуза. Эти парни попали из вятских, вологодских, ярославских деревень, а в ту пору большинство северных колхозов этой нехитрой техники еще не имело.

Солдаты удивлялись, а Сергей Лыков удивлялся им — нашли диковинку, его дядя за несколько лет до войны поставил точно такие автопоилки. Эх, Пожары, Пожары! Родное место, село в петле мелководной речушки, с колокольней белой церкви над тесовыми крышами, с извечными штабелями бревен, кирпича, со свежими неоконченными срубами на окраине. Село с громкой славой, и не зря — кой в чем немцу нос утрет.

По-пожарски звенели ручьи, по-пожарски пахли распаренные поля. Там, возле дома, скоро, должно быть, зацветет черемуха, блески опавшего цвета усеют траву... И тошно было слышать рев разогреваемых моторов, днем и ночью несущийся с аэродрома.

Он тосковал по родному селу, как молодой призывник.

После войны часть их перебросили на родину.

На родину ли?..

В Германии хоть весна походила на весну, ручьи шумели по-пожарски. За Каспием, за пыльным, сожженным солнцем Красноводском, среди песков ни в какое время года не увидишь живого ручья. Воду привозят в цистернах, вода теплая, парная, с привкусом железа, песок проникает сквозь плотно закрытые окна, хрустит на зубах. Утречком бы пораньше, по росе, обжигающей босые ноги, — к речке да с берега вниз головой в омут, поплавать, пока не заломит кости от холода! А из окна — пустыня до неба, шары колючек скачут по песку. Под самым окном валяются местные собаки, рослые, косматые, желтые, как песок, ленивые, как сама пустыня.

В штабах шла работа, напряженная и деликатная. Война кончилась, армии уже не нужно такое количество летчиков. Почти все они готовились в военной спешке, кто-то успел дозреть на практике, набрал достаточное число боевых вылетов, кто-то нет. — Большинство молодежи, бывшие школьники, другой профессии не знали, —

лишь управлять штурвалами, припадать к гашеткам пулеметов. Товарищи Сергея жили в тревоге: демобилизуют, а дальше куда? В гражданскую авиацию? Там охотников хоть отбавляй. Учись на шофера или тракториста. Повальная мечта — попасть на переподготовку в высшее летное училище, получить новую звездочку на погоны, назначение в часть, которая расположена не в таком проклятом богом месте.

Сергей мог рассчитывать на удачу. На его счету достаточно боевых вылетов, есть сбитые самолеты, есть орден — вряд ли обойдут. Но подал прошение о демобилизации.

Он сыт авиацией. Небо пахло для него бензином, облака — сыростью, а поднимаясь над землей, разглядывая ее сверху, постоянно думал с завистью — там, внизу, люди живут не только скучными гарнизонными буднями.

Он совсем не знал, как выглядит нормальная человеческая жизнь. Пойти на переподготовку — значит навеки оторваться от земли. Большим выбором его не побалуют, а вот в селе Пожары — полный выбор, хочешь на инженера учись, хочешь на агронома, а не захочешь, и в колхозе найдут работу по плечу, уж не обидят. И будешь утром по росе бегать к речке, весной слушать ручьи, дышать запахом цветущей черемухи.

И вспоминался колос на ладони, колос пшеницы, не известной в Пожарах.

Просьбу о демобилизации удовлетворили.

За тесовыми и драночными крышами, тронутыми бархатными заплатами мха, выглядывали новые крыши — шиферные и железные. С лица село, похоже, даже постарело — ниже теперь казались знакомые избы, мельче и уже родная речушка, костлявей березы, но с тылу по окраинам село неузнаваемо — среди искалеченных тракторами и грузовиками дорог целый поселок с незнакомыми службами. Маленький ручеек, сбегавший в реку по овражку, забран земляной плотиной, разлилось мутное, с истоптанными коровами и овцами берегами озера. На нем плавают утки и гуси, птичьим пухом покрыта вода.

Перемены — да, большие. Построены новые коровники и свинарники, новые доходные заводи, а вот бревно, обретенное когда-то отцом Сергея посреди дороги, до сих пор лежит непотревоженное, потемнело, зацвело. Трактористу, шоферу, конюху легче каждый раз объез-

жать его, чем остановиться, слезть, оттащить навсегда в сторону. Мешает, конечно, но не особо, потому — пусть себе, лежит едва ли не восьмой год. Ревнитель порядка, сам дядя Евлампий, наверняка по несколько раз на день его огибают. Загадочная русская натура — немцы бы прибрали.

Перемены — да. Валерка Приблудный, оказывается, стал замом дяди Евлампия, правая рука, ходит торопливой, подпрыгивающей походочкой очень занятого человека, таит на лице строжинку, с ним здороваются издалека, величают по имени-отчеству. Но при встрече с Сергеем расплылся, как старому знакомому:

— Сергей Николаич! Со счастливым прибытием в родные края! Поздненько вы, поздненько, мы, фронтовички, все уже слетелись. В гости заходи, чем богаты, тем и рады...

Но многое не изменилось. По-прежнему по утрам, болтаясь на костылях, волоча ноги, обутые в подшитые валенки, пробирается к конторе бухгалтер Слегов. Он изрядно поседел, заметно огрузнел, но такой же нелюдим — увидел, кивнул крупной головой, проковылял мимо, словно вчера виделись.

И старик Студенкин — жив курилка!

— Это ты ли, сокол? Вернулся...

Раздавил слезу под красным веком.

— Сеньку-то моего... А?..

Он усох, сваялся, хрящеватый нос из ржавой бороденки потоньшал, стал острей.

— При конях куда все, но слабоват, в рейсы на сторону уж не пускают, по селу на двуколке болтаюсь, жмыха ли привезти, обрату ли. А Сеньку-то моего... А?.. Сенька того... еще в первый год...

Сергей почти не был знаком с молодым Студенкиным, не парнишествовали вместе — Семен-то постарше.

Нисколько не изменился и дядя Евлампий — налит багрецом загривочек, властная речь, порывист. На встрече служивого он подвыпил, хватал за плечи, кричал в ухо знакомые слова:

— В министры тебя не пушу, не-ет, а фигурой следаю!

Как ни скромничай, а все же льстит, что твой приезд — событие для села, хотя уже и привыкли встречать вернувшихся фронтовиков. Офицерские погоны, просторные и донельзя суженные у колен бриджи, хромовые са-

пожки, набор орденов, слава летчика — заметен! И по селу передают из уст в уста:

— Остаться решил...

— Не останется — улетит.

— А чего ему лететь, тут, поди, не прохладней будет.

— И то, Евлампий-то Никитич сразу нацелился: в министры, говорит, не пушу!..

— Парень не тюфяк, не в двоюродных братцев.

Ему исполнилось двадцать три года, жизнь ничем его не обездолила — ни умом, ни здоровьем, ни почетом. Поэтому считал — взрослый, самостоятельный, давно хозяин сам себе.

Но самостоятельным он никогда по-настоящему не был. До сих пор за него думали, им распоряжались другие. В армию ушел мальчишкой, едва исполнилось семнадцать, не сам, а военкомат счастливо распорядился им, послав успешно окончившего десятилетку, с безупречным здоровьем парня в летную школу, где вставал по команде, учился по команде, маршировал в столовую по команде, ложился по команде спать. В части старшие начальники отдавали ему приказы о вылете, диспетчер по радио — разрешение приземлиться. Даже тогда, когда он вел воздушный бой, не был полностью самостоятелен — за него прежде подумали, напичкали полезными инструкциями, советами, опытом — так-то заходи к «юнкерсу», так-то к «мессершмитту». Нет, конечно, не всегда он действовал только по указке, порой соображал сам и, наверно, не плохо уже потому, что остался жив. Но соображать самому за себя приходилось в крайних случаях, быть под чьей-то опекой — постоянно.

И он считал в порядке вещей, что дядя Евлампий, старший над ним, взял его под свою опеку.

Он появился в Пожарах как раз в тот момент, когда Евлампий Никитич с придирчивой гордостью оглядывал свое заматеревшее хозяйство: «А чего у нас нет?» Все было, не придумаешь — чего? Но Лыков открыл-таки — не ночевало в колхозе науки! Агрономы и зоотехники засылались со стороны — скороспелые, сопливые девчонки с курсов. Да бог с ними, что невелика корысть, сам Лыков и его бригадиры не хуже дипломированных агрономов знают, на чем хлеб растет, справлялись и справятся без тех, кто штаны да юбки просидел над книгами. Но шутка ли, если начнут говорить: «У Лыкова в колхозе работает свой кандидат наук!» Обязательно канди-

дат, не меньше — ученый по всей форме, с утвержденным ученым чином. На добрый дом не грешно посадить и резного конька на крышу.

А тут — Серега, школу с отличием кончил, фронтовик с заслугами, имеет намерение учиться. На агронома — да, пожалуйста! И с той и с другой стороны все сошлось впритирочку.

Евламий Никитич быстро решил, что для этого нужно.

Персональную стипендию от колхоза помимо той, студенческой, что будет давать государство. Знай наших, не нищие!

За это взять твердое слово — по окончании института мест высоких не искать, в сторону не глядеть, а вернуться в родной колхоз на постоянные времена.

И еще оговорочка: простой диплом хорош только для начала, но на этом остановиться не разрешим — получи кандидата, а дальше видно будет, может, и повыше огребем, да хоть профессорский чин. Стирание грани между городом и деревней, так сказать — политика!

Евлампия Лыкову легче всего было пристроить Сергея в областной сельхозинститут — сними только телефонную трубку. Но областной институт — не тот сорт, в колхозе у Лыкова все должно быть наивысшей марки. Тимирязевская академия в Москве пусть распахнет двери! Для этого Валерке Чистых было поручено сочинить письмо, да посолидней, с достоинством: «Наш колхоз издавна считается передовым... Наш колхоз в настоящее время крайне нуждается в высококвалифицированных научных кадрах...» И о стирании граней как бы невзначай, мимоходом... Колхоз профессорам академии наверняка известен — народ грамотный, газеты читают. Правление подпишется, а на самом верху будет стоять подпись Евлампия Лыкова. Послать письмо нужно загодя, чтоб успели его прочувствовать, чтоб ждали посланца из Пожар, честь по чести встретили.

Сергей искренне считал — взрослый же, самостоятельный! — то, что предлагает Евламий Никитич, хочет он и сам. Даже больше, сам-то вряд ли бы решился на Тимирязевку, скорей всего осел в областном институте. Или же — кандидат наук... Об этом, признаться, не мечтал, и напрасно — уж если думаешь приступом брать гору, то целься до самой вершины. Свободный размах дяди Евлампия вызывал восхищение.

Взрослый, самостоятельный... И в голову не прихо-

дило, что в этой напористой опеке есть что-то не совсем нормальное. Он не задумывался, почему таким же парням-фронтовикам из других сел, из других деревень нужно пробиваться к учебе своим горбом, преодолевать вступительные экзамены — фронт-то поветрил школьные знания! — без рекомендательных писем с коллективными подписями, рассчитывать только на не слишком-то щедрые институтские стипендии и медные деньги престарелых родителей... В голову не приходило задуматься.

Бухгалтер Иван Иванович Слегов, рыхлой копной восседающий за столом, выдал оформленные к отъезду в Москву документы, объяснил, не подымая пепельной от седины головы:

— Деньги на проезд, суточные на две недели, пока будешь сдавать экзамены. Стипендию станем переводить ежемесячно со дня учебы...

И вдруг поднял широкое лицо, из-под оплывших век — пытливые, льдисто-синие глаза, спросил:

— За всю войну не ранен?

— Нет.

— С наградами?

— Да. А в чем дело?

— Ни в чем. В рубашке ты, парень, родился.

Бухгалтер снова опустил к столу шевелюру, густую и сивую, как загривок старого волка, давая знать — разговор окончен.

Сергей вышел уязвленный.

Калека, судьбой обиженный, вот и завидует — в рубашке. На что он намекал? Мол, добрый дядя устраивает... И верно, не он один так думает — многие. В рубашке... А почему этот добрый дядя своего старшего сына не тянет за уши в учебу, тот даже школу бросил? Не в родственности дело — колхоз посылает. Он, Сергей, не просто кандидат в студенты, он официальный представитель передового колхоза. Повезло на войне — не сгорел в самолете, повезло — родился в знаменитом колхозе, повезло — десятилетку кончил с отличием, как ни шарь по селу, а не найдешь более достойного. И за это глаза колоть?..

Но бумаги на деньги, врученные бухгалтером, все-таки жгли руки.

Тихая окраина Москвы, статуи легконогих коней перед фасадом ветеринарного корпуса, запорошенный снегом городок Тимирязевской академии.

Ты полпред лыковской державы в науке. Вряд ли на курсе можно отыскать более добросовестного студента. Сергей не только посещал и записывал каждую лекцию, не только придерживался программы, хотел знать больше того, что дают профессора. Все свободное время он просиживал в библиотеках.

И опять послушно следовал указаниям: читай Докучаева и Вильямса, особое внимание обрати на работы Трофима Денисовича Лысенко, опасайся проявлять интерес к трудам Менделя и Моргана, их учение — диверсия враждебной идеологии. Монах Мендель колдовал над горохом, не урожаи его интересовали, нет — цветочки! Его последователи совсем спятили с ума — разводили мух!

Однажды объявили: первый академик, первый ученый, гигант отечественной агрономии сам изъявил желание читать лекции!

Профессора вместе со студентами встречали его машину на улице.

Он прошел по коридорам, напористо стремительный, сухонький, кажущийся подростком по сравнению с дородными профессорами, с суетливой услужливостью едва поспевающими за летящим шагом первого академика. Никакой академической важности в фигуре, лицо знакомо по бесчисленным портретам, лицо, где мужицкий аскетизм и мужицкая деловитость сливались воедино.

Зал ломился от народа. Сергею удалось занять место во втором ряду. Высокого лектора встретили бурей аплодисментов, все ждали чуда.

Чуда не случилось. Если сам лектор не походил по облику на привычный тип академика, то его лекция была весьма суха и академична — пространные рассуждения о влиянии среды на рост растений.

Но он все-таки оставил после себя чудо. Его показали в более узкой аудитории несколько дней спустя. По рядам передали пучок ветвистой пшеницы.

Никогда не забыть Сергею, как кто-то протянул ему этот драгоценный пучок. Он принял... Принял, как принимают обычный соломенный пук, который легко ложится в горсть. Но рука невольно качнулась от благодатной тяжести. Первое же прикосновение чуть не заставило крикнуть от изумления. Нет, не соломенная легкость, не колосковая невесомость в руке. Сергей держал увесистый кистень! Каждый колос вблизи чудовищен, нет в нем изящности, он безобразен своей толщиной, колючей

бугристостью, зернам тесно, их распирает в стороны. Несколько таких колосьев и — пригоршня зерна! Сергея те-ребили за плечо, требовали — передавай дальше — а он смотрел, смотрел, не мог оторваться.

«Тот человек, который сможет вырастить два колоса, где рос один...» Вот оно — свершилось! Сергей живет в одно время с таким человеком, которого будет с благодарностью помнить из века в век все человечество. Он видел его воочию! Он слушал его! И такие-то хлебные кистени закачаются на полях! Это вам не дрозofiла — муха-цокотуха, забавляющая досужие умы! Хлебные кистени... Один урожайный год на такую пшеницу будет кормить десять лет! Забудется голод, страх перед недородами уйдет в прошлое.

Сергей был бы плохим полпредом своего колхоза, если б не попытался добыть семян ветвистой пшеницы — ну, один колосок, ну, хоть несколько зерен всего! Никто этого пообещать не мог, пообещали только свести Сергея с самим создателем.

Их встреча произошла перед очередной лекцией. Вблизи знаменитый ученый не напоминал подростка — ростом несколько не ниже Сергея, да и сухопарость его обманчивая, под не новым и не модным пиджаком слегка проступал животик. Он выслушал сбивчивую от волнения речь студента с суровым доброжелательством, но в ответ спросил резко:

— Какие урожаи у вас пшеницы?

Пришлось признаться: не всегда-то пшеничка балует урожаями. Рожь и ячмень — вот их беспроигрышные культуры.

— Начинать освоение такой культуры с ваших мест — штаны через голову примерять.

И отвернулся, считая аудиенцию законченной.

Просто, крепко, по-мужицки грубо — вспомнишь и почешешься. Удивительный человек.

И странно, именно в эти дни Сергей сошелся с другим человеком, который довольно-таки прохладно отзывался о селекционере номер один страны.

Светлана Вартанова училась в аспирантуре, была старше Сергея года на три, профессорская дочка, видевшая изнанку жизни только во время войны, в эвакуации. Они познакомились в библиотеке, Сергей стал провожать ее сначала до метро, а потом и до дому в Скатертном переулке. У Светланы — нездоровой белизны лицо, кроткое выражение на нем, красивые ровные брови, темные

глаза с восточной печалинкой — в ней текла армянская кровь, дед ее носил фамилию Вартанян.

Нет, резкость суждений не была в ее характере, ни резкость, ни категоричность, но это не мешало ей ко всему относиться с мягким скепсисом. С мягким, почти виноватым, но попробуй сбить ее с этого извиняющегося неверия.

— Сереженька, — упрекала она своим шелковым голосом, — я давно заметила — людям от земли, из кондовой деревни свойственно прекраснотушие. Просто умиительно, что ты так прекраснотушно веришь — новый сорт пшеницы станет панацеей всего человечества.

— Я держал пшеницу в руках своих! Я своими глазами видел, что это такое!

— Ее держали в руках еще хлебобобы Древнего Египта, Сережа.

— Может быть, может быть! Но случайную, как исключительное уродство природы, не выведенную! Эта же выведена! Эта — уже не случайность, а норма.

— Он не в первый раз что-то выводит и всегда с шумом. Но вот ведь удивительно — выведенное как-то бесплотно пропадает потом, а шум живет, шум — материал! Великое искусство, Сереженька.

Голос Светланы обволакивающий, как паутина, отмахиваешься, а он все больше липнет.

Сергей сердился не на нее — на себя, на свою бесхарактерность.

Ехал домой на свои первые летние каникулы с ощущением — все идет как нужно, мир кристально ясен: монах Мендель с цветочками и мужицкий сын академик с образцами ветвистой пшеницы, есть псевдонаука и наука истинная, тьма и свет. Придет время, и он будет гореть вместе с другими в сияющем факеле науки. Пусть тогда нелюдимый бухгалтер Слегов попробует попрекнуть: мол, добрый дядя... У Сергея в зачетке за две сессии кругом «отлично», не прожигал время, перечитал кучу книг, изучал гербарии — кто смог бы лучше его выполнить долг перед колхозом?

А дядя Евлампий встретил Сергея сюрпризом.

В стороне от села, за молочными фермами, за только что заложенным яблоневым садом, — тоже новинка в этих елово-березовых местах! — стояла столярка-временка, где прежде сколачивались ульи для пасеки. По приказу Евлампия Никитича эту временку перебрали,

расширили, утеплили, обшили тесом, выкрасили в салатный цвет, обнесли палисадником, над низеньким крылечком повесили строгую, под стеклом, вывеску:

СЕЛЕКЦИОННО-ОПЫТНЫЙ УЧАСТОК КОЛХОЗА «ВЛАСТЬ ТРУДА»

Евламий Лыков сам привез племянника к этому новоиспеченному научному учреждению.

— Твое хозяйство. На правлении тебя утвердили в должности заведующего. Так что зимой, в Москве, набирайся уму-разуму, летом — здесь орудуй.

Из трех пахнувших краской комнат одна была уже оборудована под кабинет — письменный стол с новым чернильным прибором, стул, полумягкий диванчик для посетителей.

Но и этого мало. За окном тянулось в свежей зелени ровное поле.

— Твоя земля — три га! Я пока здесь вико-овсяную смесь посеял, но если что нужно посадить для опытов, только мигни — скосим, освободим. Для науки мы, как для мамы родной: чувствуй не гостьей, хозяйкой!

Сергею было неловко от таких поспешных забот.

— Пожалуй, рановато, пока все это лишнее, — сказал он. — Сажай для опытов. А что?.. Знания — не картошка, съездил да привез мешками. Я всего-навсего студент-первокурсник.

Евламий Никитич обиделся:

— Лишнее?.. Тебе видней. Мой — подою, твоё — молоко. Я своё для науки сделал, а ты думай.

У знатного председателя был свой упрямый расчет, которого еще не улавливал Сергей. Ремонт бывшей столярки для колхоза — смешно считать — расход копеечный, зато в приход можно записать: основан опытный участок, заложена научная база! И три га земли — пусть! С этих трех га большого хлеба не сымешь, а ученая степень вырастет может. Да и не рассчитывал Лыков, что Сергей использует эту землю, а потому заблаговременно, чтоб не пустовала зря, засеял ее под зеленую подкормку. Председатель даже выделил для Сергея штатную единицу — девятиклассницу Ксюшу Щеглову, дочь одинокой Матрены Щегловой, муж которой убит на фронте и приходился родственником лыковской секретарше Альке Студенкиной. Тут тоже двойной расчет: во-

первых, помог семье погибшего фронтовика, во-вторых, взрослый колхозник потребует полный трудовой день, Ксюшка еще девчонка, довольна будет сколько ни назначат. Сергей от своей новой должности не получал лишней копейки — отработывай стипендиальные, которые идут не только зимой, но и летом. Ксюшке выделили вдвое меньше, чем зарабатывала любая баба на полевых работах. Но на поле-то гни спину, а что делать на опытном участке — не знала ни сама Ксюша, ни Евлампий Никитич Лыков, даже новоявленный заведующий Сергей представлял смутно. Одно ясно всем: работа, должно, не бей лежачего, Ксюшке она в школе учиться не помешает.

Словом, наука не так уж и дорого обходилась для Евлампия Лыкова.

В прославленном колхозе дядя Евлампий всюду установил строгий порядок — на фермах, на складах, в мастерских, но только не в сортовом хозяйстве. Сеяли что попроще, что не сулит чудес, зато растет наверняка. И среди хлебов росло много «Иванов, не помнящих родства». Наверное, и надо начинать пожарскую науку с того, что с пристрастием допрашивать этих «Иванов»: «Кто вы такие? Кто ваши родители?»

И тут вовсе не обязательно иметь контору с вывеской, с письменным столом, чернильным прибором, с диванчиком для посетителей. И целых три гектара опытной земли пока ни к чему.

Сергей замкнул на замок дверь новоиспеченного научного заведения, предоставил на опытной земле расти незатейливой вико-овсяной смеси, связал веревочкой самодельные картонные папки для растений, вооружился широким кухонным ножом, натянул на голову старую кепку, двинулся в поля, прихватив с собой узаконенный решением колхозного правления «научный штат».

«Штату», Ксюше Щегловой, еще не исполнилось и шестнадцати лет — долговязая девчонка, две косы по узкой спине, шелушащийся нос, посаженный среди крепких скул, широко расставленные глаза, непорочно чистенькие, словно ручейковая водица над песчаным дном, в упор доверчивые, не тронутые угарным хмельком первой бабьей весны, да мальчишеские исцарапанные колени над слишком просторными голенищами стоптанных сапог.

— Сергей Николаевич, а я раз тоже нашла два колоска из одной соломинки...



Сергей учил свой, ниспосланный Лыковым «штат» и уже успел произнести назидательные слова: «Тот человек, который сможет вырастить два колоса, где рос один...», успел и рассказать о чудесной пшенице, что видел в Москве, держал в своих руках. Что может быть чудесней сказки, чем сказка о сказочном хлебе, для подрастающего, выросшего в крестьянской семье?

— Право, право, Сергей Николаич, нисколько не вру. Два колоска, как есть...

И в глазах наивное ожидание: «Да что ты говоришь?! Да где же они?! Да куда ты их дела?!»

— Два?.. А ты знаешь, что бывает, когда охотник гонится за двумя зайцами?

— Но ведь!..

— Запомни одно, мы с тобой охотники за обычными колосками, за самыми обычными. Чудес искать не станем.

Пожарские поля отрезвили Сергея: таблицы сортов, засушенные гербарии, которые он разглядывал в Москве, упрямо не хотели сливаться воедино с теми хлебами, по каким они ходили, не объясняли друг друга. Единственное, что Сергей способен был сделать, это собирать все подряд. Собирать, записывать, запоминать, а уж потом в академии разбираться. Там он узнает — продуктивны ли собранные им сорта, что можно сделать, чтоб стали более продуктивными, какими сортами выгоднее заменить? Возможно, он раздобудет элитные семена, а уж тогда-то — долой с опытного поля вико-овсяную смесь!

Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается.

Он лазал по полям, кухонным ножом бережно выковыривал корешки кустиков ржи, ячменя, пшеницы, а вечерами насаждал на бригадиров, заставлял вспоминать:

— А чем удобряли поле за Оськиным оврагом?.. А сколько навозу? Сколько суперфосфату?.. Делали ли по колхозу анализы почв? Где можно раздобыть данные?..

Ксюша Щеглова честно зарабатывала свои трудодни, в особые тетрадки переносила записи Сергея, засушивала по всем правилам растения, писала и клеила ярлычки и уже говорить стала учеными фразами, не иначе:

— Рожь у нас в сортовом отношении — не разбери чего. Ежели покопаться, то, поди, и «муравьевку» найдешь. Черт те что — древность! И это в самом передовом колхозе!

« Даже бывшая столярка пригодилась, не та комната, где стоял письменный стол и диван для посетителей, а две пустые. В них складывали собранные образцы.

Евламий Лыков больше не интересовался Сергеем — его председательское дело сделано. О том, что пожарский колхоз обзавелся своим научно-опытным участком, узнали и в районе, и в области. В местных газетах появились краткие, но внушительные сообщения. Подойник поставлен, и в него уже капало молоко.

Пожарские земли, поросшие лесом, врезались клином в земли двух колхозов — Доровищенского и Петраковского. Там тоже находились поля-прогалины, «чертовы кулички», как звали их в селе. С них возвращался Сергей с Ксюшей. Дорога вела через деревню Петраковскую.

Разбросанная по плоскому холму, сама плоская, прижатая к небу, в который лишь врезались шесты колодезных журавлей да скворечники, Петраковская поражала своей покорной унылостью. Пожары — село скученное, зеленое, облагороженное и речкой, и приветливой колоколенкой. Здесь тишина и пустыньность. Громадные избы, сложенные из матерого кондача, — память о былой зажиточности, — глядят на широкие улицы заколоченными окнами. Деревня год от году все больше слеpla — люди из нее уходили на сторону.

Сергей и Ксюша за целый день не присели ни разу, грыз голод. И хоть до села оставалось каких-нибудь четыре километра, Сергей предложил:

— Давай-ка купим здесь молока да перекусим.

У них был с собой хлеб и вареные яйца. Хлебом-то вряд ли в Петраковской разживешься.

Постучали в первую же избу, из которой доносился захлебывающийся плач ребенка, — значит, есть живая душа.

Показалась простоволосая, растрепанная баба, из-за ее домотканой, бурой от старости юбки выглянули сопливые, измазанные ребячьи рожицы.

— Молока не продашь ли, хозяйюшка?

Плач раздавался из распахнутых дверей, женщина с сонным недоумением разглядывала и молчала.

— Молока, говорю, не продашь ли?

— Молока?.. Эва. Да в нашей деревне и всего-то три коровы уцелело. Каждая на три семьи, для детишек держат, по очереди доят — седни одна, завтра друга.

А мои... Вишь, ораву, — баба тряхнула юбкой. — Мои-то забыли молоко, какого оно цвету...

— Пойдемте, Сергей Николаич, — испуганно потянула за рукав Ксюша.

Плач доносился из избы. Детские глаза, глаза женщины в упор, сонно-равнодушные, усталые. И нечесанные жидкие волосы, и тусклое лицо, и жилистая шея, и ключица, обтянутая коричневой кожей из утеравшего пуговицы ворота серой кофты. За спиной плач надрывающегося младенца. Сергей, уставший, пыльный, в тяжелых сапогах, в выгоревшей кепке блином, вдруг почувствовал себя до неприличия буйно здоровым и нарядным — грудаст, плечист, часы из-под рукава нагло поблескивают на запястье.

— Сергей Николаич, пойдемте. Дом же близко.

— Прости, право... — сказал Сергей хозяйке.

И та, видать, купилась его кротостью, сочувственно посоветовала:

— Ты к соседке стукнись. Та богато живет — одна-одинешенька, а козу держит. Поди, как-нибудь продаст молока.

— Лучше идемте, Сергей Николаич. Идемте скорей...

Надрывный детский плач не умолкал.

— Гру-ня! Гру-ня-а! — завопила вдруг баба, покрывая плач. — Э-эй! Выглянь-ко! Тута нужда до тебя!

Дом богатой соседки был громаден и одноглаз — пятистенки, нагромождение истлевших бревен, покрытых прогнувшейся, рыхлой, как чернозем, драночной крышей с ядовито-зелеными лишаями мха. Все окна, кроме одного, забиты досками, зато в этом одном белели занавесочки и багрянцем горел цветок герани. Из нескладного, ненадежного сочленения бревен вынырнула маленькая, опрятная, проворная старушка — веселый, в цветочках платок на голове, лицо приятно скуластое, расплывшийся от улыбочки нос.

— Аюшки?.. Кто такие будете? Чтой-то вроде знаком по обличью. Уж не родня ли самому Евлампии Лыкову?

— Вроде бы.

— Уж не Серегой ли тебя кличут?

— Сергей, — удивился Сергей.

— Гос-по-ди! — старушка всплеснула руками. — Так ты сына моего знаешь. Веньку-то!.. Забыл, поди, в училище вместе бегали.

— Веньку? Ярцева?

— Его, касатик, его. Вспомнил, родимый!

Венька Ярцев, школьный недруг Сергея, с которым так часто схлестывались на переменах. После седьмого класса с ним расстались, а потом...

— Где он?

— О-ох! — старушка засморкалась в конец платка. — О-ох, да где уж... На войне, будь трижды проклята, анафема! Один и был у меня, один-единственный, кроме него, никого чисто... Кукую вот век одна. Почто и жить-то... Да что я, нужда-то какая, сказывайте.

Ни есть, ни пить уже не хотелось, но пришлось сесть тут же на дворе.

— Уж неколи в дом войти, то туточка, туточка, на живой ноге.

Крынка густого козьего молока встала на травку перед Сергеем.

— Пейте на доброе здоровье. Гос-по-ди!.. Я хоть на тебя, любый, со сторонки погляжу. Ну-тка, сыну моему кореш. Хоть чужому счастьем порадуюсь... Пейте, пейте, не гнушайтесь — уж чем богата... А чем? Какое ныне богатство. Жить-то у нас...

Сергей выложил полбуханки пшеничного хлеба, десяток помявшихся в сумке яиц, пригласил:

— Без тебя не сядем, мать.

— Ой, сынок, да я сыта, я еще себя содержу. Грех жаловаться, у многих хуже... Христа ради, ешьте, пейте... А широко вы живете, широко. У нас яйца и ребятишкам не показывают, не-ет, только ими и откупаемся — налоги шибко большие. И хлеб у вас, гляди-ко, чистый. Ну да, одно слово — пожарцы.

— Сергей Николаич! — почти со стоном протянула Ксюша.

У изгороди выстроились в ряд детишки соседки — лет восьми самый старший, с выгоревшими, сухими кудельными космами, сквозь рваные штаны просвечивает острое, смуглое колено, с ним еще трое, друг друга меньше, самый маленький — тугой барабан живота на кривых тонких ножках, рубашка не рубашка, распашонка не распашонка, ветхая тряпка на нем. Остановившимися светлыми глазами глядят на хлеб, на яйца на мятой газете, нет, не с жадностью, с изумлением. Изумление даже у малыша.

Сергей рывком сгреб в газету хлеб, яйца, встал, шагнул к старшему:

— Возьми! — И потому, что тот оторопел, прикрикнул: — Да бери же, черт! Меньших не обдели.

Грязные зверушечьи лапки робко потянулись к свертку. Венькина мать прятала глаза, вздыхала:

— Господи, господи... Не сироты, а вроде этого. Отец-то жив, да забыл, видно, — на стороне да на стороне, и голосу не подает. Настругал бабе кучу... Меньших-то я подкармливаю, а всех — где мне. Господи, господи, сердце кровью обливается... Молоко-то хоть выпейте...

— Извини, мать. Не могу.

— Оно, конечно, с непривычки-то... Да и привыкай не привыкнешь, все одно расстройство. Господи, господи...

Уже уходя, они за спиной слышали голос старухи:

— Васька! Сенька! Идите, пострелята, сюда! Молоко-то осталось!

Сергей заскрипел зубами. Ксюша шла, словно кралась, как прибитая.

Сколько раз он пересекал знакомую дорожку, разделяющую пожарские поля от петраковских? Десятки раз, если не сотни.

Узкая дорожка в два шага в ширину — среди густой аптечной ромашки и жестких стрел подорожника вытопанные проплешины. Тут лишь изредка проезжала телега да время от времени катит «газик», на котором сам Евлампий Никитич Лыков объезжает свои владения. «Газик» не умещается на дороге, одним колесом мнет соседский хлеб. Все лето держится промятая им колея.

Проходя здесь, Сергей всегда испытывал горделивое чувство.

Дорога, не проселок и не тропа, что-то между — граница колхозов. С одной стороны ее — хлеба, зеленеющие той благодатной утробной зеленью, которая говорит, что земля под ними жирна и плодovита. Хлеба густы, взгляд тонет в них, путается, не достигает до корней, и не увидишь ни единого веселенького цветочка, не синее ни один василек. С другой стороны — вымоченно белесые, редкие колоски в траве. Не хлеба, а посевы мышиного гороха, сурепки, сволочного бурьяна.

Сколько раз проходил здесь и всегда гордился — наглядная картина, вот какой наш колхоз! Считал — так должно быть, так нормально! Два мира через узкую дорожку, под одним небом, под одним солнцем, на одной земле граница в два шага — тут сытость, там голод, здесь колос, там бурьян!

Так должно быть?..

«Мои-то забыли молоко, какого оно цвету...»

Так должно?..

Изумленные глаза детишек, даже маленький по-взрослому изумляется. А какой живот у этого клопа! Изумлялись — хлеб, яйца кучей, крынка козьего молока!

Так должно?..

Тут сытость, там голод, здесь колос, там бурьян...

Но почему?..

До чего простой вопрос: почему на одной земле, под одним небом?.. Настолько прост, что на него бы должен наткнуться каждый. А проходил мимо, не замечал, только гордился—какая разница, какая наглядность—здесь колос, там бурьян. Так и должно быть?.. И не он один, все кругом считают — так должно, даже сами петраковцы: «Одно слово, пожарцы вы».

Почему??

Рядом шла притихшая Ксюша — девчонка же! Но Сергей был так потрясен свалившимся открытием, что не выдержал и спросил ее — почему, черт возьми?!

— У нас же — Евлампий Никитич, — с ходу, не задумываясь, ответила Ксюша.

У нас — Евлампий Никитич, у петраковцев такого Евлампия Никитича нет. Наверно, и все так отвечают — просто и ясно: Лыков спасает от нищеты. Лыков — человек особый, гений в своем роде.

Но разве нужна гениальность, чтоб выращивать хлеб? Если так, то люди давно бы померли с голоду. Гении — редкость на земле, хлеб же нужен каждому каждый день.

Почему??

Петраковцы лодыри... Но петраковцы когда-то жили не хуже пожарцев, — значит, умеют работать.

Почему??

Сергей с ужасом понял — не знает ответа.

До сих пор ему кто-то задавал кем-то найденные вопросы, требовал, чтоб он ответил кем-то подсказанные, заученные ответы. Сейчас сам наткнулся на вопрос — до чего же он прост, очевиден, до чего же на него трудно ответить! Сам нашел вопрос, сам ищи и ответ. Сергей еще не догадывался, насколько это трудно — отвечать не по-заученному, шагать не по-протопанному.

А Ксюша успокоилась, повеселела, потому что впереди приветливо замаячила колоколенка пожарной церквушки. Счастливая родина, сытое село Пожары, где в каждой избе молока вдоволь, где детишкам дают варенные в самоваре яйца всмятку, — была рядом.

Ксюша успокоилась и заговорила:

— У них все мужики разбежались. Работать некому, потому и бедность.

Сергей не отвечал ей: глупая девчонка путала местами причину со следствием, мужиков-то из Петраковской повыдуло не случайным ветром...

В бывшей столярке под замком хранились собранные с пожарских полей засушенные кустики зерновых, образцы почв. Дома в полевой сумке лежали записи, сделанные в течение лета. Начало его научной деятельности, самое начало, первые шаги в далекое. А туда ли ты шагаешь, Сергей Лыков?..

Росла тревога в душе, простой вопрос не давал покоя. И глаза детишек, глядящих на хлеб...

С папками засушенных растений, с исписанной вкривь и вкось тетрадкой и с новым, непривычным недоумением в душе приехал Сергей в Москву.

А в Москве все по-старому. Выпущен парадно цветной фильм, в котором сам великий преобразователь природы Иван Владимирович Мичурин среди цветущих садов гневно громил и без того заклеянных менделистов-морганистов.

Как-то без шума, исподволь просочилось — с ветвистой пшеницей крупные неудачи, не растет, вырождается. Но зато шумно пропагандировалась новая теория, которая предусматривала закономерность вырождения: ветвистая пшеница способна вырождаться в простую, простая — в рожь, овес — в овсюг, ель — в сосну.

— А человек в обезьяну, — кротко добавляла Светлана.

Сергей с ней теперь встречался чуть ли не каждый день.

Неожиданно для себя он встретил неудачу с ветвистой пшеницей довольно равнодушно. Жаль, конечно, но это чудо из чудес хлеборобства вряд ли сделает петраковцев сытыми, скорее всего наоборот — поля, разделенные знакомой дорожкой, станут еще более несхожими. Ветвистую пшеницу наверняка вырастить куда труднее, чем простую, а петраковцы не только пшеницы, кондовой ржи не получают, сволочной бурьян растет.

Еще недавно казалось, все просто и ясно — наука осчастливит страждущее человечество. Пойми секреты хлорофилловых зерен, деятельность анаэробных бактерий — и на полях закачаются тяжелые, как кистени древних разбойников, колосья.

Хлорофилловые зерна... Где-то возле родного села делит землю дорожка — тут сытость, там голод, здесь колос, там бурьян. В институте не учат, как спасти петраковцев от голода и бурьяна, — не предусмотрено программой.

Светлана удивлялась:

— Сереженька, в твоём лице появилось что-то мученическое. Не рождается ли интеллект? Если так, то поздравляю, ты на верном пути.

— Светка! Ты куда собираешься податься после аспирантуры?

— Не знаю. Наверно, туда, куда не ведет ступенчатая теория стадийного развития. Не люблю лестниц, особенно парадных.

— Едем к нам, в наши места!

— Сереженька, я хочу стать настоящим ученым.

— А я тебя не в доярки зову.

— Ученый потому и называется у-че-ным, что перенимает знания и опыт других. Чтоб стать ученым — нужны ученые учителя. Докажи мне, что твой почтенный дядя — светило в науке, причем не ложное, что у него можно много отобрать, поеду.

— У моего дяди образование — три класса, да и то, поди, он округляет для солидности.

— Очень жаль. Сам понимаешь — этого недостаточно. Мне придется искать другого опекуна, который не живет на твоей благословенной родине.

Нескладная зима в жизни Сергея. В эту зиму все крошилось, все расползалось — ветвистая пшеница, такая ощутимая, лежавшая уже в руках, превратилась в бесплотную теорию, гордость за свой колхоз уступила место тревоге за колхоз чужой, святая вера в силу науки дала трещину, так как вся академия с ее лекторами и библиотеками не может ответить на простой вопрос: почему петраковцы живут плохо, пожарцы — хорошо на одной земле, под одним небом?.. Ничего прочного на свете, даже в отношениях со Светланой. Черт возьми, не станет же он менять ее на все село, на доверие дяди, доверие колхоза, даже на ту незадачливую, богом проклятую Петраковскую, о которой так часто теперь думает.

Нескладная зима, смутное время в жизни Сергея. Но и этой зиме пришел конец. Он сдал летнюю сессию и выехал в Пожары.

И там оказалось беспокойно. Всесильный дядя Евлампий изнемогал от непосильной борьбы.

В фигуре Чистых, восседающей на стуле, страдальческий изгиб. Ночь спрятала за окном угрюмые поленицы. Снова на минуту замолчал крепко сколоченный лыковский дом — молчал угрожающе.

Вдруг Чистых вздрогнул, поднял голову и Слегов — за дверью в гробовом молчании раздались легкие, торопливые шаги. Короткий стук в дверь, ни Чистых, ни старый бухгалтер не успели бросить «да», дверь распахнулась. Стояла сестра, под марлевой косынкой красное от волнения лицо, мягкие губы вздрагивают.

Чистых поднялся со стула, надломленно навесил вытянутую голову.

— Все? — хрипло выдавил он.

— Нет! Нет! — возбужденно, до неприличия громко заговорила сестра: — Кажется, лучше... Просто чудо.

Чистых медленно распрямился.

— Я укол кордиамина сделала. Прежде и не реагировал. А тут... Глаза открыл... Один глаз... На меня поглядел. Что-то сказал... Да, да, совсем непонятное. Два слова: «Мертвый князь...» Даже явственно. Ну да, «мертвый князь», как сейчас слышу. К чему — не пойму, но, значит, лучше...

— Врача! — засуетился Чистых. — Скорее врача вызывать. Вдруг да... О господи! Всякое бывает. И профессора ошибаются. Вдруг да...

В суете Чистых чувствовалась судорожная радость, на круглом лице проступили пятна. Невероятное сбывалось, утерянное находилось, вдруг да снова станет на ноги старый председатель, пойдет все по-старому. Вдруг да...

— Иван Иванович, я выскочу.

Иван Иванович только кивнул головой, сам он в эту минуту — должно от волнения — испытывал непосильную тяжесть своего располневшего тела.

Чистых плотно прикрыл за собой дверь. Молчание дома кончилось, доносились шорохи, глухой стук дверей, торопливые шаги, наконец, возбужденно придушенный голос Чистых, говорящего по телефону.

На самом деле — вдруг да...

А ведь он, Иван Слегов, пожалуй, хочет этого. Вернется старое, привычное, будет по утрам ковылять в кон-

тору, не надо гадать, каким окажется завтрашний день. Как это, оказывается, покойно, когда завтра точь-в-точь походит на сегодня. И на самом деле — вдруг да... Жизнь, в которую втянулся. Ему, старику, от перемен хорошего ждать нечего. Каким бы ни был Пийко Лыков, но сросся с ним, одна плоть.

«Себя хороните...» Пийко Лыков как-никак ценил, Сергей Лыков в лучшем случае будет терпеть. В лучшем случае...

Стул бухгалтера что пожарная вышка, с него все видно. Но поздно он, Иван Слегов, разглядел со своей вышки этого парня. Видел в нем только счастливчика, кому влиятельный дядя устилает дорожку мягкой соломкой. «В министры не пушу, а фигурой сделаю». Оказалось, не та лошадка, на какую можно делать ставку. Ошибся Евлампий Лыков, он, Иван Слегов, не разобрался вовремя, тоже ошибся.

А если б и разобрался, что от этого изменилось бы?..

Евлампий Лыков изнемогал от непосильной борьбы.

В кабинете председателя вохровского райисполкома уже несколько раз снимали со стены план района, вешивали новый, с новыми границами колхозов. Шла перетряска: сливались земли, закрывались на замок колхозные конторы, бывшие председатели колхозов становились или бригадирами, или номенклатурно безработными, таскались по районным учреждениям, выпрашивали место с подходящим окладом. В районном Доме культуры перед танцами читались лекции: «Экономические преимущества крупных хозяйств перед мелкими».

И только Лыков отсиживался в Пожарах, как в крепости, даже пытался отшучиваться: «Чужой земли не хотим, но и своей не отдадим!» Однако крепость ненадежная, ее обложили со всех сторон.

И наконец появилось специальное решение: слить в одно хозяйство село Пожары, деревню Петраковскую, деревню Доровищи, из трех небольших колхозов создать один крупный под руководством Евлампия Никитича Лыкова.

Наверно, петраковцам радость — шутка ли, пристроиться к жирному лыковскому пирогу! А лыковцы, а сам Лыков?..

Сам Евлампий Никитич знал, что лучшие работники из той же Петраковской давно правдами и неправдами переселились в село Пожары. В Петраковской остались

многодетные бабы, старухи, старики и подростки. Да и те отвыкли работать, так как много лет за свою работу ничего не получали от колхоза. Нагрянет орда неспособных к работе.

А запущенные земли!..

А скот, который привязывают под брюхо веревками к потолку!..

А общая бесхозяйственность — дуги же целой во всей Петраковской не отыщешь!..

Нет, Лыков не хотел объединяться, пугал: подам в отставку!

Но если б перетряска шла от районных властей, пусть даже от областных. С областными он умел улаживать подобру-поздорову, районное начальство не раз скручивал в бараний рог. Москва требовала укрупнений, а с Москвой не повоюешь — тут уж и у всесильного Лыкова руки коротки.

И все-таки он упрямо боролся, но уже видел — не победить.

Неприятности не отразились на дядиной внешности — только упрямей блестел лоб, только решительней выдвинута нижняя челюсть и в голосе нескрываемое обильное раздражение:

— Петраковцы!.. Да как-кое нам дело до них! Сва-ты, братья, родня кровная? Мы четверть века кирпичик по кирпичику, щепочка по щепочке хозяйство складывали, себе во всем отказывали. Я в первые годы в дырявых штанах голым задом блестел — все для колхоза, все в общий котел. И колхозников своих не баловал, не-ет, не давал им животы распускать. И на вот, вешают, мол, судьбой обижены. На готовенькое-то кто не рад. У тебя густой навар, Евлампий Никитич, а как этот навар нам достался — никому не интересно.

С детства Сергей намертво усвоил — дядя Евлампий не простой человек, не чета всем, кто попадаетея на тво-ем пути. Он не просто по-мужицки умен, нет — по-государственному, всей стране на удивление!

И вот упрямо поблескивающий лоб, угрожающе выдвинутая нижняя челюсть, раздражение в голосе. Угроза и раздражение — да против кого? Против старухи Ярцевой, Венькиной матери, против той бабы, сонно-равнодушной от нищеты, от обилия голодных детишек, которые забыли уже, какого цвета бывает молоко. Что-то слишком мелкое в этой гневной угрозе государственного

человека, в его раздражении. Ощетинился медведь на муравья.

— Ты хоть раз заезжал в эти годы в Петраковскую? — спросил Сергей.

— А чего я там не видел? Их житья пакостного? Так я и не видючи, а-атлично представляю — надо бы хуже, да некуда. Над каждым нищим не наплачешься. Ишь ты, дядя чужой виноват, что плохо живут.

— Но могут жить хорошо?

— А чего не мочь. Чем у них условия хуже нашего? Земли у них, ежели разобраться, даже получше чуток. Нам бы их луга заливные, что по волоку лежат.

— Значит, могут жить лучше? — упрямо повторил Сергей.

Евламий Никитич подозрительно уколол племянника не остывшим от вражды взглядом:

— И что дальше скажешь?.. Могут, братец, могут, да не живут! И пестовать их я не хочу. Слышал? Не хочу!

— То-то и удивляет. Человек ослаб, подняться не может — не хочу руку подать. Нечего сказать, красиво.

— А если он, доходяга, руку-то с голодухи до локтя отхватит? Не кра-си-во! Мне интересно целым быть, а уж красавцем писаным — бог с ним.

— Иным словом, боюсь, как бы не обкусили.

— Вот именно.

Государственный ум... Сергей глядел на знакомый на-супленный лоб. Держит мысль на узде, боится выпустить за околицу села. Масштабно государственный, всей стране на удивление?.. Если Петраковскую ни умом, ни сердцем охватить не может, то всю-то страну — где уж. И ощетинился — как бы не обкусили. И не стыдится, скрывать не считает нужным: «Вот именно».

Вглядываясь в смутный блеск глаз, скрытых сумрачным председательским подлбием, Сергей жестко обронил:

— Жирный всегда тощего боится.

И даже тут дядя Евламий не оскорбился, только лицо постно отвердело, ответил сдержанно:

— И то верно, тощий зол, образ человеческий куда как легко теряет.

— А жирный не теряет? Издавна замечено, чем мягче жирок, тем черствей сердце.

У дяди Евлампия откуда-то от плеч через короткую шею на физиономию пополз гневный, потный багрянец.

— Молокосос! Суслик! Да тебе ли судить о нашем

жирке! Ты, что ли, нас вскармливал, вскармливал до нужной кондиции? Ты пока на нашу колхозную землю и капельки пота своего не обронил. Ты пока сам за счет нашего колхозного жирка живешь. Пока ты пиявка только, а туды же...

— Может, одумаешься, дядя, — холодно произнес Сергей, — возьмешь свои слова обратно.

— Ах, неприятны!... Само собой, верю. Кому охота слушать правду в глаза. Ну, я-то, кажись, заработал себе право таких щелкоперов по мозгам бить!

— Бей, но справедливо!

— Иль докажешь, что твоего поту — ручьи в нашем озере?

— Ручьи не ручьи, не мерял, а пот есть, холодный пот, тот, каким я обливался, когда над Курском, над Харьковом, над Эльбой в лоб на немецкие «мессера» шел. Без этого пота жирок с твоего колхоза немцы бы освеживали. У меня — что, только пот холодный по счастью, а ты знаешь Веньку Ярцева?.. Нет. Он не пот, а всю кровь выпустил, до последней капли. Венька-то из Петраковской, его мать-старуха по двести граммов сорного ячменя на трудодень получает. Перед ней тебе не совестно за свой жирок?

— Таких Венек много и у нас, петраковцам нечем хвалиться.

— У нас, в Петраковской, в других деревнях да городах — всюду гибли за общее. А теперь Лыков Евлампий это общее на свой вкус делит — себе жирок, петраковской бабе сухую кость. Справедлив, дальше некуда.

Евлампий Никитич презрительно скривил губу:

— Грамотен. И то, на колхозные денежки в академии сидел, как не научиться политбеседы вести.

— А ты знаешь, зачем я пришел?

— Пришел разжалобить петраковской бедой.

— Пришел тебе сказать — откладываю академию пока в сторону.

Голова Евлампия Никитича стала клониться к плечу, недоброжелательно-мутный голубой глаз сверлил в душу.

— Да, откладываю. До лучших времен, если они случатся. И хочу просить правление колхоза назначить меня бригадиром в петраковскую бригаду. Даю, если хотите, обещание — справлюсь, вытяну и так далее. Какие там слова говорят в этих случаях?

— У нас нет петраковской бригады!

— Но будет.

— Как сказать. Есть еще порох в пороховнице.

— Ой ли? Всем уже видно, а тебе лучше всех — нет пороху, весь выстрелял.

Голубой глаз сверлил в зрачок Сергею. Евлампий Никитич процедил с презрением:

— А я-то еще думал: будет Серега с ученой степенью.

Сергей пожал плечами, ничего не ответил. И дядя Евлампий опустил глаза. Он сам понял, сколь не уместно вспоминать эту ученую степень, — резного конька на крышу не ставят, когда дом валится. Опустил глаза только на секунду, встряхнулся, сказал уже другим тоном, суровато, по-председательски:

— Сам напрашиваешься? Что же, отметь себе — я не неволил. Сам! А мне, не скрою, дар божий получить такое предложенье. От Петраковской любой и каждый из порядочных людей шарахнется в сторону.

— Видать, я не из тех порядочных. Иду в Петраковскую.

— Смотри, Серега! Слово — олово, отказа не приму. Одумайся, пока не поздно.

— Иду.

— Ну что ж... Запишем для памяти. Пока для памяти, на всяк пожарный случай. Кой-какой запасец пороха есть. Небольшой, правда. Буду отстреливаться до последнего. Ну, коль руки вверх поднять придется, что ж, ты слово сказал. Только не жди поблажек. Не-ет, Серега, поблажек тебе не будет. Тут тебе не наука, на волчий путь вступаешь. Слышишь меня?

— Слышу.

— Поворота не даешь?

— Нет.

На этом и расстались.

Лыков отстреливаться уже не отстреливался, а тянул, отсиживался, выжидал — вдруг да наверху поворот означится, прикроют кампанию на укрупнение.

Не удалось отсидеться, собрал правление.

Он сидел за своим столом под сапожками вождя напротив чугунного младенца, деловито суровый, крижистый, Евлампий Лыков — лучших времен.

— Начнем, что ли? — объявил он.

За красным столом, напротив расставленных графинов с водой, — цвет лыковского колхоза, знатные бригады, не менее знатные заведующие фермами, ордено-

носка доярка, орденоноска свинарка, в конце ближе к дверям, не знатный, не прославленный, не орденосный, но поболее других уважаемый бухгалтер Слегов со своими костылями. Тут же и Чистых, бывший Валерка Приблудный. Он, как и Слегов, и не знатный, и не прославленный, и не орденосец, но не откажешь — тоже ведь уважаемый не меньше других. Попробуй-ка только не уважь — Евлампий Никитич быстренько заставит. В самом углу сидит Петр Никодимыч Гушин — секретарь колхозной парторганизации — человек среднего уважения потому, что его средне опекает Евлампий Никитич. Секретари меняются чуть ли не каждый год, всех их рекомендует райком, а значит, по мнению Евлампия Лыкова, пусть райком и блюдет их.

С тех давних пор, как он, Лыков, неожиданно-негаданно одержал победу над Чистых-старшим, секретарем райкома, человеком твердых принципов, «застегнутым на все пуговицы», пошла расти трещина между лыковским колхозом и районным руководством. «Мы сами с усами, голыми руками нас не хватай — ожгешься». Петр Гушин обязан во всем слушаться райкома, отчитываться перед райкомом, от лица райкома контролировать строптивного Лыкова, одергивать, если тот зарывается. А попробуй это сделать, когда само райкомовское начальство остерегается «длинной руки» прославленного председателя — куда как легко достаёт до области. Поэтому секретарь парторганизации Гушин старается не мозолить глаза, тихо сидит в углу, не собирается активно поддакивать и активно возражать, готов слушать и принимать к сведению.

Сергей Лыков среди всех, гвоздь сегодняшнего совещания, именинник, так сказать — будничная кепочка брошена на красную скатерть, приглаженный зализ соломенных волос над крутым лыковским лбом, спокойнешенек. На него со всех сторон косятся, ощупывают — еще бы не интересен, из Москвы, из академии, куда никто и добраться не мечтает, в Петраковскую, надо же, добровольно, бывают же чудачки на свете.

— Значит, так, — с важностью начал свое вступительное слово Евлампий Никитич, — ученые люди говорят — крупное хозяйство производительнее мелких. Азбука экономики, словом. А уж раз ученые так говорят, то не нам, серым, с ними не соглашаться...

На всех лицах, как по команде, — смутный след суетной ухмылочки: куда как понятна издевочка Евлам-

пия Никитича — «не нам, серым», — серые-то и рады бы не согласиться, но сила соломѹ ломит.

— Значит, так, линия на укрупнение — правильная. Нам, как наиболее передовым и сознательным, — Евлампий Никитич с особой расстановочкой произнес последнее слово, — не пристало быть в стороне от этой линии. Значит, так, мы за объединение с Петраковской.

Помолчал, сурово оглядывая всех. О Доровищах он не упомянул, на Петраковскую — куда ни шло, а Доровищи — погоди, от них авось теперь можно и отлагаться.

— Мы за объединение с Петраковской, — повторил председатель и не удержался, съязвил: — За союз, так сказать, горшка каши со щербатой корчажкой.

Прошелестел положенный смешок, смолк. Вступительное слово окончилось, Евлампий Никитич повернул в тугом воротѹ рубахи толстую шею, заговорил в сторону нового петраковского бригадира:

— Даем тебе трактора и трактористов, пашем, что попросишь и когда попросишь. Пашем, учти, на совесть, на нашей землѹ эмтээсовцы не шалят. Это раз! Берешь у нас семена, какие хочешь и сколько хочешь. Это два! И еще сверх всего — хлеб на прокорм голодного петраковского люда, чтоб до осени, до урожая, который ты обещаешь, у них во время работы штаны не спадали. Вот — три!

Молчание. Спокойный голос Сергея:

— Ну и добро. Больше ничего не потребуется.

— Согласен. Ишь ты! Но погоди, это только одна половинка уговора. Слушай другую. За работу тракторов кто-то должен оплачивать. Кто? Мы? Вы? Или Пушкин?..

— Мы платим из урожая, как же иначе, — согласился Сергей.

— Вот именно, по расценкам мягкой пахоты, как положено. И семена ты нам тоже возвратишь из нового урожая. Ну, а хлеб на прокорм... Хлеб этот можешь не возвращать — так сказать, наша бескорыстная помощь. И еще мы решили дать вам полную самостоятельность. Вы сами рассчитываетесь с государством, излишки береете себе. Будет много излишков...

Кто-то фыркнул за столом, но Евлампий Никитич гневно повел светлой бровью.

— Будет много излишков — ваше счастье, мы на них не позаримся. Мало — с нас уж потом милостину не тя-

ни. Не выгорит. Вот и все наши условия. Принимаешь ли?

Молчание, вздохи украдкой, прищуренные глаза на Сергея. Сергей качнул головой, усмехнулся:

— Ты меня словно председателем другого колхоза ставишь, а не бригадиром.

Евламий Никитич ждал этих слов, приосанился, без того строговато выглядел, теперь совсем не подступись.

— Мы решили все бригады поставить на хозрасчет. Все! Вы не исключение, тоже на хозрасчете.

— То есть под вашей вывеской, но на особицу?

— Вот именно! Мы—сами, вы—сами. А помощь вам от нас полная.

Сергей снова закачал обкатанной головой, засмеялся:

— Ну и хитер же ты, однако.

У Евлампия Никитича мягкие скулы тронулись в усмешечке, заулыбались все: еще бы не хитер, казалось бы, совсем к стенке прижат, а вывернулся. Вроде объединяется, не придерешься, а на деле — глухой заборчик между старыми лыковцами и новыми. Вы сами, мы сами — одна лишь вывеска.

У Лыкова-старшего обмякло лицо — снова добрый дядя, — все сказано, пронесло, а потому можно раскрыть и остальные карты. Он воркующе заговорил:

— Чего там скрывать, все мы боимся, как бы петраковские козы не обглодали наш огород. Будем помогать по-свойски, по дружбе, но помните — дружба-то дружбой, а табачок врозь. Для этого и существует слово «хоз-рас-чет»! Да еще лозунг: «Кто не работает, тот не ест!» А потом поглядим: может, козы подхарчатся, молоко станут давать, тогда и в общее стадо примем.

— Ладно, не умасливай, — ответил Сергей. — Хозрасчет так хозрасчет. Не надеюсь особо из нищеты вылезать на хребте пожарцев. Помогайте как можете. А мне с хозрасчетом даже посвободнее. Лезть со стороны с советами меньше будете.

Евламий Никитич не выдержал, легонько крикнул:

— Конечно, сам себе во князях.

И правление не выдержало, грохнуло, но смеялись не злобно, с облегчением. Каждый был рад, что, слава тебе господи, сам не стал стольным князем петраковским. Хоть и учен парень, в академиях штаны просиживал, а в жизни не смыслит. Из сыновей в пасынки идет добровольно. Чуть сплехуй, Евламий Никитич решением этого правления прикроется — помогал, условия

посильные ставил, сам согласие давал, силой не неволили. Князь пресветлый, попадешь в стрелочники — любая вина твоя.

Евламий Никитич пресек:

— Эй, эй! Смешочки не к месту!

Но не слишком строго.

Он, Лыков Евламий, не считал глупость в людях уж очень большим пороком. Пусть глуп, да покладист, ума всегда вложить можно.

Через несколько дней в районной газете появилась статья: «Новаторство! В передовом колхозе «Власть труда» бригады поставлены на хозрасчет!» В те годы по деревням это слово еще не вошло в широкий обиход.

Под осень прибыли два огромных грузовика, на каждом горой тугие мешки — хлеб петраковцам. Но не просто хлеб, а с лозунгами. По бортам машин кумачовые плакаты: «Пламенный привет новым колхозникам колхоза «Власть труда!» И тут же назидательное: «Кто не работает, тот не ест!» Хлеб привезли, но и лозунги не забыли.

Вокруг грузовиков собралось все население полузаколоченной деревни Петраковская. Босые бабы с черными ногами и спеченными лицами, за их подолы цепляются белоголовые ребятишки. Мужиков в деревне, считай, нет, а поди ж ты, плодятся... Сгорбленные старухи с жилистыми шеями, старики с седыми щетинистыми подбородками. Несколько подростков, безусых, опаленных солнцем, из тех, кто еще не доспел в армию. (Из армии уж, шалишь, в Петраковскую калачом не заманишь.) Негусто молодок, по одежде смахивающих на старух... Выцветшая, вылинявшая, иссушенная толпа, мослы, да глаза, да нестриженные космы, и общее у всех выражение недоверия.

Тугие мешки навалом, в их сытой наглядности какое-то неправдоподобие. Даровой хлеб да еще с лозунгами: «Пламенный привет!...»

Евламий Никитич сам привез этот хлеб, закатил речугу и тоже, как водится, с лозунгами: «Добьемся высоких урожаев! Берите, ешьте и помните: «Кто не работает...»

Евламий Никитич — широкая физиономия словно смазана маслом, костюмчик уже тесноват — пуговицы еле сдерживали налитое брюшко. До чего же он не похож на тех, кто его слушает, — с другой планеты.

«Даем! Берите!» — широкий жест в сторону мешков. Пусть все видят, кто дает.

В стороне стоит новый бригадир — кепка надвинута на глаза, упрямый, как у дяди Евлампия, подбородок, пыльные сапоги, руки глубоко в карманах. Он обязан позаботиться, чтоб хлеб не был съеден задаром.

Он знал, что коней в Петраковской среди зимы привязывают к потолку веревками, знал, что коровник без крыши...

Одно знать понаслышке, другое видеть.

Впервые вошел в дверь скотного к коровам, увязнувшим в жидком навозе. К коровам?.. Нет! Таких коров еще не встречал — деревянные козлы, обтянутые косматыми, ржавыми шубами, не похоже, что может внутри теплиться жизнь. Живы только глаза, большие, слезящиеся, истекающие такой влажной тоской, что коченеешь, сам становишься деревянным. И вот в такую-то минуту одеревенения почувствовал на своем лице мокроту, не теплые слезы, холодная, липкая мокрота — дождь. Поднял голову и увидел над собой небо, серенькое, обычное, только перекрещенное стропилами. Обвалилось сердце, не помнил, как оказался на воле. В дверь вышел. Дверь-то была, а крыши нет.

Всего четыре километра в сторону — село Пожары. Там среди побеленных стен, под светом электрических ламп, в густом тепле, слитом из запахов парного молока, навоза и ядовито щекочущего силоса, — лоснящиеся, атласные, упругие, широкие спины рядами. Там другие животные, нисколько не похожие на этих деревянно-шерстистых, там буйная плоть, звуки ленивой жвачки, чугунные чаши автопоилок, бетонированные дорожки со стоками, брандспойты, сгоняющие упругой струей нечистоты.

Всего четыре километра, где-то на середине — узкая дорога среди полей. Четыре километра? Нет, дорога пролегает не по земле, а по времени. Там — двадцатый век, как и положено, здесь черт те какой — средневековые! Прыгай через столетия, Сергей Лыков!

Были лекции и библиотеки, книги и профессора, микроскопы и цветные таблицы, таинства внутри зеленого листа, откровения из загадочной жизни микробов, гнездящихся у корней растений. Это все было, а ожидалось большее — опытный участок, научная станция, своя лаборатория с пробирками и микроскопом, грядки с таб-

личками, извещающими, что на планете появляются неведомые людям сорта, ученая степень, почет... И был бы птицей свободного полета, ни с тебя выполнения плана, ни отчетов, ни проработок на совещаниях — твори!

Бригадир в Петраковской! Бригадир в самой безнадежной бригаде, ты заведомо — мальчик для битья.

Соседку Венькиной матери, Груни Ярцевой, звали Анной — Анна Филиппьевна Кошкарева. Дети ее: погодки — Петька и Ленка, один восьми, другая семи лет, погодки — Сенька и Васька — пяти и четырех — да еще люлечный Юрка, тот, что тогда плакал с надрывом в избе.

Каждый год еще до рождества Анна начинала печь своим детишкам лепешки из травы и куглины. Траву — щавель, крапиву и еще одну, называющуюся почему-то неприличным словом, — детишки сами заготавливали летом, сушили, а зимой перетирали в труху. Лепешки наминали по цвету, по виду свежие лепехи коровьего навоза — черные, с зеленым отливом, с резким запахом силоса и прели, с невыносимым пресным вкусом, которого никак не могла убить соль.

Щедрый Евлампий Лыков подарил хлеб — ешьте! Не мало хлеба, но и не так уж много, чтоб быть сытыми. Его можно съесть за несколько месяцев. Сергей сложил мешки с мукой в амбар, придирчиво проверил и крышу и стены — сухо ли, — закрыл на замок.

Хлеб на замок! Это значит — опять голод, это значит — лютая ненависть к тому, кто повернул ключ, положил его в карман.

Ненависть, а нужно, чтоб верили, больше — нужно, чтоб любили. Не красивые слова, не горячие обещания, а кусок хлеба может вызвать любовь, только он. Еще пока ели сорный хлебец со снятого осенью урожая, а уже глухая недоброжелательность к новому бригадиру растекалась по деревне.

— Пожарский опричник.

— Хлебец-то для показу с председателем привез.

— А вы что, бабы, пожировать хотели?

— Облизнись да забудь.

И надо было решаться, надо было идти навстречу глухой затаенной ненависти. Никогда в жизни Сергей так не рисковал, пожалуй, даже в войну, где случалось наткнуться в небе одному на трех «мессеров».

Бывшее правление колхоза, ныне бригадный дом — не пожарская контора с колоннами и широким крыль-

цом, — обычная изба, ветхая и громадная, каких много пустовало в Петраковской. Собрались все жители разбросанной деревни, воздух сперт, трудно дышать — платки, платки, полушалки, кой-где лохматая стариковская шапка. Большинство населения — бабы, у многих дети, все просят есть, а хлеб под замком.

Сергей открыл собрание. Ждали, как всегда, речугу, но вместо речи бригадир вынул из кармана ключ, положил его на стол.

— Вот он... От хлеба.

Тишина, посапывание, поскрипывание. Из полутьмы просторной комнаты уставились с враждебной недоверчивостью глаза, много глаз, бабьих, изболевшихся, материнских.

— Ваш... Я его в руки больше не возьму. Кто хочет, может его взять, открыть амбар, раздать хлеб. Милицию не позову, жаловаться никуда не буду.

Тишина, вздохи, сопение. Недружелюбные глаза.

— Ну, кто хочет взять ключ?

Из-за спин, из-за платков бабий голос:

— Любой возьмет, не петушися.

— Только этого любого я спрошу: сколько месяцев ты, любой, собираешься жить на свете? Три месяца, четыре или больше?

Нелюдимое молчание, нелюдимое, но и озадаченное.

— Съедем сейчас хлеб, весной снова будем голодны.

— Не привыкать!

— То-то и оно, а я хочу, чтоб отвыкли. Для этого и пришел. Хочу хранить хлеб до весны, чтоб работать не на траве, чтоб посеять новый хлеб, чтоб собрать его, чтоб быть сытым вечно. Не согласные, собираетесь весной по привычке в кулак дудеть, травкой закусывать — берите ключ, вот он.

И Сергей сел.

Молчание, тяжкие бабьи вздохи, шевеление.

Секунда, еще секунда, еще... Секунды решали будущее деревни Петраковской. Секунды решали судьбу Сергея. Если кто-то с отчаяния надумает, подыметься сейчас среди платков, подойдет, возьмет ключ — будет несколько сытых месяцев, снова голодная весна, снова сволочной бурьян на петраковских полях, а от Сергея отвернутся все — сама деревня, пожарцы, Евлампий Никитич. Он-то отвернется с издевочкой:

— Что, лихач, на первом повороте вывернуло?



И голодные дети, с изумлением глядящие на хлеб, на яйца, на молоко...

Шли секунды, тянулось молчание.

— Решайте, бабы, — угрюмо напомнил Сергей.

Никто не решался. Молчали.

— Анна Кошкарева! — позвал Сергей. — Ты здесь?

— Тута. А что? — из глубины, от стены.

— Выйди сюда.

— А чего?

— Да иди, иди, не съест! — зашипели со стороны.

Зашевелились, стали тесниться, уступая дорогу.

Вышла, встала перед столом. Глаза в пол, на растоптанные валенки, грубый, словно из дерюги, платок закрывает лицо, мужская телогрея с клочьями ваты на локтях, ветхая юбка... Даже по-петраковски — бедна.

— Анна, возьми ключ.

— А чего это я?

— Возьми и храни у себя...

— Не робей, бери уж, коль так. Чего тебе сделают, ежели в руках поддержишь.

Не подымая головы, Анна взяла ключ.

— Вы видели — у кого он? Хлеб не мой, хлеб ваш. В любое время можете его взять и разделить... Если захотите.

Сергей встал.

— Все, дорогие товарищи! Собрание окончено.

Хлеб под замком. Ненавидеть за это надо того, у кого от замка ключ в кармане. А ключ этот положила себе в карман Анна Кошкарева. Ее ненавидеть?.. У нее пятеро голодных детей, они сыты не стали от того, что мать держит ключ от хлеба, которым можно накормить всю деревню.

Сергей жил у Груни Ярцевой. С оклеенной старыми газетами стены, из рамки на него теперь глядел с вызовом недруг мальчишеской поры Венька — просторная пилотка на растопыренных ушах, шея тонкая с кадычком, что петушиная нога. Как и все, Сергей питался картошкой, не навез из Пожар для себя харчей. Ключ лежал у Анны, запасы хлеба не трогались, но Сергей изворачивался...

Евламий Лыков давал семена — какие хочешь, сколько хочешь, отбирай сам. И Сергей отбирал. Семенной фонд лыковского колхоза он знал лучше всех — не зря же целое лето толкался по полям, совал нос в закрома, — лучше самого Евлампия Лыкова, лучше кла-

довщиков, лучше любого из бригадиров. И он отбирал горстку по горстке наилучшее зерно, сам проверял на всхожесть, помогала проверять Ксюша Щеглова. Бывшая столярка — опытный участок — вся была уставлена блюдами, заложенными мокрой марлей и промочками из школьных тетрадей, на них прорастали семена. Опытный участок работал, но не на село Пожары, на деревню Петраковскую.

А в Петраковской хранился свой семенной фонд, замусоренное зерно ржи, ячменя, тошей, как мышиный помет, пшеницы. Фонд — одно название. Его Сергей пустил на помол, выдавал, но с расчетом. Покрой крышу над скотным — получи, привез сено — получи, вычисти навоз, приведи в порядок коров... Но иногда выписывал и без работы — на детишек, многодетным матерям.

Шла выюжная зима, на редкость снежная. Лошади, срывающиеся с дороги, тонули в снегу по уши, вытаскивать приходилось на веревках. В эту зиму в Петраковской мало ели травы, хотя и не без того — нет-нет да в морозное утро потянет сладковатым дымком из какой-нибудь трубы, значит — кто-то печет лепешки из шавеля. Даже Сергею приходилось их пробовать, первое время выскакивал на крыльцо, перегибался через перильца, отдавал травку на снег.

Не очень стеснялся челобитничать перед дядей:

— Удели возиков пять сена... Подкинь овса. Помогать обещал? Исполняй обещание — самое время.

Евлампий Никитич скорбно вздыхал:

— Ох уж вы, мои союзнички — второй фронт до гробовой доски.

Но все-таки помогал.

Коней в эту зиму не привязывали к потолку веревками — сами держались, хотя и выглядели не для паграда.

Так дотянули до марта.

Через Петраковскую прошли десятки председателей — были среди них и прохвосты, с нищей деревни сумевшие вырастить в районном городе далеко не нищенские по виду дома, были и честные люди, не присвоившие себе лишней горсти зерна. Всех их постигало одно — исчезли без следа — что были, что не были, бог ведает.

На Петраковской висело два миллиона долгу в счет кредитов, выданных государством в разные годы. «Кол-

хоз-миллионер», — в районе еще и пошучивали, а что оставалось делать?

Евламий Лыков добился — долги списали.

Евламий Лыков помогал. Мог бы щедрей, но и на том спасибо.

Евламий Лыков — председатель колхоза, а в лыковский колхоз районные уполномоченные не суются. А это тоже немаловажно. Уполномоченные — чума для тех, кто встает на ноги.

Ни у кого из бывших председателей деревни Петраковской не было за спиной Евлампия Лыкова.

У Сергея — крепкий тыл, он мог наступать не оглядываясь, действовать с напором.

Нищая Петраковская была богата одним — навозом. Десятки лет копился он в скотных дворах, в конюшнях, в сараях самих колхозников, пропадал, перегорая до жирного чернозема, снова копился. Даже те, кто сбежали из Петраковской, оставили после себя около заколоченных изб кучи навоза. В стойлах часто коровы доставали гошими хребтами потолочные балки — утрамбованный, каменно слежавшийся навоз выпирал. От навоза подпревали нижние венцы хлевов, хозяева бросали эти хлева, строили новые. Нищая Петраковская сидела на богатстве.

Богатство, если только вывезешь все подчистую на поля, а иначе — навоз есть навоз, обычная нечисть.

Вывезти, а всего одиннадцать лошадей могло ходить в упряжке.

Трактора на помощь?.. Это пожалуйста. Но за работу тракторов нужно платить. Вырастет урожай или нет — бабка надвое гадала, трудовень же трактористу отдай, и трудовень такой, какого ни разу не получал петраковский колхозник.

Учебная программа академии не предусматривала, как на одиннадцати клячах вывезти горы навоза.

Как?

Решить этот вопрос — значит получить урожай, значит дать на трудовень, значит накормить петраковцев. А быть сытым — счастье, петраковцы пока о большем и не мечтали.

На одиннадцати клячах!.. Кажется, невозможно.

— Что ж, бабы, попросим Евлампия Никитича, пусть трактора подсылает.

— Так ведь, Сергей Николаич, голубчик, обдерет нас Евламий Никитич со своими тракторами, как липку.

Пришло время заставить Анну-хранительницу выложить ключ от хлеба на общественный стол. Большой, тронутый ржавчиной ключ от амбарного замка. Сергей стоял над ним, глядел на сидевших баб, на свою «божью рать», как с издевочкой называли их в Пожарах. «Божья рать» взидала на Сергея уже не с прежней недоверчивостью, уже как на своего.

— Кому этот хлеб — трактористам или себе?

Вопрос дикий, вопрос крамольный. Этот хлеб перестал быть дареным, его хранили, отказывали голодным детям. Да решишь сейчас Сергей отдать его на сторону, хотя бы и трактористам из МТС, — вся вера в него лопнет, лопнут надежды, ни одна рука не подымется на работу, не жди никакого урожая. Хлеб, который так долго лежал нетронутым, — священен.

Трактористам или себе?.. Вопрос дикий, вопрос крамольный и для любого уполномоченного из райцентра. Как можно спрашивать? От механизации отказываться, МТС игнорировать, технику подменять горбом — в прошлое тянешь, бригадир, наше развитие на том и основано, что грубая физическая сила подменяется силой машины. Через МТС государство получает от колхозов крупный куш, за игнорирование МТС в районе били беспощадно, часто не ограничивались строгаками, просили выложить на стол партбилет. Но уполномоченные обходили стороной лыковский колхоз, а Петраковская жила теперь под лыковской вывеской.

— Се-бе-е! — единым вздохом откликнулось собрание.

— Се-бе-е хлеб!

— Как вы думаете, если за тонно-километр вывозки навоза — пуд хлеба? Хорошая цена?

— Цена-то хорошая, только на чем повезем?

— Вот этого не знаю, бабы. Знаю одно — хлеб за навоз. Хлеб сразу, на руки, не авансом.

— Согласимся, что ль?

— Но как же, бабоньки, на чем?

— Да уж одно тягло — на карачках.

— Ежели б было на чем, не платили так.

— И хлебушка-то сразу, нас ведь всегда авансом кормили!

— Авансами мы сыты!

— Эй, бригадир! А без обману?

— Без обману.

— Вывезем! На себе! Не отдавать же хлебушко!

И повезли навоз.

Другого выхода не было. По несколько баб впрягались в волокуши, тащили по глубокому снегу километрами. За хлеб, за настоящий, не за авансовый, не за обещанный! За хлеб, которого давно не видели вдоволь в Петраковской. Там, где лошади падали, бабы вывозили...

Варварство? Да! Бывший слушатель Тимирязевской академии пошел на это! Но в варварстве и жила Петраковская — зимой коней привязывала к потолку, коров держала под открытым небом, растила сорняки, копила навоз, ела траву. Из варварства без варварских усилий можно ли вылезти? Тимирязевка не предусматривала в своих программах, приходилось действовать на свой страх и риск.

Он метался от одного поля к другому, командовал: здесь побольше подкиньте — песочек, там хватит — без того земля добрая.

Знакомая дорога, разграничивающая пожарские земли от петраковских, была закрыта снегом, по ней не ездили зимой. Сейчас ее вновь пробили, набросали вдоль щедрые кучи навоза.

А на бригадном складе уже лежало отборное зерно для семян.

А Сергей находил время, чтобы водить дружбу с трактористами, с той бригадой, которой предстояло подымать петраковские поля.

— Ребята, хочу одного, чтоб вы стали похоронной командой... Что ржете? Поля наши в сплошном сорняке. Семена этих сурепок, осота хоронить, хоронить, да глубже. Без глубокой вспашки, без оборота пласта работу принимать не стану. Учтите это заранее. А за качественные похороны сочтемся, обещаю.

Трактористы смеялись, пили водку, выставленную Сергеем.

Навоз выгребался подчистую. По деревне Петраковской вкусно пахло свежее испеченным хлебом.

Дорога, разделяющая поля, — там колос, здесь бурьян. Еще посмотрим — у кого как.

И вот в эти-то мартовские дни впервые с удивлением стал вглядываться в Сергея не встающий со стула бухгалтер Слегов. К нему на стол ложились сводки. В сводках из Петраковской — вывезено столько-то тонн наво-

зу. Гм... Цифры красивые, хоть вешай на стенку вместо плаката.

В неподкупном бухгалтерском деле что слишком красиво, то с запашком. Иван Иванович полистал, выудил — вот точная цифра конского поголовья в Петраковской (гм... ну и цифра!), а вот и другая — количество работоспособных... Тракторов не брали... Гм... Одни цифры отрицали другие. Как это понимать, Сергей Лыков? Кто ты — рано созревший мошенник или чудотворец? Чудотворцы, как известно, давно повывелись на земле, зато мошенники теперь не в диковинку и среди молодых.

Слегов следил со своего бухгалтерского стула. Стул — что пожарная вышка, не рассчитывай обмануть. Поживем — увидим.

Весна после снежной зимы выдалась недружная. Сугробы то прели, то каменели под морозами; казалось, конца не будет таянию. Евлампий Лыков испугался затяжной весны, послал тракторы в первую очередь на пожарские поля — петраковцы обождут.

И прогадал. На непросохших полях тракторы застревали, часто ломались, по мокрому и вспашка плоха — грязные мочажины заплывали, подсыхая, запекались коростами, а уж сквозь них, не жди, скоро не проклюнется зерно. Не всегда-то права пословица: весенний день — год кормит, на нее есть иная: поспешишь, людей насмешишь.

Сергей не спешил и выгадал, тракторы дружной работали на петраковских полях. Ходили слухи, что бригадир незаконно задабривает трактористов, в бухгалтерию, разумеется, обличающих бумаг не поступало. Если так, то парень в своего дядю Евлампия, тот при нужде никогда не упускал случая обойти по кривой закон.

Уже в середине июня заговорили о какой-то дороге, на которой стыкались поля петраковцев и пожарцев:

— А по ту сторону ныне всходы-то того, не нашим чета.

Кто ты, Сергей Лыков, мошенник или чудотворец? Всходы-то мошенников обычно растут не из земли, из воздуха.

Сам Евлампий Никитич из конца в конец прокатил по петраковским полям на своем «газике», подтвердил:

— Ай да Серега! Видать лыковскую породу!
Чудотворец?.. Нет, дудки! Давным-давно ушла вера
в чудотворство.

Голая, взрытая земля подернулась легчайшим, как
наваждение в глазах, зеленоватым дымком — это вы-
ползли нежные росточки, это младенчество хлеба.

Зеленоватый дымок крепнет от утра к утру, теряет
летучую нежность, от утра к утру обретает сочную яр-
кость. Земля становится зеленой без просвета, зеленой,
веселой, парадной. Это раннее детство хлеба.

И однажды, нагнувшись, ты видишь в бахrome зеле-
ни — лист свернулся в тугую стрелку, целит в синеву
неба, в косматое солнце. Отрочество началось у хлеба.

Отрочество до первого, стыдливо спрятанного колос-
ка. Сам по себе колосок застенчив и мягок, нет в нем ни-
какой грубости, никакой жестокости — хлеб вступает в
пору юности.

Зелены стебли, буйно зелены листья, но колосок уже
не скрыт, нет, он выставлен напоказ, он поднят вверх,
как знамя. И тронь его — жестковат, чувствуешь занос-
чивую колючесть, и взглядишь — серебром отликает он.
И окинь взглядом все поле, по которому погуливает ве-
тер, — по зелени волны с металлическим отливом.
Юность в разгаре. Серебро на колосе, не то что серебро
в волосах, оно здесь вовсе не напоминание старости.

Желтизна, соломенное золото — вот напоминание
зрелости, вот цвет хлебного старения. Но попробуй уло-
вить момент, когда он появляется впервые.

Легче увидеть сухой туманец над полем, легкий и ле-
тучий, как дыхание. На колосе серьги. Хлеб цветет. Это
созрело растение, само растение, а не хлеб. До хлебной
зрелости еще далеко.

Еще будешь пробовать на зуб зерно, а оно станет
брызгать молочком. Нет, не спело.

Не спело и тогда, когда зерно уже не брызгает, но
мнется, оно молочно, оно полуспело, подозрительно спе-
ло. Так и называют такую спелость — молочно-восковой.

Но тут-то и начинаются тревоги: как не пропустить
момент, как поспеть убрать вовремя, чтоб спело и не пе-
respело, чтоб было крепко зерно и не осыпалось? К это-
му времени уже крадется осень, крадутся дожди...

Петраковские бабы, «божья рать», вытянувшая на
своих спинах весь навоз на поля, больше всех дивилась
своим полям. Изумлялась до страха, до оторопи...

— Гос-поди! Да неуж с хлебом будем, неуж жить начнем? Да как же мы управимся-то с такой напастью? Сил-то у нас... Гос-поди!

Не было человека в деревне, кого бы не охватило это счастье-отчаянье. Сергей не исключение, от этого счастья-отчаянья он почернел, ссохся, лицо стало каким-то глинистым, губы спеклись.

Он ждал разговора с дядей Евлампием, ждал, что тот первый начнет. И не ошибся, тот сам приехал к нему, как всегда, кипуче весел, лицо в парной красноте, загрибочек гнет вперед лысеющую со лба голову. Хлопнул с размаху племянника по спине:

— Ну, академик! Потолкуем!

Сели толковать.

— Куш большой, Серега, сам вижу, — втолковывал дядя Евлампий. — Но на хромую лошадь не ставь — проиграешь.

— Это петраковцы — хромая лошадь?

— Аль у них уже все ноги выросли? Тебе-то, верно, лучше меня видно — пока хромоваты, одни с урожаем не справитесь. А чтоб сотка хлеба под снег ушла — не допущу! Такой оказии с нашим колхозом еще не случалось.

— О чем разговор, — невинно ответил Сергей, — урожай общий, вместе снимем, ровные трудодни получим.

— Хе-хе, твоей «божьей рати», как пожарцам, одинаковый трудодень? Не рановато ли?

— Иль «божья рать» — люди хуже других?

— Доказательство, что ровня, маловато. Пожарец свой трудодень не одним десятком лет достигал, твои божьи люди хотят годом достичь. Не выйдет, парень. Хозрасчетик я покуда не нарушу. Давай полюбовно: мы поможем, а за помощь возьмем, что положено.

— А петраковцам с их же собственного урожая остаточки?

— Разве не хватит? Привыкли как сыр в масле кататься?

— Чудеса в решете, дядя Евлампий. То ты боялся, что петраковцы пристроятся к твоему пирогу, то теперь сам норовишь откусить от горбушки петраковцев. Или равные права петраковцам, или уж хозрасчет до конца!

— Н-ну, н-ну, — произнес Евлампий Никитич с угрозой. — А знаешь, чем для тебя пахнет, ежели хоть один га под снег упустишь?

— Знаю.

— Нет, видно, плохо знаешь. Сам я тобой заниматься не стану, а районным властям сдам — растреплют в пух чижики.

— Идет.

— Н-ну и н-ну...

Евламий Никитич уехал с убеждением: поклонится, куда ему деваться, хозрасчет хозрасчетом, автономная республика, а самостоятельности — шиш! Даже с МТС договора заключить не имеет права, трактор и комбайн получи из его, лыковских, рук.

Сергей заставил всех баб написать мужьям и сыновьям письма, тем, кто давно отбыл из своей деревни, работал на стороне, — берите отпуска, приезжайте на время уборки, внакладе не останетесь. А эти беглые мужички не все жили в дальних краях, многие работали рядом — на сплаучастках, на лесопунктах, — наезжали гостевать чуть ли не каждую субботу, обновленные поля видели своими глазами и, уж конечно, задумывались об урожае.

Хлеб поспевает не в один день. На местах повыше и попесчаней — зрел, а в низинах, на мокроте — с молочком, а то и вовсе зелен, как лук. «Бабы! У каждой из вас не чугун, а крестьянская башка на плечах! Не ждите бригадирского указа, соображайте, ловите момент, бросайтесь с серпами!..»

У Евлампия Никитича колхозник не мог колдобину на дороге засыпать без приказа, для этого, скажем, лошадь нужна, чтоб песок привезти, а уж тут спросись председателя. В бригаде Сергея, если сам сообразил, сам без подсказки сделал — похвала, и честь, и награда к законному трудовню.

Нельзя предугадать, нельзя наперед запланировать ту силу, которая появляется с надеждой. «Неуж жить начнем». Разумом предугадать нельзя, а учуять можно. «Божья рать» петраковская с начала августа до глубокой осени воевала с хлебами. «Жить начинаем, не дай-то бог, чтоб сорвалось!» Воевали за жизнь, не шуточки.

И вот — чудо в Петраковской! По всему району шум. Еще весной эта деревня считалась одной из самых захудалых, бывший безнадежный «колхоз-миллионер». А урожай-то ныне выше пожарского! Кто мог ждать?

В докладах начальства, в районной газете склонялось имя бригадира Лыкова; нет, нет, не того, не Евлампия, второй Лыков объявился...

Пропыленный «газик» мят колесами до звона прокаленную стерню.

Сжатые поля всегда кажутся слишком просторными, даже небо над ними велико и безжизненно. На окраине грустного стерневого моря, под высокими выбеленными небесами копошилась куча баб — подоткнутые подола, открывающие исподние белые юбки, задубевшие черные ноги, цветные платочки. Они серпами добирали остатки хлеба, уже полегшего, перепутанного, который не возьмет комбайн, в котором увязнут ножи жаток.

Иван Иванович Слегов впервые за много лет решил оторваться от просиженного стула, вблизи всмотреться в странного человека, который высылал ему в сводках пляшущие цифры. Если расставить все отчеты по порядку, получится сумасшедший бег с галопцем, с коленцами, с остановочками. Цифры не купишь, рано или поздно они вскрывают нутро того, кто их посылает. Вскрывают? Не всегда-то, оказывается.

Реденькая россыпь баб, и море стерни за их спинами. Нельзя поверить, что эти бабы освободили столько земли от хлеба. И опять в голову ползут цифры, цифры: столько-то га под яровыми, столько-то рабочих рук. Непокупные бухгалтерские цифры — и кучка баб против них.

Сергея Слегов увидел поздно вечером. Тот, на ночь глядя, проводил с бабами бригадное собрание. Пришлось терпеливо сидеть, слушать бабий гвалт, пока-то утомились, пока-то не разошлись по домам.

Наконец они вдвоем выбрались на крыльцо. Иван Иванович пристроился на ступеньке в обнимочку с костылями.

Ночь стояла безлунная. В воздухе растворены прозрачные осенние запахи увядающих на корню трав. Небо накатно-черное, трубы над крышами можно угадать лишь по пустоте — нет в тех местах звезд, а должны бы быть. На накатном небе мутная рваная дорога Млечного Пути видна отчетливо.

Петраковский бригадир, как нахохлившаяся курица на яйцах, — весь внутри, словно забыл, что рядом с ним живая душа.

— Кхм!.. — кашлянул Иван Иванович. — Я к тебе не от колхоза, право, не с ревизией — не сиди, ради бога, клушей. Растревожил ты меня.

— Чем?

— А я и сам толком не знаю. Лихими прыжочками. Я сам когда-то прыгал, да вот спину сломал.

— Зачем тревожиться, Иван Иванович, ты лучше порадуйся вместе с нами.

— Готов радоваться, парень, — почти сурово ответил Иван Иванович, — если докажешь — прочно, не на час твоя удача.

— Пока на год, до нового урожая. За новый кто может поручиться наперед. Но на год-то петраковцы теперь сыты.

— Но ты, верно, хотел бы, чтоб сытость не на год — навечно.

— Хочу.

— И должно, соображения на этот счет имеешь.

— Имею. Пахать, сеять, урожай собирать, этот год перепрыгнуть.

— И в силы веришь?

— В чьи?

— Ну, в свои хотя бы.

— О моих силах говорить не стоит. Велика ли сила в одном человеке.

— Но без тебя бы Петраковская не взбурлила.

— Я — спусковой крючок в ружье, а ружье-то было заряжено.

— Чем? Какой заряд в бабах?

— Вот как-то в войну, — заговорил негромко, с ленцой Сергей, — недалеко от Болчанска какого-то прохвоста поймали. Полиция, что ли?.. Вешал наших при немцах. Одну женщину привели, чтоб опознала. У нее двух сыновей повесили, один, кажется, совсем мальчонка... Увидела она того и стала рваться... Да-а... Трое солдат держали, раскидала, как щенят. А ребятки — лбы здоровые, и баба-то уж не молода, с сырцой. Вот и ответь: откуда у нее сила взялась? Откуда у петраковских баб сил хватало на себе по снегу навоз на поля вытащить? Теперь оглядываются, сами не верят.

— И на будущий год на этот заряд рассчитываешь?

— Ну нет. Встать на ноги трудно, а раз встали — зашагаем, пожарцев-то нагоним.

— Все в это верят?

— Все.

— Хоть бы открыл, как заставил?

— Я? Нет, я не заставлял. Поля заставили, они вместо бурьяна довольно наглядно хлебом обросли. А разве

можно сказать, что эти поля изменил я? Не я на них навоз таскал, не я их выпестовал.

— Ну да, ты же крючок под скобочкой, заряд в бабах, они стреляли. Крючочка, видишь ли, им не хватало. А крючочка ли?

— Иван Иванович, право, удивляюсь тебе.

— А ну-кось?

— До седых волос все героя ищешь. Героя, вождя великого, который один на блюдечке может жирное счастье принести.

— А что, нет таких?

— Один для всех?.. В одиночку?.. Думается, что нет и быть не может.

— А ведь, парень, эта песня тоже не свежая — братство да равенство до такого конца, что признавай — у всех под шапкой от бога наложено одинаково.

— Но даже если под шапкой мозги гения, то лучшее, что можно этими мозгами сделать, — указать, где оно, а брать-то все равно придется сообща, компанией. Нет такого героя, чтоб в одиночку от начала до конца счастье довести. Ильи Муромцы только в сказках бывают.

Иван Иванович долго молчал. Тихая ночь глядела звездами на чужую для бухгалтера деревню.

— Указать — где?.. — повторил он. — А у тебя не случилось такого, когда ты сам видишь ясно, пальцем указываешь, а другие слепы?.. Даже на удивленье слепы!

Сергей подумал, ответил решительно:

— Нет, не бывало.

— У меня было.

Сергей в темноте пожал плечами:

— Наверно, у меня под шапкой не больше других лежит, слишком далеко не просматриваю, вижу то, что и обычный человек разглядит.

— Счастливый ты, — вздохнул Иван Иванович.

Сергей вдруг засмеялся:

— Вот это, Иван Иванович, я уже от тебя слышал. Помнишь, ты попрекал, когда в академию меня направляли: мол, в рубашке родился.

— М-да... Винюсь, попрекал... А впрочем, чего виниться, я и тогда прав был. Ты — в рубашке, а я, похоже, в тенетах, всю жизнь в них путаюсь до сего дня... Ну, будь здоров. Ничего, ничего, сам подымусь. Ты иди шофера толкни, он в машине спит...

Смолоду да сглупу казалось куда как просто: колхоз — семья, один за всех — все за одного. Еще не успела опуститься оглобля на спину Ивана, но уже хрустнула пополам вера в колхоз.

Тысячу лет попы втолковывали: «Возлюби ближнего своего, как самого себя». Тысячу лет, а проку ничуть. Человек так уж создан — больше всего любит себя, никак не соседа. Некрасиво, но что поделаешь — такова жизнь. Природа не барышня, сантиментов не признает.

Иван Слегов служил колхозу, но в душе не верил в него. И увесистые миллионные доходы, которые собственноручно записывал в бухгалтерские книги, не убеждали. Доходы-то миллионные, а «возлюби ближнего» и не пахнет — у кого сердце болит, что Пашка Жоров живет под худой крышей? А ежели нет «возлюби», то нет и семьи, есть казенная организация.

Вера треснула до того, как опустилась оглобля, но временами находило — а вдруг да... Смолodu пришиблен — болеть до старости.

А что, собственно, показал Серега?.. Волокушу с навозом вывезти вместе с соседом легче, чем в одиночку. Так это и сам давно знал. Но ведь если с соседом легче, то, значит, к соседу и уважение — без тебя, друг, никак! Уважение не от сладенького «возлюби», нужда заставляет.

Евламий Лыков приказывает: делай, не то круто накажу, бойся! Что ж, приходится... Страшновато за себя, никак не за соседа. «Бойся»-то, выходит, вроде глухой стенки — людей разъединяет.

На друга Пийко киваешь, а сам?.. Считаешь доходы, прячешь их под замок в шкафы. Самое главное, самое интересное под замок — какова польза от труда? Зачем тебе знать, верь на слово, покорно слушайся. Ты — скотинка, над тобой — пастух с кнутиком. Разве тоже не строишь стенку, разве не разъединяешь? А после этого неверие: дружной семьей — да быть не может! Противно естеству!

Иван Иванович ворочался грузно на сиденье рядом с шофером, кряхтел.

Всю жизнь был убежден — выше других, умнее других, и несчастья оттого, что далеко всех перерос, где разглядеть высокого. И понять не хотел: не Ильи Муромцы прокладывают по земле молочные реки. Фитиль без лампы гореть не будет. Все как-то скрашивало костыльное житье-бытье — не признан, да не другим чета. Серега-молокосос открыл знакомое. Он открыл, ты от-

махнулся — обидно! Уважение к себе он у тебя из души вырвал. Ох-хо-хо!..

Иван Иванович кряхтел.

Сергей Лыков стал районной знаменитостью, ташили в президиумы, усаживали бок о бок со старшим Лыковым, требовали — выступай, встречали аплодисментами, не дав раскрыть рот.

Чудо в Петраковской... Всем еще нравилось, что чудотворец держится скромно, от своей святости отмахивается:

— Такие чудеса творить не трудно, когда из богатого колхоза ветер в спину дует...

Его речи не могли обидеть Евлампия Никитича, настораживало другое: районные руководители слишком уж часто, слишком уж настойчиво повторяли: «Старшему Лыкову выросла достойная смена!»

«Смена... Гм!»

Евлампий Лыков не допускал, чтоб районное начальство гладило его против шерсти. Только попробуй, Евлампий Никитич сделает кругом марш из кабинета. К себе в село он, скажем, не уезжает, а оседает поблизости — в квартире, которая специально снята в городе, чтоб знатный председатель мог отдохнуть от заседаний. В этой квартире — телефон, уж он-то непременно зазвонит:

— Евлампий Никитич, что уж так-то... Зайди, обсудим без горячки. Евлампий Никитич, я жду...

И Евлампий Никитич по тому же телефону вызывает:

— Машину мне!

Шофер спешно с окраины города — он не с Лыковым квартирует, у своей родни — гонит машину, чтоб Лыков мог проехать триста метров до крыльца райкома. Не пешочком, не шелкопер какой-нибудь — солидный хозяин. Подкатит, выйдет перед райкомовскими окнами, в дорогой шубе, важный, насупленный, подыметесь вверх, не снимая высокой шапки, ввалится в кабинет, усядется — величавый и оскорбленный, готов выслушать извинения.

Кому-то он не по нутру, кто-то его смены ждет...

И маленькое, никем не замеченное событие, но сам Евлампий Никитич его особо отметил. Главный бухгалтер Слегов сорвался со стула, самолично ездил в петраковскую бригаду. Такого никогда не бывало! Ванька Слегов, поседевший советчик, правая рука, спасенный

от тюрьмы! Ванька Слегов никогда не ошибается, неужели и он верит, что песенка старого председателя спета?..

Алька Студенкина, секретарша, не смела задерживать у порога лыковского кабинета лучшего в колхозе бригадира:

— Пожалуйста, Сергей Николаевич, Евлампий Никитич у себя.

И Лыков принимает Сергея.

— Трактор на недельку?.. Гм... Вроде бы все заняты, но... — Размашистым почерком выводит привычную записку: «Удовлетворить по возможности!» — К Чистых стукнись.

В кабинете Чистых нет даже второго стула, Сергей Лыков должен стоя выслушивать, как лыковский зам бросает через губу:

— Не можем.

«Старшему Лыкову выросла достойная смена!» Эт-то мы еще посмотрим. В деле Сереги — пусть не гордится! — львиная доля его, Лыкова-старшего. Что бы тот делал без лыковских тракторов, без лыковских семян, без лыковской мучки? И еще без того, что он, Евлампий Лыков, своей фигурой заслонял Серегу от районных толкачей! Сам признавал: «Из богатого колхоза ветер в спину...» Смена? Гм! Посмотрим!

Чистых бросает через губу:

— Не можем.

— Слушай, друг, я эти шуточки знаю. Со мной детское шулерство не пройдет.

— Ну, раз знаете, тогда чего ж вы в мою дверь попали? За этой дверью всегда разговор короткий.

Ждали скандала, и он случился. За двойными дверями лыковского кабинета. Перед дверями сидела только секретарша Алька, человек верный, но ни двери, ни верность Альки не помешали — по селу Пожары стали шепотом передавать: «Неприличные слова говорил младший Лыков старшему: «Ты, мол, особый сорт паразитов — не ты для народа, народ для тебя! Ты — о господи, как язык повернулся! — жирная вошь на общей макушке!»

Зам Лыкова Чистых вряд ли знал больше других (с ним Евлампий Никитич не откровенничал), но делал вид, что знает, осуждал с обидой:

— Не-ет, разговорчики ведет не наши. Разговорчики-то крайне оскорбительные. Стоило бы углубиться. Евлампий Никитич уж так, по доброте спускает.

Между дядей и племянником кончились встречи. «Автономная республика» Петраковская продолжала жить своей независимой жизнью, готовилась к весеннему севу. Но все чуяли — так просто Сереге не пройдет, добр-то добр Евлампий Никитич, но спускать не любит.

И вот весна, вот сев...

Тут даже Евлампий Никитич не может отказать в тракторах петраковцам. Иван Иванович, как положено, оформляет расчетные документы: за столько-то га мягкой пахоты петраковцы должны перечислить в колхозную кассу столько-то деньгами, столько-то натурой... Казалось бы, все в порядке, тракторы выезжают на поля, пахота начинается. Но, стоп!..

С железнодорожной станции в районные организации поступает сердитое напоминание: «Вами не вывезено пятьсот пятьдесят тонн суперфосфата... Категорически требуем вывезти, в случае промедления...»

Не сумели вывезти эти пятьсот тонн дальние колхозы, пока собирались да почесывались — развезло дороги. А ждать нельзя, за каждые сутки железная дорога бьет рублем. Отдается приказ: вывози, кто может! И уж конечно, Евлампий Лыков не прозеваает, зачем упускать лишние удобрения.

Но разливом сорвало мост через реку. Грузовые машины не ходят, можно вывозить только на тракторных санях в объезд по проселкам. Но трактора-то на пахоте, ни одного свободного...

Евлампий Никитич не колеблется: снять трактора с петраковской бригады! Это почему так?.. Да потому, эй, Иван Иванович, оформи документы трактористам на вывозку удобрений!

Без подписи главного бухгалтера ни один трактор не сойдет с борозды — трактористы не станут возить удобрение бесплатно. Стоит только не поставить подпись...

Нельзя сказать, что Сергей уж сильно нравился Ивану Ивановичу. Последнее отнял, что скрашивало жизнь, такое помнится, но топить парня, топить вместе с бригадой — Иван Слегов еще не утерял совести. Стоит только не поставить свою подпись...

Но тогда разгневанный друг Евлампий скажет: «Слазь со стула!» Наймет более покладистого бухгалтера, и ты с перебитой спиной, с костылями окажешься на улице. А уж другой-то бухгалтер не откажет, вместо тебя поставит подпись.

Вспомни, Иван, себя в молодости, вспомни — к святому рвался, а люди отворачивались. Они-то от неведения, ты же ведаешь, чем пахнет твоя подпись. Готов бы, всей душой!.. С костылями на улицу — цена высокая, выше некуда, а пользы от нее ни на ломаный грош.

Иван Иванович подписал бумаги. Единственное утешение — не он один молчаливо предал Сергея.

АЛЬКА СТУДЕНКИНА И ДРУГИЕ

Иван Иванович сидел забытый и думал. Он не заметил, что суетливый шумок в лыковском доме утих, рассосался. Уже не слышно было торопливых шагов за стенкой, хлопающих дверей, бубнящего в телефон голоса Чистых.

С той минуты, как Евлампий Лыков упал на подтаявший снег возле скотного, подпрыгнула сила молодого Лыкова. Все сразу стали оглядываться — кто? Оказывается — пусто. Ни одного подходящего в председатели не оставил после себя знатный Лыков.

Евлампий еще уважал старого бухгалтера, Сергей — ой, навряд ли. «Себя хороните...»

Крадущиеся шаги за дверью, дверь скрипнула, вошел Чистых.

Иван Иванович с первого же взгляда понял — надежды не сбылись. Обычно круглое, моложавое лицо лыковского зама опало, вытянулось, на нем проступили рытвины и вмятины, сразу стало видно — человеку перевалило на пятый десяток, отец четверых детей, драчливых, горластых, через отца перенявших уличное прозвище «Приблудки».

Чистых вяло опустился на стул, помолчал пришибленно, произнес устало:

— Нет, еще хуже... Совсем плох. Пятна дурные пошли... — Вдохнул: — И врача на месте нет. Послал, чтоб отыскали, а когда-то разыщут... Э-эх! Никакой ответственности!

Встрепенулся, с мольбой заглянул в глаза бухгалтеру:

— Но ведь говорил! Два слова сказал! Нашел же в себе силы! Наверно, можно как-то спасти!

— А ты знаешь, что он хотел сказать? — глуховато спросил Иван Иванович. — Он хотел сказать: «Мертвый князь дешевле живого таракана». Не раз эту поговорочку от него слышал.

Чистых с ужасом помаргивал увлажнившимися глазами.

— Значит... — начал он шепотом.

— Значит, хошь не хошь, а уважай. Не каждый-то перед смертью шутить может.

— Хороши шуточки.

Замолчали. Молчал и дом.

Иван Иванович взялся было за костыли, хотел решительно подняться, как вдруг по могильно молчащему дому разнеслось надрывно визгливое:

— Сводня! Сучка!! Чего тебе здесь-а?.. Сгинь с глаз долой!

Чистых даже подпрыгнул от неожиданности. Иван Иванович, навалившись на костыли, двинулся к дверям.

Кричала жена умирающего Лыкова, Ольга, — на тощей шее тугими жгутами налившиеся вены, лицо перекошено, с просинью:

— Потерпела я от твоего бесстыдства, потаскушка проклятая! Теперь-то молчать не буду! Жы-ызнь мне отравила! Жы-ызнь!!

Это было столь же странно, как если б в соседней комнате раздался веселый смех Евлампия Лыкова. До сих пор ни одна душа в селе не слыхала, чтоб Ольга когда-либо повысила голос, даже беседовала всегда устало, даже сердитой ее никто никогда не видел.

Чистых кособочил к плечу голову, хлопал ресницами. Иван Иванович застрял в дверях.

— Тебе бы, охальнице, скрозь землю провалиться от срама. А нет — здрасте с улыбочкой... Зен-ки твои бесстыжие!..

У порога стояла секретарша Евлампия Лыкова Алька Студенкина — короткая шубейка распахнута, из шубейки рвутся наружу обтянутые кофтой груди, на мучнисто-бледном лице багровеют густо подведенные губы да стынут кошачьи, с прозеленью, глаза. К ней бесновато тянулась своим костлявым телом Ольга:

— Чего сиськи коровьи выпятила?! Чего ждешь? Чтоб в рожу плюнула?..

Чистых проскользнул мимо бухгалтера и мелко-мелко заплясал казачка:

— Ольга... Ольга Максимовна...

— Нету у тебя заступничка! Был да паром исходит! Нажалуйся-ко! На-ко, нажалуйся теперь! Полизала кошка чужую сметану — хватит!

— Ольга Максимовна! Боже ж мой! Приди в себя,

Ольга Максимовна! Срам-то какой! Бож-же ж мой, срам. У смертного одра, так сказать... Алька! Чего торчишь столбом? Марш отсюда!

— Сво-о-одня! Сука-а нечистая!

Посреди комнаты — тощая баба с синевой бешенства на лице. В одних дверях висит на костылях Иван Иванович, собрав на желтом лбу жирные складки. В других — сестра в халате. У порога — целясь грудями из распахнутой шубейки, не молодая, но молодящаяся бабенка, на мучнистом лице — кровоточащая рана губ. Мелко выплясывает растерянный Чистых.

За стеной лежит Евлампий Лыков — не встает, не наведет порядок грозным окриком. Жизнь, которую он заквасил, продолжается.

Девки в молодости не баловали Евлампия. И за что? За то, что не крив, не кособок, здоров и чист телом, за синь глаз из-под соломенных ресниц, за веселость характера или за то, что мог и зубы заговаривать, не лез за словом в карман? Это все, конечно, хорошо, да маловато. Нужны и сапоги в гармошку, и штаны «без очей» на зад, изба и лошадь, земелька да инструмент к ней — вот только тогда тебе полная цена, тогда и можно рискнуть... Ведь у девки-то товар один — раз прогадаешь, потом на всю жизнь внакладе.

Евлампий ходил не обласканный.

В тридцать один год он получил дом-пятистенки, вполне пригодный для семьи — горницы с полатами, печь с горшками, даже тараканы в щелях откормлены, даже люлька свисает с потолка, даже закопченная икона на божнице — все для того, чтобы выполнить божеское: «Плодитесь и размножайтесь!»

Сваха и сводня, лекарка и ворожея, всему селу кума да свояченица Секлетия Губанова, за большой нос — не за свой! — за большой нос давно умершего отца прозванная Ключишной, взяла на себя хлопоты, набежала в дом Максима Редькина:

— И прослышали мы, сударики, что у вас красный товар водится...

Чего-чего у Редькина Максимки, выпивохи, неудачливого барышника в прошлом, а красного товару хватало — пять девок, бери — не хочу.

Не было в жизни Евлампия Лыкова соловьиных вечеров.

У Ольги их тоже не было.

Первый сын появился довольно скоро — что пустовать готовой люльке. В тот год все кругом еще смиренненько переживали голод, а у Евлампия Лыкова — приплод в колхозе, приплод и дома... Сына называли Климом. Клим — имя боевое, сам Ворошилов его носит. Имя придумал Евлампий, на этом и кончил отцовские обязанности, ни разу не держал на руках сына — не до того, руки-то заняты, на них колхоз, который прет в гору.

В самом начале войны родился второй сын, а так как тогда у Евлампия уж совсем не хватало времени на отцовство, то назвала его мать как умела — Васькой, на большее выдумки не достало.

В то время Евлампий перевалило за сорок, уже тучнел телом, багровый загривок уже гнул вперед крупную голову, выставляя всем напоказ чуть плешивевший упрямый лоб, но по-прежнему был молодо порывист, легок в движениях. Ему за сорок, а Ольге едва исполнилось тридцать, однако уже усыхала телом, увядала лицом.

Девки же в селе не считались с войной — зрели, наливались соком, свое постылое девичество глушили минутным озорством:

Эх, на юбке замок,
Да под юбкой ларек!
Приходите, лейтенанты,
Отovarивать паек!

Лейтенанты проезжали в пятнадцати километрах от села Пожары, мимо и торопливо, не задерживаясь на станции, — спешили на фронт.

Гармонист Генка Шорохов без одной ноги, Иван Слегов без обеих ног и сам Евлампий Никитич Лыков с двумя руками, с двумя ногами, целенький, без изъяна — вот и весь мужской состав села Пожары, если не считать совсем заплесневелых стариков и совсем незрелых юнцов.

Часто на току, когда бабы и девки в куче, Евлампию приходилось туго. Какая-нибудь Алька или Катька, разомлев плечиками, покачивая бедрами, глядя с зовущей дремой сквозь припудренные пылью ресницы, обращалась невинно:

- Евлампий Никитич, где справедливость?
- В чем дело, бабоньки?
- Кому густо, кому пусто — непорядок сплошной.
- Да кто тебя обидел, лапушка?

— Твоя жена, Евлампий Никитич. Ей — цельный мужик, а нам на всех хоть бы кусочек. Иль она краше нас, иль перед державой в больших заслугах?

— Рад бы, девоньки, разделить себя...

И тут вступал хор, глушил его, готовую сорваться скоромную остроу.

— Так в чем дело-то?

— Може, жеребьевку кинем?

— Ты, председатель, премиальные установи!

— И то, какая злей на работе — той ночку.

— Все рекорды побьем по труду!

И Евлампий бежал, отмахиваясь:

— У-у, сбесились, кобылки!..

А потом не давал покою дремотный зазыв из-под пыльных ресниц, и вид жены выводил из себя:

— И чего бы это, не на казенной пайке живешь, а тоща, как ухват? Не в коня корм, видно.

Не знал соловьиных вечеров.

Ехал как-то в пролетке полем (тогда еще не было персональной машины). Ехал шагом. Плавилась в пыльном золоте утонувшего солнца вздыбленные облака, земля томилась в лиловом, предсумеречном покое. Впереди на дороге — одинокая фигура в алеющей косыночке. Он ее медленно нагонял, а когда подъехал близко — оглянулась, над плечом полыхнуло от заката лезвие косы. Алька!

Одна из тех, что первыми нападали на Евлампия из бабьей толпы. Алька, невестка старика Матвея Студенкина, — в двадцать один год осталась вдовой.

Не высока, но «рюмчата» — талия узка, а бедра просторны, тяжелы и плечи. Щедрое Алькино тело нельзя было скрыть никаким платьем, оно шевелилось, гуляло, жадно зазывало к себе из-под вылинявшего ситчика.

— Чего одиночкой-то? Садись, подвезу.

Охотно согласилась. Из-под юбки вынырнуло колено, белое, кованное, задела плечом его плечо, чуть-чуть, но обожгло так, что потемнело в глазах. Она чинно оправила юбку, выпрямилась картинно, наглядно означилась весь бабий рельеф.

Шевельнул вожжами, чувствуя сухость во рту, с хрипотой признался:

— Жаром от тебя... Каменка каленая.

— Поди, прозяб с женой-то? Пришел бы — погрела.

— А вот возьму да приду.

— Напужал.

— Только ведь ты со свекром под одной крышей...

— Ну и что?

— Мне перед простым конюхом стеснение чувствовать — навроде унижительно.

— Эк, задачка. Да ставь его, козла старого, хоть каждую ночь на дежурство в конюшне.

На другой день Евлампий определил дежурство по конюшне: получалось, старик Студенкин дежурит через ночь. Кажись, свободушка, но темным вечером, когда крался к Алькину дому, робел — не простой ты человек, на виду, при почете, даже от фронта освободили, а гут — разговорчики, репутация засалится, еще моральное разложение пришьют, долго ли... Робел и так задумывался на глухой короткой тропе за огородами, что перед дверью Алькиной избы почувствовал — похоже, и не рад. Но и отступать, несолоно хлебавши, не его манера. Постучал...

А она встретила в белой кофточке, под тонким шелком гуляют груди, сдобные руки оголены. Окна занавешены, стол накрыт, на столе бутылка и закуска не очень мудрящая. И кровать у стены — пухлая, как сама хозяйка, без морщинки.

Евлампий смущенно вынул нагретую в кармане поллитровку:

— Вот и я принес к столу...

Она усмехнулась свежими губами:

— Зачем?... Ныне такое время — бабы угощения ставят со спасибо большим.

Альку Студенкину определил своей секретаршей, чтоб была под рукой. Спасибо Альке, она не только подарила то, что как-то заменило соловьиные вечера, но и открыла глаза на самого себя... К себе аршин приставлял, каким всех меряют. Забывал, где другие вплавь барахтаются, тебе по колено. Уж ежели тебя от фронта освобождают, то грешок-то как-нибудь простят.

Спасибо Альке — стал еще тверже стоять на ногах!

Альке спасибо, а уж сама-то Алька должна вдесятеро его благодарить: не постничает, как все бабы, чистая работа с карандашиком, и будь осторожен — силой стала. Даже потом, намного позднее, когда ее силы поубыло, все равно с ней считались — сам заместитель Лыкова Чистых к Восьмому марта с улыбочкой духи подносил.

Жена в самом начале пыталась даже попрекнуть:

— Срамотник ты...

Но Евлампий с ходу обрезал:

— Ты давно в зеркало гляделась?.. Нет?.. Так погляди!

И раньше-то в семье он — гость не гость — жилец, не более: весь день-деньской на стороне, только ночь под крышей, теперь и этого нет. Жена покорилась. Старший сын Климко — ни в мать, ни в отца — золотушного здоровья и обидчивого характера, смотрел волчонком. Ребятишки, его сверстники, не стеснялись, доводили до того, что исходил бешеной слюной, бросался в драку, а так как был слабенец, то били. Евлампий на это внимания не обращал — еще тут тратиться, когда на важные дела тебя не хватает.

Бабы и девки люто завидовали Альке, ждали — не на век же она Евлампия обратала. Евлампий-то — конь норовистый, рано или поздно узду порвет, а уж тогда: «Поласкали кобылу — хвата, теперь кнута попробуй». Не будет житья Альке.

Алька сама пошла навстречу беде, чтоб та не застала ее врасплох.

Евлампий стал косить глазом на Соньку Понюшину. Алька — к ней. Серьги Соньке подарила, чулки, кофточку и кучу похвал — мол, молода, кровь с молоком, где мне... Сонька-то — не овечка-ярочка, тоже телеса распирают, без парней бесится. А возле Альки — грех заветный живет. Сонька без Альки как без рук. И Евлампий Никитич — тоже. Нужный человек Алька.

Алька как сидела, так осталась сидеть у дверей лыковского кабинета: «Евлампий Никитич сею минуту занят, повремените чуток». Уж коль все счастье не удержишь, то хоть часть приберечь.

Бабам и девкам оставалось одно — еще пуще поносить Альку. На здоровье. Алька незлоблива, обид не вымещала.

Евлампий Никитич — конь норовистый. Что там у них случилось с Сонькой, Алька не интересовалась — ссоры да разлуки не ее дело. А вот помочь — пожалуйста. Настя Кучерова льнет к Альке. Неспроста...

Как-то Евлампий Никитич шагал со скотного двора домой. Стоял теплый августовский вечер, круглая луна держалась сбоку, перешагивала с крыши на крышу. Где-то в глубине села у клуба — не всерьез, понарошку — тосковала гармонь: «Летят перелетные птицы...»

Нет, вечер не соловьиный, со смутным запашком осени. Но вот в такие-то вечера человеку на возрасте приятно оглянуться назад. Был Пийко Лыков, полубатрак, полурабочий, резал бревна на тес, ходил в залатанных штанах, а нынче войди в любой дом — охи, ахи, суета, звон посуды: «Эй, баба! Что есть в печи, на стол мечи! Гость особый!» Каждый здесь счастлив тем, что живет в одно время, под одной луной с Евлампием Никитичем Лыковым.

Соловьиных вечеров он так и не узнал, но разве они могут сравниться с минутами, когда до ноздрей захлебываешься полнотой жизни. Чего не хватает? Пусть любой попробует отгадать. Не сумеет. Все есть у Евлампия Лыкова, все, о чем только может мечтать человек.

Евлампий Никитич шагал и отдыхал. Навстречу двигалась рослая фигура. Кто бы он ни был, обязательно первым отобьет поклон: «Доброго здоровья, Евлампий Никитич!» Кто бы ты ни был — согни голову.

Луна выпуталась из верхушки березы, осветила улицу и человека посреди нее: бескозырка, узенький бушлатик, плескают широкие штанины над пыльной дорогой. Приезжий, из отпускников... И вдруг Евлампий Никитич признал — Мишка Чередник, приемный сын бригадира строителей Михайлы Чередника, того самого, что когда-то в голодный год, опухший от водянки, приполз под крыльцо конторы. Парень у Чередника вымахал на удивление, косая сажень в плечах, и в фигуре сейчас что-то настораживающее, никак не «доброго здоровья». А кругом ни души, а путь-то перекрывает...

Евлампий Никитич помнил, что еще месяц назад он прислонялся к Гальке Чащиной. Мишка до призыва с ней погуливал, писал письма. Раз приехал — обстановочку, видать, выяснил.

Плечи у него широкие, кругом пусто...

И не стал дожидаться, когда Мишка-матросик отобьет узаконенный поклон: «Доброго здоровья, Евлампий Никитич», круто свернул, поднялся на первое крыльцо, постучал.

Оказывается, верно сделал, что свернул. Мишка-матросик, рассказывают, перед отъездом жалел: «Не пришлось вырвать клочок с мясом, а надо бы».

Он же — Евлампий Лыков! Кой-кто это запомнил. Ему ли с опаской ходить по своей земле, ему ли нырять в подворотни, оглядываться по сторонам?..

На крытом току произошла драка. Схватились за грудки Леха Шаблов, механик с молотилки, и шофер с грузовой машины Гришка Фролов. Они вечно сцеплялись и всегда на людях, не из-за старых обид, не девку делили — никак не могли решить: кто сильнее?

Леха — рожка, что пшеничный каравай, во всем громаден, плечищи покаты и объемисты, кулак — шапку надеть впору. Гришка на полголовы ниже, подбористее, плечи прямые, с размахом, грудь круто сужается к сухим бедрам, руки длинные, кулаки вроде небольшие, но каждый — камешком. Как-то парни сговорились и впятером налетели на Гришку, все пятеро — лбы здоровые. Трое легли, двое сбежали.

Вдвоем с глазу на глаз Леха и Гришка могли беседовать, как все добрые люди, без гонору. Но лишь встреча при народе — любое слово затравка.

— Поди, Леха-то полегче тебя мешок на спину кидает.

— С мешком, верно, сноровист.

— Словно я на себе твою сноровку видел когда.

— Иль за ремешки подержаться хочешь?

— Ужели боюсь?..

Слово за слово, брались за ремешки, начиналось словное топтание, пыхтение, спор:

— Ты чего на коленку берешь?

— Возьми и ты.

— Возьму — окосеешь.

— Ух!

— Опять коленкой! Сверну шапку назад.

— М-мотри, шустрый.

— Опять... Да я тебя, гниду!..

— Ах, гнида!

Трешит Лехина скула, голова рвется с шеи.

— Н-ну-у!..

От Лехино го разворота с плеча Гришка Фролов пятится задом, давит визжащих баб:

— Ой, маменьки!

У Гришки руки длинные, достает кулаком — раз, раз, еще, еще! Мотается Лехина голова, но не собьешь — тяжел, прет прямо на кулаки, пытается нащупать Гришкин загривок, мнет его так, что и у быка шкура бы лопнула. Гришка вырывается. Раз! Раз!..

Валится кладка снопов, падает труба с грохотом, визжат бабы.

— Сторонись, кому жизнь дорога!

— Эй-эй, не суйся! Заденут лешие — не очнешься! Какая уж тут работа. И жуть берет, и весело.

Во время такой потехи появился Евлампий Никитич, никто его не заметил — увлеклись. Евлампий постоял, посмотрел и не сразу-то окликнул:

— Эй, жеребцы породистые!

Опустили руки, отшатнулись, как два барана, установились в землю. У Лехи под глазом набирал силу синяк.

— Озверели! Аники-воины! Встаньте-ка честь честью. Да не ко мне, не ко мне — друг к дружке... Быстро!.. Теперь — руки, ну! Чтоб мир... Ну, кому говорят?

И Леха первый протянул лапищу:

— Мир, что ли?..

Но Гришка, изрядно помятый, еще не остывший, сверкнул на Леху горячим глазом, отвернулся.

Евлампий Лыков с ухмылкой заметил:

— Ишь, с характером. Не кисель, как Леха. Потому он тебе, парень, и не поддается, хотя, поди, силенкой-то уступает.

Леха держал на весу руку и пунцовел от стыда.

Евлампий Никитич прикрикнул на Гришку:

— Кому сказано? Быс-тра!

Но Гришка сердито повернулся, пошел прочь, покачивая угловатыми, просторными плечищами.

Председатель проследил за ним с прищурочкой, напомнил:

— Ой, Гришка, передо мной занозистость показывать опасно. Я не Леха, вязы скручу быстренько.

А Лехе кивнул:

— Зайдешь ко мне сегодня вечером в кабинет.

На той же неделе Леха Шаблов был с почетом уволен из механиков при молотилке, срочно отправлен на курсы шоферов, а через несколько месяцев стал личным шофером Евлампия Никитича.

Лыков давно забросил пролетку, дома в гараже у него стояла новенькая «Победа», своя, личная, купленная на сбережения. На ней делались выезды только в торжественных случаях—в район, на широкие совещания. По полям Евлампий Никитич раскатывал на колхозном «газике», сам за рулем. Шофер Леха Шаблов сидел, как праздничный сноп, на хозяйском месте, не он возил председателя, председатель его.

Лехе платили выше других шоферов, своей машиной он обычно не занимался, рук мотором не пачкал, ремонт и профилактику делали за него «братья-водители», тот

же Гришка Фролов. У Лехи одна забота — подать машину, отогнать машину, чтоб в любое время дня и ночи: «Эй, Леха!», «Я тут, Евлампий Никитич!»

По селу гадали: почему председатель не взял к себе Гришку, тот уже был шофером, ему и курсы бы проходить не надо? И одно объяснение: «На норовистой лошадке трудней ездить. Помните, Гришка-то руку пожать не захотел, спиной к хозяину повернулся...»

Клим, старший из сыновей Лыкова, напился пьян.

Парню тогда стукнуло восемнадцать. В школе он никак не мог перелезть за седьмой класс, отец устроил его на курсы трактористов: «Сам не прыгает, так за уши высоко не подымеешь». Но и тракторист из него получился ненадежный, машину на полную ответственность ему не доверили, «припрягли» к опытным парням. Те жаловались: «Какой, к лешему, помощник, на плуг посадить боязно, заснет да свалится». Кой-кто из старших объяснял даже на кулаках: «Иди жалуйся. Кто видел?» Клим жаловаться не жаловался, а примерней не становился.

Он напился пьян, шагал по селу — жердисто длинный, мутноглазый, прыщеватый, — размахивал руками, заносило от плетня к плетню, орал во все горло:

— Вы все — так-перетак! — пятки моему бате лижете! Вы все на лапках перед ним! А я пли-ивал! Не боюсь! Он с бл..... водится! Кобелина колхозный, общий! Я от него с детства в стыде! Пли-ивал! А я пить буду, позорить буду, потому совестью мучусь. Из-за него! Из-за кобеля!..

Всем было совестно, все качали головами, осуждали, но никто не хотел остановить, слушали и, поди, не без тайного интереса.

И тут вдруг завизжали тормоза председательского «газика». Евлампий Никитич, как всегда, сидел за рулем, он не тронулся с места. Выскочил Леха Шаблов, не спеша снял с себя ремень, согнул парня, как лозинку, зажал ему голову коленями, сорвал при народе штаны и, нахлестывая ремнем по тощей заднице, приговаривал громко:

— Не позорь отца! Не позорь! Не тебе судить! Не тебе, щенок! Отец твой — великий человек! Не позорь!

А великий человек, Евлампий Никитич, сидел в ма-

шине, пасмурно поглядывал из кабинки, терпеливо по-малкивал. Ясно — Леха учит не от своего ума.

Поучил всенародно, сгреб в охапку, засунул в машину. Машина тронулась к председательскому дому.

Той весной, когда дядя Евлампий снял трактора с петраковских полей, Сергей в отчаянии метался по городу Вохрову из кабинета в кабинет, пытался доказать: «Знатный председатель разбойничает! Спасайте бригаду!» Районное начальство выслушивало сочувственно, обещало уклончиво: «Выясним». И наверное, пытались выяснить. После того как Сергей закрывал дверь, наверное, снимали телефонную трубку, звонили Евлампиию Никитичу, журили по-отечески. Но Евлампий Лыков есть Евлампий Лыков, не тот масштаб, чтоб на него можно было без опаски давить.

И Сергей ходил по непросохшему, зеленеющему весеннему райцентру, носил в себе недоуменную ненависть к дяде.

Был же человеком. Был! Помнит, как дядя частенько набегал к ним в дом: «Богатеи-родственнички, одолжите картошки, у меня хоть шаром покати!» Он уже тогда работал председателем, хранил в амбарах колхозный хлеб, сам сидел на картошке, которую давал отец Сергея, «богатеи-родственничек», еле-еле сводивший концы с концами.

Отец Сергея, братья Сергея гордились им. Всю жизнь гордился дядей и Сергей.

Был человеком! Когда же перестал им быть?

А от нагретой земли жидким стеклом изливался вверх воздух, и лужи на тонких задворках вскипали от лягушечьих перебранок, и над просохшими крышами тихого городишки — звон птичьих голосов, и черными сполохами мелькали в глазах скворцы, и даже поезда со станции кричали бодрыми тенорами. Прекрасна бы жизнь, если б люди сами не портили ее друг другу.

В такой-то день он, оглушенный весной и своей недоуменной ненавистью к дяде, и встретил ее. На площади возле чайной, откуда обычно начинали свой трудный путь по непролазным весенним дорогам все грузовые машины и где кончали его. Площадь перед чайной — место отдохновения всех шоферов Вохровского района, их кратковременная нирвана.

— Сергей Николаич! — Знакомый голос вывел из забытья.

— Ксюша! Ты!

Он года полтора не видел ее — позапрошлой осенью помогала ему, только что ставшему бригадиром петраковцев, отбирать семена. Полтора года, но каких! Пережиты лепешки из травы, эпопея с вывозкой навоза, пережита шумная слава по всему району. А уж то время, когда за ним по пятам ходила девчонка в растоптанных сапогах, с мальчишескими исцарапанными коленками, кажется совсем далеким.

Сапоги, исцарапанные коленки... У тугих туфельек на земле — маленький чемоданчик с никелированными замками, пальто перекинута через руку, вдумчиво уложенные на голове косы открывают просторный чистый лоб, лицо лишь отдаленно напоминает прежнее, скуластенькое, широкое, свежее сейчас, тянущее к себе, как открытая книга. И вся она занимает больше места над землей, больше настолько, что уже никак нельзя не заметить, мимо не пройдешь, оглянешься вслед. Он глядел и чувствовал, как вызревшая тяжесть заполняет ее от щиколоток над тугими туфельками до белой шеи, до мочек ушей. Эта напористая тяжесть, рвущаяся сквозь легкое платье, немного стесняет ее самую — движения чуточку связанные, и щеки опалены румянцем, и ускользающий взгляд, и глаза отливают призывной весенней зеленью. В ее глаза так же трудно смотреть, как на искрящиеся апрельские лужи, хочется зажмуриться...

Ксюша Щеглова перед ним, в шуме голосов, в птичьем звоне, в ярком солнце. Дядя Евлампий, тракторы, непаханные поля, сев, срыв, объяснения, жалобы, сор житейский — все трын-трава, все так ли уж важно! Бьющее в глаза солнце, медный отлив Ксюшиных волос, птичьего голоса лавиной, глаза, в которые больно и страшно смотреть. Не пропусти! В стручок ссохся в Петраковской, от земли глаз не отрывал, забыл, что помимо Петраковской мир велик во все стороны.

Когда-то девчонка — нос шелушится, колени поцарапаны, две косы по тощей спине... Не знал, что человек может так вспыхивать. Зажмурься!

И был случайный, неловкий разговор.

— Да, уезжаю... Нет, ненадолго... Узнать о поступлении в институт. На заочное хочу в этом году... На очное? Нет, мама болеет, и работу тогда бросай, а не хотелось бы... Вы меня к этой работе приворожили. Совсем забыли, не заглядываете... А мне как вас забыть, когда вашим делом живу. Каждый день вспоминаю... Ой, ой! Еще на поезд опоздаю!..

Все трын-трава! Но только на минуту, только на то время, пока видел Ксюшу.

Петраковская бригада завалила сев — дядя виноват? Нет, бригадир. Снять...

Совсем не сняли — хуже, отодвинули в сторону. Если б сняли совсем, то Сергей Лыков, бывший студент Тимирязевской академии, носивший в кармане паспорт со следами московской прописки, мог, махнув рукой, отбыть на сторону: «Прощай, Евлампий Никитич, дорогой дядюшка, не тужи обо мне!» В районе его с охотой бы посадили председателем какого-нибудь отстающего колхоза — вдруг да снова сотворит чудо. Снять совсем Евлампий Никитич не снял. Для петраковской бригады была выкроена новая должность — помощник бригадира. Не учетчик, как бывает, а что-то вроде маленького зама, меньших замов, наверно, уже не встретишь по стране. Заместитель бригадира Сергей Лыков — смех и грех.

В Петраковской появился новый бригадир — Терентий Шаблов, дальний родственник Лехи-шофера. И не Леха помог подняться ему. Терентий задолго до Лехи выбился в люди, прочно числился в лыковской номенклатуре.

Полный, с коротко стриженной седеющей головой, бабьи мягким лицом, он смахивал на сивого от возраста, безобидного увальня хомячка. Никто не слышал, чтоб на собраниях, просто ли в беседах он подбросил толковый совет. Никогда он не был напорист, не умел даже красно выступать, что обычно и помогает выдвигаться. Человек тишайший и добродушнейший, он не перечил даже жене, был честен, как-то безнадежно честен, никому в голову не могло прийти, что Терентий Шаблов способен чем-либо покорыстоваться. Евлампий Лыков таких похваливал: «Полезные люди, вроде электропробки. Ставь их на всякий случай, чтоб оказии не вышло».

Терентия ставили руководить механизированным током, когда этот ток был уже полностью налажен, не нужно ничего перестраивать и доводить. Его бросали следить за закладкой силоса, когда не предвиделось спешки. Он наблюдал за доставкой строительных материалов, когда дороги были в хорошем состоянии, а транспорт в достатке, тут уж каждый гвоздь попадал на склад.

У Терентия Шаблова не широкий, но крепко усвоенный опыт: следи в оба глаза и при первом намеке на оказию — сигнал. А уж ежели оказии не миновать, то

с примерной стойкостью сноси «кудрявую стружку», не оправдываясь, признавай: «Виноват. Исправимся».

Новый бригадир и вообще-то за всю свою посылно руководящую жизнь так и не научился разговаривать на начальственных басах, а уж к Сергею был просто почителен.

Выпить он, однако, любил не меньше других, а потому охотно составлял компанию Сергею, тут он совсем размякал, убеждал со слезой:

— Я тебе, голубь, не помеха, а выручка. Меня все одно рано или поздно в другое место перебросят. Ты здесь останешься. Я ведь что, я везде человек временный. Так что давай-ко — тянем-потянем да вытянем бригаду.

— Не вытянем.

— Что так, дружочек?

— Тянулку мой дядя отрезал.

— Это какую-такую?

— Надежда называется. Она здесь прежде у каждого человека была. Нынче нам, брат, зацепиться не за что.

На лицах петраковских баб снова застыло знакомое выражение: «А, чихать на все». К этому «чихать» примешивались еще жалость, не к себе, к бывшему бригадир: «Эх, родимый, видать, стенку-то лбом не прошибешь». Но дешева бабья жалость, не лечит.

Сергей словно проснулся, с ужасом увидел — живет в чужой деревне, в чужой избе, у чужой старухи под портретом Веньки Ярцева, который никогда не был его другом. Он не может вернуться в село Пожары, в отцовский дом, там братья, дядины друзья, все село под Евлампием Никитичем. И от Москвы, от Тимирязевки, уже оторвался, там кто-то другой учится вместо него, а Светлана, наверно, защитила диссертацию, наверно, вышла замуж. Не может вернуться и в армию. Обложен со всех сторон, как волк, вокруг ни родни, ни друзей — пустыня, только обидная бабья жалость, только Терентий Шаблов, лезущий в друзья. «Я везде человек временный», а уж друг-то и вовсе минутный, только на то время, пока не кончится поллитровка на столе.

И это открылось вдруг, без перехода, как внезапная слепота.

Жил под портретом Веньки Ярцева. И бывший враг

теперь был ему всех ближе. Он хоть связан с детством, хоть заставляет чувствовать — у тебя есть прошлое. Есть прошлое, будущего никакого.

И тут-то — Ксюша Щеглова. Если б он был в прежней силе, в прежнем почете, с прежней верой в себя, то, наверное, все равно бы не прошел мимо, все равно стояла бы перед глазами — от щиколоток до плеч, налитая вызревшей весенней тяжестью, чистый лоб, глаза в зелень, лицо широкое, открытое, зовущее. Не только же для петраковских баб жить! — пошел бы к ней, быть может, еще скорей, чем сейчас, потому что верил — не откажется, не скажет «нет».

Сейчас весь свет клином сошелся — единственная, даже жутко от мысли, что отвернется.

Он узнал — Ксюша вернулась из города. Утром снял бритвой трехдневную щетину, надел чистую сорочку, постеснялся влезть в свой праздничный «московский» костюм. Может подумать — ишь, женихаться пришел со всем старанием, того гляди, в цене упадешь. Костюм не надел, а сапоги начистил — глядеться можно, старую бригадирскую кепку-блин заменил новенькой фуражкой. Оглядел себя в тусклое настенное зеркальце, в которое, наверное, смотрелась бабка Груня, когда была несватаной девкой: брови белые, ресницы рыжие, глаза глубоко всажены под лоб, сам лоб шишковат. Фу ты, черт, как на дядю Евлампия похож! Гнусная, однако, рожа, но что-что, а это и рад бы, да не сменишь.

Опытный участок, бывшая столярка. Салатная окраска по обшивке потемнела, вывеска выцвела, в палисадничке под низенькими оконцами бесхитростные цветочки и кустики смородины. Дом с низеньким крылечком и облупившимися белыми наличниками обрел обжитую уютность. И Сергей неожиданно почувствовал, что этот приземистый домишко, который он не любил прежде, держал его под замком, сейчас родственно дорог ему. И нет, не только потому, что там Ксюша. А потому, что он чувствует — мог бы связать жизнь с этим домом. Искал бы сортовые семена, испытывал их, втайне, наверное, мечтал о невозможном, о чудесной пшенице с колосом, как кистень... Ну а в Петраковской, разве там нельзя жить? Выгонял бы урожай, завалил бы всех хлебом, отстроился бы, всю рухлядь снес, вместо старых изб поставил бы коттеджи, с водопроводом, с ванными, с электричеством! Тут ли, в Петраковской ли, где бы ни было, лишь бы под ногами — земля, а она-то всюду будет!

Дядя Евлампий родные места сделал чужбиной, так почему чужбину не сделать родиной?..

Эту-то мысль он и нес сейчас Ксюше.

Внутри все как было: письменный стол с казенным пластмассовым прибором, диванчик для посетителей. Наверно, он, Сергей, и оказался первым посетителем, почтившим служебный диванчик. Ксюша рядышком, стеснительно на краю, сложила горсткой руки на коленях, опустила плечи, нагнула голову, увитую косами. Лицо ее Сергею плохо видно, зато видна крепкая шея с тупой косточкой у самого ворота легкого платья. На литой шее под прорвавшимся в оконце солнцем — пламя выбившихся из прически волос, и маленькое розовое ухо напряженно слушает.

— Ксюша, будем жить как люди. А так как скорей всего попадем туда, где люди пока не красно живут, то не обещаю — будешь ли ты поначалу ходить в шелках. Потом — может быть, потом, когда мы... мы с тобой людей в шелка оденем. Я школу в Петраховской прошел, знаю, с чего начинать. В Тимирязевке мне этого сказать не могли, не знали. Знаю! Но здесь больше дядюшки Евлампия знать не положено. Что сверх, то душит. Мне надо отсюда отчаливать немедленно. Без тебя не могу. Это я совсем недавно понял. Ксюша, согласна со мной податься?..

Ксюшино ухо розовело от напряжения, ждало — не скажет ли Сергей еще что. Сергей клонился вперед, старался заглянуть в ее лицо, опущенное к коленям.

— Ну, Ксюша?..

Она прерывисто вздохнула и разогнулась. Ее лицо пылало сухим румянцем.

— Сергей Николаич, что мне скрывать. С первого году, когда еще мы по полям лазали, только и мыслей... Все годы — он, только он в голове. А он-то и бровью не ведет. Что ему девчонка сопливая... И знаю, письма писал к той, к московской... Нет, нет, не в упрек сейчас. Спасибо, что наконец-то заметили. А вправду сказать, не надеялась. Шалые мысли бродили — не бухнуть ли замуж, все равно не дождусь.

— Ксюша... — благодарно дрогнувшим голосом сказал он. — И вспоминать незачем, теперь все...

— Нет, не все, Сергей Николаич.

— Да не величай ты меня, право!

— Не все, Сережа. Ты ехать меня зовешь...

— Здесь нет мне жизни и тебе не будет, если со мной свяжешься.

— Ехать?.. Ты вот говорил, что один как перст. Про себя я так не скажу. У меня мать... Мать-то прихварывает. Если я ее брошу, одна надорвется... Скажешь, возьмем? Из своего дома, из своего села, из богатого колхоза в чужие люди и наверняка на бесхлебье. Хорошо ли ты первое время кормил себя одного в Петраковской? Один-то что, а если всех — надорвешься, где уж мечтать — в шелка...

— Ксюша, остаться не могу, дядя теперь ложка по ложке меня съест.

— И еще послушай, — с пылающим лицом продолжила Ксюша, — мне, как бабе, на стороне-то трудней придется, буду я мотаться между печью и колхозным полем. И ради тебя готова, Сережа, но только жалко крест ставить на том, что вымечтала. А мечтаю не о малом — институт кончить...

— Вместе будем учиться.

— Там? С семьей? Нет, Сережа, ты это так... Под угаром ты сейчас, угар-то там скоро пройдет. Мы с тобой только здесь сможем учиться. Только здесь. Опытный участок, работа свободная, сама работа возле науки лежит. Вспомни, много лет ты учился, когда бригадиром петраковцев стал? Хоть одну книгу успел открыть? А на стороне, кем ты будешь? Тем же бригадиром или еще того занятеей — председателем. В плохом колхозе, Сережа, в плохом, в хороший да налаженный тебя не пошлют, да ты в налаженном-то и не уживешься, тебе самому хочется налаживать. Какая учеба... Где уж.

— Но как быть нам, Ксюша?

— А вот как! — живо откликнулась Ксюша, верно, давно ждала этот вопрос. — Не уезжать! Забыть Петраковскую, вернуться сюда, вот под эту крышу.

— На опытный участок?

— Да, на опытный. И напрасно ты связался с петраковцами.

— Напрасно не напрасно — спорить не станем, у меня на этот счет свои взгляды. Сюда вернуться, а дядю Евлампия куда мы денем?..

— Тебе надо перед дядей повиниться.

— Что-о?

— А разве так уж обидно? Он все же старший. А

уж ежели ты, Сережа, с повинной к нему придешь, то Евлампий Никитич только доволен будет.

— Еще бы.

— Он с легкой душой тебя простит, с охотой на прежнее место поставит, рядом со мной. Жить вместе, работать вместе, может, учиться вместе будем. Сереженька, да это ль не счастье! А на сторону... Да просто невозможно никак. Никуда мать моя не тронется. А я свою мать не брошу.

— За что мне виниться перед Евлампием? — спросил Сергей. — За что, интересно?

— За то, чтоб быть вместе. Не мало.

— Я перед ним или он передо мной виноват?

— Пусть он, но все-таки старший...

— Если б только передо мной, он же виноват перед петраковскими детишками, которых опять без молока оставил! Мне и свою обиду простить ему трудно, но последним подлецом буду, если обиженных детишек прошу! Нет, Ксюша, не могу!

— Понимаю, Сережа. Но что толку в моей понятливости. Уехать-то не могу.

— Что ты просишь от меня, одумайся!

— Не больше твоего прошу, Сережа. Сам-то от меня просишь, оглянись: мать старую брось без призора, без помощи! Могу ли? Нет!

Сергей возвратился в Петраковскую. Нужен? Да нет, не настолько, чтоб без него не могла жить. И в Петраковской он теперь тоже не нужен, кроме, быть может, старой Груни. Той после одинокой жизни как не дорожить, что живая душа рядом, за сына считает. Забытая людьми старуха и ненужный людям Сергей Лыков — два сапога пара.

А есть еще минутный друг Терентий Шаблов, минутный и единственный, всегда готовый распить бутылочку. Он очень покладист, во всем поддакивает, молчит с неловкостью лишь тогда, когда Сергей ругает Евлампия Никитича.

Чаще и чаще появлялась на столе водка.

Трезвый понимал: с ее «не могу» нельзя не считаться, какое он имеет право требовать — брось мать! Да и сам задумайся, на какую жизнь зовешь ее? Мечтает об институте, а если она вместе с тобой нырнет в новую Петраковскую, — какой институт? Она права.

Трезвый понимал — выхода нет, а потому пил. Выпив же, начинал верить в невозможное и тогда нетвер-

дыми шагами шел четыре километра от Петраковской до села Пожары. И бубнил безнадежный вопрос: «Что делать, Ксюша?» И бунтовал, когда Ксюша повторяла: иди к Евлампии Никитичу с повинной.

В первое время она его мягко совестила:

— Ты сам себя топишь, не Евлампий Никитич. На водку бросился, последнее дело.

В первое время она провожала его за село, до дороги, ведущей к Петраковской.

Провожала, а хотелось, чтоб оставила у себя.

— Таким мне тебя близко не надо.

Проводы подвыпившего ухажера через все село для девки, свято берегущей честь, — пытка. Глаза встречающих баб ощупывают, ухмылочки на лицах не скрываются, а уж что за спиной отпускают — лучше не думать.

Ксюша заявила:

— Сережа, не ходи. Не хочу!

Трезвым он давал себе слово не ходить.

Терентий Шаблов всегда под рукой. Терентий Шаблов без задней мысли, от души, как мог, жалел Сергея, совестился тем, что поставлен над ним, замаливал вину, а замолить мог одним — задушевно вынуть из кармана бутылочку.

— Пей!

И после этого нетвердые ноги снова несли Сергея в Пожары.

Ксюша стала прятаться от него.

Однажды утром к Сергею пришла нежданная гостья. Представить нельзя, зачем ее принесло — секретарша Евлампия Алька Студенкина.

Бабка Груня сердито двинула ухватами, делала вид, что не замечает гостью — такая только к беде прилетит...

У Альки лицо белое, пухлое, пшеничная складочка под подбородком, губы сально покрашены и брови выбиты в ниточку.

— Бабушка, — сказала Алька. — Выйди на минутку, мне с Сергеем Николаевичем поговорить надо.

— Это как так выйди? Я здесь хозяйка, тебе могу указать на порог.

— Выйди, Груня, — попросил Сергей.

Старуха с ворчанием забрала ведра.

— Ну?

— Извиненья просим, что рано. Но поздней надежды нет — застану ли трезвым.

— Ежели пришла, чтобы глаза колоть, то вмиг пробкой вылетишь.

— Зачем колоть, просто ты мне трезвый нужен, чтоб выслушал.

— О чем? Выкладывай.

— О Ксюше.

— Не хватай ее. Испачкаешь!

— Ну, только не я. Для этого другие найдутся.

— Ангел-хранитель.

— Ксюшка мне родня, потому и хотелось бы охранять.

— От меня, конечно?..

— Да нет, не от тебя... — Крашенные губы поджались, нитчатые брови сошлись на переносице.

Где-то глубоко-глубоко шевельнулось у Сергея подозрение.

— Ну!..

— Иль не ясно — от кого? Прислоняется... До других мне дела нет. На других я, может, сама наводила. С ней — не хочу!

Сухо стало во рту, осип сразу голос:

— Сволочи вы! Гнездо сволочей!

— Руганью делу не поможешь.

— Убить мне его, что ли?

— Еще не легче. С тебя, дурака, станется. Паспорт-то в кармане! Действуй, кисель. Махни в соседний район, где о тебе тоже наслышаны. Дадут место не шаткое, заманивай оттуда Ксюшку. Побежит, знаю ее. Мать пусть здесь останется, как смогу, я помогу ей поначалу. И шевелись, поздно будет.

Алька поднялась, одернула юбку, глянула свысока, бросила на прощание:

— Поди, сам догадываешься — каркать о том, что я была здесь, не стоит. Евлампию Никитичу съесть меня, что куре просинку.

Он в детстве часто лежал на этом месте. Пологий пригорочек раньше всех протаивал от снега, раньше всех просыхал, тут всегда было можно всласть погреться на весеннем солнышке. Тут кусты шиповника цвели бледными, словно вымоченными розами. Кусты такие, как прежде, как прежде, они, наверное, цветут по весне. Теперь цвет давно опал.

Сергей лежал и глядел на дорогу, вспоминал детство, далеко и неправдоподобно счастливое время, когда на свете жили иные люди, даже дядя Евлампий был иным. И тогда еще на свете не было Ксюши...

Сергей лежал, не спускал глаз с дороги, ждал... Он уже долго здесь, с самого полудня, а солнце сейчас клонится к лесу.

Наконец по дороге пропылил председательский «газик».

Сергей вскочил.

Домик с вывеской, с пожухшими стенами. Старая береза над шиферной крышей. За низеньким штaketником цветочки. Закрыв крылечко, стоит «газик». Он там! Алька не соврала.

С земли навстречу поднялся Леха Шаблов, вытянул толстую шею, приглядывается свысока, разминает плечи.

— Куд-ды?

Крепкие, заскорузлые, гронутые пылью тяжелые сапоги, широкое, как перина, тело, рожа розовая, сонная, белесые пороссячи ресницы прикрывают глаза, руки покойно свисают, мослы перевиты набухшими венами.

— Пусти!

— Проваливай. — Сквозь зубы, взгляд величавый и дремотный из-под щетинистых ресниц.

— С дороги, сволочь! — плечом вперед на Леху.

И тот наконец-то усмехнулся:

— Столкнись думаешь?

Сергей хотел рывком проскочить, но железная лапа сгребла за шиворот. Путаясь ногами по ускользающей земле, пробежал и всем телом грохнулся на прибитую, черствую дорогу, но вскочил сразу же с кошачьей легкостью. Крупная Лехина физиономия, словно сквозь зеленую воду, — расплывчато, цветным пятном.

— Катись подобру!

И Сергей снова рванулся вперед.

Как брошенное полено, обдав ветром, кулак прошел мимо уха. Над собой увидел туго изогнутые салазки нависшей челюсти. Упруго распрямился под ней, вкладывая в удар силу ног, поясницы, плеча, ненависть всего тела. Но Леха даже не качнулся.

— Ах так, падло!

И словно ствол березы обрушился сверху, погасло солнце, не почувствовал, как встретила земля. Но только на секунду беспамятство, очнулся уже на ногах.

Дальний лес за Лехой то падал, то вздымался, а над ним солнце выделявало веселые петли в небе.

Он видел, как Леха отводил плечо, видел нацеленный тупой кулак, но увернуться, спастись был уже не способен.

Последнее, что ощутил, — живой вкус соли во рту.

Высокое-высокое небо с потеками усталого лилового света, и в нем одна-единственная, бледная, словно вымоченная звезда. Она не мигает, а тихо дышит, разглядывает землю и лежащего на ней Сергея.

Знакомый, с сипотцой голос негромко сказал:

— Жив, чего там, очухался.

Череп казался мягким, как раздутый мех, и тупо пульсировал: ух-ух! ух-ух! — шла в голову натужная накачка. Но Сергей все-таки заставил себя повернуть ее.

В трех шагах знакомые сапоги, заскорюзлые, громадные, спесиво довольные собой. Из них вверх растет человек, кепка где-то в поднебесье, — Леха. Лицо медное, не человеческое — падает кирпичный отсвет заката.

Где-то у Лехиной подмышки лепной лоб дяди Евлампия, тот нетерпеливо подергивает ляжкой. Их взгляды встретились, дядя перестал дергать ногой, нахмурился.

— До чего ты дожил, — сказал с проникновенным презрением. — Оглянись, вот она, водочка, — по канавам валяешься, рожа побита. Срам!

Напряженно выставив колено, подождал — не возразит ли Сергей, но тот молчал, и тогда снова начал дергать обтянутой парусиновыми брюками ляжкой.

— Срам!.. Конюха пошлю с подводой, свалит в Петраховской, сам не доберешься... Пошли, Леха.

Они зашевелились, качнувшись, исчезли из обзора.

Со стороны донеслось:

— Сбился с круга...

Издалека Леха авторитетно подтвердил:

— Буен во хмелю.

А в голосе усмешечка.

Взвыл стартер, зарычал мотор. Через минуту тихо. Уехали.

Высоко-высоко дышала в одиночестве бледная звезда. Под ней покойно.

Но надо встать, нельзя дожидаться обещанной председателем подводой. Кто-то из конюхов с ухмылочкой взвалит его на телегу, а потом будет рассказывать — в канаве подобрал, красив...

В глазах кружилось, позывало на тошноту, под черепом словно работал паровой молот. Все-таки сумел утвердиться на ослабевших ногах, передохнул, двинулся к колонке за палисадничком. Лицо от воды сильно засадило, но стало легче.

Окна под шиферной крышей поблескивали жирным нефтянистым отливом. Знакомый домик, выкрашенный в линяло-салатный цвет, выглядел сейчас одичало покинутым.

А Ксюша?.. Не могла же она пройти мимо и не увидеть его. Неужели поверила, что он пьян?.. И вправду, до чего ты дожил, Серега. Мертвым найдут — никто не удивится. Может, Ксюша в машине сидела, Евлампий в угоду ей распекал его — одна шайка-лейка. Ксюша... Бог с ней, все кончено.

Ощупывая нетвердыми ногами дорогу, он двинулся в путь. Четыре километра с гаком — по его теперешнему состоянию путь не близкий.

Каждый день между десятью и одиннадцатью утра Евлампий Лыков — поднявшийся в пять, успевший уже погонять по полям — принимал у себя в кабинете Ивана Слегова. Между десятью и одиннадцатью — время бухгалтера, все это знали, никто не смел на него посягать.

Машина у крыльца, в приемной возле секретарши Альки наготове Леха Шаблов. Бухгалтер выползает из кабинета, а Евлампий Никитич снова сядет за руль «газика», опять в поля, опять на фермы — крутись колесо председательской жизни.

Алька, быть может, сама не пустила бы Сергея — не положено. Она оторопела: в военной форме, туго перепоясанный, грудь увешана орденами и медалями, а лицо страшное, желтое, ссохшееся, с раздутыми безобразными губами, ссадина на лбу и обжигающий блеск глаз. И все-таки Алька задержала бы, если б не Леха. Он тоже опешил, но выдал:

— Туда нельзя!

И тут-то Алька Студенкина, законная хозяйка лыковского порога, норовисто вскинулась:

— Ты чего распоряжаешься тут? Чего командуешь?!

А Сергей уже рванул дверь, шагнул в кабинет.

Будничная картина, входящая в расписание колхозной жизни. Евлампий Никитич навалился грудью на зеленый стол, слушает, навесив лобастую голову. Бухгал-

тер Слегов рядом на приставленном стуле, на пухлых плечах горделивый поворот седой головы, не подумаешь, что калека, костыли рядом кажутся лишними. Лыкова от бухгалтера отделяет чугунный младенец, поднял вверх палец, словно вещает: внимание, внимание! В великом колхозе решаются сейчас великие дела.

Только на мгновение эта мирная картинка. Евлампий Лыков увидел обвешанную орденами грудь племянника, встретился глазами, и челюсть отвалилась. Бухгалтер Слегов, оборвав себя на полуслове, шумно развернулся своим громоздким корпусом.

А Сергей, постукивая каблуками по паркету, двинулся вдоль красного стола, не спуская сухо поблескивающих глаз с Евлампия Никитича. И тот заворуженно глядел на него.

— Встать! — приказал ему Сергей.

В глазах Евлампия Никитича мельтешилась суетливая искорка, лицо каменно.

— Ком-му сказано? Встать!

— Ты с ума сошел! — прохрипел Лыков, поднимаясь за столом.

Встревоженно зазвенели на груди Сергея медали.

— В-вот!!

Через стол, качнувшись вперед всем телом, Сергей влепил пощечину. Вытер руку, сказал:

— Ничем другим... Помни.

Последнее наставление Евлампий Никитич вряд ли слышал, потому что, сбив в сторону кресло, сидел на полу за столом. Строго и укоризненно взирал на Сергея вождь с портрета.

Не оглянувшись на застывшего бухгалтера, врезая каблуки в паркет, Сергей прошел к двери.

Двери были двойные, обшитые клеенкой, специального устройства, чтоб внешний мир не мешал тому, что творится в глубине кабинета. Леха встретил Сергея подозрительно округлившимися глазами, но не пошевелился.

Он нагнал его на полдороге к Петраковской.

«Газик» промчался мимо, разрывая пыль, прошел юзом, застопорил. Дверка откинулась, кепкой вперед вылез Леха.

Он сделал несколько шагов навстречу, встал, широко расставив ноги. На лице деревянное выражение, глаза тяжелые, нижняя губа отвисла, плечи разведены, буг-



ристую грудь обтягивает рубаха — вот-вот посыплется пуговицы, — руки чуть согнуты в локтях.

— Ну! — произнес он.

Сергей не спеша нагнулся, запустил пальцы за голенище, выудил нож, длинный, широкий, сточенный кусок полотна пилы-лучковки, вместо ручки обмотка изоляционной ленты. Сергей приладил его поудобней в ладони, ответил в тон:

— Ну.

Деревянное лицо пообмякло, в глазах пропала тяжесть, они забегали.

— Брось нож, стерва!

Сергей скривил в улыбке разбитые губы:

— И подставь, баран, голову.

Леха переминался, давя сапогами пыль, бегающие глаза снова и снова возвращались к руке, сжимающей нож.

— Срок получить захотел?..

— Видишь? — Сергей тряхнул медалями и орденами. — Это не за покладистый характер получил. Учти, полено, я фронтовик... Но не убийца, первый нож не подуму, а задевать не советую...

И двинулся на Леху, глаза в глаза. Леха не выдержал, шарахнулся в сторону.

— Сду-у-рел!

— Вот так-то!..

Дома он бросил на шесток нож — старая Груня щепала им лучину...

Чемодан сложен. Терентия Шаблова решил проташить по полям, в последний раз давал советы: там постарайся посеять клевер, там лен, то поле на будущий год пусти под картошку — кустарник становится первым врагом, найди время, подыми на него бригаду; если сможешь, конечно, теперь не жди от петраковцев особого усердия.

Терентий ходил молчаливой тенью, пасмурный, обрюзгший.

Уже вечерело, когда Сергей переступил порог своего петраковского дома. У Груни — гостья. Сначала подумал, что так, божья старушка, какие часто налетают со стороны к богомольной хозяйке. Ан нет, молода, платокто на плечах старушечий, а ноги крепкие, девичьи, в туфельках. И вдруг прошибло от пят до затылка — она!

Груня скинула фартук, направилась к двери:

— Господи! Господи! Святые твои слова праведны: «Не суди и не судимы будети»... К Валенке Степашихе пойду на час.

Из-под накинутого серого платка — лицо с лепными скулами, со сбежавшим румянцем, обжигающие глаза. Разлепила спекшиеся губы:

— Прощенья не прошу. Не за что!.. — С сипотцой, с вызовом.

Он молчал, стоял у порога, держал в руке кепку, которую не успел повесить на гвоздь.

Она закусила губу, сморщилась и затряслась, затряслась:

— Се-ережа-а! Уво-ози-и! Свихнусь я здесь, коль оставишь!

Платок упал на плечи, волосы растрепаны, лицо перекошено, глаза блестят из глубоких ямин — некрасива. Вот, оказывается, когда нужен.

И шагнул к ней, притянул ее голову. Она прижалась, сотрясаясь всем телом, всхлипывая, как ребенок.

Чувствовал незнакомую теплоту, идущую от нее, слышал запах ее волос, почему-то смолистый. Неуклюже гладил волосы, замирал от новизны ощущений — впервые касался...

Она всхлипывала:

— Как выскочила от них. Гляжу — ты лежишь. Как закричу...

Вернулась Груня, поставила самовар. Сидели под лампой, пили чай, разговаривали уже деловито. В загсе расписаться — больше недели уйдет, и с партучета Сергея снимут не сразу. Ехать в соседний район?.. Нет уж, ехать так ехать, подальше от постылого места. Под Ленинградом у Сергея служил брат-майор, он хоть тоже в дружбе с дядей Евлампием, но приютить на неделю-другую не откажется. Оттуда и начнем танцевать.

Груня вздыхала:

— Эх-хе-хе! Опять одна. И зачем мне бог смерти не шлет...

— Мы к тебе наезжать будем каждый отпуск, письма писать будем. Мой родной дом теперь здесь. Ты для меня вроде мать вторая.

— Пишите, родненькие, оно веселей, как знаешь, что кто-то о тебе на свете помнит.

Ксюша не осталась на ночь:

— Мать изведется. Я ей все сказать должна. Теперь и она поймет. Развязался узелок, а не думала, что развяжется.

На крыльце она сама обняла Сергея и поцеловала. Смолисто-еловый запах волос...

Сергей лежал и глядел в темный потолок. Не спала и Груня, возилась за переборкой, постукивала, побрякивала, наконец задула лампу, но щель между дверью и переборкой виднелась, — значит, старуха зажгла лампадку под иконой.

Шелестящий шепот потек по ночной избе:

— Господи праведный! Один ты всю правду видишь. Не судила тебя, господи, и не сужу, что сына отнял. Не у меня одной, чем я чище других. Таких, как я, старых, видать, много тебе надоедает... Господи! О себе не прошу. Других, господи, береги. Им ведь жить да жить. А Серега, господи, парень редкий, не бросайся им зря-то. Что пить было начал, так это он зря, конечно. Кто не слаб из людей, господи. А во всем остальном, скажу тебе, чист. Сам, чай, знаешь, как он для петраковцев вывернулся. Ты, господи, ему добро, он тебе тем же отплатит. Он может, не сумлевайся. И Ксюша мне подходящей показалась. Хорошо сделал, что ее толкнул...

Ловил Сергей шелестящий старушечий шепоток и чувствовал — сжимается горло. Сук-кин ты сын! Знал, что бабка Груня к тебе всей душой, знал, но считал — дешева, мол, старушечья любовь. А что дороже? Ничего не потребует, а отдаст все. Не каждому-то вторая мать встречается. Сжималось горло, влажнели веки.

В пропахшей щами ночи, тайком от всех, старая Груня шепотком учила бога, как лучше распорядиться людской жизнью.

Вечером обо всем договорились, а утром явился участковый Ступнин, в ремнях, при пистолете, с портфелем, с красным от избытка крови лицом и бодрый, как всегда.

— Дома застал. Тэ-эк!

Сел за стол, не снимая милицейской фуражки, положил перед собой портфель, потребовал:

— Паспорт сюда!

— Это зачем?

— Значит, надо. Я у любого гражданина в любое время любой документ, удостоверяющий личность, потребовать могу. И отказать не смею!

Сергей достал паспорт. Ступнин покрутил его перед собой, признался:

— Кто его знает, зачем он... Из районного отделения потребовали. Ты уж сам с ними объясняйся.

— Евлампий новую петлю плетет.

— Мое дело сторона. Прикажут арестовать — арестую, прикажут расцеловать — расцелую. Служба!

Ступнин сунул паспорт в портфель и ушел.

В районном отделении милиции отказались вернуть паспорт: «Распоясался, руки распускаешь, еще выкинешь новое коленце да сбежишь. Вроде и не велик преступник, чтоб розыск по всей стране устраивать, но упустить из виду тебя не след. Нам проще — документы попридержать. Живи да помни себя».

Это значило — ты теперь принадлежишь Евлампию Лыкову с потрохами, уехать без его на то воли и не мечтай.

Даже тетка Груня советовала:

— Сходил бы поклонился, голова-то не отвалится.

Но хоть и посылала Груня кланяться Сергея, чтоб отпустил Евлампий Никитич, но своей радости не скрывала, когда Ксюша переехала в Петраковскую:

— Вспомнил обо мне господь, милость за милостью посылает на старости лет. Горемыкой жила, как перст одна, могла ли гадать — на-тка, семья под боком, глядишь, скоро внука качать буду.

Наняли старика переложить печь, Ксюша и Груня выворотили грязь из нежилой половины, Сергей расшил заколоченные окна. И одна изба прозрела в Петраковской.

В Петраковской прозрела, а в Пожарах ослепла. Приемный сын постаревшего Михайлы Чередника, ушедшего с бригадирства, Мишка-матросик, отслужив свое во флоте, забрал мать с отчимом, забил окна досками. А дом-то стоял в самом центре лыковской столицы, напротив конторы. До сих пор село Пожары глядело на белый свет только полными окнами.

В горнице старой Груни, рядом с фотографией Веньки — сына, появилась фотография Сергея и Ксюши, голова к голове, как и положено молодоженам.

Доволен был и Терентий Шаблов, шутка ли — Сергей остается в помощниках, да за таким помощником как за каменной стеной — в метель не продует. Он чуть не каждый вечер заглядывал в гости, охотно ругал своего

родственничка Леху, поеживался и помалкивал, когда отзывались неместно о Евлампии Никитиче, пил чаек. Водкой Сергей перестал угощать.

Все вроде устроено. Ну, положим, далеко не все. Раз стал хозяином, то знай — ты дойная коровушка, свое гнездо тебя сосет, сыто не бывает. Надо бы и крышу перекрыть, и старые, еще довоенные, газеты по стенам обоями заклеить, пол перебрать не худо бы... Но это потом, а жить вполне уже можно.

Раз можно, то надо жить, и всерьез, не по птичьей — день прошел, да и ладно. Человек делом живет, по делам ценится.

Зрели на полях хлеба. Сергей и Ксюша не могли о них не заговорить, не вспомнить старое, как ходили по полям, как допрашивали с пристрастием: «А кто вы, Иваны, не помнящие родства? Кто ваши родители?» Дело-то оборвано, а зря, стоит продолжить.

Что им мешает снова взяться за отбор семян? Так и не выяснили до конца, какие сорта ржи самые урожайные по их местам. Евлампий Никитич мандат не выдаст на опытную работу... Евлампий Никитич замок повесил на дверь опытной станции. А нужен ли мандат, и нужна ли сама станция с кабинетным столом, с канцелярским чернильным прибором, с полумягким диванчиком для посетителей? Есть время, есть уже кой-какие знания, найдутся книги, можно найти и консультантов. Есть и земля под боком, только пожелай — вся петраковская бригада станет опытным полем.

Одним ранним августовским утром, когда вся деревня Петраковская спала, ни одна труба над просевшими крышами еще не дымила, Сергей и Ксюша вышли из дому. У Сергея старая кепчонка натянута на глаза, пиджачишко с латаными локтями, резиновые сапоги, самодельные гербарные папки под мышкой. Непослушные волосы Ксюши туго стянуты выгоревшей косыночкой, лицо широкое, свежее, не остывшее от нагретой подушки, жарком прихвачены щеки, и глаза возбужденно прыгают по сторонам.

Спит деревня Петраковская, в седых предрассветных сумерках величаво вздымаются нескладные избы, темные, обветшавшие, но все еще могучие — бревенчатые мужицкие крепости, покорно отживающие свой век. А над ними в пепельном небе блеклое лезвие отточенного месяца. Деревня Петраковская — новая родина, общая для них обоих.

Они собрались на первую вылазку, нет, не на ближние поля, даже не на поля своей бригады — на засеянный рожью клин за Ветошкиным оврагом. А это истонно пожарская земля, сердцевина лыковской державы.

Евламий Лыков считает: земля не смей рожать и хлеб не зрей без его указа — полный хозяин. Э-э нет, Евламий Никитич, как ни державен ты, но придется признать — мы не меньшие хозяева, мы тобой обиженные, тобой униженные, тобой запертые в сирой Петраковской. Попробуй-ка запрети нам брать то, что дает земля, а брать будем не что-нибудь — самое ценное, оброненные в землю знания. Даже то, что ты сам обронил, — подыдем и присвоим, попробуй-ка сказать — не смей! Не выгорит. Кто кого еще сильнее, Евламий Никитич? Кто — кого?..

Они шли лугом, скошенным, но уже вновь затянутым мягкой зеленью. Шли и озабоченно рассуждали о ржи: культура не в таком почете у селекционеров, как пшеница, но старое-то присловье справедливо — «ржаной хлебушко всем хлебам дедушко». Говорили о ржи и не вспоминали Евлампия Никитича.

Два темных росяных следа тянулись за ними по траве. Следы от околицы Петраковской в глубь лыковских владений.

СМЕРТЬ

Евламий Лыков лежит за стеной, пробил его час, не встанет, не наведет порядок какой ему нужно. Он уходит, а жизнь, заквашенная им, продолжается.

Кричит с посиневшим лицом Ольга:

— Сво-од-ня! Съела ты меня-а! Кро-овь выпила!

Алька Студенкина ударила задом в дверь.

И Ольга сразу сникла, тихо заплакала, сморкаясь в конец платка:

— Жысть моя окаянная. Не дождусь, когда и кончится.

Чистых заботливо отвел ее к лавке, усадил.

Иван Иванович застучал костылями, вышел на середину комнаты:

— Позаботься о машине, да побыстрей.

Чистых косо натянул шапку, озабоченно оглядел плачущую Ольгу и вышел.

Сестра, стоявшая в дверях, вернулась к постели больного к недовязанному носку.

Кладбищенское молчание снова окутало дом. Кладбищенское молчание, прерываемое легкими всхлипами Ольги.

«Черт бы побрал этого Чистых! Никак не выкарабкаешься». — Иван Иванович, косясь на сморкающуюся Ольгу, бочком двинулся к двери, — его подташнивало от спертого воздуха.

Но в это время Чистых вырос в дверях:

— Пожалуйста, Иван Иванович. Машина тут.

— Слава богу, наконец-то.

Чистых почему-то не уступал прохода. Чистых глядел мимо вздернутого костылем плеча Ивана Ивановича.

— Что?..

Иван Иванович с усилием повернулся назад.

Сестра, распахнув свою дверь, стояла со строгим и значительным лицом.

— Что — уже?

Сестра важно кивнула:

— Минут десять назад... Пока тут...

Люди, толпившиеся перед домом Лыкова, давно разошлись восвояси. Вечерние сумерки прогнали и самых терпеливых, и самых любопытных. Не ушел лишь один — Леха Шаблов, выгнанный из лыковских покоев, преданно топчется у крыльца.

Улица села мирно светилась окнами, за каждым сейчас по-семейному сидят за самоварами, пьют, едят, укладывают спать детишек, беседуют о Лыкове. Еще никто не знает, что Лыкова уже нет на свете.

Пьяный ли воздух после тошнотворной духоты, или само известие о смерти так подействовало, но Иван Слегов, спускаясь с крыльца, сильнее, чем когда-либо, почувствовал вдруг всю сырую грузность своего распухшего тела, еле-еле доковылял до машины, беспомощно обернулся:

— Помогите.

Чистых и Шаблов бросились к нему, толкая друг друга от усердия, неловко тиская, засунули на сиденье.

Он поерзал, пристроился поудобнее, обернулся... Чистых и Леха Шаблов стояли рядом на дороге — один тонкий, жидкотело сутулящийся, второй — обширно плотный, тоже сутулящийся, но от собственной тя-

жести. Сейчас, в сумерках с мрачноватой просинью несвежих сугробов, эти два разных человека были по-братски схожи. Оба только что потеряли заступника, оба переживают сиротство.

Ивану Ивановичу близка их беда. Он ли жил по-лыковски, или Лыков по нему, но жить иначе уже не сумеет.

Два человека в сумерках, две тени — широкая и узкая, каждого из них завтра ждет людская неприязнь, опасная пустота, когда не знаешь, что делать, как поступать, к чему приспособить себя. И все-таки эти оба — счастливы по сравнению с ним. Они молоды, они переживут, перетерпят, приспособятся. Он же стар, ломать заново жизнь не в силах.

— Трогай, — со вздохом сказал Иван Иванович шоферу, совсем молодому парнишке. — Только полегоньку, а то развалюсь по кускам.

Двое — тонкий и широкий, — сутуловато нависшие над дорогой, остались позади. Счастливы...

И как это при сидячей жизни, заплыв жиром, он, Иван Слегов, перетянул своего кореша, здоровяка Пийко Лыкова, удивлявшего всех своей кипучестью и неутомимостью?

Но если оглянуться назад, то можно, пожалуй, угадать — носил в себе Пийко Лыков червячка. Был все-силен и отказывал Пашке Жорову в новой крыше — не могу, не неволь. Хотелось быть добрым и красивым, а позвал на помощь — кого? — вовсе не красивого Валерку Приблудного: «Повесь на себя, что мне не к лицу». Хочется и неможется, распирающая сила и сковывающее бессилие в одной груди — тайный червячок, разъедающий, оказывается, не только душу, но и неизносимое тело. Никто долго не замечал его, даже он, Иван Слегов, лучше других знавший Пийко Лыкова, — глыба мужик, не треснет, не завалится.

До последних дней Пийко, как и в молодости, мотался по разросшемуся колхозу, вставал в пять, ложился затемно, был крут на расправу, ежели видел непорядок. Но все чаще и чаще Иван Слегов чувствовал в нем усталость.

— Эх, Иван, — заговаривал Евлампий, — вот мы с тобой седые да плешивые, к черте подходим. Жизнь протопали вместе, ты, чую, всю жизнь завидуешь мне...

— Нет, не завидую.

— Врешь, все завидуют — стар и млад. В силе Лы-

ков, в славе Лыков, чего не хватает? И сам даже не придумаю — чего?..

— Блажен, кто верует.

— То-то и оно, что не блажен. Нет, Иван, вот подхожу к черте, а покоя в душе нету. Точит душу, чего-то не хватает, кажись минутой — вот-вот ухвачу, пойму. Вот-вот! И малого не добираю.

Он иногда вспоминал то, мимо чего раньше прошел отвернувшись.

— А помнишь, Иван, ты мне когда-то говорил, что коровы у нас живут под шиферными крышами, а люди под дырявыми?

— Помню.

— Дырявых-то крыш теперь у нас, похоже, нет, но этим хвалиться, сам знаю, нечего — многие еще не красно живут. А что, ежели нам замахнуться — все село, понимаешь, заново! Чтоб с нужниками в кафеле?.. Лет бы за десять осилили? А?..

А на следующий день он забывал об этом, толковал, разогревая себя, о другом:

— Клуб у нас, как у всех. Вот то-то и плохо. Дворец культуры нужен — кресла плюшевые, картины в золотых рамках, люстры с висюльками, чтоб из города самых модных артистов — да, милости просим почаще. Да своя самодеятельность... Чтоб всего района село Пожары — центр культуры? А?

Метался Евлампий Лыков, пытался уловить — чего не хватает? Однажды специально вызвал к себе:

— Знаешь, Иван, я решил отозвать Терентия Шаблова с бригадиров. Ставлю снова Серегу. Сейчас он явится...

Для чего он пригласил на этот разговор в свидетели Ивана Ивановича? Может быть, потому, что бухгалтер в свое время видел, как Сергей отвесил пощечину, теперь же Евлампий хотел показать — гляди, мол, зла не помню.

А старому Лыкову уже выгодней не помнить зла племяннику.

Сергей как был, так и остался — не бригадир, и не рядовой колхозник, на птичьей должности. И по-прежнему в опале, сослан в Петраковскую, даже выехать не смей без спросу Евлампия Никитича — беспаспортный.

Сергея с женой видели то в одном конце пожарских

земель, то в другом — копаются, что-то собирают, над чем-то колдуют.

Говорят, кочевники в пустыне считают святыми тех, кто ищет воду. Вода для них — жизнь. Для пожарца жизнь — это хлеб. И тот, кто по доброй воле изо дня в день упрямо ищет особые хлеба, — свят не свят, а доброго слова стоит. Прошло то время, когда завидовали: «Ишь нашел работку непыльную, за нее и платят, и почитают, даже учережденьице специально выстроили». Теперь и не платят, и не почитают — завидовать нечему. Против самого Евлампия Никитича прет мужик, на свой страх и риск действует, сил и времени не жалеет, — видать, дело стоящее.

Как-то под вечер Ксюша и Сергей, набродившись по полям, уселись у дороги. Ксюша стянула платок, раскинула на траве, Сергей высыпал из мешков собранные колоски. Склонившись голова к голове, они перебирали улов, раскладывали по кучкам, тихо беседовали:

— Дождей в налив маловато было, мелковато зерно...

Носились ласточки над землей. Где-то за полями, в оврагах вызванивали боталами коровы, тянущиеся поближе к дому. И трусил по дороге одинокий всадник. Мир кругом и усталый покой.

Неожиданно проголосили тормоза, с железной, оскорбляющей полевую тишину, истерикой. Ксюша и Сергей обернулись: вялая пыль медленно опадала на дорогу, на тусклую придорожную травку. Из председательского «газика» глядело сонно-распаренное, широкое лицо Лехи — кепчонка на глазах, взгляд из-под козырька жесткий. У Ксюши повисли руки, Сергей отвернулся с каменным лицом.

Оседала пыль, трусил не спеша всадник, смотрел молча Леха из кабинки.

— Ну, — наконец выдавил он, — крохоборничаете?

— Давай, Сережа, складываться, — глухо сказала Ксюша.

Сергей дернул скулой:

— Пусть пялится, не обращай внимания.

— Крысы полевые — по колоску таскаете. А ну, не сите сюда все!

— Пошли, Сережа.

Сергей не отвечал, продолжал шевелить колосья.

— Хуже будет, коли вылезу!

На гнедой, лоснящейся от жары и сытости лошади подтрусил бригадир Черепнов — лицо опаленное, глаза запавшие, приподнял картузик:

— Здравствуйте.

— Оне у тебя по полям шарят, а ты им здоровы отвешиваешь. Хорош бригадир.

— А тебе что? — Черепнов дернул поводья, подал на машину коня.

— А ничего. Забери давай, что собрали оне, я в правление свезу. Пусть полюбуются.

— С-час. С поклончиком прикажешь тебе подать али как?

— Не кобенься, Андрюха. Как бы Евлампий Никитич хвост не накрутил. Лучше делай, что говорю.

— Приказываешь?

— Советую.

— Ну так я обожду твоих советов слушаться. Ты покуда не Евлампий Никитич, а всего-то баранка от его машины. Крути, баранка, себе дальше, да пеньки огибай, а то налетишь — по частям собирать придется.

И Черепнов коленом въезжал в кабину.

— Ну, Андрюха, гляди!.. Слово не воробей... Заче- шешься у меня! — голос из глубины кабинки, из-под колена.

— Не пугай! Не все-то тебя боятся.

Рассерженный рев мотора, рывок вперед, пыль...

Черепнов хмуровато проводил взглядом, развернул лошадь, еще раз приподнял картузик:

— Бывайте здоровы, — прежним уважительным баском.

Иван Иванович Слегов наблюдал конец этой истории. Как обычно в свой «бухгалтерский час» явился к Лыкову, но, оказывается, в этот святой час залезло другое дело. В кабинете стоял обиженно надутый и почтительный Леха, сидел перед Лыковым Черепнов, тоже обиженный, но сердитый.

Евлампий Никитич слушал с каменными скулами, по всему виду — «сдерживал кипяточек», на вошедшего бухгалтера поглядел, как кот на нежданного пса.

Говорил Черепнов:

— Как хошь, Евлампий Никитич, но я в шею гнать их с полей не стану. Да и ты это не сделаешь, не скажешь же: «Сиди взаперти». Не арестанты они.

— А то, что по полям шарят, зерно воруют, — вставил Леха.

Черепнов только отмахнулся:

— Сам не умен, так из других дураков не делай. Вору-ют! Кто поверит?

Евламий Никитич, насупившись в сторону, сказал:

— Кончим. Вон Иван Иванович с делами меня ждет.

Черепнов встал, скупно кивнул на Леху:

— Гнал бы ты, Никитич, холоуя от себя. Со стороны срамотно.

У Евлампия Никитича по скулам пополз гневливый лыковский багрянец, тускло побледнели глаза:

— Спасибо. Твоим умом буду жить. Марш!

Черепнов вышел, Леа почтительно переминался.

— Особого приглашения ждешь? Вон!.. Еще раз наврешься, балда, — съем и косточки выплуну... Видишь, Иван, кругом дразги. Хошь не хошь, а ковыряйся.

У друга Евлампия тоска в голосе, тоска в лице. И по всему видно, не дразги его тревожат, кой-что похуже — Черепновы вдруг стали непослушны. Андрюшка Черепнов обязан Евлампию Никитичу — заметил его, выдвинул, жизнь устроил, как у Христа за пазухой, славу дал. Еще верный — сомнения нет. Еще предан и, поди, не собачьей Лехиной преданностью — считай, братской, временем проверенной, но вот перед строптивым Серегой-сосунком шапку ломает, хотя, конечно, наперед знает — ему, Евлампию Лыкову, это не очень-то приятно. Выходит, уже одной душой не живет. Неспроста, что-то заставило, что-то сильнее Евлампия Никитича. А что?.. Думай. Как тут не затосковать?..

И еще шли письма, на многих адрес внушительно короток: «Вохровский район, селекционеру колхоза «Власть труда» С. Н. Лыкову». Писем больше, чем председателю Лыкову, — из областного сельхозинститута, из Москвы, из-под Саратова, даже из Прибалтики... Иногда прибывала и посылочка, обшитая мешковиной: «Селекционеру колхоза...»

Газета «Известия» напечатала статью одного доктора сельскохозяйственных наук. Он писал, что у знатного полевода Терентия Мальцева есть много последователей, перечислял имена колхозных полеводов, среди них — Сергея Лыкова.

Сразу же после этой статьи Евлампию Лыкову позвонили из областной газеты — нельзя ли дать подробный очерк о местном Терентии Мальцеве, вышлем специального корреспондента. Евламий Никитич ответил: «Такого не знаю». И в сердцах положил трубку.

Не знать, не замечать... А все кругом помнят «чудо в Петраковской», помнят, почему это «чудо» усохло на корню.

И, конечно, теперь Серега не зря лазает по полям, получает посылочки: «Селекционеру колхоза». Наверняка внутри лыковского хозяйства собирается завести свое, чтоб новые разговорчики о «чуде»...

Евламий Никитич при случае прямо наказал Терентию Шаблову:

— Под фокусы-мокусы моего племянника земли не отводить. Ясно? И рабочих рук ему не смей выделять. Узнаю про его шахеры-махеры за моей спиной — тебе плакать. Ясно ли?

Куда как ясно, Евламий Никитич слов на ветер не бросает.

Терентий свято исполнил приказ — земли не дал. Сергей сам ее взял — ненужную, «валявшуюся». А сколько такой «валявшейся» земли было еще в Петраковской. Ходить за ней не надо — прямо за околицей во все стороны пустыри, потоптанные скотом, поросшие можжевельником кой-где.

И рабочих рук Терентий не выделил, даже присланных в бригаду трактористов честно остерег:

— Ребятки, не обещайте Сергей Николаичу... Я бы и сам ему всей душой... Евламий Никитич того... Остерегитесь.

Трактористы покачали головами: «Ну-у, жмет юшку!», сочувственно поворчали в пользу Сергея, но к сведенью приняли — кто тот лихач, который поперек «отца колхоза» пойдет?

А лихач нашелся — Гришка Фролов.

После той драки на току, которую сам Евламий Никитич победно развел, Леху поднял, о Гришке забыл, Гришка сам напомнил о себе. Он не только был крепок на кулаки, но и зол на язык.

— Перековочка у нас в колхозе: девок в баб, мужиков в холуев.

Евламий Никитич на такой мелкий лай не отсылался — себе дорожке. Гришка ушел из гаража, стал трактористом, работал в самой выгодной бригаде, а доволен все равно не был.

— Как живешь, Гришка?

— Как тот полицай при немцах: материально ничего, только морально тяжело.

Он однажды заявился к Сергею:

— Тебе, может, дрова нужны — привезу, бутылочку разопьем.

Сергей и от дров и от водки отказался, но с этого момента сошлись.

Только этот Гришка и мог решиться — приехал на своем тракторе и на глазах у всей деревни стал пахать пустырь. Он пахал, а Сергей Лыков с бригадным пастухом Оськой Помиром обносил пахотный участок изгородью. Терентий Шаблов только помаргивал да гадал: попадет ему от Евлампия Никитича или пронесет нелегкая? Не ложиться же ему в борозду перед трактором. Да если и ляжет, Гришка на ручках ласково в сторону отнесет. Что-то будет? Что-то будет?.. Пронеси, господи!

Сам Евлампий Никитич зажимал Серегу не для того, чтоб лишить его дела. Нет, приди, постучись к дяде: «Хочу снова стать колхозным опытником на законных основаниях». Да пожалуйста, с милой душой, бывшая столярка ждет тебя, дурака строптивного, видимым человеком сделаем, платить будем больше прежнего, дом поможем построить, брось партизанить, занимайся наукой под вывеской колхоза. Поклонись — зазорно. Ну, раз так, то чувствуй.

У Терентия пронесло, был вызван сам Гришка Фролов.

— Под суд захотел?

— За что?

— За незаконное использование техники. Кто тебе давал наряд?!

У Гришки Фролова руки в карманах, чуб на глазах и прямые рубленые плечищи широко раздвинуты:

— А я, Евлампий Никитич, инициативу проявил. Разве не полагается? Думал, что зря земле пустовать, вдруг да хлеб колхозу на ней вырастет.

И усмешечка, и глаз не отводит под председательским взглядом. «Вдруг да хлеб вырастет». А вырастет — без «вдруг», это-то Евлампий Никитич знал, знали все. Без «вдруг», то-то и оно.

— Марш! Выясним!

Все ждали грозы, но бухгалтер Слегов понимал — вряд ли грянет. Признать незаконным, привлечь к суду, припаять срок — для Евлампия Лыкова все возможно. Но тихо и гладко это дело не прошло бы — зашумит весь район. Признать незаконным, а что тогда де-

лать со вспаханным и засеянным участком? Не сровнять же его. Такого Лыкову даже самые верные лыковцы не простят. Да и сам Евлампий Никитич—хлебороб, вытапывать посеянный хлеб не решится. Лучше не раздувать сыр-бор.

Евлампий Лыков решил на другое — завоевать петраковцев, чтоб поверили, полюбили — выкинули Сергея из души, его, председателя, приняли. И к тому же Петраковская заставляла задумываться. Она висела на шее хомутом, портила антураж. На полях ее, как и прежде, тощенькая ржица и ячмень тонули в бурьяне. Из-за петраковцев и сводки пониже, и почет пожиге: «Темпики-то, Евлампий Никитич, у вас нынче не те, что были...» Темпы старые, петраковская «божья рать» круто вниз тянет.

И Евлампий Лыков до весны решил сам заняться бригадой. Собрал на собрание всех баб и голоса, упаси бог, не повышал, совсем напротив — что ни слово, то ласковое обещание:

— Покажите, бабы, себя — станете во всем равны пожарцам, такой же точно трудодень получите. Весь район на вас станет смотреть да завидовать.

Не кривил душой, готов был уравнивать петраковцев с пожарцами. Но бабы выслушали, разошлись, и все потекло по-старому, словно и не слышали слов Евлампия Никитича. «Катись под круту горку, плевать, ничему веры нет». Это что же получается — собака лает, ветер носит?..

Евлампий Лыков мылил голову бригадиру Шаблову, тот признавал: «Виноват. Исправимся». Шаблов и рад бы исправиться, да бабам ни к чему. Тяни снова на горбу постылую бригаду.

Но после весны Петраковская вдруг проснулась. На пустыре подымалась рожь. На этот раз чудо вроде небольшое — ржи-то всего каких-нибудь три неполных га. Но уж слишком крикливо этот бывший пустырь напоминал всем — какие бы хлеба могли расти, если б не подставили подножку Сергей Николаичу, если б, прости господи, не Евлампий Никитич... Петраковская проснулась, чтоб взроптать. Бабы останавливали Сергея на улице:

— А куды отсюда зерно-то пойдет? Теперь-то для кого ты стараешься?

— Пожалуй, для пожарцев, бабы. На вас, прямо скажу, надежд нет. Подари это вам, получится — ни

богу свечка, ни черту кочерга. Пусть уж пожарцы золотой навар сымут.

И бабы, как прежде, подымали горячий крик:

— Не отдадим! Постойм за себя! Кивни, Сергей Николанч, — хоть сейчас в волокуши.

Петраковская просыпалась.

Что еще оставалось Евлампию Никитичу? Пожалуй, только одно — идти на мировую с племянником.

«Решил отозвать Терентия Шаблова с бригадиров. Ставлю снова Серегу...» И прими, Иван Иванович, участие в разговоре: «Зла не помню, будь свидетелем». Еще бы...

А разговор получился не из приятных. Сергей явился чистенький, жениховски отутюженный, постный, замкнутый. Настороженно огляделся в кабинете, в котором так давно не был. А в кабинете — перемены: снят большой портрет вождя в сапожках, вместо него другой портрет — товарищ Хрущев, только по грудь. Чугунный младенец по-прежнему стоит на столе, грозит пальцем.

— Садись, — широко приказал Евлампий, словно вчера расстались друзьями. Помедлил, помигал в сторону: — Давай, Сережка, — кто старое помянет, тому глаз вон.

— Поминать не буду, забыть не прикажешь.

Старший Лыков вздохнул с небывалым смирением:

— Это уж как тебе угодно... А выслушать меня придется. И выслушать, и совет дать.

— Я — тебе?.. Ты вроде не очень-то охоч был до чужих советов.

— Нужда научит собаку грибы всухомятку есть. Вот ответ: молодежь-то на сторону потянулась. Никогда такого не было. Почему это?

— А сам что думаешь?

— Эва! Раз спрашиваю, да еще и шапку ломаю, то, видать, мне мои мысли не так уж и дороги.

— Тогда не тяни, уходи. Себе накладней — сидеть в дамках да слыть пешкой.

И Евлампий не выдержал смирения, потемнел лицом:

— Эй-эй! Сам-то могу себе отходную петь, а другие пусть повременят! Язык еще откушу!

— Все по-старому, с оскалом да с рыком. Откушу!

Бойся! Страшен! А не кажется ли, что и голос сдает, да и зубы у тебя уже не те?

Лыков-старший отвернул потемневшее лицо в грозном молчании.

И вот чудо — никаких последствий: Терентия перевели на другую работу, Сергея утвердили в бригадирах, на первом общеколхозном собрании ввели в члены правления.

Тревожен был в последние годы Евлампий Лыков, что-то неуловимое происходило в лыковской державе. По-прежнему — самые породистые коровы, самые высокие удои, самые тучные свиньи, надежные урожаи, крепкий трудовень. «Власть труда» по-прежнему в числе лучших из лучших. Но...

Иван Иванович повернулся к парнишке-шоферу:

— Слышь-ко, звать-то тебя не знаю как?..

— Сашкой. Истомин я. Петра Истомина знаете, так я сын ему.

— Эвон, у Петрухи какой парнище вымахал... Не замечаю я, старик, как растет молодежь. А скажи мне, Сашок, по совести — собираешься улепетнуть из колхоза?

Сашка посопел, помолчал, настороженно спросил:

— А что?

— Ничего. Загадка для меня. Ты здесь и сыт, и одет, и кино тебе привозят. Чего тебя манит на сторону?

— Чего? — Сашка хмыкнул. — Здесь кочки да ямины обнюханные, а там — «широка страна моя родная». В одном месте не понравится, в другое махну. Волюшка.

— Волюшка... — сказал Иван Иванович и замолчал, уронив на грудь голову.

Тридцать с лишним лет назад Пийко Лыков перебил хребет, забрал навечно. Волюшка...

Но хребет человеку можно перебить не только свежесотесанной оглоблей.

В соседних деревнях — лепешки из куглины, а вам, люди добрые, чистый хлеб даю из своих рук! Спасибо тебе, Евлампий Никитич, веревки вей из нас, только от себя не гони.

Кусок хлеба при общей голодухе потяжелее оглобли.

Колхоз Лыкова и сейчас самый лучший, другие — куда ниже, сколько их, нестроенных и заваленных, не сводят концы с концами. Но даже в самых горьких колхозах теперь не на травке пасутся — хлеб едят, пусть

покупной, пусть окольными путями заработанный, но чистый хлеб.

Кусок хлеба нынче не дубинка. Не пробуй махать, не напугаешь. Кто постарше — живут, как жили, молодым — тесновато.

Когда-то Евлампий Лыков умел ловко подлаживаться:

— Жирок нагуливаете, ребятушки? Ну, лежите, лежите, а я поработаю...

На старости лет, при громкой славе начал снова подыгрывать:

— Клуб вам, ребята, новый отгрохаю.

А клуб и старый неплох, кино и теперь почти каждый день. Кино показывает большие города, великие стройки, широк мир за околицей села Пожары, лишнее напоминание — тесновато здесь, душа на простор просится. Волюшка.

— Иван Иваныч!

— А?..

Рука осторожно трясет плечо:

— Приехали, Иван Иваныч.

— Эх-хе-хе! Помоги, дружок, выползти. Совсем что-то раскис.

Он остался перед калиткой, повиснув на костылях, долго глядел вслед машине, пока красный огонек не исчез за поворотом.

Этот желторотый, что гонит сейчас машину, не догадывается — он самая важная фигура в колхозе. Будущему председателю придется считаться с ним в первую очередь. Хлебом не прельстишь и новым клубом — навряд ли. Что нужно этому, унюхавшему волюшку парнишке? Что?..

Иван Иванович не знает, как не знал и покойный Лыков.

— Иван! — раздалось из темноты, от дому. — Да жив ли, голуба?

— Жив, Марья. Иду.

— Слава богу, а то сердце упало. Стоишь и стоишь, не стражлось ли чего, думаю.

Жена давно вышла на шум подъехавшей машины, ждала его на крыльце.

Она, услышав, что председатель скончался, молча перекрестилась, с особой бережностью спросила:

— Ужинать будешь?

— Нет, не неволь. — И устало поинтересовался: — Чего не пожалела?

Помолчала.

— Не могу.

Если и был у Лыкова тайный враг, то это она, постоянно видевшая костыли мужа.

— Тогда меня пожалей, — сказал он тихо.

— Ты что?.. — Удивление и страх в голосе.

Они не часто — чтоб не стерлось — вспоминали годы, когда молодые, здоровые, красивые проезжали по селу на серой паре. Но право, тогда они меньше любили друг друга. Без нее он не вынес бы бесконечно долгой сидячей жизни — она единственное счастье, опора.

— Ты что?.. Себя с ним путаешь?

— Иль не схожи? Близнецы же, не отличишь. И то больно уж долго в одном горшке варились.

— Полно-ко! Полно! — заговорила она бодрым, молодым, вовсе не старушечьим голосом. Эта сила в голосе прорывалась у нее всегда, когда видела — ему очень тяжело. — Лыкова нет, на тебя теперь только и надежда-то. Кого ни посадят в председатели — любой без тебя как без рук.

— Нет уж, новому по-нашенски крутить нельзя. Нашенские колеса по ступицы сносились.

— Ты молодого Лыкова примечал. Вот бы славная упряжка — у старого коня — сноровка, у молодого — силушка. Укажи на него, тебя послушают.

— Уже решил — укажу.. А потом в отставку подам.

— Чего мелешь? Чего мелешь, непутевый? В отставку-ку!

Она-то понимала, что такое для него отставка. Сейчас он хоть и через силу, да вылезает из дому. Отставка, пенсия — сиди сиднем, чувствуй себя полным калекой, исподволь разваливайся. Отставка — смерть.

— Молодого Лыкова... Да-а... Молодой Лыков — сундучок с двойным доньшком. Все вот в него заглянули и увидели — в хлебах разбирается. В хлебах-то, хорошо ли, плохо, любой мужик смыслит... Тебе этот Серега никого не напоминает?

— Да вроде нет, не примечала.

— А мне кажется, смахивает он на одного Иваш-

ку-дурачка из сказочки, какая не очень счастливо кончилась.

— Пошел загадки загадывать.

— Помнишь, я ездил к нему в бригаду? Еще до этого начал смекать, что он на молодого да необщипанного Ваньку Слегова чуток похож... Да-а... Поехал... Он с бабами собрание вел, планы со своей «божьей ратью» строил. Что за народ бабы, известно, дай только им рот разинуть — ручьем глупость хлещет. Кажись, разумней заткнуть, чем время-то на глупую болтовню терять. Нет, не затыкал, времени не жалел, слушает и слушает, как одна глупость другую перехлестывает. Долго я не мог в толк взять... Позднее понял, в чем хитрость. Глупость за глупостью, глянь, крупинку дельную ухватил, всем со всех сторон показывает — любуйтесь, мол, красива. А так как времени не жалеет, то крупинка по крупинке — дело собирается. Не ахти, не мудряще, может, сам Серега без баб в пять минут на него смог набрести. Пять минут, а тут пять часов болтали. Кажись, какой резон? Ан нет, резон есть. Бабы-то сами дошли; значит, и дело своим считают, не казенным, не бригадировым, попробуй только поперек встать — плешь проедят. Свое! Тут великий смысл. Чужое делать — неволя, свое-то — не подневольное. Вот парнишка, который меня сейчас довез, мечтает о волюшке. А почему? Не потому ли, что кругом лыковское только видит?

И жена ободрилась:

— Вот и хорошо-то! Вот и добро! А ты — в отставку!.. Подтащи этого Сергея Николаевича к себе — сам, глядишь, помолодеешь, прежним Ванюхой Слеговым обернешься.

Он невесело и ласково усмехнулся:

— Ты еще о живой воде помечтай.

— Но ведь сам же только рассказал, своими глазами видел.

— Ну да, видел, как он баб обкручивал. Кому не известно, что к бабе надо не с таской, а с лаской, баба на доверие падка. А встань-ка на место Евлампия — тут с лыковцами столкнешься. Мы с дружкой Евлампием не зря более тридцати лет трудились, оставили такую заквасочку, что раз попробуешь — навек кособоротым станешь. Мне Серегу жаль, а уж сам с ним хлестать — нет, пробовать не осмелюсь.

Она зябко передернула плечами, сказала холодно:
— Раз жаль — не указывай. Чего тебе толкать мужика в яму?

— А вдруг да...

— Что — вдруг?

— Вдруг да он погуще замешен, чем твой знакомый Ванька Слегов. Под лежащий камень вода не течет.

Они замолчали, переживая одну тревогу. Впереди — отставка, а это — конец. Неужели вот так вскорости и кончится их жизнь, пусть серенькая, не праздничная, но украшенная ласковым вниманием друг к другу.

— Ты не бойся, — виновато оборвал он молчание. — Пенсию мне дадут хорошую.

Она в ответ лишь тихо обронила:

— Ты помрешь — мне не жить.

Она когда-то была красива — броваста, ясноглаза, — давно отцвела, но на старушечьем лице с запавшим беззубым ртом в каждой морщинке затаилась хватающая за сердце доброта. Та доброта, что не раз спасала его, заставляла жить.

Он потянулся к ней, обнял голову, начал гладить ее жидкие сухие волосы. Гладил долго и нежно, гладил и тоскливо молчал.

За темным окном неожиданно раздался грубый топот, осипшие пьяные голоса проревели:

— Эй! Стервы! Попылили на задних лапках — хватай!

— Сыновья Евлампия гуляют, — произнес Иван Иванович. — Видать, узнали, что отец умер, — рады.

— Жуть-то какая.

Иван Иванович мысленно представил себе лыковских сыновей. Сварливо дружные, длинный Клим и приземистый Васька бредут, обнявшись, то шарахаясь на середину дороги, то приваливаясь к плетням. Климу уже вплотную под тридцать, а все еще молодцует в парнях — ни одна девка из местных не хочет выйти за него замуж.

— Да-а... Не повезло ему с ребятами. Мелкота, пакостники.

Пьяные голоса раздались вдали. Ночь навалилась на село.

Никто не догадывался, что началась недобрая ночь, ночь поминок по Евлампии Лыкову.

НЕДОБРАЯ НОЧЬ

Через полчаса или менее того услышал под своими окнами голоса братьев Лыковых Валерий Николаевич Чистых, только что вернувшийся домой.

— Эй, ты! Сука приبلудная! Высунься!

— Гасите скорей свет. От греха подальше, — забеспокоился Чистых.

Ребятишки были рассованы по койкам, свет погашен, сам Чистых улегся с женой. Как ни напугана была жена, но уснула быстро. Чистых спать не мог, лежал с открытыми глазами, заполненными ночью, тоской, страхом.

Если при Евлампии Никитиче у него по ночам были окна, то что же будет теперь?

В чем он провинился?

Он вор?.. Он мздоимец?.. Он злодей, который только и ждет случая, чтоб кого-то сжить со свету?..

Да, украл один раз в жизни. Был глуп, был молод и очень хотел есть. Один раз, единственный — и то попался. Больше никогда не присвоил себе гроша ломаного.

Мздоимец?.. А как легко было им стать! Валерий Николаич, заходи в гости, Валерий Николаич, мы вчера с теленочка зарезали, молочный еще... Как легко было сорваться! Не попрекнете — чист!

Злодей?.. А что он сделал плохого? По своему умыслу, по своей воле?..

Что делал бы любой и каждый, если б сел на место Валерки Приبلудного? То же самое в точности. Да нет, хуже, со срывами на телятинку, на дармовую водочку. Валерка-то выстоял без осечки. Уважайте!

Он нормальный человек. А нынче нормальных людей мало, кого ни задень, тот с сумасшедшинкой. Человек порядок должен любить — чем железней он, тем жить покойней.

Он служил Евлампию Никитичу, душу отдал порядку. Нормальный... Сумасшедшие вырвутся на свободу! Что-то будет, что-то будет! Пронеси, господи!..

Ночь, тишина, он, затравленный в собственной постели...

Вдруг в темном доме гулко загрохотало. Подбросило с подушки, обдало жаром, взмок лоб. Но через секунду Чистых понял — это же телефон! В душной тишине усердно натопленного дома раскатисто гремел телефон, властно звал к себе.

Кто?.. Зачем?.. Кому понадобился?.. Среди ночи, не дождавшись утра!..

Проснулась жена:

— Что это?

— Лежи!

Полез из-под одеяла, ступил босыми ногами на холодный крашенный пол, от щиколоток до ушей покрылся гусиной кожей, слыша стук собственного сердца, двинулся к телефону, в переднюю, по пути больно врезался плечом в косяк дверей.

Долго ловил впотьмах висящую трубку, наконец поймал:

— Да... — Закашлялся. — Алло!..

Послышалось что-то лающее:

— Вал!.. Вал!.. Вал!.. — Наконец икающий лай проврался в членораздельное, истощное: — Валерий Николаич!!

— Это кто? — лязгнул зубами Чистых.

— Это я — Митрий!

— Какой — Митрий?

— Да Пашенков, сторож... — И дико завыл: — У-убий-ийст-во, Валерий Николаич!

— Ты что?

— То-по-ра-ми!.. Топорами порубили, паршивцы!

— Кого? Что? Чего мелешь?

— Леху-у! Леху Шаблова... Топорами!.. Я только к складам вышел на ночное дежурство, слышу крик... Я еще подумал — не по-доброму кричат. Голоса-то признал — сынки Евлампия Никитича, чтоб им лихо было, пьяные вдрезинушку...

— Они — Леху?

— Так с топорами ж... Я сразу-то не пошел, обождал, а потом — дай, думаю... О господи! Прямо на дороге, недалече от фуражного склада... О господи! По всей дороге раскинулся, а снег под ним черный... Топор в сторону брошен. Топорами его...

— Откуда звонишь?

— Тута, от телефонисток... Каждая жилочка дрожит.

— Беги к Наталье Петровне, фельдшерице. Может, жив еще Леха.

— Не побегу... Оне, бешеные, до сих пор где-то бродют.

— Ты — кто? Ты ночной сторож, за порядком по ночам должен следить. С ружьем иди!

— Эхма-а... С ружьем... Да мое-то ружье для красы, кабы оно стреляло.

— Беги к фельдшернице на дом! Приказываю! Я участковому звоню.

— Валерушка-а! — застонала из соседней комнаты жена.

— Цыц! — прикрикнул Чистых. — До тебя тут!.. Участкового мне!

Долго ждал, пока участковый раскачается со сна, подойдет к телефону. Ждал и зяб, стоя босыми ногами на холодном полу. Наконец дождался, недовольный, с сипотной голос ответил:

— Младший лейтенант милиции Ступнин слушает!

— Убийство, Александр Степаныч!..

Дрожа и захлебываясь, рассказал, что узнал от ночного сторожа.

— Тэк! — голос участкового лязгнул медью. — Тэк!.. Ситуация ясна! Валерий Николаевич, ты оденься, прибудь к месту преступления, для оформления будешь нужен.

— Я срочно выезжаю в район, — соврал Чистых. — Да ты оформления потом, ты сперва преступников обезвредь, преступники-то у тебя с топорами по селу ходят. Тебе формальности нужны!..

Охота ли идти сейчас через все ночное село к складам, одному...

Дом погружен во тьму, за окнами мутно сереет снег. Где-то на дороге валяется порубленный топорами Леха Шаблов. Леха! На всех наводивший страх!..

— Валерушка-а!

— Цыц!

Лыков мертв, заместитель Чистых распутывай, влезай по уши, привлекай к себе внимание... Леху топорами... Он — не Леха, его легче...

Стучало сердце в тишине, по всей коже гулял озноб. Жена за спиной робко шевелилась, чуть слышно поскрипывала кроватью.

Он соврал участковому — едет в район. И в самом деле, куда как лучше спрятаться в городе Вохрове, хотя бы до утра, чтоб сейчас не втянули, не заставили, — шевелись! К утру с этой страшной заварухи сливочки уже снимут.

Леху — топорами...

Чистых снова снял трубку. Гараж не отвечал, но Евлампий Никитич, установивший в свое время ком-

мутатор, щедро разбросал телефоны по селу. Телефон был на дому и у механика гаража.

«Газик», возивший не столь давно и Евлампия Лыкова, и Леху Шаблова, катил по прихваченной морозом дороге к Вохрову. Механик, ввиду особого случая сам севший за руль, сурово молчал, жал на газ, лишь изредка качал головой, ронял:

— Да-а, дела... Да-а, начинается без хозяина...

Свет фар скользил по окаменевшим весенним сугробам.

У Чистых прошел испуг, вернулась способность трезво взвешивать. Надо уходить из колхоза. Какое уж тут житье.

— Да-а, дела-а... Да-а, теперь заиграют без хозяина...

Подальше от такой игры. Лучше всего обратиться к директору леспромхоза Семенову. В свое время тому «клеили дело», подводили — снять с работы. Семенов жил в тесной дружбе с Лыковым. Обсуждать директора леспромхоза решили тогда, когда Евлампий Никитич утрясал колхозные дела в области. Покатился бы товарищ Семенов, если б не он, Чистых. Это он дозвонился до Лыкова, поймал поздним вечером в номере гостиницы, Евлампий Лыков в области нажал на кого нужно, спас Семенова, тот и до сих пор директорствует. Хозяйство у него большое, местечко для Чистых подыскать не трудно. Правда, в Пожарах свой дом. Что ж, все распродаст, будут деньги на первое устройство...

— Да-а, дела-а... Теперь жди веселья...

Кто-то жди да поживайся, а он, Чистых, — нет, увольте.

В центре Вохрова он оставил машину, сказал:

— Езжай домой. Мне придется здесь остаться.

— Дела...

«Газик» развернулся и укатил.

Городок крепко спал под черствыми заснеженными крышами — окна темны, калитки наглухо закрыты. Городок спал, но наверняка участковый из села Пожары Ступнин уже сообщил в районное отделение милиции, наверняка дежурный уже поднял начальника милиции майора Россохина, тот сейчас тревожит первого секретаря, кого-то из врачей районной поликлиники. Городок крепко спит, но тревога уже вошла в него, мечется

по телефонным проводам, срывает кого-то с теплых постелей.

Чистых чувствовал успокоение и легкость в душе. Пусть разбираются, судят и рядят, наказывают, подбирают кандидатов на место Лыкова. Утром он явится к директору леспромхоза Семенову.

Утром... Но до утра еще далеко. Город спит, город будет спать еще добрых пять часов. Где-то надо прокоротать эти долгие часы.

Здесь, в районном городе, колхоз «Власть труда» имел свою квартиру — для Лыкова, на случай если тот задержится на заседании, если не посчитает нужным трястись ночью к себе в село. Квартира для Лыкова и для тех, кто к нему близок. Ее обиходит Агния Кузьминична, чистоплотная, рассудительная тетка, нагулявшая богатые телеса на харчах, отпускаявшихся на прокорм Лыкова со товарищи. Она-то — милости просим — встретит как положено, чаем напоит, чистые простыни застелит. Но на той квартире одно плохо — телефон. Где Чистых? Бросятся вызванивать и вызвонят... Увольте. Завтра после встречи с Семеновым, завтра, когда схлынет первая горячка, когда он уже будет знать свое новое место, — явится, последние обязанности честно исполнит, сдаст дела, а пока — увольте.

Здесь в городе живет его отец. Валерий Чистых немного помогал старику — посылал иногда кило масла, кусок свинины, баночку меду, жалко же, как-никак родная кровь — нахлебался лиха человек, одинок, нет здоровья, нет почета. Баночки с маслом и медом пересылались, но сын и отец встречались очень редко.

В другое бы время Чистых среди ночи ни за что не постучался бы к отцу. Но теперь обстоятельства особые, вряд ли старик успел узнать, что Лыкова уже нет в живых, а к этому у него наверняка свой интерес, ради него простит ночное сыновье вторжение.

Старик долго и подозрительно выпрашивал через закрытую дверь — кто да зачем? Притворялся, что не узнает голоса сына. Наконец смиростивился, признал — «а, это ты», — загремел запорами.

Свисающая с потолка пыльная лампочка освещала негостеприимного хозяина. Давно не стиранные белье, из распахнутого ворота выглядывали изогнутые, как дверные ручки, ключицы, рукава, лишь едва прикрывающие локти, выставляли напоказ тонкие руки в сплошных мослах, жестких сухожилиях и набухших

венах, узкие кальсоны все же были слишком просторны для тощих ляжек. И над всем этим плохо укрытым костяным сочленением — глянцеви́тая лысина и глубоко врезанные, столь же жесткие, как и сухожилия на руках, морщины. Они изображали в данную минуту величавое презрение и подозрительную враждебность.

— Чем обязан?

— Новости знаешь?

Старик жил скучно и однообразно, как только может жить одинокий пенсионер, отпугивающий всех неслосным характером. Не такому выпроваживать гостя с новостями.

— Слышал, что Лыков того... Еще вечером...

— Гм... — Нет, старик не слышал этого.

— Ну так вот, теперь пошло пузыриться, все, что назаквашивал, поползет через край.

Новости должны быть приятны старику. Лыков мертв, а он, Николай Чистых, жив... Однако старик не смягчился, ничем не выразил удовольствия, по-прежнему глядел на сына с неприязнью и подозрительностью.

— Как это понимать — «поползет через край»? — холодно спросил он.

— Лыковские-то сынки отличились. Топорами, стервецы... отцовского шофера...

— Сыновья Лыкова?

— Родные сыновья. Вот дела-то какие.

— Сыновья теперь пошли не в отцов.

— Лыков — тяжелый мужик, всех гнул — хребты трещали, а теперь, видишь ли, распрямляться начнут, друг друга задевать. И еще как!

— Сыновья не в отцов — гнилое племя. Вот хотя бы ты, Валерко, ты — мой родной сын! Удивительно! Ты — и от меня родился!

Чистых-младший досадливо поморщился:

— Опять — двадцать пять! И что ты со мной все делишь? Я ведь всегда к тебе по-доброму...

— Ты — прихвостень, ты — разложившийся прохвост!

— Ну и ну, злобы же в тебе...

— К таким, как ты, — да! К таким, как ты, — не простая злоба, а классовая ненависть! Разве я не вижу сейчас, чего ты от меня ждешь?!

— Чего мне от тебя ждать? Чем ты меня одарить можешь?

— Ты ждешь, поганец, что я буду радоваться смерти Лыкова!

— Радоваться не радоваться, а уж слезы лить не станешь.

— А ты слышал, чтоб я когда-либо плохо говорил о Лыкове?

— Попробовал бы сказать.

— Подлец! На свой аршин меряешь. Все считаешь, что твой отец трус, что он из страха...

— Стыдного в этом нет, многие, не нам с тобой чета, побаивались — матер мужик.

— Я побаивался? Я — его? Что он мне мог сделать? Мне, который уже отсидел двадцать лет! Что еще можно сделать такому?

— Двадцать-то лет не без его помощи. Почешешься.

— А не приходит в твою подлую башку простая мысль, что я уважаю Евлампия Лыкова?

— Ты — Лыкова?

— Да, я — Лыкова!

Чистых-младший недоверчиво поежился под сверлящим взглядом старика.

— Все считаешь, что мы с Лыковым из-за куска пирога царапались. А между нами шла борьба. Не ради шкурных интересов! Я считал, что Евлампий Лыков гнет в своем колхозе вражескую линию. Так считал, был убежден! Да, я хотел ареста Лыкова. Если б я победил, то Лыкову не поздоровилось. Но победил-то Лыков... Теперь должен или не должен я задать себе вопрос — кто был прав? Кто?.. Честно, без виляний! Он или я? Так вот!.. Со всей революционной прямоотой теперь признаю — он прав! Он создал выдающийся колхоз, которым гордится не только район, а и вся область. Жизнь доказала! И мне после этого ненавидеть Лыкова?.. Ты понял, пресмыкающееся? Уважаю Лыкова!

— Уж не считаешь ли, что вы — два яблока с одной яблоньки? — спросил сын.

— Считаю. Одного корня мы.

— Но и с одного корня яблоки разные на вкус — какое-то спело, другое в кислую зелень.

— Моя ли вина, что мне не дано было вызреть.

— А кто не дал? Не Лыков ли?..

— Виновника ищешь. А его нет. Что глаза таращишь?.. Нет, и все. Не каждая икринка взрослой шу-

кой становится. Кто в этом виноват? Жизнь так устроена — нельзя без отходов.

— Выходит, тебя посадили законно и выпустили зря?

— Я перед народом чист как слеза!

Старик стоял перед сыном, горделиво откинув голову, на остром подбородке искрилась седая щетина, в выцветших глазах гордый горячечный блеск, морщины залиты густыми тенями — усохшие живые мощи, прикрытые давно не стиранным исподним.

Сын молчал, и тогда костлявый кулак старика ударил в костлявую грудь:

— Глядишь?.. Гляди, от кого ты родился! Нас называли твердокаменными! И как могло случиться, что от меня, твердокаменного, родился ты, резиновый? Ты служил Лыкову не за идею, а за жирный кусок! Презираю тебя, как презираю сытость!

— Ишь ты, «презираю»... — скривился Чистых-младший. — А небось когда я от себя посылал тебе маслица там или медку, то не презирал, на помойку не выбрасывал — внутрь принимал.

— Вон-но что... Медок... А ты помнишь, чтоб я тебе за этот сладкий медок хоть раз когда-нибудь сладко улыбнулся? Медок принимал... А почему, разреши спросить, поч-чему весь мед должны съесть шкурники? Пусть хоть немного перепадет честному человеку... И чтоб доказать, что меня медом не купишь, то вот... — Старик выкинул в сторону дверей костлявую руку с крючковатым, неразгибающимся, разбухшим в суставах указательным пальцем: — Вон! Слышишь — вон отсюда, лизоблюд!..

Примерно в это самое время в селе Пожары втихомолку переживалась еще одна беда.

Вечером вернулась к себе изруганная женой Лыкова Алька Студенкина.

Дед Матвей, Алькин свекор, пропутешествовавший после долгих лет лежания на печи до дому председателя (это, считай, другой конец села), ни на полати, ни на печь от усталости взобраться не смог, лежал на голой лавке, не скинув валенок, накрывшись с головой полушубком.

Алька его трогать не стала, сама по привычке разделась, по привычке легла в постель — ночь подходит, положено спать.

Но спать, какое уж...

Стояло перед глазами лицо Ольги — злоба до синевы, слова одно другого дурней, с надрывом. А Ольга — смирей бабы не найдешь по селу. А Чистых... К Восьмому марта духи дарил в коробочке с кисточкой... Шуганул: «Марш отсюда!»

Стояло перед глазами перекошенное лицо Ольги... Глухая ночь во дворе, только где-то в стороне прокричали пьяные голоса да смолкли... Глухая ночь и долгая. В такую ночь не единожды можно пробежать по жизни, от какого-нибудь солнечного зайчика на бревенчатой стене — первого, что попало в детстве в твою память, — и до... до крика Ольги.

Бывала ли счастлива?.. Как не бывать.

Она идет из города, ей девятнадцать лет. Да было ли еще девятнадцать-то, пожалуй, чуть не хватало... Шла из города. И пошел теплый дождь, и облака какие-то кисейные, свет пропускают, так что весь воздух сверкает серебром. Тяжелые, нацеленные с неба капли бьют по клеверу, клеверные головки сердито вздрагивают. А после дождя — синие лужи, после дождя — медовый запах с обмытого клевера, мокрое насквозь платье, босые ноги чувствуют густую силу влажной земли. И сила притекала, заполняла тело, рвалась наружу, хотелось бежать, бежать вперед, вперед, хотелось жалеть кого-то крепко, кого-то утешать и радовать.

На темной дороге среди временных синих лужиц стоял одинокий путник. Чем-то он был озабочен, что-то он творил про себя. А она изнемогала от переполнявшей силы, от щедрости, от острого желания кого-то жалеть. Она смело подошла к нему: военная фуражка, гимнастерка, мешок за спиной. И чуть не застонала — рука-то у него ранена, висит на шее. И вот оно что, колдует — свертывает сигарку, весь в это ушел, ее не замечает. Не простое дело — рука-то одна, вторая в бинтах.

— Дай помогу.

Он вскинулся и оторопел... от ее лица. И она сразу смутилась — рука на перевязи, мокро поблескивает медаль на груди (тогда боевая медаль была редкостью), да еще глаза, застывшие в изумлении под лаковым козырьком военной фуражки.

— Дай помогу.

— Помоги, — согласился он.

Семен Студенкин ушел в армию, когда ей исполнилось едва четырнадцать лет. Попал на финскую — попортило руку, получил медаль «За отвагу». Рука срослась быстро, на войну с немцем его мобилизовали одним из первых. Алька получила только одно письмо с фронта, второй весточкой была уже похоронная.

Была ли счастлива?.. Как не быть. Год жила с Семеном душа в душу. За этот счастливый год она много лет обиходила старика Матвея, отца Семена, как могла, следила, чтоб был сыт, чтоб ходил в чистом да не драном...

А Евлампий?.. Нет, с ним не было счастья. Жила, как белка на жидком тальнике, загнанная собаками, сорвись — попадешь в зубы.

Долго же держалась, теперь, считай... сорвалась.

Ольга Лыкова — смирная баба, завтра подымутся все, кому не лень: ты сводня, ты блудница! Беги, Алька, спасай себя!

Бежать?.. А куда?..

Кому ты нужна, растолстевшая, сорокадвухлетняя баба? Нет ни молодости, ни красоты, руки от настоящей работы отвыкли. Кому нужна? Только деду Матвею, и то ненадолго, и тот скоро помрет. Короток бабий век.

Алька лежала в темноте на своей вдовьей кровати. Когда-то на ней впервые обнял ее Семен, крик утренних петухов пробивался к ним сквозь стены. У Семена были жесткие, ласковые руки, до сих пор, как вспомнишь их, — тоска во всем теле. Семен не успел состариться, старилась она, а он так и остался молодым.

Здесь она принимала Евлампия, принимала, случалось, и других после него. Евлампий не Семен — молодым никогда не был. Теперь и Евлампия, считай, нет. Все остальные — тоже для нее покойники, живет о них только смутная память.

Далеко, далеко позади серебряный дождь, а впереди от минуты к минуте все ближе утро. Это утро не стоит видеть, за ним — плевки, ругань, грязь взахлеб. Для кого-то и настанет утро, для нее — ночь без края.

Минута за минутой идет время. Идет к концу бабий век.

Она лежала с сухими глазами — не так уж и богато ее прошлое, чтоб горько оплакивать, а будущего

нет. Лежала, не спешила, спешить некуда — пока время есть, рассвет не скоро.

Лежала отдыхала, набиралась сил, еще и еще раз без устали припоминала серебряный дождь, оторопелые глаза из-под мокрого козырька военной фуражки...

Она дождалась первых петухов и поднялась... Покинула теплую постель, где было так уютно перебирать незатейливую жизнь, со стороны дерзко, с чужим равнодушием оглядываться на себя и испытывать горькое удовольствие от принятого решения.

Она покинула постель и сразу же почувствовала зябкий страх — не мечтай, а делай, что решила.

Ночь еще не прошла, душная, жирная тьма заполняла избу, только вкрадчиво синели окошки. С далекой окраины долетел последний хрупкий петушиный крик — сломался. Лишь тревожно шумела кровь в ушах да галопом рвалось из груди сердце.

Чего-то не хватало в избе, чего-то привычного. Обжитой до устали дом казался сейчас чужим. И зябкость, и жирная ночь, заполнившая бревенчатые стены, и невнятный страх, мешающий сделать шаг от кровати. Тишина шуршала в ушах, непонятная тишина, в ней чего-то недоставало.

И вдруг Алька поняла — чего! На ознобленной коже зашевелились мурашки. В тишине не слышно было надсадно тяжелого дыхания старика. Словно его нет в избе. А он же лежит, он тут, на лавке, она его чувствует, даже видит мягкую округлость стариковского полушубка, чуть прикрывшего низ невнятного синего окна.

Леденя от ужаса, хватаясь за стену руками, она двинулась к выключателю, нащарила — звонкий щелчок, до ломоты в глазах яркий свет.

Жмурясь всем лицом, дрожа всем телом, с усилием донесла себя до лавки на ослабевших ногах, боязливо, издалека потянула на себя полушубок.

— Дед... Эй, дед!..

Изуродованная работой рука старика свалилась с лавки, костляво стукнула в пол.

По селу на серых снегах улочек натужно вызревал дымчатый унылый рассвет. Село покойно спало, равнодушно пережив еще одну петушиную перекличку.

Лампочку Алька только что выключила. Мутный свет вползал в избу, означая щели на темных бревен-

чатых стенах, фотографии в простенках, узловатые сучки на изношенном полу.

Матвей Студенкин лежал на лавке животом и грудью, плоский, спрятав голову в полушубок, выставив напоказ огромные растоптанные валенки, упираясь чужуно-темной рукой в пол.

Алька, накинув поверх нательной рубахи шаль, сидела, съежившись, под выключателем и плакала. Оплакивала и старика, который много лет сиротливо прожил с ней под одной крышей, оплакивала и самое себя, свое круглое одиночество.

Бабы слезы целебны. Вместе со слезами растаяла решимость — не ждать утра. А утро исподволь, но упрямо наступало, рассольно мутный свет сочился в избу. Аллька глядела на оброненную руку старика и уже боялась смерти, жалела себя. И суетливые мысли теснились в голове: «Может, Сережка Евлампия сменил. А Сережке она всегда добра желала. И Ксюшка его как-никак родня ей... Не дадут в обиду...» Сама не очень-то верила в это, но размякла от слез.

По улочкам спящего села полз рассвет. Ночь, начавшаяся смертью Евлампия Лыкова, первая ночь без прославленного председателя, кончилась.

ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ

Впереди несли подушечку из красного атласа с орденами. Впереди умершего шагали его заслуги.

День выдался хмурый, плотные облака висели над самыми крышами, в воздухе — пресные запахи талого снега, на голых деревьях кричало воронье, растревоженное небывалым многолюдием.

Евламгий Лыков, мужик из села Пожары, родившийся в нищей избе, учившийся в приходской школе всего три года, бывший подпасок, бродячий «растировщик» теса, плыл над землей в гробу, обтянутом красным сукном и черным шелком. И областное начальство почтительно несло его на своих плечах.

За гробом — целая толпа с венками: в хмурый апрель — неподдельная летняя зелень, и свежая хвоя, и красные и черные ленты с надписями притушенного золота... Венки, присланные из областного города, и венки, сделанные руками школьников.

Из города прислан и военный оркестр — рослые, подтянутые ребята с малиновыми околышами, малино-

выми погонами, малиновыми физиономиями, мокро сверкающие медью и серебром своих труб, рядами начищенных пуговиц.

Поначалу местный народ поглядывал на них с тайной неприязнью — красавцы писанные, чужаки, службу исполняют, что им Евлампий Лыков. А какая уж музыка без сочувствия.

Но красавцы, видать, службу свою знали крепко. Когда они впервые приложили трубы к губам и по взмаху старшего начали, то казалось, низкое небо изумленно попятилось вверх, мир стал раздвигаться. Стройно, строго, с саднящей до немоготы болью вспухали звуки. Горестно охала большая труба, навзрыд плакали трубы маленькие. Глухо отзывался большой барабан, одобрял: «Так! Так!» И медные тарелки кратко, с лязгом соглашались: «Воистину!»

В толпе по простоте душевной заголосила было какая-то баба и спохватилась — не свата хоронят, — смолкла, устыдившись.

А тоскующая медь лилась и лилась на крыши пожарских изб, увешанных сосульками, на покосившийся штакетник, на увязнувшие в размякшем снегу прясла изгородей, на людей... В каждого вливалась нежная отрава.

И бабы начали сморкаться, одна за другой смахивали слезы, закрывали мужики, тоже грубно засморкались... По растянувшейся толпе, как болезнь, как поветрие, от одного к другому стал распространяться тихий слезный плач.

Барабан одобрял: «Так! Так!» «Воистину!» — соглашались тарелки.

Село Пожары, верно, стоит на земле не одно столетие, но оно еще ни разу не было так запружено народом. Впереди несли атласную подушечку с орденами, в самом хвосте лошадь волокла по ростепели сани. В них копной сидел Иван Иванович Слегов.

Поначалу неказистое сельское кладбище с редким соснячком, с покосившимися крестами было будничным, скучным.

На пути попалась могила, свежая, в рыжей глине, бросающаяся в глаза среди осевшего снега. Здесь вчера без шума, второпях схоронили Матвея Студенкина, первого пожарского председателя, того, кто выдвинул знаменитого Лыкова.

Кладбище казалось обидно скучным лишь до тех пор, пока в него не влился весь народ, не заполнил до отказа, не прикрыл собой ветхих крестов, полузабытые могилки дедов и прадедов. Народ заполнил соснячок, народ принес с собой торжественную скорбь, музыка раздвигала небо и вершины деревьев...

Над открытой могилой, над гробом, как и положено, были произнесены короткие речи: «Спи спокойно, дорогой товарищ!..»

Речи — дело привычное, они успокоили всех, высушили даже бабьи слезы.

У края могилы в окружении гостей, но в то же время как-то наособицу стояла жена Лыкова, Ольга, пряча морщинистое лицо в грубошерстный платок. Сыновей с ней не было. Сыновья сидели в Вохрове в «предварилке». Их не пустили на отцовские похороны — убийцы, Леха Шаблов умер в больнице.

Речи кончились, приготовились спускать гроб. И снова заиграл оркестр. На этот раз знакомое: «Вы жертвою пали...» — траурный марш революционеров, который не успели исполнить по пути от села к кладбищу.

Вы жертвою пали в борьбе роковой...

Прежде медные тарелки лишь скромно соглашались: «Воистину!» Теперь они властно звали: «Слушайте! Слушайте!»

И тут Ольга дико вскрикнула, упала на размешанный пополам с глиной снег и забилась в истерику. К ней бросились...

Ее выкрик — что искра в сухой хворост, — в разных концах толпы заголосили бабы:

— Корми-и-илец ты на-аш! И на кого-о ты нас, сирот бе-едных, покида-ешь!

Скорбная медь воинских труб и древние вопли деревенских баб — воедино.

Сергей Лыков, стоявший в толпе, почувствовал, как против воли слезы подпирают к горлу.

Он припомнил, как дядя Евлампий, — нет, еще не гордый председатель Лыков, просто член их большой семьи — с шуточками и прибауточками мастерил им, ребятишкам, «катушки» — широкие доски с сиденьями, на которых можно лихо съезжать с горок. Приносил он из города и обливные пряники: «На-ко, сморчки!»

Мать ругалась: «Тратишься на пустое». Он посмеивался: «Эх, всех нищих не перефорсишь, свечой копеечной бога не замолишь».

И еще Сергей вспомнил, как вечером после страдного дня Евлампий Никитич шел домой... Только что тот прощался с кем-то из бригадиров бодрым голосом, а теперь шагал и не догадывался, что за ним следят из окна: лицо отпугивающе неподвижное, поникшие плечи, плетями висящие руки, волочащаяся походка — смертельно устал человек, несколько часов сна, и подымайся до первых петухов, до восхода солнца...

Вы жертвою пали в борьбе роковой,
В любви беззаветной...

Была и беззаветность, не откажешь...

На минуту накалились слезы, но... не пролились.

А Ксюша, прижавшаяся к его плечу, слез не сдержала. Она на шестом месяце беременности, но дома не осталась, приехала хоронить председателя. Сергей оберегал ее, следил, чтоб не затолкали в толпе.

А с другого боку от Ксюши стоял беспокойный мужичонка. Он то подымался на цыпочки, чтоб увидеть гроб, то начинал действовать плечами, лез вперед, но каждый раз его оттесняли обратно. Заиграли «Вы жертвою...», и он притих, завздыхал:

— Эхма! Мы, считай, с ним одnogодки! Эхма!

Сухим, узловатым кулаком он начал давить слезы на морщинистых щеках, короткий вздернутый нос его вишнево залоснился, веки стали красными.

— Эхма! Евлампий Никитич!.. Любый!..

Это был Пашка Жоров, мужик смолodu скандальный, часто поругивавший Евлампия Лыкова. Но сам Евлампий при жизни этого, пожалуй, и не ведал — слишком мелок Пашка Жоров, чтоб в чем-то его замечать, даже в ругани.

Прежде Пашка поругивал, теперь вот давит мелкие слезинки костлявым кулаком. Да и то, над Пашкой Жоровым нынче не каплет, не худая крыша над головой. Евлампий Лыков к концу жизни все-таки сделал это. А много ли Пашке надо? И причитающим бабам тоже.

— Эхма!..

Медь труб, бабий крик и мужские слезы.

Народ потянулся к могиле, без напора, уважительно соблюдая порядок. Каждый ждал своей очереди, чтоб

набрать горсть земли, бросить в промерзшую яму на крышку гроба.

Валерий Чистых, празднично выбритый, с горестно раскисшими круглыми глазами, с помятым, смиренным лицом, с красно-черной повязкой на рукаве — один из организаторов похорон, — утомленно упрашивал:

— Разрешите, граждане... Дорогу, товарищи... Прошу вас... Очень, очень прошу...

На голос Чистых оглядывались, видели за ним бухгалтер на костылях, поспешно сторонились.

Иван Иванович, с трудом перекидывая непослушные ноги, приблизился к насыпи. Одной рукой он стянул шапку, обнажив седину, отливающую металлом, другой взял горсть земли, помедлил, бросил, прислушался... И еще постоял в задумчивости, только потом, под почтительными и сочувствующими взглядами, стал неуклюже разворачиваться...

Добрался до могилы Пашка Жоров, суетливо кинул одну горсть, показалось мало, кинул другую, вытянув тощую шею, заглянул в глубь ямы, придавив еще одну слезу кулаком, отошел, громко и победно высморкался.

Почти позади всех в очереди ждала прощальной минуты Алька Студенкина, опухшая от слез, уставившаяся в землю.

Музыка смолкла — только глухой стук земли о крышку гроба, только напряженное шевеление толпы.

Бравые парни-музыканты деловито продували свои трубы, вытряхивали мундштуки.

Сергей стоял в стороне и смотрел.

Толпились люди над могилой, над ними висело низкое небо, темнели стволы отсыревших деревьев, и празднично кричало воронье.

Еще лежит снег, но земля уже по-весеннему потная. Обычная земля под твоими ногами, не чудо-чернозем, не из тех, что дарит диковинные ананасы, просто земля не хуже других. Земля есть и всегда будет, есть и силы, что же еще?..

Падают комья на крышку гроба. Комья земли на человека, который считал эту землю своей. И толпятся люди, хоронят тело старого Лыкова.

Ходят слухи, что перед самой смертью он успел сказать: «Мертвый князь дешевле живого таракана». Ой ли, не клевети на себя, Евлампий Никитич. Умершие часто продолжают жить среди живых.

Евлампий Лыков умер, Евлампий Лыков жив. Жив

в бабах, которые только что величали его «кормильцем», жив в Пашке Жорове, в бухгалтере Слегове теплится... Лыков стал привычкой. От своих привычек люди легко и быстро не отказываются — только с болью, только с боем.

Бой... Сергей начал его, когда председатель Лыков твердо ходил по земле. Теперь комья земли падают на крышку гроба. И бой не кончен, с умершими тоже приходится спорить. Спор ради тех, кто причитал по «кормильцу», спор против тех, кто готов кормиться именем Лыкова.

Чистых с удрученным лицом хлопочет у могилы. Говорят, он собирается уйти из колхоза. Но далеко ли он уйдет?.. Евлампий Лыков умер, Евлампий Лыков жив.

Могила под низким небом. И потная от оттепели земля обступает кругом.

Земля, ждущая извечно весны...

1968

ЧИСТЫЕ ВОДЫ КИТЕЖА

1

Кто сказал, что славный град Китеж канул в Лету? Он живет и строится, выполняет и перевыполняет планы, берет на себя высокие обязательства, выпускает газету, сидит по вечерам перед экранами телевизоров, неустанно повышает свой культурно-массовый уровень.

Но порой, в особо ненастные дни, град Китеж словно опускается в вековечный покой, — с низкого неба сеет мелкий дождичек, большинство китежан прячется по домам, а те, кто вылезает на мокрые асфальтированные мостовые в непромокаемых синтетических кулках, вызывают невеселые мысли: как не похожи они на своих прославленных предков, которые в оны времена способны были и к братоубийству и кровавой удали, к грехам и покаяниям. И недавно реставрированный купол древнего собора скорбно блесит, как лысина самого господа бога, недоумевающего, что за скучный мир он создал! И мокрый от дождя кирпичный фасад редакции местной газеты «Заря Китежа» неуловимо напоминает физиономию страдальца, изнемогающего от зубной боли.

В этом здании, в узком, как обрубленный коридор, кабинете, не зажигая света, сидел в философском столбнячке и взирал на мир божий ответственный секретарь редакции Самсон Попенкин.

О чем может думать в такой тягучий, невызревший осенний день истинный китежанин? Только об одном из двух: эх, а не напиться ли, или же — познай самого себя. И по тому, в каком направлении тут работает мысль, можно определить человека — духовно здоровый он по натуре или же рефлексирующий интеллигент.

Самсон Попенкин, увы, не пил горькую, значит, в ранних сумерках в унылом одиночестве познавал себя.

Ему скоро должно стукнуть круглых пятьдесят. На заре туманной юности он хотел стать поэтом, мечтал о славе, писал стихи, насквозь проникнутые жизнеутверждающей бодростью:

Трудности — не горе,
Жизнь крепка, как спирт!
По колено море,
Разум наш не спит.

Он рано понял, что стихами, пусть даже самыми жизнеутверждающими, не выбьешься в люди, и... поступил на службу.

Познай самого себя, а это всегда вызывает крайне противоречивое чувство: любит — не любит, к сердцу прижмет — к черту пошлет...

В общем-то Самсон Попенкин не последняя спица в колеснице, как-никак ответственный секретарь центрального печатного органа града Китежа. Ответственный... отвечает за собранный материал, за сроки выпуска, за качество набора, за разверстку, раскидку, за черт знает что! Казалось бы, давно можно потерять голову и место, но главные редакторы менялись, а он, Самсон Попенкин, — незыблем. Но порой эта незыблемость не столько радует, сколько угнетает, минутами кажется — жизнь не движется, буксует на месте. Вчера была сдача, сверка, выпуск, сегодня, завтра, послезавтра — до гроба ни с места. И как подумаешь, что вот так же в мокрое окно будешь провожать день за днем, то — ох, любит — не любит, к сердцу прижмет — к черту пошлет... И развернутый на столе лист последнего номера газеты вызывает нездоровые ассоциации с небом, до удушья низко висящим сейчас над градом Китежем. Любит — не любит, к черту пошлет...

И вдруг... Нет, нет, ничего не произошло, но Самсон Попенкин вздрогнул. Все так же моросил за окном дождичек, и город по-прежнему был придавлен небом, но невнятное настроение — любит — не любит — дало сбой.

Давно в городе Китеже никто не вытаскивал детей из пожара, не побивал производственных рекордов, не справлял юбилеев, не ожидалось завершения какого-либо крупного строительства, даже для футбольных и хоккейных матчей, волнующих души, — не сезон. Время льется, как масло, слишком бесшумно. Спокойствие так давно копится, что оно, словно безобидный воздух, нагнетенный в стальной баллон, становится уже взрывчаткой.

Самсон Попенкин вздрогнул от сгустившегося спокойствия. Он вздрогнул и почувствовал себя ясновидящим: грядет нечто! В воздухе пахло взрывчаткой. Разряд, искра и — шум, дым, пламя, вихри враждебные!

И за окном уныло блестел лысый купол собора.

Весь подобрившись, Самсон Попенкин попробовал направить свое ясновиденье в одну точку: разряд, искра — откуда? Но лишь угрожающе плотная тишина сжимала его со всех сторон. Откуда-то должен грянуть гром, и разверзнутся хляби небесные. Откуда-то!.. Ясновиденье на этот раз было бессильно.

За стеной хлопнула входная дверь, в коридоре прозвучали знакомые суетливые шаги, — главный редактор Илья Макарович Крышев прогарцевал мимо кабинета Самсона Попенкина своей стеснительной боковой походочкой.

Самсон Попенкин вновь прозрел: искра!.. Кто ее занесет, как не главный! Должно быть, она сейчас уже жжет его ладони.

Попенкин не вскочил, не бросился опрометью к Крышеву. Надлежало выдержать ритуал. Сейчас, как всегда, раздастся телефонный звонок и знакомый голос пригласит: «Зайди на минутку».

Сейчас. Вот сейчас!..

Телефон зазвонил:

— Самсон Яковлевич, зайди на минутку.

2

Их обязанности были строго распределены — Самсон Попенкин руководил внутренней жизнью редакции, главный редактор Крышев взвалил на себя бремя внешних сношений. Самсон Попенкин выдавал граду Китежу шесть раз в неделю по четыре газетные полосы, Илья Макарович Крышев шесть раз в неделю — иногда и чаще — выезжал уточнять, утрясать, получать инструктивные указания.

Самсон Попенкин ждал, что главный приедет взъерошенный, как петух, который осмелился стать задом к ветру. Но Илья Макарович трудолюбиво сидел за зеленым полем своего письменного стола, как всегда, гладко причесанный, благодушный, застегнутый на все пуговицы. Не похоже, чтоб его жгла искорка.

Кабинет Крышева никак не походил на узкий кабинет ответственного секретаря — эдакую щель между забитыми (куча мала!) отделами. Нужно было сделать немало шагов от двери, чтоб приблизиться вплотную к рабочему столу главного редактора. И когда ты, преодолев пространство, в меру насыщенное чем-то особым,

трепетно значительным, приближаешься, усаживаешься на указанный благожелательным кивком головы стул, то замечаешь, что на тебя уставились не одна, а сразу две физиономии — румяная, открыто простецкая Ильи Макаровича и стеклянно-мутная, загадочно непроницаемая телевизора.

Телевизор в кабинете! Нет, он поставлен не для того, чтоб смотреть увеселительные передачи «Голубого огонька» или хоккейные схватки. Телевизор в кабинете — знак высокой руководящей ответственности. Во всем граде Китеже можно перебрать по пальцам тех товарищей, кто восседает на работе в компании с безмолвствующим телевизором.

Илья Макарович Крышев только-только начал наливать той добротной полнотой, которая означает, что данный товарищ растет уже не вверх, а вширь. Илья Макарович расстегнул папочку, неторопливо и уважительно разложил по зеленому полю нужные бумаги — привычный ритуал, завершающий удачную операцию очередных внешних сношений.

— Так вот, считают: неплохо, вовсе неплохо мы освещаем подготовку к зиме...

Привычный ритуал, привычные слова, — неужели ясновиденье подвело? Самсону Попенкину по-прежнему было тошнехонько от навалившейся тишины, душа требовала — шум, дым, вихри враждебные!

— И ничего больше? Никаких замечаний?

— Есть одно...

Самсон Попенкин чуть-чуть подался вперед, но узкое лицо бесстрастно и взгляд непроницаем.

— Мы, помнишь, как-то давали статейку о загрязнении речки Кержавки...

— И?..

— Нет, нет, все в порядке — прицел верный. Только робко мы кричим об этом. Родная природа уничтожается, а мы с эдакой укоризной, без напора, без запала...

И Самсон Попенкин уныло обмяк: загрязнение речки — тема мелкая, боковая, да к тому же с длинной бородой. А Илья Макарович вдохновенно поблескивал глазами:

— Тут надо, брат, во все колокола бить! Чтоб все услышали да встрепенулись. Набатную статью требуют! Понимаешь — набатную!

Но Самсон Попенкин не разделял воодушевления.

— И это все? — спросил он.

— Что еще?.. Всколыхнуть надлежит массы! Набатов! Тебе мало?

Натуре Ильи Макаровича свойственно: «А он, мятежный, просит бури...» Только чтоб буря была не слишком — ну, не в стакане, конечно, и не в лохани, речка Кержавка как раз подходит.

И дождь, дождь за окнами. И намозоливший глаза купол собора. И небо обложное, беспросветное...

— Так я пойду, Илья Макарович.

— Набатную статью! Набатную! Во всю силу! Во все колокола! В ближайший номер!

— Ладно, набатная так набатная.

3

Фоторепортер Тугобылев сунулся было к нему с мокрыми еще снимками передовой силосной башни, но Самсон Попенкин захлопнул перед ним дверь:

— Занят!

Сел за стол и, чтоб не видеть мутного окна, зажег свет, задернул пыльную гардину. Покоя не было в душе, зыбкое чувство ясновиденья — что-то будет, что-то неминуемое! — не рассеялось после разговора с главным редактором. А должно бы рассеяться. Загрязнение речки Кержавки... Из такой завалящей темы искру не высечешь. Шум, дым, вихри враждебные... Неужели стал стареть, чутье отказывает?

Вынь да положи колокольный набат, никак не меньше. Впрочем, это дело привычное: Самсону Попенкину приходилось подымать колокольный трезвон по мясу и молоку, яйценокости кур и вывозке навоза, холодному выращиванию телят и горячей обработке металлов. Теперь вот о загрязнении речки Кержавки...

Набат? На такую тему?..

И Самсон Попенкин насторожился — тут что-то есть.

Этот набат кому-то не понравится. Кому? Да в первую очередь директору Китежского комбината товарищу Сырцову Каллистрату Поликарповичу. Дядя Каллистрат в граде Китеже ни перед кем не ломает шапку. За спиной дяди Каллистрата всесильные главки крупнейшего в стране министерства, поддержка самой Москвы!

Набат против него?..

Неужели нашелся такой удалец, который решился сразиться с китежским Ильей Муромцем?

Сразиться один на один?.. Э-э, в том-то и дело, что нет. Просит ударить в набат, поднять весь город, всколыхнуть массы!

Каждому китежанину хочется, чтоб речка Кержавка и озеро Светлояр, в которое она впадает, были чисты. Каждый китежанин наверняка откликнется на набатное слово.

Мелкая тема, ой ли? Она-то и способна поднять город. А с целым городом даже могучему Каллистрату Сырцову воевать тяжельно.

Но тогда двинет силы курирующий главк, зашевелится министерство, вступится Москва!

Град Китеж против самой матушки Москвы?

У Самсона Попенкина по спине побежали холодные мурашки: такого еще на его памяти не бывало. И вспомнилось вдохновенное лицо Ильи Макаровича: «А он, мятежный, просит бури...» Будет буря тебе, дорогой Илья Макарович, еще какая! Закачаешься на своем стуле.

«Может, предупредить?..» — подумал Самсон Попенкин. Он сработался с главным и, право же, не хотел, чтоб добрейшего Илью Макаровича повывуло бурей из редакции.

Но тут же представил себе — буря не разразится, завтра будет походить на сегодня, сиди перед заплаканным окном, изучай лысый череп собора... У кого душа не просит бури, кому не хочется порезвиться.

Илья Макарович ищет бурю весьма умеренных размеров, ну, а он, Самсон Попенкин, не прочь покачаться и на высоких волнах. Он полегче Ильи Макаровича, а потому понаплавицей.

4

Но кто должен ударить в набат? Любой и каждый на это не способен — нужен лихой человек.

В граде Китеже не перевелись отважные рыцари, умевшие орудовать пером ничуть не хуже, чем их достославные предки копьём и палицей.

Испокон веков по деревням и селам святой Руси встречаются недюжинные натуры, которых почтительно величают ухарями, сторонятся при встрече. Первым ухарем китежской печати по праву можно было назвать критика Петрова-Дробняка. Он пришел в литературу от сырой земли, наделен черноземной силищей, буйством

нрава и столь выразительной откровенностью неприглаженного стиля — «И-эх, расшибу!» — что вызывал невольное содрогание у слабонервного читателя. Уж кто-кто, а Петров-Дробняк мог оглушить набатом, но все дело в том, что, взобравшись на колокольню, он не любил слезать вниз. Пробив в колокола, собрав народ, Петрову-Дробняку ничего не стоит закричать: «Бей их!» — и указать на тех, на кого у него давно горит зуб. Самсон же Попенкин не раз, случалось, перебегал дорогу старому ухарю. Петров-Дробняк не подходил.

Полной противоположностью этому полубылинному Василию Буслаю был Арсентий Кавычко, чье отточенное мастерство отличалось изяществом, характер — улыбчивостью, а душевной щедростью природа наделила его столь богато, что его натренированное перо умело выводить эпитеты лишь в превосходных степенях — «глубочайший талант», «тончайшее наблюдение», «проникновеннейший взгляд», — так что у читателя от столь изысканной пищи порой появлялись низменные желания: «Селедочки хотца!» Арсентий Кавычко мог, конечно, ударить в колокола, но вместо набата у него наверняка получился бы лирическо-плясовой перезвон: «Ах, милашкин сын, камаринский мужик!..»

Жил в Китеже и небызвестный Борис Моисеевич Чур — закаленный легионер, преданно служащий своим оружием всякому, кто его позовет. За многолетнюю службу он вытенировал себя в разных стилях и жанрах. Ему ничего не стоило обернуться «серым волком по земли, сизым орлом под облакы», он мог (если будет дозволено) ухарски крушить на манер Петрова-Дробняка и сладкоголосого величать (коль действительно требуют) в духе Арсентия Кавычко. Набат — пожалуй-ста. Чур и это сумеет. Он и на колокольне не задержится, сразу спустится, скромненько встанет в сторонке. Но сложность в том, что каждому известно: доблестный Чур, как истинный легионер, действует не сам по себе, а по приказу. И конечно же, сразу станут искать: кто отдал приказ, по чьему наущению прозвучал набат? Чур первый же и укажет на Самсона Попенкина — он послал, на нем вся вина. Э-э, нет, чур меня! Самсон Попенкин вовсе не хочет, чтоб в него целились указующим перстом.

Град Китеж не беден людьми, умеющими держать перо в руках, но в кого ни взглядишь — каждому рыцарю чего-то не хватает, каждый с изъянцем.

Самсон Попенкин начал было уже тихо отчаиваться, как вдруг его осенила гениальная идея: «А не поставить ли куницу на воротник!» Он даже на минуту-другую впал в столбнячок, сидел и очумело помаргивал.

Вот так находка!..

Впрочем, даже находкой-то назвать нельзя — лежало на самом виду. Человек, имя которого сейчас пришло в голову Самсону Попенкину и оглушило его, был более известен в Китеже, чем Петров-Дробняк, Арсений Кавычко и Чур, вместе взятые. Но прежде стоило подумать, и крепко подумать, уже потому, что приходилось просить помощи у того, кто в ней всегда сам нуждался.

В тишине своего тесного кабинета Самсон Попенкин принялся мысленно взвешивать и ощупывать не кого-нибудь, а местного поэта Ивана Лепоту.

Любой поэт, как бы ни было мало его поэтическое поле, старается пожать с него посильные лавры. Иван Лепота умудрялся на своем поле выращивать только шишки. Дитя природы, он влюбленно умилялся всему, что попадалось на глаза. Видел, например, кочки в лесу и сразу же приходил в восторг. Одно то, что кочки не чужие, не занесенные со стороны, а свои, родные, китежские, давало ему право считать — лучшие в мире! Китежская рябина, как бы ни горька она была, — все-таки самая сладкая. Китежские грибы — самые ядреные. Китежские церкви — самые высокие... Казалось бы, честь и слава ему за такое любвеобилие, но... беда в том, что Иван Лепота не умел остановиться вовремя, — начав умиляться всему, что попадает на глаза, он забывался и начинал умиляться тому, чего и видеть-то никак не мог. Например, ни с того ни с сего со всей своей умильной силой он начал воспевать китежский колокольный звон, тогда как колокола в славном граде Китеже давным-давно были сняты с колоколен. Выходило, звонит то, что звонить уже никак не может. Или вдруг в порыве вдохновения Лепота восклицал: «В табуна горячего выберу коня!» А в то время горячих коней вокруг Китежа на зиму привязывали к потолочным матицам, чтоб не упали от бескормицы. Да и какие табуны коней, когда пашут, боронят, возят поклажу на тракторах да на машинах. Тракторам же Лепота упрямо не хотел умиляться. И потому его постоянно били за искажение китежской действительности, за очернение, а в одно время уличили в антипатриотичнос-

ти, заклеили как безродного космополита. На что сам Иван Лепота отозвался недоуменными стихами:

Хожу нестриженный, небритый,
Бываю раз в неделю сыт,
Зовут меня космополитом,
Какой же я космополит?!

И конечно же, сразу получил по заслугам—за упаднические настроения, за гнилой субъективизм!

Такому-то человеку бить в набат! Казалось бы, мысль, по меньшей мере, несуразная — сам забит и затюкан. Но чем больше Самсон Попенкин вдумывался да вглядывался, тем сильнее убеждался — лучшего звоняра не найти.

Да, Ивана Лепоту постоянно бьют и приговаривают: «Плохо пишет, бяка, не стоит его читать, дорогие читатели!» И получается что-то вроде запрета. А кому неизвестно, что запретный плод сладок? И дорогие читатели с жадностью набрасываются на разруганные стихи Лепоты. Давно уже все, что он ни напишет, вызывает острый интерес. Одно его имя достаточно шумно, чтоб способствовать набату. И если даже Лепота, набивший руку на стихах, в статье окажется не на высоте, то все равно читатель будет на его стороне. Не только потому, что читателю хочется купаться в чистой речке, ездить отдыхать на чистое озеро. В Китеже испокон веков симпатизировали блаженным и обиженным, а Лепота — и блаженный, и обиженный, не от мира сего. Если звон его будет слабым, все равно услышат и всколыхнутся.

Но нужно ждать — Лепота справится со статьей. Он не раз славил костры на берегу реки, запах ухи, плакучие ивы, а это-то как раз и загрязняется. Должен же он вознегодовать хотя бы раз в жизни. Скорей всего, за набатный колокол возьмутся нужные руки.

Обдумав все, Самсон Попенкин сразу же вышел из столбнячка, накинулся на телефон:

— Редакционная машина свободна?.. Не отпускайте — срочное задание. — Удар по рычагу, новый номер: — Тугобрылева мне... Пушкарь, у подъезда тебя ждет машина. Только ты можешь отыскать в городе Ивана Лепоту. Срочно! Срочно! Пожарное дело! Вылови да сам, смотри, не застрянь. Немедленно сюда — живым или мертвым. Заупрямится — скажи, что утешу.

Ответственный секретарь Попенкин умел поднимать на ноги нужных людей.

Спустя пять минут фоторепортер Тугобылев уже мчался по городу, а еще через полчаса будущий набатчик был доставлен в редакцию.

5

Это был высокий, сутулый, нескладный человек с обезьяньими руками, болтающимися ниже колен. В молодецкой потехе — пригнуть к столу руку противника — он считался непобедимым среди китежских собутыльников. Раньше он часто воспевал свои русые кудри, которые «облетают, как желтый лист», нынче эту тему пришлось оставить, так как процесс облетания кончился — на месте вьющейся заросли образовалась мусорная пустошь. Лицо его, массивное, дремотное, могло бы казаться монументально спокойным, сильным, если б не мелкие, угрюмые, подозрительные складочки в углах глаз, в углах губ — следы многолетних переживаний за нелицеприятную критику. Только глаза — зеркало души — глядели на белый свет все еще с голубой наивностью.

— Как жизнь, Иван? — поприветствовал поэта Самсон Попенкин.

— Как в аптеке, на фармацевтических дозах, — хмуро ответил Иван Лепота.

Хожу нестриженным, небритым,
Бываю раз в неделю сыт...

Тут поэт вряд ли был искренним, так как Ивана Лепоту не столько беспокоило всегда — «хлеб наш насущный даждь нам днесь», сколько — «веселие на Руси есть пити». Он даже уровень своей жизни мерил стандартными жидкостными мерами. «Как жизнь, Иван?» — «Нормально, до пробки». Или же: «Так себе, на четвертинку». Или: «На министерскую едва натягиваю» («министерская» — сто пятьдесят граммов). И самый пессимистический вариант: «Как в аптеке, на фармацевтических дозах».

— Есть серьезное дело, нужна твоя помощь, — без лишних предисловий объявил Самсон Попенкин.

— Стишата к празднику?

— Нет, статья.

— Зарезать начинающего стихоплета? — проявил проницательность Лепота.

— Ударить в набат, Иван.

— Чего ради?

— Ради святого лозунга: «Солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья!»

— Попроси пионеров, они в барабан ударят.

— Дело не пионерское, керосинцем пахнут чистые воды Китежа, не замечал, лирик?..

И Самсон Попенкин сжато, по-деловому объяснил задачу.

— Гм... — ухмыльнулся Лепота. — Одного не сказал: против кого же этот набат?

— А кто, по-твоему, керосинит? Кто тебе и другим портит лирику?

— Да ну-у! — округлил голубые глаза лирик. — Действительно не пионерское дельце — куси Каллистрата!

— Оробел, Пегас, перед крутой горкой?

Иван Лепота уставился на Самсона Попенкина почти с уважением:

— Каллистрат — дядя сердитый, вам от набата штаны того... сушить не придется?

— За наши штаны страдаешь?

— Ну да, — прозорливо хмыкнул поэт, — на меня же свалите все потом.

— Может, и свалим. Тебе-то не все равно?

— И то верно, я человек отпетый, мне терять нечего.

— Неужели не любопытно, как дядя Каллистрат на стенку полезет от твоего колокольного звона?

— Любопытно.

— Берешься?

— Для милого дружка — сережку из ушка. Выпиши аванс, пока бухгалтерия не закрылась.

— Нет, брат, аванс отразится на твоей работоспособности.

— Ну хоть пятерку одолжи!

— Ни рубля! Статья нужна завтра, даем зеленую улицу, так что — трезвость и усердие в течение одной ночи. Завтра получишь гонорар полностью: гуляй!

— Зеленая улица на Каллистрата Сырцова! Ну и ну!

Самсон Попенкин уважительно проводил Ивана Лепоту до дверей. У дверей же в коридоре стояла Полина Ивановна Кукушкина, заведующая отделом писем, — строгие очки в железной оправе, чопорная добросовестность в поблекших чертах.

— Самсон Яковлевич, можно взять письма?

Полина Ивановна появлялась в кабинете Попенкина два раза в день — утром, принося нужную (по ее мнению) читательскую корреспонденцию и вечером, забывая ее. Это был заведенный издавна ритуал, не отражавшийся на редакционных делах. Занятый текучкой, Самсон Попенкин обычно читательских писем не просматривал, полностью доверяя Полине Ивановне — читать, отвечать, тасовать, хранить.

— Иван Степанович,—обратилась Полина Ивановна и к Лепоте, — есть письмо и вас касающееся.

— Что там? — с величавой небрежностью спросил поэт.

— Ничего особенного, обижаются, что наша газета редко печатает ваши стихи.

— Правильно обижаются.

Самсон Попенкин хлопнул поэта по плечу:

— «Лета к суровой прозе клонят!» Твоих почитателей, китежский Орфей, ждет приятная неожиданность! На том и расстались.

Точная, как морской хронометр, Полина Ивановна нанесла свой вечерний визит, значит, рабочий день кончился, пора отправляться домой.

6

Как всегда, он шел домой не через Новый мост, парадно широкий, шумный, ярко освещенный, а напрямую, через Старый — бревенчатое, одряхлевшее наследие давно вымерших лихачей и ломовых извозчиков, — оставленный теперь только для пешеходов.

Каблуки громко стучали по деревянному настилу. Самсон Попенкин дошел до середины моста и остановился. Под мостом текла речка Кержавка, та самая, чью девственную чистоту обесчестил комбинат, возглавляемый могущественным Каллистратом Сырцовым.

Город кругом был погружен в сырость и тьму. Влажно расплываются уличные фонари, тепло светят сквозь цветные занавески окна домов, этаж над этажом, семья над семьей вокруг вечерних столов. Добрые китежане гоняют чай и беседуют о разном — можно ли ждать премиальные к получке, купить ли старшему сыну ко дню рождения новый костюм, переворот в Чили, израильская агрессия, удержат ли хоккеисты ЦСКА в этом году первенство... Добрые китежане как-то забыли

о текущей мимо них речке Кержавке, знать не знают, ведать не ведают, что скоро над ее обесчещенной водой раздастся набат, и все, кто сейчас мирно гоняет чай, подымутся... Кто-то, наверное, будет и за Каллистрата Сырцова, но большинство против. Сила на силу — к сечи!

Течет внизу речка, нашептывает обесчещенная вода... Он, Самсон Попенкин, не числится в столпах, подпирающих основы града Китежа, — умеренно ответственный работник, сам по себе не семи пядей во лбу, никак не вождь по духу, не великий полководец, но от него сейчас зависит — подымется сила на силу, всколыхнется славный град Китеж или же все останется по-прежнему — тишина и покой, не вихри враждебные... Могуч дядя Каллистрат, но не в его власти двинуть или задержать армии... В эти дни станет командовать он, Самсон Попенкин, умеренно ответственный секретарь редакции.

Течет речка, и стоит над ней человек, ожидающий своего звездного часа. Погромыхивая каблуками о настил, прошел прохойжий. Он и не подозревает, что в эту минуту был в двух шагах от воплощенного величия, распоряжающегося судьбами города.

Прохойжий скрылся в темноте, заглохли его шаги, великий человек перегнулся через перила, чтоб взглядеться в свою союзницу, услышать заговорщический шепот воды. Но в нос ударил погребной, плесневелый запах, показалось, что заглянул в подземелье города, в его преисподнюю.

Самсон Попенкин вздохнул, отвернулся и застучал каблуками по мосту. Чем ближе он подходил к дому, тем меньше он думал о грядущих битвах, тем настойчивей наваливались домашние заботы — жена побаливает, надо ей выхлопотать путевку в Железноводск, дочь кончает десятый класс — ветер в голове у девки, — наклеивается обмен квартиры с доплатой, значит, опять влезай в долги... Шаг за шагом, ближе к дому Самсон Попенкин перерождался — великий вершитель судеб умирал в нем, «смертию смерть поправ», и воскресал тихий семьянин.

7

Быть или не быть эпохальному для града Китежа столкновению — сила на силу! — надо признать, зависело не только от одного Самсона Попенкина, но еще и от главного редактора Крышева. Как бы хорошо Попенкин ни организовал набат, Крышев мог его и не утвер-

дять. Поэтому Самсон Попенкин старался держать до поры до времени в секрете свои приготовления, чтоб не вызвать преждевременный испуг Ильи Макаровича.

Они были почти ровесниками, и первое время Самсон Попенкин шел на шаг впереди Крышева по житейской стезе, Попенкин на год раньше Крышева кончил Китежский пединститут, раньше заявив о себе, напечатав несколько жизнеутверждающих стихотворений—«Трудности не горе, жизнь крепка, как спирт...», — стал репортером в газете. В это время Илья Крышев только еще начал бегать по широким коридорам одного городского учреждения в качестве самого что ни на есть младшего сотрудника — боковой стеснительной рысцой, в несолидной душегреечке «жил-был у бабушки серенький козлик». Через много лет этот Илья Крышев все той же боковой стеснительной походочкой, но только в строгом костюме вместо душегреечки «бабушкин козлик» прошествовал мимо Самсона Попенкина в кабинет главного редактора газеты.

Судьба — крепость, не мечтай взять ее прямо в лоб. Она сдается лишь тем, в чьем характере от природы заложено нечто боковое, никак не прямолинейное.

Время от времени в кабинете Самсона Попенкина раздавался требовательный телефонный звонок:

- Ну, как наши дела, Самсон Яковлевич?
- Все в порядке.
- Статья уже заказана?
- Будет. Обещаю.
- Набат выдай. Набат!
- Сделаем набат, не беспокойтесь!
- Действуй, брат, действуй. Полностью на тебя полагаюсь. Звонили тут мне, интересовались...

Самсон Попенкин тщательней всего скрывал от главного, кто именно будет автором набатной статьи, — одно имя Ивана Лепоты могло поколебать решимость не терпящего никаких крайностей Ильи Макаровича.

А Иван Лепота в это время сидел перед Самсоном Попенкиным, потел, скорбел, стонал, ругался, время от времени сгребал исписанные листы, грозился хлопнуть дверью, — шла творческая работа над набатной статьей.

Нельзя сказать, чтоб Иван Лепота не справился с заданием, вовсе нет. Его статья начиналась величавым запевом о щедрой красоте китежской природы, о земле, гонящей сочные травы, о влаге, собирающейся в родниковые ручьи, о нежной борьбе этих ручьев, о том, как

малые ручейки побеждаются большими, как разрастаются в реки... И этот запев, насыщенный трепетной лирикой, неприметно переходил в едкое самобичевание: «Не слушайте меня! Не верьте мне, люди!» Оказывается, он, Иван Лепота, лжет, когда славит свежие травы и чистые воды, дымок рыбацкого костра и запах окуновой ухи! Нет этого! Чистые воды отравлены, отравлена рыба — давно развеялся дымок рыбацких костров, не слышно счастливого смеха купающихся детей..

Вот тут-то Иван Лепота и кончил значительным многоточием.

Ничего не скажешь — прошибло прямо-таки до слез, но для набата никак не подходило. Скорей плач Ярославны в «Путивле городе на забороле», чем зовущий набат.

И Самсон Попенкин властно требовал от поэта Лепоты набатного обличения: Китежский комбинат при попустительстве директора Сырцова в день выпускает столько-то тонн отравленных отходов в реку, в месяц столько-то, в год...

— Пусть звучит мотив неистового нарастания, — убеждал ответственный секретарь строптивного лирика, привыкшего к слезному умилению в творчестве. — Читатель должен быть смят и подавлен цифрами. Читателя должен охватить страх — нет, не только за обреченную речку Кержавку, — страх космический по размерам — вся наша планета в опасности!

Лирик, побунтовав, постовав, сдавался перед железной необходимостью. Но Самсон Попенкин не удовлетворялся победой:

— А теперь ты вызови у читателя негодование. Сообщи, что директору Сырцову неоднократно указывала на эту грозную опасность наша газета. Вот номера газет, названия статей. Перечисли их, пусть они звучат, как удары молота, вбивающего гвозди в гроб дяди Каллистрата!

Статья была закончена общими усилиями воплем оскорбленных и обманутых, прорвавшимся в одном лишь слове: «Доколе?!» Воистину титаническое крещендо, обрывающее набат.

Иван Лепота вытер с чела пот:

— Уф-ф!.. — И с опасливой почтительностью поглядел голубым взором на своего редактора. — Ты, брат, еще тот Соловей-разбойничек... Неужели думаешь, что главный тут наложит «петлю на собаку»? Да для него это все равно что на самого себя петлю накинуть.

Вместо ответа Самсон Попенкин вызвал по телефону машинистку.

— Сейчас мы наш набатец перепечатаем по всей форме, — объявил он поэту. — А тебе, лирик, лучше испариться. Прячься подальше, я уж как-нибудь один.

— Ни пуха тебе ни пера, Соловей-разбойничек.

— К черту! К черту! Сгинь!

Через каких-нибудь полчаса перепечатанная статья лежала перед Самсоном Попенкиным — по всей форме, с «собакой».

«Собакой» на жаргоне газетчиков — столь непочтительно, к сожалению, — именовалось самое важное место любой рукописи, имеющей хождение внутри редакции. «Собака» — это фасад рукописи, ее лицо, ее официальный паспорт, куда заносятся все данные: кто редактор, по какому отделу, срок сдачи, исходящий номер. Без «собаки» всякая рукопись — Иван, не помнящий родства. Но и «собака» без наложенных на нее основополагающих резолюций, скрепленных авторитетными подписями, — пустое место.

Какие-то «собаки» Самсон Попенкин имел право украшать своей подписью — называлось «накидывать петлю», — не согласуясь с главным редактором. К этой же «собаке» он не имел права, да и не хотел прикасаться — слишком велика ответственность.

Еще раз прочитав сверху вниз и пробежав снизу вверх всю статью, поправив кой-какие опечатки, Самсон Попенкин с минуту мечтательно сидел и наконец решительно поднялся:

— Ну, Илья Макарович! Иду на вы!

8

Едва статья легла на зеленое поле главредакторского стола, как сразу же вызвала замешательство:

— Что-о?.. Автор — Лепота!

Именно на это-то и рассчитывал Самсон Попенкин. Пусть Илья Макарович возмутится с ходу, еще не читая статьи. Проглоти он сразу всю статью вместе с фамилией автора — вряд ли сумеет тогда переварить. Для начала должен принять маленькую пилюлю.

— Лепота — автор!!

Самсон Попенкин и бровью не повел, спокойненько

выжидал, когда замешательство главного редактора перерастет в возмущение.

— Поавторитетней человека не мог подыскать? Почему именно этого отпетого? Эту одиозную фигуру!.. — Голос Крышева по своей природе не способен был звенеть гневной медью, он начинал жестяно дребезжать.

А Самсон Попенкин безучастно глядел в мутное, широкое око безмолвствующего телевизора.

— Это же может скомпрометировать столь важную тему!!

— Кого бы вы предложили? — тихим голосом, с невозмутимой вежливостью спросил Попенкин.

— Да любого, любого, кто пользуется у нас авторитетом. Если не Дробняка, так Кавычко. На худой конец, того же Чура. Каждый, кого ни возьми, не столь одиозен, как этот Лепота!

— Вот именно — не одиозны, авторитетны, — согласился Самсон Попенкин.

И Крышев насторожился, как заяц, услышавший скрип шагов. Пора выкладывать аргументы.

— Если эти авторитетные, не одиозные товарищи помещают у нас в газете набатную — да, набатную! — статью, то любому и каждому становится ясно: набат согласован с вами. Вы — заказчик набата, его инициатор. Неужели кто-то поверит, что Чур или Арсентий Кавычко по своей инициативе ударят в колокола, решатся всполошить весь город. Какой дурак поверит, что они столь смелы и решительны? Вы хотите принять всю ответственность на себя, Илья Макарович?

Илья Макарович смутился — он меньше всего хотел выглядеть зачинателем набата. Смутился, но еще не сдавался:

— А Петров-Дробняк способен, так сказать, по собственному желанию. Ему-то нельзя отказать в решительности.

— А вы убеждены, что, если этого Дробняка-набатчика возьмут за загривочек и спросят, он не укажет на вас?

Илья Макарович промолчал, полной уверенности он тут отнюдь не чувствовал. Самсон Попенкин продолжал напирать:

— Набат-то может и сорваться. В этом случае я не хочу подставлять ни себя, ни вас.

Главный редактор озадаченно кашлянул:

— Кхм!.. Но не поверят и Лепоте, что сам, без нашей помощи...

— Иван Лепота есть Иван Лепота. Не авторитетен, одиозен, больше того — отпетый. От него можно ждать любого, даже набатного, трезвона. Он нам предложил свою статью. Тема назревшая, больная, мы и раньше ее касались. Никого не должно удивлять, что мы приняли статью. А переборы — да, есть. Так это же Иван Лепота звонит. С него и взятки гладки. Мы даже пытались его причесать, он не соглашался. Словом, мы не зачинщики набата, звонарь сам зазвонил.

— Кхм!.. А знаешь, тут что-то есть...

Самсон Попенкин пожал плечом, предложил с полным равнодушием:

— Впрочем, вы можете связаться с Петровым-Дробняком. Он, пожалуй, охотно согласится.

— Нет, нет! Ты прав — Лепота больше подходит. Он — в набат?.. Да по собственной инициативе!..

Первое сражение выиграно, Самсон Попенкин бросил вызов ко второму сражению, решающему:

— Да вы, Илья Макарович, статью-то читайте. Там такой набат, что закачаешься.

И Крышев погрузился в чтение.

Вначале он удовлетворенно кивал головой, лик его разгладился, даже вырвался срывающийся от обилия чувств возглас:

— Талантлив, сукин сын! Ничего не скажешь.

Самсон Попенкин понимал, что Илья Макарович читает сейчас «плач Ярославны» о сочных травах и чистых водах.

Но вот Крышев как-то опечалился, затем весь подобрался, потом окаменел и наконец резко отодвинул от себя рукопись, метнул, словно ядро, веское:

— Нет!

Самсон Попенкин пожал равнодушно плечом:

— Что ж... Набата не будет.

— Помягче! Помягче надо!

— Помягче — обычный трезвон, не набат.

— Набат! Но без указаний на лица. Я не намерен хвататься за грудки с Каллистратом Сырцовым.

— А мне это и подавно не с руки, — охотно согласился Самсон Попенкин.

— Вот-вот! Изыдем, подправим, чтоб и следа не осталось. Ник-какко-го следа!

Снова равнодушное пожатие плечами:

— Пожалуйста. Не мне отвечать, а вам.

— Это как так... отвечать? — Дрогнувший голос, округлившийся неприязненно глаз.

— Мы и раньше не раз трезвонили о Кержавке... Без указаний на лица.

— Ну и что?

— И вам выразили, кажется, недовольство. Не так ли?

— Ну, выразили.

— Вас просили пробить в набат?

— Но никто меня не просил тыкать пальцем в сторону... в сторону товарища Сырцова!

— Тыкать? Пальцем? Что вы!.. Такого богатыря пальцем не свалишь. Потребовали оглушить набатом, поднять против него массы. И, должно быть, есть большая необходимость в этом, раз предлагают начать столь решительные действия. Вы, конечно, можете сделать вид, что не поняли этой необходимости, до вас не дошло... Но, Илья Макарович, работать-то нам придется не с дядей Каллистратом, а с теми товарищами, кто вынашивал... вплоть до столь крайних мер, как набат.

Самсон Попенкин счел нужным выразиться «нам работать», но Илья-то Макарович прекрасно понимал — работать с теми товарищами придется ему одному. Он, и только он, главный редактор Крышев, занимался в газете внешними сношениями, ему, и только ему, никак не Самсону Попенкину, влетит за недопонимание.

Крышев минуту-другую немотно взирал на своего ответственного секретаря.

— Ты так считаешь?.. — обрел он дар слова.

— Дай-то бог, чтоб я ошибался.

— Н-да-а...

На порозовевшем лице главного редактора отразились те острейшие диалектические противоречия, которые народная мудрость вмещает в два слова: «И хочется и колется».

— Н-да-а... Мне как-то в голову не ударило.

И вдруг в мгновение ока рукопись оказалась в папке, а Илья Макарович преобразился — взведенно решительный, готовый тотчас окунуться в привычную сферу деятельности.

— Сейчас же съезжу, покажу статью — обсудим, согласуем, поставим точки над «и».

Самсон Попенкин холодно остановил:



— Не делайте этого.

— То есть как так?

— Вы ждете, что вам дадут прямые указания — бейте с размаху заматеревшего дядю Каллистрата по загривку?

— Должен же я получить точные указания!

— Да если б там могли точно указывать, значит, дело пошло в открытую. Тогда, сами посудите, зачем к нам обращаться? Куда проще поставить о Каллистрате вопрос, вынести соответствующее решение и — баста! Нет, набат-то потребовали, а имя Сырцова, по кому набат должен ударить, даже не упомянули. Спроста это?.. Представьте, как вы будете выглядеть, требуя прямых указаний.

— Нич-чего не пойму!

— А по-моему, все ясно: имя Каллистрата Сырцова должно само собою всплыть в грязных водах речки Кержавки.

— Само собой... Ишь ты.

— Иван Лепота вынес его наверх.

— Н-да-а... Вот ведь задачка.

— Я свое дело сделал — набатная статья готова. Ваше дело — давать ее или выбросить.

— Не дадим — припомнят.

— Вот именно.

— Дадим — можем в заваруху попасть.

— Не исключено.

Самсон Попенкин всем своим видом выражал — моя хата с краю, а Илья Макарович поеживался от диалектических противоречий — и хочется и колется. Он снова расстегнул папку, достал рукопись, оглядел ее и с лица, и с изнанки, со вздохом протянул Самсону Попенкину.

— Надо давать, — сказал он уныло. — Сдавай в набор.

— Это как — сдавай? — удивился Самсон Попенкин. — Без вашей подписи?

— А ты что, один до конца дело довести не можешь?

Рукопись статьи с «собакой» висела над зеленым столом, протянутая Самсону Попенкину. Господи! До чего наивный расчет: сдай статью, сам поставь на «собаке» подпись, в случае чего могу вытащить из архива и документально доказать — не причастен, не приложил руку, Самсон Попенкин, ответственный секретарь, наколобродил, по шее его! Ну нет, дорогой товарищ Крышев, Самсон Попенкин стреляный воробей, на мякине его не проведешь.

Попенкин поднялся:

— Если вы не можете решить, Илья Макарович, то я и подавно не возьму на себя такую ответственность.

— В кусты прячешься?

— Отнюдь. Вынесем на обсуждение редколлегии, и если там мне поручат довести это дело до конца — доведу. А иначе меня потом упрекнут — превышаю свои обязанности, прыгаю через вашу голову.

Ответ с достоинством, и честный прямой взгляд в глаза Ильи Макаровича, в самые зрачки.

Вынести на редколлегию, обсудить... Да после такого обсуждения дядя Каллистрат через полчаса будет знать все, подымется на дыбы. И тогда... Тогда-то и загремит набат на бедную голову Ильи Макаровича Крышева.

Рука, протягивающая рукопись с «собакой», опустилась.

— Ладно, — сказал невесело Илья Макарович. — Пусть статья останется у меня. Подумаю.

— Подумайте, Илья Макарович, подумайте. Но дорого яичко к Христову дню.

— Зайди через час.

Через час кончался рабочий день.

Был вечер, обычный осенний, с мелким дождичком за окном. Мокрая тьма скрывала голый купол собора.

Илья Макарович, должно быть, все-таки созвонился кое с кем, должно быть, обиняком выудил подтверждение, что Христово яичко сейчас как нельзя более к стати. Он возвышался над зеленым полем своего стола, озабоченный и недовольный, перед ним лежала злополучная статья.

— Ну так вот... — начал он и не договорил, потянулся к стакану с заточенными карандашами, с привычной тренированностью вытащил толстый красный карандаш, самой фабрикой «Сакко и Ванцетти» нареченный «Деловым».

Рука Крышева сотворила размашистую петлю на «собаке», открыла путь статье Ивана Лепоты в неприступную зону печатного слова.

— Возьми! — подтолкнул Крышев рукопись Самсону Попенкину.

Должно быть, в тишине осеннего вечера раздался неуловимый скрип — колесо китежской истории совершило поворот.

Он снова проходит через Старый мост, снова останавливается над шепчущей в темноте речкой Кержавкой.

Сейчас уже крутится верно служащая Китежу ротационная машина, гонит газетные полосы. Остановить ее торопливую работу почти невозможно. Завтра утром почтальоны побегут из дома в дом с сумками, набитыми свежими газетами, со статьей Ивана Лепоты, зовущей в защиту обесчещенной речки Кержавки. И гневный набат обрушится на гордую голову Каллистрата Сырцова.

Могуч дядя Каллистрат, богатырские подвиги творит он в граде Китеже. Это он со своим комбинатом помог проложить широкое асфальтированное шоссе, соединяющее Китеж с остальным миром. Это он выстроил в центре города просторный, светлый Дворец культуры. И стадион поставил тоже он. А если б не комбинат во главе с Каллистратом Сырцовым, то разве выросли бы целые районы новых жилых домов, с новыми магазинами, новыми кинотеатрами, новыми детскими садами — китежские Черемушки? И отцы города часто с протянутой шапкой идут к дяде Каллистрату: помоги!.. Подбрось на переустройство канализации, подбрось на газификацию, на прокладку теплоцентрали, на ремонт жилья, на озеленение. Без тебя, гой еси Каллистрат свет Поликарпович, совсем бы увязли в нуждишке.

Дядя Каллистрат бросает в шапку от своих щедрот, но иной раз и отказывает: бог подаст, шапка-то, отцы, у вас без донышка. Раз к богу послал, другой — и... Богатырь-то богатырь — спору нет, а помнить должен, под чьим небом живет, в чью землю корни пустил. Славный муж Илья Муромец и тот у Владимира Красное Солнышко в глубоком погребѣ сживал.

История показывает, что нет такого богатыря, у которого бы не было слабого места. Греческий добрый молодец Ахиллес, например, в пятке свою слабинку прятал, и то ущупали да свалили. У дяди Каллистрата слабое место — фильтрация. Трубы его комбината выпускают по воздуху рыжие «лисьи хвосты», от которых скрючиваются листья на деревьях, из цехов в речку стекает такое, что рыбадохнет, вода воняет — и не только в самой речке, но и в озере. А град Китеж испокон веку славился своими чистыми водами, о них сказки

складывали, в песнях пели. Получалось: все могущество Каллистрата Сырцова опиралось на ахиллесовы пятки, по ним-то и наносился удар.

Ротационная машина гонит газетные полосы. Шепчет внизу под мостом обесславленная вода Кержавки. Готовится ко сну град Китеж. Стоит на мосту человек, бросающий город в атаку. Вчера он, Самсон Попенкин, еще мог остановить лавину. Мог, но не захотел. Теперь лавина двинулась. Еще никто не слышит ее грозного шевеления, никто не подозревает, что завтра она обрушится — шум, дым, вихри враждебные! Двинулась! И ни Самсон Попенкин, ни кто другой уже не удержит.

Сила на силу! Кто победит в этом вздыбленном городе?

Самсон Попенкин открыл войну дяде Каллистрату, но он вовсе не собирается ринуться с головой в ряды противников директора комбината. Богатырски силен Каллистрат Сырцов, еще неизвестно, кто победит. Охота ли быть биту.

Самсон Попенкин стоял на мосту, слушая шепот текущей речки, не то чтобы взвешивал и прикидывал, а просто наслаждался минутой — в нем сейчас град Китеж обрел пророка, способного предсказать скрытое для простых смертных завтра.

На мосту раздались суетливые шажки, из темноты вынырнула шуплая фигура, наткнулась на Самсона Попенкина, созерцающего в отрешенном одиночестве загадочное завтра.

— Ой!

Очки в железной оправе, бледное испуганное лицо.

— Это вы, Самсон Яковлевич! Как вы меня напугали!

Полина Ивановна, хранительница читательских писем, дважды в день навещающая Самсона Попенкина по долгу службы.

И Самсон Попенкин вынырнул из пророческого транса:

— Куда это вы, Полина Ивановна, на ночь глядя?

— Как — куда? Домой. Я же здесь рядом живу, на набережной.

— А-а. Покойной ночи, Полина Ивановна.

Они разошлись, чтоб завтра вновь встретиться дважды.

Самсон Попенкин сразу же забыл о Полине Ивановне. Должно быть, пророческий дар в нем исчез в эту

минуту, иначе бы он узрел, что эта тихая, незаметная женщина тоже попадает под колесо истории. Самсон Попенкин приближался к своему очагу, к домашним шлепанцам, к остывшему ужину, к озабоченной жене, и великое вновь умирало в нем, «смертью смерть поправ», рождался благонамеренный отец семейства.

Забыла тут же о Самсоне Яковлевиче и Полина Ивановна. У нее-то и вовсе ничего не шевельнулось в душе, не родилось никаких предчувствий. Откуда?.. Она же не обладала пророческим ясновиденьем.

10

В давние бесхитростные времена все происходило до умиления просто. Какой-нибудь Иванко Кривой или Мотыка Малый, науськанный «смысленными», лез опрометью на колокольню, повисал на веревках и... — все прыгали с печей в катанки, рвали с гвоздей полушубки, бежали на площадь. Потом, криком и кольями согласовав поставленный ребром вопрос, шли дружно в подворье какого-нибудь родовитого посадника, вытаскивали его за бороду, рубили ему голову, громили его дом и службы, пускали красного петуха и расплзались по своим печам с сознанием исполненного общественного долга. До нового набата... Оперативно, без какой-либо бюрократической волокиты, а главное — демократично.

Но это было в давние времена...

Стоит глубокая затяжная осень, и новый день начинается не утром, а старой ночью, оставшейся от прожитого «вечера».

В темноте под фонарями пробежали почтальоны с набитыми сумками, прямые потомки тех Иванков Кривых и Мотек Малых, что в древности подымали сполох. Они навешают дверь каждого подписчика, втискивают в жестяные щели почтовых ящиков набатное слово. А на площадях и автобусных остановках открылись киоски — сверни, прохожий, на несколько шагов, брось мелкую монету, получи взамен все тот же набатный призыв. Ни звона, ни сполошного крика, ни суеты — всего-навсего газетный шелест.

Газеты шелестят за утренним чаем, шелестят в автобусах, шелестят на работе... Массовый читатель любит входить в печатное слово не с парадного входа, а с черного, — открывает газету с последней страницы, рассчитывая наткнуться на какое-нибудь происшествие.

Но в граде Китеже стоит глухая пора, давно уже никто не вытаскивал детей из пожара, не находил старых кладов, не побивал рекордов, даже футбольные и хоккейные матчи по осеннему времени не проводятся, а значит, и не освещаются. Поэтому массовый читатель с задворочной страницы быстро переходил на внутреннюю и тут-то натывался на статью Ивана Лепоты.

Нет, массовый читатель не вздрагивал, не вскрикивал, не вскидывался, не бросал все свои дела, он, сосредоточенно посапывая, прочитывал статью до последней строчки, кончающейся набатным крещендо — «Доколе?!», — тщательно прятал газету и оглядывался кругом в надежде найти собеседника, излить ему свое просвещенное читательское мнение.

В этот день в граде Китеже знакомый, встречая знакомого, после «здравствуйте» (иногда даже вместо) нетерпеливо спрашивал:

— А вы читали?..

— Как же, как же! Каллистрату — гвоздь по самую шляпку.

— Нет, вы подумайте только!

— Думай не думай, а ежели так пойдет, он нас всех эдак годика через три... отравит.

— От Кержавки, простите, теперь как из сточной канавы...

— Она и есть сточная.

— Помню, пескарей было в ней... Мы ребяташками их штанами ловили.

— Озеро гибнет, летом отдохнуть негде.

— А вы замечали, что лысых стало в городе куда больше, чем прежде?

— Ну, ну, какое отношение имеет Каллистрат Сырцов к лысым?

— Да самое что ни на есть прямое! Вы думаете, он просто так пачкает водичку, он ее — стронцием, стронцием! Первый признак радиоактивности — волосы выпадают. Оглянитесь на Японию, там в Хиросиме и мужчины и женщины — все как коленка. Сначала волосы долой, потом кровь из красной белой становится, и... крышка нам всем, братцы, крышка!

Никто не рвался на площади, не кричал в голос, не хватался за колья, и голову рубить прославленному Каллистрату Сырцову никто не собирался. Но шли разговорчики под газетный шелест, город начинал бродить, словно котел с хмельным пивом. И в этом хмелю неза-

метно, исподволь начиналось перерождение. Какой-нибудь Петр Петрович, один из массовых читателей, скромный инкассатор или преуспевающий сотрудник системы бытового обслуживания, никогда еще не чувствовал себя дерзким и сильным. И вдруг он во весь голос расправляется — и с кем?! — с самим Каллистратом Сырцовым! Это ли не признак лихой отваги? Это ли не проявление подспудных сил?! В Петре Петровиче проявляется нечто царственно-львиное, он перерождается.

Много значило имя, стоящее под статьей, — Иван Лепота! Одни этого поэта уважали за кроткое умиление перед китежскими брусничными кочками и гроздьями рябины. Другие уважали его за то, что бывал бит чаще, чем кто-либо.

— Как что, так его, аж кровью сердце обливается.

— За битого небось двух небитых дают.

— Раз бьют, значит, за правду стоит, кто ловчит да подлаживается, того ласково гладят.

— От кого нам еще и ждать, как не от него, поддержки!

— Ну, Каллистрат Сырцов, налетел, голубчик!

В захмелевшем Китеже к дяде Каллистрату час от часу растет глухой гнев, к Ивану Лепоте — признательность и восторг. Сырцов чуть ли не отравитель, Лепота — спаситель, Голиаф и Давид, Идолище поганое и Алеша Попович, страшилище Челубей и Пересвет-инок!

Но в хмельном городе, заполненном преобразившимися царственно-львиными петрами петровичами, продолжали оставаться и трезвые натуры, не затронутые всеобщим сполохом.

Одним из таких был Кукушев Адриан Емельянович, муж Полины Ивановны, верной сотрудницы Самсона Попенкина,

11

Кукушев служил в местном обществе «Знание», так сказать, способствовал распространению научного прогресса. По примеру неунывающих философов прошлых веков он свято верил, все к лучшему в этом лучшем из миров. И когда в этом «лучшем из миров» кто-нибудь не особенно щепетильный выколупливал нечто неприятное, Адриан Емельянович выходил из себя — кричал о нытиках, маловерах, очернителях, порочащих нашу действительность.

Он преклонялся перед Каллистратом Сырцовым, счи-

тал его чем-то вроде Прометея, принесшего китежанам огонь индустриализации. И этого-то гиганта хотят связать по рукам и ногам! Разумеется, Иван Лепота в глазах Адриана Емельяновича сразу же превратился в ту легендарно-кровожадную птицу, которая клюет печень героического благодетеля града Китежа.

Досталось от мужа даже Полине Ивановне за то, что она служила беспринципной газете, порочащей Прометея-Каллистрата. Полина Ивановна кротко сносила упреки, а вот сын...

Еще в одном из древнейших египетских манускриптов будто бы сказано: «Нынче дети перестали слушаться своих родителей». И если, шутка сказать, дети не слушались родителей несколько тысячелетий назад, чуть ли не во времена первых фараонов, то можно представить себе, как они, благодаря столь долгой тренировке, преуспели в наши дни.

Кукушев-сын разительно не походил на Кукушева-отца. Отец был юношески гладкошек, сын — дедовски бородат, отец франтовато носил отутюженный костюм, сын — неглаженные, нестираные, с тщательно оберегаемой рваной бахромой джинсы, отец был наивно восторжен, сын — умудренно скептичен, отец уважал авторитеты, сын — только самого себя. И уж конечно, сын не считал, что «все к лучшему», напротив, склонялся, что мир скоро должен полететь в тартарары. Отец не уставал огорчаться сыном, сын без огорчения принимал отца — на то он и предок, чтоб быть отсталым.

После газетной статьи столкновение отца с сыном было неизбежно. И оно произошло в конце дня, когда вся маленькая семья собралась за ужином.

Отец предался неосторожным воспоминаниям, каким заштатным городом был Китеж до того, как в нем построили комбинат, — ни центрального отопления, ни газа, ни телевизора, даже бани хорошей, — а теперь вон плавательный бассейн, и какой-то стихоплет смеет...

— Отец, — непочтительно перебил сын, — Иван Лепота поймал за руку жулика.

— Кто-о?! Кто жулик?!

— А разве не жульничество — сунуть бассейн и отнять реку с озером?

— Хватит вам — сейчас сцепитесь, — попробовала образумить Полина Ивановна, но ее трезвые остережения никогда еще не спасали мира в семье.

— Сырцов обжуливает, Лепота одаривает?! Да твой

честный Лепота простой мышеловки не подарил людям!

— Лепота — совесть Китежа! — не без пафоса объявил сын.

— Чья, чья совесть? Таких, как ты! Тебе скоро двадцать один год, я в твоё время...

— Извини, я это уже знаю наизусть: ты в моё время героически спасал своей грудью страну. Прошу не повторяться.

— Да, да! Я в твои годы уже досыта нахлебался фронтовых щей. Я прополз на брюхе через всю Европу! Я глядел смерти в глаза! А тебя сразу из школы сунули в институт — учишься, мальчик, на всем готовеньком. И ты учишься? Да нет, лоботрясничаете! Тянешь за собой хвосты! Оглянись, кто ты? Паразит-захребетник! И у таких-то Лепота тревожит совесть. Да он сам паразит по духу! Рука руку моет...

— Адриан! Ради бога! — воскликнула Полина Ивановна, но было уже поздно.

Сын вскочил с места:

— Изумительно! Кол-лос-сально! Я — паразит! Потребляю чужие харчи, просиживаю в институте штаны, купленные на деньги своих благоверных родителей! Да ещё смею иметь своё мнение. Не буду, не буду! Тунеядец приносит свои извинения и хочет исправиться. Оревуар и сэнк-ю! Ухожу из дома проводить в жизнь святой лозунг: кто не работает, тот не ест!..

— Владик! Ради бога!

— Не бойся, мать, не бойся. Куда он денется. Голод — не тетка, не таких упрямых козлов делает ручными.

— Вот именно, в этом доме уважают только ручных животных. Предпочитаю пастись на свободе.

Сын вышел, хлопнув дверью.

В общем-то ничего сверхъестественного не случилось, обычная сцена, от какой не гарантирована ни одна семья. «Нынче дети перестали слушаться своих родителей» — во всех землях с древнейших времен до сего дня. Важно лишь отметить, сколь глубоко раскололо набатное слово град Китеж — до семейных устоев.

Сын хлопнул дверью, а Адриан Емельянович спустился этажом ниже к своему старому знакомому, персональному пенсионеру Панкрату Панкратовичу Шишкину, которого обычно все называли за глаза Пэпэша, имея при этом в виду не только счастливое сочетание инициалов, но и некоторые свойства характера.

Нет, Пэпэша не был единомышленником Адриана Емельяновича Кукушева, он вовсе не считал, что живет сейчас в лучшем из миров. Вот в то время, когда он, Пэпэша, был бодр, деятелен и влиятелен, — действительно мир, без дураков, пребывал в наилучшем состоянии. Тогда он имел железного хозяина, железную дисциплину, тогда уважалась сила и презиравалась всяческая слабость, нытики молчали, а славословцы вешали.

Пэпэша конечно же был недоволен кутерьмой в городе, недоволен распустившейся прессой, недоволен распоясавшимися болтунами, которые обсасывают злоумышленную статейку, недоволен Каллистратом Сырцовым, на которого нет управы, недоволен Лепотой — знай, сверчок, свой шесток! Как всегда недовольный всем и вся, Пэпэша сердито выпалил:

— Стрелять их надо! Стрелять! Не цацкаться!

Когда-то это у него выходило грозно — мороз по коже! — теперь получалось сварливо и невнушительно.

И странно, нисколько не сходясь со своим приятелем во взглядах, Адриан Емельянович, однако, слушал его негодования и обретал душевное равновесие — всем плохо, не тебе одному.

12

Главный редактор Крышев усиленно занимался внешними сношениями, исчезал из редакции и возвращался, вновь исчезал и вновь возвращался. Боковая походочка с мелким прискоком, по ней было видно — человек не в себе, хотел бы куда-то удрать, спрятаться, да служебное положение не позволяет.

Самсон Попенкин навещал его после каждого возвращения. В кабинете главного безмолвствовал телевизор, сам хозяин был ненамного красноречивее, уныло маячил над зеленым полем своего стола, разводил руками, ронял со вздохом:

— Ничего.

После третьего выезда удалось кое-что выжать.

— Каллистрат Сырцов приезжал, час целый сидел...

— И что?

— И ничего. За закрытыми дверями был разговор.

«Ничего» — результат явно плачевный. Раз уж был заказан набат, и он получился на славу, то, наверное, надо было срочно пользоваться им: хватать дядю Каллистрата, обличать по горячим следам. И ничего...

До Самсона Попенкина доходили известия о событиях в городе, взбудораженном набатной статьей.

Некое Общество охраны природы, неприметно существовавшее в Китеже (настолько неприметно, что даже всеведущий Самсон Попенкин и не слышал о нем), собралось на внеочередное собрание, как всегда, в подвальном помещении при здании Охотсоюза. Много лет тишайшее Общество заседало здесь, и никто не обращал на него никакого внимания. Сейчас вдруг разнесся слух: Общество-де собирается только затем, чтоб возбудить судебное дело против Каллистрата Сырцова. И возле Охотсоюза сразу же собрался любопытствующий народ. Обеспокоенный участковый Тришкин — как бы чего не вышло! — вызвал срочно наряд в лице постового Лелюшко, сняв его с соседнего перекрестка.

Студенты биофака Китежского пединститута написали возмущенную петицию в защиту биосферы с пространной научной аргументацией и не менее пространными учеными цитатами. Петиция пошла по рукам, стала собирать подписи. Подписывались и те, кто слыхом не слышал о биосфере, не представлял, что это такое.

Кандидат медицинских наук Малышев, приглашенный в студию местного телевидения прочитать очередную лекцию о здоровье, сообщил многим тысячам телезрителей свежую мысль, что здоровье любого и каждого зависит от чистого воздуха и чистой воды. Он, Малышев, показал телезрителям фотографии — отравленные химией леса и заброшенные разной пакостью водоемы... находящиеся в Америке. Град Китеж никогда еще не походил на Америку, но в телестудии начали раздаваться частые телефонные звонки, зрители обличающими голосами указывали на прямое сходство.

Росла час от часа слава Ивана Лепоты. Китежу, оказывается, не хватало своего Козьмы Минина, он появился — Лепота, поднявший ополчение в защиту чистых вод.

А с Каллистратом Сырцовым — ничего... Руководит комбинатом, ведет переговоры при закрытых дверях.

Да было ли намерение свалить этого Илью Муромца китежской промышленности?

Так ли уж можно уязвить его через фильтрацию?

Может, ахиллесова пята дяди Каллистрата вовсе и не тут?

Тогда надо ждать — директор Сырцов со всей своей богатырской размахистостью нанесет ответный удар.

Илья Макарович Крышев поставил свою подпись на «собаке» набатной статьи, его фамилия стоит и под газетой, он дважды виновен перед Каллистратом Сырцовым.

Илья Макарович осунулся, побледнел, глаза затравленно бегают, и голос с ощутимой дрожью:

— Ничего...

Самсон Попенкин тоже встревожен, но не так чтобы очень. Он знал, что после набата подымется сила на силу, но вовсе не был уверен, чья возьмет, а потому вел себя предусмотрительно—поперед бабки в пекло не лез.

Илья Макарович подозревал это, поеживался и смотрел на своего ответственного секретаря с явным недружелюбием.

— Сунул ты меня, братец, в хорошенькую историю.

— Я — вас? — удивился Самсон Попенкин.

— А то кто же?

— Да разве вы от меня указание о набате получили, а не я от вас?

— Ладно, ладно, а все-таки не надейся за мной укрыться — статью-то ты готовил к печати, я лишь передоверился, подмахнул ее.

Ругаться было и преждевременно, и бессмысленно, поэтому Самсон Попенкин примиряюще сказал:

— Рано паниковать, Илья Макарович. Поживем — увидим.

— Вот-вот, того и хочу, чтоб ты, дружок, тоже глядел в оба, не благодумствовал. Одной веревочкой связаны — помни — и рубить не пытайся.

Это уже почти угроза — один не утону, с собой поташу! А ведь чем черт не шутит, когда бог спит.

13

Раз тебе угрожают: «Рубить не пытайся!» — значит, руби, особо не мешкай.

Но Самсон Попенкин был не из тех, кто, зажмурившись, с маху рубит. Нет, надо прежде оглядеться. Вдруг да рано еще рубить концы. Необходимо точно узнать, как себя чувствует сейчас дядя Каллистрат? Может, и он охвачен паникой?

Необходимо проникнуть в стан противника.

Нет, для этого не нужно ждать темной ночи, вооружаться отмычками, перевоплощаться в разведчика типа неуловимого Исаева-Штирлица, заворожившего сво-

ей ловкостью всех китежских телезрителей. И вообще нет нужды покидать свой обжитой тесный кабинет, стоит снять лишь телефонную трубку, набрать соответствующий номер.

Как любой уважающий себя руководитель Каллистрат Сырцов держал перед собой заслон в лице секретарши.

— Кто говорит? — сухо вато спросил женский голос.

То ли Вольтер, то ли Бисмарк поучал: если не знаешь, то сказать, говори правду. И Самсон Попенкин последовал этому совету:

— Из редакции газеты «Заря Китежа».

Короткое осуждающее молчание.

— Одну минуточку.

Минуты не прошло, как в трубке раздался глубокий баритон самого дяди Каллистрата:

— Чем обязан?

— Я — ответственный секретарь газеты Попенкин.

— Вам поручили высказать покаянные извинения?

— Увы, Каллистрат Поликарпович, газета пока не собирается каяться.

— Так какого лешего вы мне надоедаете?

— А вы думаете, что в газете сидят лишь одни ваши враги, Каллистрат Поликарпович?

— Уж не друзья ли на меня эту разудалую статейку навесили?

— Нет, не друзья. Ваши друзья были против ее опубликования. И можете поверить, я в числе их.

— Предположим. Так что вам нужно от меня, верный друг?

— Твердых данных.

— Каких данных?

— Оправдывающих комбинат в целом и лично вас в частности.

— Оправдывающих?.. А я, друг любезный, оправдываться и не собираюсь. Упрекаете, что речку вашу захламленную пачкаю... Да, пачкаю! Спросите: буду ли продолжать пачкать? Отвечу: буду! Потому что и рад бы не грешить, но нужда заставляет.

— А эту нужду не раскроете мне... поподробней.

— Как вы думаете, друг далекий, во сколько круглых миллиончиков обошелся для государства наш комбинат?

— Не знаю, но полагаю, что очень много.

— Вот именно! А фильтрационные установки, кото-

рые бы вернули вашей жалкой речонке ее родниковую чистоту, обойдутся чуть ли не во столько же... Да, да, почти в стоимость всего комбината. И то еще бабка на-двое гадала — то ли будет прежняя родниковость, то ли нет. Фильтрация промышленных отходов — должны бы без меня знать, любезные, — слабое место всей современной техники. Все индустриально развитые страны стонут от этой слабинки. Представьте себе, не один Китеж.

— Ну, хотя бы не идеальную фильтрацию, Каллистрат Поликарпович, хотя бы какую-нибудь иметь.

— У нас есть, и не какая-нибудь, — поля фильтрации на добрых два десятка гектаров. И, как видите, помогают неэффективно.

— И ничего больше нельзя сделать, Каллистрат Поликарпович?

— Почему нельзя... можно — закрыть комбинат.

— Все ясно. Благодарю вас, Каллистрат Поликарпович.

— Не за что. Втолкуйте это другим моим верным друзьям.

Самсон Попенкин осторожненько положил трубку на телефон.

14

А главный редактор Крышев в эти самые минуты отчаянья решил тоже действовать. Надо вооружиться на тот случай, если его вызовут и спросят: «Что вас, дорогой товарищ, заставило, какие мотивы?..» Не ответишь же с невинным видом: мол, вы и заставили, от вас пошло — дай статью, и непременно набатную! Не-ет, сразу отрезвят: «А разве мы это имели в виду. Вольно вам так понимать. С больной головы на здоровую! Не выйдет, товарищ Крышев!» Надо иметь под рукой хоть какую-то оправдывающую документацию, чтоб когда спросят: «Что вас?..» — открыть папочку и выложить: «Вот что». Факты, сведения, наглядные доказательства, попробуйте-ка закрыть глаза. И чем нагляднее, тем лучше.

Илья Макарович нажал кнопку:

— Тугобылева ко мне!

Тугобылев, старейший мастер китежского фоторепортажа, был способен почтенного старца запечатлеть на фотобумаге пылким юношей, какое-нибудь произ-

водственное бригадное собрание — героической сценой а-ля Давид «Клятва Горациев».

Он явился, тучный, красный, с сипотцой дышащий, вооруженный короткой фотопушкой, готовый ринуться по приказу — одна нога здесь, другая там.

— У вас в ваших запасах есть снимки, по которым бы можно увидеть во всей наглядности нашу гибнущую природу? — с ходу спросил Илья Макарович.

Тугобылев оскорбился:

— Гибнущее, Илья Макарович? Да что я, бракодел какой! Или я чутья лишен начисто? Если уж я, скажем, лес снимаю, то он у меня — ай-люли! — пышненький, если озеро — так душа радуется. Гибнущее, Илья Макарович, не мое амплуа — только цветущее!

— А надо отобразить.

— Гибнущее?

— Да. И во всей убийственной наглядности!

Тугобылев озадаченно поскреб лысину:

— Ну, а что именно?

— Ну, леса умирающие, без листвы. Ну, грязную воду речки. Потоки промышленных отходов... Да найдите, найдите! Что я вам, пальцем указывать должен. Вы мастер, а не я.

— Леса без листвы... Гм!.. Так они теперь все без листвы — осень.

— Придумайте что-нибудь, придумайте!

— А грязную воду, да помилуйте!.. Можно в воде дохлую собаку снять или старую бочку, а грязь...

— Да, грязь! Да, промышленную! Никаких дохлых собак!

— Абсолютно не фотогенично.

— Добейтесь!

— Не смогу, Илья Макарович.

— И не одну фотографию, а много, много! Чтоб волосы дыбом, чтоб за голову схватились!

— Илья Макарович, я всю жизнь стремился к идеальному, к прекрасному, а тут грязь... Не невольте!

— Надо, Тугобылев! Надо!

— Да еще чтобы волосы дыбом! Помилуйте!

— Надо, Тугобылев! Надо!

— Всю жизнь стремился воспеть...

— Наступи, Тугобылев, наступи на горло собственной песне. Слышать не хочу отговорок. Старейший мас-

тер, опытнейший и — пасует, руки опускает перед трудностями! Стыд-но!..

Начался большой главредаторский разнос. Тугобрылев клонил долу обширную лысину и слушал.

Без обычной прыти — одна нога здесь, другая там — выскочил он из кабинета Ильи Макаровича и наткнулся на озабоченного Самсона Попенкина, не удержался, чтоб не поплакаться:

— Самсон, ты же меня знаешь, я всю жизнь к прекрасному лицом. А тут... меня, Тугобрылева!.. На грязь!..

Самсон Попенкин выслушал, посочувствовал:

— Ничем тебе не могу помочь, пушкарь... Но ты на всякий пожарный случай не забудь и комбинат снять во всей красе и величии. Пригодится.

— Да это я с фанфарами! Это я так возвеличу — не комбинат, а соната получится! Чтоб дыхание перехватывало!

— Там у них поля фильтрации большие, на много гектаров. Их еще никто не снимал. Возьми на прицел, пушкарь.

— Без грязи?

— Уж постарайся, чтоб выглядели чистенькими. Кому приятно на грязь любоваться.

— Эт-то пожалуйста! Эт-то за милую душу. Поля фильтрации! Да сиять будут, как начищенные!..

Самсон Попенкин с невольной жалостью представил себе Крышева, сгибающегося над зеленым полем своего письменного стола: «Ну и ну, картинками спасти себя хочет. Дошел». Нужно брать управление в свои руки, повернуть круто редакционный корабль — кормой к вздыбленному набатом городу, носом к дяде Каллистрату.

15

Обычно Полина Ивановна навещала ответственного секретаря Попенкина, сегодня он сам к ней явился.

В конце длинного редакционного коридора — комната, стесненная шкафами. Это сокровищница. Сюда со всех концов китежской земли стекаются вести в проштампованных конвертах. Тут можно познакомиться и с высокими порывами какой-нибудь периферийной поэтической души, и с горячими жалобами на местные порядки, и с различными предложениями — делового характера, нравоучительного, кляузного, просто невразумительного. Вести слетаются, сортируются, нормиру-

ются и в конце концов прячутся в монументальные шкафы, запираются уже на века. На то это и сокровищница, чтоб ревниво хранить, а не пускать по ветру.

Большинство писем адресуется главному редактору Крышеву, но читает их только Полина Ивановна. Наверное, нет на свете скучнее обязанностей, чем по долгу службы читать чужие письма, потому-то на лице Полины Ивановны отпечаталась покорная, непроходящая унылость. И подслеповатые очки в железной оправе, и жидкие волосы, которые, казалось, кто-то с небрежной торопливостью завязал для памяти в узелок на затылке, и общее впечатление — вся Полина Ивановна припорошена пылью, не проветрена.

Кроме того, у Полины Ивановны — чего Самсон Попенкин не мог знать — очередные неприятности в семье, отец поносит сына, сын не ночует дома, а этажом ниже кричит пенсионер Пэпэша: «Стрелять! Стрелять!» И это тоже действует на нервы, усугубляет унылый вид Полины Ивановны.

— Полина Ивановна, покажите мне все читательские отклики на статью Ивана Лепоты, — потребовал Самсон Попенкин.

— Я вам уже показывала.

— Когда?

— И вчера, и сегодня. Каждое утро ношу. Вот еще два письма пришло только что.

— Гм... — Самсон Попенкин за свою многолетнюю практику как-то не привык обращать внимание на то, что приносит ему Полина Ивановна. — А не помните, было что-нибудь интересное? Эдакое боевое против Лепоты?

— Нет, — равнодушно отозвалась Полина Ивановна. — Да и не может быть, я думаю.

— Почему же?

— Да потому, что вот уже пятнадцать лет я ношу вам письма, а вы еще ни одно не напечатали. Ни одно.

— Все-таки соберите сейчас мне все, что касается Лепоты. Еще раз внимательно просмотрю. Читатель — это народ, дорогая Полина Ивановна. Народ! А откуда еще нам и черпать существо дела, как не из народной гущи.

Через пятнадцать минут Самсон Попенкин шагал к себе, унося под мышкой папку.

Стоит задача — развернуть идущий корабль! Набатная статья нацелена против дяди Каллистрата. Так

что же — поместить иную статью, подписанную иным автором, нацеленную уже в иную сторону — не «против», а «за». Но тут-то живенько заметят: вчера вы так, сегодня эдак, пели за упокой, теперь за здравие, и нашим и вашим за копейку спляшем — явная беспринципность! Новая статья никак не подходит, а прежним курсом идти дальше опасно. Какой выход? Да самый простой, самый проверенный — читательское письмо! Читателю не возбраняется думать по-всякому — и «за», и «против», соглашаться с редакцией и возражать ей. Почему бы не прийти письму, решительно возражающему Ивану Лепоте, — за дядю Каллистрата, никак не против. Почему бы и не опубликовать его. Выходит, что газета читательским голосом громит то, что прежде утверждала статьей, — курс изменен, корабль развернут! Вчера так, сегодня эдак — беспринципны? Ан нет, наоборот, не зажимаем рот читателю, распахиваем двери перед любым честным мнением — сугубо принципиальны, сверхобъективны. Кто смеет думать иначе?

Самсон Попенкин нес к себе папку с читательскими письмами.

Он сел за стол, с примерным усердием раскрыл папку, взял первое письмо. В нем некая Кагя Колбасина, ученица восьмого «А» класса, крупным почерком признавалась в своей любви к стихам Ивана Лепоты: «Лепота — наш китежский Есенин». Самсон Попенкин посидел мечтательно над письмом и со вздохом отодвинул всю папку. Ворошить все эти бумаги — мартышкин труд. В своей газетной практике Самсону Попенкину еще не удавалось выловить золотую рыбку из почтового потока. Стоит задача сокрушить набатную статью, а она, что ни говори, — своего рода шедевр. Клин вышибается клином, шедевр можно сокрушить только шедевром! Рассчитывать, что нужный шедевр лежит в готовеньком виде в этой папке, — утопия. Не теряй времени зря. Думай, как родить.

Есть старый бесхитростный путь, истоптанный газетчиками, — организовать нужное читательское письмо. Сначала подыскивается подходящий человек, не из литераторов, не из штатных газетчиков — из широкой читательской массы. Потом ему втолковывается, что именно следует написать. Потом это написанное доводится «до кондиции».хлопотнo, трудоемкo и ненадежно — можно оскользнуться. Кто гарантирует, что на автора не обрушатся с упреками, что он выдержит на-

пор, не примется оправдываться: я-де тут ни при чем — нажали, заставили. «Кто заставил?» — «Да вот он!» Перстом на виновника, полный конфуз.

Самсон Попенкин не любил истоптанных дорог, да еще столь скользких. Куда проще самому... Да, да, от лица имярек — все что нужно, с должным накалом. Клин вышибается клином, шедевр — шедевром.

Но подтасовка? Подлог?

Нет, высокое творчество!

Кто осмелится упрекнуть великих писателей, что они подсунули миру никогда не существовавших во плоти чичиковых, раскольниковых, холстомеров, каштанок? И можно ли упрекать тогда Самсона Попенкина в том, если он одарит град Китеж вымышленным глубоко-мысленным читателем с сугубо реальными взглядами и чаяниями.

Готового письма нет, и Самсон Попенкин придвинул к себе лист чистой бумаги, углубился в творчество.

«Дорогая редакция! Вас не удивляет гот угар, который, вырвавшись со страниц вашей газеты, кружит сейчас не в меру горячие головы?...» Перо забегало по бумаге.

Обычной жизнью жила редакция — где-то звонили телефоны, шли споры о строчках, не влезающих в колонку, стучали пишущие машинки, галопчиком по коридору пробегали курьеры, а здесь, в тесном, узком кабинете, свершалось великое таинство перевоплощения — ответственный секретарь Попенкин исчез на время, вместо него сидел за столом некто, добропорядочный гражданин города, скромный труженик, активный подписчик газеты, болеющий за выполнение планов, осуждающий израильскую агрессию, горячо желающий родному городу мира и процветания.

Перо бегало по бумаге:

«Угаром охвачен наш город! Человек, который, как птицу Феникс, поднял из праха величественный промышленный комплекс, оказывается вдруг злоумышленником. Угар столь велик, что вот-вот раздадутся нагасные вопли: «Распни его!» Но во имя чего, спрашивается? Да во имя дыма костров, запаха ухи, которые столь трогательно оплакивает лирик Лепота, получивший в Китеже странную, ничем не оправданную известность...»

Эти строки должны сильно не понравиться Кате

Колбасиной, юной читательнице газеты, пребывающей в восьмом «А». И не только Кате — многим, ой многим!

Но перо бегало по бумаге, язвило Ивана Лепоту:

«Очнемся же! Оглянемся! Удивимся на себя! Что на что мы меняем? Величественный комбинат на запах ухи! Промышленный прогресс на слезливые эмоции подозрительного поэта! Назад к первобытным кострам — стремление питекантропов!..»

Перо само вывело разящее слово — пи-те-кан-тропы! Многие же взвоют от него — все почитатели Ивана Лепоты, все противники дяди Каллистрата.

И под конец глубокомыслящий читатель решает сразиться с поэтом Лепотой его же оружием. В защиту Каллистрата Сырцова он выдает следующие вдохновенные строки:

Мы вас любим, мы вас ценим,
Нет вопроса — нужен ли?
Так парную ценит баню
Пропотевший труженик!

Самсон Попенкин отложил перо в сторону. «Были когда-то и мы рысакими!» Как жаль, что ни Иван Лепота, никто из китежан, бескорыстно любящих настоящую поэзию, не узнает истинного автора этих возвышенных строк! Но мед, выпитый тайком, не становится менее сладким.

В письме не хватало одного — авторской подписи. Какую поставить фамилию? Нужно нечто обобщающее, массовое — Иванов, Петров, Сидоров? Да будет так — пусть явится миру, скажем, некий Иван Петрович Сидоров.

И Самсон Попенкин снова поднял отложенное перо, подмахнул внизу: «И. СИДОРОВ». И опять, должно быть, в сутолоке дня проскрипело колесо китежской истории.

Как ни прозорлив был Самсон Попенкин — прозорлив временами до ясновиденья! — но все-таки он наивно полагал, что родил всего-навсего честное читательское письмо, подбросил, так сказать, новое полено в костер. Тогда как в эти минуты родился — нет, даже не новая историческая личность, а нечто большее — дух, наделенный таинственной силой!

Полина Ивановна с полнейшим невниманием отнеслась к неожиданному интересу ответственного секретаря к читательским письмам, тем более что папка с письмами была ей возвращена, Самсон Попенкин походя бросил:

— Все в порядке. Кое-что выловил.

Ну, выловил так выловил. Полина Ивановна упрятала письма в шкаф — на вечное хранение. Вообще-то она с самозабвенной честностью относилась к своим обязанностям. За многолетнюю службу у нее не произошло ни одного читательского письма. Ни разу она не позволила себе прийти на работу на пять минут позже, уйти на пять минут раньше, даже не могла в служебное время думать о чем-либо, кроме классификации и хранения писем. Но в последние дни мысли ее были заняты семейными неурядицами, — сын по-прежнему не ладил с отцом. Словом, Полина Ивановна в данный момент утратила бдительность.

В тот вечер ее томило какое-то предчувствие, едва дождавшись конца рабочего дня, она заторопилась домой.

И предчувствие не обмануло: семейный очаг походил на огнедышащий вулкан, — явился блудный сын и выяснял отношения с отцом.

Они сошлись. Волна и камень,
Стихи и проза, лед и пламень...

Отец в шлепанцах, в домашней потертой вельветовой курточке, обихоженная лысина нежно розовеет от родительского гнева. Сын, мятый, взъерошенный, в чужом свитере с разодранными локтями.

— Когда?.. Когда я тебя обманывал?! — тенористым петушком наскакивал отец на сына.

— Ты мне всю жизнь обещал лучший из миров, — простуженно сипел сын.

— Обещал? Да я тебе его добыл! Завоевал! Горбом выколотил!

— Спасибо. Только что я имею?

— Ты сыт, ты одет, обут, в тепле живешь, на чистых простынях спишь. Чего еще? Какого рожна?

— Не хочу чистых простынь. И сытости тоже... Свободы хочу!

— Это как понимать?

— А так... Тут даже улицу не перейдешь, где тебе нравится, сразу милиционер засвистит. Кругом запреты — хорош твой мир!

— Ишь чего захотел — улицу в недозволенном месте. Разохотишься на недозволенное, не остановишь тебя.

— И не смей останавливать — уважай мою личность. Требую!

— Хе-хе! А можно ли тебя уважать? Ты ведь та-кой — палец протяни, руку откусишь. Ты тогда ко мне всякое уважение потеряешь. Нет, братец, тебе доверять нельзя, держать за воротничок надо, чтоб из рамок не вышел.

— Лучше смерть, чем рамки.

— Вот именно, вот именно! Без рамок, без законов и будет тебе смерть. Захочешь перескочить улицу в недозволенном, а тебя шофер — тюк! Без рамок, без законов, без порядка — какая жизнь?

— А я, может, хочу такой мир, где никаких шоферов.

— Это как так?

— А так — без машин, которые воздух портят, без заводов, без никакой техники — самолетов, танков, бомб.

— И что же останется?

— Солнце, воздух и вода да земля зеленая.

— А питаться — это воздухом и водичкой?

— Жили же люди раньше без всякой техники, и ничего...

Отец схватился за дозревшую до апоплексической спелости лысину:

— Слушай, мать! Смотри! Кого мы с тобой вырастили? Рутинера! Консерватора! К обезьянам ему хочется! Назад к обезьянам!

Полина Ивановна, не сняв ни пальто, ни берета, стояла, прислонясь к косяку дверей. Она-то надеялась — сын образумится и все пойдет по-старому. Увы! И в том ли дело, что непослушный сын поскандалил с отцом, нет, тут какое-то сумасшествие, какая-то эпидемия занесена в тихий град Китеж!

Полина Ивановна не читала древних египетских манускриптов: «Нынче дети перестали слушаться своих родителей...» Ей казалось, что все это небывалое, чудовищное — странный мир портит сына...

Самсон Попенкин на этот раз решил не утруждать Илью Макаровича, сам «накинул петлю на собаку», распахнул письму читателя Сидорова дверь в зону печатного слова: «Добро пожаловать!»

Еще не появились из типографии влажные оттиски читательского письма, а уже вся редакция настороженно зашумела:

— Читали?

— Да-а, глубокий вираж.

— Опять паленым запахнет.

— Напротив, напротив — хар-рош-шая бадейка халодной водички на разгоревшийся костер.

— Ну, дыму и треску будет!

Стены редакции, обычные на вид, добротнo кирпичные, имели удивительное свойство выпускать наружу каждый более или менее значительный звук. Вечером, до того как новый номер газеты был окончательно сверстан, по улицам и переулкам града Китежа пошел невнятный говорок. Очень невнятный и невразумительный. Сосед бежал к соседу и объявлял:

— Слушок есть, Ивана Лепоту того...

— Что — совсем?..

— Ну, совсем не совсем, а душу повытряхнут.

И осведомленный сосед бежал к другому соседу:

— Ивана Лепоту, слышали... Совсем, похоже, того...

— С милицией?

— Пока неизвестно, но ясно — Кузьмой Мининым в наши дни долго не разгуляешься.

И ахи, и охи, и глухое возмущение, и — что принять называть — в «зобу дыханье сперло».

Кирпичные стены редакции были звукопроницаемы, а вот дверь кабинета Ильи Макаровича Крышева — нет. Он узнал о рождении честного читательского мнения Сидорова, лишь развернув типографский запашистый номер газеты. Прочитал, посидел оглушенный и накинулся на телефон:

— Попенкин, ты?.. Сейчас же сюда!

И Самсон Попенкин послушно появился в кабинете главного, занял насиженный стул напротив безмолвствующего телевизора — взгляд не виляющий, вдумчивый, узелок галстука туго затянут, пиджак застегнут на все пуговицы.

— Что это значит? — Крышев ткнул рукой в развернутый газетный лист.

— Читательское письмо, как видите.

— Это что, вроде сюрприза на именины? Почему со мной не согласовали?

— Разве о Каллистрате Сырцове есть что-нибудь новенькое?

— При чем тут Каллистрат Сырцов?

— Да при том, Илья Макарович, что вас могут упрекнуть: набат подняли и тут же на попятную.

— Вот именно! Именно! На попятную! Кто вас просил соваться с этим письмом?

— Хочу, чтоб вы в любом случае остались главным редактором, — когда Сырцова победят и когда он победит. В первом случае у вас заслуга — набат подымали против Сырцова, во втором случае заслуга у вашей газеты — выступила в защиту.

Илья Макарович разглядывал своего невозмутимого помощника растерянно и подозрительно.

— Ловчишь, братец! Благодетелем прикидываешься. Выходит, я в Каллистрата стрельнул, ты его прикрыл.

Сохраняя невозмутимость, Самсон Попенкин поднялся со стула:

— Да, прикрыл с тылу. Впрочем... снимите письмо. Лежит набранный материал о доярке Капустиной. Не поздно, тираж еще не начали выдавать.

И главный редактор Крышев в одну минуту был обезоружен. Снять читательское письмо, когда оно уже заверстано, — значит вызвать суды и пересуды, значит выставить себя открытым врагом неуязвимого Каллистрата Сырцова. И хочется и колется — ох уж эта диалектика!

Самсон Попенкин, четко отстукивая каблучками, с навешенным затылочком, отмаршировал из кабинета.

Ничто уже не могло остановить входящего в мир читателя с сугубо массовой, народной фамилией — Сидоров.

Устойчиво слякотное утро над градом Китежем. Мокрый от дождя фасад редакции с его неуловимой страдальческой перекошенностью.

Две застекленные витрины сбоку от подъезда.

Одна хранит в себе покоробленные выцветшие фо-

тографии на тему — проведение весеннего сева. Сейчас вокруг града Китежа простирается глубокая осень, но фотографии отражают весенний сев, возможно не нынешнего, а прошлого года. Скорей всего, они просушествоуют благополучно до нового сева, обретут свою актуальность.

Вторая витрина хранит наисвежайший, только что испеченный номер газеты «Заря Китежа».

Из жидкого, но неиссякаемого потока прохожих всегда находятся охотники задержаться у последней витрины. Обычно — три-четыре склоненные головы, сегодня — толкучка. Обычно — академическое спокойствие, каждый из читателей в одиночку переваривает газетные новости и, ни с кем не поделившись, удаляется. Сегодня распахнутые печатные полосы рожают трибунов.

— Эт-то на кого он замахивается? Эт-то он на нас, братцы! Пи-те-кантропы мы! Чуете?.. Я, значит, пи-те-кантроп, то есть вроде большой обезьяны... Эт-то что же, братцы, по рылу нас, а мы утирайся! А?!

Витийствует трибун-самовыдвиженец — кепка мокрая, как вынутый из рассола груздь, небритая измятая физиономия, незастегивающееся пальто, руки энергично засунуты в надорванные карманы, и голос, словно специально созданный для убеждения случайных встречаемых на улице, голос, в котором чувствуется глубинная интонация: «Повякай мне!»

Спешившая на работу Полина Ивановна не без робости обошла стороной трибуна, вскользь бросила на него смятенный взгляд. А тот взывал к скопившимся читателям, будил в них совесть:

— На Лепоту, братцы, навалился!.. Я этого Сидорова в гробу видел в белых тапочках, а вот с Лепотой знаком. Удостоился! На троих как-то раздавили. Стихи нам читал. Пронзительной силы человек! А тут Сидоров какой-то...

Трибун раздувал ноздрю, раздвигал плечи, — вот, мол, какой крупный овощ в окрошку рублю!

Полина Ивановна, не дождавшись последнего сокрушительного удара по Сидорову, нырнула в редакционный подъезд, по обшарпанной лестнице вбежала на второй этаж и... попала прямо в объятия старейшего мастера китежского фоторепортажа Тугобрылева.

— Полина Ивановна, голубушка! Вас, вас сторожу!

Специально пораньше пришел. Адресочек мне, не в службу, а в дружбу.

— Какой адресочек, Осип Осипович?

— Как — какой? Сидорова! Через вас он прошел, через ваши руки!

— Сидоров?.. Ничего не пойму.

— Не темните, Полина Ивановна, голубушка, не темните! Откуда Самсон выудил это письмецо? Могло ли оно — хе-хе! — мимо вас пройти? Уж не темните.

— Не знаю никакого Сидорова, — растерянно ответила Полина Ивановна, вспоминая трибуна, витийствующего у подъезда.

— Полина Ивановна, вы войдите в положение: кто такой Осип Тугобылев? Стрелок! Тем только и занимается, что знаменитостей на мушку берет. Балерина выше других прыгнет — на мушку ее! Бык-производитель выдвинется — тоже на мушку... Сейчас вот Сидоров! Ба-альшу-ую славу от него жду. Не может быть, чтоб он при письме адреска не указал, хотя бы на конвертике. Ась?

— Сидоров... Я только сейчас его имя услышала, когда в редакцию подымалась.

— Ну, Полина Ивановна, ну-у! Шутница вы, право.

— Ничего не знаю, Осип Осипович. Честное слово. Не невольте.

Мелкие продувные глазки на обширной круглой физиономии Тугобылева по мере возможности распахнулись, обрели некую квадратность.

— Це-це-це! — процокал наконец мастер фоторепортажа. — Вот, оказывается, какие пироги! Не невольте... Засекретить приказано. Це-це-це! Сидоров-то, он, может, совсем и не Сидоров! Мне, старому дураку, такое и в голову не ударило... Молчу, Полина Ивановна, молчу! Не буду неволить. Нет!..

И лихой мастер фоторепортажа слоновьим галопчиком ринулся в ближайшую по коридору комнату, где уже собрались, но еще не приступили к своим обязанностям сотрудники.

— Мраком, братцы, покрыто! Мраком! — выкрикнул с порога Тугобылев.

— Пушкарь что-то принес.

— Читатель — ха! А его личность в тайне держат, не подступись.

— Ты о ком?

— О ком еще, как не о Сидорове. Никаких сведений о нем не выдается. Засекречен.

— Эге, не среднего размера, выходит, фигура.

— Да и видно зверя по следу.

— Не дядя ли Каллистрат под псевдонимчиком?

— Если наши Каллистрата подмочить не испугались, то уж мокренького-то зачем пускать на порог.

— Крупней самого Каллистрата!!

И все на минуту притихли, кто-то подавленно обр-нил:

— Ну и автор к нам залез, мать честна!

Слух о таинственном величии Сидорова молниеносно распространился по редакции, выплеснулся за ее пределы.

А в это время Полина Ивановна, как всегда, тихой отшельницей уединившись в своем отделе писем, развернула свежую газету и впервые познакомилась с письмом читателя Сидорова. Бродившие вчера вечером по редакции разговоры не добрались до тихой отшельницы.

Сидоров... Письмо... Нет, она не помнит такого письма и такого читателя. Не было. Но вот оно налицо: «Дорогая редакция! Вас не удивляет тот угар, который, вырвавшись со страниц вашей газеты...» Самсон Яковлевич Попенкин брал письма, вернул их со словами: «Все в порядке. Кое-что выловил». Ничего себе, кое-что... Не могла же она проглядеть.

Полина Ивановна ринулась к нужному шкафу, нужной полке, достала все письма, которые отдавала Самсону Попенкину, и на целый час утонула в них, придирчиво проглядывая каждое. Ничего похожего. Странно. Но — «Дорогая редакция! Вас не удивляет тот угар...»

Ей пришла в голову отрезвляющая мысль: раз письмо Сидорова прошло в печать, то не может оно храниться среди этих возвращенных за ненадобностью, его наверняка направили в другие архивы... Мысль трезвая, но не успокаивающая.

Загадка — как она могла его проглядеть? Если б был наплыв писем. Не часто, но на памяти Полины Ивановны случалось — газету захлестывало половодье читательских мнений. В последний раз, дай бог памяти, оно произошло лет семь тому назад, когда все того же Ивана Лепоту ударили за умиление перед несуществующими китежскими колоколами. Читатель ринулся в

бой, решая обоюдоострый вопрос — хорошо или дурно поступили в свое время, лишив град Китеж колокольного звона? Но и тогда Полина Ивановна умудрялась проглядывать каждое письмо. Сейчас наплыва не было, читатель не успел раскачаться, со скромным ручейком эпистолярного жанра справиться не представляло никакого труда.

Письма не было — письмо налицо: «Дорогая редакция! Вас не удивляет...» Год за годом, изо дня в день Полина Ивановна перебирала письма и ждала... Незатухающая искорка надежды из года в год, изо дня в день — вдруг да среди этой сырой породы наткнется на алмаз, добудет его, покажет всем. И все удивятся, все придут в восторг, заговорят о Полине Ивановне. И вот оно — случилось! Раскрытая на столе газетная полоса, читательское письмо: «Дорогая редакция! Вас не удивляет...» Говорят, волнуются, Тугобрылев ищет автора письма, видит в нем будущую знаменитость... Тот самый алмаз, о котором мечтала! Единственная во всю жизнь удача!

И как ни напрягает она память, а вспомнить не может. Больна? Невменяема? Старость подходит?..

На Полину Ивановну навалился тревожный страх.

Она больше не могла сидеть в своей тихой комнате, ей, как и Тугобрылеву, захотелось непременно узнать, кто и что этот Сидоров, как его принимают. Полина Ивановна вышла в коридор и через несколько минут узнала, что Сидоров не из простых читателей, что «вид-но зверя по следу», — за ним кто-то прячется. Полина Ивановна сразу почувствовала облегчение: уж если он не простой читатель, то и его письмо, наверное, попало в редакцию не простым путем, не по почте. Удивительно ли, что оно миновало ее руки.

Каждое утро она заглядывала к ответственному секретарю по долгу службы, заглянула и сегодня, неся пару совсем незначительных писем. Самсон Попенкин находился в обычной запарочке — ворошил какие-то гранки, отчитывал кого-то по телефону за неоперативность. Увидя Полину Ивановну, он сразу же бросил трубку, возбужденно потер руки:

— А наше письмецо, Полина Ивановна, работает. Как еще работает!

— Наше?.. — упавшим голосом переспросила Полина Ивановна.

— Наше, Полина Ивановна! Наше! Золотую рыбку мы с вами нынче выудили.

Полина Ивановна ничего не ответила, постояла, смятенно поблескивая очками, и вышла, даже не положив на стол ответсекретаря приготовленные письма.

19

Главный редактор Илья Макарович Крышев только тем, собственно, и занимался, что ждал, ждал чего-то. А результат один — ничего! Угрожающе молчали на его столе телефоны, никто никуда его не вызывал, никто у него ни о чем не справлялся — полное забвение, никому не нужен. Если бы... Но забвение невозможно. Не настолько мелкая фигура он в городе, чтоб забыть о нем в смутное время. Да и смуту-то эту вызвал он, накинув собственноручно «петлю на собаку». Нет, о нем, конечно, помнят, имя его где-то постоянно повторяют...

Ничто в жизни так не обессиливает и не выматывает, как ожидания. Жизнь в неподвижности — бессмыслица, жизнь — только деятельность, только движение. Ожидание останавливает жизнь. Даже ожидание поезда, приходящего по расписанию, — несносно. А ожидание не зная чего, неведомого — и вовсе невыносимая пытка.

Илья Макарович коченел в неподвижности, а вокруг него все бурлило. Письмо Сидорова, беспокойная толкучка прохожих перед газетной витриной у входа в редакцию, охающий, побрякивающий, шушукающийся редакционный коридор. Илья Макарович не выдержал, вышел из окаменелости, поднялся из-за зеленого поля своего рабочего стола, покинул упрямо молчащие телефоны, вылез в коридор...

Боковой стеснительной походочкой он вплотную приблизился к своим сотрудникам. Рядовые сотрудники сперва несколько смутились от этой неожиданной вылазки, но, когда Илья Макарович с наигранной бодростью заговорил с ними — «Как настроение? Что новенького слышно?» — сразу освоились и насели:

— Сидоров, Илья Макарович, это псевдоним?

— Можно ли рассчитывать, что он раскроет свое инкогнито?

Илья Макарович в считанные минуты проникся общим убеждением, что Сидоров вовсе не простая птица. Да и как тут не проникнуться, когда нервы взведены,

ждешь, ждешь и не можешь ничего дожидаться. Кроме того, не в натуре Ильи Макаровича Крышева было отрываться от масс — верил всегда в то, во что все верили, думал так, как думают все.

Сидоров — маскировочка под простого читателя! Вот этого-то он и не предполагал, а следовало бы! Обстоятельство — чрезвычайной важности...

Илья Макарович боковой походочкой ринулся было искать Самсона Попенкина, чтоб прижать, дознаться до сути, но он не успел сделать и шагу, как из приемной вырвалась секретарша.

— Илья Макарович!.. — Придушенный крик, свалившийся сразу же к столь же приглушенному шепоту: — Вас!..

О нем вспомнили, его звали!

В одно мгновение он оказался в своем кабинете у телефона, прижал потной рукой трубку к уху:

— Слушаю вас.

— Вопросик один возник, товарищ Крышев. Этот Сидоров... Э-э... Кто он, собственно?

Вопрос в лоб без пристрелки. Там тоже интересовались личностью Сидорова, мало верили в его простой читательский облик.

Илья Макарович замялся. Ответить: не знаю — он не мог, на то мгновенно будет резонное возражение: «А кто должен знать?» И вовремя пришла спасительная идея.

— Минуточку, — ясным, без особой дрожи голосом сказал Илья Макарович. — Я вызову человека, через которого прошел этот материал. Он вам все скажет, кто и что... — Оторвался от трубки, кивнул секретарше: — Попенкина! Живо!

Самсон Попенкин незамедлительно явился, от дверей к столу чеканными шажками, на лице вежливая готовность и никакой растерянности, никакого страха — ну и выдержка у этого сукина сына! Принял из руки Ильи Макаровича отсыревшую трубку, сказал бодро:

— Ответственный секретарь редакции Попенкин слушает... Да, я. Да, через меня... Пришло к нам самым обычным путем — через отдел писем... Извините, но столь важные вопросы, мне кажется, требуют объективного подхода. Мы посчитали нужным опубликовать и такое мнение... Спасибо... Спасибо... Я не сомневался, что вы одобрите... Ах, насчет самого автора... Я уже сказал: Сидоров отрекомендовался нам как читатель,

и только... Из окружения Каллистрата Поликарповича, хотите сказать? Возможно, но, на мой взгляд, маловероятно... Почему? Да потому, что мы много раз заказывали работникам комбината разные статьи, и если сравнить — не тот стиль. Комбинатовцы бы непременно оперировали цифрами, а тут, как вы заметили, несколько иное... Не знаю, не знаю... Возможно, вполне возможно... Да, да, и я склонен считать, что товарищ Сидоров куда более прав, чем Иван Лепота... Рад, что мои взгляды сходятся с вашими. До свидания.

Самсон Попенкин положил трубку, многозначительно поглядел на своего главного редактора, все еще пребывающего в почтительной стойке.

— Выступление Сидорова... одобряют.

Илья Макарович отозвался, как эхо:

— Одобряют...

— Я вам больше не нужен, Илья Макарович?

— Нет... То есть — да. Да, нужен. Сообщите по отделам — созывается срочная летучка. Немедленно все ко мне!

Выступление читателя Сидорова одобряют, значит, ему, Илье Макаровичу Крышеву, тоже надо одобрить. И так, чтобы все слышали. И не медля ни минуты, чтобы никто не успел подумать — он колеблется.

Самсон Попенкин кинул на своего главного понимающий взгляд, кивнул обкатанной головой.

— Хорошо.

20

Ничто в жизнь града Китежа не вошло так широко и прочно, как собрания. Собраниями отмечаются праздники, собраниями переполнены будни. В самом зеленом возрасте, переступив порог школы, еще не получив права гражданства, китежанин уже знает, что вся его жизнь пойдет от собрания к собранию. Собранием же она и закончится: «Спи спокойно, дорогой товарищ...»

Коллектив редакции периодически воодушевляется тремя видами собраний: летучками, которые собираются по любому поводу и без повода чуть ли не каждый божий день; собственно совещаниями, проводимыми куда реже, и, наконец, редакционными коллегиями — своего рода высоким ареопагом, собирающимся от случая к случаю.

Илья Макарович издал клич — на летучку!

За длинным столом, крытым бильярдным сукном, поближе к главному редактору и безмолвствующему телевизору, основательно, с удобствами — одна пепельница на двоих — расположились заведующие отделами, люди степенные, добросовестные, болеющие за газету. Рядовые же сотрудники устраивались в анархическом беспорядке, кому где вздумается, предпочтительно поближе к дверям.

— Я не задержу вас, товарищи, — начал Илья Макарович ритуальной фразой, которая, как правило, не соответствовала действительности. — Кто бы не хотел из нас, товарищи, чтоб наш славный Китеж омывался чистыми водами, шумел листвой густых крон, звенел соловьиными песнями...

Существуют два вида деловых выступлений, которые можно определить как обличительные и как спасительные. Первые всегда начинаются за здоровье и кончаются за упокой, вторые же, наоборот, за упокой начинаются, а за здоровье кончаются. В обоих случаях переход из одного состояния в другое происходит с помощью простого, однако весьма содержательного союза «но».

Илья Макарович начал за здоровье:

— Но, товарищи! Можем ли мы менять соловьиное пение на промышленный прогресс?..

И добрые четверть часа Илья Макарович волевым голосом доказывал, насколько промышленная индустрия дороже соловьиного пения. Волевым и воинственным! Ибо застенчивый Крышев, который даже по коридору вверенной ему редакции ходил бочком по стеночке, в своих выступлениях часто был непримиримо агрессивен.

— Мы, товарищи, объективны. Мы не намерены никому зажимать рот. А поэтому наша газета предоставила место и тем, кто защищает сладкоголосых соловьев, и тем, кто отстаивал развитие нашей китежской промышленности, — Ивану Лепоте и товарищу Сидорову! И вот теперь, когда обе стороны сказали свое слово, мы должны спросить себя: с кем мы?.. Да, с кем мы, товарищи?! Думается, тут двух мнений быть не может...

Голос Ивана Макаровича стал вдруг неправдоподобно громким и торжественным, потому что в кабинете наступила тишина.

— Мы целиком и полностью... Да, да! Полностью с товарищем Сидоровым!.. Товарищ Сидоров нас учит...

Слово товарища Сидорова нам освещает путь... Ценные указания товарища Сидорова...

Тишина придавила все, кроме славящего голоса Ильи Макаровича. Каждый из присутствующих ощутил некий почтительный озноб по коже — вон оно как даже! Все и прежде догадывались, что читатель Сидоров, осчастлививший газету своим письмом, не простой читатель, не массовый, но никто не предполагал, насколько он значителен: он учит, он освещает, он дает ценные указания... Выше некуда. Главный редактор Илья Макарович Крышев, занимающийся в газете внешними сношениями, а значит, широко осведомленный и глубоко чувствующий, открывает сейчас всем глаза на ту пропасть, которая лежит между простыми смертными и тем, кто скромно назвал себя рядовым читателем Сидоровым.

Люди втягивали в плечи головы, а голос Ильи Макаровича, как стальной прут, гнулся и распрямлялся, бил по головам, славя товарища Сидорова. Сам Илья Макарович Крышев был в эти минуты велик его величием.

Самсон Попенкин, сидевший во главе тесной когорты заведующих отделами, уважительно думал: «Однако ловок, умеет выскочить из клещей». Но и он тоже, как все, невольно втягивал голову в плечи.

Наверное, больше всех была поражена Полина Ивановна, скромно примостившаяся возле двери. Вот кто прошел мимо ее рук! Не в потоке, не в потоке — в скудном ручейке проплыла незамеченной столь крупная рыба! И каждое упоминание Сидорова заставляло ее бледнеть и холодеть, сердце срывалось на перебой.

Крышев кончил и опустил в свое кресло:

— Кто хочет высказаться, товарищи?

Конечно, желающие найдутся, будут так же славить товарища Сидорова, будут клеймить Ивана Лепоту, еще вчера возведенного до уровня Козьмы Минина, всеобщего китежского ополченца, но это будет уже жалким повторением. Илья Макарович сделал все, что было в человеческих силах, — никто теперь не усомнится, что главный редактор одобряет позицию Сидорова целиком и полностью.

Выходили из кабинета главного редактора не шумя, не толкаясь, в степенном молчании, несколько подавленные. Никому и в голову не приходило, что в эту минуту вместе со всеми вышел... Нет, не некая автори-

тетная личность, а дух. Дух читателя Сидорова, недосягаемо великий, наделенный непомерной мощью. Вышел и сквозь стены редакции шагнул на городские улицы — будоражить умы, менять судьбы человеческие.

Одну судьбу он, дух, изменил сразу же, не успев даже выбраться из кабинета.

— Осип Осипович! — окликнул Илья Макарович фоторепортера Тугобрылева, чуть замешкавшегося из-за своей толщины в дверях. — На минуточку... Тут я в прошлый раз, Осип Осипович, просил вас запечатлеть кое-что...

— Грязь, Илья Макарович. Грязь просили запечатлеть.

Илья Макарович поморщился: не очень-то тактичен этот Тугобрылев, должен бы понимать, что сейчас вот так, открытым текстом, не к месту и не ко времени.

— Забудем это дело. Не было такого задания. Грязь... Действительно. Как вы тогда сказали?..

— Не фотогенична, Илья Макарович.

— Вот именно.

— Я больше на мотивах прекрасного практикуюсь.

— И чудесно, Осип Осипович. Нужно во всей красе комбинат... Во всей красе и во всем величии.

— Будет сделано, Илья Макарович. Там поля фильтрации, говорят, на много гектар. Никак еще не отражены.

— Только без грязи, Тугобрылев, без всякой нечисти. Ясно?

— Пальчики оближет читатель.

— Действуйте.

И Тугобрылев ринулся к двери действовать.

В это самое время прославленный поэт Иван Лепота был в гостях у не менее прославленного китежского критика Петрова-Дробняка.

Наверное, любому и каждому из многочисленных читателей Лепоты это могло показаться очень странным, ибо чаще других обрушивал критическую дубинку на голову знаменитого поэта именно Петров-Дробняк. И вот нате вам — в гостях, за столом, за раскупоренной бутылочкой, в мирной беседе... Непостижимо!

И не в первый раз они сходились вот так, с глазу на

глаз, почти любовно — беспощадный критик и много-терпеливый поэт, сокол и голубь, коварный барс и грепетная лань. Они были связаны друг с другом, увы, давно и самыми тесными узами. Не кто иной, как Петров-Дробняк, открыл в свое время поэта Лепоту, разругав его первое стихотворение. Разругав, а значит, заставив читателя обратить на него внимание. Не кто иной, как Петров-Дробняк, обычно начинал усиленно хлопотать об издании нового сборника стихов Ивана Лепоты, всячески помогая, проталкивая сквозь редакционные рогатки. Иначе кого бы он тогда сокрушал и развенчивал. Поэт Иван Лепота давал постоянную пищу критику Петрову-Дробняку. Критик Петров-Дробняк, услуга за услугу, неустанно ковал славу поэту Лепоте. Один без другого не мыслились, а потому нужно ли удивляться, что они время от времени сходились за дружеским застольем.

Петров-Дробняк внешне так же мало походил на коварного барса, как и Иван Лепота на трепетную лань. Петров-Дробняк скорей смахивал по облику на ту историческую конягу, которая, как утверждают, была введена когда-то в римский сенат, — монументально важен, но в то же время нескладен, лицо массивно-удлиненное, голос сытый с переливами «Йо-го-го!».

— Слушай, колобок! — оглушал переливами своего голоса хозяин немного осоловевшего Ивана Лепоту. — Все это мне очень не нравится, колобок. Прямо говорю. Ты знаешь, я человек прямой.

— Хватит, серый волк, моим телом питаться, попасись на травушке, — с той же похвальной прямоотой отвечал Иван Лепота. — Нынче я высоко закатился, не укусишь.

— Не хвались, еще скатишься. Тебя уже толкают с высотки, колобок, толкают. Вон уже выпустили на тебя собачку. Хе-хе! В сегодняшней-то газетке... Это какой такой Сидоров, чтой-то не слышал?

— Самсон Попенкин крутит то сюда, то туда. Его работка.

— А Самсонку ты бойся — зверек мелкий, но зубастый, живенько жилу прокусит. Я еще никак не разберусь, какого веса он камешек выбрал. Может, и тяжеленьким быть этот Сидоров.

— Поздно. Весь город за меня. С городом любого перевешу.

Петров-Дробняк то ли с сомнением, то ли с уважением покачал лошадиной головой:

— Однако...

Он не успел договорить, в соседней комнате зазвонил телефон, и Петрову-Дробняку пришлось, кряхтя, подняться со стула.

Минут через десять он вернулся, показывая в улыбке все свои крупные пожелтевшие зубы. Иван Лепота скинул осоловелость, распрямился, — хорошее настроение Петрова-Дробняка никогда не сулило добра.

— Ну, колобок, кончилась твоя песенка: «Я от дедушки ушел, я от бабушки ушел...»

— Новенькое что-нибудь?

— Га! Еще какое! Сидоров-то, оказывается, не из мелкой породы. Га! Сейчас только в любви ему Крышев клялся перед всеми: товарищ Сидоров учит, товарищ Сидоров указывает!.. Чуешь, колобок, чем это для тебя пахивает?

— Н-да, — огорчился Лепота. — Соловей-разбойничек этот Самсон.

— Похоже, тут не Самсонкино дельце, выше бери... — Петров-Дробняк потер мохлявые красные руки. — Ну, шарахнем по последней — да в разные стороны... Мне работать надо, руки чешутся. Такую кашу заварили, а Петрова-Дробняка в сторонке оставили. Не выйдет! Эх и растрясу я тебя нынче в статье, колобок, посыплется мучка! Как товарищ Сидоров учит, как он указывает!..

22

Если газета откачулась от Ивана Лепоты, то в местной студии телевидения тоже было от кого откачнуться — от кандидата медицинских наук Малышева, утверждавшего перед многотысячным телезрителем, что загрязнение воздуха и воды пагубно отражается на здоровье. И кандидат медицинских наук, согласно указаниям товарища Сидорова, был на студии во всеуслышание объявлен весьма отсталой фигурой, сиречь — питекантропом...

На биофаке Китежского пединститута тоже спохватились — ходит по рукам петиция, собираются под ней подписи в защиту биосферы, с обличением Каллистрата Сырцова. Тут уж питекантропов и вовсе было не трудно вывести на чистую воду, — всякий, кто поставил свою подпись, сам себя объявил недостойным звания homo

sariens (здесь пользовались только сугубо научной терминологией). Среди питекантропов оказались, увы, даже несколько профессоров.

Дух читателя Сидорова шагал по городу, будоража умы, меняя взгляды и судьбы.

Но этот могучий дух встретил вдруг достойного противника. В лице кого бы вы думали?.. В лице все того же Петра Петровича, представителя широких масс града Китежа, подписчика местной газеты, скромного служащего, кто регулярнейше слушает последние известия, смотрит телепередачи, выпиливает по вечерам портсигары из плексигласа, любит порассуждать о внутреннем и международном положении. Он, массовый Петр Петрович, только что с лихой отвагой расправлялся с самим могущественным Каллистратом Сырцовым, он обрел в своем характере нечто царственно-львиное, а потому не устрасился и духа читателя Сидорова. Петр Петрович рассуждал: он — читатель, я — тоже, почему его мнение должно быть важнее моего? Какое право имеет Сидоров обзывать меня питекантропом? И почему я должен молчать, утираться? Не желаю!

Сосед сходил с соседом, высказывал свое возмущение беспардонностью Сидорова.

Общество по охране природы, несколько дней назад микроскопически незаметное, теперь же получившее широкую известность, вновь собралось на совещание. Был поставлен вопрос: отказаться ли от охраны природы и сохранить Общество или по-прежнему настаивать на охране и распустить Общество? Дело в том, что товарищи из Охотсоюза, которые милостиво предоставляли помещение Обществу, вдруг решительно встали на точку зрения читателя Сидорова и заявили ультиматум: если вы не поддержите нас, будем вас считать питекантропами, выставим из помещения. А какое Общество, когда негде заседать.

Члены Общества бурно совещались, взвешивали и «за» и «против», а на улице вновь собралась толпа, сплошь состоящая из петров петровичей обоего пола, каждый из которых был недоволен Сидоровым, славил Ивана Лепоту. И разумеется, среди них объявились трибуны — нахлобученные на глаза кепки, небритые подбородки, в голосах глубинные интонации: «Повякай мне!»

И все бы сошло благополучно — Общество дозаседало бы до конца, самораспустилось бы или отказалось от охраны природы; толпа бы рассосалась, трибуны бы

стушевались, — но, на беду, оказался сторонний прохожий, пенсионер по виду, подвижник по духу. Не испугавшись многочисленной толпы, он начал во весь голос и даже с надрывом всячески корить собравшихся:

— Распоясались! Управы на вас нет! Железную дисциплину забыли! Стрелять вас! Стрелять!

И как только он произнес эти слова, сразу же его тесно обступили. Один из трибунов с внушающим уважением подбородком, похожим на каблук армейского сапога, неосторожно взял подвижника за воротник, с седой головы свалилась шляпа.

— Повякай мне, старый легаши!

Милиционер Лелюшко, наблюдавший за порядком, решительно спас негодующего подвижника вместе с его помятой шляпой от неминуемого самосуда, несколькими разгневанным петрам петровичам во главе с трибуном, внушавшим уважение волевым подбородком, предложил прогуляться до ближайшего отделения, где им твердо пообещали по пятнадцати суток за нарушение общественного порядка.

Деятели мирной организации Охотсоюза в благородном негодовании спустились к заседавшему Обществу охраны природы и предложили очистить помещение:

— Где хотите, там и заседайте, только не у нас. Сплошное беспокойство.

Быть или не быть Обществу — решилось само собой, без голосования.

Дух читателя Сидорова шагал по городу.

23

Полина Ивановна пришла из редакции домой раздерганная, изнемогающая. Весь день ее преследовал призрак Сидорова. Весь день только и слышно кругом — Сидоров! Сидоров! Сидоров! Особенно поразило Полину Ивановну выступление главного редактора на летучке: поступать так, как учит товарищ Сидоров, как он указывает... А на пути к дому она зашла в магазин купить сыру и колбасы к чаю, и там в очереди в кассу она услышала:

— Сидоров-то не китежский вовсе.

— А чей же?

— Каллистрат Сырцов специального человека из Москвы вызвал.

— Да бросьте вы — из Москвы! Я этого Сидорова

знаю, на бывшей живодерне живет, по забегаловкам шляется.

Сидоров! Сидоров! Сидоров... Тихий ужас охватывал Полину Ивановну. В глубине души она никак не могла себя заставить поверить, что есть такой Сидоров на свете. А весь город верит, весь город сходит по нему с ума: Сидоров! Сидоров! Сидоров!.. Все кругом сумасшедшие, одна ты — нет. Такого быть не может. Сидоров! Сидоров!.. Жуть!

Она пришла домой и застала торжествующего мужа.

— Наконец-то! — возвестил он, увидев ее на пороге. — Наконец-то в нашем Китеже появилась светлая голова.

И Полина Ивановна сжалась, сразу поняв, о чем речь.

— Светлая голова и неподкупная совесть! Не побоялся сказать всем прямо в глаза: вы угорели, граждане славного Китежа!..

Полина Ивановна молчала.

— Как припечатал! Пи-те-кан-тро-пы, останавливающие прогресс! Сидоров — это явление, скажу тебе! Сидоров — настоящий идеолог!.. Сидоров...

— Перестань! — не выдержала Полина Ивановна.

У них в семье строго распределены, так сказать, сферы влияний: Адриан Емельянович покорно подчинялся Полине Ивановне во всем, что касалось домашних дел — купить, отремонтировать, как провести отпуск, — зато уж он полностью диктовал в масштабных вопросах общеполитического характера: осудить ту или иную агрессию, оценить новое постановление, признать, что именно может осчастливить страждущее человечество! Тут уж он возражений не терпел. Только сын в последнее время стал выступать против диктаторства отца, Полина Ивановна всегда молчаливо соглашалась. И вот на резкое и непочтительное «Перестань!» Адриан Емельянович даже не обиделся, только безмерно удивился:

— Ты... Ты противница Сидорова?

— Сидоров! Сидоров! Сидоров! И дома от него не спрячешься!

— Нет, нет, не верю! Чтоб ты, Поля... Ты — против моих взглядов, против принципов! Или тебе хочется, чтоб в нашем городе разжигали нездоровые страсти разные там недозрелые лирики вроде Лепоты?.. Тебе хочется того, что противно моим взглядам!

— Мне хочется заткнуть уши и не слышать: Сидоров! Сидоров! Сидоров!

— Не верю! Не верю! Нет!! Моя жена хочет заткнуть уши, не слышать, избавиться!.. От кого?.. По-твоему, Сидоров — демагог, нытик, маловер? Или он борец за прогресс? Кто он? Отвечай!

— Не знаю! Не знаю! Не знаю! Отстань от меня!

— Полина! Мы живем с тобой двадцать три года вместе и до сих пор... Да, да, до сих пор у нас были единые взгляды. Что случилось, Поля?

— Я не хочу ничего слышать о Сидорове!

— Не пойму! Нет, не укладывается в голове: чем он тебе не нравится? Лично в меня он вселяет надежду и уверенность...

— В меня — страх.

— Поч-че-му?

— Не верю в него. Он мне кажется пустым местом.

— Поли-на! Чудовищно! Пустым местом!.. Даже его противники считаются с ним. Весь город гудит, а ты...

— Весь город, весь город!.. А я не верю! Не верю!

Адриану Емельяновичу стало не по себе. Совсем недавно сын восстал против него, сейчас вот жена... Его добрейшая, кроткая Полина Ивановна, с которой он прожил душа в душу двадцать три года! Защитить Сидорова для Адриана Емельяновича стало уже не просто отстаиванием своих принципов — семья раскалывается, катастрофа! — вопрос самоспасения! И Адриан Емельянович в отчаянье закричал на жену:

— Топчи мои взгляды! Уничтожай все, чем я жил всю жизни! Уничтожай! Издевайся! Отвернись! Брось меня! Останусь один, забытый, брошенный! Но не отступлюсь! Не от-ступ-люсь!

— Ради бога, не надо!

— Не надо?.. Молчи! Меня в родном доме ни в грош не ставят! Самые близкие, самые дорогие люди! И сын! И жена! Нету сына! Нету жены! Только враги кругом!

— Ради бога успокойся!.. Я больше ни слова не скажу, только не упоминай о нем. Прошу...

— Вот! Вот! Молчи! Не упоминай! Прячь свое! Скрывай!..

В самый разгар семейного скандала вошел сын — мокрыми косицами висят волосы, лицо тоже мокрое, си-нушное, угрюмое. И отец, увидев его, закричал с новым неистовством:

— Вот он — враг мой! Теперь и ты!.. Ты!.. Идеальный противник!..

— Ради бога!..

— Гоните! Выживайте меня на старости лет!

Сын ошеломленно молчал. Он даже забыл, что сам явился домой с дурной вестью: в институте у него неприятности, грозятся исключить — ходил с петицией, собирал подписи, восхвалял Ивана Лепоту. И все Сидоров со своим письмом...

Велик и вездесущ дух Сидорова. Мой дом — моя крепость. Для Сидорова крепостей нет.

Адриан Емельянович спустился этажом ниже к своему старому знакомому Пэпэша.

Время было раннее, но Пэпэша лежал в постели, тепло укрытый до подбородка одеялом. Он встретил гостя ненавидящим взглядом.

— Вот оно твоё... Вот — все к лучшему! — простонал Пэпэша. — Любуйся. На улицу не выйди, слова не скажи — одичал народ! Чуть не разорвали... Один даже за горло меня... Морда разбойничья... Умирать буду — не забуду!..

И Пэпэша, постанывая в натянутое одеяло, принялся желчно повествовать, как целой толпой на него набросились у здания Охотсоюза. Каждую фразу он перебивал выкриками с горловой спазмой:

— Стрелять сукиных детей! Стрелять всех! Стрелять!..

Стрелять руководителей — отцов города, стрелять интеллигентов-сочинителей, стрелять заживевших Каллистратов, стрелять милицию, — похоже, Пэпэша готов был остаться один на всем белом свете.

Адриан Емельянович понимал: плохо сейчас Пэпэша, совсем сорвался с предохранителя. Но — слаб человек — испытывал невольное успокоение: не только тебе солоно, и другим тоже. На миру и смерть красна.

Узкий, словно обрубленный коридор, кабинет, в единственном окне маячит лысый купол собора, моросит осенний беспросветный дождичек, спешат по мокрой мостовой прохожие, упрятанные в непромокаемые синтетические кульки. С виду все как было, из окна кабинета кажется, что град Китеж по-прежнему пребывает

в тишине и покое. Но Самсон Попенкин знал: покой — видимость, гуляет по городу выпущенный дух читателя Сидорова, волнует умы, меняет судьбы.

Это Самсон Попенкин породил всесильный дух. Казалось бы, он, Самсон Яковлевич, должен торжествовать, но нет — чувствует, напротив, некую беспокойную неуютность.

Джинн выпущен из бутылки, у джинна слишком самостоятельный характер. Черт-те что ему вздумается, вдруг да он ненароком шархнет своего освободителя — чего доброго, останется мокрое место. Неуправляемая силаща... Н-да!

Самсон Попенкин правил редакционные дела и ломал голову, как бы приручить слишком вольного джинна.

За дверями в коридоре слышался стук палки, и Самсон Попенкин поднял голову, наострил уши: слишком знакомый звук, давненько не раздавался он в стенах редакции.

Дверь открылась, на пороге вырос Петров-Дробняк с физиономией пожарной лошади, только что попарившейся в бане. Он показывал в улыбке все свои крупные зубы.

— Здорово, зверек бумажный. Как живешь, кого грызешь?

У Петрова-Дробняка хорошее настроение никогда не было признаком благожелательности. Самсон Попенкин насторожился вдвойне.

— По чью душу пришел, старый Вельзевул? — ответил шуткой на шутку. — Садись.

Петров-Дробняк тяжело опустился на стул, вынул из папки отпечатанные на машинке листы:

— Вот. Хе-хе! Куй железо, пока горячо.

— Новый топорик?

— Секира, братец мой, острая секира, которую подымаю я во славу принципов товарища Сидорова.

Этого нужно было ждать. Велик дух читателя Сидорова, должны же к нему кинуться доброхоты, отпихивая тех, кто не успел подскочить первым. И нет ничего более опасного, если всесильного духа оседлает такой вот рубака. Уж тогда-то он разгуляется, уж примется рубить направо и налево, захрустят черепа, полетят головы — спасайся, пока не поздно! Получается: ты выпустил могучего джинна, а пользоваться им станет этот

апробированный ухарь — ради своей славы, на твою же беду. Ну нет, допустить нельзя!

— Посмотрим, посмотрим, что ты тут выковал.

Самсон Попенкин придвинул статью к себе и углубился в чтение.

И в самом деле, топор, выкованный Петровым-Дробняком, на этот раз был тяжел. Статья начиналась в духе старых традиций китежской литературной критики — с осуждения Ивана Лепоты, — но дальше она круто сворачивала с избитой стези.

«Есть два взгляда на животрепещущий вопрос — взгляд поэта Лепоты и мудрый, прозорливый взгляд товарища Сидорова. Два взгляда — два полюса, два противоположных непримиримых лагеря, третьего не дано. Или — или!..»

Столь недвусмысленный вывод давал право автору обрушиться на всех — буквально на всех! — литературных деятелей града Китежа только за то, что они молчат. Молчит Арсентий Кавычко, молчит Борис Чур... И грозный автор патетически вопрошает: «Почему молчат мастера китежской культуры?»

А так как мастера, разумеется, в данную минуту ответить не имеют возможности, на них обрушивается разящая секира:

«Только два лагеря, два полюса, третий противостоит! Кто не с нами — с кем он?»

Самсон Попенкин распрямился над карающей статьей.

Петров-Дробняк сжимал коленями увесистую палку и открывал от скулы до скулы желтые зубы в застывшей улыбке а-ля «веселый Роджерс».

— Ну как?

— Здорово! Одним махом семерых убивахом.

— Гони в набор.

— Не в моей власти, храбрый портняжка. Эти вопросы теперь сам решает.

— Не петляй, зайка, перед старым лисом. Мне ли не знать: сам-то лает так, как ты ему голос поставишь. Или, может, ты хочешь со мной потягаться? Ей-ей, не советую. Я, зверушка, сейчас на пару с товарищем Сидоровым тяну.

Самсону Попенкину грозили Сидоровым. Петров-Дробняк считал могучий дух уже своей собственностью.

Самсон Попенкин не дрогнул бровью:

— Нет, портняжка, на этот раз нам с тобой придет-

ся соблюдать табель о рангах. Я скажу о тебе свое похвальное слово не раньше, чем меня попросят об этом.

— Выходит, зря к тебе заходил?

— Мне было приятно видеть старого рыцаря в боевой форме.

Петров-Дробняк подгрел к себе свою рукопись, поднялся:

— Я-то думал, что мы договоримся без посторонних. — И застучал палкой к выходу.

Как только он закрыл за собой дверь, как только стук палки известил — сделан первый шаг по коридору, Самсон Попенкин живенько снял трубку с телефона:

— Илья Макарович, к вам идет Петров-Дробняк. Очень опасно! Попытался договориться со мной через вашу голову. Как выпроводите, сразу звоните — буду у вас.

Самсон Попенкин водворил трубку обратно, откинулся на спинку стула, стал терпеливо ждать, когда за дверями вновь простучит палка и главный редактор позовет к себе.

Ну и ну, Петров-Дробняк распоряжается Сидоровым. Вольный дух может стать рабом этого грубого и отнюдь не щепетильного человека. Берегись, Самсон Попенкин, твое детище сомнет тебя, и очень просто.

Этот Петров-Дробняк в общем-то неудачник в жизни. Уж слишком он тяжел на руку, слишком наглядно выпирает из него черноземная силища — берегись, расшибу! — поэтому любого и каждого здравый смысл заставляет его остерегаться. Петрова-Дробняка всегда почтительно обходили, не облекали доверием, не выдвигали в руководство, не выбирали в почетные комиссии. Ему предоставили лишь одно поле деятельности — ухарски справляться с Иваном Лепотой, уж тот как-нибудь снесет, парень ко всему привычный. Но рассудить, что за противник Лепота для такого отважного бойца. Неизрасходованные силы оставались втуне. Теперь они могут вырваться наружу. И они в сто крат будут умножены мощью прирученного духа. Кровь стынет в жилах при одной мысли, что Петров-Дробняк может стать господином положения. И невольно заранее начинаешь ощущать себя жалким пигмеем.

Самсон Попенкин сидел и ждал стука палки за дверь. Ответственнейшие минуты — от них зависит судьба многих почтенных людей града Китежа.

Наконец палка простучала по коридору, но не мимо. Стук оборвался, двери распахнулись от резкого толчка. Петров-Дробняк преподнес свою улыбку веселого Роджерса:

— Слушай, зверек, мы обо всем договорились.

— Отлично.

— Но ежели Крышев вдруг от ворот поворот сделает, тогда знай: буду считать, что это ты... ты выкрутил. Больше некому. И уж тогда на всю жизнь ты мне враг, уж буду стеречь минуту — в крупу истолку. Помни!

И Самсон Попенкин не успел даже ответить — дверь захлопнулась, палка застучала к выходу.

Телефонный звонок вывел Попенкина из небытия.

25

— Что я ему мог ответить, сам посуди. Он хотел нести свою статью прямо вверх. Покажет, пожалуется: мол, Крышев зажимает. А Крышев и так уже под прицелом... Зажимает прямых сторонников Сидорова! Ну нет, мне лучше не связываться.

У Ильи Макаровича вылинял румянец с круглого лица и под глазами скорбная просинь, он досадливо морщился, избегал встречаться взглядом с ответственным секретарем.

— Черт с ним, дадим откупного — напечатаем статью. Не нас же с тобой он там прикладывает, пусть чешутся Арсентий Кавычко с Чуром.

Самсон Попенкин поигрывал пальчиками на зеленом сукне.

— Нет, Илья Макарович, Кавычко с Чуром мы не откупимся, — сказал он тихо. — Они ему нужны, чтоб под ноги себе подбросить, повыше подняться. Велика ли с них корысть, сами посудите.

— А кто ему нужен? — Вопрос упавшим голосом.

— Вы!

— Не пугай, не пугай! Нечего там...

— Столкни Кавычко и Чура, что после них останется? Да ничего. Они никаких высоких стульев не занимают. А вот если Петрову-Дробняку вас удастся спихнуть... После вас окажется свободным стульчик. Вот этот, на каком сидите.

— А нельзя ли полегче, дружок? Без выражений!

— Прошу прощения. Приходится говорить открытым текстом.

— Уж так и подставят этому громиле мой стул.

— Он и не рассчитывает, что подставят, — силой взберется.

— И взвалит на себя ответственность, хлопоты. За чем они ему? Так он вольный казак.

— Какой казак не мечтает стать атаманом. А главный редактор газеты — должность атаманская.

— Но каким же манером он меня — за шиворот, что ли, стянет? По рукам дадут...

— Вы забыли старую сказочку о лисе, которую пустили переночевать на приступочку, а она с приступочки-то на прилавочек, с прилавочка на припечечек... Сегодня он указывает, что Кавычко с Чуром из тех, кто не с нами... Завтра он укажет на нас... Старый лис спит и во сне видит теплый припечечек. Берегитесь!

— А ты!.. Ты!.. — В голосе Ильи Макаровича проступила вдруг подозрительная старушечья сварливость. — Ты о моей беде так печалишься, дружок? С какой бы это стати?

Самсон Поленкин усмехнулся:

— О себе пекусь. Себя спасаю.

— Да тебе-то не все ли равно, кто будет на моем месте сидеть?

— А вы сравните себя с Петровым-Дробняком. С кем, полагаете, мне легче работать?

— М-да-а...

— Петров-Дробняк сапоги себе чистить заставит.

— М-да-а.

— Я боюсь его грубости, он, похоже, — моей сноровки.

— Но что же нам делать, Самсон Яковлевич, дорогой?

— Верните ему статью.

— Он же жаловаться побежит. Он же раздует — не расхлебашься.

— Выбирайте, что страшнее: его жалобы или приступочка к вашему припечечку?

— А он же позвонить может о моей подписи к статье Лепоты!

— Пока он всего-навсего старый неудачник, к его слову не слишком-то прислушиваются. А вот если ему удастся Кавычко с Чуром уложить, то уже не неудачник, уже — первое лицо среди китежских литераторов,

не хочешь, да считайся с его словом. Выбирайте: нынче ему на вас пожаловаться или потом?

— М-да-а... А ведь ты прав, Самсон Яковлевич: нынче без должного эффекта пройдет.

— Нынче он вымаливать будет, потом — требовать.

— Ты прав. Возвращаю статью. Нечего раздувать нездоровые страсти. И почему, почему, спрашивается, мы должны вместе с разудалым автором бить по головам известных литераторов? Кавычко — доктор филологических наук, профессор! Это вам, извиняюсь, не баран чихнул!

Илья Макарович постепенно разогрел себя до такого накала, что в его решительности можно было уже не сомневаться.

Петров-Дробняк придет в бешенство — выкрутил-таки в обратную сторону! — конечно, он будет видеть в Самсоне Попенкине лютого врага. И конечно, нельзя не холодеть от одной мысли: враг рядом — и какой! Смертельный! Но трусы в карты не играют, еще посмотрим, так ли уж страшно твое копыто, старый Пегас, — сами с зубами, можем прокусить жилу.

У Самсона Попенкина не было иного выхода, как принять вызов, и он его принял не дрогнув. Важно не дать завладеть джинном, вырвавшимся на свободу. Все-таки не Петров же Дробняк, а Самсон Попенкин породил его.

К барьеру!

26

Ночью на град Китеж выпал первый снег.
Снег покрыл деревья кружевом.
Снег на плечах древних церквей.
По снегу бродят голуби. Снег им по колено.

Снег лежит на карнизах. Дома подпоясаны, у них озабоченно-решительный вид. Дома, словно паломники, собрались в дальний путь, стоят и ждут, что кто-то произнесет: «Пора».

Старый город в юном снегу.

Самсон Попенкин, беспокойно спавший, поднявшийся с постели в дурном настроении, почувствовал сейчас, как оттаивает. Его охватила непривычная расслабленность, и странные мысли без усилий забродили в мозгу.

Вот ты сейчас идешь по пуховому, податливому, даже еще не научившемуся хрустеть снежку и несешь

в себе решительное, собранное, как бойцовский кулак, желание подставить ножку Петрову-Дробняку, чтоб тот рухнул, гремя старыми костями. Должен рухнуть, иначе рухнешь ты сам. Ты всегда от кого-то защищался, на кого-то нападал — боролся. «И вся-то наша жизнь есть борьба!» Свято верил в это, гордился этим...

Город в первом снегу, привычный, прискучивший, иногда даже постылый, но и родной и, право же, любимый, порой вот так, как сейчас, с тихой голубиной нежностью, порой — со стоном, с проклятием, с болью! До чего красив бывает твой город! Старый город в юном снегу. Станные мысли нашептывает он...

«И вся-то наша жизнь есть борьба». А не признаки ли это неустроенности жизни? Вместо того чтобы дружно, чувствуя плечо друг друга, взяться: «Эх, дубинушка, ухнем!» — постоянно оглядывайся, постоянно примеряйся, кого бы стукнуть по черепу. А ведь, право, хорошего в этом мало.

Снег на карнизах — перепоясанные снегом дома. Свежий снег — свежие мысли. Да мысли ли? Скорей счастливые мечтания. Хочется наивно верить — вот-вот набредешь на ответ, на извечно недоуменное: что есть истина?.. Вот-вот, уже, кажется, близко, уже под рукой — протяни и возьми!.. Отстаиваешь свою правоту ценой чужого черепа. Не пробьешь — не докажешь. И ты пробивал, пробивали тебе, страдал от обид, обижал сам — жил суетно и нечисто. Хорошо бы стряхнуть с себя весь житейский мусор и понять простое — пробитый череп может испытывать лишь боль, ему трудно родить даже бесхитростную мыслишку, только злобу и ненависть, а уж постичь истину... И найдется ли более важная истина, чем — не следует проламывать, люди, друг другу головы, храните их в целости!

Самсон Попенкин взошел на Старый мост, тоже запыленный снегом. В молодом снегу, источавшем бодрый свет, были и берега, еще вчера угнетавшие своей неопрятностью. И только речка Кержавка угрюмо черна. Течет речка, кипят в городе страсти. Но странно, все забыли обесчещенную речку, до нее ли, когда идет борьба, кому нужна вспоминать о водичке. Кержавка — сама по себе, страсти — сами по себе.

Черная вода среди ослепительных берегов отрезвила Самсона Попенкина. Сладко мечтать о праведности, отмягчать душой, но такого-то обмякшего, захмелевшего от благородства и сбивают с ног. Сегодня он столкнется

с бешенством обманутого Петрова-Дробняка. Всю долгую жизнь, едва ли не с отрочества до седых волос, первый ухарь китежской печати жаждал вырваться на высокий пригорок, откуда — эх, раззудись, душа, развернись, плечо! — сподручно бить по макушкам — каждого, кто стоит ниже. Всю жизнь рвался и почти дорвался, но Самсон Попенкин ухватил его за ногу — стяну! Старый ухарь жаждет крови, твоей крови, прекраснодушный мечтатель! Содрогнись, стряхни с себя хмель, собери в кулак всю свою волю, — земля горит под твоими ногами! «И вся-то наша жизнь есть борьба!» От этого, видать, никуда не спрячешься.

Самсон Попенкин оторвал взгляд от почерневшей речки, вздернув плечи, чеканными шажочками двинулся к редакции. Он уже не видел юного снега, не замечал омолодившегося города — только опасность впереди. Самсон Попенкин прошел мост, и мечтатель умер в нем, «смертью смерть поправ», родился боец.

27

Если б еще такой боец родился в это светлое утро и в Илье Макаровиче Крышеве. Увы! Увы! Илья Макарович, ходивший по грешной земле боковой походочкой, не создан был для ратных подвигов.

Он панически боялся, что Петров-Дробняк с отвергнутой статьей ринется в соответствующие инстанции, но до этого дело даже не дошло. Петров-Дробняк справился своими силами.

Старый рубака явился утром, без приглашения опустился на стул, принял свою обычную монументальную позу коняги, восседающего в римском сенате, спросил с грубой прямоотой:

— Ты давно клялся, божился, всех призывал — поступать так, как товарищ Сидоров учит, как он указывает?

— Я позиций товарища Сидорова и сейчас придерживаюсь — полностью и неуклонно.

— Полностью и неуклонно. А это что? — Петров-Дробняк потрянул злополучной рукописью. — Лепоту подерживаешь или Сидорова?

— Перегибчики там у тебя, перегибчики, ась? Ты там на Кавычко, на Чура — и за что? За то только, что они молчат пока.

— Молчат. Разве не достойно осуждения? Ну да ты-

то парень отважный — не молчишь, действуешь! Да, против трезвых доводов Сидорова! Да, тайком, исподтишка, крича при этом на весь город, что полностью, неуклонно!..

Илья Макарович попробовал было возмутиться, взял на ноту выше:

— Что за голословные упреки, дорогой товарищ Дробняк? Когда, где я против Сидорова?..

— Га!.. — от всей души удивился Петров-Дробняк. — А Лепоту-пташку на публику не ты выпустил? А сейчас кто его спасает? Не ты?.. Линия! Не прикидывайся младенцем и других дураками не считай!

И главный редактор Крышев был прижат к стенке. Петров-Дробняк не страдал великодушием, обычно добивал придавленного со всей беспощадностью.

— Ну, скажи, скажи, что ты сделал в помощь Сидорову? Чем ты его поддержал?

Молчание.

— Нечего сказать. Так какого рожна ты еще дергаешься?

Молчание.

— В руках ты у меня или не в руках? Ась?

Молчание.

— Вот ты где, голубчик! — Петров-Дробняк наглядно показал свои красные мослаковатые лапищи, сжал их в кулак. — Не выпущу, не мечтай. Кавычко с Чулом выгораживаешь — прекрасно! Мне, может, это и надо. Сам себя выводил на чистенькую воду.

Петров-Дробняк стукнул по полу увесистой палкой и поднялся во весь свой внушительный рост.

— Прощай. И помни, что Сидорова и покрупней тебя птицы не клюют.

— Послушай, Василий Спиридоныч...

— Что? Готов по рукам ударить — дай статью и замолкни? Ась?

— Больно уж ты крут, Василий Спиридоныч.

— Прямо, братец, прямо! Не люблю вилять. И сейчас тебе прямо скажу: статью забираю и просто так не верну, только с выкупом!

— Что за торговля, Василий Спиридонович, полно-ка...

— Я же знаю, кто тебя накручивает. Этот хореk газетный, Попенкин твой. Вон как запутал тебя, бедного, хоть голыми руками бери перепелочку.

На растерянное и доброе лицо Ильи Макаровича

легла тень. Петров-Дробняк попал в самое сердце. И в самом деле, во всем виноват ответственный секретарь — он подсунул статью Лепоты, он откопал и выпустил письмо Сидорова, он вот столкнул лбами его, Илью Макаровича, с этим громилой. В силках воистину!

— Ты прав, пожалуй... Опутал кругом, не скрою.

— Так вот — бери статью, и давай пораскинем мозгами: как хорька придавить, чтоб не путал — ни тебя, ни меня, никого больше. Раз и навсегда!

Петров-Дробняк снова опустился на стул.

...А Самсон Попенкин, как всегда, сидел в своем узком кабинете, подгонял текущие дела. Он знал, что Петров-Дробняк сейчас объясняется с главным, подозревал, что у добрейшего Ильи Макаровича не хватит характера выдержать натиск, вовсе не исключал — подымет в панике руки, сдаст позиции. Но Самсон Попенкин твердо рассчитывал: Илья Макарович непременно вызовет его к себе, как только старый ухарь удалится во свояси. Будут, конечно, жалобы и стоны, будут упреки, даже угрозы — не впервой. Самсон Яковлевич верил в свои силы — уж как-нибудь... Слишком очевидна опасность для Ильи Макаровича со стороны рвущегося к власти Петрова-Дробняка. Самсон Попенкин крутил колесо редакционной жизни и терпеливо ждал...

Наконец по коридору прогремела палка, неуютный гость промаршировал к выходу. Самсон Попенкин ждал...

Телефон на столе позванивал, но то звонили из отделов — верстка, сверка, правка, сокращения, дела обычные.

Самсон Попенкин ждал...

Телефон зазвонил в очередной раз. Нет, не главный — Сонечка, его секретарша:

— Самсон Яковлевич, Илья Макарович собирает сейчас срочное совещание.

И только тут Самсон Попенкин, всегда ясновидящий, запоздало понял — Петров-Дробняк одержал победу.

Собраниями отмечаются праздники, собраниями переполнены будни...

Как всегда, все расположились на своих местах — зав. отделами тесной когортой поближе к главному, остальные в анархическом беспорядке.

Сам Петров-Дробняк удалился, дабы никого не смущать и ничему не мешать. Он удалился, значит, уверен: расправа состоится.

Илья Макарович поднялся над зеленым полем своего рабочего стола — лоб прорезает морщина, глаза без блеска, плечи расправлены, грудь вперед. И голос, усиленно спокойный, но прочувствованный, таким голосом напутствуют безвременно ушедшего товарища.

Речь, как и положено, начиналась с общего вступления:

— ...Должны прислушиваться к голосу масс... Желания и помыслы широкого читателя... Глубокое и яркое читательское письмо товарища Сидорова, взволновавшее и вдохновившее. Кто не с товарищем Сидоровым, тот против масс. Весь наш здоровый коллектив полностью солидаризируется... Но, товарищи!..

Вступительная часть кончилась, панихидные интонации сменились гремюще жестяными, что в голове Ильи Макаровича Крышева заменяло взывающую медь: «Будь бдителен — враг повсюду!»

— Но, товарищи! Все ли из нас солидарны? Оглянемся попристальней! Вот передо мной рукопись статьи, где говорится, что даже замалчивание взглядов товарища Сидорова — позиция враждебная. Правильно это или нет, я вас спрашиваю? Даже замалчивание!..

По кабинету пронеслось что-то вроде одобрительного мычания, достаточно красноречивого, чтобы служить ответом. И вот тут-то Илья Макарович грудью повернулся к Самсону Попенкину:

— Ну, а ты как считаешь, Самсон Яковлевич?

Нет, боковая походочка не единственное достоинство Ильи Макаровича Крышева, он умел при случае и загонять в угол. Вопрос брошен, десятки глаз впились в твое лицо, десятки ушей ждут ответа. И совсем нужно быть самоубийцей, чтоб ответить: «Нет, не правильно!» Против общего мнения, один против всех! Ответ послушно: «Да». Но именно этого-то ждет от тебя Крышев, тут-то он и приготовил ловушку, нехитрую, но безотказную. Ты видишь, как она опасна — смертельно опасна! — и все-таки съешь в нее голову.

— Самсон Яковлевич! Мы ждем ответа!

И Самсон Попенкин ответил:

— Да.

— Считаете правильным: замалчивать взгляды товарища Сидорова — враждебный акт?

— Да.

Ловушка захлопнулась. Главный редактор Крышев принялся свежевать пойманного Самсона Попенкина.

— Тогда зачем ты... ты нажимал на меня: зарежь эту статью?

Самсон Попенкин попробовал защищаться:

— Я — противник Сидорова? Помилуйте! Не я ли открыл дорогу его письму?

— А кто открыл дорогу статье Лепоты?

— Вы сами подписали ее в печать, Илья Макарович, — сидя в ловушке, лучше уж не показывать зубы.

И Крышев с жестяным скрежетом в голосе обрушился на Попенкина:

— Каюсь, оказался не до конца бдителен! Не раскусил тогда тебя!.. Позавчера ты открыл путь Лепоте, вчера — путь Сидорову; сегодня готов душить честных сторонников Сидорова. А что предпримешь ты завтра?.. Начнешь исподтишка кусать самого товарища Сидорова? Мышь — слона! Не выйдет! Заступимся.

Самсон Попенкин молчал. Показывать зубы, где уж. Любое слово, любой жест будет сейчас понят как выпад — нет, нет, не против главного редактора Крышева, не против Петрова-Дробняка, а против незримого духа Сидорова. Дух ополчился на своего родителя! Самсону Попенкину ничего не оставалось, как мысленно сетовать: «Эх, знал бы я!..» Неслышимый миру стон. «Знал бы, где упасть, подстелил бы соломки!» — извечный стон человеческой неосмотрительности.

Самсон Попенкин клонил голову, а Илья Макарович упоенно, до жаркого пота, бичевал. И он знал — не мог не знать! — каждое бичующее слово — шаг к собственной гибели! Хоронит Попенкина — вливает убойные силы в Петрова-Дробняка, остается один на один с этим ухарем. Знал и бичевал, был не волен, не принадлежал уже сам себе.

Великий дух командовал судьбами.

Вечер. Мост. Шепот речки внизу. Забытой речки...

Самсон Попенкин на мосту в одиночестве.

Давно ли он здесь мыслил двинуть силу на силу, поднять на дыбы город... И двинул! И поднял! А теперь вот не надо быть ясновидящим, чтоб узреть свое

ближайшее будущее. Хорошо, если — «по собственному желанию»...

Трудности — не горе,
Жизнь крепка, как спирт...

А что, собственно, творится? Чем все-таки берет этот незаконнорожденный тип?

Откуси себе язык, еретик! Даже в мыслях не смей кошунствовать. Велик дух читателя Сидорова и славен!

Люди наивно считают, что над ними господствуют другие люди, более удачливые, более решительные и талантливые. Блажь! Господствуют духи, которых они же и создают.

Жил ли вообще на свете Христос? Если даже и жил — допустим, — то был наверняка обычным человеком, слабей многих. Нищий бродяжка, толкавший простакам речуги, неспособный даже защитить себя. И не стоило труда схватить его, без суда, без особых угрызений совести казнить, как казнили рабов и всякую мелкую сволочь. Людей уважаемых на кресте не распинали.

Гнусная жизнь, с враждой и злобой, от которой некуда было деться, заставила людей возвеличить бродячего нищего. «Над вымыслом слезами обольюсь». Вымысел — сила! Он-то и создает всемогущих духов.

Христос-человек позорно умер на кресте, а дух, принявший его имя, начал тысячелетнюю жизнь. И самые могущественные короли падали перед ним на колени, униженно вымаливая помощи и прощения. Нищие и короли — одинаково превратились в рабов духа Христова. И те, кто хоть чуть-чуть осмеливался сомневаться в его могуществе, жарились на кострах. И слуги духа преуспевали, сами становились господами. И поэты славили его в стихах, и армии во имя его лили реки крови. Духи господствуют над людьми, их власть страшна, порой нет ей предела.

«Над вымыслом слезами обольюсь». Самсон Попенкин вымыслил дух читателя Сидорова, пришла пора обливаться слезами.

Но почему дух выбрал в жертву родителя, а не кого-то другого, примазавшегося со стороны? Того же Петрова-Дробняка хотя бы?

Не потому ли, что дух читателя Сидорова побаивается своего создателя? «Я его породил, я его и убью!» Эти слова уже звучали в истории, и никто не воспринимал их как нечто аморальное.

Дух побаивается. Он, похоже, еще не окреп, еще не все в городе преклоняют перед ним колени. Если и решаться, то теперь, немедленно, пока он, дух, не совсем за-матерел.

Откуси себе язык, еретик! Даже в мыслях не смей!.. Велик дух и славен!

Но он творение твоего ума. Создатель не может быть мельче своего творения.

И обидно же—свое, кровное вышло из повиновения...

И терять тебе уже нечего: повис, как паук на сквозняке, — вот-вот сорвешься.

«Я его породил, я его и убью!» На минуту перехватило дыхание. Никогда еще Самсон Попенкин не был убийцей.

Ночь. Старый мост над шепчущей речкой. Самсон Попенкин на мосту в одиночестве. И зреющий в душе заговор...

Никогда не был убийцей...

Да и случалось ли кому поднимать руку на духа? За духами слава — они бессмертны!

Ой ли? Все, что рождается, должно рано ли поздно умереть!

Зреющий в душе заговор... Ночь. Старый мост над шепчущей в темноте, забытой городом, обесчещенной речкой.

30

В это самое время неподалеку от места, в доме на набережной, человек почтенного возраста и незапятнанной биографии занимался как раз тем, что открывал заговоры.

Добрейший Адриан Емельянович Кукушев все-таки жалел своего приятеля Пэпэша — потерпел за взгляды, за принципы. Жалел... и напрасно.

Говорят, святой подвижник Феодосий Печерский в оны времена выходил из своей кельи на большую дорогу и ругательски ругал встречных за слишком малое усердие в вере, с нетерпением ждал, что из многих встречных хотя бы один не вынесет поношений и воздаст по мордам, а значит, святой Феодосий удостоится — лишний раз потерпит за веру.

Пэпэша тоже был из святых подвижников. И для него, как и для незабвенного Феодосия Печерского, получить по морде — своего рода награда.

Нельзя сказать, он, Пэпэша, удостоился сполна — по морде чтоб, нет, не дошло, сбили только шляпу. Но и это уже влило свежие силы, повернуло жизнь, открыло, так сказать, новые горизонты.

Сначала он жестоко страдал, даже слег от огорчения, метался в постели, взывал со страстью: «Стрелять! Всех стрелять!» Потом вдруг почувствовал непреодолимое желание действовать. Выйти на улицу и исполнить свое заветнейшее желание — «стрелять всех!» — он, разумеется, не мог, да, кстати, в жизни не держал в руках никакого оружия, кроме — некогда — авторучки. Но в муках и стенаниях скопившийся заряд энергии толкал к действиям.

Вот тут-то Пэпэша и ринулся в бой, схватился отвыкшими пальцами за авторучку.

Нет, нет, Пэпэша при всей своей подвижнической святости не верил в силу слова. «Сначала было Слово. И Слово было Бог». Нет, нет, Пэпэша свято верил в силу бумаги. Клочок бумаги, соответствующим образом заполненный, может стать всепробивающим снарядом. Умей только им выстрелить.

Многие неискушенные сразу же пытаются попасть в яблочко, то есть по самому большому на видимом обозрении начальнику, прилагают все усилия, чтобы выстраданная бумага непременно попала на высокий стол. Наивное заблуждение — бить прямо в яблочко! Могущественный начальник глянет краем глаза на упавшую со стороны бумагу, и наверняка в данную минуту на его высоком столе будет лежать целый ворох более важных, более неотлагательных бумаг. И начальник, скорей всего, небрежно подмахнет на твоей выстраданной бумаге нежелательную резолюцию: «Не принимать во внимание!» — или отодвинет локтем в сторону, а то и вовсе смахнет ее в мусорную кучу. Могущественному начальнику и такая небрежность прощается.

Никогда не бей прямо в яблочко, не стреляй бумагами по высокому начальству — непременно промахнешься. Бей вообще, с допуском, с охватом — в нужное учреждение.

Да, твоя бумага попадет на самое дно — к делопроизводителю или девице-секретарше с легкомысленными крашеными ноготками. Эта девица не доросла, чтоб самостоятельно решать — то-то важно, а то-то нет. Для нее все бумаги одинаково важны, каждую обязана пронумеровать и занести в книгу. Бумаге со входящим но-

мером, бумаге, оставившей след в учетных книгах, которые бережно хранятся, в которые время от времени запускается взыскательное око ревизора, дана путевка в жизнь. Ее уже не смахнешь небрежно в корзину, не похоронишь, ее надлежит рассмотреть, на нее отреагировать.

И реагируют — передают дальше. Всего чуть дальше, чуть выше секретарши, человеку, наверняка не облеченному большими правами. Он, конечно, нужным образом отреагировать не может, как не может и пренебречь, отмахнуться. Он пишет к твоей бумаге свою и передает еще дальше. Твоя бумага медленно — наберись терпения! — но уверенно ползет вверх, обрастая по пути другими бумагами, пометками, резолюциями, размашистыми подписями.

Дойдет ли она сразу, с первого захода, до того заветного, наибольшего начальника? Маловероятно. Скорей всего, она наскочит где-то на полпути на некоего сноровистого, который возьмет да и отреагирует на свой страх и риск не лучшим образом, но не отмахнется, не похоронит, даст ответ.

Тогда ты пиши новую бумагу, повторяй свое, упрекай, что не разобрались, укажи, где, в каком месте твоей первой бумаге дали обратный поворот, пожалуйся на того, кто это сделал. И твоей бумагой, вновь пронумерованной и занесенной в нужную книгу, будут вынуждены заняться снова.

В конце концов, всегда можно добиться при долготерпении, что твоя бумага ляжет на самый высокий стол. Но в каком виде! Не жалким клочком, а солидной папкой, со свитой других бумаг, отражающих длинное путешествие по трудным канцелярским дорогам. Кто осмелится смахнуть папку в корзинку для мусора? Не найдется храбреца.

Пэпэша прожил долгую, незапятнанную, службистскую жизнь, сживал и в начальниках, пусть не в головокруглительно высоких, но в достаточных, чтоб познать силу входящей бумаги.

Сейчас он решил использовать эту силу, не хватало дня, сидел ночами, отрывая время от сна, сочиняя входящие бумаги: «Считаю своим долгом сообщить...»

...В городское управление милиции — на Охотсоюз: приютил некую организацию, устраиваются подозрительные собрания.

...В редакцию китежской газеты — на милицию: ут-

ратила бдительность, бездеятельная, разложилась, покрывает явных нарушителей порядка и тайных заговорщиков.

...В курирующие печать органы — на газету: раздувает в народе нездоровый ажиотаж, сеет идейный разброд и шатания, не злонамеренно ли сие, не попахивает ли идеологическим заговором?

...И на курирующие органы то же — «считаю своим долгом сообщить...» Есть куда! Есть о чем!

С Пэпэша сбили шляпу — вернули жизнь, вернули молодость! Что толку бессильно кричать в пустоту: «Стрелять! Стрелять! Всех стрелять!» Зреют заговоры! Раскрывай! Действуй!..

И что удивительно — Пэпэша не столь уж и ошибался. Один заговор зрел, совсем рядом, в каких-нибудь трехстах шагах от его дома, на Старом мосту. Одиноким человек вынашивал его сам в себе.

31

Пэпэша усиленно бодрствовал, а этажом выше добropорядочное семейство Кукушевых видело первые сны.

И верно, эти сны были не из радужных, Адриан Емельянович беспокойно ворочался, даже постанывал.

Его разбудил среди ночи дикий крик Полины Ивановны:

— А-а-а!!

Адриана Емельяновича выбросило из-под одеяла, дрожащими руками долго шарил по стенке, наконец нашел выключатель, зажег свет.

Полина Ивановна сидела на кровати, лицо, лишенное очков в железной оправе, казалось плоским, безглазым, на нем только раскрытый, черный, хватающий воздух рот.

— Поля! Поля! Что?.. Что случилось?

— О-он!

— Кто — он? Что с тобой?

— Опять он...

— Проснись, Поля!

Она передернулась всем телом и, похоже, пришла в себя.

— Дай мне очки.

— Зачем? Надо спать.

— Дай мне очки, я ничего не вижу.

Очки преобразили Полину Ивановну — тревожные, бегающие глаза, блеклые тонкие губы в ниточку и нет привычно «дневного» выражения уныния.

— Вот и все, — тихо объявила она.

— Что — все, Поля? Что — все?! — Адриан Емельянович начал уже сердиться.

— Я пропала. — Тем же тихим голосом, обреченно, убежденно и даже как-то по-особому вдумчиво.

— Не разводи среди ночи! Спать! — прикрикнул Адриан Емельянович, стараясь показать, что в любое время суток он — глава и повелитель. Но это у него не очень-то получалось — трудно обрести повелительность, будучи облаченным в незабудочно-голубые трикотажные подштанники.

— Я ночью от него пряталась, он и тут меня нашел.

— Кто нашел? Что ты мелешь, Поля?

— Он... Сидоров.

— Ты спишь до сих пор!

— Раньше он только с утра накидывался... толпой на меня.

— Кто толпой?.. Сидоров?

— Да он. Толпой... Тысячи писем... Китеж взбесился, все пишут, и только о нем: Сидоров! Сидоров! Сидоров! Толпы Сидоровых — и все на меня.

— Так сейчас-то хоть забудь его!

— Забудь?.. Я каждый вечер, уходя с работы, запираю свой кабинет на ключ и говорю себе: Сидоров под замком, до утра не вырвется, забудь его. Запираю, прячу ключ, выхожу на улицу и... встречаю его.

— Поля, давай спать.

— В автобусе — Сидоров, Сидоров, Сидоров! В магазине — Сидоров, Сидоров, Сидоров! Я сломя голову бегу домой, чтобы спрятаться от него.

— Поля, ну хватит же! Хватит!

— А дома?.. Он, этот Сидоров, словно горох сыплется из тебя. Он, как из засады, выскакивает на меня из сына. И только ночью я наконец-то пряталась от него... в сон. Туда он не мог пробраться. И я отдыхала, я отдыхала...

— Поля!

— Он пробрался туда! Слышишь?!

— Поля! Поля! Какая ерунда! Пойми же — тебе приснилось.

— Он всегда был невидимкой, сейчас я увидела его! Он — маленький, тощенький, седой. У него квадратная голова и мешочки под глазами. У него большая печень...

— Очнись, Поля! Ты видишь меня, Поля! Это я! Поля! Это я-я! Очнись же!

— Он не страшный. Нет! Но с ним так неуютно!.. Я боюсь задохнуться... Мне душно! Душно! А утром... О господи! Он там, запертый толпой... Куда спрятаться?! — Полина Ивановна бормотала, вся дрожа, и вдруг, изламываясь в спине, закричала негодующе звонким голосом: — Он здесь!.. Он следит!.. Адриан! Адриан! Он здесь, мне душно! Прогони...

И Адриан Емельянович выплясывал возле жены в незабудочных подштанниках, пытался обнять за плечи, успокаивал:

— Поля! Поленька! Ради бога...

Она выгибалась, кричала:

— Душно! Душно!! Гони его! Го-ни!!

На крик из соседней комнаты выполз сын, всклокоченный, опухший, таращащий сонные глаза.

— Чего она?..

— Поленька! Поля! Успокойся... Ты перебудишь всех соседей... — Адриан Емельянович обрушился на сына: — Не стой столбом! Матери плохо. Найди в ящике валерьянку!..

Через полчаса, напоянная валерьянкой, Полина Ивановна лежала под одеялом и время от времени сильно вздрагивала.

Сын убрался в кухню, хмурый и озадаченный, курил сигарету за сигаретой.

Отец сидел в своих незабудочных кальсонах над засыпающей женой и сосал таблетку валидола.

Однако утром Полина Ивановна, одетая, как всегда, в костюм со старомодной — слишком длинной для мини, слишком короткой для макси — юбкой, с небрежно завязанным узлом жидких волос на затылке, со строгим блеском подслеповатых очков, отправилась на работу. Только зелень в лице напоминала о ночном происшествии.

А утро над градом Китежем вновь вызрело серенькое, невнятное. Снег, выпавший недавно, сошел весь. Мокрота проникла в глубь асфальта, в стены домов, стволы и ветви деревьев траурно черны, воздух кисельно густ от влаги. А небо... Небо настолько ровно и бесцветно, что задирай голову, гляди не гляди, ничего не увидишь — просто отсутствует. И день обещает быть столь же невнятным. Тысячи жителей в окоченевшем от сырости городе проживут его, не заметив, и уж никогда потом не вспомнят. Такие дни рождаются, чтоб сразу, навсегда спрятаться в складках прошлого. Нельзя и представить даже, что в этот сумеречный кусок времени может полыхнуть озаренная гением мысль или кто-то загорится желанием совершить подвиг.

Но именно в глухоте и невнятности, когда никто не ждет ничего озаряющего, и рождаются преступления.

В это утро Самсон Попенкин вынашивал план воистину нечеловеческой дерзости.

Даже волшебные сказки не допускают, что нетленный дух можно убить. Однако нынешняя действительность невероятнее сказок. Старый газетчик Попенкин постоянно утверждал это, теперь пришло для него время доказать слова делом.

Он, что называется, исходил от противного. Чтобы убить человека, надо выпустить дух из брэнного тела. А чтобы убить бесплотный дух, следует... втиснуть его в чье-то тело, не иначе.

Легко сказать: дух — в тело! Если вдуматься — задача грандиознейшая, до сих пор она по плечу была лишь самому господу богу. И вот Самсон Попенкин, не пасуя перед масштабами, замахивается на богово!

Правда, всевышний сперва создал тело человека, а уж потом вдохнул в него дух. Самсон Попенкин решил воспользоваться готовым материалом — каким-нибудь здравствующим жителем града Китежа. Нет смысла самому лепить сосуд, когда можно, так сказать, нагнуться, поднять его, использовать по назначению. Самсон Попенкин тут несколько облегчал себе задачу.

Господь бог сотворил человека в один день. В общем-то Самсон Попенкин всегда осуждал любую поспешность, — не потому ли человечество страдает крупными недостатками, что было состряпано второпях. Но, наверно, у бога были свои веские причины действовать



в сжатые сроки. Были они и у Самсона Попенкина, — с Петровым-Дробняком медлить нельзя, чуть завозишься — живо съест. Поэтому Самсон Попенкин решил, по примеру всевышнего, провернуть операцию в один день.

В этот самый день, который начинался столь невыразительно.

Какими методами и вспомогательными средствами пользовался бог — священная история умалчивает. К услугам же Самсона Попенкина было испытанное, никогда не подводившее его средство — телефон!

Закрывшись в своем тесном — должностная щель! — кабинетике, Самсон Попенкин, не снимая пальто, набрал номер справочной:

— Барышня, необходим точный адрес некоего Сидорова, проживающего в нашем городе... Что известно о нем? Да ничего, кроме того, что его имя начинается на букву «И»... Мало ли что Сидоров не точный, а адресок-то извольте точнейший отпустить... А вы продиктуйте мне адреса всех И. Сидоровых, а я запишу...

Принято считать, что самая распространенная фамилия на Руси — Ивановы. Петровым принадлежит второе место, Сидоровым — третье. Но статистические, сугубо научные данные опровергают это всеобщее заблуждение. Первенство держат Смирновы, за ними следуют Кузнецовы, Ивановы, дай бог, на третьем, если не дальше. А Сидоровы вообще оттеснены за пределы десятка.

Поэтому улов И. Сидоровых оказался небогатым. Из многонаселенного города были выужены всего три адреса. Один Сидоров с инициалом «И» жил рядом с редакцией — в Старо-Соборочном тупике. Второй не близко и не далеко — на Конармейской улице, бывшей Живодерке. Третий — у черта на куличках, на Девичьем полустанке, в китежских Черемушках.

Самсон Попенкин скорбно вздохнул над коротеньким списочком, сунул его в карман, надел шляпу и вышел на охоту. Бренное тело Сидорова должно стать усыпальницей великому духу читателя Сидорова.

Он побывал по всем трем адресам, даже на Девичьем полустанке, в китежских Черемушках.

Один И. Сидоров оказался чем-то вроде номинальной штатной единицы — в списках числился, на деле отсут-

ствовал. Он давно уже учился в Москве, в Китеж, похоже, даже и не собирался наезжать.

Другому И. Сидорову на днях должно исполниться девяносто лет — лежал пластом, не мог двигаться, был почти слеп и совершенно глух, к тому же он и в годы молодости не отличался грамотностью — умел выводить лишь свою фамилию. Явно не тот.

Пришлось остановиться на И. Сидорове, который проживал на бывшей Живодерке.

Нельзя сказать, чтоб и этот идеально подходил для высокой усыпальницы. Не могло же не насторожить Самсона Попенкина, что отыскал-то он свою жертву не дома, не по месту работы (автотранспортная контора номер пять), а в пивном баре напротив, где Сидоров Иннокентий Павлович, по прозвищу Кешка Гусь, проводил большую часть рабочего дня.

В старом пальто с надорванными карманами, в кепке, надвинутой на глаза, не то чтобы с хмурым, но несколько недоверчивым, себе на уме лицом, отягощенным излишне твердым, как каблук армейского сапога, подбородком, с сутуловатой выправочкой, красноречиво выражавшей: «Ну, чего тебе?»

Другой бы на месте Самсона Попенкина, пожалуй, впал в панику — уломать такого громилу, прячущего в надорванных карманах увесистые кулаки! Да еще каких взглядов придерживается этот Сидоров-Гусь? Скорей всего, его идейные убеждения крайне противоположны тем, которые собирается внушить ему Самсон Попенкин.

Но Самсон Попенкин еще в молодые годы, в бытность репортером, умел, как никто, мастерски совершать так называемые интервью со взломом. Его направляли на самые неприступные, на самые замкнутые объекты, к подозрительным личностям с двойным дном, кому было что прятать. И всегда Самсон Попенкин находил отмычку, вскрывал, раскалывал, вламывался в тайники человеческой души, заставляя показывать скрытое.

И сейчас он наметанным глазом уловил трещинку в монолитном объекте с излишне волевым подбородком. Этот Сидоров-Гусь боится его, представителя известной газеты, за ним — можно поручиться — существуют грешки, которыми интересовалась даже милиция. Трещинка есть, а уж расколоть ее дальше — зависит целиком от умения. Самсону Попенкину нравились рискованные операции, больше того — они вызывали у него трепетное

вдохновение. Эх, если б не подпирало время, он, Самсон Попенкин, провел бы предварительную разведочку, уточнил, чем именно грешил этот Гусь, сколько раз попадал на прицел блюстителей порядка. Но времени, увы, нет, действуй без подготовки.

И Самсон Попенкин начал действовать — с располагающей улыбкой, воплощенная любезность.

— Иннокентий Павлович, я нисколько не сомневаюсь, что вы внимательно следите за нашей газетой.

— Не безграмотный. И газетки почитываем, и все прочее.

Не столь опытный репортер непременно поставил бы под сомнение ответ Сидорова-Гуся: «Заливай, сукин сын, так, мол, я тебе и поверил. По морде видать, как ты начитан». Но Самсон Попенкин хорошо знал, сколь обманчива бывает человеческая внешность. Этот Сидоров-Гусь свои духовные силы растрачивал вовсе не на слесарно-ремонтные работы в автотранспортной конторе номер пять, а вот в таких, более чем скромных, забегах за кружкой пива. А нельзя проводить целые дни напролет за пивной кружкой и молчать. Без приятной беседы — известно всякому — не тот вкус пива и никакого удовольствия от проведенного времени. А беседа приятна только тогда, когда ты оглушаешь собеседников своими знаниями, своей осведомленностью. Их черпают в первую очередь — из газет, и не только из газет.

Никто не подсчитал, сколько по забегам скрывается незримых миру знатоков? Кто не сталкивался с завсегдатаями, со стоном читающими не только «Русь кабацкую» Сергея Есенина, но и всего этого поэта «насквозь». Но бывают и уникалы. Например, года три назад в китежских пивных еще можно было столкнуться с человеком неприметной наружности и неопределенных занятий, который шпарил наизусть не Есенина и не старозаветного «Луку», а солидного философа-идеалиста Шопенгауэра, познавшего секреты «Житейской мудрости», — где он только такого выкопал? Его — от корки до корки! Из слова в слово! Ну, а знатоков международного положения, кладущих на лопатки и Никсона, и Помпиду, и Голду Меир — господи! — да чуть ли не каждый такой, кто сдувает на пол пивную пену. Это уж, так сказать, тот политминимум, без которого за версту обходи места, откуда тянет бражным душком. А Иннокентий Сидоров-Гусь наверняка по-забежало-ски образован. Скорей всего, даже высоко.

— И о письме читателя Сидорова вы, конечно, многое можете сообщить.

— Свое мнение имею.

— А именно?

— Ну да, так я его вам и выложил.

— Э-э, я пива заказать забыл. Пропустим по кружечке?

— Не в пиве дело — в принципах! У вас оне загнулись не на ту сторону.

Как и следовало ожидать, Сидоров-Гусь оказался закаленным бойцом забегаловок.

— Неужели ваши личные взгляды, Иннокентий Павлович, отличаются от тех, что высказаны в письме? — Вопрос с изумлением и смиренностью.

— Сравнили «Московскую» с квасом.

Настало время нанести удар.

— Иннокентий Павлович! — с нужной торжественностью произнес Самсон Попенкин. — Что заставляет вас быть столь двуличным?

У Сидорова-Гуся дрогнул излишне волевой подбородок.

— Виляете, Иннокентий Павлович! Не знаю только — зачем!

Но Сидоров-Гусь быстро пришел в себя:

— Вы меня на понт не берите! Не из таковских, не испугаюсь!

— У нас есть веские основания считать, что ваши взгляды, Иннокентий Павлович, полностью... полностью!.. совпадают с письмом, опубликованным нашей газетой.

— Эва!

— И вы прекрасно знаете почему!

— Чего вы со мной в жмурки играете? Говорите уж напрямки.

— Нет, Иннокентий Павлович! Нет! Ваша очередь говорить прямо.

— Ишь, ловчила. Сам чегой-то выплясывает, а на меня пальцем кажет. Разберись поди.

— Вспомните, Иннокентий Павлович, кто автор того нашумевшего письма?

— Ну, помню. Тоже какой-то Сидоров. С нашей фамилией только собаки по городу не бегают.

— Ошибаетесь. В нашем городе всего три И. Сидорова.

— Ну и что? Мне-то какое дело.

— Один из этих Сидоровых живет в Москве, здесь только числится. Второй — древний старик, второй год не подымается с постели, грамоты почти не знает, газет не читает...

— Мне-то какое...

— А третий И. Сидоров — это вы! — с металлом в голосе объявил Самсон Попенкин.

— Слушай, ловчила, — рассердился Сидоров-Гусь. — Что ты от меня хочешь?

— Истины!

— Чего-о?..

— Иннокентий Павлович, у нас есть все основания подозревать, что вы автор знаменитого письма.

Сидоров-Гусь минуту-другую стоял с отвалившейся — столь волевой! — челюстью, стоял и заворуженно помаргивал, наконец подал слабые признаки жизни:

— Н-ну, дела-а!

— Учтите, Иннокентий Павлович, мы пользуемся только проверенными сведениями.

— Я, как его... автор! Н-ну, забавники...

— Может, вы укажете нам на другого, скрывающегося Сидорова?

— Да идите вы!.. Не знаю и знать не хочу никаких скрывающихся!

— Вот и мы так считаем — других нет, вы единственно возможный Сидоров.

— Считайте. Только не писал я... В жизни не случалось. Эва, навесили!

— Отказываетесь?

— Отказываюсь!

— Решительно?

— Да уж само собой.

— Тогда... — Самсон Попенкин посуровел. — Нам придется кой-кого попросить, чтоб выяснили.

— И выясняйте себе... Без меня.

— В первую очередь выяснять будут, Иннокентий Павлович, кто вы такой, чем вы дышите?

Самсон Попенкин не ошибся: Сидоров-Гусь носил в себе трещинку, сейчас она с хрустом подалась, раскалывая этот кряжистый характер. Некоторое время Сидоров-Гусь темнел лицом и молчал, затем попробовал вильнуть в сторону:

— Да, может, вовсе никакой не Сидоров написал вам, может, кто-то Сидоровым подписался?

— Тем более следует выяснить.

«Что можно на это возразить? И так — выяснение, и — эдак. А именно их-то и хотел избежать Сидоров-Гусь.

— Но не писал же!.. Не писал ничего!.. Не наговаривать же на себя, когда не было!

Самсон Попенкин, поскуцнев лицом, взял шляпу со столика:

— Упрямы вы, однако... Всего хорошего.

— Стойте!

Сидоров-Гусь окончательно треснул — и вдоль, и поперек.

— Да или нет? В последний раз!.. — сердито спросил Самсон Попенкин, держа на весу шляпу.

— Вот и знай, где влипнешь...

— Я спрашиваю вас: да или нет? Мне некогда, товарищ Сидоров, толочь воду в ступе.

— Ну, скажу — да, тогда что?

— Ничего. Покажетесь вместе со мной в редакции, вернетесь обратно целым и невредимым. Важно знать, что вы есть вы. Больше нам от вас ничего не надо.

— А вдруг да тот Сидоров объявится?..

— Какой — тот? — Самсон Попенкин охладил строгим взглядом. — О чем вы?

И Сидоров-Гусь увял. Собственно, «интервью со взломом» на этом победно закончилось.

Самсон Попенкин вежливо приказал:

— Зайдем сейчас к вам домой. Вы побреетесь, наденете свежую сорочку, галстук. Неудобно в таком не-потребном виде знакомиться с главным редактором.

А тем временем главный редактор Крышев, как это ни невероятно, занимался примерно тем же, что и Самсон Попенкин, — готовил бомбу... да, да, чтоб убить дух читателя Сидорова! Правда, добрейший Илья Макарович и не подозревал, что собирается свершить убийство.

Он был охвачен паническим ужасом. Петров-Дробняк с его помощью становился хозяином положения. С приступочки на прилавочек, с прилавочка на припечечек... Старый ухарь, размахивая именем Сидорова, как дубиной, уже сейчас держит его в страхе божьем, станет держать до тех пор, пока он, Илья Макарович Крышев, не освободит хозяйское место. С приступочки на прилавочек...

Сидоров... До сих пор Илья Макарович старательно прятал от самого себя лезущие сомнения, Сидоров... Он как-то вдруг выплыл из небытия, подозрительно неожиданно и подозрительно вовремя; его письмо появилось, как по заказу, в нужный момент, написано хлестко и споровисто, не каждый-то газетчик, набивший руку на сочинительстве, такое выдаст. И подлинника письма никто и в глаза не видел, — перед Ильей Макаровичем это письмо легло уже в оформленном виде, с редакционной «собакой»...

Сидоров... Подозревать его — можно обжечься. Он с ходу стал авторитетен, а тут уж сомневаться и вовсе опасно, наоборот — спеша превознести, успеи поклясться в верности. Но сейчас Илья Макарович затравлен, терять ему нечего, и, как красный зверь, обложенный со всех сторон, он чувствовал прилив безумной храбрости, решил броситься на охотника. Сидоров... Им размахивает Петров-Дробняк. Надо доказать — помыслить жутко! — нет Сидорова, пустота, подлог!..

Это бомба, взрыв которой сотрясет весь Китеж сверху донизу, контузит Петрова-Дробняка.

Конечно, в другое время Илья Макарович поостерегся бы, — бомба не игрушка, сам можешь оказаться под обломками. Но — с приступочки на прилабочек, с прилавочка на припечечек... — не смей медлить!

Илья Макарович решился на террористический акт — бросить бомбу!

Он снял трубку, набрал нужный номер.

— Полина Ивановна, Крышев говорит... Да, Крышев. Зайдите ко мне сейчас... Да, да, вы! Да, да, сейчас, немедленно!

Изумленная Полина Ивановна воевала с Сидоровым, утопая в читательских письмах.

И вот звонок... Она пятнадцать лет трудилась в отделе писем, за эти годы сменилось немало главных редакторов, и никому из них не приходило в голову приглашать ее к себе на беседу. Не на совещание через секретаршу, не в компании с другими сотрудниками — персональное приглашение: «Сейчас! Немедленно!»

С красными пятнами на помятых щеках, с остекленевшими под железными дужками очков глазами Полина Ивановна предстала пред Крышевым.

— Садитесь, — вежливое, но настораживающее.

На нее уставились две физиономии — невеселая, с подсиненными подглазницами Крышева и широкая, мутно гладкая, таинственно невозмутимая никогда не загорающегося телевизора.

— Мне срочно нужен оригинал письма товарища Сидорова, — с ходу, без обиняков, с устрашающей простотой и любезностью заявил Илья Макарович.

Полина Ивановна молчала, цвела красными пятнами, слышала каждое слово и не смела верить тому, что слышит. Мутное око-физиономия угрожающе бесстрастно взидало на нее из-за плеча любезного до сердечности Ильи Макаровича Крышева.

— Вы слышите, Полина Ивановна? Оригинал...

— Слышу.

— Он у вас?

— Нет.

— Где же?

— Не знаю.

— А кто должен знать?

Полина Ивановна не глядела на Илью Макаровича, ее топил своим взглядом, дымчатым до угара, телевизор. И тяжело дышалось, и стул под ней слегка покачивался, словно лодка на морской волне.

— Может, он у Попенкина? — подсказал Илья Макарович.

— Не знаю.

— Вы его видели, это письмо?

— Не знаю.

— Как это понять?

— Не помню никакого письма.

— У вас ведется учет приходящих писем?

— Да.

— Принесите мне книгу регистраций приходящих писем и укажите, где оно зарегистрировано.

— Нет...

— То есть как это нет?

— Нет этого письма...

Чадный взор телевизора окутывал ее, и легонько качало, словно в море на малой волне.

— Прекрасно. Не помните, нет, не зарегистрировано! Напишите мне подробное объяснение: письмо Сидорова вам в отдел не приходило, приложите к объяснению соответствующие выписки из регистрационной книги. И к

концу рабочего дня вы мне... Мне! Не через секретаршу!.. Из рук в руки!.. Идите, Полина Ивановна.

А Полине Ивановне не хотелось вставать, от чадного взгляда телевизора у нее начала болеть голова, болеть и кружиться.

— Полина Ивановна! Время не ждет. Идите!

И она с усилием поднялась, пошатнулась, но удержалась, волоча ноги, послушно двинулась к двери. У дверей она задумчиво обернулась:

— Илья Макарович...

— Что? — подобрался Крышев.

— Вы не замечали — письма похожи на людей...

— Н-не понимаю.

— Я знаю, как выглядит письмо Сидорова. Честное слово. Хотя в жизни его ни разу не видела. Маленького роста, с квадратной головой, мешочки под глазами... У него большая печень, Илья Макарович.

— О чем вы, право? Н-не пойму.

— Он даже стал приходить ко мне ночью, Илья Макарович...

— Полина Ивановна, на вас лица нет. Что с вами?

— Я устала... Я так устала...

Полина Ивановна толкнула дверь и вышла.

Илья Макарович не успел еще прийти в себя, как из коридора донесся дикий вопль.

35

Самсон Попенкин ввел в стены редакции побритого, повязанного галстуком, конфетно пахнущего туалетным мылом «Земляничное» Сидорова-Гуся в тот самый момент, когда Илья Макарович Крышев вызвал к себе Полину Ивановну.

Нет, Самсон Попенкин не повел новоявленного автора сразу в кабинет главного редактора — рано! Для начала высокий гость должен был посетить одну из самых больших достопримечательностей редакции — окошечко кассы при бухгалтерии.

— Вам выписан скромный гонорар за вашу публикацию, — пояснил Самсон Попенкин.

— Но... — начал Сидоров-Гусь, давно уже лишившийся былой самоуверенности.

— Опять — но? — ледяным голосом оборвал Самсон Попенкин. — В вашем распоряжении две минуты. Выкладывайте! И не советую повторяться.

Однако и этих двух жалких минут уже не имел Сидоров-Гусь. Он уже стоял перед окошечком кассы. За ним сидела почтенного вида женщина, широко известная среди китежских журналистов Зоя Митрофановна — многолетний кассир газеты.

— Паспорт разрешите, — коротко потребовала она.

Зоя Митрофановна — живое олицетворение законности и порядка. Зоя Митрофановна, никогда и никому не верящая на слово — только документам. Зоя Митрофановна никогда не ошибалась, ибо кассир, как сапер, ошибается в жизни только один раз.

Она взглядела в протянутый паспорт, доверчиво протянула чек, изрекла:

— Распишитесь: сумма прописью, число, фамилия,

И перед товарищем Сидоровым, в чьей подлинности ни на йоту не усомнилась сама Зоя Митрофановна, легли деньги. Нет, нет, очень скромные — тринадцать рублей и тридцать две копейки.

Сидоров-Гусь всю жизнь жестоко страдал самой пространной в мире болезнью — хроническим безденьем. Вся жизнь его была заполнена одним стремлением, одним неизменным и страстным желанием — сорвать лишний рубль, выколотить лишний гривенник. Даже прозорливый Самсон Попенкин, похоже, не догадывался, что эта неистребимая страсть толкала порой Сидорова-Гуся — увы, не на подвиги — на попрошайничество: «Эй, парень, одолжи пяточок на автобус, на мели оказался!» К. проходим на улице, к тем, у кого рожа попроще, глаза подобрей. С четырех лопухов по пяточку да две копейки свои — кружка пива! И вот даже этот Сидоров-Гусь, не брезговавший пяточками, невольно отклонился от предложенных денег:

— Но...

Сидоров-Гусь отклонился и встретил чистый, открытый вопрошающий взгляд Зои Митрофановны.

— Что-нибудь не так? — спросила она.

— Нет! — хрипло ответил Сидоров-Гусь. — Все верно, мамаша. — И дрогнувшей рукой вынужден был подгрести деньги.

А как можно от них отказаться? Подойти к кассе,

вынуть паспорт, расписаться в получении и... не взять деньги. Возможна ли вообще такая нелогичность поведения? Бывал ли на свете когда подобный случай? Поступи так Сидоров-Гусь, честнейшую Зою Митрофановну, наверное, хватил бы апоплексический удар.

Сидоров послушно спрятал деньги и понял: дело во все не в тринадцати рублях с копеечками, а в его подписи. Своей подписью он сейчас удостоверил не только настырного газетчика Попенкина, не только пожилую симпатичную кассиршу, а всю великую державу, что он — не кто иной, как тот самый Сидоров, автор нашумевшего по городу читательского письма.

Свершилось! Великий дух читателя Сидорова окончательно сросся с брэнной, весьма заурядной по размерам и достоинству человеческой плотью. Беспристрастнейшее лицо, исполняющее государственную службу, кассир Зоя Митрофановна документально скрепила это знаменательное бракосочетание. Самсон Попенкин был заинтересованным свидетелем. Поздравления и торжественные речи отсутствовали.

В вековой бурной истории града Китежа постоянно происходили убийства — на плахах, на дыбах, в каменных мешках, ножом от руки брата, кистенем на темной дороге, подушкой в княжеских палатах — нет числа их многообразию. Но никогда еще не случалось столь чистенького, никоим образом не кровавого, изящного убийства. Погиб могучий дух, остался всего-навсего читатель Сидоров, несколько не таинственный, отнюдь не могучий — слесарь-ремонтник из пятой автотранспортной конторы, увлекающийся посещением заведений «Росглавпива». Кому теперь придет желание размахивать столь ординарным именем. У грозного рыцаря Петра-ва-Дробняка выбито из рук оружие.

Но духи, как и люди, погибают не сразу, а в корчах и конвульсиях.

Новоявленный автор спрятал в карман полученные деньги...

А в это время Полина Ивановна, толкнув дверь, вышла из кабинета главного редактора...

А по редакционной лестнице ступенька за ступенькой подымался с одышкой человек, почтенно пенсионного вида, с лицом самосожженца, — Пэлэша, несший в редакцию одно из своих заявлений: «Считаю своим долгом сообщить...»

Полина Ивановна вышла из кабинета, вся натянутая, с очками, нацеленными в некую даль, с горячечными пятнами по всему лицу. Она вышла и наткнулась на Самсона Попенкина.

— Полина Ивановна, познакомьтесь, — с тонкой победоносной улыбочкой остановил ее Самсон Попенкин. — Это товарищ... Сидоров. Да, да, тот самый.

Полина Ивановна споткнулась. Полина Ивановна замерла, она странно вспыхнула, затем начала бледнеть, распахнутые глаза за стеклами очков стали медленно наливаться тяжелым погребным мраком. Перед ней стоял дюжий муж с навешенным квадратным подбородком, слегка подзадушенный коротким галстуком, карамельно благоухающий земляничным мылом. И Полина Ивановна откачнулась, издала вопль.

— Н-не-ет!! Н-не-ет!!

Вопль потряс стены редакции, и все двери отделов пришли в движение.

— Н-не-ет!! Не-ет!! Спасите меня!!

Самсон Попенкин кинулся к Полине Ивановне, но та с силой оттолкнула его, закричала надрывнее:

— Н-не под-хо-ди-те!! Не он!! Не похож-ж!!

Из всех дверей выскакивали люди и застывали немотно-недоуменными вопросительными знаками вдоль коридора. Маленький, верткий Самсон Попенкин насккивал на Полину Ивановну, но каждый раз отлетал в сторону. Полина Ивановна продолжала кричать:

— Вы подменили-и!.. Подмени-ли-и!.. Не он!! Не Сидоров!!

Выполз из своего кабинета и сам Крышев Илья Макарович, прижался бочком к спасительной стеночке.

— Ищите Сидорова... Не он!!

На помощь к отчаянно насккивающему Самсону Попенкину двинулись молодые, дюжие литсотрудники, стиснули Полину Ивановну, а та вырывалась и вопила:

— Не он... Тот прячется!.. Берегитесь!! Берегитесь!! Берегитесь!!

А Сидоров-Гусь, только что ставший читателем Сидоровым, багровый и потный, полузадушенный галстуком, с отвалившимся волевым подбородком, убито сутулился, навесив к коленям тяжелые руки.

И тут открылась входная дверь... Дверь открылась, и в переполошенный коридор вступил Пэпэша, скромный

пенсионер, жаждущий подвижничества. Никем не замеченный, он сделал несколько шагов и остановился, узрев сутулящегося Сидорова. На морщинистом челе страстотерпца Пэпэша угрожающе набухла вена, темная старческая кровь ударила в лицо, оно стало синебагровым, глаза яростно побелели. Он вскинул узловатый палец на Сидорова, и в крики обезумевшей Полины Ивановны врезался его визгливый вопль.

— Вот о-он! Во-от!!

— Не тот! Не тот! Не он!! — билась в крепких литературнических руках Полина Ивановна.

— О-он!! — надрывался Пэпэша. — О-он!! Хулиган! Бандит!..

— Пустите меня! Пустите!! Ищите настоящего!!

— Здесь не место. Не место хулигану!! Прочь! Прочь гоните!!

— Это не тот!! Настоящий прячется! Ищите! Ищите!

— Он настоящий!.. Да, да, бандит! Рукоприкладствует на улицах!!

— Спасайтесь от Сидорова!! Спасайтесь все!!

— Он меня чуть не задушил! Свидетельствую!! Гоните его!!

Два голоса одинаково надрывных — дружный дуэт сумасшедшей и подвижника.

Духи, как и люди, умирают в конвульсиях...

И среди раздавшихся воплей никто не смог услышать, как вновь вкрадчиво скрипнуло колесо китежской истории.

37

На этот раз колесо истории, похоже, крутануло в обратную сторону.

Полину Ивановну увезли на вызванной по телефону машине «скорой помощи». Сгоряча хотели туда же впахнуть и впавшего в подвижнический раж Пэпэша, но он успел прорваться в кабинет к главному редактору и стал самозабвенно доказывать, что Сидоров — известный хулиган, недавно получивший пятнадцать суток за рукоприкладство... Пэпэша успокоили и выпроводили по добру-поздорову.

После этого наступила удивительная, освобождающаяся тишина. Все начало мало-помалу становиться на прежние места.

Сидоров-Гусь, с таким шумом ставший читателем

Сидоровым, раньше всех смылся из редакции... в ближайшую пивную, чтобы там перевести дух и философски осмыслить пережитое.

О нем навели справки в милиции и выяснили, что действительно — был приводим, и не единожды, получал по пятнадцать суток. А уж после этого упоминать имя Сидорова в любом виде просто даже неприлично, следовало делать вид — такого вообще нет и не было. Не было Сидорова, значит, не было и проблемы загрязнения реки, не существовало и статьи Лепоты на эту тему.

Петров-Дробняк, так лихо вскочивший на приступочек, целившийся скакать и дальше, должен был отступить.

Колесо истории крутануло вспять.

Кто знает, получал ли Илья Макарович Крышев нарекания и выговоры, если и получал, то строго конфиденциально, и это не отразилось на его служебном положении. Он с прежним усердием несет в газете нелегкое бремя внешних сношений, а колесо внутренней жизни, как и раньше, крутит Самсон Попенкин. Если надлежит забыть Сидорова, то логично предать забвению заблуждения и опрометчивые поступки всех, кто был с ним как-то связан.

Кто старое вспомянет — тому глаз вон! Воистину так.

Дым, шум, вихри враждебные — все развеялось, улеглось. Жизнь потекла в прежнем русле, как течет по-прежнему и речка Кержавка через славный град Китеж к озеру Светлояру.

1977

РАССКАЗЫ

ПАРА ГНЕДЫХ

Лето 1929 года...
Я подымаю его почти со дна моей памяти. Есть воспоминания, лежащие и глубже, даже в глухих слоях младенчества. Но это случайные следы в незрелом мозгу, капризы неопределившегося бытия.

Например, я отчетливо помню: мать ведет меня за руку, я, наверное, только-только учусь ходить, и земля не держит меня, она коварно неровна — в ямах, буграх, предательских уклонах. Но вот я оторвал от нее взгляд и поднял вверх голову, открыл близкое серенькое небо и недоступный скворечник — мир, существующий помимо меня. Отчетливо помню... Но эта ранняя картина ни с чем не связана. Я не знаю, что было до нее, что после нее, — кратковременная вспышка во мраке.

К 1929 году мне исполнилось пять лет, тут я уже помню все, не клочками, не вспыхивающими звездами, а сплошным потоком... Незабвенный первый пескарь, вытащенный на удочку у моста, сразу же раздвигает мир: вижу сбегаящий к реке бурьянистый косогор, черные баньки, покоящиеся в крапиве, избы, сладко пахнувшие по утрам свежеиспеченным хлебом, мужиков, тревожно рассуждающих о коммунии...

Подымаю с самого дна моей памяти... Но памяти надежной, за которую я готов нести прямую ответственность. По детским следам иду сейчас, сорок с лишним лет спустя, иду зрелым и весьма искушенным человеком. А потому пусть не удивляет вас трезвая рассудочность моего изложения.

Итак, лето 1929 года.

В воздухе висит нагретая пыль, скрип несмазанных колес, выкрики: «Шевелись, дохлая!» По единственной улице села тащатся груженные возы — навстречу друг другу. В ту и другую сторону везется житейский скarb: полосатые, вожделенно пухлые перины и залежанные, негнувшиеся холстинные матрацы, громоздкие сочленения

ткацких станин и неумытые самовары, окованные сумрачные сундуки и нехитро расписанные шкафы, хлопающие на ходу дверками, вылинявшие, затхлые подушки, штабеля подшитых валенок, нагромождения овчины и тряпья, «робячьи» люльки, опростанные и с младенцами, венские стулья — зажиточный шик, сломанные салазки, прялки, голики, бочки, пестери, горшки, лохани... Из темных потайных мест — все, что копилось поколениями, что лежало без нужды многие десятилетия, даже века, вытащено сейчас наружу, везется навстречу друг другу.

Иногда над горшками и лоханями возвышаются усохший старик или старуха, покорные судьбе, глядящие вперед замороженным взглядом...

Скрипят несмазанные колеса. Село поднято, село переезжает!

Переезжают не все. У дороги, чуть в стороне, — разомлевшая на солнце кучка мужиков: топчут пыльную травку дегтярными сапогами, берестовыми ступнями, босыми пятками, потеют, благоухают луком, жадно ощупывают глазами каждый воз и обсуждают.

— Мирошка-то, гляньте, цинково корыто везет.

— А еще в бедняках ходит.

— Цинково корыто — вещь!

— А вон и Пыхтунов едет!

— Ну, у этого-то добра хватает.

— Два самовара у него, а чтой-то не видать их.

— Укрыл, зачем глаза-то мозолить.

— Два самовара — вещь, это не цинково корыто...

Тут же у дороги стоит и мой отец — вместе со всеми и как-то наособицу. На его широкой спине скрещиваются взгляды мужиков. Отец чувствует их, плечи его борцовски опущены, бритая, сизая голова склонена вперед, на загорелой крепкой шее морщинистый шрам — след белогвардейского осколка.

Это он поднял село, вывернул наизнанку, заставил переезжать.

Справедливость... Я родился в воспаленное время и очень рано услышал это слово.

Еще совсем недавно было худо на белом свете — богатые обжирались и бездельничали, бедные голодали и работали. Не было справедливости во всем мире!

За справедливость, за «кто не работает, тот не ест!»

поднял народ Ленин. А вместе с ним поднялся мой отец. Вот он стоит и смотрит, как идут возы по улице.

Сейчас богатые мужики переезжают из своих богатых домов в избы бедняков. Бедняки же едут жить на место богатых. Мирошка Богаткин, хоть имеет оцинкованное корыто, но голь, беднота. Мирошка едет занимать пятистенки Пыхтунова Демьяна. А Пыхтунов с семьей и двумя своими самоварами едет в Мирошкину развалюху.

Не было в мире справедливости — она есть! И устанавливает ее здесь в селе мой отец. Устанавливает не по своему желанию, его послала сюда партия. Мы здесь приезжие.

За нашими спинами раздался глуховато-монотонный голос:

— Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны алчущие, ибо они насытятся. Блаженны милостливые, ибо помилованы будут...

Опустив в валенки вечно мерзнувшие — даже в такую жару! — ноги, сидит под оконцами избы старый Санко Овин, бубнит ввалившимся, затянутым бородачком, словно паутиной, ртом, глядит вдаль сквозь всех голубенькими размыленными глазками.

— Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими...

И мужики обеспокоились, разом заговорили.

— Блаженны алчущие?.. Выходит, что по-божески нынче забирают.

— А милостливые блаженны, как тут понять?

— Эй, дедко, растолкуй: бог твой за нынешнюю власть али против?

— Все равны перед богом, — пробубнил дед Санко сквозь волосяную паутину.

— Ишь ухилил, старый черт!

— Нет уж, скажи, Овин: нынешняя-то власть божеское равенство устанавливает али какое?

— Божеское?.. Активисты-то! Сказанул!

— А вот мы спросим. Эй, Федор Васильевич! Товарищ Тенков! Дополни ты нам Овина: божеское у вас равенство али какое?

Мой отец, как всегда, обернулся не сразу. Сначала взвесил — хорош или плох вопрос. А обернувшись, сощурился с невнятной ухмылочкой. Это значит, вопрос понравился, с охотой ответит. При неприятных вопросах он каменел губами и скулами, отвечал глухим нехорошим голосом.

— А вот как понять — все равны, все братья, а кесарю кесарево отдай, не грехи? Вроде так сказано в святом писании. — И отец повел прищуренным глазом на мужиков. Те посапывали со вниманием. — Выходит, равенства держись и царя-кесаря признавай над собой. Неувязочка. Бог-то у Овина вроде меньшевика или левого эсера — одни пузыри о равенстве пускает. Соглашатель.

Бог Санко Овина — это мужицкий бог, тем не менее кто-то из мужиков охотно хохотнул, кто-то прокрихтел, кто-то без убеждения, слабодушно поддакнул:

— Оно, пожалуй...

А отец, запустив руки в карманы, развернув грудь, поглядывал на всех с победной ухмылочкой.

— Именем бога тыщи лет словеса плели, а мы действуем... Вон!.. — Отец кивнул подбородком в сторону дороги. — Поглядите, как выступает. Хорош? Слов нет. А вон этого хорошего без лишних слов с плохим Ваней Акулей поравняли. Не речи о равенстве толкаем, а делом занимаемся.

Все поглядели туда, куда показывал мой отец. По улице двигался высокий воз, две гнедых, небрежно попирая пыль хрупкими ногами, тянули его. Рядом прямо вышагивал человек, рукава полотняной, не по-деревенски белой рубахи засучены, высокие сапоги начищены, шляпа на затылке, — Антон Ильич Коробов.

Он был не бедней Пыхтунова — кулак! Никакого сомнения! Он имел две лошади. Таких коней не было ни в нашем селе, ни в соседних селах, да были ли лучше на всем свете? Лучших и представить нельзя.

Они лоснились так, что казались выкупанными. По спинам и крупам, на выпуклостях, они отливали глубоко тусклым золотом. У них, гладких, — тощие морды с пугливыми ноздрями и крупными, влажными, горячими глазами. У них широкие, бронзово литые крупы, а под ними сухие, до невольного страха тонкие ноги, кажется, вот-вот под тяжестью крупов хрустнут у бабок. На передних ногах одной — белые носки, и даже копыта у нее розовые...

Я тайно и безумно любил этих коней — каждую их лощеную шерстинку, каждое их богоподобное движение, позвякиванье их сбруи, призрачный стук их невесомых копыт на рыси. Я никогда не мог досыта на них наглядеться...

Я временами любил — ничего не мог с собой поделаться! — их хозяина Антона Коробова, когда тот ласкал своих коней, говорил с ними с шутливой небрежностью, за какой взрослые обычно прячут свою нежность к детям. Его смуглое лицо в эти моменты было таким, что хотелось подвернуться под его руку, чтоб ошастливил — погладил по голове.

Я любил его и тогда, когда перед закатом сквозь золотую пыль лучей низкого солнца он проезжал по селу на своей паре. Всегда это случалось внезапно. Они возникали посреди улицы — громадные, переливисто лоснящиеся, победно сильные, столь одинаково выгнувшие шеи, столь согласованно попирающие землю ногами, что казалось — бежит не пара зверей, а одно-единственное до ужаса великолепное существо. А позади него, выкинув вперед руки, величаво откачнувшись назад, — он, повелитель, он, бог! Как бы я хотел походить на него! Бога нельзя не любить!

Его любили дети и собаки, да и прочие животные тоже. Рассказывают: однажды он подошел к расклевывшему быку, только что разбившему телегу, ранившему лошадь. Подошел, почесал его, как собаку, за ухом, взял его за кольцо в носу и отвел в стойло.

Его не любили взрослые. Не только мой отец, но и мужики, богатые и бедные без разбора. «Тонька Коробов — хват. С ним на палочке не тянись — руки до плеч выдернет, и все с улыбочкой — простачок».

Был он женат на единственной дочери местного купца-богатея Игнашихина и должен был стать его наследником. После революции старик Игнашихин с сумой на плече ушел куда-то на сторону, жить у зятя не стал — неспроста... Антона же Коробова тогда не тронули, даже одно время почтительно величали «культурным хозяином».

Он остановил воз, сунул вожжи за грядку, бросил лошадей прямо на дороге, направился к нам.

А лошади мотали головами, взрывали копытами пыль, им хотелось двигаться, хотелось в подмывающем содружестве и дальше тянуть этот посильный воз, но — умны же! — хозяин отошел, надо ждать... И копытят пыль на дороге.

У Антона Коробова на смуглом лице светлые глаза и светлая, ровно подрубленная бородка. Он был не особо высок ростом, но держался столь прямо, словно все на голову ниже его.

— Здоровы будем, мир честной, — приветствовал он.
— Здоров, коли не шутишь, — отозвался доброхот.
— Выглядываете, кто сколько горшков нажил?
— Чай, любопытно.
— И вам, Федор Васильевич, тоже?.. — Антон Коробов нацелил бородку на моего отца.

— Да, — сухо ответил отец.
— Чужие горшки любопытны?..
— Событие, которое сейчас идет. Иль тебе, Антон, оно любопытным не кажется?
— Может быть, — с готовностью согласился Антон. — Вот только куда любопытное нас развернет?..

— Ко всеобщему равенству.
— М-да-а... Всеобщее, значит. Ты — мне, я — тебе, а вместе мы Ване Акуле равны?

— Не нравится?
— Нет, почему же. Я-то готов, да ты, Федор Васильевич, все сердито подминаешь. Ты наверху, я внизу — равенство.

— Не наш класс в эти подминашки первым играть начал.

Антон Коробов блеснул улыбочкой:

— Ах, вон что! Вам старые ухваточки приспособить не терпится.

Из кучи мужиков кто-то несдержанно выдохнул с радостной откровенностью:

— Гы!..

Они стояли друг против друга — мой отец и Антон Коробов. Мой отец широк, плечист, словно врос в землю расставленными ногами, взгляд его прям и тверд, многие мужики, стоящие сейчас в стороне, не под его взглядом, поеживаются. А Коробов — хоть бы что, задирает перед отцом бородку — легкий, статный, ворот именинно чистой рубахи распахнут на груди, сапоги блестят твердыми голенищами и открытая улыбочка: возьми-ка меня за рубль двадцать, дом отнял, глядишь грозно, а мне — трын-трава!

И кони в стороне гнули шеи, рыли дорогу точеными копытами...

В это время, гремя пустой телегой, подкатил Мирон Богаткин, уже сваливший свое добро вместе с оцинкованным корытом возле нового жилья.

— Тпр-р-у! — Мирон соскочил с телеги, подсмывнул сползающие с тощего брюха портки.

Он и всегда-то был дерганный — все с рывка да с

тычка, а сейчас весь перевероршен — глаза в яминах блестят, как вода из колодца, во всклоченной бороде солома, ворот холщовой рубахи расхлюстан, а тощие черные щиколотки чем-то сбиты до крови.

— Петро, ты тута?

— Тута, — ответил хозяин лошади Черный Петро, всегда пугавший меня улыбкой: и так уж страшен в своей смоляной бороде, а тут еще в этой бороде вдруг вспыхнут крупные зубы.

— Спасибочки за лошадь, Петро.

— Чего быстро управился?

— У меня всех тяжестев — камень под порогом, так я его новому хозяину оставил.

— Не прибедняйся: баба тебе портки в цинковом корыте стирает.

— Сменяем корыто за лошадь, ежели пожадовал.

— Гы!..

— Эй, Мирон! Чтой-то ты вроде не в себе?

Мирон скребанул неразгибающейся, очугуневшей от работы пятерней по груди.

— Муторно, братцы!

— Дом новый не хорош?

— Хорош-то хорош, а как ни ступи, пятки жжет.

— Что так?

— Полы крашены... Не привык я по крашеному-то ходить.

— Привыкай, коли власть требует.

— Э-эх! — Мирон снова скребанул по груди. — Вот ежели б мне советска наша власть лошадь помогла огоревать... С лошадью я бы и сам дом поднял, чужого не надо.

— Зачем тебе лошадь, Мирон? — со своей тонкой улыбочкой вступил в разговор Коробов. — Федор Васильевич тебе стального коня обещает — трактор!

Мирон проблестел на Коробова недобрым глазом.

— Стальное-то мне не к рукам. Ногти о стальное-то обломаю. Мне бы обычное — костяное да жилианое, я б с энтим в землю по уши вьелся.

— А не опасно это, по уши-то? А? — Коробов краем глаза ловил выражение моего отца. — Въешься в землю — зажиточным станешь, чего доброго, второго коня заведешь, дом железом покроешь, тут-то и кончится твоя масленица.

— Уж не завидуешь ли мне, Тонька? — спросил Мирон.

— Гы! — показал в страшной бороде страшные зубы Черный Петро.

— Завидую, брат. Ты теперь в ласке, а я в опаске. Нынче у меня дом отняли, завтра коней, а послезавтра... — Коробов круто, на каблуках повернулся к своему отцу. — А вдруг да не остановитесь, Федор Васильевич?

— На полдороге не остановимся, не мечтай.

— Слышал, Мирон? Потому и готов я сейчас же пролетарием стать.

— Гы!.. — гыкнул Черный Петро.

— Дело нехитрое, — произнес Мирон. — Отдай мне коней. Я пролетарием-то всю жизнь, поднаоело.

— Гы!.. Гы!..

— А ты примешь, ежели отдам? — спросил Коробов. — Не откажешься?

Мирон сглотнул слюну, побежал глазом в сторону, в сторону, пока его глаз не уперся в коробовских коней на дороге.

— Попробуй проверь, — сказал он.

— По нынешним временам такие кони ой горячи, Мирон! Шибко они меня припекают. Спроси-ка Федора Васильевича, уж он-то лучше моего тебе растолкует.

— Зачем? — с пренебрежением отозвался мой отец. — Еще товарищ Карл Маркс отмечал: ни один мироед-собственник добровольно не отказывался от своей собственности.

— А кто говорит, что я добровольно от коней отрекаюсь?.. Нужда, Федор Васильевич, заставляет. Я их, лапушек, на руках выносил вместо детей. Дороги они мне... — Антон Коробов положил руку на сердце. — Вот тут лежат, с мясом отрывать придется.

— Сам не оторвешь, классовая жадность пораньше тебя родилась, Антон.

— А ежели смогу?

— Ежели б смог, то в наших рядах давно бы был, — ответил отец.

Коробов улыбнулся своей тонкой, скользкой улыбкой.

— А я того и хочу, Федор Васильевич, — в ваших рядах. Хочу вот отдать своих коней, зато чужих брать, дом свой, который бревнышко по бревнышку клал, забыть, чтобы других из домов выселять... К понятию пришел: музыка нынче новая, так по-новому и танцуй.

Отец в ответ улыбнулся презрительно и жестко.

— Лиса в капкан попала — лапу себе отгрызть хочет. Нет, Антон, не примазывайся — разоблачим.

— Разоблачите?.. А что?.. То, что я ваши мысли приму, ваши законы признаю?.. За такое, Федор Васильевич, по голове не бьют, а как раз глядят да приговаривают: досужий мальчик, послушливый — сердце радуется. — Антон Коробов, прямой, остроплечий, задира на отца бородку, светленько ласкал глазами. Отец, широкий, тяжело давящий сапогами пыльную землю, встречал исподлобья этот ласковый взгляд.

Мирон Богаткин слушал их, выбирал негнушимися пальцами из бороды солому, и его рука заметно дрожала, глаза, прятавшиеся в глазницах, теперь выбрались наружу, они были бутылочно-зеленого цвета и беспокойны — перебегали с моего отца на Коробова, с Коробова на отца, а лицо напряжено, морщины на нем стянуты.

Кони же, о которых шла речь, чуть поуспокоились, грызли удила, судорожили атласной кожей, отгоняя мух. И тем наглядней было их недеревенское совершенство, что ближе к нам в обморочной дреме стояла запряженная в расхлюстанную телегу лошадь Петрухи Черного — пыльно-шерстистая, с прогнутой обильным брюхом спиной, тупоногая, с громадной понуренной головой, с распушенными губами, облепленными мухами.

Мирон снова через силу сглотнул слюну и сказал ссохшимся голосом:

— Слышь, Тонька: чур, я первый!

Коробов повел в его сторону светлым глазом:

— Вынесешь ли, Мирон?

— Мое дело.

— Двоих разом отдаю. Держать-то их в хозяйстве можно только парой. Поодиночке в плугу или на извозе надорвутся.

— Знамо — тонкая кость.

— Тогда что ж... Считай — заметано.

И Мирон, распахнув зеленые глаза, затравленно заоглядывался:

— Чё это?.. Ужель вправду он?.. Чё это, ребята?..

А «ребята» — кучка мужиков-хозяев из «твердой середины», те, что и сами имели коней, но не смели облизываться на «коробовских лебедек», — попритиснулись друг к другу, замерли, раскрыв окосмаченные

бородами рты, тарасили глаза, громко сопели и потели. Только Петруха Черный показал из бороды страшные зубы, изрек:

— Чудно!

— Очнись, простота! Покупают тебя по дешевке,— сердито сказал отец.

— Безопасность себе покупаю, Мирон, — спокойно добавил Коробов.

— Неужль вправду коней отдаешь за это?

— Дешевле-то не получается.

— А ведь я соглашусь, Антон Ильич, любый. Меня — на коней?.. Покупай! Соглашусь!

— Не ты, так другой — кто-то найдется.

— Найдется, паря, найдется. Но и я готов... За твоих коней да хоть душу черту... Готов, Антоша.

— Подумай о чести бедняцкой! На дешевку клюешь! — Голос отца был сухой, нехороший.

— О чести?.. О бедняцкой?.. — Мирон вывернулся боком, перекошил плечи, выгоревший до рыжины, закопченный до черноты, изрезанный морщинами, в холщовой серой рубаше, в крашенных линиях портах, черные сбитые щиколотки торчат из разношенных берестяных ступешек. — Я, Федор Васильевич, сорок осьмой год живу на свете и все выглядываю, как бы из этой чести выскочить подале... Бедняцкая честь, да катись она, постылая!

Мой отец схватил Мирона за выломленное костистое плечо, сильно потрянул.

— Проснись, глухота! Ликвидация начинается! Слышал: кулака как класс... Хочешь, чтоб вместе с этим классом и тебя, беспортошного, ликвидировали?

Мирон досадливо освободился от отцовской тяжелой руки, нос его заострился, темное лицо посерело, как его заношенная холщовая рубаша, а глаза травянисто цвели.

— Ты, Федор Васильевич, из мужиков-то, видать, выскочил, не поймешь... Коней бери!.. Ни у отца мово, ни у деда такого случая не было, а я пропушу...

— Дура темная! Он спасается, а ты, баран, под бух лезешь!

— Такие кони... Уж знамо, что задешево не достанутся. Кто б мне в другое-то время таких коней посулил?.. Ты, Федор Васильевич, уже не мужик. Мужики-то, эвон, меня поймут...

Мужики, сбившись в жаркую кучу, дышали и молчали, молчали и глазели, заворуженно, жадно, и, похоже, не очень-то понимали.

Мой отец обреченно махнул рукой:

— Баран!

Антон Коробов приподнял мятую шляпу:

— Доброго здоровья, мир честной... Мне пора.

Он двинулся к своим коням молодцевого-легкой поступью, прямой, с занесенной вверх бородкой — взведен! Не дойдя до воза, обернулся к Мирону, стоявшему раскорякой:

— Я не шучу, но и ты обдумай, время есть. Федор Васильевич дело говорит. Мне-то все равно кому...

Мирон только негодуя тряхнул замусоренной бородой.

Коробов не спеша разобрал вожжи, тронул коней с сочным причмоком. А они, легкие, дружно и гибко качнулись, повели дышлом. Воз, тесное нагромождение тучных узлов, расписных сундуков, берестяных коробов, величаво зашатался, ошинованные колеса беззвучно стали давить в пыли четкие колен.

— Нынче мужик землей наелся... И лошадей мужик скоро выгонит в леса — живите себе, дичайте. И сам мужик будет наг и дик, на Адама безгрешного похож. Птицы божии не сеют, не жнут — сыты бывают... Сыты и веселы...

Дед Санко Овин вглядывался в даль, сквозь людей, размыленно-голубым взором, и солнце сияло на его апостольской лысине.

Ему отозвался Петруха Черный:

— Птицы божии... Гы!..

Едва коробовский воз скрылся за бывшим пыхтуновским пятистенком, как раздался радостный выкрик:

— Гляньте-ка: Ваня Акуля едет!

И все сразу встряхнулись, зашевелились, заулыбались, потянулись поближе к дороге.

— Чтой-то лошадей не видать?

— Под шапкой-невидимкой оне.

— Зачем Ване лошади, когда и своих ног у него в хозяйстве много.

— Энти не надсядутся переезжаючи.

По дороге пылило шествие. Впереди — ребятня. Только старший из акуленков был в штанах, на каждом шагу мерцал в прореху голым коленом. Старшего звали



странно — Иов, остальных — Анька, Манька, Ганька, Панька. Эти даже ростом мало отличались друг от друга — в рубахах из старой домотканины до колен и ниже, с одинаковыми рябыми головами, стриженными ступеньками бараньими ножницами, с одинаковыми опаренными солнцем, облезшими носами, как один помышинуму быстроглазые. Они рысили за Иовом, несли кто что успел ухватить — узелок, кочергу, щербатый заступ. Самому младшему, Паньке, ничего хорошего нести уже не досталось, он нес полено.

За ними в туче пыли с громоздким пестерем за спиной вышагивал сам знаменитый по селу Ваня Акуля. Он в лохматой зимней шапке, но бос, у него сорочье быстроглазое лицо, руки его, длинные, тонкие, как лапы паука-сенокосца, прижимают к паку закопченный чугунок. Ваня Акуля знает, что над ним зубоскалят, потому издали, на подходе уже начинает выделять паучьими ногами коленца: «Ах ты, сукин сын, камаринский мужик!..»

За ним отрешенно двигается его медлительная, водянистая, неряшливая жена. Она прижимает обеими руками к груди квашню. Квашня обмотана никогда не стиранной завеской-фартуком, по всему видать, переносится на новое место прямо с тестом — священный сосуд, дарующий жизнь.

Нет беднее в селе семьи. Акуленки даже жили не в избе, а в бане, банный полوک служил им на ночь вместо полатей — бок к боку свободно умещались все семеро. Но сейчас они перебираются в дом Антона Коробова, один из самых — если не самый! — лучших в селе. Пятистенок под железной крышей, внутри крашенные полы, в отдельной светелке — особая печь-голландка, обложенная белыми, как молоко, гладкими, как лед, плитками.

Пылят акуленки, выплясывает сам Акуля с громадным, но не тяжким пестерем на спине, из которого торчат обкусанные ваяльные голенища, Акулькина баба прижимает к груди тяжкую квашню. Двигается племя к новой жизни.

Антон же Коробов, что минуту назад откатил на паре гнедых с рискованно качающимся возом — смех и грех! — должен разместиться в акуленковской баньке с банным полком вместо полатей и, конечно же, некрашенными полами. Но сколько лет он, Антон Коробов, и его бездетная жена ходили по крашеным полам, жили под железной крышей! Свершилось — идет Ваня Акуля!

И мой отец, борцовски опустив плечи, наблюдает за передвижением акуленковского племени.

— Мы на горе всем буржуям мировой пожар раздуем!.. — кричит, не доходя, Ваня Акуля. — Честной компании — мир и почтенье!.. Федор Васильичу как вождем нашему и руководителю докладаю: Иван Семенихин, по прозванию Акуля, задание партии выполняет. Да здравствует братство да равенство! Ур-ра-я!

— Иди, короста! — толкает его квашней жена.

— Ур-ра-я, граждане! Братству да равенству!..

И граждане веселятся.

— Кому-кому, а энтоту от братства и равенства прямая польза!

— Верно сейчас дедко Овин сказал о птицах божьих — не сеют, не жнут, а веселы...

— Адам безгрешный, портки б только снять.

— Мы на горе всем буржуям мировой пожар раздуем!.. — Ваня Акуля вскидывает над головой закопченный чугунок.

— Иди, тошнотное! — Качая жидкими телесами, сонная, хмурая, прошествовала мимо жена Акули. Руки ее бережно прижимали к груди заряженную квашню — сосуд жизни.

Антон Коробов со своим возом не остановился возле акуленковской баньки, а проехал из села на станцию. Жена его еще раньше ушла пешком туда же к знакомым. Коробов пропадал три дня, вернулся с пустой телегой, завернул сразу во двор бывшего пыхтуновского дома к новому хозяину Мирону Богаткину.

Мы, мальчишки, битый час торчали у забора, жались к штакетинам, ждали, когда выйдут Коробов с Миром смотреть коней и бить по рукам.

Битья по рукам не случилось. Из избы неожиданно выскочил МIRON, как всегда в своей несменной длинной холщовой рубаше, как всегда выгоревшие до рыжины волосы встрепаны, двигался сейчас с непривычной яркостью, даже, казалось, стал меньше ростом.

Он скатился с крыльца к лошадям, а на крыльцо вышел Антон Коробов в парусиновой городской куртке с нагрудными карманами, в парусиновом картузе, сбитом на затылок, в своих высоких, по самое колено, сапогах с твердыми, словно надутыми голенищами. На его смуглом с пепельной бородкой лице цвел вишневенький румянец. Коробов сосал толстую папиросу и жмурил

светлые глаза на Мирона. А тот бегал вокруг лошадей, запинался, путался в ремнях — мальчишески усердный и мальчишески неумелый. Только один раз Коробов подал голос:

— Удило-то вынь, лапоть!

Мирон освободил от упряжи коней, с куриным прикудахтыванием: «Родненькие... Красавчики...» — утянул в темные распахнутые ворота сначала одного, потом другого. Кони шли за ним неохотно, вскидывали головами, храпели, пытались оглянуться на стоящего на крыльце хозяина.

— Родненькие... Красавчики... Золотые!..

Последний, тот самый, у которого были белые носки на передних ногах и розовые копыта, коротко и нежно проржал. Антон Коробов выплюнул папиросу и тут же достал вторую, но спички ломались в его руках, никак не мог раздобыть огня.

Мирон долго копался в конюшне, наконец выскочил наружу — юркий серый заяц, — быстро завел створки ворот, навесил замок, защелкнул его и с ключом, запеченным в коричневом кулаке, с землистым лицом, встрепанной бородой и глазами, что цвелея водица, двинулся на Коробова.

— Может, возьмешь все-таки деньги? — хрипло спросил он. — Все, что есть, отдам.

Коробов не сразу ответил, усиленно дышал дымом, сказал раздраженно:

— Какие твои деньги...

— Мотри! Станешь просить коней обратно — не выйдет!

— Чего зря воду толочь. Я же тебе бумагу дал. Твое! Владей! Пока владей, скоро отберут.

— Костью лягу.

— Костью... — сплюнул Коробов. — По твоим костям пройдут и хруста не услышат... Прощай. Будет круто, не поминай меня лихом.

— Небось...

Коробов отбросил папиросу, скользяще глянул в Мирона, сказал почти уважительно:

— А ты рисковый... Вот не чаешь, в ком смелость найдешь.

— Вовек не был смелым, — отозвался Мирон.

Тяжело ступая по ступенькам, Коробов спустился с крыльца и на последней споткнулся — из-за дощатых глухих ворот донеслось тоскующее нежное ржание. На

холщовом лице Мирона враждебно зеленели глаза, он сжимал в кулаке ключ.

— Слышь, об одном прошу... — хрипло заговорил Коробов, — не бей их за-ради Христа, а лаской, лаской... Я их в жизни ни единова не ударил.

— Мои теперя — лизать буду, уж не сомневайся.

И еще раз прозвучало тоскующее ржание. Антон Коробов дергающейся походкой вышел со двора, не обратив на нас, мальчишек, никакого внимания.

Мирон проводил его настороженными рысьими глазами, и его взведенные костлявые плечи обмякли. Он постоял минуту, словно отдыхая, потом встрепенулся, кинулся к стае, прогремел замком, приоткрыв створку, пролез внутрь, закрылся, застучал деревянным засовом, запираясь вместе с конями от нас, от села, от всего мира.

До сих пор у Мирошки Богаткина самой большой ценностью в хозяйстве было оцинкованное корыто.

Оцинкованное корыто — вещь, а коробовским коням никто в селе цены дать не мог.

Презренный металл не осквернил эту небывалую сделку. Наверно, в тот год советский закон еще признавал права за хозяином частной собственности — хочешь, продавай, хочешь, так отдавай, хочешь, съешь с кашей. Умирал, но еще не умер совсем нэп, коллективизация только начиналась, новорожденный лозунг «Ликвидировать кулачество как класс!» еще не воспринимался со всей беспощадной буквальностью. Сумел ли бы через месяц Антон Коробов отделаться от своих коней? И принял ли бы через месяц Мирон Богаткин этот бесценный и злой подарок? Жизнь тогда менялась с каждым днем — что было законно на прошлой неделе, становилось преступным сейчас.

Меня тогда, разумеется, никак не трогали эти вопросы, однако хорошо помню, что почти все село осуждало Мирона:

— С огнем играет... Икнется ему кисло...

За полями, где кончается земля, холм, поросший лесом, походил на заснувшего медведя. Каждый вечер садившееся солнце выжигало на его спине дремучую шерсть.

В последние дни село по вечерам переживало сумасшедший час — висит красная пыль в воздухе, коровы,

козы, овцы мечутся по улице, мычание, блеяние, остервенелые бабьи голоса:

— Марья! Гони ты мою от себя за-ради Христа!

— Пеструха! Пеструха! Пеструшенька! Сюды, любая, сюды! Мы с тобой нонче здесь живем!

— У-у, недоделанная! Каждый вечер ей вицей становлю — все на старое воротит!

Возвращающаяся после выпасов скотина никак не может внять, что в селе произошло переселение.

Мужики в этой игре в салки участия не принимают. Они, как всегда, вылезают на крылечки, развязывают кисеты, палят табак. Мой отец тоже утверждает на своем крыльце, тоже вынимает кисет. Я пристраиваюсь у него с одного боку. С другого бока подруливает кто-то из мужиков, тянется к отцовскому кисету, завязывает разговор:

— Керосину в лавках нету и мыла. Нету спичек. Бабы ловчат, одну спичку вдоль щепают на четыре части...

— Историю на дыбки подымаем, а ты о спичках скулишь!

В тот вечер к отцу неожиданно подошел Антон Коробов в светлой куртке с карманами, в светлом картузе на затылке, со светлой улыбочкой в подстриженной бороде.

— Проститься пришел, Федор Васильевич.

Отец подвинулся:

— Садись.

Над улицей висела красная от заката пыль, бабы гонялись за скотиной, ругались и причитали.

— Радуйся, Федор Васильевич, нету больше зажиточного земледельца Антона Коробова, есть свободный пролетарий. — Свободный пролетарий протянул отцу надорванную пачку аппетитно толстых папирос «Пушка», отец не заметил их, взялся за свой кисет. — Был я у самого председателя РИКа товарища Смолевича Льва Борисовича. У товарища Смолевича забот полон рот. Ему, к примеру, в этом году нужно устроить сиротский приют, или — по-нынешнему — детдом. Вот я все, что нажил, — все, окромя дома, который ты у меня отобрал, — при самом товарище Смолевиче отдал в общество «Друг детей», получил за это членскую книжку друга, значок с образом Ленина во младенческих годах и еще бумагу, в которой черным по белому прописано, что чист, ничего не утаил, скинул, так сказать, с себя бремя частной собственности.

— Ловко.

— Обществу «Друг детей» не понадобилась скотина да справа. Товарищ Смолевич объяснил: молочный и тягловый скот, равно как и сельхозинвентарь, должны остаться в селе, так как вскорости здесь организуется артель. Все в целости, Федор Васильевич: инвентарь, какой был, я оставил при доме, Ваня Акуля теперь над ним хозяин — доглядывайте. Корову женка отвела к бабке Ширяхе, а кони... кони у Мирона.

— Ловок, но и мы ведь не простаки.

— И еще по совету товарища Смолевича Льва Борисовича я написал письмо, в котором все как есть от души объяснил, почему я расстаюсь добровольно с презренной частной собственностью. И смею заметить, товарищ Смолевич Лев Борисович назвал мое письмо «пронзительной силы документ»! Он его посылает в газету и требует немедленного напечатания.

— Та-ак! — протянул мой отец. — Та-ак! Спасибо, что сообщил.

Коробов вежливенько улыбнулся своей тонкой улыбочкой:

— Ничего у тебя не получится, Федор Васильевич.

— И на Смолевича найдем управу!

— Товарищ Смолевич — ленинец, Федор Васильевич, Ленин тоже навстречу нашему брату шел — нэп утвердил.

Отец опустил крупную голову, произнес глухо:

— Ох и скользкий ты враг, Антон! Та глиста, которая изнутри точит.

Коробов ласково щурился в висок моему отцу и не отвечал.

Висела над улицей красная пыль, колготились бабы, мычали коровы, за огородом в бурьяне неистово кричал дергач.

Над уличной неразберихой вознеслось победно-въедливое:

— С-сы дороги!.. Мы на горе всем буржуям!..

По самой середине закатно-красной дороги, приседая на длинных, ломких ногах, размахивая длинными, угловатыми руками — ни дать ни взять поднявшийся торчком паук-великан, — вышагивал Ваня Акуля.

— С-сы дороги! Пр-ролетарий идет! Ги-ге-мон, в душу мать!..

Лохматая шапка наползала на нос, острокопистый,

в цыплячем пуху подбородок задран, портки короткие, открывают голени, босые ступни гегемона корявы и растоптанны.

— Нынче я хозяин! Беднея меня нету! Мне нова власть служит!.. Дор-рогу Иван Макарычу!.. Вот она, наша родима нова власть! Федор Васильевич! Товарищ Тенков! Глянь сюды — гегемон пришел!

Гегемона качало посреди дороги.

— Новоселье праздную! В честь всех вождей нынче выпил! Да здравствуют!..

— Где деньги взял? — спросил отец.

— Кофик... Конфик-ско-вал!.. — Ваня Акуля узрел Коробова. — Мироеду и кровопийцу! Наше вам с заплаточной!.. От передового класса!..

— Что продал, передовой класс? — напомнил Коробов вопрос отца.

— Не жил-лаю буржуем быть! Брезгаю!..

— Уж не из инвентаря ли что?.. Смотри, Федор Васильевич, растащит он инвентарь, не соберете потом.

— Крышу я продал!.. Жылезо! Я хоть и первый ныне, но простой... Все живут под деревянными, а я под жылезной — не жил-лаю!

— Эге! — весело удивился Коробов. — Сколько хоть дали-то?

— Я простой!.. Ставь четверть — бери жылезо!.. Не жил-лаю!..

— Кому? — спросил отец.

— Коней завел! Жылеза захотел! А я презираю!

— Уж не Богаткину ли Мирону?..

— Ему! Жылеза захотел! Презираю!

— Пропал дом, — без особой жалости, пожалуй, даже с торжеством произнес Коробов.

— Не хочу кулацкого! Хочу бедняком! Потому что честь блюду! Потому что... вышли мы все из народу! Дети семьи трудовой!.. А хошь, повеселю партийного человека?.. И ты, мироед-кровопийца, смотри — разрешаю!..

И-их, лапти мои —
Скороходики!..

Ваня Акуля, развесив по сторонам руки-грабли, начал месить черными ногами дорожную пыль.

Все мы вышли из семьи —
Из народика!

И давно уже сбежались мои приятели-ребятишки. И бабы бросили загонять коров, и кой-кто из мужиков, кряхтя, сполз с крылечка, подчалил поближе.

Рожь в версту, овес с оглоблю,
На плечи родился!
Я советску власть люблю,
Не на той женил-си!

— Федор Васильевич кровь свою проливал, чтоб Ванька, кого за назем считали, во главу... Ги-ге-мон! Мы на горе всем буржуям мировой пожар... Тебя, Тонька Коробов, сковырнули — меня выдвинули! Во как!..

Коробов расхохотался. Мой отец, пряча лицо, глухо, с угрозой произнес в землю:

— Ступай, шут, prospись!

— Иду, Федор Васильевич, иду... Сею менути! Но не спать!.. Не-ет!.. Да здравствует наша родная советская власть!

Он зашатался вдоль улицы на подламывающихся ногах, развесив длинные руки, неестественно большеголовый от напыленной лохматой шапки, — нескладное насекомое. И к накаленно закатным крышам возносился его голос:

— Мы на горе всем буржуям!..

Мой отец сутулил плечи, смотрел в землю. Антон Коробов, ухмыляясь, выуживал из надорванной пачки новую папиросу «Пушка».

Люди, посмеиваясь, расходились. Мои приятели-ребятишки удрали за развеселым Ваней Акулей. Я не тронулся, не хотел бросать своего отца, почему-то мне было его жаль сейчас.

— Ох-хо-хо! И вышла из дыма саранча на землю, и дадена была ей власть, кою имеют скорпионы... — В длинной, до колен, белой рубахе, сам длинный, прямой, бестелесный, но с тяжелым кирпичным черепом, стоял в стороне Санко Овин. — Царем над собою саранча поимела ангела бездны по имени Аваддон... И сказано дале: энто только одно горе, аще два грядет... Ох-хо-хонюшки! Аще два ждите... — Дед Санко постоял, качнулся раз, отдохнул немного, качнулся другой раз, с натугой переставил тяжелый валенок, пошел, опираясь на сучковатую клюку.

Лиловые сумерки обволакивали село.

Коробов первым нарушил молчание:

— «Мы на горе всем буржуям мировой пожар раз-

дуем...» Когда что-то горит, акулькам весело — уж они, верь, доведут до пепла...

Отец не ответил, сидел словно каменный.

— Товарищ Смолевич поумней тебя будет.

Отец пошевелился и сказал негромко:

— Акулька много не спалит, а вот ежели б тебе волю дать...

— Мне б волю дать, я бы... великую Россию досыта накормил.

— И стал бы царем — на руках носи.

— Могёт быть.

По небу разлилось зеленое половодье, в нем стылым серебряным пузырьком висела блеклая звездочка. Село угомонилось, продолжал надрывно кричать дергач — таинственная птица, которую каждый слышит и никто не видит.

Коробов отбросил папиросу и встал:

— Прощай, Федор Васильевич. Мы еще усядемся вместе за красный стол... Хотя... ты прям, как дышло, такие не гнутся, да быстро ломаются. За красным столом я уж, верно, с товарищем Смолевицем посижу.

Коробов легко прыгнул с крыльца, промаячил в темноте светлым кителем и растаял, но долго еще звучали в тишине прозрачно-звонкие, четкие шажочки. И по сей день я слышу их, и встает перед глазами статная, прямая фигура в летящей походочке — кулак, увильнувший от раскулачивания.

Отец зябко передернул плечами, тяжело поднялся!

— Пойдем в дом, Володька... Холодно что-то.

Шаги стихли. Кричал дергач.

На другой день по селу разносился громкий стук молотка о железо. Мирон Богаткин, босоногий, острозадый, ползал на карачках по крыше дома Антона Коробова и отдирал купленное у Вани Акули железо.

На другой стороне улицы стоял досужий люд, задрав головы на залатанный Миронов зад, судил.

— Неделю как и всего-то цинково корыто у него было.

— Растет репей.

— Прополют, нонче долго ли.

Самого Вани Акули среди досужих не было. Он после вчерашнего веселья отсыпался дома под грохот Миронова молотка. Во дворе на бревнышке, так, чтобы можно было видеть работающего Мирона, сидела серьезная жена Вани Акули, равнодушно лузгала тыквенные семечки. Акуленковская ребятня, похожие друг

на друга Анька, Манька, Ганька, Панька, тут же толкалась, радовалась — вон сколько собралось народу возле их дома! Старший, Иов, был диковат, от людей прятался.

Кто-то радостно возвестил:

— Партия сюды идет!

— Сейчас объяснит Мирошке на пальцах.

— Эй, Мирон, гость к тебе — встречай!

Мой отец подошел вплотную к дому, задрал голову и, когда Мирон появился с очередным листом на краю крыши, приказал:

— Слазь, Мирон!

Мирон с грохотом сбросил лист, деловито высморкался, вытер черные пальцы о портки, ответил с достоинством:

— Некогда мне, Федор Васильевич, слазить. Говори уж так.

— Разговор-то крупный, Мирон, и не для всех.

— Чего таиться, чай, не за воровство журить меня собрался. Купленное забираю.

— Детей, дурак, без отца оставишь.

— Жалеешь!

— Жалею.

— Тогда и заступишься.

— Не смогу заступиться. Ни я, ни кто другой.

— Слабак, значит. Ну и не путайся. Я, может, денек первым человеком в селе пожить желаю.

— Сам же недавно кулаков клял, теперь в клятые лезешь.

— Нынче другое звание мне вышло — не нищеврод.

— Дом отыдем, коней отыдем и накажем по закону!

Мирон распрямился на крыше во весь рост, снова презрительно высморкался. Снизу под оттопыренной рубахой был виден его голый тощий живот.

— Отымете?.. Эт пожалте. Только помни, Федор, я убью тебя, когда ты руку к моим коням протянешь. Я не Тонька Коробов, я без хитростей.. Ничегошеньки не боюсь. — Мирон повернулся спиной, стал на четвереньки и полез наверх.

В это время из сеней выполз Ваня Акуля, должно быть, проснулся от наступившей после грохота тишины. Без знакомой шапки на голове, с протертым острым темечком, опухший, трупно-зеленый, с затравленно бегаящими глазками, он двинулся по двору, мучительно морщась, бережно неся на весу свои дрожащие руки.

— Ми-иро-он! — плачущим, детски слабеньким голоском позвал он. — Мירו-он!

— Чего тебе? — недовольно отозвался Мирон с высоты.

— Дай еще на полдиковинки, Мирон.

— Допреж надо было торговаться.

— Ми-ир-он! Жылезо заберу... Полдиковинки, Мירוша-а.

Мирон ожесточенно загремел молотком.

Ваня Акуля при каждом ударе вздрагивал опухшими губами и щеками, мучительно морщился, глядел на всех просительно увлажненными глазками. А все смеялись, советовали:

— Лезь на крышу, там ближе к богу.

— За ногу стяни.

— Смерть моя, братцы-ы!.. — стонал Ваня.

Вместе со всеми визгливо смеялись над отцом Анька, Манька, Ганька, Панька, а со стороны серьезно и невозмутимо поплеывала тыквенной шелухой жена, наблюдала.

— Федор Васильевич! — Ваня двинулся к моему отцу. — Будь защитником! Ограбил меня Мירוшка!.. Я ж ему за дешевку!.. Реквизуй, Федор Васильевич! — Он шел на пригибающихся ногам, тянул к отцу длинные трясущиеся руки. А наверху, под синим небом, гремел железом Мирон. — Фе-е-дор Василь-ич!

Отец резко повернулся и пошел прочь — тугая широкая спина ссутулена, голова пригнута, почему-то мне опять до боли, до крика стало жаль отца.

Ваня Акуля проводил его долгим тоскующим взглядом, потоптался, снова обернулся к людям и вдруг с неожиданной силой и страстью заломил над головой руки:

— Братцы-ы! Смилуйтесь!.. Братцы-ы! Полдиковинки всего... Заставьте изверга миром, войдите в положение!.. Тош-не-хонь-ко! Бра-а-ат-цы!

Все глядели на него и покатывались, стонали от смеха. Анька, Манька, Ганька, Панька плясали, путаясь в длинных рубахах. Даже невозмутимая жена Вани Акули, не переставая выплевывать тыквенную шелуху, раскисала в улыбочке. Смеялся и я.

— Бра-ат-цы-ы! Тошне-хонь-ко!

В небе победно гремел железом Мирон.

Отец часто стал повторять одну фразу.

Сидел на крыльце вечером, слушал дергача, курил, вдруг встряхивался:

— Что-то тут не продумано.

Читал после обеда газеты, откладывал их, морщил лоб:

— Что-то тут не совсем...

Рассказывал матери об очередном собрании, обрывал себя на полуслове, задумывался:

— Что-то тут у нас...

Антон Коробов исчез из села в тот же вечер, сразу же после разговора с отцом. Он уже не слышал, как Мирон гремел железом на крыше его дома. Никто из наших больше не слышал об Антоне Коробове. Отец не сомневался: «Этот устроится... Что червяк в яблоке».

Во время дождей ободранная крыша коробовского пятистенка пропускала воду, как решето. Ваня Акуля, кланя кулацкие палаты, вместе с ребятишками, верной женой, прихватив квашню — сосуд жизни, перебрался обратно в свою баньку.

Несколько раз Мирон выезжал на своих конях. Гнедые кони по-прежнему лоснились, словно выкупанные, скупно отливали золотом. Мирон был темен лицом, расхлюстан, размахивая концами вожжей, он пролетал со стукотком из конца в конец — черноногий Илья-громовержец на колеснице. Мой отец ему больше не мешал: «Пусть... пока... Придет время, приведем в чувство».

Мирону, конечно, передавали эти слова, и он визгливо кричал: «Зоб вырву! Я нонче человек отчаянный!»

Отцу не довелось приводить в чувство Мирона. Его срочно перевели в другой район на более ответственную работу. Мы уехали из села.

Но уехали недалеко. На конференциях и областных совещаниях отец встречался с работниками старого района. Никто из них не вспоминал о Мироне Богаткине — шла сплошная коллективизация, раскулачивали и ссылали тысячами.

Нет, никому он не вырвал зоб, никого он не испугал, иначе вспомнили бы.

Отобрали ли у Мирона его оцинкованное корыто?..

Коней-то уж отобрали. Они вместе с брюхастой лошаденкой Петрухи Черного попали в колхозные конюшни... А какие кони были!

Позволю себе, когда это будет возможно, напрямую обращаться к документам. Не хочу и не могу давать развернутые обоснования, ониотяжелили бы и занавообразили мой литературный труд. Самое большее, на что

я способен, — бросить лишь документальную реплику по ходу дела.

Итак, первая документальная реплика.

По данным «Истории КПСС», изданной Госполитиздатом в 1960 году (стр. 441), с начала 1930 по конец 1932 года было выселено 240 757 кулацких семей. Есть основание считать эту цифру сильно заниженной, хотя умиляет ее точность — не 240 тысяч и не 241 тысяча, а именно 240 757, ни больше ни меньше, извольте верить, старались, считали, не закругляли. К слову сказать, и это уже всепланетный рекорд. Крестьянские семьи из пяти человек не считались большими. Помножив на пять указанное число высланных семейств, получаем более миллиона двухсот тысяч человек. До того времени история еще не знала столь массово грандиозных репрессивных кампаний¹.

Однако неопубликованная инструкция ЦИК и СНК СССР от 4 февраля 1930 года предлагала подвергнуть выселению свыше миллиона кулацких семейств, подразделяя их на три категории.

Первая. Самые непримиримые, совершающие террористические акты, подбивающие на восстания. Таких предположительно было чуть больше 60 тысяч. Инструкция требовала наказывать их вплоть до расстрела, а членов семей высылать в отдаленные районы.

Вторая. Кулаки наиболее богатые, но в терроризме не замеченные, — около 150 тысяч хозяйств. Выселять с семьями, и подальше.

Третья. Умеренно богатые кулаки, а значит, и умеренно активные. Нетрудно подсчитать, что к этой категории относилось около 800 тысяч хозяйств. Выселять в места не столь отдаленные — в пределах того района, где проживали, на земли, не занятые колхозами. Следует заметить, что таковых земель — неколхозных — при сплошной коллективизации, увы, не оказалось, были лишь земли необжитые на окраинах нашей великой страны.

¹ По данным специальной проверки комиссии ВЦИК ВКП(б), за 1930—1931 годы была выселена 381 тысяча кулацких семей («Вопросы истории КПСС», 1975, № 5, с. 140).

Выходит, что высокая инструкция так и не была полностью выполнена? Тогда чем объяснить громкие упреки в перегибах, высказанные самим Сталиным в громогласной статье «Головокружение от успехов»? Их повторяли и другие: например, журнал «Большевик» в 1930 году (№ 6, стр. 20) писал, что в одном из сельсоветов некоего Батуринского района постановили раскулачить (а значит, и выслать) тридцать четыре хозяйства, при проверке же выяснилось — существует лишь три действительно кулацких семейства. Пример, показывающий, что инструкция выполнялась в десятикратном размере — за счет ареста середняков и бедняков.

Уинстон Черчилль в своей книге «The second world war» («Вторая мировая война») вспоминает о десяти пальцах Сталина, которые тот показал, отвечая ему на вопрос о цене коллективизации. Десять сталинских пальцев могли, видимо, означать десять миллионов раскулаченных — брошенных в тюрьмы, высланных на голодную смерть крестьян разного достатка, мужчин и женщин, стариков и детей.

В своей книге «К суду истории» историк Рой Медведев, у которого я позаимствовал здесь основные документальные сведения, приводит и свидетельскую картинку поэтапного крестьянского выселения: «Старый член партии Э. М. Ландау встретил в 1930 году в Сибири один из таких этапов. Зимой в сильный мороз большую группу кулаков с семьями перевозили на подводах на 300 километров в глубь области. Дети кричали и плакали от голода. Один из мужиков, не выдержав крика младенца, сосущего пустую грудь матери, выхватил ребенка из рук жены и разбил ему голову о дерево».

1971

ХЛЕБ ДЛЯ СОБАКИ

Лето 1933 года.

У прокопченного, крашенного казенной охрой вокзального здания, за вылученным заборчиком — сквозной березовый скверик. В нем прямо на утопанных дорожках, на корнях, на уцелевшей пыльной травке валялись те, кого уже не считали людьми.

Правда, у каждого в недрах грязного, вшивого тряпья должен храниться — если не утерян — замусоленный документ, удостоверяющий, что предъявитель сего носит такую-то фамилию, имя, отчество, родился там-то, на основании такого-то решения сослан с лишением гражданских прав и конфискацией имущества. Но уже никого не заботило, что он, имярек, лишенец, адмовысланный, не доехал до места, никого не интересовало, что он, имярек, лишенец, нигде не живет, не работает, ничего не ест. Он выпал из числа людей.

Большей частью это раскулаченные мужики из-под Тулы, Воронежа, Курска, Орла, со всей Украины. Вместе с ними в наши северные места прибыло и южное словечко «куркуль».

Куркули даже внешне не походили на людей.

Одни из них — скелеты, обтянутые темной, морщинистой, казалось, шуршащей кожей, скелеты с огромными, кротко горящими глазами.

Другие, наоборот, туго раздуты — вот-вот лопнет посиневшая от натяжения кожа, тела колышутся, ноги похожи на подушки, пристроченные грязные пальцы прчутся за наплывами белой мякоти.

И вели они себя сейчас тоже не как люди.

Кто-то задумчиво грыз кору на березовом стволе и взирал в пространство тлеющими, нечеловечьи широкими глазами.

Кто-то, лежа в пыли, источая от своего полуистлевшего тряпья кислый смрад, брезгливо вытирал пальцы с такой энергией и упрямством, что, казалось, готов был счистить с них и кожу.

Кто-то расплылся на земле студнем, не шевелился, а только клекотал и булькал нутром, словно кипящий титан.

А кто-то уныло запихивал в рот пристанционный мусор с земли...

Больше всего походили на людей те, кто уже успел помереть. Эти покойно лежали — спали.

Но перед смертью кто-нибудь из кротких, кто тишайше грыз кору, вкушал мусор, вдруг бунтовал — вставал во весь рост, обхватывал лучинными, ломкими руками гладкий, сильный ствол березы, прижимался к нему угловатой щекой, открывал рот, просторно черный, ослепительно зубастый, собирався, наверное, крикнуть испепеляющее проклятие, но вылетал хрип, пузырилась пена. Обдирая кожу на костистой щеке, «бунтарь» сползал вниз по стволу и... затихал насовсем.

Такие и после смерти не походили на людей — пообезьянны сжимали деревья.

Взрослые обходили скверик. Только по перрону вдоль низенькой оградки бродил по долгу службы начальник станции в новенькой форменной фуражке с кричаще красным верхом. У него было оплывшее, свинцовое лицо, он глядел себе под ноги и молчал.

Время от времени появлялся милиционер Ваня Душной, степенный парень с застывшей миной — «смотри ты у меня!».

— Никто не выполз? — спрашивал он у начальника станции.

А тот не отвечал, проходил мимо, не подымал головы.

Ваня Душной следил, чтоб куркули не расползались из скверика — ни на перрон, ни на пути.

Мы, мальчишки, в сам скверик тоже не заходили, а наблюдали из-за заборчика. Никакие ужасы не могли задушить нашего зверушечьего любопытства. Окаменев от страха, брезгливости, изнемогая от упряманной панической жалости, мы наблюдали за короедами, за вспышками «бунтарей», кончающимися хрипом, пеной, сползанием по стволу вниз.

Начальник станции — «красная шапочка» — однажды повернулся в нашу сторону воспаленно-темным лицом, долго глядел, наконец изрек то ли нам, то ли самому себе, то ли вообще равнодушному небу:

— Что же вырастет из таких детей? Любуются смертью. Что за мир станет жить после нас? Что за мир?..

Долго выдержать сквера мы не могли, отрывались от него, глубоко дыша, словно проветривая все закоулки своей отравленной души, бежали в поселок.

Туда, где шла нормальная жизнь, где часто можно было услышать песню:

Не спи, вставай, кудрявая!
В цехах звеня,
страна встает со славою
на встречу дня...

Уже взрослым я долгое время удивлялся и гадал: почему я, в общем-то впечатлительный, уязвимый мальчишка, не заболел, не сошел с ума сразу же после того, как впервые увидел куркуля, с пеной и хрипом умирающего у меня на глазах.

Наверное, потому, что ужасы сквера появились не сразу и у меня была возможность как-то попривыкнуть, обмозолиться.

Первое потрясение, куда более сильное, чем от куркульской смерти, я испытал от тихого уличного случая.

Женщина в опрятном и поношенном пальто с бархатым воротничком и столь же опрятным и поношенным лицом на моих глазах поскользнулась и разбила стеклянную банку с молоком, которое купила у перрона на станции. Молоко вылилось в обледеневший нечистый след лошадиного копыта. Женщина опустила перед ним, как перед могилой дочери, придушенно всхлипнула и вдруг вынула из кармана простую обгрызенную деревянную ложку. Она плакала и черпала ложкой молоко из копытной ямки на дороге, плакала и ела, плакала и ела, аккуратно, без жадности, воспитанно.

А я стоял в стороне и — нет, не ревел вместе с ней — боялся, надо мной засмеются прохожие.

Мать давала мне в школу завтрак: два ломтя черного хлеба, густо намазанных клюквенным повидлом. И вот настал день, когда на шумной перемене я вынул свой хлеб и всей кожей ощутил установившуюся вокруг меня тишину. Я растерялся, не посмел тогда предложить ребятам. Однако на следующий день я взял уже не два ломтя, а четыре...

На большой перемене я достал их и, боясь неприятной тишины, которую так трудно нарушить, слишком поспешно и неловко выкрикнул:

— Кто хочет?!

— Мне шматочек, — отозвался Пашка Быков, парень с нашей улицы.

— И мне!.. И мне!.. Мне тоже!..

Со всех сторон тянулись руки, блестели глаза.

— Всем не хватит! — Пашка старался оттолкнуть напиравших, но никто не отступал.

— Мне! Мне! Корочку!..

Я отламывал всем по кусочку.

Наверное, от нетерпения, без злого умысла, кто-то подтолкнул мою руку, хлеб упал, задние, желая увидеть, что же случилось с хлебом, наперли на передних, и несколько ног прошло по кускам, раздавило их.

— Пахорукий! — выругал меня Пашка.

И отошел. За ним все поползли в разные стороны.

На окрашенном повидлом полу лежал растерзанный

хлеб. Было такое ощущение, что мы все вгорячах нечаянно убили какое-то животное.

Учительница Ольга Станиславна вошла в класс. По тому, как она отвела глаза, как спросила не сразу, а с еле приметной запинкой, я понял — она голодна тоже.

— Это кто ж такой сытый?

И все те, кого я хотел угостить хлебом, охотно, торжественно, пожалуй, со злорадством объявили:

— Володька Тенков сытый! Он это!..

Я жил в пролетарской стране и хорошо знал, как стыдно быть у нас сытым. Но, к сожалению, я действительно был сыт, мой отец, ответственный служащий, получал ответственный паек. Мать даже пекла белые пироги с капустой и рубленым яйцом!

Ольга Станиславна начала урок.

— В прошлый раз мы проходили правописание... — И замолчала. — В прошлый раз мы... — Она старалась не глядеть на раздавленный хлеб. — Володя Тенков, встань, подбери за собой!

Я покорно встал, не пререкаясь, подобрал хлеб, стер вырванным из тетради листком клюквенное повидло с пола. Весь класс молчал, весь класс дышал над моей головой.

После этого я наотрез отказался брать в школу завтраки.

Вскоре я увидел истощенных людей с громадными кротко-печальными глазами восточных красавиц...

И больных водянкой с раздутыми, гладкими, безликими физиономиями, с голубыми слоновьими ногами...

Истощенных — кожа и кости — у нас стали звать шкилетниками, больных водянкой — слонами.

И вот березовый сквер возле вокзала.

Я кой к чему успел привыкнуть, не сходил с ума.

Не сходил с ума я еще и потому, что знал: те, кто в нашем привокзальном березнячке умирал среди бела дня, — враги. Это про них недавно великий писатель Горький сказал: «Если враг не сдается, его уничтожают». Они не сдавались. Что ж... попали в березняк.

Вместе с другими ребятами я был свидетелем нечаянного разговора Дыбакова с одним шкилетником.

Дыбаков — первый секретарь партии в нашем районе, высокий, в полувоенном кителе с рублено прямыми плечами, в пенсне на тонком горбатом носу. Ходил он,

заложив руки за спину, выгнувшись, выставив грудь, украшенную накладными карманами.

В клубе железнодорожников проходила какая-то районная конференция. Все руководство района во главе с Дыбаковым направлялось в клуб по усыпанной толченым кирпичом дорожке. Мы, ребяташки, за неимением других зрелищ тоже сопровождали Дыбакова.

Неожиданно он остановился. Поперек дорожки, под его хромовыми сапогами, лежал оборванец — костяк в изношенной, слишком просторной коже. Он лежал на толченом кирпиче, положив коричневый череп на грязные костяшки рук, глядел снизу вверх, как глядят все умирающие с голоду — с кроткой скростью в неестественно громадных глазах.

Дыбаков переступил с каблука на каблук, хрустнул насыпной дорожкой, хотел было уже обогнуть случайные мощи, как вдруг эти мощи разжали кожистые губы, сверкнули крупными зубами, сипяще и внятно произнесли:

— Поговорим, начальник.

Обвалилась тишина, стало слышно, как далеко за пустырем возле барачков кто-то от безделья тенорит под балалайку:

Хорошо тому живется,
У кого одна нога, —
Сапогов не много надо
И портошина одна.

— Аль боишься меня, начальник?

Из-за спины Дыбакова вынырнул райкомовский работник товарищ Губанов, как всегда с незастегивающимся портфелем под мышкой:

— Мал-чать! Мал-чать!..

Лежащий кротно глядел на него снизу вверх и жутко скалил зубы. Дыбаков движением руки отмахнул в сторону товарища Губанова.

— Поговорим. Спрашивай — отвечу.

— Перед смертью скажи... за что... за что меня?.. Неужель всерьез за то, что две лошади имел? — шелестящий голос.

— За это, — спокойно и холодно ответил Дыбаков.

— И признаешься! Ну-у, зверюга...

— Мал-чать! — подскочил опять товарищ Губанов.

И снова Дыбаков небрежно отмахнул его в сторону.

— Дал бы ты рабочему хлеб за чугун?

— Что мне ваш чугу́н, с кашей есть?

— То-то и оно, а вот колхозу он нужен, колхоз готов за чугу́н рабочих кормить. Хотел ты идти в колхоз? Только честно!

— Не хотел.

— Почему?

— Всяк за свою свободушку стоит.

— Да не свободушка причина, а лошади. Лошадей тебе своих жаль. Кормил, холил — и вдруг отдай. Собственности своей жаль! Разве не так?

Доходяга помолчал, помигал скорбно и, казалось, даже готов был согласиться.

— Отыми лошадей, начальник, и остановись. Зачем же еще и живота лишать? — сказал он.

— А ты простишь нам, если мы отыдем? Ты за спиной нож на нас точить не станешь? Честно!

— Кто знает.

— Вот и мы не знаем. Как бы ты с нами поступил, если б чувствовал — мы на тебя нож острый готовим?.. Молчишь?.. Сказать нечего?.. Тогда до свидания.

Дыбаков перешагнул через тощие, как палки, ноги собеседника, двинулся дальше, заложив руки за спину, выставив грудь с накладными карманами. За ним, брезгливо обогнув доходягу, двинулись и остальные.

Он лежал перед нами, мальчишками, — плоский косяк в тряпье, череп на кирпичной крошке, череп, хранящий человеческое выражение покорности, усталости и, пожалуй, задумчивости. Он лежал, а мы осуждающе его разглядывали. Две лошади имел, кровопиец! Ради этих лошадей стал бы точить нож на нас. «Если враг не сдается...» Здорово же его отделал Дыбаков.

И все-таки было жаль злого врага. Наверное, не только мне. Никто из ребятишек не заплясал над ним, не стал дразнить:

Враг-вразина,
Кукуль-кулачина
Кору жрет,
Вошей бьет,
С кукулихой гуляет —
Ветром шатает.

Я садился дома за стол, тянулся рукой к хлебу, и память разворачивала картины: направленные вдаль, тихо ошалелые глаза, белые зубы, грызущие кору, kloкочущая внутри студенистая туша, разверстый черный рот, хрип, пена... И под горло подкатывала тошнота.

Раньше мать про меня говорила: «На этого не пожалуюсь, что ни поставь — уминает, за ушами трещит». Сейчас она подымала крик:

— Заелись! С жиру беситесь!..

«С жиру бесился» я один, но если мать начинала ругаться, то всегда ругала сразу двоих — меня и брата. Брат был моложе на три года, в свои семь лет умел переживать только за самого себя, а потому ел — «за ушами трещит».

— Беситесь! Супу не хотим, картошки не хотим! Кругом люди черствому сухарю рады-радехоньки. Вам хоть рябчиков подавай.

О рябчиках я только читал стишки: «Ешь ананасы, рябчиков жуй, день твой последний приходит, буржуй!» Объявить голодовку, вообще отказаться от еды я не мог. Во-первых, не разрешила бы мать. Во-вторых, тошнота тошнотой, картинки картинками, а есть-то мне все-таки хотелось, и вовсе не буржуйских рябчиков. Меня заставляли проглотить первую ложку, а уж дальше шло само собой, я расправлялся с обедом, вставал из-за стола отяжелевший.

Вот тут-то все и начиналось...

Мне думается, совести свойственно чаще просыпаться в теле сытых людей, чем голодных. Голодный вынужден больше думать о себе, о добывании для себя хлеба насущного, само бремя голода понуждает его к эгоизму. У сытого больше возможности оглянуться вокруг, подумать о других. Большей частью из числа сытых выходили идейные борцы с кастовой сытостью — Гракхи всех времен.

Я вставал из-за стола. Не потому ли в привокзальном сквере люди грызут кору, что я съел сейчас слишком много?

Но это же куркули грызут кору! Ты жалеешь?.. «Если враг не сдается, его уничтожают!» А это «уничтожают» вот так, наверное, и должно выглядеть — черепа с глазами, слоновьи ноги, пена из черного рта. Ты просто боишься смотреть правде в глаза.

Отец как-то рассказывал, что в других местах есть деревни, где от голода умерли все жители до единого — взрослые, старики, дети. Даже грудные дети... Про них-то уж никак не скажешь: «Если враг не сдается...»

Я сыт, очень сыт — до отвала. Я съел сейчас столько, что, наверное, пятерым хватило бы спастись от го-

лодной смерти. Не спас пятерых, съел их жизнь. Только чью — врагов или не врагов?..

А кто враг?.. Враг ли тот, кто грызет кору? Он им был — да! — но сейчас ему не до вражды, нет мяса на его костях, нет силы даже в его голосе...

Я съел весь свой обед сам и ни с кем не поделился. Есть мне приходится по три раза в день.

Как-то под утро я внезапно проснулся. Мне ничего не приснилось, просто взял да открыл глаза, увидел комнату в загадочно-пепельном сумраке, за окном sereneкий, уютный рассвет.

Далеко на пристанционных путях заносчиво прокричала маневровая «овечка». Ранние синицы попискивали на старой липе. Скворец-папаша прочищал горло, пробовал петь по-соловьиному — бездарь! С болот на задах нежно, убеждающе закуковала кукушка. «Кукушка! Кукушка! Сколько мне жить?» И она роняет и роняет свое «ку-ку», как серебряные яички.

И все это происходит в удивительно покойных sereneких сумерках, в тесном, притушенном, уютном мире. В нечаянно вырванную у сна минуту я вдруг тихо радуюсь очевиднейшему факту — существует на белом свете некий Володька Тенков, человек десяти лет от роду. Существует — как это прекрасно! «Кукушка! Кукушка! Сколько мне?..» «Ку-ку! Ку-ку! Ку-ку!..» Щедра без устали.

В это время далеко, где-то в самом конце нашей улицы, загремело. Распарывая сонный поселок, приближалась расхлябанная телега, сминая серебряный голос кукушки, писк синиц, потуги бездарного скворца. Кто это и куда так сердито спешит в такую рань?..

И неожиданно меня ожгло: кто? да ясно! Об этих ранних поездках говорит весь поселок. Комхозовский конюх Абрам едет «собирать падалицу». Каждое утро он въезжает на своей телеге прямо в привокзальный безрезняк, начинает шевелить лежащих — жив или нет? Живых не трогает, мертвых складывает на телегу, как дровяные чурки.

Гремит расхлябанная телега, будит спящий поселок. Гремит и стихает.

После нее не слышно птиц. Какую-то минуту просто никого и ничего не слышно. Ничего... Но странно — нет и тишины. «Кукушка! Кукушка!..» Ах, не надо! Не все ли равно, сколько лет проживу на свете? Да так ли уж мне хочется долго жить?..

Но словно ливень из-под крыши, обрушились проснувшиеся воробы. Зазвенели ведра, раздались женские голоса, заскрипел ворот колодца.

— Крыши чинить! Дрова пилить! Помойки чистить! Любая работа! — Сильный, с вызовом баритон.

— Крыши чинить! Дрова пилить! Помойки чистить! — повторил мальчишеский альт.

Это тоже высланные куркули — отец и сын. Отец — высокий, костляво-плечистый, бородатый, сурово-важный, сын — жилисто-худенький, веснушчатый, очень серьезный, постарше меня года на два, на три.

Каждый наш день начинается с того, что они громко, в два голоса, почти высокомерно предлагают поселку чистить помойки.

Я не должен есть свои обеды один.

Я обязан с кем-то делиться.

С кем?..

Наверное, с самым, самым голодным, даже если он враг.

Кто — самый?.. Как узнать?

Не трудно. Следует пойти в березовый скверик и протянуть руку с куском хлеба первому же попавшемуся. Ошибиться нельзя, там все — самые-самые, иных нет.

Одному протянуть руку, а других не заметить?.. Одного осчастливить, а десятки обидеть отказом? И это будет воистину смертельная обида. Те, к кому рука не протянется, будут вывезены конюхом Абрамом.

Могут ли обойденные согласиться с тобой?.. Не опасно ли открыто протягивать руку помощи?..

Конечно же, я тогда думал не так, не такими словами, какими пишу сейчас, тридцать шесть лет спустя. Скорей всего, я тогда вовсе не думал, а остро чувствовал, как животное, интуитивно угадывающее будущие осложнения. Не разумом, а чутьем тогда я осознал: благородное намерение — разломи пополам свой хлеб насущный, поделись с ближним — можно свершить только тайком от других, только воровски!

Я украдкой, воровски не доел то, что поставила передо мной на стол мать. Я воровски загрузил в свои карманы честно сэкономленные три куска хлеба, завернутый в газету комок пшенной каши величиной с кулак и чистый, совершенный, как кристалл, кусочек сахара-рафинада. Среди бела дня я вышел на воровское дело — на тайную охоту на самого, самого голодного.

Я встретил Пашку Быкова, с которым учился в одном классе, жил на одной улице, дружить не дружил, а враждовать остерегался. Я знал, что Пашка голоден всегда — днем и ночью, до обеда и после обеда. Семья Быковых — семь человек, все семеро живут на рабочие карточки отца, который работает сцепщиком на железной дороге. Но я не поделился с Пашкой хлебом — не самый...

Я встретил скрюченную бабу Обноскову, которая жила тем, что собирала на обочинах дорог, на полях, на опушках леса травки и корешки, сушила, варила, парила их... Другие такие одинокие старухи все поумирали. Я не поделился с бабушкой — еще не самая.

Мимо меня протрусил Борис Исаакович Зильбербрунер в галошках, привязанных веревочками к грязным лоджкам. Если б я встретил этого Зильбербрунера раньше, то, как знать, возможно, решил — тот самый. Недавно он был одним из шкилетников, торчащих возле столовки, но приноровился делать рыболовные крючки из проволоки, за них платили даже куриными яйцами.

Наконец я налетел на одного из шатающихся по поселку слонов. Широченный, что платяной шкаф, в просторном мужицком малахае цвета пахотной земли, в запорожской, казацкой шапке — грачиное гнездо, с пышными, голубовато-бледными ногами, которые при каждом шаге тряслись, как овсяный кисель, и смогли бы уместиться только каждая в банной лохани.

Может, и он был еще не тот самый... Продолжи я свою охоту, наверное, наскочил бы на более несчастного, но остатки обеда жгли меня сквозь карманы, требовали: делись немедленно!

— Дяденька...

Он остановился, тяжело дыша, нацелил на меня со своей башенной высоты глаза-щелки.

Бледное раздутое лицо вблизи поражало неестественным гигантизмом — какие-то плавающие, словно дряблые ягодицы, щеки, низвергающийся на грудь подбородок, веки, совсем утопившие в себе глаза, широкая, натянутая до трупной синевы переносица. На таком лице ничего нельзя прочесть, ни страха, ни надежды, ни растроганности, ни подозрительности, — подушка.

Терзая карман, я неловко стал освобождать первый кусок хлеба.

Разглаженная физиономия дрогнула, туго надутая, с короткими, грязными, нестигающимися пальцами кисть

протянулась, взяла кусок нежно, настойчиво, нетерпеливо. Так берет из руки хлеб теленок с теплым носом и мягкими губами.

— Спасибо, хлопчик, — сказал фистулой слон.

Я выложил ему все, что у меня было.

— Завтра... На пустыре... Возле штабелей... Что-нибудь еще... — пообещал я и кинулся прочь с облегченными карманами и облегченной совестью.

Весь день я был счастлив. Внутри, в подреберье, где живет душа, было прохладно и тихо.

На пустыре, возле штабелей... На этот раз я нес восемь кусков хлеба, два ломтика сала, старую консервную банку, набитую тушеной картошкой. Все это я должен был съесть сам и не съел, сэкономил, когда отворачивалась мать.

Я бежал к пустырю вприпрыжку, придерживая обеими руками оттопыривающуюся на животе рубаху. Чья-то тень упала мне под ноги.

— Молодой человек! Молодой человек! Молю! Уделите минутку!..

Ко мне ли обращаются столь почтительно?..

Ко мне.

Поперек дороги стояла женщина в пыльной шляпке, известная всем по прозвищу Отрыжка. Она была не слонихой и не шкилетницей, просто инвалидкой, изуродованной какой-то странной болезнью. Все ее сухое тело неестественно измято, скрючено, вывернуто — плечики перекошены, спина откинута, маленькая птичья голова в замусоленной суконной шляпке с тусклым перышком где-то далеко позади всего тела. Время от времени эта голова делает отчаянное встряхивание, словно хозяйка собирается лихо воскликнуть: «Эх! И спляшу вам!» Но Отрыжка не плясала, а обычно начинала сильно-сильно подмигивать всей щекой.

Сейчас она подмигивала мне и говорила страстным, слезливым голосом:

— Молодой человек, поглядите на меня! Не стесняйтесь, не стесняйтесь, внимательней!.. Вы когда-нибудь видели обиженное богом существо?.. — Она подмигивала и наступала на меня, я пятился. — Я больна, я беспомощна, но у меня дома сын... Я — мать, я люблю его всей душой, я готова на все, чтоб его накормить... Мы оба забыли вкус хлеба, молодой человек! Маленький кусочек, прошу вас!..

Веселое до жути подмигивание всей щекой, черная рука с грязной тряпочкой, чтоб промокнуть глаза... Откуда она узнала, что у меня под рубахой хлеб? Не сказал же ей слон, который ждет меня на пустыре. Слону выгодно молчать.

— Готова встать перед вами на колени. У вас такое доброе... у вас ангельское лицо!..

Как она узнала о хлебе? Нюхом? Колдовством?.. Я не понимал тогда, что не я один пытался подкормить ссыльных куркулей, что у всех простодушных спасителей было красноречиво воровское, виноватое выражение лица.

Устоять перед страстью Отрыжки, перед ее развеселым подмигиванием, перед скомканной грязной тряпичей я не мог. Я отдал весь хлеб с ломтиками сала, оставив вместе с банкой тушеной картошки только один кусок.

— Это я обещал...

Но Отрыжка пожирала сорочьими глазами консервную банку, трясла пыльной шляпкой с перышком, стояла:

— Мы гибнем! Мы гибнем! Я и мой сын — мы гибнем!..

Я отдал ей и картошку. Она засунула банку под кофту, жадно блеснула глазом на оставшийся в моей руке последний ломоть хлеба, дернула головой — эх, спляшу! — еще раз подмигнула щекой, пошла прочь, накрепкая набок, как тонущая лодка.

Я стоял и разглядывал хлеб в руке. Кусок был мал, завожен в кармане, помят, а ведь я сам позвал — приходи на пустырь, я заставил голодного ждать целые сутки, сейчас я ему поднесу такой вот кусочек. Нет, уж лучше не позориться!..

И я с досады — да и с голода тоже, — не сходя с места, съел хлеб. Он неожиданно был очень вкусен и... ядовит. Целый день после него я чувствовал себя отравленным: как я мог — вырвал изо рта у голодного! Как я мог!..

А утром, выглянув в окно, я похолодел. Под окном у нашей калитки торчал знакомый слон. Он стоял, облаченный в свой необъятный кафтан цвета свежеспаванного поля, сложив жабьи мягкие руки на тучном животе, ветерок шевелил грязный мех на его казацкой шапке, — недвижим и башнеподобен.

Я сразу почувствовал себя гадким лисенком, загнанным в нору собакой. Он может простоять до вечера, может так стоять и завтра и послезавтра, спешить ему некуда, а стояние обещает хлеб.

Я дождался, пока мать ушла из дому, забрался в кухню, отвалил от буханки увесистую горбушку, достал из мешка десяток крупных сырых картофелин и выскочил...

У пахотного кафтана были бездонные карманы, в которых, наверное, могли бы исчезнуть все наши семейные запасы хлеба.

— Сынку, нэ вирь подлой бабе. Немае у нэй нікóго. Ни сына нэма, ни дочки.

Я и без него об этом догадывался — Отрыжка обманывала, но попробуй отказать ей, когда стоит перед тобой изломанная, подмигивает щекой и держит в руке грязную тряпицу, чтоб промокнуть глаза.

— Ох, лыхо, сынку, лыхо. Смерть и та грэбуе... Ой, лыхо, лыхо. — Сипло вздыхая, он медленно отчалил, с натугой волоча пышные ноги по занозистым доскам поселкового тротуара, обширный, как стог, величественный, как обветшалый ветряк. — Ой, лыхо мни, лыхо...

Я повернулся к дому и вздрогнул: передо мной стоял отец, на гладко выбритой голове играет солнечный зайчик, тучновато-плотный, в парусиновой гимнастерке, перехваченной тонким кавказским ремешком с бляшками, лицо не хмурое и глаза не завешены бровями — спокойное, усталое лицо.

Шагнул на меня, положил на мое плечо тяжелую руку и надолго загляделся куда-то в сторону, наконец спросил:

— Ты дал ему хлеба?

— Дал.

И он снова вглядывался в даль.

Я люблю своего отца и горжусь им.

О великой революции, о гражданской войне сейчас поют песни и складывают сказки. Это о моем отце поют, о нем складывают сказки!

Он из тех солдат, которые первыми отказались воевать за царя, арестовали своих офицеров.

Он слышал Ленина на Финском вокзале. Он видел его стоящим на броневике, живым — не на памятнике.

Он был в гражданскую комиссаром Четыреста шестнадцатого револьвера.



У него на шее рубец от колчаковского осколка.

Он получил в награду именные серебряные часы. Их потом украли, но я сам держал их в руках, видел надпись на крышке: «За проявленную храбрость в боях с контрреволюцией»...

Я люблю отца и горжусь им. И всегда боюсь его молчания. Сейчас вот помолчит и скажет: «Я всю жизнь воюю с врагами, а ты их подкармливаешь. Не предатель ли ты, Володька?»

Но он тихо спросил:

— Почему этому? Почему не другому?

— Этот подвернулся...

— Подвернется другой — дашь?

— Н-не знаю. Наверное, дам.

— А хватит ли у нас хлеба накормить всех?

Я молчал и смотрел в землю.

— У страны не хватает на всех-то. Чайной ложкой море не вычерпашь, сынок. — Отец легонько подтолкнул меня в плечо. — Иди играй.

Знакомый слон начал вести со мной молчаливый поединок. Он подходил под наше окно и стоял, стоял, стоял, застывший, неряшливый, лишенный лица. Я старался не глядеть на него, терпел, и... слон выигрывал. Я выскакивал к нему с куском хлеба или холодной картофельной оладьей. Он получал дань и медлительно удалялся.

Однажды, выскочив к нему с хлебом и хвостом трески, выловленным из вчерашней похлебки, я вдруг обнаружил, что под нашим забором на пыльной траве валяется еще один слон, укрытый извоженной, когда-то черной железнодорожной шинелью. Он лишь приподнял на встречу мне нечесаную, в колтунах и болячках голову, прохрипел:

— Ма-а-льчик! По-ми-раю!..

И я увидел, что это правда, отдал ему кусок вареной трески.

На следующее утро под нашим забором лежали еще три шкилетника. Я попадал уже в полную осаду, я теперь не мог уже ничего вынести, чтобы откупиться. Пятых не подкормишь от своих обедов и завтраков, да и запасов у матери на всех неостанет.

Брат бегал смотреть на гостей, возвращался возбужденно-радостный:

— Еще один шкилетник к Володьке приполз!

Мать ругалась:

— Лежку устроили, словно мы всех богаче. Прикормили паразитов, ироды!

Как всегда, она ругала сразу двоих, хотя брат был не виновен ни сном ни духом. Мать ругалась, но выйти и отогнать голодных куркулей не решалась. Молча проходил мимо голодного лежбища и мой отец. Мне он не сказал в упрек ни единого слова.

Мать приказала:

— Вот кувшин — за квасом в столовку сбегай. И быстро мне!

Делать нечего, я принял из ее рук стеклянный кувшин.

Сквозь калитку на волю я проскочил беспрепятственно, не вялым слонам и не еле ползающим шкилетникам перехватить меня.

Я долго толкался в столовке-чайной, покупал квас. Квас был настоящий, хлебный — никак не витаминный морс, — потому продавался не каждому, кто захочет, а только по спискам. Но торчи не торчи, а возвращаться надо.

Они меня ждали. Все лежащие сейчас торжественно стояли на ногах. Каскады заплат, медь кожи сквозь прорехи, зловещие оскалы заискивающих улыбок, знойные глаза, безглазые физиономии, тянущиеся ко мне руки, тощие, как птичьи лапы, круглые, как мячи, и надтреснутые, шершавые голоса:

— Хлопчик, хлебца...

— По крошечке...

— Помираю, ма-а-льчик. Перед смертью куснуть...

— Хошь, руку свою съем? Хошь? Хошь?..

Я стоял перед ними и прижимал к груди холодный кувшин с мутным квасом.

— Хле-ебца-а...

— Корочку...

— Хошь, руку свою?..

И вдруг со стороны, энергично тряся пером на шляпке, налетела Отрыжка:

— Молодой человек! Молю! На коленях молю!

Она действительно упала передо мной на колени, заламывая не только руки, но и спину и голову, подмигивая куда-то вверх, в синее небо, господу богу.

И это была уже лишка. У меня потемнело в глазах. Из меня рыдающим галопом вырвался чужой, дикий голос:

— Ухо-ди-те! Уходи-те!! Сволочи! Гады! Кровопийцы!! Уходите!

Отрыжка деловито поднялась, стряхнула мусор с юбки. Остальные, разом потухнув, опустив руки, начали поворачиваться ко мне спинами, расползаться без спешки, вяло.

А я не мог остановиться, кричал рыдающе:

— Уходи-те!!

С инструментом на плечах подошли работяги — бородатый, степенный отец с конопатым, очень серьезным сыном, который был старше меня только на два года. Сын небрежно двинул подбородком в сторону разбредавшихся куркулей:

— Шакалы.

Отец важно кивнул в знак согласия, и они оба с откровенным презрением посмотрели на меня, встрепанного, заплаканного, нежно прижимающего к груди кувшин с квасом. Я для них был не жертва, которой нужно сочувствовать, а один из участников шакальской игры.

Они прошли. Отец нес на прямом плече пилу, и тагнулась под солнцем широким полотнищем, выплескивала беззвучные молнии, шаг — и вспышка, шаг — и вспышка.

Наверное, моя истерика была воспринята доходягами как полное излечение от мальчишеской жалости. Никто уже больше не выстаивал возле нашей калитки.

Я излечился?.. Пожалуй. Теперь бы я не вынес куска хлеба слону, стой тот перед моим окном хоть до самой зимы.

Мать ахала и охала — ничего не ем, хую, синячищи под глазами... Она трижды на день устраивала мне пытку:

— Опять уставился в тарелку? Опять не угодила? Ешь! Ешь! На молоке сварена, масла положила, посьмей только отвернуться!

Из муки, хранившейся к праздникам, она пекла мне пироги с капустой и рубленным яйцом. Я очень любил эти пироги. Я их ел. Ел и страдал.

Теперь я всегда просыпался перед рассветом, никогда не пропускал стука телеги, которую гнал конюх Абрам к привокзальному скверику.

Гремела утренняя телега...

Не спи, вставай, кудрявая!
В цехах звеня...

Гремела телега — знамение времени! Телега, спешившая собрать трупы врагов революционного отечества.

Я слушал ее и сознавал: я дурной, неисправимый мальчишка, ничего не могу с собой поделать — жалею своих врагов!

Как-то вечером мы сидели с отцом дома на крылечке.

У отца в последнее время было какое-то темное лицо, красные веки, чем-то он напоминал мне начальника станции, гулявшего вдоль вокзального сквера в красной шапке.

Неожиданно внизу, под крыльцом, словно из-под земли выросла собака. У нее были пустынно-тусклые, какие-то непромыто желтые глаза и ненормально взлохмаченная на боках, на спине, серыми клоками шерсть. Она минуту-другую пристально глядела на нас своим пустующим взором и исчезла столь же мгновенно, как и появилась.

— Что это у нее шерсть так растет? — спросил я.

Отец помолчал, нехотя пояснил:

— Выпадает... От голода. Хозяин ее сам, наверное, с голодухи плешивеет.

И меня словно обдало баннным паром. Я, кажется, нашел самое, самое несчастное существо в поселке. Слонов и шкилетников нет-нет да кто-то и пожалеет, пусть даже тайком, стыдясь, про себя, нет-нет да и найдется дурачок вроде меня, который сунет им хлеба. А собака... Даже отец сейчас пожалел не собаку, а ее неизвестного хозяина — с «голодухи плешивеет». Сдохнет собака, и не найдется даже Абрама, который бы ее прибрал.

На следующий день я с утра сидел на крыльце с карманами, набитыми кусками хлеба. Сидел и терпеливо ждал — не появится ли та самая...

Она появилась, как и вчера, внезапно, бесшумно, уставилась на меня пустыми, немытыми глазами. Я пошевелился, чтоб вынуть хлеб, и она шарахнулась... Но краем глаза успела увидеть вынутый хлеб, застыла, уставилась издали на мои руки — пусто, без выражения.

— Иди... Да иди же. Не бойся.

Она смотрела и не шевелилась, готовая в любую секунду исчезнуть. Она не верила ни ласковому голосу, ни заискивающим улыбкам, ни хлебу в руке. Сколько я ни спрашивал — не подошла, но и не исчезла.

После получасовой борьбы я наконец бросил хлеб. Не сводя с меня пустых, не пускающих в себя глаз, она боком, боком приблизилась к куску. Прыжок — и... ни куска, ни собаки.

На следующее утро — новая встреча, с теми же пустынными переглядками, с той же несгибаемой недоверчивостью к ласке в голосе, к доброжелательно протянутому хлебу. Кусок был схвачен только тогда, когда был брошен на землю. Второго куска я ей подарить уже не мог.

То же самое и на третье утро, и на четвертое... Мы не пропускали ни одного дня, чтоб не встретиться, но ближе друг другу не стали. Я так и не смог приучить ее брать хлеб из моих рук. Я ни разу не видел в ее желтых, пустых, неглубоких глазах какого-либо выражения — даже собачьего страха, не говоря уже о собачьей умильности и дружеской расположенности.

Похоже, я и тут столкнулся с жертвой времени. Я знал, что некоторые ссыльные питались собаками, подманивали, убивали, разделявали. Наверное, и моя знакомая попадала к ним в руки. Убить ее они не смогли, зато убили в ней навсегда доверчивость к человеку. А мне, похоже, она особенно не доверяла. Воспитанная голодной улицей, могла ли она вообразить себе такого дурака, который готов дать корм просто так, ничего не требуя взамен... даже благодарности.

Да, даже благодарности. Это своего рода плата, а мне вполне было достаточно того, что я кого-то кормлю, поддерживаю чью-то жизнь, значит, и сам имею право есть и жить.

Не облезшего от голода пса кормил я кусками хлеба, а свою совесть.

Не скажу, чтоб моей совести так уж нравилась эта подозрительная пища. Моя совесть продолжала воспаляться, но не столь сильно, не опасно для жизни.

В тот месяц застрелился начальник станции, которому по долгу службы приходилось ходить в красной шапке вдоль вокзального скверика. Он не догадался найти для себя несчастную собачонку, чтоб кормить каждый день, отрывая хлеб от себя.

Документальная реплика.

В самый разгар страшного голода в феврале 1933 года собирается в Москве Первый всесоюзный съезд колхозников-ударников. И на нем Ста-

лин произносит слова, которые на много лет стали крылатыми: «сделаем колхозы большевистскими», «сделаем колхозников — зажиточными».

Самые крайние из западных специалистов считают — на одной лишь Украине умерло тогда от голода шесть миллионов человек. Осторожный Р. Медведев использует данные более объективные: «...вероятно, от 3 до 4 миллионов...» по всей стране.

Но он же, Медведев, взял из ежегодника 1935 года «Сельское хозяйство СССР» (М., 1936, стр. 222) поразительную статистику. Цитирую: «Если из урожая 1928 года было вывезено за границу менее 1 миллиона центнеров зерна, то в 1929 году было вывезено 13, в 1930 году — 48,3, в 1931 году — 51,8, в 1932-м — 18,1 миллиона центнеров. Даже в самом голодном, 1933 году в Западную Европу было вывезено около 10 миллионов центнеров зерна».

«Сделаем всех колхозников зажиточными!»

1970

ПАРАНЯ

Лето 1937 года.

Наш небольшой железнодорожный поселок осоловел от жары, от пыли, от едкого дыма шлаковых куч, выброшенных паровозами.

На площади перед районной чайной, в просторечии — тошниловкой, с утра до вечера звучно и бодро кричит со столба радио:

Побеждать мы не устали,
Побеждать мы не устанем!
Краю нашему дал Сталин
Мощь в плечах и силу в стане...

Кричит репродуктор. Скучают у изгрызенной коновязи колхозные лошаденки. Двое парней-шоферов мучают ручкой не желающий заводиться грузовик. Поперек крыльца чайной-тошниловки сладко спит облепленный мухами самый развеселый человек в поселке — Симаха Бучило.

В нашем сердце это имя,
На устах у всех наш Сталин...

Кричит репродуктор, а под столбом, посреди площади, обычное увеселение — поселковая ребятня окружила дурочку Параню.

— Параня! Параня! Кто твой жених?

— Уд-ди! Уд-ди!.. — гудит Параня и судорожно вертится в хохочущем колесе, подставляя то зад, то бок под шипки и тычки.

Муравьиная толчея, легкая давка, ликующий визг, привлекающий даже взрослых. Несколько почтенных отцов семейств заинтересованно топчутся возле дурочки, похохатывают, подзуживают:

— Ты, Парасковья, не таись, ты, девка, откройся нам...

— Кто твой жених, Параня?!

Парни из деревень, кого не назовешь ни большими, ни малыми, увальни в смазанных сапогах, с младенчески наивным восторгом на опаленных физиономиях, хозяева лошадей, дремавших у коновязи, тычут в Параню кнутовищами.

— Парань! Эй!

— Уд-ди!

— Чтой тебя уж и тронуть нельзя, цыця?

— Дык засватана.

— Га! Дай-кошь я...

— Уд-ди! Уд-ди!

Мимо — в белых парусиновых брючках и рубашке апаш — идет Андрей Андреевич Молодцов, холостой инкассатор, человек приятной наружности, культурного поведения, прекрасно исполнявший на мандолине «Светит месяц». По виду можно бы уловить — он презирает и осуждает. Можно бы, но трудно. И Андрей Андреевич Молодцов скрывается за углом, никем не понятый.

А баба из деревни с корзиной, увязанной платком, из-под которого высовывается голова петуха, с бледным, свалившимся набок гребнем, не вытерпела, проста душа, и осуждения своего не скрыла:

— Ох бессовестники! Ох злыдни! Чем вам, ироды, помешала убогая?

— Тетка, спроси сама, кто жених-то... Никак не добьемся.

— Добром скажет — отстанем.

— Любо же знать...

— Гы-гы-гы!..

— Тьфу! Ошалелые! Креста на вас нет!

— Параня, кто твой?..

Параня ревет сильным сиплым мужским басом и по-детски размазывает черным тощеньким кулаком слезы и слюни.

— Ужо... Ужо... Зорьке Косому скажу, он вас ножиком зарежет...

А Зорька Косой сидит рядом, в тошниловке, у открытого окна, любителю на веселье — лицо узкое, бледное, черная челочка ровненько подрублена по самые брови, скрывает лоб, глаза трезвые, скучноватые.

Говорят, что он убил двоих, но сумел открутиться, отсидел только год в тюрьме. Зорька может выскочить на крыльцо, прикрикнуть тенорком: «Эй, вы-и! Шабаш!» И все разойдутся. С Зорькой не шути, он благороден, но не часто. Сегодня сидит, скучновато посматривает.

Параня сипло ревет, трет костистым кулачком лицо, дрожит под мешковиной своим грязным, тощим, перекощенным телом.

— Уд-ди! Уд-ди!

И муравьиная толчея вокруг нее, и ликующие вопли, и звенящий детский смех, и короткое басовитое похихивание взрослых...

И величание из репродуктора новым голосом, уже не просто бодрым, а проникновенным:

О Сталине мудром я песню слагаю,
А песня — от сердца, а песня такая...

Параня появилась в поселке года три тому назад и первое время на вопрос «кто твой жених?» простодушно отвечала:

— А сын божий Иисус Христос, вот кто.

С дико запутанной, густой, жесткой, как конская грива, шевелюрой, со щетинистыми, угрожающе угольными бровями, босоногая зимой и летом, в платье, сметанном из клейменого мешка, она сразу же вошла в пейзаж поселка, а имя ее — в незатейливый местный фольклор: «Хитрожоп, как Параня... Форсист, как Параня...»

Ей постоянно приходилось искать заступников. Сначала она провозглашала лишь имена добросердных поселковых баб:

— Ужо вот Анне Митриевне нажалуюсь... Бабушке Губиной ужо скажу...

Но добрые бабушки не в силах были спасти Параню

от ребятни и изнывавших от безделья досужих взрослых, приходилось искать иных защитников:

— Вот Ване Душному скажу...

Ваня Душной, он же Савушкин, — милиционер, надзирающий за порядком, человек серьезный, положительный, с кем даже Зорька Косой считается. Ваня Душной ради порядка раз или два пробовал защищать Параню, но над ним стали смеяться:

— Ты, Иван, того... подходишь... Тебя, слышь, Параня-то женихом величает. Прежде у нее был Иисус Христос, нынче ты на замену. Ты ведь мужчина в соку, а потом — форма, светлые пуговицы. Юродивые светленькое-то любят...

И Ваня Душной стал исчезать с улицы, как только появлялась Параня.

В поселке у всех на языке было имя Дыбакова — наистарший среди районного начальства, даже пешком по улицам не ходил, ездил на единственной в округе легковой машине — тонкоколесом «газике» с брезентовым верхом.

— Дыбакову нажалуюсь — в тюрьму вас засадит.

Но посадили самого Дыбакова, на поверку оказалось — в красных перьях черная птица. И поселковая дурочка Параня выбросила его из числа своих почетных защитников.

— Зорьке Косому... Он вас ножиком...

Зорька Косой туманно смотрит из оконца чайной, не вмешивается — не в том настроении.

— Параня, посватайся за меня...

— Га-га-га!

— Гы-гы-гы!..

— Уморила Параня...

— Уд-ди! Уд-ди!..

Со Сталиным вольно живется на свете:
Как ясное солнце он греет и светит,
Пути пролагает к великой победе,
Чтоб радостней было и взрослым и детям...

— Уд-ди!.. Я вот Сталину... Вот ужо ему... Ужо он вас... врагов народа...

Какой-то мальчонка резанно взвизгнул: «Сталин — жених Парани!» — и получил по шее от протрезвевшего взрослого. Гагакнул один из парней с кнутом, но сразу же подавился нескромным смешком — сам допер, без доброжелателя.

Все видят его соколиные очи
И в светлые дни и в ненастные ночи.
Он вытер нам слезы, он счастье упрочил... —

кричало с высокого столба радио. Параня дрожала в своем клейменом платье, затравленно озиравлась.

— Вот ужо...

Только что была плясавшая, паясничавшая карусель, только что стеной потные, оскаленные мальчишечьи лица, руки, руки со всех сторон, визг и стоны, голоса, голоса, захлебывающиеся, ласковые, вкрадчивые...

И тишина. Лишь тяжелое прерывистое дыхание да радио в небесах:

Он пишет законы векам и народам,
Чтоб мир осветился великим восходом...

Тишина, оглушающая больше, чем крик, визг, бесноватость. Глаза Парани дико косили, один в толпу, другой — куда-то вдоль улицы.

— Вот ужо... — Она пятилась.

Шоферы, крутившие заводную ручку грузовика, бросили возню, распрямились, недоуменно вглядываясь: что же случилось? И Зорька Косой оперся локотком на подоконник, высунулся из окна.

— Вот ужо... Сталину... Родному и любимому...

Тесный круг разорвался, почтительно расступились перед дурочкой, и та бочком, бочком вышла из плена, остановилась, повела раскосмаченной гривой в одну сторону, в другую, смятенно кося горящими глазами... И вдруг сорвалась мелкой рысью, тряся мешковинным задом, стуча толстыми черными пятками... Споткнулась, упала, мешковина задралась, открыв тощие голубые ляжки. Параня съежилась, ожидая веселой бури, но буря не разразилась, никто не засмеялся...

Тогда она поднялась и, прихрамывая, торопливо ушла.

О Сталине мудром я песню слагаю,
А песня — от сердца, а песня такая...

Наверное, у нее нашлись наставники, так как на следующий день она держалась уже совсем иначе: на копотно-смуглом лице фатоватая озабоченность, глаза блестят истошно и сухо, косят сильнее обычного, походочка мелкая, острым плечом вперед, с каким-то непривычным для нее напорцем.

Увидев прохожего, Параня останавливалась, принималась сучить ногами — черной заскорузлой пяткой скребла расчесанную до болячек голень, глаза на минуту останавливались — провально-темные, с диким разбродом, один направлен в душу, другой далеко в сторону. При первом же звуке сиплого голоса глаза срывались, начинали суетливую беготню.

— Он все видит!.. Он все знает!.. Ужо вас, ужо!.. На мне венец! Жених положил... Родной и любимый!.. На мне его благодать... Ужо вас! Ужо!..

Слова, то сильные, то гортанные, то невнятно жеванные, сыпались, как орехи из рогожи, пузырилась пена в углах синих губ.

— Забижали... Ужо вас... Он все видит... Родной и любимый, на мне венец...

Все сбегались к ней, сбивались в кучу, слушали словно в летаргии, не шевелясь, испытывая корябющую неловкость, боясь и глядеть в косящие глаза дурочки и отводить взгляд.

— Великий вождь милостивый!.. Слышу! Слышу тебя!.. Иду! Иду!.. Раба твоя возлюбленная...

Любой и каждый много слышал о Сталине, но не такое и не из таких уст. Мороз продирает по коже, когда высочайший из людей, вождь всех народов, гений человечества вдруг становится рядом с косоглазой дурочкой. Мокрый от слюней подбородок, закипевшая пена в углах темных губ, пыльные, никогда не чесанные гривастые волосы, и блуждающие каждый по себе глаза, и перекошенные плечи, и черные, расчесанные до болячек ноги. Сталин — и Параня! Смешно?.. Нет, страшно.

Со всех сторон спешили, чтобы упиться этим преступным страхом. Слушали и молчали. Боже упаси обронить даже не слово, а вздох, дрогнуть хоть бровью. Боже упаси выделиться из остальных. Молчи и слушай, ничего не выражай лицом, кроме каменности.

— Вижу! Вижу! Свет ангельский!.. Свет! Свет! Светоч!.. Вождь и учитель... Венец принимаю!.. Ужо вам! Ужо! — Параня начинала дергаться, пена гуще вскипала в углах вывернутых губ.

Ваня Душной, придерживая кобуру нагана, припечатывая на каблук, подошел, озабоченно сопя, раздвинул плечом сборище, встал перед дурочкой. Та грозила в воздух немытым кулачком:

— Ужо вам!

— Ты!.. Тоже за агитацию?.. Сматывай, недоделанная, чтоб руки не пачкать! — Развернулся кругом, лицом к народу. — А вы!.. По какому случаю стянулись на митинг? Топай по домам, покуда я добрый!

Но из толпы подали голос:

— Высоко берешь, Ванька. Не сорвись. Она тут товарища Сталина хвалит, ты ей рот затыкать...

И Ваня Душной осекся, переступил с сапога на сапог.

— Но кто ее уполномочил?.. Что это будет, коль каждая шалава на вождя набросится, пусть даже с хвалёбой?..

Посовестил, однако крутых мер не принял, рванул за инструкцией в отделение к товарищу Кнышеву.

Начальник районного отделения милиции Кнышев, человек пожилой, многодетный, страдавший дамской болезнью мигренью, любил приbedняться: «Мы люди маленькие, высокий замах не для нас. Пьяницу скрутить иль жулика сцапать — вот наш скромный вклад в дело социализма».

Люди с высоким районным замахом вроде Дыбакова, наверное, сейчас уже рубят лес где-то в холодной Сибири, а Кнышев как сидел, так и сидит на своем месте, рассчитывает сидеть и дальше.

Он схватился за голову, когда узнал о том, что поселковая дурочка Параня выдает себя за невесту товарища Сталина. Сразу же позвонил в одно место, в другое, во время разговоров сильно потел, сто раз говорил «виноват», наконец положил трубку и решительно приказал Ване Душному:

— Бери!

И вот через весь поселок Ваня Душной, время от времени прикладываясь коленом к тощему мешковинному заду, провел хнычущую невесту великого вождя всех народов в предварилку.

Параня не первая. Многих за вождя взяли в поселке и в прошлом году и в нынешнем, возмущаться — да боже упаси! — в голову не приходило. Наоборот, Симаха Бучило, после того как забрали Дыбакова, обличал его без просыпу трое суток:

— Он в очках ходил! И в галстук! Простой народ нонче должен властвовать! Тот, что без галстуков!.. Я — за!.. Я за расстрел голосую!..

И голосовал перед прохожими сразу обеими руками.

Симаха Бучило обличал бы и дольше, да Ваня Душной перебил — утащил в милицию на всякий случай, чтоб не докатился до перегибчиков.

Но странно — поселковые массы восприняли вдруг арест Парани неодобрительно. На улицах начались гадания не слишком потаенные, даже не шепотом, даже порой на басах.

— Она же товарища Сталина хвалила, не Троцкого.

— Зазорно вроде товарищу Сталину-то с ней жеваться...

— Что тут зазорного? Прежде всегда ушибленных девок считали — Христовы, мол, невестушки.

— Сравнила, кума, шильце с рыльцем. Одно дело там Христос, другое — сам товарищ Сталин...

— А чего бы не сравнить? Христос богом был, куда уж выше, тыщу лет на него молились.

— Нет, как ни кинь, по-старому или по-новому, а промашечка вышла — хвалила, а ее цап!

— Промашечка? Ой, братцы, не тем пахнет! Не-ет! За любовь к отцу и учителю — в холодную? Не-ет, братцы, тут не промашечка, умысел ищи!

Находились и такие, кто даже Параню брал под сомнение: будь бдителен, враг повсюду, отцу родному не верь, почему нужно оказывать доверие какой-то дуручке?

— А что, ежели она того... замаскированный агент из какой-нибудь Англии?

— Вроде ты не знаешь, из какой такой она державы иностранной...

— Знать-то знаю, но все-таки... Могли и завербовать: притворяйся убогонькой, сообщай тайные сведения...

— Тайные-то сведения не на улицах валяются, они, простота, по учреждениям лежат. Вот если бы она проникла куда, хоть в контору «Утильсырье», тогда подозревай, слова не скажу.

— Не замечено за Параней — чиста.

И общий возмущенный клич по поселку:

— Так за что ее, братцы, губят? Живая душа как-никак!

Никто другой из арестованных — тот же Дыбаков хотя бы — такой защиты не вызывал: «Живая душа гибнет!»

Шумел поселок, и ходил сторонкой в парусиновых

брюках инкассатор Молодцов Андрей Андреевич, человек приятной наружности, культурного поведения — себе на уме...

— Писать надо, писать самому...

— До самого, поди, не долетит — высоконько. Лучше кому следует нужное словечко подпустить...

Нужное словечко было подпущено, и без промашки, кому следует.

Через несколько дней начальнику милиции Кнышеву позвонили:

— Ты, такой-рассякой, свихнулся?!

— Виноват...

— Думаешь, мы все с тобой за компанию отправимся петь в один голос «Солнце всходит и заходит»?

— Виноват, не пойму.

— Нет уж, пой ты, пташечка, мы слушаем...

— Виноват. Узнать позвольте, в чем дело?

— На чью агентуру работаешь, сволочь?

— Виноват!

— Не отвертись. Сигнальчик поступил, что ты, провокатор, за сердечное выражение любви и преданности к товарищу Сталину Иосифу Виссарионовичу людей в холодную сажаешь!..

Кнышев имел слабую голову, подверженную деликатной болезни, но достаточно крепкое сердце — удар снес и понял, что нужно срочно изобличить и обезвредить истинного виновника диверсии, иначе обезвредят его самого.

Он вызвал к себе Ваню Душного. Тот встал у дверей — приземистый, в выгоревшей до невнятного воробьиного цвета гимнастерке, просторный в плечах, ноги в неуклюжей косолапой стоечке, лицо губастое, простодушно-суровое и готовность на нем: кого, товарищ начальник?..

— А разреши-ка, Савушкин, проверить мне твое личное оружие... Как отдаешь, лапоть?! Как отдаешь?! Начальству оружие вместе с поясом и кобурой подают. Вежливенько!.. Вот так-то!.. Посмотрим, посмотрим... Ты им гвозди вбивал, что ли?

— Не гвозди — замок. У самогонщицы Глашки Плетухиной... Нет, говорит, ключей, и все тут. Пришлось сбить замок.

— А патроны куда использовал?

— Сроду их не бывало. Сами знаете — для красоты носим эти штуки.

— Не в порядке оружие, не в порядке. Спрячем его... — И Кнышев сунул пояс с кобурой в свой письменный стол, а затем — как подменили вдруг чело- века — с замогильной угрозой: — На чью агентуру работаешь, сволочь?

— Чего?

— На чистых советских людей поклепы возво- дишь?

— Чего?

— Они сердечно выражают любовь и преданность нашему вождю, а ты, провокатор, за шиворот их да в холодную!

— Да чего?.. Вы ведь сами...

— Сами?! Рассчитываешь, что я с тобой за компа- нию «Солнце всходит и заходит» петь отправлюсь? Нет, соловушка, пой один!..

Кнышев с рук на руки передал арестованного Ва- ню Душного дежурному Силину, а сам сел писать со- провождение: «...Обманным путем вынудил дать согла- шение на арест... терроризировал простых советских людей... прямая диверсия против Генсека...»

Параню выпустили.

Ее успели накоротко остричь. С грязно-серым, ос- трым, как колун, черепом, угольно-пыльные косматые брови выглядят теперь еще более угрожающими, в знакомой клейменной мешковине — вовсе незнакомая Параня, даже походка изменилась, не просто дерган- но вихляющаяся, а с судорожным прискоком, словно ежеминутно кто-то кричал у нее над ухом. Но преж- нее косоглазие и прежняя блуждающая оглядка по сторонам.

Ее успели не только остричь, но, наверное, и до- просить. Новый мотив зазвучал в ее несвязных ре- чках... И новые слова:

— Свирженье-покушенье!.. Свирженье-покушенье!.. Ножики точут! Ножи-ножики! На родного и любимо- го... Вжик! Вжик! Чую! Чую! Свирженье-покушенье!.. Вжик!.. Венец вижу! Кровь на венце!.. Осподи мило- стивец! Спаси и помилуй!.. Отца нашего и учителя... Свирженье-покушенье!.. О-оспо-ди!..

И жители поселка снова сбегались к Паране со всех сторон, слушали и обмирали от ужаса.

— Острое! Острое!.. Спаси и помилуй отца и учи- теля!.. Венец вижу! Кровь на венце!..

Толпа, теснясь, сопя, потея, окружала Параню, внимала ей в гробовом молчании.

Но ни начальник милиции Кнышев, ни те из ответственных товарищей, за которыми скромный Кнышев признавал право большого замаха, не успели прийти в беспокойство: сборища же, черт возьми! Незапланированные демонстрации! А потом — речи... Голов не сносить. Никто даже не успел подумать о своих головах, как...

Напротив чайной (а как ни кружи поселком, рано или поздно вернешься сюда, районная тошнилровка — центр, местный пуп!) под столбом, с которого репродуктор бодро развивал тему «жить стало лучше, жить стало веселей», Параня утомленно бормотала о «венце», «ножах-ножиках», «свирженье-покушенье». Но вдруг она замолчала, одичавшие глаза разбежались в разные стороны, мокрогубый рот перекосялся. Параня вскинула грязный, тонкий, как куриная кость, палец, нацелила его в толпу и завизжала:

— Ви-и-ижу! Ви-и-ижу-у! Во-о-о! Во-о-о!.. Он! Он! На родного и любимого!.. О-он!.. Свирженье-покушенье!.. О-он! Наскрозь вижу!..

Толпа качнулась, и под тощим пальцем оказался Гена Пестерев, инструктор Осоавиахима, он же преподаватель физкультуры, он же капитан местной футбольной команды, он же баянист Дома культуры. Гена Пестерев, или Генка Девочка, так как имел привычку обращаться ко всем, будь то старухи или старики, парни-одногодки или совсем юная поросль школьников, «девочки»: «Девочки, не лезьте без очереди», «Девочки, а не погонять ли нам мяч...» Высокий, крепкошей, с чубом — льняная волна, выпуклую грудь обтягивает майка-футболка, увешанная значками ГТО, ПВХО, «Ворошиловский стрелок», сейчас он стоял под Параниным пальцем и бледнел.

— О-он!.. На родного и любимого!.. О-он!.. Ножи-ножики!.. Вижу-у!..

— Девочки, что же это? — Гена криво улыбнулся и стал оглядываться, а все разномастные «девочки» пятились от него. С приклеенной улыбкой попятился и Гена.

— О-он!.. — стонуще визжала Параня. — О-о-он! Держи-ите!.. Свирженье-покушенье!.. На родного и любимого!..

Держать Гену Девочку никто не стал, все разбежались от Парани, оставили ее одну под кричащим столбом.

Но поселок сразу же забурлил от догадок.

— А уж не учуяла ли чего Параня?

— Да полно вам, в жизнь не поверю. Чтоб Генка Девочка да того... Чтоб это он на самого... Да в жизнь не поверю!

— Ой, что-то ты спасаешь его. Ой, что-то неспроста...

— Да я же не о том... Мне Генка — тьфу! Не сват, не брат — седьмая вода на киселе.

— А спасаешь. Вроде и о бдительности никогда не слыхал. Вроде и задачи партии — твоя хата с краю...

— Не партийный я. Могу и ошибаться в чем-то...

— Ишь сиротинушка казанская. Я вот тоже беспартийный, но коммунист. Бдительность чту!

Кто-то петухом насккивал. Кто-то распускал перья, с кого-то сходил холодный пот, и похаживал инкассатор Молодцов мимо разговоров, мимо людей. Наверное, и не он один, попробуй разгляди таких, когда молчат, в глаза не бросаются... не они стране, не страна им. Антиобщественны.

Шумел поселок, судили Генку Девочку, гадали про Параню — треплется ли зря от убогости или же просто-напросто проницательна? Но на глаза Паране уже не лезли — кто знает, что в тебе разглядит убогая? Судили о ней да поглядывали издалека. С почтением.

А она шаталась по улицам — маленькая, колуном голова, грозные бровищи, просторное платье из мешка, походочка с судорожным прискоком. Какое-то время за ней на почтительном расстоянии держались ребяташки. Не дразнили, нет, просто глазели, но матери и бабки криком, угрозами отзывали их:

— Васька! Пашка! Домой, пашенки! Вот я вице-здоровой накормлю...

Дольше других торчали два брата Бочковы да рыжий Санька, сын пьяницы Симахи Бучило, — этих хоть с кашей съешь, родители не почешутся.

Как ни сторонился поселковый народ Парани, но к полудню она нашла-таки кого уличить.

Возле станции стоял ларек, в котором толстая Надька Жданова торговала морсом. Морс этот назывался витаминным, варился артелью инвалидов из еловой и сосновой хвои, но — секрет фирмы! — был бледно-ро-

зового цвета. Пить его просто так никто не осмеливался — им запивали. Надька тут же продавала в розлив водку, теплую на жаре и запашистую не хуже витаминно-хвойного морса. Клин вышибался клином, на стакан водки — стакан морсу, по крайней мере дешева закусочка — всего две копейки. И дела в ларьке шли хорошо, Надька перевыполняла план, считалась лучшей стахановкой среди торговых точек поселка, была поперек себя толще.

Вот к ней-то и притопала Параня.

— Паранюшка, хочешь морсику? — ласково спросила Надька и щедро нацедила в пивную кружку.

Параня дрожащей рукой поднесла ко рту мутно-розовую влагу... и кружка затряслась, витаминный морс расплескался на землю. Пуская пузыри, дергая острой головой, Параня закричала:

— На-аскрозь ви-ижу!.. Я-ад крысиный!.. Свирженье!.. Нареченного моего!.. Отца нашего любимого... Свирженье!..

Надька не Генка Девочка, так просто ее не смутишь, за словом в карман не полезет.

— У-у, недоделанная! — заголосила она. — Невестушка толстопятая! Яд!.. Тоже мне, откуда таких слов набралась? Вот я кружкой тебе по каторжной башке! Яд! Это лечебный-то морс! Его весь поселок пьет да хвалит!..

И пошла, и пошла, и начисто забила Параню. Та в страхе отступила, но недалеко, стояла в стороне, тыкала тощим пальцем, бормотала:

— Ви-ижу! Она... Свирженье-покушение... Нажалюсь...

И опять суды да пересуды.

— Ишь ты кого Параня унюхала.

— Давно бы пора толстомясую!

— Яд... А что, очень даже может... Я сам давно замечал: морс-то у нее розовый, а меня почему-то с него зеленым рвет.

Но наутро веселье примерзло. Утром по всему поселку разнеслась весть — Генка Девочка и толстая Надька арестованы. Без промашки те, на кого указала перстом Параня. Значит, неспроста она кричит, значит, вправду насквозь видит — вот тебе и убогая, вот тебе и дурочка, посомневайся-ка в ней теперь, когда со-

лидные органы верят и свою веру делом доказывают.

У каждого появился холодок под сердцем — вроде сам ты свят и чист, но один бог без греха.

Параня шаталась по улицам — черные босые ноги пропахивают пыль, сплюснутое клином темечко жарит солнце, косые глаза гуляют под бровями...

Параня шаталась по улицам, и встречные издали поворачивали обратно, простоволосые матери выскакивали из домов, хватали детишек, тащили с дороги, окна захлопывались, ларьки срочно закрывались: Параня идет!

Но магазины-то не закроешь перед Параней.

Она, бормоча, поднялась в лавку райпотребсоюза. Очередь за перловой крупой сразу же растаяла, покупатели один за другим, прижимаясь к стенке, повскакивали на крыльцо. Отбежав, остановились кучкой, принялись жадно вслушиваться: что-то там сейчас?..

Обе продавщицы остолбенели при виде дурочки. Та, что постарше, бросилась к ящикам, стала хватать горстями пряники и конфеты:

— Паранюшка, на.. Паранюшка, возьми гостинчик...

И Паранюшка взяла, стала грызть черствый пряник, мирно бормоча под нос:

— Венец... Благодать его.... Нареченный... Родной и любимый... Светоч...

— Истинно, Паранюшка, истинно! Ты, милая, лучше конфетку пососи — сладкая! Для тебя нам ничего не жалко. Любим мы тебя...

Наконец, подергиваясь под мешковиной, Параня уже направилась к выходу, но тут случайно увидела в руках второй продавщицы, обмершей от страха молоденькой Тоси Филимоновой, огромный нож-хлебо-рез. Параня взвопила и забилась:

— Но-ож! Нож!.. Во-о! Нож!! Ой, свирженье!! Ой, покушенье!! Нож!! На родного!.. Спаси-и!..

Ее крик вырвался на улицу, скупившиеся покупатели, ждавшие этого крика, двинулись было ближе к крыльцу, но тут же шарахнулись в разные стороны — на крыльцо выскочила беснующаяся Параня.

Через каких-нибудь полчаса весь поселок уже знал, что указана Филимонова Тося.

Неужели и тут Параня не ошиблась?

А вот завтра узнаем — ошиблась ли, нет ли...

Утром Тося Филимонова была арестована.

Антип Федорович Рыгун, десять лет проработавший продавцом магазина-дежурки, построивший в центре поселка дом на кирпичном фундаменте, да так чисто, что не растратил ни единой государственной копейки, первым вывесил над замком объявление: «Закрыто на переучет!» А уж за ним решили переучитываться и другие магазины...

«Параня идет! Параня идет!» — по улицам шепот, как ветер.

Параня идет! Пустеют улицы.

Известный всему поселку золотарь Никита исполнял свое дело, вез в бочке груз, заполняя воздух производственным ароматом. Впереди показалась Параня, одна на всей улице — походочка бочком, с прискоком, череп — словно колпак, подбитый бровями... Никита попробовал завернуть лошадь, но та от дряхлости была нерасторопна, несла золотаря прямо на Параню. И тогда Никита скатился с бочки, по-куличьи приседая на бегу, рванул по боковой улочке, бросив лошадь, бросив груз... Лошадь с полным грузом подошла под окна чайной-тошниловки и встала, вызвав ложные слухи: «А случаем, Никиту того... не обезвредили?..»

В поселковом скверике проводился пионерский сбор. Старшая вожатая перед строем детишек читала доклад «Лучший друг советских детей».

В скверике появилась Параня, и со старшей пионервожатой сделались судороги, девочки в строю заплакали, все стали разбегаться...

Вечером в Доме культуры сорвался показ кинокартины «Мы из Кронштадта». Параня села отдыхать на клубное крылечко, в кино никто не пошел. Готовы были пойти только братья Бочковы да Санька рыжий, сын Симохи Бучило, но их не пустили: «Даешь билеты!»

Кто она? Чем берет? Почему персту Парани подчиняются даже те, кого до смерти боится сам начальник милиции товарищ Кнышев?

Одни шептали:

— Сам-то, когда в ссылку ехал в Туруханский край, в деревне Бродах задержался, жандармы, видите ли, недоглядели... Вот когда только всплыло. Перед Параней держи под козырек, исполняй что скажет.

Другие возражали:

— Чтоб чрез нас да в Туруханский край — это какой надо крюк делать. Не-ет, просто в Паране дар большой раскрыт, потому органы ее в штат взяли, крупно платят. Мы еще, братцы, увидим Параню в гимнастерочке да ремнях, с петличками, где кубари комсоставские... Параня — тайна сия велика есть, непонятное чудотворство!..

Эту тайну знал начальник милиции Кнышев.

Вовсе не Параня была главным виновником арестов, а... Ваня Душной, сидящий ныне под крепким замком. На его, Ваню Душного (по паспорту — Савушкин Иван Васильевич), завели дело, его обличали как агента империализма, пробравшегося в ряды советской милиции. А какой агент действует в одиночку? Должны быть сообщники и у Вани Душного. Кто они?..

Вот тут-то легко встать в тупик. Ваню Душного знали все в поселке, стар и мал. Всех забрать просто нельзя. За перегибчики тоже наказывают. Но кого-то взять нужно. И наиболее подозрительных. Кто подозрителен? Не знаешь — прислушайся к массам.

Параня указывала?.. Нет! Поселковая дурочка для бдительных органов не авторитет. Но вот если массы начинают склонять имя того или иного жителя поселка, то на голос масс не реагировать просто преступно. Поэтому чутко прислушивались и... вылавливали. Правда, сами-то массы прислушивались к Паране, и, конечно, это было известно органам, но все, что пропущено через народ, то свято! Народ не ошибается! Кто смеет думать иначе?

Кнышев знал и хранил, не открывал даже своей жене. Тайна сия велика есть — государственная тайна! Будь бдителен — враг повсюду! Болтун — находка для шпиона!

Параня идет!

Магазины закрыты на переучет или по болезни продавцов. Поторговывать снова начал лишь Антип Рыгун, но с черного хода.

Параня идет!

Однако жители поселка так ловко научились избегать с нею встреч, что аресты прекратились.

Параня идет — прячась!

И все-таки нашелся отчаянный, который не только не стал прятаться от Парани, а пошел ей навстречу.

Симаха Бучило почти каждодневно переживал моменты неудержимого энтузиазма — по поводу и без повода. Энтузиазм этот требовал большого расхода сил, а значит, и длительного отдыха. Места же для отдыха Симаха выбирал крайне неожиданные — поперек крыльца весьма посещаемой тошниловки, посреди дороги, богатырски раскинувшись в пыли, заставляя объезжать стороной конный и механизированный транспорт, на перроне вокзала, подгадывая ко времени прихода пассажирского поезда. Едва отдохнув, он сразу же начинал готовить себя к новому энтузиастскому взрыву.

Параня идет!..

Все попрятались, остался посреди улицы энтузиаст Симаха, которого покидывало из стороны в сторону. Сперва он безуспешно попытался ловить убежавших.

— Стой! Стой! Куд-ды?!

И тут увидел Параню.

Она шла посередине дороги, как Христос, возвращающийся из пустыни после сорокадневного поста, — спеченное от черноты личико, голова-дынька подставлена под палящее солнце, мешковинное платье-хламидка едва прикрывает усохшее тело.

— Паранюшка! — изумился Симаха Бучило и распахнул объятия. — Паранюшка! Родная душа! — И с раскрытыми объятиями двинулся на нее, не по прямой, а со сложными загибами то на одну сторону, то на другую, но все-таки упрямо приближаясь к цели.

Параня, от которой все в ужасе бежали, Параня, под чьим пальцем исчезали люди, эта Параня попятилась от бесстрашного Симахи.

— Уд-ди! Нажалуюсь!

Но не тут-то было, Симаха Бучило обхватил ее и облобызал в мокрые губы.

— Паранюшка! Люблю! Паранюшка! Уважаю! Преданна! Верна! До самого что ни на есть корня! Гению! Вождю! Светочу!.. Ур-ра-а!..

Он крепко взял за руку Параню, повернулся к отчужденно замкнутым бревенчатым домишкам и закричал:

— Да здравствует Параня, верный и преданный соратник!..

Дома слепо взирали наглухо захлопнутыми окнами.

— Да здравствует великий и мудрый товарищ Сталин!

Симаха потащил Параню по молчавшей, опустевшей

улице, время от времени подымая ей руку, как судья на ринге победившему боксеру.

— Да здравствует Параня!

Выдвинутая нижняя челюсть, обросшая медной щетиной, — и плаксивое лицо Парани.

— Да здравствует великий Сталин!

Сжатые руки возносятся над головами.

На пути им повстречался случайно подвернувшийся инкассатор Молодцов, как всегда, в отутюженных парусиновых брючках и рубашке апаши. Он остолбенел, он побледнел, он съежился — один на всей улице, заметят, привяжутся, припутают, невольный свидетель, тут-то и возьмут на заметку, тут-то и заставят говорить. Однако Симаха Бучило и Параня прошли мимо, словно и не было этого Молодцова. Привыкли, что незаметен, неразличим, и есть вроде и нет его — пустое место, человек-невидимка. Прошли мимо...

— Да здравствует Параня!.. Да здравствует великий и мудрый!..

На площади у тошниловки их встретил сумрачный Силин, пожилой, толстый милиционер, заменивший обезвреженного Ваню Душного.

— Да здравствует Параня!.. Да здравствует...

Силин схватил Симаху за шиворот, деловито гряхнул:

— Пойдем!..

— Да здравствует великий Сталин!..

— Ид-ди, рвотное! — Силин оторвал Симаху от Парани.

— Да здравствует Параня! Верный и преданный... Бени по шее!

— Да здравствует великий Сталин!

Силин поднял кулак, но подумал и не ударил.

— Да здравствует Параня!

Удар!

— Да здравствует Сталин!

Пропуск удара.

— Да здравствует Параня!

Снова удар.

И так, под перемежающиеся удары и патристические лозунги, ушел из жизни Симаха Бучило, развеселый человек.

Он не раз, сопровождаемый аккомпанементом по шее, уходил в милицию, но всегда быстренько возвращался. Теперь не вернулся, должно быть, попал в число сооб-

щников Вани Душного. Что в общем-то верно — Симаха Бучило и Ваня Душной общались часто и энергично. Бучило был последней жертвой Парани.

Кончилось все это неожиданно и печально.

Опять все на той же площади перед тошниловкой, под столбом, увенчанным неумолкающим громкоговорителем, Параня наткнулась на Зорьку Косого.

Все боялись Зорьки в поселке, но даже он, Зорька, сворачивал за угол, когда видел Параню. И вот случилось...

Параня, должно быть, вспомнила, что когда-то страшила им: «Ножиком вас зарежет...» Вспомнила про нож и подняла на Зорьку Косого пляшущий грязный палец: — Во-о!.. Во-о!.. Виж-жу! Виж-ж...

И больше ничего не сказала. Зорька прыгнул, как петух на кошку.

— Заткнись, курва!

Коротко стукнул свинчаткой по острому стриженному темени.

Параня не вскрикнула, она только закружилась, развевая вокруг тощих расчесанных ног клейменый подол. И упала плашмя, ударилась плоским затылком об утоптанную землю, из-под изумленных бровей глаза уставились вверх на столб, на репродуктор.

А бодрствующий репродуктор на этот раз настойчиво славил Человека, не избранного, не гения из гениев, не великого среди малых, а просто Человека:

«Я вижу его гордое чело и смелые, глубокие глаза, а в них — лучи бесстрашной, мощной Мысли, той Мысли, что постигла чудесную гармонию вселенной, той величавой силы, которая в моменты утомленья творит богов, в эпохи бодрости их низвергает...»

Словно из-под земли, из-за углов, из калиточек стали выползать люди. Помятенские, замороженно притихшие, испуганные и сгорающие от любопытства, они окружили Параню.

Та лежала, раскинув тонкие руки, бестелесно плоская, хрупкая — уже готовые мощи с невинным лицом девочки и старухи. Бросались в глаза огромные ступни ног, разбитые вширь, с коряво торчавшими изувеченными пальцами, с чугунно твердыми подошвами. Ноги, не знавшие обуви ни зимой, ни летом. Натруженные ноги исполина, носившие по грешной земле истощенное тельце нищенки. И щетинистые брови, изумленно вскинутые,

и мутнеющий взгляд, нацеленный на репродуктор в синем небе.

А репродуктор славил с высоты неба:

«Вооруженный только силой Мысли, которая то молнии подобна, то холодно-спокойна, точно меч, идет свободный, гордый Человек...»

Зорька Косой пришел в себя и рванул на груди рубаху:

— Граждани-и! За чи-то она меня? Чи-то ей сделал Зорька Косой? Граждани-и! Будьте свидетелями-и!..

Граждане молчали и глядели не на Косого, а на чужинные исполинские ступни ног.

Зорька рванул на груди рубаху, а репродуктор перекрывал его рыдающий голос, внушал великое:

«Так шествует мятежный Человек сквозь жуткий мрак загадок бытия — вперед и выше, все — вперед и выше!»

В стороне же, на отдалении, стоял инкассатор Молодцов и плакал. Оплакивал Параню? Да нет. Молодцов — культурная личность — умел ценить высокое слово, да еще вовремя сказанное. А как нельзя более кстати напоминал репродуктор о мятежном Человеке, идущем вперед и выше. Плакал Молодцов тайком, не умел иначе. И, конечно же, слез его никто не заметил.

Зорьку Косого судили. На вопрос: «Что заставило вас совершить убийство?» — он отвечал:

— Да как же, граждане судьи, она ж меня по крайней мере умственной отсталости под статью пятьдесят восемь подвести могла, во враги бы народа Зорьку Косого записали! Никак не согласен! Уж лучше смертоубийство — статья сто тридцать шесть, милое дело...

За чистосердечное признание к нему снизошли — судили по статье сто тридцать шесть как убийцу, а не как презренного врага народа.

Документальная реплика.

Повально знаменитое в свое время фото — Сталин с девочкой в матроске. Подпись под ним: «Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство»!

Имя этой девочки — Гел я, дочь наркома земледелия Бурят-Монгольской АССР Ардана Ангадыковича М а р к и з о в а.

27 января 1936 года в Кремле происходил прием руководителями партии и правительства тру-



дящихся Бурят-Монгольской АССР. Делегацию из шестидесяти семи человек возглавляли секретарь Бурят-Монгольского обкома ВКП(б) М. Н. Ербанов, председатель Совнаркома Бурят-Монголии Д. Д. Доржиев, председатель ЦИК республики И. Д. Дампилон. Присутствовал, разумеется, и отец Гели.

Во время торжественного заседания шестилетняя Геля поднесла букет цветов Сталину, и тот взял ее на руки. Этот момент и был запечатлен на снимках, облетевших всю страну, ставших плакатом.

— Что ты хочешь получить в подарок — часы или патефон? — спросил Сталин.

— И часы и патефон, — ответила Геля.

Действительно, на следующий день она получила золотые часы и патефон с набором пластинок. На том и на другом подарке было выгравировано: «Геле Маркизовой от вождя народов И. В. Сталина».

Отца Гели среди других наградили орденом Трудового Красного Знамени.

Вскоре его арестовали и расстреляли вместе с Ербановым, Доржиевым и другими. Мать Гели сразу же после этого погибла при невыясненных обстоятельствах — на ночном дежурстве в городской больнице, где она работала врачом.

Геля осталась сиротой, долго жила в нищете и безвестности, хранила подарки Сталина.

1969

ДОННА АННА

Лето 1942 года.

На небе чахнет смуглый закат, через всю сумеречную степь потянуло ветерком, по-ночному свежим и настойчиво горьким, полынным. Где-то на краю земли, под самым закатом — веселые, что треск горящего хвороста, выстрелы.

В одном месте, под закатом, перестрелка гуще, время от времени в той стороне слышатся удары, словно кто-то бьет черствую степь тупой киркой, — рвутся

снаряды. Там, напротив одинокой птицефермы, окопалась пятая рота лейтенанта Мохнатова.

Чахнет закат, наливаются сумерки, война впадает в полудрему. При зыбком затишьи во всех уголках фронтовой степи начинается движение, делаются дела и делишки, которым мешал дневной свет. Гудят тягачи, какие-то батареи перебираются на новые позиции. По степи без дорог расползаются машины с потушенными фарами, ощупью везут боеприпасы. Полевые кухни, начиненные неизменной пшенной сечкой, подъезжают к самым окопам, куда днем можно пробраться только ползком.

Не для дневного света, видать, и это дело, хотя и называется оно — показательное. Нас вызвали сюда из всех подразделений — рядовых, сержантов, даже из среднего комсостава.

Мы сидим на щетинистом, прогретом за день склоне пологой балки, свежий, горьковатый ветерок обдувает нас.

Внизу остановилась крытая машина, из нее один за другим выскочили несколько солдат, плотно сбитых, стремительных, в твердых тыловых фуражках, похожих друг на друга и совсем не похожих на нас, вялых, грязных окопников. Они деловито помогли вылезти серенькому, расхлюстанному — гимнастерка распояской, ботинки без обмоток — солдатику.

Этот солдатик, смахивающий на помятого собакой перепела, — главное. «показательное» лицо. Для него в десяти шагах от остановившейся машины на дне балки уже приготовлен неуставный окопчик с пыльно-глинистым бруствером — могила.

Командир, такой же плотный и стремительный, как и его подчиненные, стянутый туго портупейными ремнями, вполголоса, но энергично отдавал приказы, солдаты в фуражках действовали... И человек-перепел оказался на краю могилы в натальной рубаше с расхлюстанным воротом, в кальсонах со спадающей мотней. Сами же солдаты выстроились напротив в короткую шеренгу, развернув плечи, приставив к ноге винтовки.

И тут появился полный, вяловатый мужчина в комсоставском обмундировании, но с гражданской осаночкой. Он вынул из планшета бумагу, нашел нужный разворот, чтоб быть повернутым и к нам, зрителям, и к осужденному и чтоб тускнеющий закат бросал свет на лист...

Мы уже все знали, даже больше, чем написано в его бумаге. Тот, кто сейчас стоял в исподнем спиной к могиле, был некто Иван Кислов, повозочный из хозтранспортной роты. В наряде на кухне он рубил мясо и отрубил себе указательный палец на правой руке.

Это случилось еще ранней весной, на формировке. Теперь уже разгар лета, наш полк неделю назад занял здесь, посреди степей, оборону. За два первых дня мы потеряли половину необстрелянного состава, но остановили рвущегося к Дону немца. Кажется, остановили...

А за нами сюда, на фронт, везли, оказывается, этого Кислова... Для показательности.

— Именем Союза Советских Социалистических Республик военный трибунал!..

Уличенный в умышленном членовредительстве Кислов стоит внизу в просторных казенных кальсонах, в сумерках не разглядишь выражение его лица.

А вчера утром у меня было два друга — Славка Колтунов и Сафа Шакиров, бойкий, звонкий, маленький, что подросток, башкирец. Вчера утром мы втроем хлебали сечку из одного котелка. Славку убило наповал на линии, а Сафу всего часа два тому назад я отправил на грузовике в санбат — пулевое в живот, тоже неизвестно, выживет ли.

— ...следствием установлено, что четырнадцатого марта тысяча девятьсот сорок второго года рядовой Кислов Иван Васильевич, находясь в очередном наряде на кухне...

Чахнет закат. Стоят с отработанной выправочкой парни в фуражках, маячит напротив них нелепая домашне-постельная фигура. Могила приготовлена за ее спиной.

А Славка Колтунов, наверное, и сейчас лежит где-то посреди степи, некому выкопать для него могилу.

То, что через минуту на моих глазах пятеро вооруженных парней убьют шестого, растелешенного и безоружного, меня не волнует. Еще одна смерть. А сколько я понавидался их за эту неделю! С Иваном Кисловым из хозтранспортной роты я никогда не ел из одного котелка. Довезли ли живым Сафу Шакирова до санбата, спасут ли его врачи?..

— Зачем показывают нам этого ублюдка?.. — Вопрос сердитым шепотом. Рядом со мной сидит командир химвзвода младший лейтенант Галчевский.

Мы познакомились по пути на фронт в эшелоне. Я

дежурил у телефона в штабной теплушке. Была ночь, высокое полковое начальство, получив извещение, что до утра не тронемся, ушло спать. Возле денежного ящика сопел и переминался часовой. За шатким столиком при свете коптилки сидел дежурный из комсостава — юнец с белой девичьей шеей, курсантской стриженной головой, на тусклых полевых петлицах по рубиновой капле лейтенантских кубариков. Он писал что-то, углубленно и взволнованно, должно быть, письма домой, часто отрывался, пожирающе глядел широко распахнутыми глазами на огонек коптилки, снова ожесточенно набрасывался на бумагу, и перо его шуршало в тишине, словностая взбесившихся тараканов.

Я валялся прямо на полу, на раскинутой плащ-палатке, возле телефона, время от времени испускал в пространство дендрологический речитатив:

— «Акация»! «Акация»!.. Я — «Дуб»!.. «Клен»! «Клен»!.. «Рябина»!.. «Пихта»! «Пихта»!.. Уснул, дерево?.. Я — «Дуб». Проверочка.

Дверь вагона-теплушки была приотворена, в щель глядела ночь. Влажная сырая темень плотна, хоть протяни руку и пощупай. Где-то в ней прячутся дома с занавесками на окнах. Там люди по утрам собираются на работу, там переживают заботы — раздобыть сена корове, купить дров... Выскочи сейчас из вагона в ночь, и, наверное, за каких-нибудь десять минут добежишь до такого рая с занавесками на окнах. Десять минут — как близко! И недосыгаемо! Для меня сейчас ближе неведомый, лежащий за сотни километров отсюда фронт. Стоит ночь над землей, щемяще хочется не поймешь чего: или простенького — пройтись босиком по чисто вымытому домашнему полу, или невероятного, невиданно красивого... Чего-то такого, перед которым даже война померкнет.

Мне пришло время произнести свое заклинание: «Акация»! «Акация»!..» Но вместо этого я с вызовом продекламировал:

В час рассвета холодно и странно,
В час рассвета — ночь мутна.
Дева Света! Где ты, донна Анна?
Анна! Анна! — Тишина.

И грохнул откинутый стул, и огонек коптилки захлебнулся, впустил на секунду ночь в теплушку. Часовой у денежного ящика вытянулся, замер по стойке

«смирно», а младший лейтенант, вскочив за столом, глядел на меня провально темными глазами.

— Вы!.. Вы!.. Вы любите Блока?.. — задохнувшись.

Я любил, что знал, а знал что-то из Блока, что-то из Есенина, из Маяковского, любил Григория Мелехова и деда Щукаря, д'Артаньяна с друзьями и несравненного Шерлока Холмса. Младший же лейтенант кой-кого испепеляюще ненавидел, например Есенина:

— Мещанин! Люмпен! Кабацкая душа! Быть нытиком во время революции!

Но он также любил и Блока, и Дюма, и Конан Дойла. А особенно любил кино—не комедии, а революционные и военные фильмы. Он бредил сценой расстрела моряков из «Мы из Кронштадта». Подавшись на меня всем телом, он с дрожью говорил:

— Вот бы так умереть — чтоб в глаза врагу, чтоб смеяться над ним!.. — Лицо узкое, с мелкими чертами и тонкие губы в капризном изломе.

К кино я относился сдержанно, к военным картинам тем более. Войны хватало с избытком и без кинокартин. И умирать я не хотел, пусть красиво, пусть героически глядя в глаза врагу. Впрочем, я стыдился признаться в этом даже самому себе.

«Дева Света! Где ты, донна Анна?..» Солдаты говорили о бабах. О бабах и о жратве — извечные, неиссякаемые темы. О жратве, пожалуй, говорили чаще, так как наши военные пайки были скудны, а старшины и повара без зазрения совести еще рвали от них, мы всегда были голодны, тут, право, не до баб.

Дева Света! Где ты, донна Анна?
Анна! Анна! — Тишина.

Мы наткнулись друг на друга, и он чуть ли не каждый день стал появляться перед нашим вагоном, вызывал меня, чтоб переброситься парой слов. Он разыскивал меня, когда я дежурил по ночам у телефона, просиживал часами, если все вокруг спали, рассказывал мне о своей маме:

— Более святого человека, поверь, на земле нет...

И зрачки его дышали, и губы его мученически изгибались, и я вместе с ним, страдая, любил его удивительную маму... А потом долго изнемогал от воспоминаний—о доме, о своей матери, об отце, который раньше меня ушел на фронт. Вот уже скоро год, как от отца пришло последнее письмо: «Подо мной убило лошадь.

Жаль ее, свылся... Видел воздушный бой...» Мой отец прошел через две большие войны — первую мировую и гражданскую, — но воздушный бой видел впервые в жизни.

Я не знал — благодарить ли мне Галчевского за эти воспоминания или проклинать его.

— Ради бога, зови меня просто Яриком, как звали дома...

Я был младшим сержантом, он — младшим лейтенантом, в армейском субординационном здании находился на целый этаж выше меня. Я постоянно чувствовал себя перед ним виноватым — не умею ответить ему тем же. Я напряженно следил за собой, чтоб не оступиться, не совершить нечаянно такое, что может не понравиться моему другу. И почему-то пугал меня капризный излом его губ.

Всю эту неделю, которую мы на фронте, я с ним не встречался. За эту неделю я пережил больше, чем за всю свою предыдущую жизнь.

Он увидел меня здесь, сел рядом, долговязый, тощий, с трогательной детской шеей.

— Зачем показывают этого ублюдка?.. Чтоб напугать нас?! Нас?.. Смертью?.. Смешно! — И мученический изгиб тонких губ. Кажется, и он хлебнул лиха за эту неделю...

Довезли ли живым Сафу Шакирова до санбата, спасут ли там его?..

Раздалась короткая резкая команда:

— Товсь!!!

Приезжие парни в необмято-новеньких фуражках вскинули свои винтовки.

В невнятной темной степи стоял перед ними одинокий раздетый человек. Уже не солдат, да и человеком-то ему оставалось быть какую-нибудь секунду...

Гудели в глубине темной степи моторы тягачей. Весело потрескивали на окраине выстрелы. Тянул упрямый ветерок.

Нет, все-таки эта смерть отличается от тех, какие я успел увидеть в эти дни.

— Па-а-а и-из-мен-ни-ку ро-оди-ны-ы!.. — запел командир храбрых ребят.

Гудели тягачи, и я слышал, как бьется в груди мое сердце.

— Ог-гонь!!

Я ждал карающий гром, но клочковатый, недружный залп прозвучал невнушительно. Трепыхнулись сумерки от огней, вырвавшись из пяти стволов. Мутно белеющая фигура какое-то время стояла в недоумении, достаточно долго, чтоб успеть почувствовать целую цепь переживаний — сперва мысль: «А ведь промахнулись!» — потом бездумное облегчение, наконец надежда: «Вдруг да холостыми, поугали, теперь помилуют...» — и даже стремительно вызревала вера в это, но не успела вызреть... Окутанный сумерками человек в белье качнулся и повалился вперед, в сторону солдат, еще не опустивших свои винтовки.

Тебя позвали смотреть на спектакль. И стреляли пятеро с десяти шагов, считай, что в упор, — промахнуться трудно.

По привычке пригибаясь, бежал к расстрелянному наш санинструктор с сумкой, чтоб освидетельствовать — дело сделано на совесть.

Зрители подымались. Кто-то усердно работал «капюшей», бил кресалом, чтоб запалить сигарку. Кто-то в тишине сказал в пространство громко и выразительно:

— Наше дело правое — враг будет разбит, победа будет за нами!

Галчевский дернулся от этих слов, но сразу же обмяк, процедил сквозь зубы:

— Шуточка идиота.

— Пошли, — сказал я.

Чего доброго, Ярик еще наскочит на шутника, прирмется его воспитывать.

Внизу, на дне балки, сгущались сумерки и бормотала машина. Слышалось застенчивое позвякиванье двух лопат...

Я опять вспомнил, что где-то посреди степи сейчас валяется Славка Колтунов, некому его похоронить.

Хлопнула дверка кабины, проскрежетали шестерни коробки передач, мотор забасил, машина развернулась.

Позвякивали лопаты. Трудился кто-то из наших, приеэжие занимались только чистой работой.

Там, где было смуглое зарево, небо светилось сейчас пепельным, скучным до безнадёжности светом. И по пепельной промоине скатывался огонек осветительной ракеты, как светлая дождевая капля по мутному окну... Это над ротой лейтенанта Мохнатова...

Ярик Галчевский шагал рядом со мной и кипел:

— Отмочил какой-то стервец, нашел время: «Наше дело правое». Но и судейские крючки хороши тоже... Собрали, мол, глядите, в случае чего и вас... Бойся нас пуще немца. Тьфу! Страшны фронтовику эти тыловые красавцы с дудками...

Галчевский кипел, а я слушал его краем уха и вертел в голове святую для меня фразу... Раз дело правое, то враг будет разбит. Враг не прав, мы правы. Раз мы правы — значит, сильны. Правда в конце концов всегда торжествует...

— Я, знаешь, хочу навсегда расстаться с химвзводом. Ни пава, ни ворона, каждой дыре затычка. Есть же начхим полка, зачем еще командир химвзвода?..

Над участком мохнатовской роты снова выползла ракета, на этот раз — зеленый переливчатый кристалл.

Мне не нравится кипятящийся сейчас без нужды Ярик Галчевский, мне не нравятся те ребята в парадных фуражках, что умело расправились с повозочным из хозроты Иваном Кисловым, и уж, конечно, сам Иван Кислов — гори все, я спрячусь! — нравиться мне не может... Но, кажется, больше всех не нравлюсь себе я сам. В простом сейчас заблудился, в трех соснах: «Наше дело правое — враг будет разбит, победа будет за нами». Очевидно же! Правда всегда побеждает, а вот поди ж ты, враг — несправедливый — подошел к самому Дону...

— Возьму стрелковый взвод! Ванька-взводный — позвоню, мелкая косточка в становом хребте армии, на котором все держится!..

Бесплотным зверем бесшумно проскакало мимо нас перекасти-поле — клубок колючек, умчалось в темень, в неуютную бесконечность степной равнины.

Но бесконечность степи обманлива, через какой-нибудь десяток-другой шагов эта степь круто ринется вниз из-под наших ног в гущу колючих кустов, растущих вдоль каменистого русла высохшего ручья. Здесь в зарослях дикого терновника прячется несколько землянок — штаб нашего полка. У меня землянки нет, есть окоп, длинная земляная щель, там беспризорно валяются два мешка — мой и Славки Колтунова. Был еще третий — Сафы Шакирова, но я его отправил вместе с хозяином в медсанбат. Этот окоп — мой дом. Сейчас доберусь до него, втиснусь в его каменно-твердые глинистые стены, завернусь в плащ-палатку и... провалюсь.

У меня теперь не осталось иного счастья в жизни — только лишь сон.

— «Клевер»! «Клевер»!

«Клевер» не отвечает. Где-то в прокаленной степи перебита тонкая нитка кабеля... Нет этого, я сплю.

Нечисто сладковатый, жирный запах, в примятой пыли валяются липко-черные трупы, победно гудят над ними тучи откормленных мух... Нет этого, я сплю.

Нет не вернувшегося с линии Славки Колтунова... Нет потного лица Сафы, его раскосых, блестяще-черных, с каким-то беспомощным птичьим страданием глаз... Нет! Нет! Я сплю.

Пока я сплю, нет войны.

Жаль, что спать мне выпадает в последнее время всего по два, по три часа в сутки.

И жаль еще, что сплю теперь обморочно, без всяких снов. Увидеть во сне хотя бы задернутое ветхой занавесочкой оконце нашего дома, за ним розовый рассвет с петушиным надсадным криком... Или ныряющий среди распластанных кувшиночных листьев поплавок, в радуге брызг вырванный из воды золотой неистовый окунь... Или склонившееся лицо матери, ее негромкий голос: «Вставай, Володька, в школу опоздаешь».

Не надо, мама, не буди! Как только кончится сон, начнется снова война.

Ночь над степью, далекая перестрелка. Я еще не добрался до своего окопа, я еще не сплю, но я уже чувствую себя счастливым. Благословенна природа, наградившая нас, живых, способностью на время забывать о жизни.

Но уснуть в этот раз не удалось.

В овраге, хрустя сапогами по каленому камешнику сухого русла, толпилось много солдат, охомуемых шинельными скатками, с вещмешками, с винтовками, в касках — в полном боевом. На меня с ходу налетел командир роты связи:

— Младший сержант Тенков! В распоряжение командира второго батальона! Не-мед-лен-но! Приказ начальника связи!..

Все ясно. Каждый день наши роты несут потери. Каждую ночь в стрелковые роты уходят нестроевики — обозники, помощники поваров, тыловые интендантские прикурки. Даже взвод пеших разведки — аристократы полка, мастера ночных вылазок — занял нынче оборону, как простые автоматчики.

И в ротах всегда не хватает связистов. Чем сильнее огонь, тем чаще рвется связь. Я же — радист без рации, телефонист-катушечник — на подхвате.

Спускаюсь в свой окоп, чтоб забрать вещмешок и скатку. Окоп, куда я возвращался каждую ночь, который считал своим домом... Где-то в другом окопе мне, быть может, удастся перехватить часок до рассвета. То ли удастся, то ли нет.

— Тенков! Володя!..

Меня ищет Ярик Галчевский. Эге! И он тоже — в каске, в плащ-палатке, с вещмешком.

— Нас вместе... В роту Мохнатова! — возбужденно объявляет он мне.

Что ж, я готов.

Степь, ржаво-бурая, прокаленная, ленивенько ползет вверх к истошно синему небу. На гребне под небом даже невооруженным глазом улавливается шероховатая кромка их окопов. За гребнем — птицеферма. Должно быть, это маленький хуторок, несколько саманных, побеленных известкой домов и мутный, с истоптанными грязными берегами ставок. Должно быть... Эту птицеферму никто из наших в глаза не видел, зато каждый о ней слышал.

Птицеферма — самое высокое место в плоской степи.

Через птицеферму немцу легче всего подтянуть к нам вплотную свои танки и мотопехоту.

Птицеферма — трамплин, с которого немцу удобно свалиться на наши головы.

Рота Мохнатова занимала оборону напротив птицефермы. Имя лейтенанта Мохнатова в полку у всех на языке — от командира полка до последнего повозочного в обозе.

Я представлял его себе: дюжий мужчина с окопной небритой физиономией, с длинными руками, болтающимися у колен, — нечто гориллообразное! Мох-на-тов — одна фамилия чего стоит!

От общей траншеи, в которой можно ходить не сгибаясь, на шажок-другой вперед к противнику пробит тесный тупичок. В нем — земляная приступочка-насесть. Это наблюдательный пункт ротного командира. Тут восседает, упиравшись пыльным сапожком в стенку, парнишка в выгоревшей до холщовой белизны гимнастерке. У него матово-смуглое, с мягким овалом, гряз-

ное лицо, сухая мочальная прядка из-под пилотки и сипловатый, задиристый, порой даже дающий петуха голос.

— Телефонист! — кричит он с несолидной агрессивностью. — Разыщи мне по проводам эту сволочь мордату!..

«Сволочь мордатая» — ротный старшина, доставивший ночью слишком мало воды на позицию. Мохнатов угрожает упечь старшину в стрелковый взвод.

Над пыльной пилоткой ротного командира клокочет прозрачный, наливающийся зноем воздух — шуршат, шепелявят летящие через нас тяжелые снаряды, ноют, стенают пули, плетется зловещий шепот заблудившихся осколков. Внизу же, под ротным, на уровне его давно не чищенных сапожек, в тесноте прохладной траншеи идет деловитая и суматошная жизнь переднего края. Сутуловатой рысцой бегают связной Мохнатова, уже известный мне Вася Зяблик. Возле самых сапожек почтительно стоит зачуханный солдатик — пряжка брезентового ремня на боку, гимнастерка в пятнах машинного масла, свисающие штаны, неподтянутые обмотки и неделю — с самого начала нашей фронтовой жизни — не мытое, не бритое, полосатое лицо. Это Гаврилов, лучший пулеметчик в роте, а может, и во всем полку, мастерски давит из своего «максимки» огневые точки противника. Именно он сейчас вызвал гнев Мохнатова на старшину, сообщив, что скоро будет нечего заливать в кожух пулемета. Рядом с ним командир левофлангового взвода Дежкин, пожилой старший сержант грустно-бухгалтерского вида. Он вот уже без малого полчаса терпеливо спрашивает у Мохнатова пулеметный расчет Гаврилова: «Уж больно стрекунов развелось напротив нас, попугать надо...» А Мохнатов не говорит ни да ни нет, дипломатически, с излишней горячностью сволочит старшину:

— Брюхо в обозе нажрал! Морда солдатской задницы толще! При ясном солнышке и не увидишь красавца!..

— Санинструктора!.. Где санинструктор?..

По траншее ведут раненого. Он гол по поясу, правое плечо неуклюже заматано слепяще-белыми бинтами, на выступающих ребрах, по синюшной коже черные точины засохшей крови. Один солдат теснится сзади раненого, придерживает его из-за спины за здоровый локоть. Второй, рослый, громогласный, выступает вперед,

решительно, словно перед дракой, машет руками, зовет к санинструктору.

Мохнатов круто повернулся к ним на своем наместе.

— Пач-чему вдвоем? Пач-чему не всем взводом снялись?! Дежкин! Эт-та твои красавцы?

Но Дежкин ответить не успевает. Лейтенант Мохнатов валится на голову почтительно стоящего под ним пулеметчика Гаврилова. Траншея содрогается от взрыва, со стенок течет песок, с безоблачного неба на секунду падает тень.

Считается, нас не обстреливают, когда каска, положенная на бруствер, не падает со звоном обратно в окоп. Но даже и в такие тихие минуты не высывайся без нужды — «запорошит глаза».

Обычно каска падает в течение всего дня. Но иногда бруствер просто метелит от свинца и стали, траншею лихорадит от взрывов, тут уж каска падает — не успеваешь досчитать до десяти.

— «Клевер»! «Клевер»! Как слышишь, «Клевер»?..

У меня остался тот же абонент, только вчера я ему кричал сверху вниз, из штаба полка: «Клевер»! «Клевер»!» Теперь кричу снизу, из роты. И как бы ни стреляли, как бы ни тряслась земля от взрывов, какая бы осколочная метель ни гуляла по брустверу, но если «Клевер» нас слышит, все прекрасно, живем — не продувает, от обстрела даже уютней. В земле как у Христа за пазухой, попробуй-ка достань!

Но вот...

— «Клевер»! «Клевер»!..

Тупая немота в трубке.

И я толкаю своего напарника, еще не проснувшегося сую трубку в руку:

— Держи. Я «гулять» пошел.

Днем «гуляем» строго по очереди. При прошлом обрыве «гулял» мой напарник. В более покойное время... Сейчас — падает каска... Через край окопа ныряй, как в прорубь.

Тянется в степь тонкая нитка кабеля. Над спиной, над твоей открытой, незащищенной спиной, над самым затылком гуляет многоголосая смерть.

Несложен язык резвящейся смерти. Его начинаешь постигать в первые же часы на фронте.

Нежно и тоскующе поют пули, растворяясь в толще воздуха. Не обращай на них внимания — пустышки. Если же пуля взвизгнет коротко и свирепо, обдаст кожу

лица колючими брызгами земли — значит, бьют прицельно, значит, вторая или третья пуля может быть твоей, отрывайся от заклятого места и беги. Но не на ногах, а на спине, на животе катись по степи — небо, полынь, небо, полынь! — пока пули вновь успокаивающие не зануют в вышине.

Сухо шуршит и пришептывает осколок, тычется где-то совсем рядом, пошарь — найдешь. Тоже не страшен. Он долго блуждал в синеве, потерял свою убойную силу. Может ударить, даже ранить, но не смертельно.

Давящий душу вой, вой, сверлящий мозг... И нет ничего страшнее на войне, когда этот вой обрубается. Краткий миг оглушительной тишины. Многие после этой тишины уже ничего никогда не слышали. Но и тот еще не фронтовик, кто не коченел от него неоднократно.

Кабель тянется через степь... Никого вокруг, далеко люди, если ранит — далека помощь. В самые опасные для себя минуты телефонист-катушечник воюет в одиночку.

Кабель тянется через степь... Стоп! Не тянется! Вот обрыв!.. Взрывом разбросало концы кабеля...

— «Клевер»! «Клевер»!..

Нет «Клевера»... Сейчас будет. Отыскать отброшенный конец, срастить — минутное дело. Иногда, правда, осколки рвут кабель в клочья, но все равно невелик труд стянуть и срастить. Велик путь — туда и обратно.

В окопе встречает тебя взгляд напарника, в нем уважение и благодарность. Пусть он сам проделывает не раз на дню такие же путешествия, но все равно сейчас благоговеет передо мной, человеком, блуждающим возле того света.

Мы вдвоем обслуживаем деревянный, обшарпанный ящичек с трубкой. О своем напарнике я знаю только, что он сибиряк и что у него странная фамилия — Небаба.

Но сколько раз под затяжным обстрелом я ждал его с тоскливым напряжением! Сколько раз я радовался его возвращению и видел в его глазах точно такую же радость. Он мне родной брат, я ему — тоже, не сомневаюсь. Но что он за человек? Что любит, а что не переносит? Женат или холост, весельчак по характеру или нытик?.. Не знаю даже, молод он или не очень. Под слоем окопной грязи мы все выглядим стариками.

Мы живем тесно и живем по очереди. Один из нас дежурит, другой непременно спит в это время, один вы-

скакивает под огонь на линию, другой остается у телефонной трубки. Встречаемся мы лишь среди ночи, когда приходят полевые кухни, за котелком горячей пшенной сечки. В эти короткие минуты мы говорим не о себе — о деле и о посторонних.

— В первом взводе опять двоих ранило... Аппарат у нас что-то барахлит, должно быть, батареи сели.

— Заземление погляди — окислилось...

Близкие и далекие, братски спаянные и совсем незнакомые.

Я описываю это подробно, словно проходила неделя за неделей нашего сидения в ротной траншее. Нет, прошло всего двое суток, тягостно бесконечных, как ожидание, утомительно кошмарных, как сама война, однообразных, как любые будни.

На исходе вторых суток я услышал оживление на линии.

До меня, «Василька», прорвался с далекого «Коло-са» самоличный бас ноль первого, командира полка, по нашему коду. Потом поминутно стали требовать от «Клевера»: «Срочно к телефону Улыбочкина... Пошлите свяznego к Улыбочкину... Кого-нибудь из хозяйства Улыбочкина...» Я знал весь полковой и батальонный начсостав и по фамилиям и по номерам. Улыбочкина среди них не наблюдалось. Наконец в нашей растительной семье появилась новая сестрица — «Крапива». И эта «Крапива» с ходу начала заботиться об «угольках к самовару». Я понял — к нашему батальону придали минометную батарею.

Ночью явился сам командир батальона капитан Пухначев, влез в землянку к Мохнатову, через минуту выскочил оттуда Вася Зяблик. Над изрытой степью, над окопами захороводили в тихой ночи голоса:

— Дежкина к лейтенанту!.. Старшего сержанта Дежкина!.. Младшего лейтенанта Галчевского к командиру роты!..

Мохнатов созывал к себе взводных.

Рядом, шагах в десяти, наш пулеметчик, должно быть Гаврилов, отбил оглушительную очередь: не сплю, поглядываю! С той стороны ответили. Я сидел на дне траншеи, но отчетливо представлял себе, как стороной над темной степью проплывают трассирующие пули.

— Это ты, Володя?.. — Надо мной склонился Галчевский. Его лицо тонуло в глубокой каске, серел в сумерках острый подбородок, на тонкой шее неуклюже

висел тяжелый ППД — только что с инструктажа. — Приказ: завтра взять птицеферму, — сказал он, опускаясь рядом. — Капитан Пухначев только что Мохнатову принес.

Я кивнул — мол, давно догадывался, для меня, телефониста, это не новость.

— Мохнатов сомневается, говорит, у нас кишка тонка.

— Мохнатов знает, — ответил я уклончиво.

— Он все-таки малOVER.

Снова оглушительно пробила рядом пулеметная очередь, и снова с той стороны нам ответили. Шла обычная ночная вялая перестрелка. Раз такая перестрелка идет, значит, на фронте затишье. Можно вылезти из окопа, распрямиться во весь рост, встретить кухню, получить свою порцию похлебки, поверить и тихо порадоваться — будешь жить по крайней мере до утра.

От Галчевского в эту тихую минуту исходила какая-то тревожная наэлектризованность, он крутил каской, передергивал плечами и наконец начал говорить захлебывающимся, галопирующим голосом:

— Мы привыкаем к покорности! Мы каждый божий день учимся одному — бессилию! Воет снаряд, летит в твою сторону — останови! Нет, бессилён! Падай, раболепствуй! А наша жизнь на передовой?.. Не смей выскочить даже по нужде, сиди, как подневольный арестант, в яме, выкопанной твоими руками... Погребены заживо, покорны, смиренхоньки! Как я хочу... Как я хочу показать им!.. — Галчевский дернул каской в сторону немца. — Черт возьми, показать, как я могу не-на-ви-деть!.. — И вдруг продекламировал:

Мы широко по дебрям и лесам
Перед Европою пригожей
Расступимся! Мы обернемся к вам
Своею азиатской рожей!

На дне окопа этот книжный пафос звучал фальшиво, Ярик Галчевский и сам, видно, почувствовал:

— Ах, ерунда! Кривляние от скуки. Он всю жизнь ел на серебре... Не ерунда одно!.. Ходить прямо, а не ползать на брюхе. Зачем они прилезли к нам? Зачем они меня выдернули из дому, не дали учиться дальше? Зачем заставляют волноваться мою мать? У моей мамы очень большое сердце... Не-на-ви-жу!

— Тебе надо отдохнуть, Ярик.

Он недоуменно поднялся, постоял молча секунду и произнес, спотыкаясь, с глухой дрожью:

— Ты сказал мамины слова... Точь-в-точь... Даже с маминой интонацией...

— «Василек»! «Василек»! — донеслось в трубку.

— Я — «Василек»!..

— Как самочувствие, «Василек»?

— Пока нормальное. Послезавтра спроси.

Дежурный-коммутаторщик при штабе полка сочувственно рассмеялся. Переживу ли я свое завтра — бог весть.

— Я пошел... — Ярик полез из траншеи. Наверху он остановился. — Просили известить каждого солдата: будет общая атака по красной ракете. Мохнатов ракету кидает...

Я опять лишь кивнул в ответ.

— Если я упаду в этой атаке, то упаду головой вперед. Потому что не-на-ви-жу!

— Лучше не падай.

— Мне себя не жаль. Мне маму жаль. — И пошел легкими, какими-то путаными шажками.

Прогремела пулеметная очередь, грозная и равнодушная. Послушно ответил ей с той стороны немец-пулеметчик. Все в порядке, на нашем участке тихо.

А у Ярика сегодня даже походка непривычная, карусельная, как у пьяного.

Из степи донеслись скрип и позвякивание. По траншее из конца в конец полетели негромкие, приподнятые, почти ликующие слова: «Кухня!.. Кухня пришла!..»

— «Василек»! «Василек»!..

— Я — «Василек»!

— Двадцать девятого к телефону!

— Его нет, он впереди.

Двадцать девятый — лейтенант Мохнатов — сидит, как всегда, на своем командирском насестике, в пяти шагах от меня, чумазый мальчик с мочальной челкой из-под пилотки. Он прилип к биноклю, у него из кармана галифе торчит неуклюжая ручка средневекового пистолета — ракетница, заряженная красной ракетой.

Я решительно вру в трубку, что двадцать девятого нет на КП. Мохнатов слышит, не отрывается от бинокля.

Утром загудел, зашепелявил над нашими головами невидимый поток снарядов. За гребнем, где находилась птицеферма, раздались подвально-глухие удары. Поза-

ди нас, совсем рядом, заквакали минометы новоявленного хозяйства Улыбочкина — «Крапивы» в телефонном обиходе. Немцы ответили: артиллерия через наши головы — по нашим тылам, из минометов и пулеметов — в нас. Каска падала усердней, чем всегда.

Вот тогда-то и началось единоборство лейтенанта Мохнатова с тыловым начальством.

— «Василек!»! «Василек!»! Двадцать девятого срочно!

И я послушно протягивал трубку:

— Вас срочно, товарищ лейтенант.

Он нехотя слезал со своего наблюдательного насестика, начинал разговор скучным голосом с шестнадцатым — комбатом Пухначевым:

— Никак невозможно, шестнадцатый... Убийство будет, наступления нет. У своих же окопов ляжем... Под арест?.. Пожалуйста, товарищ, шестнадцатый. Приезжай и арестуй, милости прошу. Не откладывая в долгий ящик. — И он небрежно совал мне трубку, фыркал: — Меня нет. Во взвод ушел.

Наконец в трубке зарокотал начальственный бас ноль первого:

— Бис-стра-а! Ис-с-пад земли!..

Сам командир полка! На этот раз Мохнатов не отмахнулся биноклем, сполз ленивенько, подошел вразвалочку, но голосом отвечал бодрым, по-уставному:

— Есть, товарищ ноль первый!.. Есть!.. Есть!.. Попытаемся... Приложим все силы...

Прежде чем вернуть мне трубку, он склонился к моему лицу. И я впервые увидел в упор его глаза: прозрачные, с мелким игольчатым зрачком, набрякшие, окопно-грязные, старческие подглазницы. Родниковые глаза! Сколько раз они близко видели смерть — свою и чужую? Сколько раз они так вот холодно смотрели сквозь прорезь — чистые глаза, опасно пустые?

— Слушай, кукушечка, — процедил мне в лицо Мохнатов, — я недогадливых не люблю.

И я после этого постарался быть догадливым.

— «Василек!»! Приказы не исполняешь! Расстрела захотел, твою мать? Где двадцать девятый?..

— Послали за ним уже трех человек. Не могут пробиться — большой обстрел.

Лейтенант Мохнатов сидит, упираясь пыльным сапожком в глинистую стенку окопа, остороженько выглядывает. Средневековая ручка пистолета, заряженного красной ракетой, торчит из кармана, но никто уже

из спящих мимо солдат не ощупывает ее косым, значительным взглядом. Даже на фронте не всякое-то заряженное ружье стреляет.

— «Василек»! Немедленно тяните линию вперед! «Василек»! Приказ быть возле Мохнатова! Ни на шаг не отставать!.. «Василек», повторите приказание!..

— Есть тянуть линию вперед! Есть быть возле двадцать девятого!.. — Я повторяю нарочито громко и восприсительно смотрю в затылок лейтенанта.

Тот небрежно через плечо мне советует:

— Да выдерни ты к едрене матери заземление.

Мохнатов втягивает меня в опасную игру. Оборвать своими руками налаженную связь в самый разгар боя... Ежели высокое начальство это узнает, даже не трибунал, а расстрел на месте, как за прямую диверсию. Но высокое начальство далеко, а Мохнатов близко.

— «Клевер»! «Клевер»! — сообщаю я. — Отключаюсь.

— Только быстренько, «Василек». Только быстренько...

Я выдернул всаженный в землю винтовочный штык, служивший заземлением, положил онемевшую и оглохшую трубку. Исправна линия, исправен аппарат, а связи нет, и со стороны сочувственно смотрит на меня мой напарник Небаба. Ему везет, а у меня даже дежурства несчастливые.

Глаза Небабы сорвались с моего лица, настороженно округлились. Я оглянулся. За моей спиной стоял младший лейтенант Галчевский. Он весь как-то жестко выпрямлен, стальной козырек каски низко надвинут на глаза, затянутый ремешком острый подбородок вздернут, взгляд из-под каски нацелен в спину Мохнатова. И свой тяжелый ППД он держит в руке возле белесого кирзового голенища стволом вниз.

Ярик Галчевский перешагнул через мои вытянутые ноги, произнес:

— Лейтенант Мохнатов!..

Подбородок вздернут, узкие плечи расправлены, каблуки сдвинуты, руки по швам, кажется, закончит свое обращение по-уставному: «По вашему приказанию явился!» Только вот автомат в руке — стволом вниз.

— Вы срываете наступление, лейтенант Мохнатов!

Мохнатов молча уставился на Галчевского. Сейчас Ярик видит вблизи его глаза. Чистые глаза, опасно пустые!

— Вы не подчиняетесь приказам командования, лейтенант Мохнатов!

— Иди, дурак, в свой взвод, — устало, без злобы, как-то слишком по-взрослому произнес Мохнатов.

— Ради спасения своей шкуры вы...

— Младший лейтенант! Смир-рна!!!

Спина Галчевского, без того натянутая, вздрогнула.

— Кр-ру-гом!!!

С птичьим горловым клекотом выкрик в ответ:

— Вы трус, лейтенант Мохнатов! Я вас презираю!

Локоть Мохнатова медленно, медленно отходит назад, кисть руки ползет по ремню к кобуре.

— Вы подлый трус! Вы шкурник! Вы изменник родины, Мохнатов!..

Синевой неба блеснул вороненый ствол пистолета в руке Мохнатова.

Галчевский передернулся, рванул автомат. Его узкую тощую спину лихорадило — грохот короткой очереди, запоздалый звон выплюнутой гильзы.

Мохнатов соскользнул со своего насеста, с неестественно серьезным и строгим выражением в широко распахнутых светлых глазах сделал шаг вперед и словно сломался, упал на колени, боднул головой глинистое крошево под кирзовыми сапогами Галчевского.

И тут я увидел связного Васю Зяблика, только что подбежавшего своей сутуловатой трусой из глубины траншеи. Деревенское губастое лицо парня было сейчас каким-то непривычно чеканным, в глазах появилась мохнатовская родниковая пустота. Вася Зяблик спускал с плеча свой автомат.

Галчевский рывком нагнулся к Мохнатову и так же порывисто разогнулся, вскинул над каской широкоствольный пистолет-ракетницу.

А Вася Зяблик подымал на него автомат...

Галчевский выстрелил, выплеснулся тугой, перекрученный дым, в синеве неба повисла марганцево-прозрачная капля.

— Р-р-ро-та!! — закричал Галчевский рыдающе и, весь перекрутившись, выбросился вверх.

Вася Зяблик держал автомат на весу...

Подавились работавшие на флангах пулеметы, замерли окопы.

— Р-р-ро-та!!

Галчевский стоял на бруствере немислимо долговязый — огромные кирзовые сапожищи рядом, дотянись

рукой, а маленькая голова, упрятанная в каску, далеко в поднебесье. А еще дальше — в засасывающей синеве — вишневая переливчатая капля.

А из траншеи замороженно следил за ним Вася Зяблик с автоматом наизготовку, с чужим вдохновенным лицом.

— Слу-уша-ай мою команду! За-а р-ро-оди-ну! За-а Ста-али-и...

До поднебесья долговязая, нескладная фигура качнулась и исчезла.

— Ур-ра-а!!!

Не слухом, а всем телом, кожей, костями я ощутил через землю суету окопов — шевеление, сопение солдат, лезущих вверх из земли к небу.

— Р-ра-а-а!!

Вася Зяблик вдруг засуетился, губастое лицо сразу же утратило опасную чеканность, стало просто озабоченным. Он торопливо выскочил на бруствер, на какой-то миг закрыл от меня полнеба, сутуловатый, устремленный вперед, непривычно могучий... И словно провалился сквозь землю.

— Р-ра-а-а!!

Тускло-серая, ржавая степь, покатаая, словно школьная парта. В ее неторопливом, упрямом устремлении к небу есть что-то щемяще жалкое, обожженная, неопрятная, тянется к непорочно чистому, недоступно высокому — нищета, мечтающая о величии.

Наверное, потому, что сама степь слишком уж велика и просторна, люди в ее бесконечности кажутся слишком вялыми, не спешат, устало бредут к синему небу. Бредут и подбадривают себя натужным, неуверенным криком:

— Р-раааа-а!

Среди паломников, бредущих к синему небу, возник грязно-желтый ватный ком...

— А-аааа!.. — И смолкло.

Тугой взрыв мягко ударил мне в лицо. Ватный ком распался, поплыл над рыжей, тусклой землей, задевая рассыпанных людей нечистой дымной бородой. Далекое небо, перекрывающее неопрятную степь, в нескольких местах треснуло, из него полилось: тррат-тат-та-та-та! В степи началось кружение, столь же дремотно-вялое, бестолковое... Еще взрыв, еще! Грязно-серые бороды...

И колыхнулся окоп, и вспучилась дыбом земля, за-

крыла от меня степь, людей, дымчатые бороды. Траншею залихорадило. Седой дым, жирный дым, живой, свивающийся, пухнувший, и сквозь него острыми потоками текущая вверх земля. Солнце начало играть в прятки — то скрывалось в дыму, то весело выглядывало. Тягуче запели вокруг осколки. Черствый град глинистых комьев забарабанил по брустверу, по пыльным кустикам жалкой полыни, по моим плечам...

Меня тянули сзади за ногу:

— Младший сержант!.. Младший...

На землистом лице Небабы распахнутые, выбеленные небом глаза. Только на дне траншеи я осознал, что случилось: немецкая артиллерия перекрыла путь тем, кто пытался бежать обратно. Стена напичканного осколками дыма, стена вздыбленной земли — не пробьешься....

А солнце играло в прятки, то светило, то скрывалось.

Комья земли еще продолжали падать — редкий, усталый град со знойного безоблачного неба. В воздухе раздался то ли назойливый звон, то ли вкрадчивый свист. Я не сразу понял, что это звенит у меня в ушах. От тишины.

Вспомнил о телефоне — заземление-то выдернуто! Всадил привязанный к проводу ржавый штык.

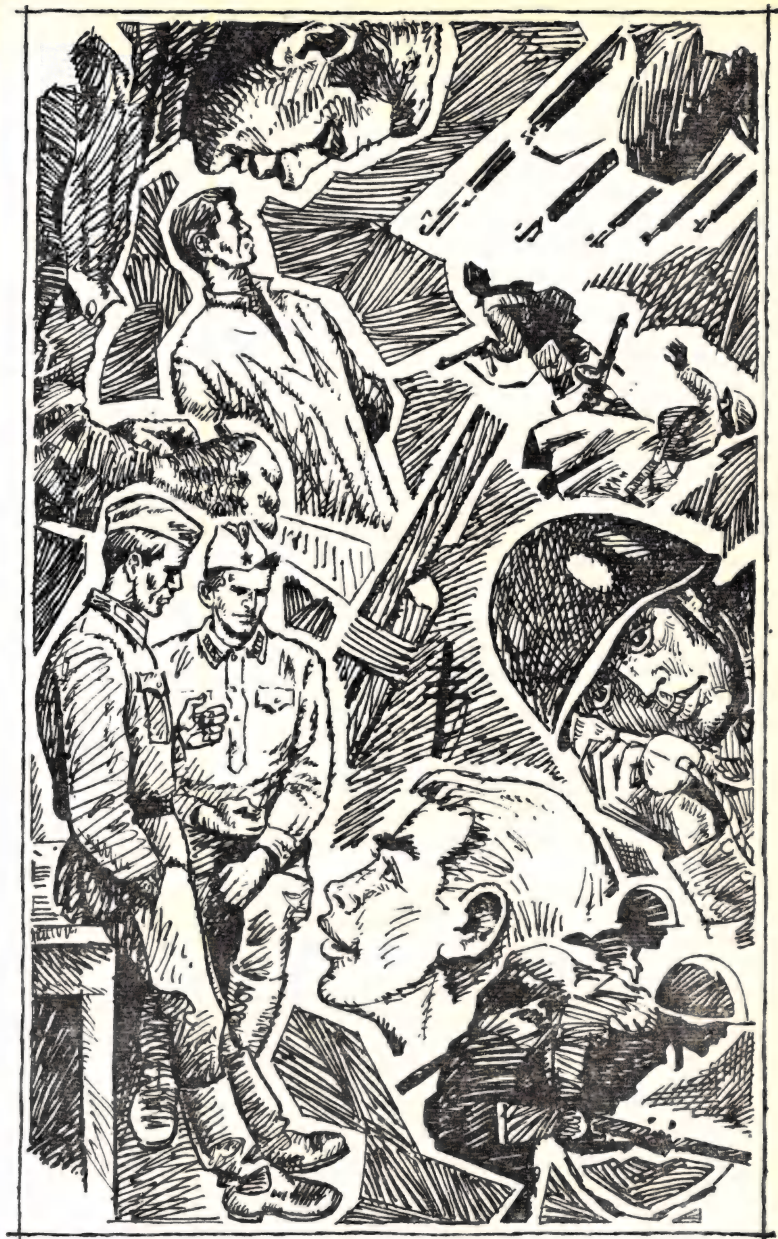
— «Клевер»! «Клевер»!

Немота, незримое четвертое измерение, где помещались «Клевер», «Колос», «Лютик», «Ландыш», исчезло — глухая стенка.

И Небаба деловито натянул на голову каску. Он всегда надевал каску, прежде чем выбраться из окопа на линию. Его очередь «гулять».

Мелькнули надо мной в небе ботинки с обмотками. В ушах серебряный тонкий звон, тоскуют летящие в высоте пули, где-то ухнул взрыв, сухой, трескучий, — значит, мина, не снаряд. Тишина. Боже мой, какая тишина!

Только тут я вдруг осознал, что я один... Совсем один во всех окопах. Минут десять тому назад здесь было сто с лишним человек, может, даже двести... Лежат в степи, далеко от меня. Один на все окопы, один перед лицом немцев. Я — маленький, слабый, еще никогда ни в кого не выстреливший, никого не убивший, умеющий лишь сматывать и разматывать катушки с кабелем, кричать в телефонную трубку. И до чего это странно,



что я, мирный и слабый, — один перед грозным противником, запугавшим всю незнакомую мне Европу. Я даже не испытывал от этого ужаса, только коченеющую, мертвящую тоску. Один...

Есть еще рядом он... Я успел забыть о нем. Он лежит в своем командирском тупичке, на дне, скрючившись, подтянув под живот колени, уткнувшись спутанными волосами в землю, правая рука неестественно выломлена, на боку зияет расстегнутая кобура, а вороненый пистолет валяется сзади, возле его нечищенных сапог. Так давно он упал под автоматной очередью, что я уже успел забыть о его смерти.

Тишина. Звон серебряных колокольчиков, кожей ощущаю тянущиеся во все стороны пустые, бессмысленные, мертвые ямы.

— «Клевер»! «Клевер»!..

Молчит «Клевер», нет надежды избавиться от одиночества. И я лютно позавидовал Небабе. Опять ему повезло! Он тоже один, но не в пустых окопах — в привычной обстановке. Телефонист, выскочивший на неисправную линию, всегда один на один с войной. Нормально.

И раздался звук шагов, шорох одежды. Я ужаленно обернулся: распolzшаяся пилотка, пряжка брезентового ремня на боку, полосатое от грязи лицо, утомленное и бесконечно унылое, — пулеметчик Гаврилов.

Господи! Какой он родной!

Я не могу прийти в себя, а он скребет небритую щеку, морщится, буднично спрашивает:

— Может, нам всем в одно место стянуться?

— Ты... Ты не ходил в атаку?

Гаврилов поглядел на меня с тусклым удивлением, скривил спеченные губы.

— А ты?

— Я ж привязан... к телефону.

— А я к станковому... С «максимкой» не побежишь...

А ручные пулеметчики — те все... — Гаврилов горестно высморкался. — На левом фланге у Дежкина тоже станковый пулемет. Как и мы — два человека.

Как мало надо для счастья. Я не один — и я ликую, в душе, разумеется.

— От всей роты — пятеро...

— Шестеро, — бодро поправляю я. — Небаба мой выскочил на порыв.

— Прощупай давай, может, он уже того...

— «Клевер»! «Клевер»! Нету. А что-то долго. Далеко, видно, обрыв.

Гаврилов уселся возле меня, но сразу же поспешно встал, перешел на другое место. Он увидел в тупичке лейтенанта Мохнатова, бодающего простоволосой головой землю.

— У меня Петька Губин, второй номер, тоже с ума помаленьку сходит. Молитвы вслух читает: «Спаси, господи, люди твоя...» А может, все люди на земле сбесились, Петька-то из нас самый нормальный? — Гаврилов помолчал, подолбил каблуком ямку. — «Спаси, господи, люди твоя...» А из пулемета играет. Там тоже ведь не чурки, падают. — Снова помолчал и с тоскливым, злым убеждением закончил: — Смирным жить на земле нельзя!

В стороне в траншею посыпалась земля, донесся влажный всхлип, и кто-то черный, взлохмаченный бескостно свалился вниз, дернулся, поерзал и зачих. Доносилось только тяжелое, со всхлипами дыхание.

Гаврилов медленно-медленно поднялся, вздохнул: — Оттуда.

Поднялся и я.

Он натужно, со всхлипами дышал, лопатки двигались под бурой гимнастеркой, немолодая, в морщинах коричневая шея.

— Эй, милоч, ты ранен? — спросил Гаврилов.

Гость от туда с усилием пошевелился, сел — черное лицо, яркие, почти обжигающие белки глаз, синие бескровные губы. Разлепив губы, сказал с влажным хрипом:

— Не знаю.

— Кто еще остался там живой?

— Не знаю.

— Может, ранен кто — вытащить?

— Не знаю.

Однако мучительно задумался, на пятнистом лбу проступила тугая вена, заговорил:

— Взводного нашего видел... Дежкина... Ползет, а ног-то нету. Ползет, а в лице-то ни кровиночки... Дайте пить, братцы.

Но тут я увидел еще одного — вынырнул в глубине траншеи из-за поворота, захромал к нам. По сутуловатой осаночке узнал — Вася Зяблик. Он вел себя очень странно — пробежит с прихрамыванием пять шагов и, судорожно барахтаясь, вылезает наверх, вглядывается

куда-то вдаль, прыгивает вниз, а через пять шагов снова лезет... Весь какой-то скомканный, перекошенный, штанина брюк разорвана, без каски, без автомата, недоуменно торчат уши на пыльной плюшевой голове.

— Это ж он, сволочь! Это ж — он! — заговорил изумленным речитативом. — Жив, сука!

И тут же полез наверх, вытянул шею, раскрыл рот, насторожил торчащие уши.

— Так и есть. Он!.. Идет себе... Глядите! Глядите! Он!..

И мы с Гавриловым тоже полезли вверх.

Степь. Она все та же, тусклая, ржавая, пустынная, устремленная к небу. Она нисколько не изменилась. Отсюда не видно на ней воронок, не видно и трупов.

По этой запредельной степи шел одинокий человек... во весь рост. По нему стреляли, видно было — то там, то тут пылили очереди. Он не пригибался, вышагивал какой-то путаной, неровной карусельной походкой, нескладно долговязый, очень мне знакомый.

— Жи-ив! Надо же — жив!.. Всех на смерть, а сам — жив! — изумлялся Вася Зяблик лязгающей скороговорочкой.

— Заговорен он, что ли? — спросил Гаврилов.

— Дерьмо не тонет... Но ничего, ничего! Немцы не шлепнут, я его... За милую душу... Небось...

— Брось, парень, не кипятись. Покипятился вон — и роты как не бывало.

— Он лейтенанта шлепнул! За лейтенанта я его... Небось...

— Жив останется — для него же хуже.

Перед нашим бруствером, жгуче всхлипывая, срубая кустики полыни, заплясали пули. Мы дружно скатились на дно траншеи. Это приближался младший лейтенант Галчевский, нес с собой огонь.

Он неожиданно вырос над нами, маленькая голова в просторной каске где-то в поднебесье. Визжали пули, с треском, в лохмотья рвали воздух, а он маячил, перерезая весь голубой мир, смотрел на нас, прячущихся под землю, отрешенно и грустно. Серенькое костлявое лицо в глубине недоступной вселенной казалось значительным, как лицо бога. Затем он согнулся и бережно сел на край траншеи, спустил к нам свои кирзовые сапоги.

Мы стояли по обе стороны его свесившихся сапог и тупо тарасились вверх.

— Вот я... — сказал он и вдруг закричал рыдающе, тем же голосом, каким звал роту в атаку: — Убейте меня! Убейте его!.. Кто ставил «Если завтра война»!.. Убейте его!!

Мы заворожено глядели снизу вверх, ничего не понимали, а он сидел, свесив к нам сапоги, рыдающе вопил:

— Уб-бей-те!!

Вася Зяблик схватил его за сапог, рванул вниз:

— Будя!..

— «Клевер»! «Клевер»!..—склонился я над телефоном.

Немота. Я положил трубку и полез наверх.

Небаба лежал всего в десяти шагах от траншеи, зарывшись лицом в пыльную полынь, отбросив левую руку на провод, пересекавший степь. Чуть дальше на спеченной земле была разбрызгана воронка — колючая, корявая звезда, воронка мины, не снаряда.

Ему везло... Братски близкий мне человек и совсем незнакомый. Познакомиться не успели...

Это было началом нашего отступления. До Волги, до Сталинграда...

Я видел переправу через Дон: горящие под берегом автомашины, занесенные приклады, оскаленные небритые физиономии, ожесточенный мат, выстрелы, падающие в мутную воду трупы — и раненые, лежащие на носилках, забытые всеми, никого не зовущие, не стонущие, обреченно молчаливые. Раненые люди молчали, а раненые лошади кричали жуткими, истеричными, почти женскими голосами.

Я видел на той стороне Дона полковников без полков в замызганных солдатских гимнастерках, в рваных ботинках с обмотками, видел майоров и капитанов в одних кальсонах. Возле нас какое-то время толкался молодец и вовсе в чем мать родила. Из жалости ему дали старую плащ-палатку. Он хватал за рукав наше начальство, со слезами уверял, что является личным адъютантом генерала Косматенко, умолял связаться со штабом армии. Никто из наших не имел представления ни о генерале Косматенко, ни о том, где сейчас штаб армии. И над вынырнувшим из мутной донской водицы адъютантом все смеялись с жестоким презрением, какое могут испытывать только одетые люди к голому. У нагого адъютанта из-под рваной плащ-палатки торчали легкие мускулистые ноги спортсмена...

«Наше дело правое...» Чудовищно неправый враг подошел вплотную к тихому Дону. И как жалко выглядели мы, правые. Обнаженная правота, облаченная в кальсоны...

Да всегда ли силен тот, кто прав? А может, наоборот? Правый всегда слабее, он чем-то ограничивает себя — не бей со спины, не подставляй недозволенную подножку, не трогай лежачего. Неправый не знает этих обессиливающих помех. Но тогда мир завоюют мрачные негодяи. Те, кто обижает, кто насилует, кто обманывает. Жестокость станет доблестью, доброта — пороком. Стоит ли жить в таком безобразном мире? Мир, оказывается, не разумен, справедливость не всесильна, жизнь не драгоценна, а святой лозунг «Наше дело правое, враг будет разбит...» — ненужная фраза.

Но даже общее пожарище не выжгло тогда из моей памяти Ярика Галчевского. Минутами я видел его сидящим на бруствере и внутренне содрогался от его крика: «Убейте его!»

Кого?.. Да того, кто ставил «Если завтра война». Странно.

Дева Света! Где ты, донна Анна?..

Ярик любил стихи, еще больше любил кинофильмы. Он знал по именам всех известных и малоизвестных актеров. «Если завтра война»... До войны был такой фильм. «Если завтра...» Война сейчас, война идет, враг на том берегу Дона. «Дева Света! Где ты, донна Анна?» «Убейте его!»

В те дни, оказывается, не я один помнил о Галчевском, кой-кто еще...

Над степью выполз чумацкий месяц — ясный и щербатый. Солдаты спали прямо на ходу, во сне налетали друг на друга, даже не ругались, не было сил.

Пятый день блуждал по степи наш сильно поредевший полк, спали по два часа в сутки, пытались набрести на какой-то таинственный Пункт Сбора. Этот Пункт каждый раз, как мы приближались к нему, оказывался перемещенным в другое место, глубже в тыл, подальше от накатывающегося противника. Береженого, конечно, бог бережет, а солдату накладно.

Выполз месяц, значит, скоро разрешат привал — самый большой, ночной. И действительно головной отряд

свернул с пыльного тракта. Обгоняя нас, прыгая по неровностям, прокатила крытая машина.

Мутная при свете луны, отдыхающая степь. Где-то далеко-далеко раскаты. Далеко-далеко, чуть слышна война. Но все-таки слышна, хотя мы, колеса, и уходим от нее, спешим, выматываемся, спим только по два часа в сутки.

Нас подвели к остановившейся посреди степи машине, как могли, выстроили в шеренги, почему-то не разрешили садиться.

Майор Саночкин, заместитель комполка по строевой, досадовал и покрикивал на людей возле машины:

— Давайте, но только быстрее! Быстрее, ради бога! Люди устали!

И тут вывели его... Под жидкий свет луны, к отупевшему от усталости полку...

— Только, ради бога, не тяните резину!

Не было расторопных ребят в твердых тыловых фуражках. Из гущи спутавшихся рядов вытащили шестерых солдат из комендантского взвода, таких же, как и все мы, шатающихся от усталости.

Шестеро солдат, слепо толкаясь, выстроились напротив него. Он высоко держал на тонкой шее маленькую обкатанную голову, был в гимнастерке распояской, в комсоставских синих галифе, но босиком. За ним зыбко лежала мутно-лунная, безбрежная степь.

— Побейте же, прошу вас!

Шестеро парней из комендантского взвода знали — пусть не близко, со стороны — командира химвзвода младшего лейтенанта Галчевского. Теперь уже не младшего лейтенанта, и человеком ему оставалось быть считанные минуты.

Не было расторопных, знающих свое дело ребят. Его не раздели до белья, ему не выкопали даже могилы.

Выступило вперед сразу двое. Один из них осветил бумагу фонариком, другой принялся торжественно читать:

— Именем Союза Советских Социалистических Республик военный трибунал... в составе...

Почему-то эти торжественные слова вносили в душу успокоение. Оказывается, и в бредовой неразберихе отступления кой-где сохранился порядок, кой-кто не забывал о своих обязанностях — жива какая-то дисциплина, жива армия.

— ...р-рас-смотрел дело по обвинению Галчевского

Ярослава Сергеевича, военнослужащего, младшего лейтенанта, тысяча девятьсот двадцать второго года рождения...

Смутная в лунном рассеянном свете степь за его спиной. В полынно настоящий воздух просочился божественно прекрасный запах разваренной свиной тушенки, подправленной дымком.

Сегодня днем на тракте наши задержали какие-то интендантские машины, потому сейчас и пахнет у нас давно забытой свиной тушенкой. Удивительный запах, он гонит прочь усталость, зовет к жизни. Повар комендантского взвода знаменитый Митька Калачев при отступлении оставил на той стороне Дона свою полевую кухню, но — ловок, бестия! — обзавелся баннным котелком, умудряется в нем варить даже на ходу, не очень запаздывает с раздачей.

— ...При-говорил!.. Галчевского!.. Ярослава Сергеевича!.. — И умолк, его товарищ погасил фонарик.

Луна висела над необъятной степью, обессиленной, отдыхающей, и далеко-далеко погромыхивала чуть слышная война. Он стоял под луной, вытянув тонкую шею, теребя балахон гимнастерки.

А у организаторов произошла заминка, они топтались и шушукались.

— Кончайте! Что ж вы?.. — снова взъелся на них майор Саночкин.

— Скомандуйте вашим бойцам...

— Нет уж, увольте. Это ваше дело. И только побыстрей, побыстрей, солдаты падают от усталости!

И тогда тот, кто читал приговор, тяжело шагнул вперед, закричал дребезжащим, нестроевым, некомандирским голосом:

— По врагу нашей род-ди-ны!..

Солдаты, не получившие привычной команды взять наизготовку, нескладно, растерянно, вразброд вскинули винтовки.

И тут Галчевский вытянулся, напрягся, и заплескался в лунной степи его звенящий голос:

— Я не враг! Мне ввали! Я верил! Я не враг! Да здравствует...

— Пли!!

У одного из стрелявших в стволе была заложена трасирующая пуля. Она плеснула огненным полотнищем, прошла сквозь узкую, бесплотную грудь Галчевского, полыхнула за его спиной.

Он упал на жесткую полынь, голубую при лунном свете траву.

У его мамы больное сердце...

В воздухе пахло разваренной тушенкой. Запах, обещающий жизнь.

На другой день мы вошли на станцию Садовая, окраину Сталинграда, еще оживленного, еще не разрушенного, не спаленного города. Мы защищали его. В этом городе враг был разбит. Наше дело правое, победа оказалась за нами...

Документальная реплика

Однако не нуждается в подтверждении никаких документов общеизвестный факт, что во время войны, которую мы называем Отечественной, считаем не без основания народной, за спиной наших воюющих солдат стояли заградительные отряды с пулеметами. Им было приказано расстреливать отступающих.

Не слышал, чтоб когда-либо была попытка выполнить этот не только оскорбительный, но и бессмысленный приказ. Отступающие войска, как бы они ни были деморализованы, далеко не безоружны, а зачастую вооружены и более мощным оружием, чем пулеметы заградотрядцев, — пушками и минометами. И уж конечно, охваченные желанием спастись, отступающие войска, наткнувшись на огонь своих, просто не имели бы иного выхода, как вступить в бой, причем с озлобленной яростью, не сулящей пощады.

Заградотрядники это прекрасно понимали, а потому под победоносным натиском немцев первых лет войны дружно бежали вместе с отступающими, если не с большей прытью.

1971

ОХОТА

Охота пуще неволи

Осень 1948 года.

На Тверском бульваре за спиной чугунного Пушкина багряно неистовствуют клены, оцепенело сидят старички на скамейках, смеются дети.

Чугунная спина еще не выгнанного на площадь Пушкина — своего рода застава, от нее начинается литературная слобода столицы. Тут же на Тверском — дом Герцена. Подальше в конце бульвара — особняк, где доживал свои последние годы патриарх Горький, где он в свое время угощал литературными обедами Сталина, Молотова, Ворошилова, Ягоду и прочих с государственного Олимпа. На задворках этих гостеприимных патриарших палат уютно существовал Алексей Толстой, последний из графов Толстых в нашей литературе. Он был постоянным гостем на званых обедах у Горького, и злые языки утверждают — граф мастерски наловчился сместить олимпийцев, кувыркаясь на ковре через голову. А еще дальше, минуя старомосковские переулочки — Скатертный, Хлебный, Ножевой, — лежит бывшая Поварская улица, на ней помещичий особняк, прославленный в «Войне и мире» Львом Николаевичем Толстым. Здесь правление Союза писателей, здесь писательский клуб Москвы, здесь писательский ресторан. Здесь, собственно, конец литературной слободе.

Но, наверное, нигде литатмосфера так не густа, как в доме Герцена. И если там в сортире на стене вы прочтете начертанное вкривь и вкось: «Хер цена дому Герцена!», то не спешите возмущаться, ибо полностью это настенное откровение звучит так:

«Хер цена дому Герцена!»
Обычно заборные надписи плоски,
С этой согласен —

В. Маяковский!

Так сказать, симбиоз площадности с классикой.

В двадцатые годы здесь находился знаменитый кабачок «Стойло Пегаса»¹. В бельэтаже тот же В. Маяковский, столь нещадно хуливший дом Герцена, гонял шары по бильярду, свирепым басом отстаивал право агитки и поэзии:

Нигде кроме
Как в Моссельпроме!

¹ Уже после окончания рассказа я неожиданно узнал: увы, не слишком популярный клуб имажинистов под таким названием был не тут, а где-то на Тверской улице. Ни Маяковский, ни Есенин не снисходили до «Стойла», но посещали поэтическое кафе-ресторан дома Герцена. Не исправляю этого заблуждения потому, что все мы пребывали в нем в описываемое время, звонкую вывеску «Стойло Пегаса» принимали тогда как цеховое наследие.

III А под ним, в подвале, то есть в самом «Стойле», пьяный Есенин сердечно изливался друзьям-застольникам:

Грубым дается радость.
Нежным дается печаль.
Мне ничего не надо,
Мне никого не жаль.

Но осень 1948 года, давно повесился Есенин и застрелился Маяковский.

А в доме Герцена уже много лет государственное учреждение — Литературный институт имени Горького.

Это, должно быть, самый маленький институт в стране; на всех пяти курсах нас, студентов, шестьдесят два человека, бывших солдат и школьников, будущих поэтов и прозаиков, голодных и рваных крикливых гениев. Там, где некогда Маяковский играл на бильярде, у нас — конференц-зал, где пьяный Есенин плакал слезами и рифмами — студенческое общежитие, в плесневелых сумрачных стенах бок о бок двадцать пять коек. По ночам это подвальное общежитие превращается в судебный зал, до утра неистово судится мировая литература, койки превращаются в трибуны, ниспровергаются великие авторитеты, походя читаются стихи и поется сочиненный недавно гимн:

И старик Шолом-Алейхем
Хочет Шолоховым стать.

Вокруг института, тут же во дворе дома Герцена и за его пределами жило немало литераторов. Почти каждое утро возле нашей двери вырастал уныло долговязый поэт Рудерман.

— Дайте закурить, ребята.

Он был автором повально знаменитой:

Эх, тачанка-ростовчанка,
Наша гордость и краса!..

Детище бурно жило, забыв своего родителя. «Тачанку» пели во всех уголках страны, а Рудерману не хватало на табачок:

— Дайте закурить, ребята.

Его угощали «гвоздиками».

Где-то за спиной нашего института, на Большой Бронной, жил в те годы некий Юлий Маркович Искин. Он не осчастливил мир, подобно Рудерману, победной, как эпидемия, песней, не свалился в сиротство, не при-

ходил к нам «стрельнуть гвоздик», а поэтому мы и не подозревали о его существовании, хотя в Союзе писателей он пользовался некоторой известностью, был даже старым другом самого Александра Фадеева.

У него, Юлия Искина, на Бронной небольшая, зато отдельная двухкомнатная квартира, забитая книгами. Его жена Дина Лазаревна работает в издательстве, дочь Дашенька ходит в школу. Хозяйство ведет тетя Клаша, пятидесятилетняя жилистая баба с мягким характером и неподкупной совестью.

По всей улице Горького садили липы. Разгромив «Унтер ден Линден» в Берлине, мы старательно упрятали под липы центральную улицу своей столицы. Давно замечено — победители подражают побежденному врагу.

«Deutschland, Deutschland uber alles!» — «Германия — превыше всего!» Ха!.. В прахе и в позоре! Кто превыше всего на поверку?..

Я ль на свете всех милее,
Всех румяней и белее?..

Великий вождь на банкете поднял тост за здоровье русского народа:

— Потому что он является наиболее выдающейся нацией из всех наций, входящих в состав Советского Союза.

Все русское стало вдруг вызывать возвышенно болезненную гордость, даже русская матерщина. Что не по-русски, что напоминает чужеземное — все враждебно. Папиросы-гвоздики «Норд» стали «Севером», французская булка превращается в московскую булку, в Ленинграде исчезает улица Эдисона... Кстати, почему это считают, что Эдисон изобрел электрическую лампочку? Ложь! Инсинуация! Выпад против русского приоритета! Электрическую лампочку изобрел Яблочков! И самолет не братья Райт, а Можайский. И паровую машину не Уатт, а Ползунов. И уж, конечно, Маркони не имеет права считаться изобретателем радио... Россия — родина закона сохранения веществ и хлебного кваса, социализма и блинов, классового самосознания и лаптей с онучами. Ходили слухи, что один диссертант доказывал — никак не в шутку! — в специальной диссертации: Россия — родина слонов, ибо слоны и мамонты произошли от одного общего предка, а этот предок в незапа-

мятные времена пасся на «просторах родины чудесной», а никак не в потусторонней Индии.

Мы были победителями. А нет более уязвимых людей, чем победители. Одержать победу и не ощутить самодовольства. Ощутить самодовольство и не проникнуться враждебной подозрительностью: а так ли тебя принимают, как ты заслуживаешь?..

«Deutschland, Deutschland uber alles!» Разбитую «Унтер ден Линден» усмиренные немцы очищали от руин и отстраивали заново.

На улице Горького садили липы.

В Москве да и по всей стране на газетных полосах шла повальная охота. Ловили тех, кто носил псевдонимы, загоняли в тупики и безжалостно раскрывали скобки.

Охотились и садили липы...

В институте неожиданно самой значительной фигурой стал Вася Малов, студент нашего курса.

Он был уже не молод, принес из армии капитанские погоны и пробитую немецким осколком голову. Говорил он обычно тихим голосом, на лице сохранял ватную расслабленность больного человека, оберегающего внутренний покой, часто жаловался на головные боли, и глаза его при этом становились непроницаемо тусклыми, какие-то глухие.

Его выбрали в институтский партком — за солидность, за то, что фронтовик, что не пишет ни стихов, ни прозы, ни эссе, а значит, охотнее станет выполнять общественные обязанности. Выбрали даже не секретарем, а рядовым членом.

И тут-то от заседания к заседанию Вася Малов начал показывать себя. Во-первых, он любил выступать, говорил длинно, обстоятельно, тихим, бесстрастным голосом, стараясь сам не волноваться и не волновать других. Во-вторых, ему, оказывается, просто невозможно было возразить ни по существу, ни в частности. Пробитая осколком голова Васи Малова не терпела ни малейших возражений. Он сразу же начинал волноваться, краснел и бледнел одновременно — пятнами, полосами, кричал надрывным голосом, а глаза его наливались безумным мраком. К нему сразу же бросались, успокаивали, поддакивали, извинялись — иначе мог свалиться в припадке, не дай бог, тут же умереть на заседании.

Газеты подымали русский приоритет и бичевали безродных космополитов.

Вася Малов выступал на каждом парткоме, неволнованно тихим голосом он называл имена: такой-то несет в себе заразу безродности!

Ему не возражали.

Вася Малов указал уже на Костю Левина, на Бена Сарнова, на Гришу Фридмана, и все ждали, что вот-вот он укажет на Эмку Манделя.

Каждый из нас—кто таясь, а кто афишируя, — претендовал на гениальность. Но почти все молчаливо признавали — Эмка Мандель, пожалуй, к тому ближе всех. Пока еще не достиг, но быть таковым. Не сомневался в этом, разумеется, и сам Эмка.

Он писал стихи и только стихи на клочках бумаги очень крупным, корявым, несообразно шатким почерком ребенка—оды, сонеты, лирические раздумья. И в каждом его стихе знакомые вещи вдруг представляли какими-то вывернутыми, не с той стороны, с какой мы привыкли их видеть. Хорошее часто оказывалось плохим, плохое —неожиданно хорошим.

Календари не отмечали
Шестнадцатое октября,
Но москвичам в тот день едва ли
Бывало до календаря.

Шестнадцатого октября сорок первого в Москве была паника, повальное бегство. Позорный день, равносильный предательству. В печати его не вспоминали. Эмка вспомнил, мало того — взглянул на него по-своему:

Хотелось жить, хотелось плакать,
Хотелось выиграть войну!
И забывали Пастернака,
Как забывают тишину.

Все поэты в стране писали о великом Сталине. Эмка Мандель тоже...

Там за текущею работой
Жил, воплотивши резвый век,
Суровый, жесткий человек —
Величье точного расчета.

Эмка искренне считал, что прославил Сталина, изумился ему. Другие могли понять иначе. Понять и указать перстом...

Но Эмка был не от мира сего. Он носил куцую шинелку пелеринкой (без хлястика) и выкопанную откуда-то буденовку, едва ли не времен гражданской войны. Говорят, одно время он ходил совсем босиком, пока институтский профком не выдал ему ордер на валенки. Эти валенки носили Эмку по Москве и в стужу, и в ростепель, и по сухому асфальту, и по лужам. По мере того как подошвы стирались, Эмка сдвигал их вперед, шествовал на голенищах. Голенища все сдвигались и сдвигались, становились короче и короче, в конце концов едва стали закрывать щиколотки, а носки валенок величаво росли вверх, загибаясь к самым коленям, каждый что корабельный форштевень. Видавшая виды Москва дивилась на Эмкины валенки. И шинелка пелеринкой, и островерхая буденовка — Эмку принимали за умалишенного, сторонились на мостовых, что нисколько его не смущало.

Мы любили Эмкины стихи, любили его самого. Мы любовались им, когда он на ночных судилищах вставал во весь рост на своей койке. Во весь рост в одном нижнем белье (белье же он возил стирать в Киев к маме раз в году), подслеповато жмурясь, шмыгая мокрым носом, негодуя и восторгаясь, презирая и славя, ораторствовал косноязычной прозой и изумительными стихами.

Вася Малов был коренной москвич, в общежитии не жил. Каждое утро он вышагивал через сквер к институту своей расчетливо бережной походочкой — шляпа посажена на твердые уши, табачного цвета костюмчик, галстук, белая сорочка — вычищенный, без пылинки, отглаженный без морщинки, тишайше скромный, меланхолично отсутствующий, слабый здоровьем, слабый голосом.

— Здравствуйте, — кивок шляпой, не улыбочивый взгляд.

Студенты переставали читать стихи, расступались. Наш и. о. директора спешил поздороваться с Васей за руку. Вася на него смотрел, прислушивался к себе. А и. о. директора не обращал внимания на не улыбочивость, жал руку, улыбался сам.

Лично меня Вася ничуть не пугал. Я ни по каким статьям не подходил под безродного. Я был выходцем из самой что ни на есть российской гущи, по-северному окаян, по-деревенски выглядел да и невежествен

был тоже по-деревенски. И сочинял-то я о мужиках, не о балеринах — почвенник без подмеса.

Космополитизм меня интересовал чисто теоретически. Я ворошил журналы и справочники, пытался разобраться: чем, собственно, отличается интернационализм (что выше всяких похвал!) от космополитизма (что просто преступно!)?

Ни журнальные статьи, ни справочники мне вразумительного ответа не давали.

Вся советская литература, которой мы, шестьдесят два студента с пяти курсов, готовились служить, насчитывала тогда каких-нибудь три десятка лет.

Юлий Маркович Искин как литератор родился вместе с нею.

Революция помешала ему окончить реальное училище, заставила порвать с тетушками и дядюшками, владельцами галантерейных лавочек на Зацепе, преуспевающими подрядчиками, не слишком преуспевающими, средней руки адвокатами. В шестнадцать лет Юлий оказался в паровозоремонтных мастерских при станции Казанского вокзала. В семнадцать он стал плохим слесарем, но отменным активистом — председателем цеховой ячейки комсомола, написал свой первый репортаж о саботажниках на железнодорожном транспорте. Этот репортаж был напечатан в «Гудке», газете, выходящей тогда от случая к случаю. Юлий Искин стал рабкором.

Рабкоры... Как ни прославлены эти волонтеры революционной прессы, тем не менее мы имеем о них тусклое представление, основанное главным образом на казенных междометиях.

Главная отличительная черта рабкоров — это воющая молодость и связанное с ней буйство чувств и незрелость мысли. Великая Октябрьская революция вообще была молода. Сорокасемилетний Ленин не только ее патриарх по авторитету, но и по возрасту. Троцкому тогда исполнилось тридцать восемь, Свердлову — тридцать два, Бухарину — двадцать девять, а рядовому революции Федору Тенкову, моему отцу, — всего двадцать один год! В двадцать два он уже был комиссаром полка — отвечал за других, имел право судить и карать.

Рабкорами же становились те, кто жаждал активности, но еще не доспел до признания, а потому сверх-

возбудимость, агрессивная честность при ничтожнейшем житейском опыте, порой при отсутствии элементарной грамотности. Они изредка помогали становлению разваленной жизни, но больше путали ее и разваливали по недомыслию.

Рабкора «Гудка» Юлия Искина боялись деповские «мазурики», воровавшие из обтирочной драгоценный керосин, но его боялись и начальники служб и дистанций, проверенные в деле спецы. Они требовали дисциплины, а рабкор Искин считал это зажимом, они пытались воевать с уравниловкой, распределяли допталоны на обеды среди наиболее квалифицированных рабочих, а рабкор Искин писал на них — подкуп, разделение на «любимчиков и постылых», нарушение принципа равенства, создание рабочей аристократии.

«Гудок» стал выходить регулярно, Юлия Искина как наиболее грамотного из рабкоров взяли в штат. Он печатался на второй и третьей — «серьезных» полосах газеты, а на последней, четвертой, затейливо-несерьезной, помещал рассказы уже получивший известность Валентин Катаев, гремел рифмами фельетонист Зубило—буйноволосый, приземистый Юрий Олеша, острили и подписывали пока что пустячки совсем никому не известные Илья Ильф и Евгений Петров.

Как-то само собой случилось, что Юлий Искин бросил писать о простых вагонов и начал помещать критические статьи.

Он и в литературе остался рабкором, прямолинейным парнем, который весь мир резко делил на «наше» и «чужое», рабочее и буржуазное. Есенин мелкобуржуазен, значит, чужой, Маяковский хоть и горлопан, но насквозь революционен — свой в доску! А в общем: «Я хочу, чтоб к штыку приравняли перо!» Это желание у ринувшихся в литературу рабкоров появилось намного раньше, чем Маяковский вслух его высказал.

Юлия Искина озадачила небольшая повесть. Ее написал не какой-нибудь недобитый белогвардеец, а свой парень, недавно скинувший красноармейскую шинель. Повесть о гражданской войне, но странно! — не о победе, а... о разгроме. Она так и называлась — «Разгром». А ведь гражданская-то война кончилась нашей победой, уж никак не разгромом... Наша повесть или чужая, рабоче-крестьянская или буржуазная?..

От повести веяло тем величавым великодушием,

которое свойственно только сильным, только уверенным в себе: мы не всегда бывали удачливы, не всегда сильны, умны и справедливы — тоже не всегда.

Юлий Искин впервые в жизни написал нерабкоровскую статью. Они скоро встретились. Автор «Разгрома» был высок, статен, плечист, трогательно ушасть, улыбка на щекастом лице была подкупающе простодушна, а в веселом подрагивании зрачков ощущалось нечто большее, чем простодушие, — сердечность.

Я никогда не интересовался — любили ли Фадеева женщины? Наверное. Я постоянно слышал о том, как в него влюблялись мужчины.

Сам я Фадеева видел только со стороны.

О нем до сих пор ходят изустные легенды. Одна упрямо повторяется чаще других — легенда о том, как Александр Фадеев разом победил своих литературных врагов.

Называют при этом Авербаха... Позднее Твардовский в беседе с Хрущевым скажет свою знаменитую фразу: «В Союзе писателей есть птицы поющие и есть птицы клюющие». Авербах, похоже, ничего не спел, что запомнилось бы по сей день, исклевал же, как говорят, многих. Он и Фадеев не выносили друг друга, не здоровались при встречах. И это знали все.

Горький в очередной раз давал обед. Присутствовал Сталин с «верными соратниками». Собрался весь цвет нашей литературы — лучшие из певчих, виднейшие из литстервятников.

После соответствующих возлияний, в минуту, когда отмякают сердца, кто-то, едва ли не сам радушный хозяин Алексей Максимович, прочувствованно изрек: «Как плохо, что среди братьев писателей существуют свары и склоки, как хорошо, если бы их не было». Этот проникновенный призыв к миру был почтен всеми минутой сочувственного молчания, скорбные взгляды устремились в сторону Авербаха и Фадеева. Неожиданно поднялся Сталин — с бокалом в руке или без оного, — подозвал к себе обоих.

— Нэ ха-ра-шо, — сказал он отечески. — Оч-чэнь нэ харашо. Плахой мир лучше доброй ссоры. Протяните руки, памиритесь! Прашу!

Просил сам Сталин, не шуточка.

И Фадеев, доброжелательный, открытый, отнюдь не

злопамятный, шагнул к Авербаху, протянул руку. Авербах с минуту глядел исподлобья, потом медленно убрал руки за спину. Рука Фадеева висела в воздухе, а за широким застольем обмирали гости — великий вождь и учитель попадал в неловкое положение вместе с Фадеевым.

Но Сталин не был бы Сталиным, если б вовремя не предал того, кто потерпел поражение. Он сощурил желтые глаза:

— То-варищ Фадеев! У вас сав-всэм нэт характера. Вы безвольный чела-вэк, то-варищ Фадеев. У Авербаха есть характер. Он можэт пастаять за сэбя, вы — нэт!

И, наверное, был восторженно умиленный гул голосов, и можно представить, как пылали большие уши Фадеева, и, наверное, Авербах спесиво надувался сознанием своего превосходства.

Будто бы именно с того случая Фадеев стал круто подыматься над остальными писателями, его недоброжелатели сразу стушевались.

У Фадеева не было характера, у Авербаха он был... Авербаха вскоре арестовали, он бесследно исчез.

Это легенда. Правда? Вымысел? В какой мере?.. Я не знаю. Слышал ее не единожды из разных уст.

Когда у него началось несогласие с самим собой, в какое время? А оно было, непосильное несогласие, от него одна водка уже не помогала, к ней нужны были еще и приятели. И вовсе не обязательно застольные приятели должны петь величальную: мол, велик, неповторим, верим в тебя, верит народ!.. Нужен был общий язык, взаимное понимание и... взаимное восхищение. А это можно найти даже с теми, кто способен произносить всего лишь одну фразу в двух вариантах: «Ты меня уважаешь? Я тебя уважаю!»

Фадеев кидался в запой, пил с собратьями по перу, с высокопоставленными служащими, с истопниками, дворниками, случайными прохожими: «Ты меня любишь?! Ты меня уважаешь?!»

Юлий Искин пропускал рюмку только по праздникам, он никогда не делил с Фадеевым затяжные застолья. Юлий Маркович не находился в числе его приятелей. Он был другом Фадеева, верным и незаметным.

В Доме писателей на бывшей Поварской, в высоком, как колодец, зале, отделанном сумрачным дубом, шло

очередное общее московское собрание литераторов. Председательствовал сам Фадеев. Обличали безродных космополитов, называли имена, раскрывали скобки, вспоминали, что такой-то, имярек, лет двадцать тому назад непочтительно отзывался о Маяковском, такой-то нападал на Макаренку, такой-то гравил великомученика нашей литературы Николая Островского, кого даже враги называли «святым». И прокурорскими голосами читались выдержки из давным-давно забытых статей. Из зала неслись накаленные голоса:

— Позор!! Позор!!

От обличенных преступников требовали покаяния, тащили их на трибуну. Они, бледные, потные, помятые, прятали глаза, невнятно оправдывались.

— Позор!! Позор!! — Клич, вызывающий к мести.

На возвышении за монументальным зеленым столом величаво восседал президиум — неподкупный трибунал во главе с Фадеевым. У Фадеева было спокойное, суровое выражение лица.

Он взял себе заключительное слово. Спокойно, но жестко, без кликушеского надрыва подтвердил состав преступления: «Идеологическая диверсия... Духовное ренегатство... Скрытое предательство по отношению к родине...» И вновь повторял имена, глядя в зал, где среди безвинных людей прятались виновники. И зал дружно ревел Фадееву:

— Позор!! Позор!!

Дружно. Восторженно. Благодарно.

Я находился наверху, на дубовых хорах. Я издалека любовался Фадеевым, его мужественной осанкой, открытым лицом, твердым и неподкупно суровым в эту минуту. Я верил ему.

Среди тех, кому кричали «Позор!», был некий Семен Вейсах, критик, литературовед, старый друг Юлия Марковича Искина.

Все расходились, одни спешили к раздевалке, другие тянулись в ресторан, чтоб за рюмкой армянского «три звездочки» перекинуться парой слов о прошедшем собрании. А Семен Вейсах стоял у стены, прижимаясь спиной к дубовой панели — размягше тучный, лицо серое, изрытое, свинцовое. На этом тяжелом корявом лице сам собою подмигивал глаз, каждому, кто проходил мимо, знакомым и незнакомым.

Вейсах стоял у самых дверей на выходе, и Юлий

Маркович медлил в сторонке, мучительно решал про себя: пройти ли мимо, подчеркнуто не замечая друга Семена, или задержаться, приободрить: не все, мол, потеряно...

Юлий Маркович не кричал «Позор! Позор!». Он сидел в зале, слушал и... боялся. Хотя, казалось бы, чего?.. Не участвовал в оппозициях, не имел связей с заграницей, не примыкал к Серапионовым братьям, как некоторые, даже в критических статьях особенно не нагрешил — хвалил Маяковского, поругивал Есенина, всегда решительно поддерживал Фадеева. Но те, кто сейчас сидит по правую и левую руку от Фадеева, не очень-то хотят считаться с фактами. Они не стихами и драмами завоевали себе славу, а расправой. Им нужны жертвы...

Саша Фадеев отлично знает Юльку Искина. Однако он знал и Семена Вейсаха.

Вейсах, оплывшие грузный, постаревший, стоит у выхода, со свинцового лица сам собой подмигивает глаз. Мимо него торопливо проходят и только потом запоздало оглядываются через плечо.

Юлий Маркович, склонив голову, решительной походочкой прошел мимо, боковым зрением уловил, как глаз друга Семена без участия хозяина подмигнул... Бессмысленный глаз, ничего не замечающий.

Чувство острой неловкости удалось потушить сразу же, еще не доходя до гардероба, на лестнице...

Семен Вейсах тоже ведь бывший рабкор. И, конечно же, рабкоровское, непримиримое в нем живо до сей поры: мир жестоко делится на своих и чужих, середины нет и быть не должно, любая половинчатость предосудительна, если не преступна. Раз твой друг попал в чужие, обязан ли ты ради дружбы, хоть на пядь, отойти от своих, хоть на секунду стать отщепенцем? Семен Вейсах поступил бы точно так же. Надо только выкинуть из головы изрытое, отяжелевшее лицо, мысленно зажмуриться и забыть сам собой подмигивающий глаз.

А в ресторане Дома писателей среди столиков бродил поэт Михаил Светлов. То тут, то там возникал его ломано-колючий профиль безунывного местечкового Мефистофеля. Михаил Светлов, пока шло собрание, обличали и каялись, кричали «Позор», не терял времени зря, он уже нетвердо стоял на ногах, морщился ослабленно беззащитной и в то же время едкой улыбоч-

кой. А по углам Дома литераторов из уст в уста уже передавалась только что оброненная им острота:

— Я, право, понимаю русских — почему не любят евреев, но не могу понять — почему они любят негров?

Передавали да оглядывались, за такую вольность могли и прихватить.

В детстве над моей кроватью одно время висел плакат — три человека, объятые красным знаменем, шагают плечо в плечо. Негр, китаец и европеец, черный, желтый и белый — три братские расы планеты, знаменующие собой Третий Интернационал. Едва ли не с младенчества любил я негров за то, что черны, за то, что обижены. «Хижину дяди Тома» я прочитал в числе самых первых книг, но ей-ей сердобольная миссис Бичер-Стоу уже ничего не добавила к моему всепланетному любвеобилию.

Михаила Светлова теперь нет в живых, шапочно был с ним знаком, редко виделись... Ах, Михаил Аркадьевич, Михаил Аркадьевич! А ведь мы вместе любили негров. Вы раньше, я вслед за вами. Разве «Гренада» не гимн этой любви?

Он хату покинул,
Пошел воевать,
Чтоб землю в Гренаде
Крестьянам отдать.

Любили далеких негров и испанцев, пренебрегали соседом, а чаще кипуче его ненавидели.

Жена встретила Юлия Марковича в дверях, на мгновение замерла с широко распахнутыми глазами, словно всосала взгляд мужа в провальные зрачки, успокоилась и ничего не спросила.

— А у нас гостя.

Раиса, дочь тети Клаши. Давно уже шли разговоры, что она приедет в Москву погостить.

Сама тетя Клаша была плоскогруда, мослоковата, в угловатости костистого перекошенного тела, в каждой спеченной морщинке на лице чувствовался многолетний безжалостный труд, состаривший, но не убивший выносливую бабу.

Раиса же оказалась угнетающе не похожа на мать: белокожая, грубо крашенная — с расчетом «на знойность» — брюнетка. У нее каменно тупые скулы и мелкие глаза с липкими ресницами, пухлый рот жирным

сердечком и вызывающе горделивое выражение буфетчицы: «Вас много, а я одна».

Дина Лазаревна, должно быть, сердилась на себя за то, что гостя не нравится, потому была преувеличенно сердечна:

— Еще чашечку, Раечка?.. Вы варенья не пробовали.

— Нет уж, извиняюсь. И так много вам благодарна. — И отодвигала чашку белой крупной рукой с чинно оттопыренным мизинцем.

А в посадке присмирившей за столом Дашеньки, в округлившихся глазах таилась недоуменная детская неприязнь, быть может, ревность. Дашенька и тетя Клаша до беспамятства любили друг друга.

Клавдия Митрохина — тетя Клаша — выросла в деревне под названием — надо же! — Веселый Кавказ. Этот Веселый Кавказ стоял среди плоских, уныло распаханых полей, открытый ветрам. Здесь даже собаки ленились лаять, а девки и парни до войны ходили на игрища в село Бахвалово за семь верст.

А в войну Веселый Кавказ совсем опустел, какие были мужики, всех забрали, мужа Клавдии одним из первых. Он написал с формирования два письма: «Живем в городе Слободском в землянках, скоро пошлют на фронт», и... ни похоронной, как другим — «пал смертью храбрых», — ни весточки о ранении, ничего — пропал.

В деревне же начался голод, из сенной трухи пекли колобашки, даже старую сбрую, оставшуюся с одиночных времен, сварили и съели. Райке исполнилось семнадцать лет, кожа синяя и прозрачная, глаза большие, сонливые, с тусклым маслицем, шея и руки тоненькие, а живот большой и тугой. Невеста.

Надо было спасти Райку.

Из Веселого Кавказа сбежать нельзя. Без отпускных справок, без паспорта при первой же проверке схватят на дороге. Вся страна в патрулях, под строгим надзором. Есть только одна стежка на сторону — в лес. Туда не только пропускают, туда гонят. Каждую зиму колхоз выставлял сезонников на лесозаготовки — людей и лошадей.

В лесу давали хлеб. И не так уж и мало — семьсот пятьдесят граммов на сутки, ежели выполнил норму. Но даже мужики не выдерживали там подолгу — с луч-

ковой пилой на морозе, по пояс в снегу, от темна до темна, изо дня в день — каторга.

У Райки означился рисковый характер:

— Пойду, мамка. Что уж, здесь помирать, а там еще посмотрим...

А смотреть-то нечего — костью жидка, одежонка худая, на первой же неделе свалится.

Но поди знай, где наскочишь на счастье. Повезло Райке, что с голодухи ветром ее шатало, куда такой на лесоповал, пусть подкормится — сунули в столовку при лесопункте посуду мыть. Думали, на время, а Райка оказалась не из тех, кто свое упускает.

И стали приходить от нее редкие письма:

Здравствуйте,

родимая маменька Клавдия Васильевна!

Низко кланяется вам ваша дочь Рая. Мое сердце без тебя, словно ива без ручья. Так что спешу сообщить: живу хорошо, чего и вам желаю. Нынче чай всегда с сахаром и даже с печеньем «Привет». Зовет меня к себе жить Иван Пятович Рычков. Он у нас прораб по вывозке, но уже два месяца заместо начальника. Начальник наш Певунов Авдей Алексеевич стал шибко кашлять, увезли в больницу, должно, скоро умрет от кашля этого и от старости. У Ивана Пятовича в леспромхозовском поселке свой дом, и жена тоже есть, но стара. А дети совсем большие, одного даже убило на фронте. Такие, как Иван Пятович, нынче на дороге не валяются. И меня тогда сразу переведут из раздатчиц вторым поваром, а может, и вовсе экспедитором сделают, потому что почерк хороший и считаю в уме быстро.

Покуда, до свидания. Ваша дочь — Рая.

Жду ответа, как соловей лета.

До лесопункта проселками от Веселого Кавказа каких-нибудь километров шестьдесят, но письма шли кружным путем неделями. И на каждом письме стоял лиловый штамп: «Проверено военной цензурой».

Райка пила чай с сахаром и печеньем «Привет», а Клавдия давно уже не пробовала чистого хлеба.

Весной начали опухать ноги.

В конце мая перед троицыным днем она почувствовала себя лучше, потому что бригадирша Фроська схитрила — списала остатки семенного фонда, выдала вмес-

то аванса. Клавдия напекла овсяных колобашек пополам с сушеной крапивкой, захлопнула поплотней дверь избы и отправилась к Райке. Родимая доченька, прими мамку, от смерти бежит!

А Райка уже не та — платье новое в лиловых цветочках чуть не лопается на грудях. Мать перед ней — ноги черные, на плечах полукафтанье — заплаты выкроены из старых мешков, — холщовая сума через плечо. У Райки под бровями, в сумраке раскосых глаз, что-то мечется, словно мышь в кувшине, — нет, не мать к ней пришла, а то старое, от чего сбежала, Веселый Кавказ нежданно-негаданно нагринул, проклятая родина.

Холщовую суму Райка набила до отказа: кирпич хлеба, две банки мясных консервов, сахару полкило, большая пачка настоящего чая, четыре брикетика пшеничного концентрата, даже пачечку печенья «Привет» в цветной обертке сунула. Для подарка слишком много, для жизни мало — не растянешь до свежей картошки.

Дочь проводила Клавдию до того места, где от корявой, искалеченной лесовозными машинами дороги отходил в сторону Веселого Кавказа мягкий, травянистый проселок. И тут Райка впервые обняла мать, прижала к себе, заголосила раскаянно:

— Маменька родима-а-я! На погибель тебя отправля-а-ю! Не увидимся боле-е!..

Она шла лесами и полями, минуя тихие, оцепеневшие от голода деревни, ночуя то в заброшенной сторожке, то в прошлогоднем стожке сена. И гучное лето стояло вокруг. Радостно зелены были поля, сияюще зелены перелески, листва хранила еще весеннюю праздничность. И садилась отдыхать у родничков, жевала городской хлебец со сладкой поджаристой корочкой, запивала его из берестяных черпачков студеной, травянисто пахучей водицей и радовалась не зная чему. В такую счастливую минуту она набрела на счастливое решение. Пока шагала до дому, все толком обдумала.

В сельповской лавке села Бахвалова на полках с самого начала войны стояли пожелтевшие коробки с порошком «дуст» да деревянные клещи — заготовки для хомутов. Но продавщица Кутепова Мария в глубоких тайничках всегда держала бутылочку «московской», спасенную от продажи по спецталонам. Клавдия предложила Машке Кутеповой обмен — две банки мясных консервов за пол-литра под сургучом.

Председатель сельсовета Афонька Кривой ради советской державы готов был отдать жизнь, и не одну—много, но за бутылку «московской» он бы не пожалел и самой державы. Афонька Кривой написал Клавдии справку с чернильным штампом и круглой печатью.

Она доехала до Москвы и стала просить милостыню возле Курского вокзала, выбирая тех, у кого подобрей лица. Она протянула руку к офицеру:

— Христа ради, на пропитание.

Офицер был невысок, шинель нескладно сидела на его узких плечах — рыжие бровки, нос клювиком, мягкие чистенькие морщинки.

— Откуда ты, бабушка?

Разговорились. Клавдия чистосердечно поведала, как бежала из Веселого Кавказа.

Юлий Маркович тогда только что демобилизовался. Всю войну он без особых тягостей прослужил во фронтовой газете, часто наезжал в Москву. Шинель с погонами майора он донашивал последние дни, несколько книжных издательств нуждались в его сотрудничестве, жена тоже работала, росла дочь, и ее не с кем было оставлять дома.

«Бабушка» оказалась старше его всего на три года. Поразили ее глаза — ненастно серые, ни боли в них, ни надежды, одно лишь бездонное терпение, глаза русской деревни, перевалившей через самую страшную в истории человечества войну.

Одиссея, начавшаяся в Веселом Кавказе, окончилась на Большой Бронной.

У порога нашего института, заполняя скверик, сиял бронзовый вечер. За сквериком, стороной, рыча, громыхая, давясь гудками, шелестя шинами, суетно и дерганно, равнодушно и напористо катился мимо город — нескончаемый поток необузданных машин и неприметно тихих прохожих.

Он был одним из этих тихих прохожих. В тщательно вычищенном пиджачке с протертыми до белизны локтями, в тусклом галстучке, в умеренно отглаженных, со следами выведенных пятен брючках, с бледной немочью горожанина на узком лице, которую, впрочем, можно принять и за невыстраданную грусть.

Случайный человек оказался возле нас, нескольких бездельников, глубокомысленно наслаждающихся лас-

ковым вечером. Тут не было ничего необычного, институт карманного размера, готовящий стране писателей, вызывал у многих острое любопытство и... недоумение:

— Чему вас тут учат?

Мы гордились своей исключительностью и отвечали с величавой неохотой:

— Тратить стипендию.

Нам платили самую маленькую стипендию, какая существовала в институтах. Студенты технических вузов получали втрое больше нас. Нам ничего не оставалось, как презирать сребролюбие.

На этот раз прохожий, завернувший к нам с панели, не спросил, а сам стал нам объяснять — чему нас учат.

— Это ловко кто-то придумал спрятать молодых писателей под одну крышку, под одну шапку, — заговорил он, разглядывая нас корыстными глазами барышника. — Да здравствует единомыслие! «Весь советский народ как один человек!»

И мы изволили обратить на него внимание: узкое лицо, хрящеватый нос, язвительная улыбочка на бледных губах и подрагивающее острое коленко, и худая, как коршунья лапа, рука вкогтилась в пиджачный лацкан.

Кто-то из нас удостоил его ленивым ответом:

— Учение — свет, неучение — тьма, дядя. Неужели не слышал?

— Добронравная ложь, молодые люди. Не всякое учение свет. — Он глядел на нас с оскорбляющей прямизной и улыбался, похоже, сочувственно.

— Хотите сказать, что нас тут губят во цвете лет?

— О вас проявляют отеческую заботу. Думай, как все, шагай по струнке: «Шаг вправо, шаг влево рассматривается как побег».

— И куда же мы ушагаем, по-вашему?

— Уже пришли... В гущу классовой борьбы, классовой непримиримости, классовой ненависти. Вас учат ненавидеть, молодые люди.

— Классово ненавидеть, не забывай, дядя.

— А что такое классово?

Мы переглянулись. С таким же успехом нас можно было спросить, что такое красное или желтое, соленое или сладкое. Столь наглядно очевидное — не было нужды задумываться.

— Маркса надо читать, дядя.

— Маркс, молодые люди, в наше время попал бы в крайне затруднительное положение. Он делил мир просто — на имущих и неимущих, эксплуататоров и эксплуатируемых, ненавидь одних, защищай других! А ведь сейчас-то эти имущие эксплуататоры — фабриканты там или лавочники со своими частными лавочками — фюить! Ликвидированы как класс. Так кого же классово ненавидеть, кого любить?

— Частные лавочки исчезли, дядя, а лавочники-то в душе остались. Они глядят не по-нашему, думают не по-нашему.

— Думай, как я, гляди, как я, — единственный признак для определения классовости? А что, если кто-то думает глубже меня, видит дальше меня? Или же такого быть не может?

— Не передергивай, дядя. Можешь думать не так, как я лично думаю, но изволь думать по-нашему.

Незнакомец глядел на нас с сочувствием столь откровенным, что оно казалось бесстыдным.

— По-нашему?.. А кто мы? Мы-то ведь тоже разные, среди нас могут быть профессора, могут быть и дворники... Согласитесь, профессору не так уж трудно понять ход мыслей дворника, а дворнику же профессора — не всегда-то под силу...

— Что ты этим хочешь сказать?

— А то, что не по-дворнички думающий профессор чаще станет вызывать подозрение — не классовый ли он враг.

Мы снова переглянулись.

— И еще хочу напомнить, — продолжал незнакомец, — что дворников в стране куда больше, чем профессоров, молодые люди.

— «Восстань, пророк, и виждь и внемли!» Кто ты, пророк?

Тонкие губы незнакомца презрительно скривились.

— Увы!.. Я всего-навсего прохожий, который переходит улицу в положенном месте. Но когда нет рядом милиционера... хочется перебежать. Надеюсь, вы не из милиции, молодые люди?

— Не бойся, дядя. Мы лишь члены профсоюза.

— Очень рад. Тогда разрешите...

Он церемонно отбил нам поклон, показав вытертую

макушку в жидких гусклых волосиках, и, вцепившись когтистыми пальцами в лацкан пиджака, подрагивающей походкой гордо удалился через сквер.

А город за сквериком лился мимо нас, рыча, покрикивая недоброжелательными гудками — необузданно шумные машины и тихие прохожие, переходящие улицы в положенном месте. И нас обступают молчаливые дома, тесно, этаж над этажом набитые все теми же прохожими, вернувшимися с разных улиц. Как приятно знать, что кругом тебя единомышленники. «Весь советский народ как один человек!» И как тревожно и неуютно, когда вдруг обнаруживаешь — есть отступники, не похожие на тебя! Нарушена великая семейственность, оскорблено святое чувство всеобъемлющего братства.

Тощий человек с узким лицом, с хрящеватым носом, пророк в потертом пиджачишке, неизвестно откуда появившийся, неизвестно куда исчезнувший. Не пригрелся ли он?..

Мы молчали и слушали шум вечернего города.

Из института вышел Вася Малов, необмятая шляпа на твердых ушах, защитный плащик поверх табачного костюма, кроткая усталость на лице и потасканный портфельчик под мышкой. Он остановился, потянул носом воздух, насыщенный запахом увядшей зелени и бензинового перегара, выдохнул:

— Вечерок... Да-а.

И в эту короткую минуту, пока Вася Малов с тихой миной, в расслабленном умилении стоял рядом со мной, я против воли вдруг испытал вину — сделал что-то нехорошее, нашалил, боюсь быть уличенным. Странно...

Я ведь не перебежал дорогу в недозволенном месте.

Всего-навсего я видел, как это сделал другой.

Отчего же неловкость? Почему вина?

Все молчали и слушали город.

— Вечерок... Да-а. Счастливо оставаться, ребята. До завтра.

Вася Малов ступил на землю, бережно пронес на твердых ушах свою необмятую шляпу через сквер на бульвар — личный вклад в общий поток. «Весь советский народ как один человек...»

Оказалось, Раиса приехала не просто погостить. В последнее время она работала в леспромхозовском орсе, там случились крупные неприятности, на Раису пы-

тались повесить чужую растрату. И с Иван Пятычем пора было кончать. Он собирался разводиться с законной женой, а какой расчет связывать свою жизнь со стариком, когда молодые вернулись. Раиса намеревалась пустить корни в Москве.

Все это сообщила Юлию Марковичу тетя Клаша, ворча на дочь и вздыхая: «Не ндравится лисоньке малинку есть, на мясное, вишь ли, потягивает». Клавдия дочь не особо одобряла, но... помоги, Юлий Маркович.

Стихи и романы русских классиков, революционные лозунги, культура и политика, собственная совесть и государство — все изо дня в день, из года в год требовало от Юлия Марковича преклонения перед народом. Перед теми, кто пашет и стоит у станков, лишен образованности, но зато сохранил первозданную цельность, не философствует лукаво, не рефлексировать, не сентиментальничает, то есть не имеет тех неприглядных грехов, в каких погрязла интеллигенция. К интеллигенции как-то само собою ложатся непочтительные эпитеты, вплоть до уничтожающего — «растленная». Но чудовищно даже представить, чтоб кто-то осмелился произнести: «Растленный народ». Такого не бывает.

В последнее время слово «народ» получило новый заряд святости в сочетании со словом «русский». Украинский народ, казахский народ, узбекский, равно как народ манси, народ орочи, — звучит, но не так. Сказано Сталиным, вошло во все прописи, узаконено: русский народ «наиболее выдающийся... руководящий народ». Народ из народов, не чета другим!

Тетя Клаша, баба из деревни Веселый Кавказ, — чистейший образец этого руководящего народа, честна, проста, не испорчена сомнением — золотая песчинка высокой пробы. И, конечно же, она по простоте своей неиспорченной души не подозревала о собственном величии.

— Деревня-то наша из самых что ни на есть никудышных. Нас-то кругом «черкесами» звали, обидней прозвища не было. Эвон, мол, «черкес» едет. А едет-то он, сердешный, на разбитой телеге, и лошадь-то у него на ходу валится, и обрать-то — веревочка, и сам-то «черкес» лыком подбит...

Юлий Маркович считал своим долгом открыть ей на все глаза:

— Вот уж, Клавдия, оглянутся наши дети и внуки на таких, как ты, никудышных, памятники вам поставят.

— Чем же сподобились?

— Не малым. Мир спасли.

— Ишь ты, прежде-то один спаситель был — Христос, посла-то, выходит, многонько спасителей будет.

— Ты слыхала о нашествии татар?

— Как же. И пословица есть: незваный гость хуже татарина.

— Так вот немцы почище татар. Франция им двери с поклоном открывала, Англия от страха обмирала, Америку хлипкий японец бил. Казалось, на всем свете нет силы, которая остановила бы новых татар. Остановили мы.

— Слава те господи.

— Не господу слава, а тебе, Клавдия. Таким, как ты, которые кору жрали, а хлебом кормили и фронт, и тыл, и нас, захребетников-интеллигентов. Выносливости твоей слава, простая русская баба. Спасибо, что сама выжила и миру жизнь вернула...

Открывая глаза Клавдии, Юлий Маркович испытывал возвышающее очищение. Он не ел лепешек из толченой коры, не мерз в окопах. Он не мог сказать сейчас русской бабе Клавдии: «Нас с тобой побратала жизнь». Побратать могла лишь предельная искренность: ставлю тебя по заслугам выше над собой, не сомневаюсь, что поймешь меня, не осудишь, ибо я сам уже себя осудил.

И еще тем усердней он возвеличивал Клавдию перед Клавдией, что в последнее время постоянно чувствовал к себе настороженность: «Ты не тот, кто способен оценить все русское». Ан нет! Если его дед носил пейсы, это не значит, что русское закрыто для него.

Клавдия олицетворяла русский народ, а вот родная дочь ее, тоже ведь прошедшая через чистилище Веселого Кавказа, наглядно русской почему-то не казалась. Раиса держалась обходительно: «Доброе утро вам... Извиняюсь... Много вам благодарна...» Но каменные ресницы, манерно оттопыренный палец, выправочка буфетчицы — как не похожа она на свою простую, родственно понятную мать!

Мать просит: «Помоги!» То есть приюти, оставь под своей крышей, введи в свою семью.

Как-то раз Юлий Маркович застал Раису за стран-

ным занятием — обмеряла веревочкой простенок в коридоре. Увидела Юлия Марковича, сунула веревочку в карман, похоже, смутилась, но только чуточку.

— Что это, Рая? — спросил он.

Она помедлила, глядя мимо, чопорно ответила:

— Сервант бы вам лучше сюда вынести, как раз встанет.

И ушла, ничего больше не объясняя, — голова в надменной посадочке: «Вас много, а я одна».

Старый сервант стоял в комнате Дины Лазаревны и Дашеньки. Зачем его выносить в тесный коридор? Юлий Маркович так ничего и не понял.

Ночью, перед сном, он вспомнил этот случай и рассказал жене. Дина Лазаревна долго молчала и вдруг тихо призналась:

— Я боюсь.

— Чего, Дина?

— Всего... И ты ведь тоже, не притворяйся... Юлик, хочу, чтоб она уехала.

Он помолчал и мягко возразил:

— Дина, вспомни Чехова.

— Что именно?

— Вспомни, как он говорил: надо, чтоб под дверью каждого счастливого человека стоял кто-нибудь с молоточком и напоминал стуком, что есть несчастные. Дина, до сих пор мы были непозволительно счастливы. Она ела толченую кору. Нам стучат, Дина, а мы не хотим слышать.

Из окна падал свет уличного фонаря, освещал корешки книг и внушительный медный барометр, подарок одного морского капитана Юлию Марковичу. В эту осень барометр неизменно показывал «ясно». Над Москвой стояло затяжное бабье лето.

Со стены нашего общежития отсыревшим голосом кричал репродуктор:

— Новое снижение цен на продукты массового потребления!.. Рост экономического благосостояния!.. Расцветание!..

На моей тумбочке лежит письмо матери. Мать пишет из села:

«Картошки нынче накопала всего три мешка. Да мне одной много ли надо — проживу. Меня шибко выручает Маруська Бетехтина, она торгует сейчас в дежурке. Не имей сто рублей, а имей сто друзей. Карточ-

ки-то отменили, а хлеб у нас все равно по спискам продают. Для районного начальства по особым спискам даже белый хлебец отпускается. Через Маруську-то и мне его перепадает. А вот сахару у нас нет ни для кого, даже для начальства...»

Надо матери послать килограмма два сахара. Такие расходы мой тощий карман как-нибудь выдержит.

— Очередное снижение!.. Рост благосостояния!.. Расцвет жизни!..

В Москве сахар не проблема. В бывшем Елисейском на площади Пушкина прилавки ломятся от разных продуктов: колбасы всех сортов, окорока, художественно разрисованные торты, монолиты сливочного масла... Но из Москвы я не смогу отправить сахар матери — продуктовые посылки в городе не принимают. Придется сесть на электричку, уехать куда-нибудь под Загорск, подальше от столицы, оттуда отправить ящик с двумя килограммами сахара в наше село, где хлеб распределяется по спискам и начальство пьет несладкий чай.

Радио bravурно наигрывает и хвалится:

— Снижение!.. Рост!.. Расцветание!..

Я подсчитал: от такого снижения в месяц сэкономлю... два рубля. Обед в столовой стоит худо-бедно пять рублей. «Снижение!.. Расцветание!..»

Эмка Мандель сидит на своей койке, чешет за пазухой, сопит, смотрит в одну точку и неожиданно рожает четверостишие:

— А страна моя родная
Вот уже который год
Расцветает, расцветает
И никак не расцветет.

Радио восторженно играет, мы смеемся.

— Талант — штука опасная! — вдруг изрекает из угла некто Тихий Гришка.

Ему уже за тридцать, среди нас он считается стариком, всегда молчалив, всегда обособлен, в своем углу, как крот в норе. Но если он раскрывает рот, то почти всегда выдает закругленную истину — банальность и откровение одновременно.

Эмка отбивает мяч:

— Старик! Ты в полной безопасности!

Должно быть, Раиса родилась под счастливой звездой. Все получилось неожиданно легко и быстро. Без

помех отыскался старый знакомый Семена Вейсаха, который когда-то помог прописать Клавдию. Он по-прежнему работал в горисполкоме, занимал еще более высокое место, слышал о беде Семена, сочувствовал ему, готов был исполнить просьбу Юлия Марковича. Телефонного звонка в отделение милиции было достаточно, чтобы на периферийный паспорт Раисы поставили штамп: «Прописана временно». С Юлия же Марковича взяли лишь расписку, заверенную жилуправлением, что не возражает прописать на свою площадь гражданку Митрохину Раису Дмитриевну.

Операция проводилась с помощью имени Семена Вейсаха, а потому его пригласили на чашку чая. Юлий Маркович никак не мог забыть свинцового лица друга Семена, его самостийно подмигивающего глаза.

В пятнадцать лет Вейсах воевал у Котовского. Легендарный комбриг, как говорят, ласково называл его: «Образцово-показательный жид у меня». Вейсах специализировался на военной литературе, участвовал в свое время в разных объединениях — ВАППе, ЛЕФе, ЛОКАФе, из писателей больше всего чтит своего старшего друга Матэ Залку, в свое время рвался вместе с ним в Испанию, но что-то помешало — не уехал, еще недавно он носил на пухлых широких плечах полковничьи погоны. Сейчас у Семена на висках проступила нездоровая маслянистая желтизна, крупная нижняя губа отвалилась, как у деревенской заезженной лошади, во влажных глазах неизбывная печаль детей Авраамовых. Он пил чай, грустненько, в осторожных выражениях сообщал: «Воениздат» передал сборник очерков о партизанах другому составителю, договор на его книгу о Петре Вершигоре расторгнут...

Клавдия подсовывала Семену бутерброды с колбасой, вздыхала, а Раиса разглядывала его внимательным взглядом, словно оценивала про себя надетый на Семена пиджак. И Семен, должно, чувствовал этот взгляд, горбился, блуждал печальными глазами по сторонам.

— Юлик... — негромко произнес Семен после мучительного молчания, — Ася недавно продала свою шубу... И вот мы опять... без копейки.

— Да ради бога, Сима!..

Дина Лазаревна сорвалась с места, исчезла в соседней комнате, через полминуты вернулась с деньгами. Семен меланхолично их принял, опустил в карман и

встретился взглядом с Раисой, веко его дернулось и глаз вызывающе подмигнул. Раиса равнодушно отвернулась, а Семен сразу заторопился:

— Мне пора... Уже поздно.

Юлий Маркович проводил его до дверей. В шляпе, в плаще, неповоротливо громоздкий Семен взял ватной рукой за локоть, дыхнул в лицо запахом только что съеденной колбасы.

— Юлька... — почти беззвучно шевельнул он отвалившейся лошадиной губой, — берегись!.. — И качнул в сторону комнаты подбородком, где вместе со всеми за чайным столом сидела Раиса, произнес вслух, извиняясь: — Я теперь стал ясновидящим.

Он боком вывалился на лестничную площадку, оставив после себя тревожное предчувствие беды.

Беда вошла в дом через щель почтового ящика в служебном конверте со штампом вместо марки. Ничего особого — бумажка из парткома, Юлия Марковича просили явиться в назначенное время.

Секретаря парткома Юлий Маркович близко не знал, платил ему членские взносы и раскланивался в коридорах Дома литераторов. Ширпотребовский мятый костюмчик, обкатанная голова, простоватое лицо — когда-то что-то написал и напечатал, в свое время с должными усилиями прошел в члены Союза, не переживал головокружительного литературного успеха, ordinarily скромно. Заурядность выдвигает людей чаще, чем дерзкая энергия и яркий талант. Заурядные никого не пугают. На тайных голосованиях эти люди получают подавляющее большинство голосов.

Секретарь парткома долго рылся в ящике письменного стола, и лицо его, кроме привычной озабоченности, выражало сейчас брюзгливенькое несчастье: «Вы тут черт-те что вытворяете, а я расхлебывай».

— Вот... — он вынул нужные бумаги, положил на них ладонь и взглянул на Юлия Марковича не начальственно, не строго, а скорей с досадою. — На вас поступила... М-м-м... Скажем так — жалоба.

— От кого?

Секретарь парткома пожал плечами, считая вопрос неуместным, продолжал:

— Надо признать — крайне глупая. Вот извольте, что стоит такое: «Кто это письмо прочтет, тот правду найдет...»

Тоскливенький холодок поплыл из глубины, от живота к горлу. Клавдия часто показывала Юлию Марковичу письма Раечки, он знал ее стиль: «Мое сердце без тебя, словно ива без ручья...»

— Вы, кажется, знаете, кто автор?

— Догадываюсь. Так что она там?..

— Она... гм... она пишет... «Член партии, писатель Искин Юлий Маркович принимает у себя дома подозрительных людей, которые ему жалуются на Советскую власть. Искин Ю. М. снабжает их деньгами на тайные цели. Он, Искин Ю. М., полный двурушник — в разговорах хвалит русскую нацию, а как на деле, то ненавидит. Простую русскую женщину, которую он у себя держит в прислугах, выпихнул на кухню, а сам живет в двух комнатах — одна шестнадцать квадратных метров, другая двадцать два...» — Секретарь, поморщившись, отодвинул письмо: — Вот, чем богаты, тем и рады.

«Сервант бы вам лучше сюда вынести...» До того, как он, Юлий Маркович, помог прописаться, она уже обмеривала веревочкой его жилплощадь.

— Вы хотите, чтоб я оправдывался? — спросил Юлий Маркович.

— А что делать? Мы обязаны внюхиваться, вы — очищаться.

— Письмо без подписи?

— Да, анонимка.

— Даже при царе Алексее Михайловиче не принимали анонимок. Каждый, кто кричал «Слово и дело!», должен был называть себя.

— При царе Горохе, может, и так, а я вот не могу выбросить этот букетик. Вписано в книгу, пронумеровано — документ!

— Тогда разрешите на него официально вам заявить: я не принимал у себя антисоветски настроенных людей, не вел с ними подрывные разговоры, не снабжал их деньгами на тайные цели... Вас это устроит?

— Вполне. Напишите объяснение, что у вас никто не бывал... кто бы вас мог как-то скомпрометировать.

Секретарь ждал краткого и решительного — никто. Но Юлий Маркович не мог так ответить. Соврать ради простоты столь же опасно, как выбросить в мусорную корзину анонимку.

— У меня бывал Вейсах... Семен Вейсах... Мы с ним двадцать пять лет знакомы.

Секретарь парткома тоскливо отвел глаза, и лицо его сразу же стало брюзгливо несчастным.

— Не хочу допрашивать вас, о чем вы там с ним говорили, но надеюсь... надеюсь — вы хотя бы не давали ему денег.

— Давал... Он сейчас без копейки.

В громадной, отделанной черным дубом комнате с величественным камином, где в углу сиротливо (за неимением другого места) ютился стол секретаря парткома, наступила тишина.

— Худо, Юлий Маркович, худо... — произнес наконец секретарь. — Я не хотел это выносить на обсуждение комитета... Не могу.

Это «не могу» были последние дружелюбные слова — взгляд стал скользить куда-то мимо уха Юлия Марковича, лицо обрело деловую сухость.

Позднее Юлий Маркович вспоминал об этом человеке только с обидой. Как быстро в нем иссякло сочувствие! Как легко он согласился на «не могу»! Как мало в нем было человеческого!

Но что бы ты сделал на его месте?

Выбросил письмо-анонимку в мусорную корзину, зная наперед, что при первой же проверке документации обнаружилось бы — исчезла бесследно бумага под входящим номером таким-то?

Или отмахнулся от факта, что такой-то имярек принимал человека, обличенного в нелояльности, ссужал ему деньги?

Но ты, конечно, постарался хотя бы посочувствовать — не глядел бы мимо, не корчил бы постную рожу.

Отказать в помощи и посочувствовать — экая добродетель! Куда честней откровенно признаться: не могу по справедливости, могу только по-казенному. Бесчувственное лицо, взгляд мимо.

Но иногда же нужно и через не могу. Во имя человечности будь подвижником!

Напрашивается вопрос: каждый ли на это способен?

Честно спроси себя: способен ли ты?

Ну, а если даже способен, то новый вопрос, уже совсем крамольный: так ли спасительно благородное подвижничество?

На минуту представим себе нечто невозможное: например, все сытые в голодном тридцать третьем году стали вдруг подвижниками, решили в ущерб себе делиться с голодающими последним куском хлеба. Не-

возможно, но представим — все сытые подвижники! И что же, спасет их подвижничество страну от голода? Увы! Причина голода не в том, что кто-то чрезмерно обжирается. Нужны какие-то иные меры, не подвижничество, иная деятельность, не столь героическая и красивая.

Джордано Бруно подвижнически взошел на костер. Но прежде он открыл некие секреты мироздания, создал новые теории. Сначала создал, а уж потом имел мужество не отказаться от созданного.

А вот Галилей таким мужеством не обладал или же не считал нужным его проявлять. Он отрекся от своих теорий, его подвижничество подмочено. Но благородное человечество все-таки чаще обращается к имени Галилея, чем к Джордано Бруно. Просто потому, что Галилей больше создал для науки.

До сих пор люди еще не желают понять, что мужество без созидания — бессмыслица!

Изменить жизнь подвижничеством, делать ставку на некие героические акты. Нет! На такое можно решиться не от хорошей жизни. Да и не от большого ума.

Не мной первым сказано: «Несчастлива та страна, которая нуждается в героях».

Только Дашенька легла спать. В стенах, тесно обложенных книгами, собралось все население квартиры — Дина Лазаревна с цветущим красными пятнами лицом, Клавдия, приткнувшаяся на краешке дивана, и Раиса, плотно опустившаяся на предложенный стул.

Она подрагивает крашеными ресницами, глядит в сторону — губы обиженно поджаты, скулы каменны. Юлий Маркович возвышается над ней. Он старается изо всех сил, чтоб голос звучал спокойно и холодно.

— Раиса Дмитриевна! Прошу ответить!..

Суд при всех, суд на глазах ее матери. Он не продлится долго. Юлий Маркович вынесет приговор и протянет руку к двери: «Убирайтесь вон! Вам здесь не место!»

Подрагивающие угольные ресницы, обиженно поджатые губы, упрямая твердость в широких скулах. Она начнет сейчас оскорбляться: «Ничего не знаю, напрасно вы...» Не поможет! Рука в сторону двери: «Вон!» Неколебимо.

Но Раиса, метнув пасмурный из-под ресниц взгляд, порозовев скулами, проговорила с вызывающей сипотцой:

— Ну, сделала...

Юлий Маркович растерянно молчал.

— Потому что должна же правду найти.

— Правду?

— Образованные, а недогадливые. Вы вона как широко устроились — втроем в двух комнатах с кухней, а нам у порожка местечко из милости — живите да себя помните. А помнить-то себя вы должны, потому что люди-то вы какие... Не забываетесь! — Упрямая убежденность и скрытая угроза в сипловатом голосе.

— Какие люди, Раиса Дмитриевна?

— Да уж не такие, как мы. Сами, поди, знаете. Разрослись по нашей земле цветики-василечки, колосу места нету.

Прямой взгляд из-под крашенных ресниц, прямой и неломкий, с тлеющей искрой. И Юлию Марковичу стало не по себе. Эта женщина ничем не может гордиться: ни умом, ни талантом, ни красотой, только одним — на своей земле живу! Единственное, что есть за душой, — попробуй отнять.

Юлий Маркович обернулся к Клавдии и увидел в ее глазах и в ее печальной вязи морщинок мягкую укоризну: «Ты что, милушко, дивишься? Ты же сам мне все время только то и втолковывал, что вы-де, русские, в Веселом Кавказе рожденные, не чета нам всем, миром кланяться нам должны...»

Светлые, бесхитростные глаза, никак не схожие с глазами дочери, заполненные угрюмой, обжигающей неприязнью, глаза любящие и всепрощающие, ласковые и преданные... Тем страшней приговор, что вынесен с любовью.

Он стоял и тупо смотрел на Клавдию, смотрел и не шевелился. И вдруг вскинула руки Дина Лазаревна, вцепилась в волосы, рухнула на диван. Между стенами, забитыми книгами, заметался ее kloкочущий горловой голос:

— Господи! Господи! Куда спрятаться? Ку-уд-да?!

Раньше Юлия Марковича встрепелулась Клавдия:

— Динушқа! Да ты что, родная?.. Да успокойсь, успокойсь! Христос с тобой!

Раиса сидела величавым памятником посреди комнаты, только крашенные ресницы подрагивали на розовом лице. Юлий Маркович пришел в себя:

— Уходи-те! Все уходите!.. Раиса Дмитриевна, ради бога!.. И ты, Клавдия, тоже!..

Нет, он не говорил «вон!». Не требовал, а просил: «Ради бога!»

Раиса не шевелилась.

Секретарь парткома произнес свое «не могу» и передал вопрос на обсуждение комитета.

Казалось бы, ну и что?

Один ум хорошо, два лучше. Если уж секретарь парткома, никак не Сократ, своим умом дошел — нечистоплотная ложь, то, наверное, двадцать пять членов парткома это поймут скорей.

Один ум, два ума, три... Простое сложение редко дает верный результат в жизни. Опасность таилась именно в численности комитетского поголовья — двадцать пять членов! Среди них наверняка окажется хотя бы один, который носит испепеляющее желание проявить себя любыми способами, не считаясь ни с кем и ни с чем. Хотя бы один... Но скорей всего таких будет больше.

По всей стране идет облава на космополитов. Тому, кто желает проявить себя любыми путями, как упустить удобную жертву, как не крикнуть: «Ату его!»

Несколько человек — скажем, пятеро — прокричат кровожадно охотничье «ату», а два десятка их не подержат. Два десятка против пяти — явное большинство, это ли не гарантия, что Юлий Искин вне опасности.

Увы, легион не всегда сильнее кучки.

Идет облава по стране, радио и газеты подогревают охотничий азарт. Легко крикнуть: «Ату!», почти невозможно: «Побойтесь бога!» Безопасно гнать дичь, опасно ее спасать.

Если даже один — только один! — начнет травить Искина, остальные будут молчать. «Ату его!» может раздаться над любым.

Положение еще обострялось и тем, что Юлию Искину не могли вынести **легкого** наказания. Или встреча с Вейсахом и деньги, ему данные, — просто дружеское участие, помощь человеку, попавшему в затруднительное положение, что в общем-то непердосудительно и уж никак не наказуемо. Или же эта встреча — некий акт групповых действий, а деньги — не что иное, как практическая помощь при тайном заговоре. В этом случае партком обязан прекратить обсуждение и пе-

редать Искина вместе с его тяжелой виной уже в руки...
госбезопасности. Или — или, середины нет.

Что называется, пахло жареным.

Он никогда ни о чем не просил своего старого друга
Фадеева, ни разу не прибегал к его высокой помощи.
Но или — или, тут уж не до щепетильности.

Он позвонил Фадееву на дом...

Еще не выслушав всего до конца, Фадеев взорвался
на том конце провода:

— Да что они, с ума сошли! Идиоты! Перестрахов-
щики! Бдительность подменять мнительностью... — Тут
же с ходу он нашел решение: — Иди прямо в райком!
А я туда немедленно позвоню.

Это, право же, был простой и верный ход. Глава
советских писателей Александр Фадеев не мог вмеша-
ться в работу партийного комитета: «Прекратите,
мол, дурить!» В райкоме же партии непременно при-
слушаются к слову известного писателя, члена ЦК.
Партком полностью подчинен райкому. «Прекратите
дурить!» И прекратят. И забудут.

Юлий Маркович в Краснопресненском райкоме был
незамедлительно принят одним из секретарей, женщи-
ной средних лет в темно-синем костюме и белой коф-
точке, с моложавым миловидным лицом, с чистым го-
лубым взором.

Странно, но под этим голубым взором Юлий Мар-
кович сразу почти физически ощутил, что у него се-
митский изгиб носа, рыжина неславянского оттенка,
врожденная скорбность в складках губ, характерная
для разбросанного по планете мессианского пле-
мени.

— Вы давно знаете Вейсаха? — участливый воп-
рос.

— Лет двадцать пять, если не больше.

— И в последнее время тоже были близко знакомы?

— Боле-мене.

— Вы не замечали в его поведении ничего предо-
судительного?

— Ничего. — Мог ли он ответить иначе.

— Вы были на собрании, когда обсуждали Вейсаха?

— Был.

— Почему же вы тогда не протестовали?

Голубой взор и участливый голос. Юлий Маркович

ощущал признаки семитства на своей физиономии. Секретарь райкома глядела на него, он молчал.

— Вашего старого друга осуждали. И вы знали, что он ни в чем не повинен. Так почему же вы не встали и открыто не заявили об этом?

Голубые глаза, прилежно завитые светлые волосы, в миловидном лице терпеливая, почти материнская требовательность: почему?

На собрании тогда кричали: «Позор! Позор!» И он сидел в самом углу, тихо сидел... И после собрания он не осмелился подойти к другу Семену... Оплывшая фигура, свинцовая физиономия, сам собой подмигивающий глаз.

Юлий Маркович ответил сколовшимся голосом:

— Я... Я, наверное, не обладаю достаточным мужеством...

Сокрушенная гримаска в ответ.

И он понял: летит вниз, надо сию же минуту за что-то ухватиться. Он заговорил с раздраженной обидой:

— Послушайте, почему вы не вспоминаете о письме? Без этого письма никто и не подумал бы меня подозревать! Освободите меня сначала от ложных обвинений, а уж потом накажите... за слепоту, за отсутствие бдительности, за трусость, наконец! Со строгостью!..

— Письмо?.. — удивилась она. — Ах да, да... — И брезгливо передернула плечиками: — Эта анонимка... Товарищ Искин! Не считаете ли вы, что мы идем на поводу анонимщиков?.. Лично я исхожу сейчас только из фактов, которые вы мне изложили.

Нужно ли вспоминать о прогоревшей спичке, когда уже вспыхнул пожар. Юлий Маркович сидел, уронив голову.

Секретарь райкома встала, ласково протянула ему руку:

— Мы попросим, чтоб товарищи разобрались в вашем деле со всей беспристрастностью.

Он был уже у дверей, когда она его окликнула:

— Товарищ Искин! А между прочим, Александр Александрович Фадеев на том собрании выступал против этого... Вейсаха. Да! И со всей решительностью.

Юлий Маркович в ту минуту был слишком оглушен неудачей, не осознал трагической значительности этой фразы.

Для секретаря райкома с миловидным лицом и голубым взором открылось странное...

Фадеев ходатайствует о защите некоего Искина.

Этот Искин — старый друг осужденного писательской общественностью Вейсаха.

И не только друг... Искин сам признался: не выступил в защиту Вейсаха потому лишь, что не обладал достаточным мужеством. Не только друг, но и единомышленник.

Фадеев вместе со всеми осуждал Вейсаха. Больше того, он возглавлял это осуждение.

И Фадеев защищает единомышленника Вейсаха!

Странно и многозначительно.

Голубоокая секретарь райкома не могла взять на себя ответственность — уличить, осудить, наказать! Слишком гигантская фигура Александр Фадеев, чтоб схватить его белой ручкой за воротник — не дотянешься. И секретарь райкома сделала то, что и следовало в таких случаях делать, — передала на рассмотрение в более высокую инстанцию, в горком партии.

Но и в Московском горкоме не нашлось охотников хватать Фадеева за воротник. Передали дальше, в ЦК.

А в здании на Старой площади, в правом крыле, в отделе культуры — заминочка. Уж кто-кто, а Фадеев-то хорошо известен Самому. Тащить вверх, к Самому?.. Дело-то не очень значительное, никак не срочное, подумаешь, Фадеев защищает какого-то Искина... Спрятать под сукно, забыть — тоже опасно. Литераторы народ скандальный, ревниво следят друг за другом, вдруг кто-нибудь из маститых заявит... Сталин шутить не любит.

И в кулуарах Дома литераторов потянуло сквознячком, зашелестело имя Фадеева. И кой-кто уже мысленно рисовал себе картину — Союз писателей без Фадеева во главе. А кто — вместо? А кто будет вместо того, кто — вместо? Возможна крупная перестроечка... Слухи, слухи, остороженькая возня.

А в «Литературной газете» — статья о связи с народом, перечислялись еще раз ранее разоблаченные безродные космополиты, среди них Семен Вейсах... И целый абзац посвящен Юлию Искину — тоже оторвавшийся, тоже безродный.

Каждому ясно: Искин — ничтожная фигура. Бьют Искина, а попадают-то по...

Он — безродный.

Если вдуматься, что за странное обвинение. Каждый человек где-то родился, каждый может указать место на карте: «Я появился на свет здесь!» И при этом нелепо испытывать стыд или гордость, считать — удачно родился или неудачно. Можно рассуждать о том, чем и как отличаются Холмогоры от Симбирска: меньше по населению — больше, дальше от коммуникаций — ближе к ним, культурней — некультурней, но никак нельзя оценить эти два географических пункта в плане родины — мол, предпочтительней в Симбирске, чем в Холмогорах, одно лучше, другое хуже. И уж совсем нелепо оценивать человека по месту рождения: мол, имеет достойную родину, а потому и сам достоин уважения, и наоборот.

Он, Юлий Маркович Искин, — безродный!..

Да нет же! Он родился в самом центре России — в Москве! Так уж случилось, тут нет его личной заслуги. Он всю жизнь провел в этом городе, помнит Охотный ряд с бабами-пирожницами, сидящими на морозе на горшках с углями, помнит и Красную площадь без Мавзолея, и Садовое кольцо, когда оно действительно было садовым.

И все-таки безродный!

Но почему бы тогда не называть безродным великого Сталина? Право же, родился в Грузии, с юности живет в России, чаще говорит по-русски, чем по-грузински, а не столь давно на весь мир заявил: русская нация «является наиболее выдающейся нацией из всех наций, входящих в состав Советского Союза», русский народ — «руководящий народ». Выходит, предпочел чужую нацию своей, чужой народ своему кровному — космополитический акт, безродный по духу.

И Сталина славят за эту безродность.

А Юлия Искина клянут: не имеешь права считать своей родиной Москву, всю Россию!

Неудачно родился, не там, где следует.

А где?..

Если можно отнять жизнь, отнять свободу, то почему нельзя отнять у человека родину?..

Быть может, впервые в жизни Юлий Маркович бунтовал про себя, тихо, тайком, закрывшись один в кабинете, боясь поделиться своим бунтарством даже с женой.

В самом начале тридцатых годов мимо него прошла

коллективизация — не бунтовал, даже восхищался: «Революция сверху!»

В тридцать седьмом уже не восхищался. «Господи! Киршона арестовали!..» Но смиренно жил, добропорядочно думал, не доходил в мыслях до бунта.

Тихий, тихий бунт в одиночку, когда сам себе становишься страшен.

Раздался телефонный звонок. Юлий Маркович почувствовал, как на ладонях выступил пот, бунтующие мысли легкой стаей, все до единой, выпорхнули вон из головы, осторожно снял трубку.

— Я вас слушаю.

Тишина, слышно только чье-то тяжелое дыхание.

— Я вас слушаю.

И сдавленный кашель, и слезавшийся голос:

— Это я... Выйди на улицу. Сейчас. Очень нужно.

Щелчок, короткие гудки — трубку повесили.

Юлия Марковича вдруг без перехода опалила злоба: это он! И он еще смеет звонить! Ему еще нужны тайные свидания под покровом темноты! Ему мало, что из-за него он, Юлий Искин, попал в петлю! Оставь хоть сейчас-то в покое! Нет!.. «Выйди, очень нужно».

И тем не менее Юлий Маркович, кипя внутри, поднялся из-за стола, пошел к вешалке.

В кухне друг против друга сидели Клавдия и Раиса, на столе перед ними стоял чайник, лежал батон белого хлеба. Пьют чай, о чем-то беседуют. Им тепло, им уютно — чай с сахаром, белый хлеб с маслом. Беседуют... О чем?

В зеркале у вешалки отразилось его лицо, зеленое, перекошенное, с беспокойными неискренними глазами. Страдая, что его видят из кухни, натянул пальто, надел шапку...

Большая Бронная, задворки Тверского бульвара, была тускло освещена и пустынна. За смутными нагромождениями домов слышался приглушенный шум моторов, переключки машин. На празднично освещенной площади Пушкина, на улице Горького все еще бурлила вечерняя жизнь столицы.

Метнувшейся тенью пересекла вымершую мостовую кошка...

Он появился неожиданно, словно родился из каменной стены: облаченный в просторный плащ, с головой,

втянутой в широкие плечи, походка ощупью, словно шагает по скользкому льду.

Юлий Маркович запустил поглубже руки в карманы, вскинул повыше голову, расправил грудь, приготовился встретить: «Ты заразен! Не хочу играть с тобой в конспираторы!»

Вейсах приблизился — свистящее астматическое дыхание, навешенный лоб, отвалившаяся лошадиная губа. Юлий Маркович не успел открыть рот.

— Ты!.. — свистящий в лицо шепот. — Ты негодяй!.. Знаешь, в каком я положении, и треплешь всюду мое имя! Обо мне снова вспомнили, за меня снова взялись!

И у Юлия Марковича потемнело в глазах:

— Я?! Я — негодяй?! А ты? Ты — прокаженный! Ты бы должен тихо сидеть!.. Лез за сочувствием!.. По твоей милости...

— Я — никого, ни одного имени, а ты?.. Ты сразу на блюдечке...

— Кто — кого на блюдечке или в завернутом виде!

— Не смей!

— Смею.

— Ты провокатор!

— Ты подсадная утка!

На обочине пустынной улицы, друг против друга, охваченные общим ужасом, бессильной ненавистью.

В стороне послышался торопливый стук каблучков по асфальту. Они сразу замолчали. Прошла женщина, стихли в глубине улицы ее шаги. Они продолжали неловко молчать.

Наконец первым, дрогнув губой, со всхлипом произнес Семен:

— За мной, кажется, скоро придут.

— Теперь неизвестно, за кем раньше.

— Юлик, извини... Я просто не нахожу себе места.

— Нам не надо делать новых глупостей, Семен.

— Да, да, не надо... Я пошел.

— До свидания, Сеня.

Только и всего. Ненависть выгнала их навстречу друг другу, обоюдная жалость вновь их разъединила.

Время от времени Фадеев отказывался нести бремя власти.

Ибо кто, кроме царя, может считать себя несчастным от потери царства? — сказал некогда Блез Паскаль, подразумевая, что, помимо высокого несчастья,

царь не избавлен и от обычных человеческих несчастий, может, как все, страдать от несварения желудка и камней в почках, как все, горевать об утрате близких. Так сказать, царь более несчастное существо, чем его подданный. А еще проще — высокопоставленному живется труднее.

И в самые трудные моменты, когда события перепутывались в тугой узел, когда высокие обязанности начинали противоречить совести, когда черное нужно было принимать за белое, а белое за черное, Александр Фадеев делал вдруг — должно быть, неожиданный сам для себя — нырок... на дно. Исчезал из predeterminedной ему жизни.

Его ждал загруженный день. С утра он хотел усадить себя за стол. Он все еще жил насадной надеждой, что наткнется на что-то такое, откроет сокровенное, удивит мир силой своего таланта. Он сыт был слабой, нужно самопризнание.

К двенадцати дня он должен быть в Правлении Союза. В час он принимал у себя известного латиноамериканского писателя. В три — совещание секретариата: отчет комиссии по литературам братских республик, обсуждение кандидатур, выдвинутых на Сталинскую премию, вопрос о возобновлении издания очеркового альманаха, основанного еще Горьким, прекратившего с войной свое существование. В шесть часов он должен быть в ЦК, в Отделе культуры — звонили вчера вечером, договорились о встрече: «Нужно утрясти один вопросик». В ЦК его вызывали часто, этому звонку он не придавал особого значения.

Как всегда, усевшись за стол, он принялся ворошить газеты. В «Литературке» сразу же наткнулся на статью, где целым абзацем разоблачался Юлий Искин...

Сразу стало ясно, почему в последние дни он часто перехватывал испытующие взгляды, почему при его приближении наступало молчание... И вчерашний звонок из ЦК: «Утрясти вопросик...» — наигранно небрежным голосом...

Не впервой, с некоторым опозданием он открывал для себя притаившееся, тесно сплоченное недоброжелательство тех, кто всегда преданно смотрит ему в рот. И каждый раз это вызывало не возмущение, не гнев, а тягостную безнадежность.

Что, собственно, стоит его шумный успех? Что стоят

неумеренные восторги по роману «Молодая гвардия» — скоропалительной библии послевоенных лет! — который он написал по заказу, против своего желания, вначале стыдился, потом уверовал: если принимает народ, то в самом деле, должно быть, хорошо. И что стоят его выступления на многочисленных собраниях, когда он говорит не то, что чувствует, а то, что от него ждут. Он поступает не так, как считает нужным, — приспосабливается. Не хозяин положения, не хозяин себе, и все, что он делает, завтра будет погребено под новым наслоением столь же незначительных дел. Он временщик и творит временное.

И, как всегда, от мутной безнадежности потянуло куда-то, к кому-то, нет, не к тем, кто способен помочь — этого никто не может, — способен понять.

И он заторопился, заранее страдая от того, что могут окликнуть, задержать, что на лестнице, возможно, встретятся знакомые, придется здороваться, говорить о пустяках и прятать, прятать голодное выражение лица.

Дощатые забегаловки и пивные ларьки, где продавали водку в розлив, открывались поздно, и алчущие сбивались к гастрономическим магазинам. Рыхлые, с темными воспаленными физиономиями, с ухватками службистов — деловитые завсегдатаи-алкаши; не завсегдатаи — просто желающие «поправиться», болезненно зябнущие после вчерашнего перепою; свихнувшиеся папаши хороших семейств, прячущие в поднятые воротники пальто истомленно-брезгливые лица; рабочие, еще не ставшие подонками; подонки, еще не свалившиеся под свой последний забор, — разнообразен состав тех, кто не может начать день грядущий без ста пятидесяти граммов. Среди них бывали люди, которыми гордится Россия.

Навстречу Фадееву сразу же качнулся мужчина в расхлябанном без пуговиц полупальто, с физиономией, состоящей из мешочков, складочек и ржавой щетины.

— Башашкиным будешь?

Башашкин — недавно вошедший в известность футболист, третий номер в защите. И член ЦК, глава советских писателей Александр Фадеев согласился стать «Башашкиным». Раньше Фадеева к ржавомордому прикинул парень-рабочий с волевой челюстью и виновато увиливающими от прямого взгляда зрачками, начина-

ющий алкоголик, еще сохранивший пока способность стыдиться самого себя.

Через пять минут они сидели на скамейке в истоптанном скверике, истово делили водку из зеленой поллитровки в граненый стакан, заблаговременно припасенный ржавомордым. Стакан был один, пили по очереди:

— Будьте здоровы!

От всего сердца, почти влюбленно.

Фадеев сразу же послал за второй бутылкой. И, опрокинув по второй, он заговорил, что жизнь становится «сквозно бессовестной». Говорил Фадеев с фадеевской искренней силой, которая пьянила самых трезвых, искусственных делала сентиментальными. Два случайных алкоголика — старый и молодой — слушали его, не понимали, но верили каждому звуку. Молодой не выдержал и воскликнул:

— Мать честна! Живешь среди свиней да вдруг наскочишь — какие люди бывают на свете!

Этого полупьяного признания было достаточно, — Фадеев поднялся и потребовал:

— Пошли!

Они продолжали в грязном, дымном ресторане Павелецкого вокзала. Там свалился старый алкаш и вместо него подхвачен какой-то командировочный. И уже кончились возвышенные речи, были только излияния:

— Ты меня любишь? Ты меня уважаешь?

Его любили и уважали здесь не за то, что знаменитый писатель, высокопоставленное лицо, просто так — «за натуру».

А в Правлении Союза легкий переполох: латиноамериканца должен принимать кто-то другой. И обзванивали членов секретариата: «Александр Александрович болен. Александр Александрович сегодня не может присутствовать. И завтра навряд ли...»

У Павелецкого вокзала они взяли такси и поехали за город, в Переделкино.

— Ты меня любишь? Ты меня уважаешь?

Латиноамериканский писатель счел своим долгом вежливо осведомиться: какая болезнь свалила господина Фадеева? Ему любезно и скупно ответили: «Сердечная недостаточность». Совещание секретариата решили не откладывать. Жизнь продолжала течь по своему руслу.

А Фадеев выбросился из этой мутной реки на счастливый остров:

— Ты меня любишь? Ты меня уважаешь?

Так могло тянуться несколько дней, недель, целый месяц — в сплошном угаре любви и уважения.

Рано или поздно угар проходит, надо снова окунаться в мутный поток неоскудевающей жизни, обессиленно отдаваться течению.

И телефонный звонок из Отдела культуры ЦК партии уже сторожил его:

— Александр Александрович, тут нужно бы уяснить нам с вами... Не выберете ли время?..

В высшем органе партии сидят вовсе не враждебные Фадееву люди. Фадеева дискредитирует сейчас малое — странное заступничество за Искина. Всем известно, что Искин друг и единомышленник Вейсаха, Вейсах осужден самим Фадеевым, так в чем же дело?..

— Александр Александрович, вы должны отмежеваться... и решительно!

А если он этого не захочет?!

Снова беги и выбрасывайся на счастливый берег?

Все равно рано или поздно приплывешь к тому же месту, откуда выбрасывался. Ты человек государственный, сам себе не принадлежишь.

Под дубовыми сводами тесного зала вновь собрались литераторы Москвы, прославленные и безвестные, пережившие самих себя и еще совсем незрелая мелкота, вроде нас, студентов литинститута, сумевших просочиться в этот высокий ареопаг.

Фадеев сидел на председательском месте, во главе президиума, расправив широкие плечи, с высоко поднятой головой — величественный без спесивости, суровый без насупленности — вождь, не утративший демократической простоты. Мягкая седина, обрамлявшая красивый лоб, оттенялась строгим мраком парадного костюма, застенчиво искрилась блеском лауреатской медали на лацкане.

А собрание шло, как всегда, — возбужденно до неистовости. Выступающие потрясали кулаками над трибуной, а из зала неслись вопли: «Позор! Позор!!»

И по обычаю требовали — на трибуну! На лобное место! Чтобы лицезреть! Чтоб наслаждаться! Юлий Искин, сутулящийся под тяжестью головы, с несолидным

носом ястребенка, еще не созревшего до хищника, мертвенно-бледный, вызвал у зала брезгливую жалость и чувство победности.

— Позор! Позор!!

Со всей благородной неистовостью.

Мой отец неукротимо верил в лозунг «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!». Всех стран, всех наций! И над моей кроватью когда-то висел плакат — негр, китаец и европеец под красным знаменем. И в моей школьной хрестоматии была тогда помещена «Гренада», поэма Михаила Светлова, который сейчас находится где-то здесь рядом, в ресторане, а может, даже и в самом зале.

Он хату покинул,
Пошел воевать,
Чтоб землю в Гренаде
Крестьянам отдать.

В наших северных лесах как-то не водились евреи, мне чаще приходилось о них слышать, а не видеть, как о неграх, как о китайских кули, как и об испанцах... Я любил далеких евреев наряду с неграми. Позднее я столкнулся с ними и немного разочаровался — слишком уж обычные, не лучше меня, не несчастнее.

Что такое космополитизм?

И что такое интернационализм?

Как бы ответил на эти вопросы мой отец?

Отца нет — погиб на фронте, спросить не могу.

— По-зор! По-зор!!

Я не кричал вместе со всеми. Что-то меня останавливало.

Зал притих, когда Фадеев двинулся к трибуне. Что скажет? Как объяснит свою попытку спасти растленного космополита Искина?

Фадеев разложил на трибуне бумаги, нацепил очки и стал профессорски строг.

— Товарищи!..

Зал притих, зал внимал.

— Идеологическая диверсия... Люди без роду без племени — готовый материал для диверсантов... Учиться бдительности... Никто не гарантирован от благодушествования... Должен открыто сознаться... Искин! Один из первых комсомольцев, рабкор, вспоенный и

вскормленный... Где и когда ты, Юлий Искин, продал родину?..

Зал аплодировал, зал воодушевленно вопил:

— Позор! Позор!!

На Тверском бульваре стояли синие сумерки, еще не зажглись фонари. Под ногами шуршал палый лист и пахло почему-то мякинной пресностью давно сжатых полей. Бабье лето так затянулось, оно так устойчиво прекрасно, что становится даже не по себе — уж не перед страшным ли судом людям отпущена эта благодать в таком излишке?

Все ребята разбрелись кто куда. Те, у кого были хоть какие-то деньги, остались в ярко освещенном, шумном ресторане Дома литераторов. У кого в Москве были знакомые, укатили в гости. В нашем студенческом подвале сейчас пусто, пованивает плесенью и лежалым бельем, как в каптерке ротного старшины.

Парочки по-весеннему целуются на скамейках. Я выбрал скамейку, свободную от парочек, и уселся. Шаркая подошвами по палым листьям, двигались бесконечные прохожие. Вспыхнули фонари — матовые луны по ранжиру среди голых ветвей.

Рядом со мной опустилс человек в кепке с длинным твердым козырьком, с узким лицом и ломко хрящеватым носом. И я сразу узнал его — тот самый пророк прохожий, который рассуждал с нами о классовой ненависти. Я обрадовался: худо быть одному в населенном бульваре, где целуются парочки.

— Вы не помните меня?

Он не спеша с достоинством повернул в мою сторону свой угловатый нос под твердым, агрессивно выпирающим козырьком, сказал:

— Так ли уж важно — помню ли я, помните вы. Вам хочется услышать человеческий голос, мне — тоже. Поговорим.

— Хороший вечер, господин непомнящий.

— Вам хочется что-то спросить меня. Не стесняйтесь.

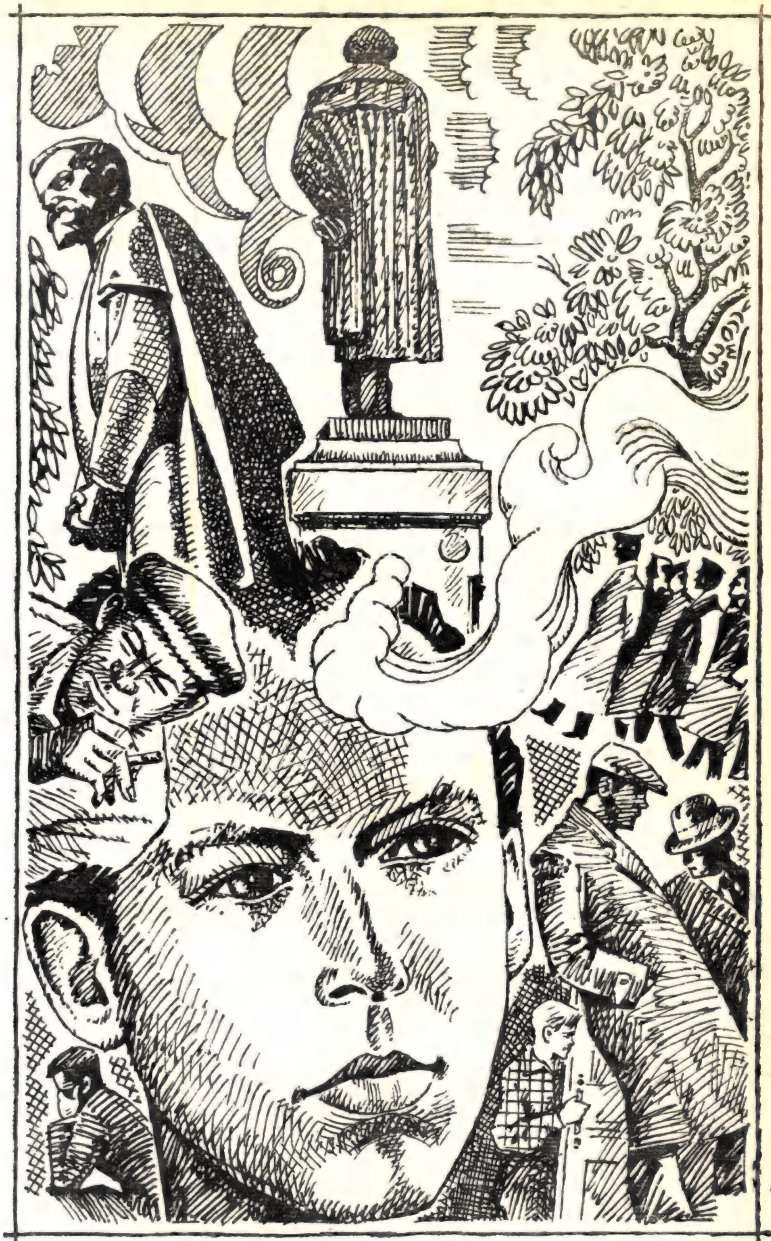
И я спросил:

— Скажите, чем отличается интернационализм от космополитизма?

Он ответил почти любезно:

— Должно быть, тем же, чем голова от башки.

— Почему же тогда космополитизм осуждается?



— Действительно — почему? Белинский называл себя космополитом, и Маркс... Люди, пользующиеся у нас уважением.

— Ну, а сионисты, эта организация... Они не выдуманы, они на самом деле есть?

— Если были немецкие националисты, если есть русские, то почему бы не быть еврейским?

— Как-то вы всех в одну кучу.

— Несхожи?

— Нет.

— Комнатная болонка тоже не похожа на дога, но суть-то у них одна — собачья.

— Одна суть у немецких фашистов и у сионистов?

— И у наших русопятов тоже. Не выгораживайте. Все одной собачьей породы, только возможности разные. Если б сионисты были столь же крупны и зубасты, как германские нацисты, наверняка стали бы так же опасны для мира.

— Мы крупны... Мы, наверное, и зубасты... — произнес я, чувствуя, как подымается во мне враждебность к этому бесцеремонному человеку.

— То-то и оно, — не моргнув глазом, согласился незнакомец. — Известный ученый Лоренц как-то сказал: «Я счастлив, что принадлежу к нации, слишком маленькой для того, чтобы совершать большие глупости». Он был голландцем, ну а мы с вами — русские. Нас двести миллионов.

— Вы стыдитесь, что вы русский? — спросил я.

Он сидел, распрямившись, тощий, со взведенными хрупкими плечиками, — узкое лицо, скривленный нос, остро врезающийся в густую тень под козырьком, надежно укрытые глаза.

— Нет, — сказал он наконец. — Но боюсь... Боюсь, как бы не пришлось стыдиться. — Помолчал, ощупывая меня из мрака настороженным под козырьком взглядом, добавил: — Молодой человек, разве вы не видите, что на это есть основания.

Почувяв в доме беду, заплакала в соседней комнате Дашенька. Дина Лазаревна оставила Юлия Марковича одного.

В кухне, как всегда по вечерам, сидели Клавдия с Раисой друг против друга за чайником, за початым ба-тоном.

Тихо...

Стряслось непонятное. Сорок семь лет прожил на свете Юлий Маркович, мимо него прошли тысячи людей, знаменитых и безвестных, талантливых и заурядных. Самым ярким из этих тысяч, самым достойным был Саша Фадеев. Сколько раз глядел на него со стороны и удивлялся: умен, талантлив, открыт душой, даже внешность его какая-то триумфальная, в ней — мужество, в ней — сила, в ней — простота, бывают же такие! Юлий Маркович как одним из самых больших достижений своей жизни гордился, что в числе первых разглядел Фадеева. И этот лучший из людей сегодня на глазах всех, без жалости, не терзаясь совестью... И ложь, ложь, грубая, наглая, бесстыдная! «Вспоенный, вскормленный, продал родину!..» Лучший из людей! Противоестественно! Безобразное чудо! Не хочется жить.

Зазвонил на столе телефон. Опять Вейсах?.. Ах, все равно, все равно! Он не станет ругаться с Семеном. И встречаться с ним тоже не станет. Зачем?..

— Я слушаю.

— Юлий... Выйди, пожалуйста... К памятнику Пушкину.

Щелчок. Трубку положили. Набегающие друг на друга гудки.

Не Вейсах, другой голос. И Юлий Маркович запоздало узнал — перехватило дыхание.

Голос Фадеева звал его.

Шли мимо прохожие. И один из прохожих в потасканном пальтишке, в кепке с длинным козырьком сидел передо мной.

Я переспросил его:

— Как бы не пришлось стыдиться?.. Чего?

— Того же, чего стыдится сейчас любой честный немец: газовых камер, рвов, набитых расстрелянными детьми, мыла, сваренного из человеческих трупов.

— Гитлер же со своей сволочью повинен, не нация. Отделяйте одно от другого, — сердито сказал я.

— Гитлеры-то, молодой человек, появляются не по божьей воле, их творит нация.

— Виновата нация, что Гитлер?..

— Да.

— Вся немецкая нация, весь немецкий народ?

— «Немцы — высшая раса!» И немцев от этого не

стошнило, нравилось! Если вырастает вождь-убийца, значит, есть и питательная среда.

— Вы против народа?

— Народ свят и безгрешен? Ой нет, народ — всякое! Выплескивает из себя и светлое и мутное.

Шли мимо нас занятые собой прохожие.

Я глухо потребовал:

— Ну, дальше.

— Разве не все сказано?

— А разве только ради немцев вы вспомнили мертвого Гитлера?

Под твердым козырьком, словно зыбкая луна в омуте, поблескивал глубоко упрятанный глаз. Незнакомец приподнял вверх свою костлявую руку, словно держал в ней хрупкий бокал, заговорил с грузинским акцентом.

— «Я подымаю тост за здоровье русского народа не только потому, что он — руководящий народ, но и потому, что у него имеется ясный ум, стойкий характер и... терпение». Не правда ли, подкупающая лесть: «И терпение...»

— Передергиваете, господин хороший, — возмутился я. — Разве свою нацию хвалит этот человек?

— Национализм не проявление родословных симпатий, молодой человек, а политика. И не забывайте, что Гитлер совсем не походил на классического арийца — белокурую бестию. Выкресты были наиболее злобными антисемитами. Почему бы грузину не стать великоросским шовинистом, когда это выгодно.

— Чем ему выгодно? Чем?!

— Твоя нация превыше всего, твой терпеливый народ — руководящий, ты принадлежишь к этому народу, значит, и ты высок, наделен правом руководить другими, даже если не имеешь на это ни ума, ни таланта. Доступная арифметика и многообещающая.

— Она выгодна Сталину?

— Она выгодна недоумкам, у которых нет ничего за душой. Она выгодна всем обиженным и обойденным, озлобленным неудачникам. Неудачники, молодой человек, великая сила. Им терять нечего, они готовы на любой риск, чтоб вырвать себе благополучие. Какой политик отказывался от силы?.. — Незнакомец сделал паузу и с улыбочкой добавил: — Тем более что лозунг времен революции «Бей буржуев! Грабь награбленное!» сейчас стал не безопасен. «Бей жидов, спасай Россию» — надежней.

Я поднялся. Передо мной сидел гоший человек с костлявым лицом и немощными руками.

Шли мимо нас равнодушные прохожие.

Он сидел и бледненько улыбался. С этой невнятной улыбочкой он оплевал сейчас все — мою родину, ее великого руководителя, революционные лозунги, за которые воевал и погиб мой отец. Я прошел сквозь жестокие испытания. Я видел, как во время коллективизации выселяли мужицкие семьи — баб, детишек, стариков. Видел, как в пристанционном березнячке умирали от голода такие высланные, я помню, как по ночам исчезали соседи по дому... Видел и страдал, и недоумевал, но я выдержал, не треснул — верен родине, верен отцовским лозунгам! А этот тип рассчитывает — расколоть меня словом!

Бледненько улыбался пожилой человек на скамейке. Шли мимо прохожие.

— Уходи! — сказал я ему.

Я боялся, что он не послушается, не двинется с места, будет глядеть и улыбаться своей бледной, презрительной улыбочкой. И тогда мне придется его бить. Его, старого, жалкого, с шеей, похожей на петушиную лапу. Я возвышался над ним во всем величии своих двадцати пяти лет, чувствуя тяжесть разведенных плеч, налитость опущенных рук. Эх, если б не так стар и тощ был противник моего отечества!

— Ты слышишь?.. Проваливай!

Он понял и покорно встал, долговязый, в обвисшем пальто, под твердым козырьком зыбкий блеск упрятанных глаз. Он отвернулся, шагнул и остановился, задрал твердый козырек к фонарю.

— С кем?.. Кто?.. Кто живой?.. Пустыня! — сквозь стиснутые зубы скулящим стоном.

Я стоял праведным монументом.

Он толкнул себя с места, сутуля узкую спину, волоча ноги, двинулся прочь.

Шли прохожие.

Жив ли ты? Судьба отомстила мне за тебя, незнакомец. Время заставило меня поумнеть. Теперь я сам пытаюсь сказать то, о чем, мне кажется, другие не догадываются. Пытаюсь... И часто — ох, как часто! — меня не понимают даже самые близкие. И хочется скулить на фонари: «С кем?.. Кто живой?.. Пустыня вокруг!»

Прости меня.

Шли прохожие. Одни — от меня, в глубь вечернего города. Другие — навстречу, чтобы миновать меня и тоже исчезнуть в городской суетливой пучине. Возникают и исчезают, возникают и исчезают — прохожие, не замечающие моего существования.

Внезапно я вздрогнул: на меня двигалась пара...

Высокий человек в белом пыльнике, натянутом поверх темного костюма, как халат хирурга, в пролетарской кепочке на голове. А рядом с ним, парадно рослым, — невысокий, со скособоченными плечиками, из-под шляпы торчит гнутый, не вызревший до хищности нос.

Я не верил своим глазам, на меня рука об руку шли Фадеев и этот... Искин. Судья и преступник — вместе. Праведность и порок — плечо в плечо, в мирной беседе, среди гуляющей публики.

Они прошли мимо меня, совсем рядом. Мимо меня, увлеченные друг другом. До чего же странен мир!..

Сильная рука бережно держала Юлия Марковича за локоть. Знакомо ощущение этой дружеской руки. Лет двадцать тому назад они вот так же бродили ночами по московским бульварам, говорили о мировой революции, о жертвенности во имя ее. И цокали тогда по булыжнику подковы извозчичьих лошадей, и тенорами кричали лотошники, предлагая нехитрый товар: «Карамель из Парижа — «Нотр-Дам» для ваших дам! Леденчики — для младенчиков!»

Иные времена, иные речи, иной голос у Саши Фадеева, только рука на локте прежняя.

— Ты думаешь, Юлька, я шкуру свою хотел спасти, свой петушиный насест! Нет, не испугался бы встать перед всеми и сказать: очнитесь! Какой к черту космополит Юлька Искин! И ты ведь представляешь вопль все-ленский, представляешь ярость. Добро бы, против меня, но ведь и против тебя, Юлька. В первую очередь против тебя! Троекратная, десятикратная ярость! Вспыхнул бы ты на ней, как мотылек в пламени. Поэтому и не встал грудью, что бесполезно. Лишнее масло лить в огонь.

— Это же страшно, Саша! Неправда, выходит, непобедима.

— Неправда, Юлька?.. Мы, видно, плохо еще представляем, какой пожар мы запалили. Пожар, уничтожающий дикий лес, чтоб вместо дикорастущих росли полезные злаки. В сжигающем нас огне, Юлька, — глупинная правда!

— Но почему нам гореть вместе с дикорастущими? Мы же этот пожар подпаливали. Он, выходит, уже не наш, неуправляем?

— А ты считаешь, что пожар должен служить нам и только нам? Да какое основание тебе, мне, кому-либо другому считать эту полыхающую революцию своей собственностью? Мол, пусть обжигает другого, а меня минует. Пусть Есенина, Маяковского, пусть Бабеля, горы они ярким пламенем, только не я.

— Революция выжигает своих!

— А вот в этом, Юлька, можно посомневаться.

— Саша, ты считаешь: я враг революции?

— Нет. Но и Есенин, и Бабель врагами революции не были, а были ли они ей своими? Сомнительно.

— Саша! Это бесчеловечно!

— А к нам, Юлька, наверное, человеческие мерки неприменимы.

— Как так?!

— Мы не люди, Юлька, мы солдаты, по трупам которых идут к победе. Люди будут жить после нас.

— После меня, Саша, будет жить моя дочь. Ей сейчас всего десять лет, но по ней уже шагают — дочь безродного космополита, сама безродная.

Фадеев не ответил.

Они дошли до памятника Тимирязеву, безобразного каменного столба, заканчивающего Тверской бульвар. Фадеев остановился, запустил кулаки в карманы пыльника — натянута на лоб кепчонка, сведенные челюсти.

— Юлька... — произнес он, — ты, наверное, думаешь, что я подлец, коль так легко говорю о жертвах... Сам в благополучии, в славе, в почете. Да, в славе, да, в почете! А все равно — жду, жду... огня под собой. Знаю: придет и мой черед. Даже чувствую — он близок.

— Я б хотел, Саша, чтоб с тобой такого не случилось, — сказал Юлий Маркович.

И снова Фадеев промолчал, сжимал в карманах кулаки и глядел вдаль через узкую площадь в смутные куши Гоголевского бульвара — сведенные челюсти, натянута кепчонка.

— Юлька... тебе, может, деньги понадобятся... Юлька, помни, я по-прежнему твой, несмотря ни на что.

— Спасибо, — обронил Юлий Маркович.

У Фадеева был неуверенный голос, и Юлий Маркович понял, что с этого вечера он свой Саше Фадееву только в темноте, только по ночам, при свете дня — они

чужие. Понимал это и все-таки был благодарен за сочувствие.

Мы собирались спать. На этот раз спор на сон грядущий что-то не разгорелся в нашем подвале. Затронули Редьярда Киплинга:

Пыль! Пыль! Пыль от шагающих сапог!
И отдыха нет на войне сол-да-ту!

Но большинство знало Киплинга только по детским изданиям «Маугли». Не хватало дров для большого огня.

Посапывал в своем углу Тихий Гришка, горел свет под потолком. Кто-то должен встать, пробежать босиком по цементному полу до двери и щелкнуть выключателем. Кто-то... Каждый из нас подвижнически выжидал, что это сделает его сосед.

Неожиданно раздался громкий, требовательный стук в дверь. Никто не успел подать голоса, дверь резко распахнулась, показалась дремучая борода нашего дворника. Дворник посторонился, и один за другим с бодрой, даже несколько заносчивой решительностью вошли незнакомые люди — трое похожих друг на друга, как братья, в синих плащах и новеньких серых фуражках, четвертый военный с погонами майора.

— Ваши документы! — чеканный голос над моей головой.

Под серой плотно надетой фуражкой настороженные глаза, лицо молодое и по-деревенски обычное, с крутыми салазками, с твердыми обветренными скулами.

— Ваши документы! — столь же чеканно, но уже не мне, а моему соседу.

Испытывая острую беспомощную неловкость — одетый перед одетым! — я с покорной поспешностью лезу из-под одеяла, тянусь к висящей на стуле одежде, суетливо в ней роюсь — нужен, наверное, паспорт, куда же я его сунул?

— Ваши документы... Ваши!.. — Возле других коек.

Мой скуластенький терпеливо ждет. Но столько, оказывается, карманов в моей одежке! Путаюсь, попадаю трижды в один и тот же карман, не могу разыскать паспорта.

Неожиданно настороженность под козырьком серой фуражки погасла, скуластый заинтересованно повернулся в сторону.

Возле койки Эмки Манделя двое — штатский и военный. Мелькает в воздухе белый лист бумаги:

— Вы арестованы!

Эмка без очков, подслеповато щурясь и лбом, и щеками, тычется мягким носом в подsunутую к его лицу бумагу.

— Оружие есть?

Эмка бормочет каким-то булькающим голосом:

— Что же это?.. За что?.. Товарищи...

— Оружие есть?

— За что?.. Что же это?.. То-ва-рищи!..

— Одевайтесь. Собирайте свои вещи!

Эмка покорно выползает наружу, путается в брюках, еще не успев их как следует надеть, начинает выгребать из-под койки грязное белье, неумело его сворачивает. То самое белье, которое он раз в году возил стирать в Киев к своей маме.

— Да что же это?.. Я, кажется, ничего...

На лицах гостей служебное бесстрастное терпение — учтите, мы ждем.

Эмка натягивает свою знаменитую шинель-пелеринку, нахлобучивает на голову буденовку. С потным, сведенным в подслеповатом сощуре лицом, всклокоченный, он застывает на секунду, озирается и вдруг убито объявляет:

— А я только теперь марксизм по-настоящему понимать начал...

Он действительно вот уже целый месяц таскал всюду «Капитал» вместе с томиком стихов Блока, кричал, что глава о стоимости написана гениальным поэтом.

От неуместного признания лица гостей чуточку твердеют, что должно означать: пора! Один из штатских вежливо трогает Эмку за суконное плечо:

— Идемте.

— Можно я прощусь?

— Пожалуйста.

Эмка начинает обнимать тех, кто лежит ближе к дверям:

— Владик, до свидания... Сашуня... Володя...

Обнял крепко меня, потно, влажно поцеловал в щеку.

Фонарь с улицы светил в окно, освещал корешки книг на полке и большой медный барометр. Потайной шелестящий шепот в темноте:

— Дина, в случае чего ты не береги книги, ты продавай их. На книги можно прожить, Дина. Ты слышишь меня?

— Слышу, Юлик.

— Дина, ты что?.. Ты плачешь, Дина... Не надо. Ведь ничего еще не случилось, может, ничего и не случится. Я просто на всякий случай. Дина, ты слышишь меня?

— Слышу, Юлик.

Свет фонаря падал с улицы, на стене поблескивал большой медный барометр, упрямо показывающий «ясно».

Звонкая пустота заполнила наш подвал, набитый койками. Лампочка под потолком, казалось, стала светить яростнее.

Я все еще ощущал на щеке влажный Эмкин поцелуй. Как два куска в горле застряли во мне два чувства: щемящая жалость к Эмке и замораживающая настороженность к нему. Нелепый, беспомощный, такого — в тюрьму: пропадет. А что если он лишь с виду прост и неуклюж?.. Что если это гениальный актер?.. Не с Иудой ли Искарриотом я только что нежно обнимался? Влажный поцелуй на щеке...

— А я что говорил! — подал голос проснувшийся в своем углу во время ареста Тихий Гришка. — Талант — она штука опасная!

Кто-то равнодушно, без злобы ему бросил:

— Ты дурак.

— Я дурак, дурак, но ду-ра-ак! — напевное торжество в голосе Тихого Гришки.

Кажется, Владик Бахнов первый произнес короткий, как междометие, вопрос:

— Кто?..

Все перестали шевелиться, перестали смотреть друг на друга, молчали. Кто-то донес на Эмку. Кто-то из нас... Кто?

Яростно светила лампочка под потолком.

Юлия Марковича Искина арестовали в ту же ночь, только позже, часа в четыре. Звонок в дверь — трое в штатском, один в военном...

На следующий день нас удивил Вася Малов. Узнав об аресте Эмки Манделя, он побледнел и задышал зрачками:

— Вчера?.. Манделя?.. Эмку Манделя!..

И вдруг впал в неистовое бешенство:

— Кто эт-та сволочь?! Кто настучал?! Талант продали, гады!!.

Вася Малов, человек с поврежденными немецким осколком мозгами, Вася Малов — гроза евреев, биологически их ненавидящий, оказывается, тайком, ни с кем не делаясь, страдальчески любил стихи Эмки.

Вася Малов умер сразу же после окончания института. От старой раны в голову. Умер в одиночестве, всеми забытый, окруженный ненавистью соседей по коммунальной квартире, которых он пугал своей дикой вспыльчивостью.

Александр Фадеев застрелился днем 13 мая 1956 года на своей даче в Переделкине. Сынишка вбежал наверх, чтобы позвать отца обедать, и увидел его лежащим на диване. И лужа крови на полу. И пистолет рядом на столике.

Примчался черный «ЗИС», товарищи в штатском, молодые энергичные люди, явились на место происшествия. В качестве понятых приглашены были соседи Фадеева, известные писатели, кажется Федин и Всеволод Иванов. Они-то позднее и рассказали, как один из приезжих товарищей поднял со столика письмо, лежавшее рядом с пистолетом, вслух прочитал на конверте: «В ЦК КПСС»... и опустил в карман. Никто этого письма больше не видел. Что в нем, миру неизвестно.

Но какой-то ответ Фадеев на него получил.

Через два дня в газетах было опубликовано: «Центральный Комитет КПСС с прискорбием извещает...» И к этому «прискорбному извещению» было приложено так называемое «Медицинское заключение о болезни и смерти товарища Фадеева Александра Александровича».

Документ этот краток и выразительно откровенен:

А. А. Фадеев в течение многих лет страдал тяжелым прогрессирующим недугом — алкоголизмом. За последние три года приступы болезни участились и осложнились дистрофией сердечной мышцы и печени. Он неоднократно лечился в больнице и санатории (в 1954 году — 4 месяца, в 1955 году — 5½ месяцев и в 1956 году — 2½ месяца).

13 мая в состоянии депрессии, вызванной очередным приступом недуга, А. А. Фадеев покончил жизнь самоубийством.

Доктор медицинских наук, профессор
Стрельчук И. В.

Кандидат медицинских наук
Геращенко И. В.

Доктор
Оксентович К. Л.

Начальник Четвертого управления Минздрава СССР
Марков А. М.

14 мая 1956 г.

Итак, Фадеев — алкоголик, запойный пьяница, в «очередном приступе недуга», то есть по пьянке, покончил с собой.

Был ли еще такой случай в истории, чтоб официальное сообщение провозглашало: причина смерти достойного человека — пьянство? Наши же официальные сообщения никогда не грешили неосмотрительной откровенностью. Конечно, не некие Стрельчук, Геращенко, Оксентович на свой страх и риск дозволили широковещательно оскорбительный попрек в пьянстве лежащему в гробу Фадееву.

Накануне Фадеев весь вечер просидел у Юрия Либединского, пил чай, был угнетен, говорил лишь на одну тему. Какая трагическая судьба у писателей в России — Пушкин и Лермонтов, Есенин и Маяковский, Бабель и Мандельштам... И многих из тех, кто умер в постели, можно считать тоже убитыми. Фадеев называл Бориса Горбатова — умер от инфаркта, но перед этим у него посадили отца, жену, сам он ждал с минуты на минуту звонка в дверь.

Юрий Либединский написал об этом разговоре статью, разумеется, она так и не увидела свет.

Нет, трезвой рукой направил на себя пистолет Александр Фадеев. И все-таки открытым текстом: «страдал тяжелым... алкоголизмом», перечислено даже, когда именно лечился... Зачем? С какой стати?.. Ответ один — письмо! За пять минут до смерти Фадеев взбунтовался.

Но как-никак бунт-то пятиминутный, нельзя же за эти пять непорочных минут перечеркнуть всю добропорядочную жизнь Александра Фадеева: напротив, следовало показать — верный, преданный, послушный сын,

достойный скорби. И гроб с телом Фадеева устанавливается в Колонном зале Дома союзов, к нему открыт доступ трудящимся для прощания. На этом месте трудящиеся прощались с Лениным, прощались со Сталиным. Редчайшие покойники удостоиваются такой чести. Из Колонного зала обычно один путь — на Красную площадь, если не в сам Мавзолей, то уж рядышком — под Кремлевскую стену. Обычай нарушен — обозвав алкоголиком, оказав редкий почет, Фадеева везут хоронить на Новодевичье кладбище, где обычно и хоронят писателей такого ранга. Инцидент исчерпан — квиты.

В тот год началась широкая реабилитация политических заключенных. Без оркестров, без митингов, без цветов, тихо, скромно, потаенно встречала Москва тех, кого в тридцать седьмом и сорок восьмом она отправляла в Ачинск, на Колыму, в Воркуту.

А неподалеку от Лубянки в общественной уборной бывшие службисты Берии запирались в кабинках, доставали пистолеты, умирали над унитазами. Они верили — за страшные дела их ждет страшное возмездие. Палачи тоже могут быть сентиментально наивными.

В тот год вернулся в Москву и Эмка Мандель. Через восемь лет после ареста. Он скоро стал поэтом Коржавиным. И Краткая Литературная Энциклопедия приняла его в свои объятия:

КОРЖАВИН Н. (псевд.; наст. имя Наум Моисеевич Мандель; р. 14.X.1925, Киев) — рус. сов. поэт. Окончил горный техникум в Караганде... Стихам К. свойственны гражданственность и философ. лиризм...¹

С Юлием Марковичем Искиным я познакомился в Малеевке — писательском Доме творчества. Вечерами мы предавались там воспоминаниям.

С сивой от седины шевелюрой, рыжими недоуменными бровками, скорбной складочкой в блеклых губах, он тихим голосом повествовал о том, чего я не знал.

Сейчас Юлий Маркович живет в новой квартире на проспекте Вернадского. Старую квартиру на Большой Бронной по-прежнему занимает Раиса. У нее семья — муж и двое детей. Тетя Клаша вынянчила внуков и... недавно вернулась к Искиным. Дашенька вышла замуж,

¹ Эмигрировал в США в 1972 г.

родила сына. Тетя Клаша не может жить, чтоб кого-то не нянчить.

И Юлий Маркович хвалит ее с теплотой в голосе:

— Все-таки редкой души... Самозабвенна...

О Фадееве же он отзывается более горячо, почти со слезами на глазах:

— Нет, нет! Александр Александрович — честнейший человек, трагическая личность. Он — жертва, никак не преступник. Боже упаси вас думать о нем плохо!

Наверное, так оно и есть. Не осмелюсь спорить. Не думаю плохо.

Однако кроткий Юлий Маркович обвиняет других: Раису, секретаря парткома, который слабодушно развел руками: «Не могу» и... того, кого величали гением человечества, отцом и учителем, светочем эпохи.

— Историю, знаете ли, делают личности.

Пакостят историю личности? И только-то? Не слишком ли это просто? Нет ли более глубокой причины?..

Но стоп! Это отдельный большой разговор. Никак не мимоходом.

Документальная реплика

Документ, вырвавшийся из канцелярии
М. В. Келдыша.

Президенту АН СССР академику М. В. Келдышу.

Резолюция академика Келдыша:

«Ознакомить».

За последнее время я неоднократно сталкивался с распространяемыми обо мне среди членов отделения философии и права Академии наук СССР утверждениями, будто я скрываю свою подлинную национальность, поскольку я якобы являюсь в действительности «польским евреем». Я мог бы игнорировать эти слухи, если бы не обстоятельство, что они находятся в прозрачной связи с фактом выдвижения меня в кандидаты на избрание в члены-корреспонденты Академии наук СССР.

Указанные утверждения и слухи носят клеветнический характер, и они никоим образом не соответствуют фактам. А последние таковы.

Я родился 18 ноября 1920 года в г. Моршанске Тамбовской области. Мой отец Нарский Сергей Васильевич — русский, командир Красной Армии. После демобилизации в 1920 году работал на различных счетных должностях и умер в Моршанске в январе 1941 года, где он в 1896 г. и родился.

Родители моего отца...

(Из сострадания к читателю опускаю подробнейшие перечисления родителей отца и матери автора сего послания не только по мужской и женской линии, но и по боковым ветвям — упомянуты даже престарелые тетки, проживающие в Моршанске и Москве. Особый упор автор делает на фамилии, со скрупулезной точностью указывая, какие были в девичестве, какие в замужестве, чтоб, не дай бог, не возникло сомнение — не прокрался ли в родню чужекровный выходец из Палестины. Нельзя не признать, что все без исключения фамилии не вызывают никакого сомнения в чистоте породы — Ковритины, Шолоховы, Третьяковы... Что же касается собственной фамилии автора «Нарский», то она «представляет собой изменение исходной фамилии «Нарских», которую носили предки Василия Андреевича (деда автора. — В. Т.), выходцы из Сибири, прежде проживавшие в районе реки Нара».)

Акты гражданского состояния по г. Моршанску и Моршанскому уезду, — пишется далее, — насколько мне известно, в период Отечественной войны не эвакуировались и не уничтожались.

К сказанному могу добавить, что в собственном мне хорошем знании нескольких иностранных языков (кроме польского, я владею другими славянскими, не говоря уже об основных западноевропейских языках) не вижу для советского ученого ничего предосудительного или «подозрительного». Что касается именно польского языка, то он был изучен мною в 1945—1946 гг., когда по долгу моей службы в советской разведке я находился и работал на польской территории. Эта моя работа отмечена правительственными наградами, в том числе несколькими орденами.

Я прошу ознакомить с настоящим заявлением членов отделения философии и права АН СССР. В случае, если Вы сочтете мое письмо неудовлетворительным, прошу назначить расследование.

Доктор философских наук, профессор МГУ, старший научный сотрудник АН СССР (по совместительству)

И. С. Нарский

10 октября 1970 г., Москва.

Хотелось бы обратить внимание на следующие обстоятельства:

Знаменательно, этот документ появился спустя 20 (!) лет после кампании борьбы с безродными космополитами. «Жив, жив курилка!»

Автор не просто профессор прославленного Московского университета, а явно преуспевающий. Не каждый-то профессор МГУ рассчитывает стать членом-корреспондентом Академии наук.

Напористое требование ознакомить членов отделения философии и права со своей столь непорочной родословной вызвано, думается, не только непроходимой глупостью, характерной для любого националиста. Не случайна тревога, столь откровенно звучащая в письме. Возможно, Нарский знал, каких взглядов «на чистокровность» придерживаются ученые, которые представляют в АН философию и право. Не это ли заставило его бояться обвинений в еврействе?

Впрочем, принятые предосторожности не помогли. Академики не избрали Нарского в членкоры. Ему осталось только сетовать на происки сионистов.

Август—ноябрь 1971

НА БЛАЖЕННОМ ОСТРОВЕ КОММУНИЗМА

Слепая Фемида изощренно пошутила, предоставив Хрущеву расправиться со Сталиным. Судьей палача стал человек, которого Сталин считал шутом.

Сталина я видел всего лишь раз в жизни — 7 ноября 1945 года, проходя среди многих и многих людских

тысяч по Красной площади мимо Мавзолея. Помню: поразили меня его маленький рост — вдавлен в трибуну по самую фуражку с твердым околышем — и бескостно-дряхлый жест дедовской руки, вызывавший вулканический рев обезумевшей от восторга площади. Разумеется, и я обезумевше вопил вместе со всеми...

Хрущева же я видел и слышал много раз, издалека и достаточно близко, хотя лично, увы, не беседовал, не был допущен до рукопожатия.

Одна встреча, право же, стоит того, чтоб поведать о ней. Я тогда удостоился чести провести день в коммунизме. Да, да, в том усиленно обещанном, шумно прославляемом коммунизме, попасть в который никто из здравомыслящих граждан нашей страны давным-давно уже не рассчитывает.

1

15 июля 1960 года. Мне позвонили из правления Союза писателей:

— Просим зайти завтра в течение дня. Очень важное дело.

А так как Союз писателей, надо отдать ему должное, делами меня не обременял, тем более важными, то я послушно заехал на улицу Воровского. Там мне вручили конверт с праздничного вида билетом на лощеной бумаге, заставили расписаться.

В билете значилось, что товарищ Тенков В. Ф. с супругой приглашаются на встречу руководителей партии и правительства с деятелями науки и культуры, просьба прибыть в 9 часов утра. На обратной стороне билета — схема маршрута: по Каширскому шоссе, поворот на сто двадцатом километре, к совхозу «Семеновскому»...

— Место в машине для вас оставить? — спросили меня.

Я пожелал остаться независимым:

— У меня своя машина.

У меня был выдавший виды «Москвич», который я мыл в году раза по два — по вдохновению или ради какого-нибудь исключительного случая вроде техосмотра. Встреча с правительством — случай тоже из ряда вон выходящий, и я мысленно дал себе слово помыть машину.

Но не сдержал его: в тот день домой вернулся

ночью, а утром встал, когда стрелки часов перевалили за восемь, где уж тут мыть машину, сломя голову надо нестись, чтоб если и опоздать, то не безбожно.

Я влез в свой единственный светлый костюм, вместе с женой сбежал к своему неумытому «Москвичу», ринулся через Москву к Каширскому шоссе.

Тише едешь — дальше будешь, поспешишь — людей насмешишь... У меня вечные нелады со столь мудрыми остережениями, а потому на выезде из Москвы коварно спустил баллон. И я, скинув свой светлый, но удушающе плотный, жаркий, что мужицкая поддевка, пиджак, кланяя норовистую машину, правительственную затею, самого себя и ни в чем не повинную жену, принялся на солнцепеке менять заскорузлое от грязи колесо. А мимо по шоссе скользили, отливая безупречной полировкой, черные «ЗИЛы» и монументальные «Чайки» — еще не примелькавшаяся новинка тех лет, — все они, разумеется, спешили туда, куда спешил и я.

Наконец колесо поставлено, багажник захлопнут, руки наспех вытерты тряпкой — вперед! Я выжимал из своего неумытого все, что тот мог дать, не особенно считался с дорожными знаками, выскакивал на левую сторону, держа наготове пригласительный билет на лощеной бумаге. Если только милиция остановит, сразу под нос обезоруживающий документ: глядите, спешу не к теще в гости, вам надлежит не осуждать, а хвалить меня за рвение. Шоссе было густо заставлено милицией, чуть ли не на каждом километре посты, но, должно быть, они по слишком откровенному нахальству, с каким я нарушал правила, догадывались о приготовленном для них лощеном билете и лишь провожали меня осуждающими взглядами. И уж только когда я совершил вовсе недопустимое — у железнодорожного слагабаума по левой стороне обошел черные лимузины и бесцеремонно подставил бок «Чайке», — ко мне подошел представитель милиции с погонами подполковника и скорбно-осуждающим лицом. Он даже не попросил у меня водительские права, даже не спросил меня, куда это я так рвусь, даже лощеный билет, увы, не понадобился. Подполковник всего-навсего укоряюще сказал:

— Нельзя же так. Можете аварию устроить. Нехорошо.

И затронул лучшие струны моей души, заставил искренне устыдиться. Я и дальше продолжал гнать своего неумытого, но старался уже не нагличать.

Неожиданно я почувствовал, что шоссе вокруг меня пусто, трясется впереди лишь расхлябанный грузовичок — ни черных лимузинов, ни гордых «Чаяк» с золочеными хвостами... И я понял, что переусердствовал — проскочил заветный поворот, указанный на обратной стороне билета. Пришлось разворачиваться...

Стандартный кирпич на обочине, запрещающий произвольный проезд, нитка асфальта через поле к раскинувшейся хвойной купе.

Наш «Москвич» оказался в очереди машин перед четырехметровым сплошным забором, покрашенным в стандартную солдатски-зеленую краску.

Молодцеватые военные с голубыми околышами и петлицами заулыбались, когда после сияющих «ЗИЛов» и «Чаяк» подрулил я. Через опущенное стекло было слышно, как один проницательно заметил другому:

— Гляди — частник приехал!

Я показал им приготовленный билет, они мне с подчеркнутой вежливостью откозыряли, и я въехал под сень соснового леса, недоуменно оглядываясь — где же тут можно приткнуться? Узенькая — на ширину одной машины, не больше — асфальтовая стежка привела к асфальтовому пятачку, и к нам двинулся молодой человек.

Он был высок, плечист, гибок, он не шагал по земле, он скользил по ней, темный костюм на нем, облегаящий широкую грудь и тонкую талию, лишь на локтевых сгибах собирался в скупые, почти музыкальные складки. И голова его курчавей, чем у Пушкина и Василия Захарченко, и лицо правильное, мужественное, способное выражать лишь открытую доброжелательность. Он без всякого содрогания положил свою сильную руку в немнущемся рукаве с высовывающейся ослепительной полоской манжеты на ручку давно не мытой дверцы, с силой распахнул ее, пророкотал моей жене:

— Здравствуйте. Добро пожаловать. Прошу вас.

И жена, смущенная его великолепием, его рыцарской услужливостью, вылезла из неумытого «Москвича» на священный асфальт. Встречающий с силой захлопнул дверцу, небрежно махнул мне рукой:

— А ты поезжай! Поезжай дальше.

Вот те раз!..

Впрочем, моя особа всегда почему-то вызывает недоверие у швейцаров и официантов. Швейцары меня

стараятся не пустить за порог, официанты же меня с ходу предупреждают, что пиво в их заведении стоит дороже, чем в пивном киоске напротив.

Однако недоразумение сразу раскрылось, наш встречающий рассыпался в извинениях и все же настойчиво предложил ехать дальше. Жена, только что ступившая на землю обетованную, вновь залезла в машину, и мы покатали по узкой дорожке — дальше, в глубь леса.

Неожиданно лес оборвался. Мы выехали за ворота, мимо военных с голубыми петлицами — в поле, под ослепительно синее небо, на жестокий солнцепек. По обеим сторонам дороги на обочинах тесно стояли машины, и я понял, что пересек границу, где царствует дух гостеприимства и доброжелательности, вновь попал в места с волчьими законами, где рви — не зевай!

«ЗИЛы» и «Чайки», «Чайки» и «ЗИЛы», сияющие черным лаком, светлым, промытым стеклом, горящие начищенным никелем. Возле каждой машины развалился на солнышке шофер. Все они, как и их машины, похожи друг на друга, стандартны — тучные, распаренно-красные, ленивые. Даже на расстоянии чувствую их презрение к себе — странный тип, забравшийся в столь ослепительное общество на потасканном и до безобразия неопрятном «москвичишке».

Подавленный их сановитым презрением, я ехал и ехал, растерянно и безнадежно приглядываясь — не откроется ли в сиятельных рядах щель, куда можно втиснуться. Нет, не открылась. Я проехал с добрый километр, пока сплошные шеренги машин не кончились, не открылось чисто-поле. И тут-то я развернулся и поставил своего неумытого на то место, какого он был достоин, — на самых задворках великолепного стачовища.

Я закрыл машину, переглянулся с женой:

— Пошли?

— Пошли.

И пошли мы, солнцем палимы, вновь вдоль блистательных рядов, под презрительными взглядами вельможной шоферни. Набравшее лютую силу солнце, взгляды, светлый костюм, в котором, пожалуй, можно и зимой гулять без пальто, с каждым шагом все больше и больше накаляли меня. Сначала тихо, затем все громче и громче я начал кипеть, проклиная все на свете — яркий день, безоблачное небо, сытых олухов на обочине, за тею со встречей у черта на куличках. И пот стекал по

спине под светлым пиджаком, и хотелось пить...

Дорога впереди пересекала мелкий овражек, за мостиком с легкими перильцами уже маячили ворота в зеленом заборе, военный возле него. Еще немного... Но как хочется пить!

Совсем неожиданно прямо из-под мостика выскочил — эдакий ванька-встанька! — человек в соломенной шляпе, застыл в недоуменной стойке, спросил тенорком:

— Вам куда?

— Как — куда? — удивился я. — Сюда! — кивнул на ворота.

Объяснение не очень-то вразумительное, но на большее я был уже не способен. Однако...

— Пожалуйста! — Соломенная шляпа с готовностью нырнула под мост.

До ворот оставалось каких-нибудь пятнадцать шагов, когда я вдруг похолодел под своим жарким пиджаком.

— Послушай, а билет?..

Билет остался в машине у ветрового стекла.

Военные откозыряли, участливо выслушали меня, пожали офицерскими погонами:

— Не можем.

— Вы понимаете, что только идиот стал бы рваться сюда без билета. Он у меня есть — поверьте. А топать туда и обратно по такой жарнице — сложем.

— Верим. Сочувствуем. Но не можем.

Я видел, что они верят мне, и сам прекрасно их понимал — впустить меня, пока я не махну перед ними кусочком лощеной бумаги, значит свершить самое тяжкое преступление, какое только для них возможно, значит признать ненужность и бессмысленность своего существования. И я стоял перед военными запаленно жалкий, потный, убитый, решал — не плюнуть ли мне на всю эту затею, не совершить ли рейд по солнцепеку, не развернуть ли своего неумытого носом к дому... Право же, военные были славные ребята — сочувствовали.

Вдруг один из славных ребят взгляделся в сторону, махнул рукой, властно крикнул:

— А ну сюда!

Подкатила странная машина, пожалуй, даже более странная, чем мой «Москвич», — дряхлая «Победа» и тоже давно не мытая, пропыленная. За ее рулем сидел уныло носатый человек наглядно иудейского вида.

— Возьмешь этих товарищей, довезешь до их машины, привезешь их обратно. Ясно?!

— У меня кардан...

— Тебе сказано: свозишь товарищей туда и обратно! Ясно?.. Садитесь, пожалуйста.

И мы, преисполненные благодарности, влезли в душную, пыльную, пахнущую чем-то кислым «Победу». Едва тронув с места, носатый начал брюзгливо жаловаться:

— У меня кардан разваливается... И на одной подвеске езжу... До гаража не доберусь...

Мы слушали, виновато молчали, но ехали мимо выстроившихся парадных машин, мимо возлежащих шоферов.

Билет упал с ветрового стекла вниз, и пока я его поднимал, «Победа» вместе с носатым водителем бесследно исчезла.

И снова мы, солнцем палимые, — мимо, мимо... Как хочется пить! Пригласительным билетом прикрываю накаленную макушку. Я уже никого не кляню, не ругаюсь, киплю в себе, боюсь взорваться.

Наконец-то заплетающиеся ноги доносят нас к мостику с перильцами — уже теперь близко!

Из-под мостика бодренько выскакивает человек в соломенной шляпе — Сивка-Бурка, вещая Каурка:

— Вам куда?

Меня прорвало:

— А ты чего — не видишь? Второй раз мимо проходим! Зачем тебе только деньги платят!

Плечи Сивки-Бурки опустились, руки упали, морщинистое лицо смятенно вытянулось под шляпой.

— А что вы обижаетесь? — Тонким тенорком с жалобной беззащитностью: — Ведь я же на работе.

И нырнул под мост.

Я сегодня второй раз почувствовал угрызение совести: в самом деле, виноват ли он, если приходится зарабатывать хлеб такой странной службой — под мостом? А потом, я здесь гость у высоких хозяев, значит, барин, мне легко его обложить по-барски...

Но особо рефлексировать некогда, мы уже приблизились к распахнутым воротам. Я взмахиваю волшебным билетом — сезам, откройся! — мне почтительно козыряют, и мы перешагиваем заповедную черту.

На нас сразу ложится благодатная тень. И шум хвои над головой. И прохладный, смолистый, ласково обнимающий воздух. Иной мир.

Я хочу пить, я умираю от жажды...

Едва я мысленно произнес эти слова, как сразу же, словно по шучьему велению, увидел перед собой бегущий среди деревьев ручей, прямо в нем, утопая в струях ножками, — стол, под столом из воды торчат горлышки бутылок — боржом, эссенуки, ситро, на выбор. За столом дородная, краснощекая, улыбчивая девица в жестко накрахмаленном кокошнике звенит тонкими фужерами, разливает воду, и пузыри мечутся за отпотевшим стеклом.

Я ринулся к столу, встал за спиной еще одного жаждущего, готовый с привычной воинственностью отшивать тех, кто полезет без очереди. Но сказочная боярышня уже тянет мне наполненный фужер, улыбается.

Вода холодная, впитавшая родниковую свежесть ручья.

— Ох, спасибо!.. Если можно — еще.

— Пожалуйста.

И новый запотевший фужер, и новая улыбка.

— Спасибо...

— Вам еще?

— Хва-атит.

Я лезу в карман за мелочью, на меня все смотрят с насмешливыми, но вовсе не обидными улыбками — то-то простота.

И я понял, куда я попал. Какие тут деньги! Здесь все бесплатно — смолистый воздух, охлаждающая влага, доброта румяной девицы в кокошнике и журчание ручья.

2

В глубоком детстве, еще до школы, мы услышали фразу: «Коммунизм на горизонте!»

Горизонт, как известно, — кажущаяся, но не существующая линия, которая неизменно удаляется при приближении. Мы шли к коммунизму, коммунизм удалялся от нас.

А что, собственно, это такое — коммунизм? Как он должен выглядеть?

Мы всегда скудно жили — плохо питались, некрасиво одевались, очереди в магазинах и коммунальные многосемейные, удушающе тесные квартиры были нормой нашего быта, а потому и вожаемый коммунизм нам представлялся не иначе как некий жирный кусок, которого с избытком хватает на всех — есть не хочу!

Карл Маркс высмеивал такое потребительское понимание, называл его коммунизмом ложки. Он бросил миру формулу: «От каждого — по способностям, каждому — по потребности». Подозрительно благостна она и туманна. И нет никого, кто более толково бы объяснил коммунизм. Последователи ограничивались лишь заверениями о пришествии: «На горизонте!»

Нужно ли удивляться, что неискушенное большинство определяет для себя коммунизм по внешнему, но весьма зримому признаку: существуют деньги в обиходе — нет его, коммунизма, будут трижды проклятые деньги похерены — пришествие совершилось.

С меня не взяли денег за минеральную воду, не возьмут их и за торжественный обед, который несомненно ждет меня впереди. Кошелек в моем кармане сегодня — самая ненужная для меня вещь.

3

— Если вам хочется выкупаться, то пожалуйста...

Какой-то старожил коммунизма, прибывший сюда на полчаса раньше меня, успевший уже оглядеться и освоиться, произнес эту фразу.

Черт возьми! Предложения рождаются раньше, чем возникают желания. Я вдруг почувствовал, насколько липко мое тело, как разъедает кожу соль, какое бы наслаждение окунуться сейчас, но...

— Кто же знал, что на встречу с правительством следует захватывать с собой плавки.

— Э-э, не беспокойтесь, там дают плавки... с поклончиком. Вот по этой дорожке выйдете на берег озера, увидите в стороне две будочки — купальни, мужская и женская... И в лодочке ежели желаете покататься, тоже пожалуйста.

Внимание к личности столь велико, что ничего не остается, как покориться — для собственного же блага и удовольствия.

Атлетически сложенные юноши, эдакие простецкие, на русский лад, Аполлоны и Меркурии, выкручивали и раздавали мокрые плавки. Впрочем, тут таки произошла досадная неувязочка — плавков на всех желающих, однако, не хватило, мне достались трусы, только что кем-то использованные, но зато добросовестно выжатые.

Просторный пруд раздвинул сосновый лес, берега натуральные, с травкой, с осокой, не забраны в казенный камень. Правда, вокруг широкого пруда — асфальтированные дорожки, скамеечки и деревянные стойки, услужливо предлагающие бамбуковые удочки. И рыбаков на сей раз что-то не видно...

В прошлую встречу деятелей культуры и правительства на берегах водоемов через каждые десять — пятнадцать шагов застывшие рыбаки с удочками. Константин Георгиевич Паустовский, сам вдохновенный рыбак, рассказывал мне, как он по простоте душевной подсел к одному и без задней мысли полюбопытствовал:

— Как клюет?

Рыбак молчал и взирал на неподвижный поплавок с каменным лицом.

— А на что вы тут ловите? На мотыля или на червя?

Ни слова в ответ... И тут-то до Паустовского дошло: рыбака интересует не та рыбка, что плавает в воде, и, должно быть, ему дана строгая инструкция — в разговоры не вступать.

Сейчас берега свободны, инструктированных рыбаков нет, а гости не интересуются удочками.

У купальни оживление, и вокруг меня все знакомые лица, я словно попал в некий филиал Московского отделения Союза писателей. Алексей Сурков вытряхивает из штанины муравья и, морщась, жалуется:

— Ест поедом, сатана, словно озверевший критик.

— Наберитесь терпения — он правительственный, — осмеливаюсь посоветовать я.

Сурков смеется. Когда он не выполняет высокие секретарские обязанности, с ним можно шутить, и даже вольно.

Чуть в стороне, сосредоточенно посапывая, не спеша облачается искупавшийся Леонид Леонов. А в воде под берегом происходит встреча — Валентин Катаев, нагоняя волну, плывет на круглую, как плавающая луна, широко улыбающуюся физиономию Доризо и громко сетует:

— Стоило ехать за сто с лишним километров, чтоб узреть эту надоевшую на улице Воровского рожу!

Погруженный в воду Николай Доризо улыбается в ответ с приятной, обезоруживающей невозмутимостью.

На отдалении сидит налитой розовым соком человек — при галстукe, в белоснежной сорочке, отутюжен-

ных брюках, волосы сухие, значит, не купался и, похоже, не собирается, просто отдыхает. Совсем еще недавно он был скромным сотрудником «Комсомольской правды»... Алексей Аджубей, зять Хрущева! Мы как-то однажды нечаянно познакомились, даже чокались за столом за здоровье друг друга, сейчас старательно смотрим в разные стороны. Он, мнится мне, ждет, что я непременно уловлю — уж постараюсь! — его взгляд и услужливо поздороваюсь. Но он здесь хозяин, я же — гость, его долг замечать и привечать. И я, нарядившись во влажные правительственные трусы, лезу в воду, так и не замеченный Аджубеем, делая вид, что в свою очередь не замечаю его.

И вот я, освеженный, всем довольный, гуляю под сенью сосен, встречаю знакомых, с одними чинно раскланиваюсь, с другими останавливаюсь поболтать.

Все предупредительно вежливы друг с другом, на лицах разлита тихая пасхальная благодать, каждый подавлен кротостью, готов забыть обиды, любить врагов, «Христос воскрес» да и только. Вот-вот дойдет — Эренбург облобызает Грибачева, а я со слезами умиления обнимусь с Кочетовым.

Однако нельзя долго пребывать в состоянии некой блаженной невесомости, когда от умиротворения «в зобу дыханье сперло», невольно переводишь дух и опускаешься на грешную землю. Я вдруг представил, что так вот гулять по асфальтовым дорожкам, под хвойной тенью придется целый день, до вечера, до обещанного обеда и торжественных речей. И невольно зашевелилась крамольная мыслишка: «А в этом коммунизме того... скушновато, право».

Но еще не появилось правительство. Оно-то должно внести какое-то разнообразие.

4

Это была уже вторая встреча с правительством. На первую я не удостоился чести быть приглашенным, а жаль — она потрясла очевидцев.

Хрушев тогда во время обеда, что называется, стремительно заложил за воротник и... покатыл «вдоль по Питерской» со всей русской удалью.

Сначала он просто перебивал выступавших, не считаясь с чинами и авторитетами, мимоходом изрекая сочные сентенции: «Украина — это вам не жук на палоч-

ке!..» И острил так, что, кажется, даже краснел вечно бледный до зелени, привыкший ко всему Мо- лотов.

Затем Хрущев огрел мимоходом Мариэтту Шагинян. Никто и не запомнил — за что именно. Просто в ответ на какое-то ее случайное замечание он крикнул в лицо престарелой писательнице: «А хлеб и сало русское едите!» Та строптиво оскорбилась: «Я не привыкла, чтоб меня попрекали куском хлеба!» И демонстративно покинула гостеприимный стол, села в пустой автобус, принялась хулить шоферам правительство. Что, однако, никак не отразилось на ходе торжества.

Крепко захмелевший Хрущев оседлал тему идейности в литературе — «лакировщики не такие уж плохие ребята... Мы не станем цацкаться с теми, кто нам исподтишка пакостит!» — под восторженные выкрики верноподданных литераторов, которые тут же по ходу дела стали указывать перстами на своих собратьев: куси их, Никита Сергеевич! свой орган завели — «Литературная Москва»!

Альманах «Литературная Москва» был основан инициативной группой писателей, формально никому не подчинялся, фактически был полностью подчинен, как и все печатные издания, капризам цензуры, тем не менее пугал независимостью. Казакевич, общепризнанный инициатор, на этот раз почему-то избежал особого внимания, весь свой монарший гнев Хрущев неожиданно обрушил на Маргариту Алигер, повинную только в том, что вместе с другими участвовала в выпуске альманаха.

— Вы идеологический диверсант! Отрыжка капиталистического Запада!..

— Никита Сергеевич, что вы говорите?.. Я же коммунистка, член партии!..

Хрупкая, маленькая, в чем душа держится, Алигер — человек умеренных взглядов, автор правдивых стихов, в мыслях никогда не допускавшая какой-либо недоброжелательности к правительству, — стояла перед разъяренным багроволицым главой могущественного в мире государства и робко, тонким девичьим голосом пыталась возражать. Но Хрущев обрывал ее:

— Лжете! Не верю таким коммунистам! Вот беспартийному Соболеву верю!..

Осанистый Соболев, бывший дворянин, выпускник Петербургского кадетского корпуса, автор известного

романа «Капитальный ремонт», усердно вскакивал, услужливо выкрикивал:

— Верно, Никита Сергеевич! Верно! Нельзя им верить!

Хрущев свирепо неистовствовал, все съежились и замерли, а в это время набежали тучи, загредел гром, хлынул бурный ливень. Ей-ей, сам господь бог решил принять участие в разыгрывавшейся трагедии, неизобретательно прибегая к избитым драматическим приемам.

Натянутый над праздничными столами тент прогнулся под тяжестью воды, на членов правительства потекло. Как из-под земли вынырнули brave парни в отутюженных костюмах, вооруженные швабрами и кольями, вскочили за спинами правительства на ограждающий барьер, стали подпирать просевший тент, сливать воду — на себя. Потоки стекали на их головы, на их отутюженные костюмы, но парни стойчески боролись — самоотверженные атланты, поддерживающие правительственный свод. А гром не переставал греметь, а ливень хлестал, и Хрущев неистовствовал:

— Прикидываетесь друзьями! Пакостите за спиной! О буржуазной демократии мечтаете! Не верю вам!..

Хрупкая Алигер с помертвевшим лбом стояла вытянувшись и уже не пыталась возражать.

Гости гнулись к столам, поеживались от страха перед державным гневом и от струек воды, пробивающихся сквозь тент, — атланты оберегали только правительство. И смущенный Микоян услужливо угощал ближайших к нему гостей отборной клубникой с правительственного стола. И Соболев неустанно усердствовал:

— Нельзя верить, Никита Сергеевич! Опасения законные, Никита Сергеевич!..

Жена, дама в широкополой шляпе, с ожесточенным лицом дергала мужа за рукав и нашептывала. И муж внял, обиженно засуетился:

— Ведь я, Никита Сергеевич, имею право на уважение, но вот никак... никак не могу добиться, чтоб мне дали... гараж для машины.

Жена с удовлетворенностью закивала широкой шляпой.

А гром продолжал раскалывать небо, мокрые атланты возвышались с вознесенными швабрами. Затерянный среди гостей Самуил Маршак с бледным, вытянутым лицом время от времени сдавленно изрекал:

— Что там Шекспир!.. Шекспиру такое не снилось...

В завершение Соболева от усердия и перевозбуждения... хватил удар. Его уносили с торжественной встречи на носилках, а жена в черных перчатках по локоть бежала рядом и обмахивала пострадавшего мужа широкополой шляпой.

Маргарита Алигер шла к выходу одна, к ней боялись приблизиться — заклеямена, прокажена. Лишь Валентин Овечкин догнал ее, подхватил под локоть, демонстративно повел. За ними сразу двинулись влажные атланты... Нет, не опека опальной Алигер их настораживала, а гриб... Овечкин случайно нашел под правительственным деревом крупный белый гриб и не удержался, сорвал его. Одной рукой он придерживал Алигер, в другой нес гриб... Почему гриб? Не закамуфлированная ли это бомба?.. Атланты проводили их до выхода.

Дождь прошел, светило солнце.

Через несколько дней по Москве разнесся слух, что поведение Никиты Сергеевича на приеме осуждается... даже в его ближайших кругах.

Да, прошедшая встреча у всех свежа в памяти. Сегодня каждый ждет появления Хрущева со жгучим интересом: как-то он поведет себя? не сорвется ли снова? а вдруг да раскаянье толкнет его в обратную сторону — ко всепрощению и любви? Неисповедимы пути твои, господи! От Хрущева всего можно ждать...

5

Уинстон Черчилль якобы, незадолго до смерти узнав о падении Хрущева, выдал миру едва ли не последнюю в своей жизни остроту: «Этот человек всегда стремился перепрыгнуть пропасть в два приема».

Революционные скачки Маркс положил в основу своей теории, мы применили их на практике. Хрушев всей душой хотел резво перескочить пропасть между существующим социализмом и сказочным коммунизмом. Раз! — и догнать сытую Америку по мясу и молоку! Два! — оставить ее далеко позади в неприглядной реальности, самим оказаться в сказке! Был отдан приказ: режь скот, чтоб было больше мяса! Не учтено лишь то, что этот скот надо сначала вырастить. Великая страна взвилась в прыжке, но пропасть не преодолела — свалились. Конфуз? Да нет, боже упаси! Снова прыгаем в изобилие, на этот раз кукуруза — опора...

Мне рассказывали: в Мурманской области — территория чуть меньше Англии и больше Болгарии — в редких закрытых от ветра горами долинах, на солнечных склонах, на каких-то пяти тысячах гектаров высаживали холодоустойчивые сорта картошки и капусты. И тут Хрущев потребовал выделить пятьсот гектаров на кукурузу!

— Так все равно же не вырастет, Никита Сергеевич, — осмелились возразить ему.

— А вдруг да вырастет. Какой тогда будет политический резонанс!

А вдруг да... Расчет прыгуна, свято верящего, что и посреди пропасти существует опора.

Государственному руководителю часто свойственна заурядность мышления. Великие мысли, прозорливые открытия никогда не рождаются сразу в миллионах голов, массовых озарений не существует в природе. Великие мысли и открытия возникают у тех, кто способен мыслить намного глубже других, у своего рода чемпионов разума и проницательности. И надо время, и немалое, чтобы заурядно мыслящие массы поняли и приняли то, чего достигли чемпионы человеческого мышления. Прошло более двух столетий, пока открытие Коперника стало общепризнанным.

Но государственный политический деятель занимается-то вопросами текущей жизни, сталкивается с задачами, требующими, как правило, немедленного решения. Он не может ждать сотни, пусть даже десятки лет, чтоб быть понятым. А потому политический руководитель вынужден прибегать к общепризнанным шаблонам, к элементарным понятиям, духовно соответствовать некой усредненной заурядности в человеческом обществе. Как это ни обидно, но ум и проницательность среди высоких политических деятелей, тех, кто возглавляет людей, руководит жизнью, — скорей исключение, а не нормальное явление.

Наполеона, скажем, не назовешь дураком, но как бесплоден был его ум! Он не принес ничего, что пошло бы на пользу человечеству. А бесплодный, безрезультативный ум — какой в нем прок, он не имеет преимуществ перед глупостью.

Авраам Линкольн и Джон Кеннеди, прежде чем проявить себя более здравомыслящими в сравнении с простым обывателем, сперва подделывались под обыватель-

ское шаблонное мышление, угождали ему, а как только поднялись над ним, были убраны.

Тот же Черчилль прославился хитростью, изворотливостью, остроумием, обрел славу глубокомысленного политика, но как часто он действовал с поразительным тупоумием и не подозревал об этом. Откроем наугад его мемуары. Вот, к примеру, он с серьезной важностью повествует... Май 1942 года. Почти вся Европа проглочена гитлеровцами, немецкие войска в глубине России. Именно в это время Черчилль, с одной стороны, и Молотов по поручительству Сталина, с другой, встретились в Лондоне для переговоров. Они договариваются, как победить грозного и опасного противника?.. Да нет, они торгуются: кому будут принадлежать прибалтийские государства и Восточная Польша? С истовой недоверчивостью друг к другу делят кусок шкуры еще не убитого, напротив, могучего и опасного медведя. И делают это столь упоенно, что вопрос, как убить медведя, не представляется им существенным. «Помимо вопроса о договоре, — небрежно бросает Черчилль, — Молотов приехал в Лондон, чтобы узнать наши взгляды по поводу открытия второго фронта. Ввиду этого утром 22 мая я имел с ним официальную беседу». И все! Небрежно, мимоходом — сие не стоит внимания. Поведение смехотворно глупейшее, особенно на фоне последующих трагических событий — немцы, чью шкуру столь страстно делили, с новой силой ударили по России, захватили шестисоттысячную группировку под Харьковом, продвинулись до Кавказа и Волги. И вот спустя много лет осведомленный Черчилль многозначительно, без какой-либо иронии повествует: делили, делили дело, — то есть пребывает в прежней глупости.

Глупость легко перерастает в аморальность. Черчилль, узнав от Сталина, что коллективизация в СССР достигнута ценой уничтожения и ссылки десяти миллионов — шутка сказать! — «маленьких людей», не ужасается и не осуждает, а благостно оправдывает: «Несомненно, родится поколение, которому будут неведомы их страдания, но оно, конечно, будет иметь больше еды и будет благословлять имя Сталина». Воистину блаженны нищие духом, не ведают они, что творят. Хрущев тут оказался куда проницательней — на такие слова у него не повернулся бы язык.

Да, сам по себе Хрущев был безрасчетно, упоенно глуп, глуп с русским размахом, но, право же, он прин-

ципиально ничем не отличался от других видных политиков, страдал их общей бедой. И конечно же, его вседержавная самонадеянность нравственно калечила общество — воспитывала лжецов, льстецов, жестоких, беспардонных прохвостов типа «рязанского чудотворца» Ларионова, делающих карьеру на чиновном разбое.

Но вот что странно — бывают же такие поразительные парадоксы в истории! — именно экзальтированность Хрущева и помогла совершить смелый прогрессивный переворот в стране. Хитроумный политик сэр Уинстон Черчилль не принес столько пользы Англии, сколько принес Никита Хрущев многонациональной Стране Советов одним своим выступлением на XX съезде партии!..

Однако мы увлеклись рассуждениями, а тем временем появились сами гостеприимные хозяева...

6

Члены правительства без торжества, без предупреждения, вдруг оказались на асфальтовой дорожке под соснами. Улыбающийся добродушно Хрущев — в легком пиджаке, в вышитой украинской рубаше, стянутой у шеи цветным шнурком, прозванной в обиходе «анти-семиткой». Трясущийся от дряхлости Ворошилов в штатской шляпе, Микоян с навешенным носом над траурными, не тронутыми сединой усами. И уже нет плакатно примелькавшихся Молотова и Кагановича, высоких участников прошлой встречи. Осмелились не угодить, и Хрущев их погнал вон. Нет, не упрятал за колючую проволоку, не расстрелял в подвалах, как это делал Сталин в компании тех же молотовых-кагановичей, а просто спихнул с Олимпа — черт с вами, живите на пенсионном содержании! Вместе с ними слетел Шепилов — «и примкнувший к ним». Презрительная оговорочка вскрывала политическую худородность данной фигуры. Худороден?.. Вполне возможно, только не для таких, как я. Этот худородный командовал культурой страны — указывал и направлял, возносил и ниспровергал, карал и жаловал. Почему-то именно он у меня вызывает минорный мотив: «Куда, куда вы удалились?..»

Правительство появилось, и сразу вокруг него возникла кипучая, угодливая карусель. Деятели искусства и литературы, разумеется не все, а те, кто считал себя

достаточно заметными, способными претендовать на близость, оттирая друг друга, со счастливыми улыбками на потных лицах начали толкучечку, протискивались поближе. Пыхтел, топтался, выдерживал толчки тучный Софронов, блестела под солнцем голая голова Грибачева, сутулился от почтительности и семеняше выплясывал все тот же Леонид Соболев, получивший не только гараж — как убоги были их семейные мечты! — но и специально для него созданный Союз писателей Российской Федерации. То с одной стороны, то с другой вырастал Сергей Михалков, несравненный «дядя Степа», никогда не упускающий случая напомнить о себе.

По правую руку Хрущева прорвался украинский композитор Майборода, вскинул вверх плоскую, широкую, лоснящуюся физиономию, закатил глаза и залился сладкоголосо:

Дывлюсь я на небо
Тай думку гадаю...

Хрущев, добродушно расплываясь, подхватил неустойчивым баритончиком:

Чому я не сокил,
Чому не летаю...

А к нему лезли и лезли, заглядывали в глаза, толкались, оттирали, теснились и улыбались, улыбались... Все это были люди солидные, полные, осанисто-степенные. Повстречай каждого из них на улице или в коридоре учреждения, представить невозможно, что столь барственная особа способна на такие мелкие телодвижения.

Здесь тенистый остров коммунизма, в его тесных границах монаршее внимание имеет лишь чисто моральное значение — заметил, помнит, назвал твою фамилию, пожал руку, приятно! Но завтра все окажутся за пределами этого счастливого острова, в океане, где качает и опрокидывает, где всегда кто-то тонет, кого-то выбрасывает наверх, надо быть сильным и сноровистым, чтоб удержаться на волне. И каждый, кто сейчас пробился поближе, прикоснулся к всесильной руке, рассчитывает унести в себе частицу самодержавной силы. Толкотня, кружение, оттирание, щеки, раздвинутые в улыбке, — смотр рыцарей удачи!

Я стоял в стороне, всматривался в умильную

карусель и вдруг... Вдруг через головы толкущихся я встретился с направленным прямо на меня — могу по ручиться! — взглядом Хрущева. Он только что подпевал Майбороде: «Чому я не сокил, чому не летаю...» — только что добродушно улыбался, и лицо его, чуточку разомлевшее от жары, было отдыхающим, право же, выражало удовольствие. Только что — секунду назад, долю секунды!.. Сейчас я через головы, на расстоянии видел уже совсем иное лицо — не размякшее, не отдыхающее, а собранное, напряженное, недоброе. Оно даже казалось изрытым от усталости, а взгляд, направленный на меня, — подозрительно-недоверчивый, почти угрожающий. Так могут смотреть только на врага.

Он никогда не видел меня раньше, знать не знал меня в лицо, не имел никаких оснований считать меня врагом. Но тем не менее...

Причин пугаться у меня не было, я прекрасно понимал, что плотная стена угодников и кусок пространства в десять шагов — надежная защита. Я не опустил глаза, продолжал с удивлением вглядываться в преображенное лицо Хрущева.

Наша встреча взглядами едва ли продолжалась секунду. Чья-то лысина заслонила от меня главу государства, а когда я вновь его увидел, Хрущев уже добродушно улыбался, разговаривая с кем-то.

Ну и ну!.. Улыбается, шутит, подпевает, вид отдыхающего человека — не верь глазам своим: он напряжен внутри, настороженно собран, полон подозрительности. И я невольно пожалел его: «А трудно же, оказывается, тебе, Никита Сергеевич. Так играют не от хорошей жизни».

Даже жена, стоявшая рядом со мной локоть к локтю, не заметила этой переглядки. Правда, я тут же сказал ей, она на минуту заинтересовалась и... сразу же забыла. Не столь уж и важный случай, чтоб придавать ему какое-то значение.

А я не мог забыть. Мы ушли от этой карусели, бродили по тихим дорожкам, раскланивались со знакомыми и снова натыкались на осажденное правительство. Я опять останавливался и подолгу смотрел на добродушного, веселого Хрущева, ждал — встречу с ним взглядом, хотел, чтоб все повторилось, убедило меня: мне не пригрезилось.

Но Хрущев уже не замечал меня больше.



Все, кто сегодня был приглашен на остров коммунизма, — и те, кто не осмеливался подойти близко к правительству, и те, кто, толкаясь и оттесняя друг друга, кружился возле него, как мухи вокруг банки с вареньем, — принадлежали к интеллигенции, наиболее заметной в стране.

Интеллигенция... Люди, профессионально занимающиеся умственным трудом, то есть имеющие прямое отношение к тому, что, собственно, и является высоким отличием человека, — к разуму. Казалось бы, эта часть рода людского должна признаваться в обществе как наиболее значительная, пользоваться неизменным всеобщим уважением. Увы! К интеллигенции всегда было настороженное, а часто и вовсе неприязненное отношение. Именно от нее-то обычно исходят идеи и взгляды, противоречащие привычным шаблонам, смущающие обывателя, осложняющие деятельность государственных руководителей.

Ленин не любил либеральную интеллигенцию, не доверял ей, считал ее прислужницей буржуазии. «...Влияние *интеллигенции*, — писал он в 1907 году, — непосредственно не участвующей в эксплуатации, обученной оперировать с общими словами и понятиями, носящейся со всякими «хорошими» заветами, иногда по искреннему тупоумию возводящей свое междуклассовое положение в *принцип* внеклассовых партий и внеклассовой политики, — влияние этой буржуазной интеллигенции на народ опасно».

Став во главе государства, он уже с откровенностью бросает интеллигенции: «В вашей дряблости мы никогда не сомневались. Но что вы нам нужны — этого мы не отрицаем, потому что вы являлись единственным культурным элементом». То есть была интеллигенция прислужницей — и оставайся ею. В конце жизни Ленин часто с горечью говорил, как ему не хватает истинных интеллигентов-единомышленников.

Сталин прислужничество сделал основой существования нового государства: низший по службе безропотно, безоглядно, бездумно подчинялся высшему, этот высший еще более высшему, и так до конца, до венчающей вершины, на которой восседала никому не подчиненная, всех подчиняющая личность — сам Сталин. Наиболее характерной фигурой в обществе стал некий

службистский Янус с ликом диктатора в одну сторону и лакея в другую.

И только тот, кто непосредственно занимался созидательным трудом, лишен был каких бы то ни было диктаторских прав. Если ты пахешь поле, сам пахешь, а не руководишь на расстоянии пахотой, диктовать, приказывать тебе просто некому. Если ты пишешь книгу, создаешь музыкальное произведение, решаешь научную проблему, ты при всем желании не можешь стать диктатором. Только переложив пахоту, книгу, музыкальное произведение, научные изыскания на кого-то другого, ты получаешь возможность превратиться в диктатора. Творческое созидание исключает диктаторство, но от лакейского положения оно не освобождает. Ты приказывать не можешь — некому! — а тебе — почему бы и нет. А если ты вдруг окажешься недостаточно покорным, проявишь строптивость, то почему бы к тебе не применить насилие вплоть до изоляции в лагерях со строгим режимом, избиений, пыток, расстрела, наконец.

Сталин превратил интеллигенцию в безропотную прислужницу, покорно выполняющую — чаще тупо, очень редко даровито и изобретательно — правительственные заказы от создания новых бомбардировщиков до «философского» обоснования великой научной ценности сталинских работ по языкознанию.

И вот теперь тесная, потная карусель, клубок тел — это кружатся интеллигенты сталинского времени. А Хрущев со свитой, столбовая ось этой карусели, — сталинские чиновники. Сталиным поднятые, Сталиным вскормленные и воспитанные янусы с двойными ликами диктаторов и лакеев.

Хрущев не представлял себе иного устройства, кроме того, какое было при покойном Сталине. Хрущев искренне считал, что мир расколот враждой и ненавистью, что государство ежедневно, ежечасно должно укреплять свою мощь, блюсти железную дисциплину подчиненности, сохранять абсолютизм власти... Генеральная линия партии в годы сталинизма была безупречно правильной, но...

Он вскормлен Сталиным, воспитан Сталиным, а потому лучше кого бы то ни было знает, сколь тягостно и чревато опасностями это воспитание. На его глазах хватало виднейших государственных деятелей и ставили к стенке... Добро бы просто к стенке, а то рвали ног-

ти, ломали кости, отбивали почки, грубо измывались, подлейше унижали, прежде чем спровадить на тот свет. Сам Хрущев многие годы ждал своего часа, засыпал ночью, не надеясь увидеть утро, шел на прием к Сталину и не рассчитывал вернуться обратно. Жил и ждал, ждал и дрожал. Вскормлен и воспитан, но благодарности к воспитателю не испытывал.

Генеральная линия партии во время Сталина была безупречно правильной, только сам Сталин не прав — претила жестокость, мутило от безвинно пролитой крови. Хрущев ничего из сталинского не собирался менять — пусть останется все как было! — но Сталина следует осудить и выбросить из истории. Трудно даже представить более нелепое решение. Уж раз бывший вождь был полновластным диктатором и отдавал неверные приказания, которые усердно исполнялись, то почему партия и страна тогда должны жить и действовать правильно? Или он никакой не диктатор, его власть ничего не значила, не за что осуждать и развенчивать, или был диктатором — осуждай, но уже вместе с тем путем, на какой толкала его несправедная власть. Одно с другим тесно связано...

Но если б Хрущев мог как-то связывать причину со следствием, частное с общим!.. К счастью, он был младенчески прост: хочу — и баста, никакая логика мне не указ! Простота в не меньшей степени, чем ум, может быть отважной. Хрущев решительно ниспроверг на XX съезде Сталина: сгинь, нечистый! Тоже прыжок сломя голову...

Не случись этого, нам до сих пор бы внушали: идем по сталинскому пути! «Черные вороны» рыскали бы по улицам наших городов, пыточных дел мастера усердствовали бы в застенках, и наверняка продолжалась бы агрессивно-остервенелая внешняя политика, ни о каком мирном сосуществовании не могло быть и речи. Не исключено, над планетой проросли бы грибы термоядерных взрывов, человечество вымирало бы от радиоактивности. Кто знает, как все-таки велика роль случая в истории, той пресловутой «бабочки Брэдли», меняющей облик будущего.

Воистину хвала случаю! Хвала простоте, ее отважному носителю Никите Сергеевичу Хрущеву! Народы всех континентов должны вспоминать о нем с благодарностью!

Но если сам Хрущев простодушно не считался с эле-

ментарной логикой, то другие-то этого не могли себе позволить. Поведение Сталина осуждено — прекрасно! Однако сказал «господи», скажи и «помилуй»...

Джинн выпущен из бутылки, бродят дрожжи сомнений. На обсуждение книги Дудинцева к московскому Дому литераторов собралось столько беспокоящих читателей, что пришлось вызвать наряд конной милиции — явление небывалое! А в дружественной Венгрии вспыхивает бунт, приходится прибегать к вооруженному подавлению, срочно менять правительство, ставленное в свое время Сталиным.

В прошлую встречу Хрущев сорвался на прямую ругань, а сейчас он знает, что здесь у него в гостях интеллигенты, и не только такие, кто униженно лезет к ручке. И вот мимолетный взгляд из-под маски гостеприимного хозяина...

Я нескромно подглядел, что у царя Мидаса длинные уши.

8

Солнце за кронами сосен подалось к закату. Нас четверо — художник Орест Верейский и наши жены, — углубляемся в пустынные боковые дорожки. Здесь должен быть не только обихожанный лес, наверняка где-то стоит и дача правительства. Пока мы не замечали и следа каких-либо построек. Я тянул в сторону нашу маленькую компанию: «Разведаем. Делать-то все равно нечего».

Далеко приглушенные голоса, сдержанное праздничное брожение. А тут безмятежно стучит дятел. Отрешенная тишина, хочется говорить вполголоса.

Из боковой аллеи появился прохожий, идет нам навстречу. И мы замолчали, невольно испытывая смущение, — идущий навстречу человек нам хорошо знаком, зато нас он, разумеется, знать не знает. Как держать себя в таких случаях: пройти мимо, сделав вид, что не узнали, — противоестественно, но естественно ли здороваться, не будет ли это принято за подобострастие, не получим ли мы в ответ безразличный взгляд и оскорбительно-вельможный кивок? Извечная рефлексия русского интеллигента, раздираемого самолюбивыми противоречиями по ничтожному поводу. Встречный приближается и здоровается первым. Без вельможности. Леонид Ильич Брежнев.

В глубине леса раздаются выстрелы. Нет, мы не вздрагиваем и не переглядываемся недоуменно. Маниакальная мысль — не покушение ли? — не приходит нам в голову. Явно какое-то праздничное развлечение. Не спеша идем навстречу выстрелам, сопровождаемые стуком невспугнутого дятла.

Поляна среди леса. Две кучки зрителей. Прямо на траве — несколько стульев и два стола, на одном лежат ружья, другой весь заставлен затейливыми фарфоровыми безделушками — призы за удачную стрельбу. Возле столов — Хрущев, Мжаванадзе и еще какие-то лица, мне совсем незнакомые.

На расстоянии сотни шагов почти незаметные, поросшие травой землянки, из них в воздух вылетают тарелочки одна за другой через равные промежутки времени. Они разлетаются от выстрелов высокого, холено-полного молодого человека.

Молодой человек отстрелялся, положил ружье, удалился с горделивой и независимой осанкой. Должно быть, он близок к Хрущеву настолько, что может вести себя в его присутствии свободно, без смущения и раболепства. Зато Мжаванадзе явно не по себе. Он старается быть поближе к хозяину и в то же время боится оскорбить излишней близостью, сохраняет неустойчивое расстояние в полтора шага, отрывисто хохочет. Он сейчас очень похож на алкаша, попавшего в чистую компанию, жаждущего, но не очень надеющегося, что ему поднесут спасительную стопочку.

Хрущев хозяйским жестом указывает Мжаванадзе на стол:

— А ну-ка!

И Мжаванадзе с готовностью хватает со стола ружье.

В синее небо летит тарелочка. Бац! — вдребезги! Новая тарелочка... Бац! — вдребезги!.. Еще, еще, еще... Мжаванадзе с веселым лицом, выражая всем телом предельную вежливость, осторожненько положил ружье на прежнее место. Ему уже протянули приз — фарфоровую статуэтку, густо покрытую позолотой. Он прижимает ее к паху.

Хрущев решительно стягивает с себя пиджак.

А в стороне из тесной кучки зрителей раздаются замечания откровенно насмешливые: мол, держись, посыплются сейчас черепки. Я с любопытством оглядываюсь — интересно, кто это позволяет себе так вольно высказываться в адрес главы государства? Узнаю сре-

ди зрителей тяжеловесную Нину Петровну, понимаю, что тут собралось семейство Хрущева. Эти могут себе позволить.

В расшитой «антисемиточке», расставив короткие ноги, розовые уши настороженно торчат — Хрущев наизготовке с ружьем.

Взвивается в небо тарелочка. Бац — мимо! Тарелочка падает к земле. Вторая... Бац — мимо!.. Бац! Бац! — тарелочки целы... Оцепенел с прижатым к паху позолоченным призом Мжаванадзе.

Только одну тарелочку из десяти разбил Хрущев. Он положил ружье и сел на стул...

Полные плечи обмякли, руки повисли, отполированная голова опущена, уши, невинно-розовые, обиженно торчат в стороны — неутешно мальчишеское во всей рыхлой фигуре. Право, так и хочется подойти, погладить по лысой макушке: «Брось, лапушка, горевать. Эка беда, на другом сноровку покажешь».

А в стороне безжалостно посмеиваются:

— Настрелял уток — не унести.

И стоит перед убитым Хрущевым Мжаванадзе, прижимает к паху золоченый приз, мнется и не знает, куда смотреть. Вот уж кому не позавидуешь...

И вольные шуточки со стороны семейства.

Вдруг Хрущев встает. Тело его, только что обмякшее, становится сбитым, движения скупые, лицо не в шутку сурово, и розовые уши торчат уже не обиженно, а почти угрожающе.

Шуточки со стороны не прекращаются, но Мжаванадзе вышел из столбнячка, облегченно распрямился, с преданной собачьей надеждой смотрит, как Хрущев берет ружье.

Рукава «антисемиточки» подтянуты, ноги расставлены тяжелым корпусом вперед, голова склонена — бычок посреди дороги, объезжай кругом!

Летит тарелочка... Выстрел! Осколки осыпаются на землю. Выстрел!.. Осколки!.. Выстрел! Выстрел! Выстрел!.. Черт возьми! Возможно ли это? Лишь одна тарелочка падает целой на траву.

Хрущев победно кладет ружье.

Я не знаю, было ли тут холопское жульничество. Не знаю, каким способом выбрасываются в воздух тарелочки. Можно ли за несколько минут сделать так, чтоб они сами по себе разлетались в воздухе, да еще согласованно с выстрелами. Но если это и ловкий ла-

кейский фокус, то в него всей душой поверил и сам Хрущев.

Он положил ружье и прошелся... Просто взад-вперед возле столов. Плечи его играли, грудь и живот, соперничая, рвались вперед, голова вздернута, походочка с радостным содроганием, как у плясуна, входящего в круг, на расстоянии чувствовалось, что каждый мускул под тугим жирком, каждая жилочка возбуждены. Нужно быть воистину гениальным актером, чтоб столь нешаблонно, столь доподлинно разыграть победное счастье — и плечами, и животом, и ногами, ушами даже! Ой нет, так вести себя может лишь человек, который действительно переполнен торжеством, хотел бы, да не в силах его скрыть — распирает!

Родственники со стороны продолжали острить, ничуть не пораженные и не восхищенные удачей, а я, признать, стоял озадаченный.

Да и теперь этот маленький случай для меня — необъяснимая загадка, почти что чудо. И единственное объяснение, какое могу дать, — недюжинность характера Хрущева. Он, не откажешь, обладал сокрушающим напором и мужицким неуступчивым упрямством. Его борьба со Сталиным — доказательство тому. Уже мертвый и развенчанный вождь всех народов отчаянно сопротивлялся. Его вытаскивали из Мавзолея, но он снова в него ложился. Его старались убить умолчанием, а Сталин напоминал о себе тысячами своих бронзовых, мраморных, гипсовых копий, стоящих по городам и весям страны, географическими названиями, глухим ропотом поклонников. Однако Хрущев выкинул Сталина из Мавзолея, выкорчевал по стране его памятники, стер его имя с географических карт, не испугался миллионного ропота поклонников. Попробуйте отказать этому человеку в характере!

Сейчас он с детской непосредственностью радовался одержанной победе — разбил-таки тарелочки, доказал свою сноровку! Ай да я!

К нему сразу же бросились с фарфоровым призом. Он с серьезной важностью, не без величия, как и подобает государственному мужу, принял его и... бросил взгляд на приз Мжаванадзе. А Мжаванадзе ликовал, Мжаванадзе весь лучился — слава те, господи, пронесло! — умильно заглядывал в глаза Хрущеву...

И улыбка сползла с лица Мжаванадзе, он перехватил взгляд хозяина и опустил глаза к своему призу,

который обеими руками стеснительно прижимал к стыдному месту: ей-ей, случилась небольшая оплошность — на затейливой фарфоровой статуэтке Мжаванадзе явно больше позолоты... Хрущев изучающе разглядывал не принадлежащий ему приз.

И Мжаванадзе вскинулся, с готовностью протянул: — Сменяемся, Никита Сергеевич.

Нет, я ничего не придумываю ради красного словца, все было именно так, как я рассказываю, прошу верить. Да, да, Хрущев сменялся, взял приз Мжаванадзе, на котором оказалось больше позолоты. И оба были явно довольны этим обменом.

Тут по всему лесу загремело радио:

— Дорогие гости! Просим вас к столу! Дорогие гости! Просим вас!..

И все потянулись к большому полосатому тенту, растянутому среди сосен. Под ним тесно стояли длинные столы.

Я там был, мед-пиво пил...

Чтоб не упрекнули в голословности, прилагаю сохранившийся документ — карточку меню.

Обед:

Икра зернистая, расстеган
Судак фаршированный
Сельдь дунайская
Индейка с фруктами
Салат из овощей
Раки в пиве

Окрошка мясная
Бульон с пирожком

Форель в белом вине
Шашлык
Капуста цветная в сухарях

Дыня
Кофе, пирожное, ассорти, фрукты

с. Семеновское, 17 июля 1960 года

Стеснительно не упомянуты напитки.

Знатоки утверждают, что в прошлый раз стол был куда обильнее и утонченнее.

Март 1974

ЛЮДИ ИЛИ НЕЛЮДИ

НАРОД м. люд, народившийся на известном пространстве; люди вообще; язык, племя; жители страны, говорящие одним языком; обыватели государства, страны, состоящие под одним управлением; чернь, простолюдые, низшие, податные сословия; множество людей, толпа.

В. Даль. Толковый словарь

Человек с ласковым взором несчастен, доброго везде презирают. Человек, на которого надеешься, бессердечен. Нет справедливости. Земля — это приют злодеев.

Из древнего египетского манускрипта

1

Я дважды в жизни пережил редкостно прекрасное чувство любви. Нет, не к женщине, не к отдельному человеку, а к людям вообще. Просто к людям за то, что они добры друг к другу, душевно красивы.

В первый раз это случилось на подступах к Сталинграду поздним сумрачным январским вечером 1943 года.

Я возвращался из дивизионных мастерских, в противогазной сумке нес заряженный аккумулятор для своей радиостанции. И не то чтобы я заблудился... Просто, пока я торчал в тылу, шло наступление, стрелковые роты, штабы, минометные и артиллерийские батареи двигались вперед. Целый день все менялось и перемещивалось, сейчас остановилось на ночь. Солдаты долбили мерзлую землю, как могли укрывались от шальных пуль, от мин, от холода, кому повезло, попрятались в оставшихся после немца землянках. И сумей-ка теперь разыскать своих.

Я шатался по степи, натываясь на чужие подразделения.

— Случаем, не знаете, где штаб Сорок четвертого?..

От меня отмахивались:

— Тут нет. Топай, друг, не маячь.

И я снова выходил в степь, заснеженную, взорванную воронками. Ночь устало переругивалась выстрелами. Там, где невнятная степь смыкалась с черным низким небом, тускло сочились отсветы далеких пожа-

ров — сальные пятна сукровицы израненной планеты. Не видишь, но кожей чувствуешь, что земля под серым снегом начинена железом, рваным, зазубренным, уже не горячим, остывшим, потерявшим свою злую силу. Это невзошедшие семена смерти. Чуть ли не на каждом шагу торчит или вывернутый локоть, или каменное плечо, обтянутое шинельным сукном, или гладкая, ледяно-прокаленная каска, скрывающая глазницы, запорошенные снегом.

Я привык к трупам, они давно для меня часть быта, ненужная, как для лесоруба старые пни. А когда-то содрогался при виде их...

И вот на этом бескрайнем поле, покинутом всеми, я увидел еще одно бесприютное живое существо. На сукровичное пятно далекого пожара из темноты выковыляла лошадь, на трех ногах, нелепо кланяясь при каждом скоке. Выковыляла и стала понуро — любуйся всласть: голова уронена, натруженная холка выпирает горбом, обвислый зад, страдающе поджата перебитая нога. Ранена и брошена, всю жизнь работала, нажила горб, теперь — не нужна, лень даже пристрелить, зачем, когда и так подохнет от голода, холода, кровоточащей раны.

Я привык к человеческим трупам, но выгнанная на смерть и продолжающая жить с понурым упрямством лошадь обожгла меня жалостью. А нет ничего опаснее жалости на войне.

Некто окаменевший в снегу с вывернутым локтем. Вывернутый локоть — значит, пытался встать, стонал, ждал помощи и... как не пожалеть его. Нет, не смей!

За жалостью сразу придет мысль: ты сам не сегодня, так завтра, не завтра, так послезавтра — ты с вывернутым локтем, с застывшим оскалом, с невыдавленным стоном. И уж тут-то день за днем пойдут в кошмаре ожидания. Ты заранее почувствуешь себя погибшим, на тебя найдет сонная одурь, будешь вяло двигаться, не кланяться под пулями, не припадать к земле при звуке летящего снаряда, неохотно долбить окоп — зачем, все одно конец. И такой очумелый долго не протянет — не свалит осколок, доконает мороз.

Не смей жалеть и не смей лишка думать — война! Огрубей и очерствей, стань деревом!

Я не заметил, как одеревенел. Вот привык к трупам — старые пни в лесу...

Трупы привычно, а выгнанная на смерть рабочая

лошадь, зная не знающая о великом сумасшествии, неведаящая, непричастная, слепо доверчивая, живая военная бессмыслица, нет, не привычно. К тому же я очень устал, а потому не выдержал, отравился опасной жалостью.

Отравленная мысль, как всегда, метнулась к спасительному: «Вот кончится война!..» И споткнулась... «Да, кончится. Может, ты и выживешь... Ты, привыкший к трупам, — старые пни в лесу! Выживет, может, и тот, кто выгнал лошадь... Выживете, но как будете жить? Разучились жалеть, страдать, равнодушны до древесности! Как жить вам потом — порченным среди порченных? Неужели ты думаешь, такая страшная война выветрится из тебя, из других? Выветрится без следа?.. Да оглянись кругом, разве такое не может навсегда войти в душу. Может! Войдет!»

В тусклом отсвете потустороннего пожара горбатилась рабочая коняга — среди окоченелости комков стнувшей плоти, лишняя вещь на земле. И я себя в ту минуту тоже почувствовал лишним — кому буду нужен такой, отупевший от войны! Будущее казалось столь холодным, столь неудобным, что даже надежда — «А вдруг да выживу!» — никак не радовала, а пугала. Я едва ли не завидовал тем, кто уже лежит в снегу, накрывшись прокаленной морозом каской.

Но мерзли ноги в сапогах и в рукава шинели пробирался колючий ветер — я жил, и надо было исполнять солдатские обязанности, искать штаб своего полка. Я двинулся дальше среди воронок и трупов — к людям! Оставив в одиночестве лошадь — не нужна миру, мне тоже...

Через сотню метров я наткнулся на землянку.

Густой воздух, жирно пахнувший парафином от горящих немецких плошек и тем прекрасным, оглушающим с мороза, едким до слез запахом солдатских портянок, овчины, пота, мокрых валенок, который — хошь не хошь, — а с такой покоряющей силой доказывает неистребимость жизни, что заставляет забывать о войне. И этот густой — топор вешай — воздух колеблется от мощного, переливчатого, с изнеможенными стонами, с восторженными захлебками храпа. Так упоенно спать могут лишь солдаты, которым не каждую-то неделю удается растянуться в тепле во весь рост. А здесь даже многие скинули с ног валенки, даром же среди всех прочих запахов победно господствует портяноч-

ный. И, колеблемые храпом, шевелятся огоньки площадок, и сквозь накат, через толщу земли смутно-смутно доносятся вой и похлесты поземки, гуляющей по снежной степи. Нет, что ни говори, а райский угол, обитающе счастливцев.

Счастливыцы лежали вповалку на полу, тесно друг к другу — ладонь не просунешь. От стены к стене, под нарами, на нарах, всюду — буйное пиршество сна.

Один счастливцев не спал, голый по пояс (во как тепло!), освободив дородные и уже немолодые телеса, самозабвенно, с явным наслаждением бил вшей в нательной рубашке, и отсветы качающихся огоньков от площадок хороводились на его лысеющем, без малого ленинском, лбу.

— Эй, ты! Двери! — крикнул он, отрываясь от рубахи, но тут же подобрел голосом: — Радист! Ты как сюда?..

Я узнал его — дядя Паша из комендантского взвода, постоянно торчал на часах у землянки штаба полка, недавно его вместе с помощниками поваров, химвзводниками, хозяйственниками направили в стрелковую роту. В ротах повыбило людей.

Значит, я все-таки добрался до своих.

— Проскочил ты штаб полка, парень, обратно придется топать. Да это недалеко, километра три. Рядом батальонные связисты, от них по кабелю — не собьешься. Покуда лезь сюда, погрейся. — Дядя Паша потеснился.

Наступая на спящих, которые со вздохами шевелились, невнятно мычали и внятно посылали меня по магушке, но не просыпались, я пробрался к нарам и тут же споткнулся о чьи-то ноги. На этот раз спящий беспокойно завозился под нарами и выполз на свет площадок. Передо мной предстал... немец. Щекастенький, сонно розовый, в просторном, сумеречного сукна мундире с бляшками-пуговицами, он жмурился и застенчиво улыбался, словно хотел сказать: «Извините, пожалуйста, что я вас так удивил».

— Что это? — не выдержал я.

Круглая, мясистая физиономия дяди Паши раздвинулась в ухмылке:

— Вот обзавелись... Третьеводни, смех и грех, среди ночи с кухней на нашу позицию въехал. Заблудился в степи и — наше вам, здравствуйте. Кашу его съели, самого хотели в штаб, да там нынче не очень-то нуж-

даются в таких «языках». Вот и прижился... Рад поди, Вилли, что отвоевался?..

Вилли жмурился и улыбался, у него были длинные белесые ресницы, детское простодушие на щекастом лице — лет восемнадцати и того, пожалуй, нет. Мне в тот год едва перевалило за девятнадцать, и я без ошибок, чутьем угадывал — кто моложе меня.

По землянке прошла волна холодного воздуха.

— Эй, Вилли! Якушин пришел, встречай, — объявил дядя Паша, натягивая на себя рубаху.

Приземистый солдат — из-под вязаного заиндевелого подшлемника лишь воспаленные глаза — переминался у входа, примеряясь, как бы не потоптать спящих. Наконец он, втискивая заснеженные валенки между телами, подошел к нам, стянул с головы морозную каску, оказался в ушанке, снял ушанку, остался в подшлемнике, содрал наконец и подшлемник, открыл давно не бритое, чугунное от стужи и усталости мужицкое, обильно губастое лицо.

А Вилли тем временем успел нырнуть под нары, вытащил оттуда объемистый узел, стал суетливо его разворачивать — ватник, плащ-палатка, вафельное, почти что чистое полотенце — и, счастливо рдея, протянул скинувшему полушубок Якушину котелок.

Якушин довольно хмыкнул, потер узловатые красные руки, непослушными пальцами выудил из валенка ложку.

— Ишь ты, заботушка — теплое... — Потеснив меня, он сел на край нар, сурово приказал Вилли: — Садись!

Вилли, взмахивая невинными ресницами, улыбался.

— Кому говорят?.. Навернем сейчас на пару.

Дядя Паша подтолкнул Вилли в спину.

— Шнель! Шнель! Коли просит, чего уж...

И Вилли смущенно пристроился к котелку.

Немецкий парнишка и русский мужик — голова к голове. Я сидел за спиной Якушина, видел его крутой затылок на просторных плечах, усерднодвигающиеся уши, Вилли, вежливо работающего ложкой, дядю Пашу, следящего из-под лоснящегося лба увлажненно добрым взглядом.

Стесняясь своего доброго взгляда, дядя Паша, блуждая извиняющейся улыбочкой, объяснял мне через две склоненные головы:

— Хороший парень Вилли, душевный... Хошь и немец, а человек. Да-а... Это же Якушин его с кухни стащил, а теперь, вишь вон, душа в душу живут.

А я не нуждался в объяснениях, тем более извинительных. Во мне бурно гаяла тяжелая вселенская тоска, которую я принес сюда со взрытой снарядами, заваленной окоченевшими трупами степи. Да, трупы, да, пожарища, да, где-то замерзает лошадь, нажившая на работе горб и выгнанная без жалости. Война! Страшно: она кончится, а жестокость останется. И вот — голова к голове над одним котелком...

Немец начал эту войну, трупы в степи — его вина, велика к нему ненависть, даже у поэта в стихах: «Убей его!» А солдат Якушин, убивавший немцев, делит сейчас свою кашу с немецким пареньком.

Война пройдет, а деревянность и жестокость останутся?.. Как я был глуп! Война в разгаре, рядом линия фронта, с той и другой стороны нацелены пулеметы, а уже двое врагов забыли вражду, где она, деревянность, где жестокость?

Голова к голове, ложка за ложкой и — хлеб пополам.

Кончится война, и доброта Якушина, доброта Вилли — их сотни миллионов, большинство на земле! — как половодье, затопит мир!

Навряд ли я тогда думал точно такими словами. В девятнадцать лет больше чувствуют, чем размышляют. Я просто задыхался от нахлынувшей любви. Любви к Якушину, к Вилли, к дяде Паше, к храпящим солдатам, ко всему роду людскому, который столь отходчив от зла и неизменчив к добру. Слезы душили горло. Слезы счастья, слезы гордости за все человечество!

Я вырос атеистом, не читал тогда Евангелия от Матфея, не знал слов из Нагорной проповеди: «Я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гоняющих вас... ибо, если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то ли делают и мытари?»

Но, кажется, в ту минуту я сам собой до них дозрел, с наивной страстью простодушно верил в невозможное.

Второй раз нечто подобное случилось четырнадцать лет спустя в Пекине.

Я был в составе так называемой культурной делегации Общества советско-китайской дружбы. Мы летали по всему Китаю, и всюду нас встречали пышно, бурно, празднично — толпы, цветы, восторженные лица, страстно тянущиеся руки, церемонно длинные обеды с бесконечной чередой блюд, экзотических до несъедобности. Вкушали змей с хризантемами, пробовали ласточкины гнезда, пили рисовую водку — вкус самогона — за вечную дружбу, братство, за общий путь до конца, и гостеприимные хозяева кричали нам: «Гам-бей!»

По европейскому календарю наступал Новый, 1957 год. Китайцы свой Новый год празднуют весной. Но почему-то в наш праздник нас не предоставили самим себе — мол, отдохните от встреч, выпейте, закусите, поздравьте друг друга, — наоборот, решили усиленно показывать нас молодежи.

Ритуальные беседы за чаем, трибуны, речи о великой дружбе двух великих народов. Попадаем в недавно организованный Пекинский институт кинематографии. Должно быть, в этот институт принимают не по таланту, а по стати. Нас встречают не по-китайски рослые, разбитные и жизнерадостные парни, одетые, как один, в безупречные европейские вечерние костюмы. И девушки в костюмах национальных — яркие шелка, золотое шитье. Столько красавиц, собранных вместе, я не видел в своей жизни — и до, и после, увы! Были и величавые, до оторопи, до зябкости — мраморные в горделивой посадке тонкие лица, на вскинутых, утонченно чеканных бровях покоится непомерная спесь Востока, чужеватый разрез глаз прекрасен, как непостижимое мастерство древнего азиатского ремесленника, и нет плоти, есть воздушность, нет походки, есть плывучесть. Но были и с той щемящей одухотворенностью, не столь красивы, как просты, не бьющие в глаза с налету, а лишь останавливающие взгляд затаенной добротой, и... ты уже непоправимо несчастен, твое сердце тоскливо сжимается — такое вот чудо человеческое, мелькнув раз, пройдет мимо тебя!..

Традиционные кружки чая, но вместо традиционных речей — танцы.

Мне, право же, стыдно за себя и обидно — экий пентюх! Как-то так получилось, что я всегда оказывался в стороне от танцплощадок. Сказать — не поверят: ни разу в жизни не танцевал!

Однако мне не дают сидеть бирюком, подходят.

— Товалис...

И взгляд в зрачки, и ожидание, и просьба.

Стыд. Но сильнее самого стыда — страх перед стыдом грядущим: вдруг да, черт возьми, осрамлюсь!

И надменнобровая красавица с легким удрученным румянцем отплывает от меня. Обидел ее! Надо же!

Новый танец, и снова:

— Товалис...

И взгляд в зрачки. И надежда... А эта из тех — земных, не воздушных, одухотворенных добротой. Да вались все в тартарары! Была не была!

И я впервые в жизни выхожу с намерением совершить ритуальные движения под музыку. И, к своему удивлению, с грехом пополам совершаю, хотя и костенею плечами, поджимаю живот к позвоночнику, стараюсь, стараюсь до испарины.

Но не завидую больше ни старому Валентину Катаеву, плавающему среди кружащихся пар как рыба в воде, ни нашему степенному главе делегации, президенту Академии педнаук Каирову, теснящему толстым животом некое сверхвоздушное создание. И мы, братцы, не лыком шиты!

— Кал-ла-со! Кал-ла-со!

Господи! Меня поняли, меня подбадривают! Славная ты моя, спасибо тебе за доброе слово, только, ради бога, береги свои маленькие ножки — никак не поручусь за себя.

Я готов танцевать и дальше, лиха беда начало, но...

Уже несколько раз к каждому из нас склоняются китайские товарищи из нашей свиты, почтительнейше шепчут:

— Нас ждут в Педагогическом университете.

Опять трибуна, опять речи о нерушимой дружбе — не больно-то охота, сегодня же у нас праздник. Мы дружно и горячо высказываем желание остаться здесь.

— Надо ехать, надо...

Скорбные покачивания головами, понимающе поджатые губы, полнейшее сочувствие, однако:

— Надо! Нас ждут. На два часа опаздываем.

Вкрадчивая китайская вежливость побеждает рус-

ское упрямство: «А, черт! Надо так надо! Пошли — все равно не отцепятся!»

Подъезжая к Педагогическому университету, мы невольно переглядываемся друг с другом и... прячем глаза, поеживаемся. Нас ждут — да! Целая толпа. Ждут уже два часа, если не больше. Ждут на морозе — Пекин не Кантон, зима здесь нешуточная, а одежонка всех китайцев, тем более студентов, — ситчик на рыбьем меху. Нас ждут, и вопль восторга встречает нас. Толпа хлынула, только что не бросаются под машины, все стараются заглянуть в окна, поймать наш взгляд, хоть на секунду, хоть на миг показать счастливое — сплошная улыбка! — лицо. Добровольцы-активисты теснят толпу, иначе не откроешь дверцы машин, мы, закупоренные общим восторгом, не сумеем выбраться наружу.

Один за другим вылезает, и к каждому из нас тянутся руки, десятки рук с отчаянной страстностью, через головы впереди стоящих. Нам не рекомендуют, да мы и сами не решаемся пожимать их. Протянутых рук всегда столько, что церемония рукопожатия может затянуться на добрый час, а мы и так безбожно опоздали. Нас ждут не только эти встречающие энтузиасты. И мы снова виновато переглядываемся — экие сукины дети, засиделись у веселья.

Толпа выдавливает из себя тщедушного студентика с посиневшим от ожидания лицом и мученически вскинутыми бровями — все ясно, выдающийся знаток русского языка, которому надлежит приветствовать высоких гостей. Оттого-то мученически и задраны его брови.

Он встает перед нами, некоторое время собирается с духом, наконец размеренно изрекает:

— Добы-ро пожа-лу-ват, до-ро-гие то-ва-риш-ши! — И сразу же бойко спрашивает: — Что?! — То есть не совсем уверен, то ли сказал.

А так как мы с готовностью слушаем, он продолжает, почти четко, без запинки:

— Вы наши братья!.. Что?!

На этом запас его русского красноречия иссякает, мы жмем ему руки, для ободрения хлопаем его по плечу, и он нас ведет, правда, сначала совсем не в ту сторону, но бдительная толпа и возгласами и тесным напором исправляет его смятенную ошибку, поворачивает на нужный путь.

Нас пытаются усадить за чай, но в воздухе разлито

лихорадящее нетерпение, им заражены мы, заражаются и наши хозяева. Кружки с чаем остаются нетронутыми. Поспешно ведут на сцену...

Зал взрывается аплодисментами. Зал... Едва я кинул в него взгляд, я почувствовал, что встречаюсь с чем-то небывалым для меня, столь властным, чего я не чувствовал ни в одной аудитории.

А мы облетели уже большую часть Китая, в каждом городе, в каждой провинции — по несколько митингов. Мы привыкли к китайскому многолюдю, и сборищами в две, даже в три тысячи нас не удивишь, всюду — восторженность, жадное внимание, щедрые аплодисменты.

Здесь, в общем-то, не так уж и много народу — может, тысяча, может, чуть больше. Не всех желающих вместил этот зал, но вместить еще — хотя бы одного человека — он уже не в состоянии. Никаких скамей, никто не сидит, все плотно стоят. Все вокруг донельзя туго набито лицами. Каждое повернуто на тебя, от каждого истекает напряженное ожидание чего-то особого, непременно счастливого. Лица сливаются в нечто единое, монолитное, а поэтому истекающее от них ожидание тоже столь слитно едино, что обретает плоть, я его физически чувствую, мне почти больно.

И как они умудряются еще аплодировать в такой тесноте?

Но аплодисменты стихают, а ожидание возрастает — до взрывоопасности!

Я случайно кидаю взгляд на самый первый ряд, на тех, кто вплотную придавлен к сцене. Лица рядом, от моих ботинок — один шаг, рукой дотянись. Лица девочек с сияющими глазами. На них нет национальных красочных одежд, они в затасканных, застиранных хлопчатобумажных робах, в которых ходит весь Китай, мужчины и женщины, рикши и министры. Но почему-то девочки кажутся празднично нарядными. От светлых улыбок, от сияющих глаз?..

Не только.

Они и в самом деле принарядились. Как могли, каждая. У одной в черных волосах кокетливый бантик, у другой цветная косыночка на шее, у третьей ворот затасканной робы расстегнут и старательно расправлен, чтоб видна была белая глаженная кофточка. Очень белая, очень чистая, похоже, что шелковая, не для каждого дня.

И меня оглушает простая мысль: они стоят в первом ряду, в самом первом! Но, чтоб занять этот ряд, девочки должны прийти сюда не два часа назад, ко времени назначенной встречи. Чтоб быть ближе к нам, девочки явились сюда, по крайней мере, часа за четыре. Целых четыре часа, добрую половину рабочего дня они стояли и ждали, ждали, ждали...

Чего?

Чтоб увидеть меня и моих товарищей, людей весьма заурядной наружности? Может, они читали наши книги — Валентина Катаева, мои, — с девичьей экзальтированностью полюбили нас? Ой нет, не так-то мы известны в Китае, нас едва знают профессионалы, те, кто специально занимается русской литературой. А уж девочки-то наверняка и не слышали наших фамилий. Но что-то заставило их ждать четыре часа. Никто не требовал от них этой жертвы, не организаторы же вечера принудили нацепить кокетливые бантики, повязать праздничные косыночки. Мы им нужны. Ждали, ждут! Ждет и оглушает нас своим требовательным, счастливым ожиданием переполненный зал. Каждое лицо словно излучает свет. Тысячи направленных на тебя лиц, больно от их мощного света — слепят, сжигают. Все замерло, как перед чудом.

И позднее я ни разу не испытывал на себе столь сплоченное, любовное — да, любовное, нельзя назвать иначе! — людское внимание. Наверное, только выдающиеся пророки и великие вожди испытывали такое. Мы не пророки и не вожди, ни наших имен, ни наших дел не ведают в этой стране. Почему нам это, испепеляющее?.. Почему?

Только теперь я как-то могу объяснить: мы тогда были олицетворенной надеждой, наглядным будущим. Этим парням и девушкам настойчиво твердили, и они все с готовностью верили: впереди вас ждет земной коммунистический рай! Русские отвоевали его раньше, они уже люди будущего, почти что райские жители. Как пропустить встречу с ними, как не постараться встать к ним поближе, к ним, счастливым, чтобы увидеть воочию то, что ждет тебя! Здесь собралась только молодежь, из разных уголков Китая, из разных слоев народа, нищего китайского народа, забитого, затравленного, надрывающегося в непосильном и неблагодарном труде. Народа, лишенного в течение тысячелетий даже каких-либо надежд. Молодежь легко убедить надеж-

дой — грядущее прекрасно! Да окажись вы на их месте, в их возрасте, с их надеждами, разве не ринулись бы вы на встречу... с будущим?

Прав ли я?.. В тот момент я и не искал ответа. Ко мне повернуты лица, лица, лица. Зал распирает от счастливых молодых лиц. И кто-то не сумел сюда втиснуться. Здесь малая часть народа. Юная его часть. Молодость необъятного народа взирает на меня. И снизу, с расстояния в один шаг — девичьи сияющие глаза. От меня ждут... ждут великого. Если б я мог сейчас отдать свою жизнь! Что моя маленькая жизнь по сравнению с этим народным ожиданием?.. Если б мог!..

То же самое, должно быть, чувствовали и мои товарищи, я видел, как все они подобрались, подтянулись, вскинули головы, у каждого выражение почти трагической взволнованности. И подозрительно блестят глаза. Даже у Пети, стукача нашей делегации, который и раньше бывал в Китае с какими-то заданиями, хвалился нам, что сиживал за одним столом с Чан Кайши, ругал китайцев за темноту, за восточную лживость, за жестокость друг к другу. И этот Петя сейчас сдерживает слезы, как и я...

От любви к девочкам с сияющими глазами, от любви к тем, кто стоит за ними, к людям за этими стенами, людям этой страны, ко всем, всем людям на свете! Всемирно необъятное чувство, задыхаешься от него!..

3

О Бояны, соловьи старых и новых времен! Кто из вас, «скача по мыслену древу, летая умом под облакы», не воспевал народ?

Совесьть народа, воля народа — нечто запредельно высокое, чему нет сравнения. Сила народа неисчислима, мудрость народа безгранична. От него и только от него исходит та сокровенная доброта, которая и поддерживает жизнь на земле.

Сталин постоянно низкопоклонничал перед народом, главным образом русским: «...Потому, что у него имеется ясный ум, стойкий характер и терпение».

Непримиримый враг сталинизма Солженицын тоже утверждает за народом приоритет ясности ума и стойкости характера. В его романе «В круге первом» не

высокоученные и высоконравственные интеллигенты, собранные злой волей Сталина-Берии-Абакумова в «шарагу», несут слово обличающей мудрости, его провозносит старик сторож, представитель простого народа: «Волкодав — прав, людоед — нет!» Философское кредо объемистого романа.

Ну, а кумир современного витийства Евтушенко с завидным апломбом и прямоотой объявляет:

Все, кто мыслит, — тот народ,
Остальные — население!

Гитлеровцы, сжигавшие в печах Майданека и Освенцима детей, сталинисты, разорявшие и ссылавшие миллионы крестьян, миллионами расстреливавшие своих единомышленников, маоисты, заварившие кровавую кашу «культурной революции», респектабельное правительство Трумэна, бросавшее на уже обескровленную, сломленную Японию атомные бомбы, — все они, столь разноликие, действовали от имени народа, во благо его, не иначе!

Великие русские писатели прошлого столетия, как никто, восславляли народ, исходя из общепринятого положения, что в нем — и только в нем, народе! — заложены лучшие духовные качества. И лишь у Пушкина настораживающим диссонансом прорывается что-то противоположное:

Паситесь, мирные народы!
Вас не разбудит чести клич.
К чему стадам дары свободы?
Их должно резать или стричь.
Наследство их из рода в роды
Ярмо с гремушками да бич.

Стихи Некрасова, романы Достоевского, мятущиеся поиски Льва Толстого по сути — развитие и углубление старинной притчи о добром самаритянине, простонародном носителе бесхитростной и спасительной для мира человечности.

В меру своих сил я старался быть верным учеником наших классиков, и меня всегда властно тянуло на умиление перед милосердием самаритян из гущи народной, но жизнь постоянно преподносила мне жестокие разочарования.

Я пробыл в той живительно душевной, упоенно хляпущей землянке каких-нибудь полчаса, а казалось, набрался надежды на всю жизнь. Если только будет у меня эта жизнь, если посчастливится увидеть конец войны, то меня окружают люди, уставшие от крови и ненависти, истосковавшиеся по любви... И тогда немец повернется раскаянным лицом к русскому. И, как это ни невероятно — да, да! — матери простят им погибших сыновей, сыновья — потерянных отцов. Так нужно, так будет. Якушин, хлебавший из одного котелка с Вилли, — тому порука.

А утром снова забесновались артиллерийские батареи, залаяли минометы, гулом отозвалась земля с чужой стороны — мы поднялись в наступление. Вперед к Сталинграду, где сидят зажатые со всех сторон немцы. Уже близко!

После полудня вошли в хутор где-то на подступах к Воропонову.

Средь придавленно плоской белой степи раскиданы черные, свежие углища, в каждом из них горбатится печь, даже трубы и те сбиты снарядами. По измятой гусеницами земле тянется нечистый дымок, угарно пахнущий горелым мясом, паленой шерстью. Брошенная гаубица глядит тупым рылом в невнятную просинь ясного зимнего неба и похожа на сидящую гигантскую собаку, только что не воет. И под ногами немецкие противогазы в жестянках, каски, игрушечно красивые ручные гранаты, как крашенные пасхальные яйца.

Хутор? Нет. След от него. Таких снесенных с земли селений осталось много за нашей спиной. Мы даже не успевали поинтересоваться, как они называются.

Печные трубы сбиты снарядами, а колодезный журавель остался — косо торчит, сиротливо смотрится. Под ним плотно сбитая, плечом к плечу, куча солдат — шинели, овчинные полушубки, белые маскхалаты, торчащие винтовки, покачивается тяжелый ствол противотанкового ружья, — а вокруг суетня, сбегаются любопытные, втискиваются в толпу, другие выползают, сердито крутят шапками, жестикулируют, и все красноты. Что-то там случилось, что-то особое, солдаты возбуждены, а уж их-то в наступлении трудно чем-либо удивить.

Я тоже, как и все, спешу к общей куче, придерживая на груди автомат.

Навстречу бежит солдатик, путается валенками в полах шинели, лицо вареное, бабье, тонко, по-старушечьи причитает:

— Люди добрые! Да что же это?.. Изверги! Семя проклятушее!..

Второй солдат, низкий, кряжистый, эдакая глыба, упрятанная в полушубок, вываливается из толпы, с минуту одурело стоит, с бычьей бодливостью склонив каску, с усилием разгибается, на темной заросшей физиономии белые, невидящие глаза.

— Якушин! — узнаю я его. — Что тут?

Он, глядя слепым выбеленным взглядом мимо меня, выдавливает тяжелое ругательство:

— В бога, мать их! Миловался! Ну, теперя облакаю!..

И, качнувшись, идет с напором, широкие плечи угрожающе опущены, каской вперед.

Спины с тощими вещмешками, в каждой напряженная сутулость. А за этими спинами мечется, как осата-невшая лиса в капкане, надрывно слезливый, с горловыми руладами голос:

— Бра-тцы! Любуйтесь!.. Брат-цы-ы-! Это не зверье даже! Это!.. Это!.. Слов нету, брат-цы!..

Я плечом раздвигаю спины, протискиваюсь вперед, толкаюсь, цепляюсь автоматом, но никто не замечает этого, не огрызается.

Обледенелый сруб колодца, грузная обледенелая бадья в воздухе, обледенелая с наплывами земля. На толстой наледи — два странных ледяных бугра, похожих на мутно-зеленые, безобразно искривленные, расползшиеся церковные колокола, намертво спаянные с землей, выросшие из нее. В первую минуту я ничего не понимаю, только чувствую, как от живота ползет вверх страх, сковывает грудь.

— Брат-цы-ы! Мы их в плен берем! Чтоб живы остались, чтоб хлеб наш ели!..

Я не могу оторвать взгляда от ледяных колоколов, лишь краем глаза улавливаю ораторствующего парня без шапки, с развороченной на груди шинелью.

И вдруг... Внизу, там, где колокол расплзается не-померно вширь, кто-то пешней или штыком выбил широкую лунку, в ее сахарной боковинке что-то впаяно, похоже на очищенную вареную картофелину... Пятка!



Голая смерзшаяся человеческая пятка! И сквозь туманную толщу, как собственная смерть из непроглядного будущего, смутно проступили плечи, уроненная голова — человек! Там — внутри ледяного нароста! Окруженный пышным ледяным кринолином. Перевожу взгляд на второй колокол — и там...

Их трудно разглядеть, похожи на тени, на призрачную игру света с толщей неподатливо прозрачного льда. Не тени, не обман зрения — наглухо запечатанные, стоящие на коленях люди. Оттого-то и угловаты эти припаянные к земле колокола. Нет, нет! Не хочется верить! Но мои глаза настолько свыкаются, что я уже начинаю различать нательное белье, покрывающее плечи тех, кто внутри. И пятка торчит из выбитой лунки, желтая, похожая на вареную смерзшуюся картофелину.

Простоволосый парень рвет на груди лацканы шинели, машет зажатой в кулак шапкой.

— Так их, брат-цы!.. Потроха вытягивать из живых!..

И кто-то угнетенно, угрюмо, без запальчивости произносит:

— Это те... Из пешей разведки... Третьего дня двое не вернулись.

— Брат-цы-ы!!

А толпу качнуло. Сначала негромко, угрожающе глухо:

— Опсовели.

— И в войну знай меру...

— Того и себе, видно, хотят.

— Да мы ж их теперь!..

И осатанелый всплеск:

— Захаркают кровью!

— Потроха из живых!

— Так их в душу мать!

— О-о-о!

— У-у-у!

И я тоже вопил что-то злое и бессмысленное.

— Тих-ха!

На расползшуюся наледь выскочил пехотинец в копотном полушубке, вскинул над ушанкой сжатые в рукавицах кулаки — дядя Паша, непохожий на себя. На багровой физиономии раздуты белые ноздри, желтые прокуренные зубы в оскале.

— Тих-ха! Слушайте!.. Коль они так, то и мы так! Чего зря глотки драть! С-час!.. Вот с-час покажем. Отольются кошке мышкены слезы!

- Отольются — жди!
- Покуда доберемся до них — подождем!
- Всегда так — покричим да остынем!
- Тих-ха!! Побежали уже... С-час! Вот с-час при-

ведут...

Я ничего не понимал и, как все, с надеждой взирал на дядю Пашу с чужим оскалом на красном лице, неповоротливого, в завоженном окопном полушубке судию, вещающего отмщение. И я хотел этого отмщения, всей воспаленной душой, каждой взвинченной клеточкой негодующего тела.

Очнулся от ликующего до рези в ушах вопля:

— Веду-ут!!!

Толпа протаскала меня в одну сторону, в другую и распалась, давая проход. Еще не до конца понимая, еще ничего не видя, я успел ощутить некую отрезвляющую неуютность.

И она сразу же сменилась ужасом... Пополам согнут, головой вперед, на русой прилизанной макушке вздыбленный хохолок. Вскинулось от толчка и вновь упало к земле лицо, одеревенело бледное и щекастое — Вилли! Двое солдат заламывали ему руки — один незнаком, второй — пузырящаяся каска лежит прямо на широких плечах. Якушин...

Толпа развалилась, давая проход, но упруго колыхалась, готовая вот-вот сомкнуться, обрушиться на заломанную жертву.

Дядя Паша, пророк-судия в окопном полушубке, уже успокоившийся, без оскала, степенный, важный, сознавая свою высокую ответственность, сдерживал накаленную толпу:

— Тих-ха! Тиха! Не лезь! Не больно-то... Что толку — сомнете. Живым его надо...

И простоволосый парень в расхристанной шинели приплясывал в проходе, сучил ногами, отступая шагком за шагком перед жертвой, захлебывался:

— Братцы! Только не все! Только раньше времени не смейте... Вежливенько, братцы, вежливенько!..

И толпа сжималась, напирала, но натужно сдерживалась. Из нее вылетали лишь советы, трезвые и беспощадные:

— Башку ему подымите, пусть посмотрит!

— Верно! Пусть знает — что за что!

— Проникайся, гад!

Якушин с добровольцем-помощником вытолкнули

Вилли к колодцу на наледь. Он разогнулся, зеленый, как лед, с раскрытым ртом, помятый, стал дико оглядываться, явно не замечая ледяных колоколов.

А парень-активист в расхристанной шинели тыкал шапкой в ледяные колокола и восторженно, почти умиленно, взхлеб:

— Ты, милый, сюда смотри, сю-юда-а!

Вилли глядел на напивавших людей, на обросшие, искаженные ненавистью солдатские лица. У Вилли была крупная голова и узкие, нескладные плечи под суконным мешковатым мундиром.

— Хватя! Раздевай! — приказал сурово дядя Паша.

И парень в расхристанной шинели деловито насадил на голову шапку, уцепился за мундир Вилли, и тут-то толпа ринулась, десятки рук вцепились в одежду. Вилли закричал, не по-детски, даже не по-человечьи — сипло-каркающе, с захлебом.

Я уже не видел Вилли — закрыли, слышал только его рвущийся крик и озабоченные голоса:

— Ишь, сучье вымя, дергается.

— Держи, держи, я стяну...

— На колени ставьте!

И торжествующий возглас парня:

— Брат-цы! Воду!..

Заскрипел, стал нагибаться колодезный журавель, а я, вцепившись обеими руками в автомат, попятился, натываясь спиной на суетящихся людей.

Нет, я не сорвал автомат с шеи, не остановил, я даже не крикнул. Люди перестали быть людьми, я их боялся.

Что мой голос для них? И что мой автомат? Здесь был вооружен каждый. Я трусливо пятился.

Склонялся и выметывался колодезный журавель. Давился в крике Вилли.

5

Продолжение второй моей истории наблюдал в 1966 году китаевед Желоховцев.

Вот отрывок из его записок¹.

«У библиотеки соорудили высокий дощатый помост—

¹ А. Желоховцев. «Культурная революция» с близкого расстояния. М.: 1973.

не то трибуну, не то эстраду, не то эшафот. На фоне красных знамен на нем стоят выстроенные в шеренгу люди, опустив на грудь головы в ушастых бумажных колпаках. На многих бумажные накладки, сплошь покрытые надписями. В руках они держат фанерные щиты с перечнем «преступлений». На груди у некоторых висят плакатики: «Черный бандит».

— Склони голову! — вдруг услышал я возглас за спиной и резко обернулся: к импровизированному эшафоту вели сравнительно молодого человека. Двое держали его под руки, а третий ударял по затылку — человек этот не желал опускать голову, он стойко и упрямо выпрямлялся.

Тогда конвойные остановились, стали осыпать осужденного бранью и бить куда попало. Избиваемый не сопротивлялся, он шатался из стороны в сторону, пытаясь устоять. Проходившие по аллее студенты сгруппировались вокруг жертвы.

— Контра! Сволочь! — неслись выкрики.

Человек упал, и все наперебой стали пинать его ногами, но он не издал ни одного стога или крика.

Вдруг от собравшейся на судилище толпы отделился человек пять и бегом понеслись к нему, крича:

— Его будут судить массы. Ведите его сюда!

Разъяренная толпа, только что с холодным ожесточением избивавшая беззащитного человека, при властном крике мгновенно дисциплинированно расступилась. Жертва недвижимо лежала на асфальте.

— Вставай! — крикнули подбежавшие студенты еле дышавшему человеку, подняли его и потащили к эстраде. Избитый из последних сил несколько раз пытался поднять голову, но, получив затрещины, беспомощно ронял ее снова. Я смотрел, как его вытащили на сцену и прислонили к заднику, обтянутому красной тканью. Он соскользнул на пол. Ему приказали встать на ноги и вlepили несколько увесистых пощечин, но тщетно. Тогда подошел здоровенный детина — кто-то из ведущих активистов — и заработал солдатским ремнем. Удары ремня привели избитого в чувство, он встал на ноги. На него натянули бумажный колпак клоуна и накинули бумажную хламиду. Двое юнцов начали быстро что-то писать на ней черной тушью. Еще один парень замазал его лицо белой краской, макая кисть в большую консервную банку — в старом национальном театре злодеев гримировали белым...»

Читаю дальше: «В тот же день я возвращался из клуба советского посольства. Собрание перед библиотекой продолжалось. Осужденные по-прежнему стояли шеренгой, у самого края рампы, держа на вытянутых руках над головой фанерные щитки с перечнем своих «преступлений». Время шло, и вдруг люди начали один за другим мешковато валиться на помост. Все глазели на них, но никто не подходил, не трогал их — это, видимо, никого не удивляло. Я был настолько потрясен этим зрелищем, что не удержался и спросил стоявшего рядом паренька с красной повязкой, что с ними.

— Они стоят так целый день. Человек же не может простоять долго, держа руки над головой, вот они и падают, — охотно объяснил он мне, нарушая строгий запрет вступать в разговор с иностранцами. — Только их нечего жалеть. Ведь это черные бандиты и предатели. Они захватили власть в парткоме и насаждали здесь черное царство. Зато теперь пришло время и революционные массы спросят с них.

А в это время на эстраду, освещенную ярким светом ламп, вышли молодые ребята с ремнями в руках и принялись самозабвенно хлестать упавших. Те поднимались, снова падали, фигуры «революционеров» прыгали вокруг них, пряжки ремней поблескивали в лучах света, а возбужденная толпа, требуя смерти, скандировала:

— Ша! Ша! Ша!¹»

Все это происходило в том самом Педагогическом университете, где я пережил одни из самых светлых минут своей жизни.

6

Едва ли не всю жизнь меня отравляла загадка дяди Паши и Якушина. Учился в институте, спорил до хрипоты о судьбах человечества, читал умные, выстраданные книги, ездил по стране, сам стал писать книги и всегда помнил рвущийся крик Вилли.

Были же добры в землянке эти дядя Паша с Якушиным. Что за нужда им притворяться: «Душевный человек Вилли...» И: «Братцы! Воду! Живьем его!»

Доброта и лютая жестокость — как это может находиться в одной шкуре? Когда дядя Паша и Якушин были сами собой — в землянке или у колодца?

¹ Смерть! (китайск.)

Кто они, собственно, — люди или нелюди?!

Там, у колодца, озверела целая толпа. И невольно припоминаешь годы, когда едва ли не весь наш народ вопил в исступлении: «Требуем высшей меры наказания презренным выродкам, врагам народа!» Требуем смерти, жаждем крови! Нет, нет! Дядя Паша и Якушин — не случайное уродство, к ним применимо избитое выражение «типичные представители».

По капле воды можно судить о химическом составе океана. Того океана, который зовется Великим Русским Народом, за которым всеми признается широта и доброта души!

Я горжусь своим народом, он дал миру Герцена и Льва Толстого, Достоевского и Чехова — великих человеколюбцев. И вот теперь впору задать себе вопрос: мой народ, частицей которого я являюсь, — люди или нелюди?!

Как тут не отчаиваться, не сходить с ума!

Подозреваю: такой же вопрос может задать любой и каждый человек на планете о своем народе.

В Кремлевском зале шел III съезд советских писателей. Выступал сам Хрущев, учил писателей, как надо писать и о чем писать.

Рядом со мной сидел сотрудник отдела культуры ЦК Игорь Черноуцан и растерянно крутил головой.

— Ни одного слова. Ну, ни одного...

Как и положено, выступление было заранее запланировано и подготовлено. Сейчас Черноуцан слушал своего высокого хозяина, изумленно крутил головой и тихо сетовал — ни слова из написанного Хрущев не произносит, вдохновенно импровизирует. И куда только его не заносит, даже в поэзию. Вспомнил неожиданно некоего Махотько, шахтера, писавшего стихи в отдаленные времена хрущевской юности. Перед избранными писателями страны с энтузиазмом были прочитаны махотькинские шедевры. Кто-то стыдливо клонил голову долу, кто-то пожимал плечами, кто-то ухмылялся про себя, ну а кто-то ликуяще взрывался аплодисментами, вскакивал с места, чтоб его ликование не осталось незамеченным.

Впоследствии газеты устроили усиленную облаву на этого Махотько, хотели напечатать, прославить, прочесали страну во всех направлениях и... не нашли. Подпочвенный поэт, шахтер Махотько оказался странным мифом. Многие заподозрили — уж не сам ли Хрущев

легкомысленно грешил в молодости стихосочинительством, застенчиво прикрывшись сейчас псевдонимом?

Хрущев наконец иссяк и сошел с трибуны. Казалось бы, после Юпитера и боги и смертные должны молчать, следует объявить долгожданный перерыв. Ан нет, слово предоставляется Корнейчуку. И тот, захлебываясь от восторга, в течение двадцати минут с упоенным усердием, по-лакейски грубо поет аллилуйю Юпитеру:

— Историческая речь Никиты Сергеевича... Мудрое слово Никиты Сергеевича... Мы все потрясены. Мы прозрели...

Тут уж стыдно было, кажется, всем без исключения, и тем, кто сидел в президиуме рядом с Хрущевым, и тем — кто в зале. Клонились ниц, прятали глаза, не вскакивали с мест в ликование. Не испытывали стыда только двое — вдохновенный Корнейчук и сам Юпитер. Хрущев сидел с горделивой осаночкой, высоко держал голову, величаво взирал — очень, очень ему нравилось!

С должным запалом, с приличествующим — до мокроты в голосе — проникновением Корнейчук произнес здравицу и с чувством исполненного долга ретировался. Перерыв! Расходитесь! Э-э, нет, погоди — еще один ритуал.

Хрущев занимает место на выходе, и каждый из членов президиума съезда, проходя, обязан с изъятием чувств пожать ему руку. Тут уж — кто во что горазд, со всей изобретательностью.

Почтенный глава Союза писателей Константин Федин с картинной благоговейностью берет за руку Хрущева и сгибается — раз, другой, причем поразительно низко, к самым хрущевским коленям. Рука в рукопожатии оказывается намного выше седого затылка. Какая, однако, гибкая спина у этого старейшего писателя, воистину резиновая.

Леонид Соболев, напротив, жадно хватает руку Хрущева обеими руками и трясет, трясет, столь судорожно, что сам весь жидко трясется. Трясется и приседает в изнеможении, набирается усилий, разгибает ноги и снова трясется, снова обессиленно оседает... Уф! Наконец-то кончил, испарился.

Не столь приметные члены президиума — из союзных республик — подкатывали бочком, коснувшись руки, обмирали и ускользали.

Александр Твардовский с подчеркнутым достоинством подошел, с подчеркнутой вежливостью пожал руку — не задержался.

И вот сцена опустела, на ней остались только двое — Хрушев, дежурящий у входа, и в самом дальнем углу Валентин Овечкин, с прядью, уроненной на лоб, с поднятыми плечами. Он что-то не торопился подыматься. А Хрушев ждал, не уходил.

Делегаты съезда, дружно освобождавшие зал, замешкались, кто застывал в охотничьей стойке, кто опускался на первое же попавшееся место, выжидательно тянул шею.

Овечкин в углу, недвижимый Хрушев у входа — руки по швам, спина деревянно пряма, живот подобран, лоб бодро склонен. Томительная минутка...

Но вот Овечкин решительно встает, напористо идет к выходу. Выход загорожен, и Овечкин останавливается.

Склоненный лоб против склоненного лба, коренасто подобранный Овечкин и тяжеловесно плотный, взведенный Хрушев, у обоих руки по швам. В двух шагах, глядят исподлобья, не шевелятся.

Овечкин дернулся, плечом вперед, с явным намерением прорвать осаду. И Хрушев не выдержал, поспешно, даже с некоторой несолидной суетливостью вскинул руку. Овечкин походя тряхнул ее и исчез.

Я, веселясь про себя, направился в гостиницу «Москва», где остановился Овечкин.

Не скинув пиджака, он ходил по номеру, раздраженно зелен, мелкие, обычно рассеянно добрые глаза сейчас колючи, в углах губ жесткие складочки.

— Ты что комедию ломаешь?

Он пнул монументальный плюшевый стул старой гостиницы.

— Комедию начал он!

— Напоминало ребячью игру в гляделки — кто кого?

— Знает, что мне противно жать ему руку, оттого-то и ждал — пугану, мол, в штаны наложит.

— Ты что, объявлял ему об этом «противно»?

— Письма писал.

— Насчет рукопожатия?

— Насчет всего. В открытую! Без беллетристики. Сначала писал вежливо, потом сердито, а уж последние письма — матерные! Писем двадцать пять! Не могли они мимо пройти, особенно последние — показали, не сомневаюсь. И ни на одно!.. Ни на одно не ответил!

— Рассчитывал его образумить?

Овечкин яростно повернулся ко мне, схватил за лацканы пиджака.

— А на что можно рассчитывать стране? На какую силу?! На крикунов, которые снова готовы звать Русь к топору? Не хватит ли играть в эти игрища? От них только реки крови да кровавые болота! Снова старым голосом петь: «Весь мир насилия мы разрушим!..» Разрушим, но не построим! От змеи змея рождается, от насилия — насилие! Хочу силу направить на разумное! А у нас теперь есть одна сила — власть!

— Считаешь — власть может все?

Овечкин выпустил из рук мой пиджак, устало сел.

— Все, — сказал он тихо и убежденно. — Даже больше, может и невозможное.

— Например?

— От примеров деваться некуда. Взбалмошный человек заставляет: делай, страна, что моя левая нога захочет! Прикажет на Луне сеять кукурузу — будем! Сам по себе он бессилен, а его власть сильна. Ее бы направить на полезное дело!..

— У любого из русских царей было, ей-ей, не меньше власти — самодержцы всея Руси! — напомнил я. — А могли бы они заставить сеять кукурузу?

— Хреновые, видать, самодержцы. Четыре царя, начиная с Екатерины, картошку вводили. Восемьдесят лет волюнили — льготы, премии, бунты умирjali. И ввели потому только, что в конце концов мужик разнюхал — полезна картошка. А кукурузу за Полярным кругом — нет уж, жидковаты самодержцы!

— Бунты умирjali... А у нас, заметь, без всяких усилий — не только бунтов, мало-мальского непослушания не было. С какой стати ты нашей власти приписываешь силу, которой она и не применяла. На чем ты ее сумел увидеть?

Он долго молчал, смотрел в окно на рыжую кремлевскую стену, дыбашущую из зелени Александровского сада.

— Знаешь, — глухо произнес он наконец, — это страх! Дикий страх перед властью, убивающий рассудок.

— Но слишком уж невнушительны сейчас методы запугивания — ни карательных отрядов, ни репрессий, самое большее — начальнический окрик да удар кулака по столу. Право же, причин пугаться нет.

— Сейчас невнушительно... Сейчас! А вспомни, что было. Не только вслух говорить — думать боялись, как

бы «черный ворон» ночью не выгреб из постели к следователю, который прежде, чем уйдет за колючую проволоку или поставит к стенке, потешится — прикажет ломать кости, вгонять под ногти иголки. Говорят: Мойсей сорок лет водил евреев по пустыням, чтоб вымерло поколение рабов, вместе с ними исчез из народа рабский дух. У нас, наверное, тоже должны смениться поколения, чтоб исчез страх перед властью, даже перед начальническим окриком.

— Да страх ли? — усомнился я. — Припомни сам, как люди во времена «черных воронов» бесновались на собраниях. Скажешь, не было восторга в этих беснованиях? Искреннего восторга, поклонения перед жестокостью. Да я подростком сам его переживал, видел — переживают и взрослые. От страха ли такая искренность?

Овечкин молчал, смотрел в гостиничное окно на кремлевскую стену. Лицо его было каменно, и только подобранные губы судорожно напряжены. Он молчал, значит, сознавал мою правоту, иначе уж обрушился бы с возражениями. Он молчал и, кто знает, не вспоминал ли, что сам верил и восторгался. Унизительные воспоминания — кто из нас может избежать их?

Поддержанный его молчанием, я решился на крамольное:

— Мы считаем, что «черные вороны» Сталина — причина испорченности народа. Страхом, видите ли, заразили, поколения должны вымереть, чтоб исчез сей порок. А может, все наоборот — оттого и «черные вороны» стали рыскать по ночам, что сам народ был подпорчен — покорностью, безынициативностью, той же рабской трусостью.

Овечкин резко повернулся ко мне.

— Думай, что говоришь! — почти с угрозой.

— То есть не святотатствуй! — подсказал я с вызовом.

— На народ списывать?!

— Ну да, народ же свят и чист! Совесть его — запредельна, воля — несокрушима, мудрость — непостижима. И вот почему только те, у кого нет ни совести, ни воли, ни мудрости, подчиняют, извращают столь сильный и святой состав человечества?

Овечкин закричал:

— Списывать на народ!.. На на-род!! Все равно что кивать — стихия виновата, на то воля божья! Как мож-

но жить с таким бессильем? Жить и еще писать книги!

Он был прав — жить трудно. И сам скоро подтвердил это, пустив себе из ружья пулю в голову. Пуля, задев мозг, выбила глаз. Овечкин остался жить.

Из Курска, из центральной России, которую столь хорошо знал и любил, изувеченный и больной, он уехал в Ташкент к сыновьям... Там и умер, неприкаянный, забытый, непримиримый.

Наш спор с ним так и остался незаконченным.

8

Но я продолжал спорить с самим собой — все эти шестнадцать лет после разговора в гостинице «Москва». И образ дяди Паши мучил меня — «типичный представитель»? Жестокая загадка.

— Народ — стихия. Не столь ли бессмысленно упрекать его, скажем, в жестокости, как разверзшийся вулкан?

— А, собственно, что такое народ? Как он выглядит?

— Обычно мы представляем себе бесчисленных дядей Паш, некую величественную человеческую массу, нечто необъятное и бесформенное. Но бесформенным-то народ никогда не бывает. Во все времена любой народ представлял из себя определенное устройство.

— Ну и что? Разве это как-нибудь меняет наше отношение к народу?

— Меняет в корне. Мы считаем, что История складывается именно из действий личностей.

— И это не верно? Неужели человек не причастен к своей истории?

— Не верно уже потому, что человек постоянно вынужден поступать вопреки своим личным интересам, своим желаниям. Хочу одного, а делаю совсем иное.

— Например?

— Примеры на каждом шагу. Вот хотя бы самый бытовой, незначительный... По дороге с работы мне нужно зайти в магазин, купить колбасы к ужину. А к продавцу очередь. Я устал, я голоден, мое насущное желание — поскорей попасть домой, поужинать, растянуться на диване. Но я становлюсь в очередь, жду, вынужден пропускать вперед себя других, терять время, поступать вопреки своим желаниям.

— Какое это имеет отношение к истории?

— Иллюстрирует на малом, что человек крайне зависим в своих поступках, не хозяин сам себе.

— Открыл Америку!

— То-то и оно, что всем это известно, глаза намозолило, но странно — никто не принимает этой очевидности в расчет. А ведь, кажется, ясно — если все так зависимы даже в столь мелких человеческих построениях, как очередь к прилавку с колбасой, то уж, наверное, грандиозные общественные построения еще с большей силой должны заставлять любого и каждого поступать против своих интересов, против личных желаний. История складывается из действий личностей. Как бы не так! Сами-то личности действуют не самостоятельно.

— Так кто ими крутит? Господь бог?

— Устройство общества.

— Но общество-то устроено из чего? Из людей же, из отдельных личностей!

— Почка и мозг тоже построены из одних белковых веществ, да по-разному, а потому различно и функционируют. В США живут такие же люди, но представить себе нельзя, чтоб там могла развернуться широкая кулузная кампания. Все понимали: вредно, бессмысленно сеять эту южную культуру в Приполярье, а сеяли — массовый идиотизм! Нельзя же допустить, что русские от природы дуры американцев. Устройство иное, иное и поведение людей.

— Значит — каково устройство, таковы и люди? Ну, а как объяснить чудовищную жестокость дяди Паши у обледенелого колодца? Тоже система заставила?

— Да. Начать с того, что дядя Паша и Якушин находились в весьма своеобразном человеческом устройстве, именуемом действующим фронтом, где одни людские вооруженные массы расположены против других вооруженных масс. Одно это противорасположение уже заставляет прятаться и выслеживать, защищаться и убивать, пребывать в постоянной настороженности и ожесточенности. Землянка на короткое время укрывала солдат от войны. Не надо прятаться, выслеживать, убивать. И дядя Паша с Якушиным на короткое время стали теми, какими были в мирной обстановке. Нет, они тут не притворялись добрыми. Они были ими!

А как ни жестока война, но и в ней существует свой предел жестокости. Обстоятельства на фронте обычно не складываются для солдата так, чтоб он ради выполнения

приказа или спасения себя становился перед необходимостью изуверски пытаться противника.

И вот ледяные колокола — случай необычный, из ряда вон выходящий, вызывающий необычные чувства. А они, в свою очередь, толкают и на необычные действия, причем направленные, требующие какой-то организации. Солдаты, сами того не желая, создали своеобразную карательную систему. Да, да, систему, где люди по-своему взаиморасположены и связаны — с добровольцами-исполнителями, с ведущими и ведомыми. Система действует, перевоплощает солдат в палачей. Дядю Пашу и Якушина в том числе.

— Ну и заврался. Сам сказал: сначала солдаты стали действовать, система сложилась потом в результате их действий. Значит, и палачами стали раньше, система в том не повинна.

— Ан нет, все-таки без сложившейся системы дядя Паша бы до палача не дорос.

9

Автобус катит по московской улице — газетный киоск, убегающие вывески магазинов, громоздкий автокран у обочины, строительный новенький желтый забор, выпирающий на середину мостовой...

Неожиданно из-за забора с перекрестной улицы выскакивает такси. И... скрежет тормозов, как снопы под ветром, валятся друг на друга пассажиры в проходе. Тупой, с причмоком удар и крик женщины, гортанно-резкий, словно голос морской чайки.

В такси оцепеневший шофер, почти мальчишка — подрубленные бачки, нечесаная, по моде, волосня, невызревше угловатый профиль устремлен вперед, куда-то вдаль. За ним грузин в громадной плоской кепке-«аэродром». Он темпераментно крутит «аэродром», дергается всем телом на взирающего в неблагоприятную даль паренька, кипятится. Удар пришелся на переднее крыло, крышка капота отскочила, в ней, изувеченной, живая дрожь.

После чаечного крика женщины в автобусе накаленная тишина, ни шороха, ни шевеления, лишь вливается влажная свежесть улицы в раскрывшиеся при ударе дверцы. Наконец прорезался густой, недовольный баритон:

— Сук-кин сын!

Сразу же въедливо тонкий, со слезной мокрецей голос:

— Сажают за руль сопляков!

И всколыхнулся оскорбленный, грозиво растущий ропот:

— Хорошо — без жертв.

— Как сказать, я вот по рылу получил.

— Ох, господи! Не отдышусь...

— Старую задавили.

— Без-зоб-разие!

Ропот выметает из автобуса одного из пассажиров. Он в жарко распахнутой дошке, в болтающемся на шее кашне, в посаженной на уши шляпе, выхватывает из кармана бутылку и начинает ею угрожающе манипулировать с приплясом:

— Т-ты! Опустит стекло!.. Т-ты! Ды-вад-цать пять человек из-за тебя, плюгавого, нервами сейчас оборвались! Может, тут такие едут, т-ты пальца их не стоишь!.. Опустит стекло! Я тебя бутылкой, бутылкой!..

Парнишка-шофер лишь втягивает свою волосатую голову в плечи и продолжает вглядываться в даль, с другой стороны дергается, крутит кепкой-«аэродромом» грузин.

А внутри автобуса растет раздражение — пассажиры зажигаются воинственностью человека с бутылкой:

— Ехали себе и — какой-то хмырь!

— Из-за него по рылу мне, могло и покалечить.

— Старую придавили чуть ли не насмерть.

— Ох, миленькие, не отдышусь...

— Врежь ему, врежь!

— Открой дверцу, лапоть! Вытащи!

— Не справишься — поможем!

— Кости пощупаем!

— Кос-ти! Таким головы отвинчивать!

И гневно краснеют лица, и расправляются плечи, и победные переглядки, и толкучка возле открытых дверей — дергаются, сучат ногами, готовы выскочить.

Человек с бутылкой, чуя поддержку, возбуждается до неистовства, пляшут ноги, разлетаются полы дошки, кашне сползает с шеи, вот-вот упадет, будет затоптано, и бутылка, отблескивая, крутится над шляпой, и голос тоньшает, рвется от злобы:

— Стекло! Кому сказано — опусти стекло! Все равно не спрячешься! Бутылкой тебе! Бутылкой!

Играет спина под дошкой, сверкает бутылка, автобус подогревает:

— Врежь ему, врежь!

— Крикни кацо, пусть дверку отомкнет.

— Ударь по стеклу, чего уж жалеть!

И человек с бутылкой уже воет нечленораздельно.

— У-о-х т-те-бя!!

Возле него вырастают два парня — простовато одеты, внушительно рослы, должно быть, рабочие с автокрана.

— А ну, раскудахтался!

— Человек влип, без тебя не сладко.

— Рад, скотина, чужой беде!

Бутылка опускается, перепляс замирает, в расхристанной фигуре ни тени неистовства, шляпа, натянутая на самые уши, ползет в плечи.

— Так ведь он что... аварию устроил!

— Без тебя разберутся, мотай отсюда!

В автобусе озадаченная заминка, все тянут шеи, недовольно разглядывают типа в распахнутой дошке, держащего в руке бутылку. И вновь густой недовольный баритон:

— Действительно.

Баритон не дозвучал, как уже подхватили:

— Что верно, то верно — у парня беда.

— Не расхлебается — затаскают теперь.

— Молоденький!

— Слава богу, без жертв — не посадят.

— Зато влетит в трудовую копеечку — машину-то гробанул.

И как прежде — грозиво растущий ролот:

— Бутылку выхватил!..

— Нализался, скотина!

— Ему бы бутылкой по шляпе!

— Эй вы! Врежьте ему! Врежьте!

Те же самые люди, теми же голосами.

— Видишь, какие фортели выкидывает толпа. А что, если предположить, что в автобусе, не считая выскочившего человека с бутылкой, находился всего один пассажир. Так ли бы он вел себя?

— Смотря какой по характеру. Импульсивный, наверное, так же бы возмущался.

— В том-то и дело, что не так, не столь бурно. Даже самый импульсивный. Он бы, конечно, возмутился, однако на его возмущение никто бы не откликнулся, оно

не получило бы поддержки, не подогрелось бы, не стало расти дальше, не достигло степени той активности.

— Хочешь сказать, что и дядя Паша, столкнусь он с колоколами в одиночку, не дошел бы до жестокой крайности?

— А разве можно в этом сомневаться? Казнить человека, да еще таким страшным способом, взять на себя (только на себя!) тяжелую ответственность — нет, тут надо быть патологическим садистом. Дядя Паша им не был — нормальный человек, мог поделиться пайкой хлеба с товарищем, наверное, с риском для жизни мог вытащить из-под огня раненого — человеческое ему присуще.

— То-то и страшно — человеческое присуще, а поступить бесчеловечно способен!

— Не сам по себе, только в компании. Толпа вокруг ледяных колоколов распалила себя, стала той благоприятной средой, где страшный процесс трансформации человека в садиста мог дозреть до конца.

— Почему же тогда ты в этой толпе не дозрел? И вообще, не кажется ли тебе, что ты своими рассуждениями убиваешь личность? Человек живет в окружении других людей, как правило, выстроенных в какой-то порядок, а значит, воздействующих на отдельного человека, направляющих его поступки. А действует ли когда-нибудь человек, как того ему хочется! Бывает ли он сам собой? Имеет ли право называться личностью?

11

Личность — тема, не одного меня пугающая своей непосильной сложностью. Формирование личности, ее восприимчивость, зависимость, эмоциональные и рациональные особенности... великие умы блуждали тут, как в лесу, не добираясь до заповедных ответов.

Нет, не решусь влезать в личность и свою дремучую некомпетентность могу компенсировать одним — рассказать случай, который, как мне кажется, существенно «подправил» мое «я».

Случай внешне незначительный, но для меня постыдный. Было время — думал, что не сообщу его ни матери, ни брату, ни жене, ни детям своим, сам забуду, погребу в глубине души. Но вот, считай, прожил жизнь, и, кажется, она дает мне право быть предельно искренним — открывать то, что обжигало стыдом за себя.

Маршевая рота шла на фронт. Тусклую, высушенную, безнадежно бескрайнюю степь накрывало вылинявшее необъятное небо. Иногда в нем появлялась «рама» — немецкий двухфюзеляжный корректировщик. Не торопясь, не прячась, с хозяйской деловитостью, нарушая нутряным урчанием моторов тихую грусть осеннего воздуха, «рама» кружила над землей. Сотня захомутанных в шершавые скатки солдат, растянувшихся по дороге, не привлекала ее внимания — не дислокация войск, не переброска техники, так себе блукающие.

Все мы пробыли месяц в запасном полку за Волгой в селе Пологое Займище. Мы, это так — мусор отступления, остатки разбитых за Доном частей, доказавшихся до Сталинграда. Кого-то вновь бросили в бой, а нас отвели в запас, казалось бы — счастливы, какой-никакой отдых от окопов. Отдых... два свинцово-тяжелых сухаря на день, мутная водица вместо похлебки, ватные ноги и головокружение от голода и с утра до вечера ненужная маршировка с деревянными, грубо выструганными из досок ружьями.

Вставай, страна огромная,
Вставай на смертный бой!..

Отправку на фронт встретили с радостью.

Лейтенант, которому была вручена маршевая рота, сбился с маршрута, шестые сутки мы блуждали по степи, а продпункты, на которых мы должны были получать пропитание, оставались где-то, бог весть, в стороне. Давно был съеден НЗ, четвертый день никто ничего не ел. Шли, и падающих помкомвзводы подымали сапогами...

Еще в Пологом Займище я сошелся с одним старшим сержантом. Он относился ко мне покровительственно, свысока, и я за это был ему благодарен. Солдат кадровой службы, лет под тридцать, для меня многоопытный старик. Ему нравилось учить меня житейской мудрости, которая вся вмещалась в одно слово — «находчивость». Под ним подразумевалось умение обмануть, и главным образом старшину. Ходячее мнение — нет во всех вооруженных силах такого старшины, который бы не обворовывал солдат. Я совсем не обладал находчивостью, страдал от этого, презирал себя.

Нет, нет, во время похода старший сержант не был рядом со мной, не руководил мною. Истощенные, дви-

жушиеся, как тени, мы уже не в состоянии были проявлять друг к другу внимание, каждый боролся за себя в одиночку.

Очередной хутор на нашем пути, населенный не мирными жителями, а военными. Мы все попадали на обочину дороги, а наш бестолковый лейтенант в сопровождении старшины отправился выяснять обстановку.

Через полчаса старшина вернулся.

— Ребята! — объявил он вдохновенно. — Удалось вышибить: на рыло по двести пятьдесят граммов хлеба и по пятнадцать граммов сахара!

Восторга сообщение старшины, разумеется, не вызвало. Каждый мечтал, что в конце концов нам выдадут за все голодные дни — ешь до отвала. А тут, как милостыню, кусок хлеба.

— Ладно, ладно вам! Понимать должны — от себя люди оторвали, имели право послать нас по матушке... Кто со мной получать хлеб?.. Давай ты! — Я лежал рядом, и старшина ткнул в меня пальцем.

Дом с невысоким крылечком. Прямо на крыльце я расстелил плащ-палатку, на нее стали падать буханки — семь и еще половина. Мягкий пахнущий хлеб!

В ту секунду, когда старшина ткнул в меня пальцем — «Давай ты!» — у меня вспыхнула мыслишка... о находчивости, трусливая, гаденькая и унылая. Я и сам не верил ей — где уж мне...

Тащился с плащ-палаткой за старшиной, а мыслишка жила и заполняла меня отравой. Я расстилал плащ-палатку на затоптанном крыльце, и у меня дрожали руки. Я ненавидел себя за эту гнусную дрожь, ненавидел за трусость, за мягкотелую добропорядочность, за постоянную несчастливость — не находчив, не умею жить, никогда не научусь! Ненавидел и в эти же секунды успевал мечтать: принесу старшему сержанту хлеб, он хлопнет меня по плечу, скажет: «Э-э, да ты, брат, не лапоть!»

Старшина на секунду отвернулся, и я сунул полбуханки под крыльцо, завернул хлеб в плащ-палатку, взвалил ее себе на плечо.

Плотный, невысокий, чуть кривоногий старшина вышагивал впереди меня поступью спасителя, а я тащился за ним, сгибаясь под плащ-палаткой, и с каждым шагом все отчетливей осознавал бессмысленность и чудовищность своего поступка. Только идиот может рассчи-

тывать, что старшина не заметит исчезновения перерубленной пополам буханки. К полученному хлебу никто не прикасался, кроме него и меня. Военная находчивость, да нет — я вор, и сейчас, вот сейчас, через несколько минут это станет известно... Да, тем, кто, как и я, пятеро суток ничего не ел. Как и я!

В жизни мне случалось делать нехорошее — врал учителям, чтоб не поставили двойку, не раз давал слово не драться со своим уличным врагом Игорем Рявкиным и не сдерживал слова, однажды на рыбалке я наткнулся на чужой перепутанный перемет, на котором сидел толстый, как полено, пожелтевший от старости голавль, и снял его с крюка... Но всякий раз я находил для себя оправдание: наврал учителю, что был болен, не выучил задание — надо было дочитать книгу, которую мне дали на один день, подрался снова с Игорем, так тот сам полез первый, снял с чужого перемета голавля — рыбацкое воровство! — но перемет-то снесло течением, перепутало, сам хозяин его ни за что бы не нашел...

Теперь я и не искал оправданий. Ох, если б можно вернуться, достать спрятанный хлеб, положить его обратно в плащ-палатку! Но, расправив плечи, заломив фуражку, вышагивал старшина-кормилец, ни на шаг нельзя от него отстать.

Я был бы рад, если б сейчас налетели немецкие самолеты, шальной осколок — и меня нет. Смерть — это так привычно, меня сейчас ждет что-то более страшное.

С обочины дороги навстречу нам с усилием — ноет каждая косточка — стали подыматься солдаты. Хмурые, темные лица, согнутые спины, опущенные плечи.

Старшина распахнул плащ-палатку, и куча хлеба была встречена почтительным молчанием.

В этой-то почтительной тишине и раздалось недоуменное:

— А где?.. Тут полбуханка была!

Произошло легкое движение, темные лица повернулись ко мне, со всех сторон — глаза, глаза, жуткая настороженность в них.

— Эй ты! Где?! Тебя спрашиваю!

Я молчал.

— Да ты что — за дурака меня считаешь?

Мне больше всего на свете хотелось вернуть украденный хлеб: да будь он трижды проклят! Вернуть, но как? Вести людей за этим спрятанным хлебом, доставать его на глазах у всех, совершить то, что уже совер-

шил, только в обратном порядке? Нет, не могу! А ведь еще потребуют: объясни — почему, оправдывайся...

— Где?!

Скуластое лицо старшины, гневное вздрагивание нацеленных зрачков. Я молчал. И пыльные люди с темными лицами обступали меня.

— Я же помню, братцы! Из ума еще не выжил — полбуханки тут было! На ходу тиснул!

Пожилой солдат, выбеленно голубые глаза, изрытые морщинами щеки, сивый от щетины подбородок, голос без злобы:

— Лучше, парень, будет, коли признаешься.

Я окаменело молчал.

И тогда взорвались молодые:

— У кого рвешь, гнида?! У товарищей рвешь!

— У голодных из горла!

— Он больше нас есть хочет!

— Рождаются же такие на свете...

Я бы сам кричал то же и тем же изумленно-ненавидящим голосом. Нет мне прощения, и нисколько не жаль себя.

— А ну, подыми морду! В глаза нам гляди!

И я поднял глаза, а это так трудно! Должен поднять, должен до конца пережить свой позор, они правы от меня этого требовать. Я поднял глаза, но это вызвало лишь новое возмущение:

— Гляньте: пялится, не стыдится!

— Да какой стыд у такого!

— Ну и люди бывают...

— Не люди — воши, чужой кровушкой сыты!

— Парень, повинись, лучше будет.

В голосе пожилого солдата — крупица странного, почти неправдоподобного сочувствия. А оно нестерпимее, чем ругань и изумление.

— Да что с ним разговаривать! — Один из парней вскинул руку.

И я невольно дернулся. А парень просто поправил на голове пилотку.

— Не бойся! — с презрением проговорил он. — Бить тебя... Руки пачкать.

А я хотел возмездия, если б меня избили, если б!.. Было бы легче. Я дернулся по привычке, тело жило помимо меня, оно испугалось, не я.

И неожиданно я увидел, что окружавшие меня люди поразительно красивы — темные, измученные похо-

дом, голодные, но лица какие-то граненые, четко лепные, особенно у того парня, который поправил пилотку: «Бить тебя — руки пачкать!» Каждый из обступивших меня по-своему красив, даже старик солдат со своими голубенькими глазками в красных веках и сивым подбородком. Среди красивых людей — я безобразный.

— Пусть подавится нашим хлебом, давайте делить, что есть.

Старшина покачал перед моим носом крепким кулаком.

— Не возьмешь ты спрятанное, глаз с тебя не спущу! И здесь тебе — не жди — не отколетсЯ.

Он отвернулся к плащ-палатке.

Господи! Мог ли я теперь есть тот преступный хлеб, что лежал под крыльцом, — он хуже отравы. И на пайку хлеба я рассчитывать не хотел. Хоть малым, да наказать себя!

На секунду передо мной мелькнул знакомый мне старший сержант. Он стоял все это время позади всех — лицо бесстрастное, считай, что тоже осуждает. Но он-то лучше других понимал, что случилось, возможно, лучше меня самого. Старший сержант тоже казался сейчас мне красивым.

Когда хлеб был разделен, а я забыто стоял в стороне, бочком подошли ко мне двое: мужичонка в расползшейся пилотке, нос пуговицей, дряблые губы во влажной улыбочке, и угловатый кавказец, полфизииономии погружено в мрачную небритость, глаза бархатные.

— Братишечка, — осторожным шепотком, — ты зря тушуешься. Три к носу — все пройдет.

— Правыл-но сдэлал. Ма-ла-дэц!

— Ты нам скажи — где? Тебе-то несподручно, а мы — мигом.

— Дэлим на тры, па совесты!

Я послал их, как умел.

Мы шли еще более суток. Я ничего не ел, но голода не чувствовал. Не чувствовал я и усталости. Много разных людей прошло за эти сутки мимо меня. И большинство поражало меня своей красотой. Едва ли не каждый... Но встречались и некрасивые.

Мужичонка с дряблыми губами и небритый кавказец — да, шакалы, но все-таки они лучше меня — имеют право спокойно говорить с другими людьми, шутить, смеяться, я этого не достоин.

Во встречной колонне двое озлобленных и усталых солдат тащат третьего — молод, разтерзан, рожа поло-сатая от грязи, от слез, от распушенных соплей. Раскис в походе, «лабушит» — это чаще бывает не от физиче-ской немочи, от ужаса перед приближающимся фрон-том. Но и этот лучше меня — «оклемается», мое — не-поправимо.

На повозке тыловик старшина — хромовые сапожки, ряха как кусок сырого мяса, — конечно, ворует, но не так, как я, чище, а потому и честней меня.

А на обочине дороги возле убитой лошади убитый ездовой (попал под бомбежку) — счастливей меня.

Тогда мне было неполных девятнадцать лет, с тех пор прошло тридцать три года, случалось в жизни вся-кое. Ой нет, не всегда был доволен собой, не всегда по-ступал достойно, как часто досадовал на себя! Но чтоб испытывать отвращение к себе — такого не помню.

Ничего не бывает страшнее, чем чувствовать невоз-можность оправдать себя перед самим собой. Тот, кто это носит в себе, — потенциальный самоубийца.

Мне повезло, в роте связи гвардейского полка, ку-да я попал, не оказалось никого, кто видел бы мой по-зор. Но какое-то время я не падал на землю при звуке приближающегося снаряда, ходил под пулями, распрямившись во весь рост, — убьют, пусть, нисколько не жалко. Самоубийство на фронте — зачем, когда и так легко найти смерть.

Мелкими поступками, раз за разом я завоевывал се-бе самоуважение — лез первым на обрыв линии под шквальным обстрелом, старался взвалить на себя ка-тушку с кабелем потяжелей, если удавалось получить у повара лишний котелок супа, не считал это своей добы-чей, всегда с кем-то делил его. И никто не замечал мо-их альтруистических «подвигов», считали — нормально. А это-то мне и было нужно, я не претендовал на исклю-чительность, не смел и мечтать стать лучше других.

Странно, но окончательно излечился от презрения к себе я лишь тогда, когда... украл второй раз. Наше наступление остановилось под хутором Старые Рогачи. Посреди заснеженного поля мы принялись долбить зем-лянки. Я и направился на кухню с котелками. И возле этой, запряженной унылыми лошаденками, дымящейся кухни я заметил прислоненное к колесу ветровое стекло от немецкой автомашины. Кто-то из солдат раздобыл его, услужливо принес повару за лишний котелок ку-

леша, пайку хлеба, возможно, и за стакан водки. Мне налили в котелки похлебку, и, отправляясь к своим, я прихватил ветровое стекло. Моя совесть на этот раз была совершенно спокойна. Повар и так был наделен благами, какие нам могли только сниться, он не ползал по передовой, не рисковал жизнью каждый день, не ел из общего котла и землянку сам не долбил, за него это делали dobroхоты, которых он прикармливал. И стекло это повар оплатил из нашего солдатского кошта, нашим наваром, нашей водкой. Услужливый солдатик за стекло свое получил — обижаться не мог, — а сам повар на стекло прав имел не больше, чем я, чем мои товарищи. Я же самоутверждался в своих глазах: чувствую, что можно, а что нельзя, подлости не совершу, но и удачи не упущу, перед жизнью уже не робею.

В обороне под Старыми Рогачами мы жили в светлой, с окном — моим стеклом — в крыше, землянке — роскошь, не доступная даже офицерам.

Больше в жизни я не воровал. Как-то не приходилось.

12

Украденный у голодных товарищей хлеб — лично для меня случай, наверное, даже более значительный, чем страшный эпизод у обледенелого колодца. Дядя Паша и Якушин заставили меня тревожно задуматься, украденные полбуханки хлеба, пожалуй, определили мою жизнь. Я узнал, что значит — презрение к самому себе! Самосуд без оправдания, самоубийственное чувство — ты хуже любого встречного, навоз среди людей! Можно ли при этом испытывать радость бытия? А существовать без радости — есть, пить, спать, встречаться с женщинами, даже работать, приносить какую-то пользу и быть отравленным своей ничтожностью — тошно! Тут уж единственный выход — крюк в потолок.

Я стал литератором, не считал себя приспособленцем, но всякий раз, обдумывая замысел новой повести, взвешивал—это пройдет, это не пройдет, прямо не лгал, лишь молчал о том, что под запретом. Молчащий писатель — вдумается! — дойная корова, не дающая молока.

И я почувствовал, как начинает копиться неуважение к себе.

Не случись истории с украденным хлебом, я бы, наверное, не насторожился сразу, продолжал перед собой оправдывать свое угодливое умолчание, пока в один не-

счастный день не открыл себе — жизнь моя мелочна и бесцельна, тяну ее через силу.

Всех нас жизнь учит через малое сознавать большое: через упавшее яблоко — закон всемирного тяготения, через детское «пожалуйста» — нормы человеческого общения.

Всех учит, но, право же, не все одинаково способны учиться.

13

В Москве проходило очередное помпезное совещание писателей, кажется, опять съезд. Я собирался на него, чтоб потолкаться в кулуарах Колонного зала, встретить знакомых, уже натянул пальто, нахлобучил шапку, двинулся к двери, как в дверь позвонили.

На пороге стоял невысокий человек — одет вполне прилично, добротное ширпотребовское пальто, мальчишковая кепочка-«бобочка», пестрое кашне. И лицо, широкое, скуластое, с едва уловимой азиатчинкой, снующий взгляд черных глаз. Из глубины моей биографии, из толщи лет на меня поплыли зыбкие, еще бесформенные воспоминания.

— Узнаешь? — спросил он.

— Шурка! Шубуров!

— Я. Здравствуй, Володя.

Ни мало ни много, тридцать лет назад в селе Подосиновец мы сидели с ним за одной школьной партой. Он скоро бросил школу, исчез из села.

А несколько лет спустя просочился слух — гуляет по городам, рвет, что плохо лежит.

В первые дни войны один из моих знакомых, возвращавшийся в село через Москву, встретил Шурку на Казанском вокзале. Тот был взвинчен, даже не захотел разговаривать, несколько раз появлялся и исчезал, крутился вокруг грузного мужчины с маленьким потрепанным чемоданчиком.

Наконец Шурка надолго исчез, появился лишь к вечеру, в руках его был потертый чемоданчик.

— Пошли!

Завел в глухой закуток, стал лицом к стене.

— Гляди, да не вякай. Кабана подоил.

Он приоткрыл крышку, чемодан был набит пачками денег.

Мой приятель любил присочинить. Чемодан, полный

денег, — эдакая традиционная оглушающая деталь ходячего мифа об удачливом воре. Скорей всего, баснословного чемодана не было. Шурка Шубуров работал скромнее.

Вот он с прилизанными волосами в тесноватом пиджаке — скромн и приличн — сидит передо мной. И легкий шрамик на скуле под глазом — знакомый мне с детства.

— Давно завязал. У меня семья, двое детей, квартира в Кирове, но жизни нет, съедают, не верят, что жить по-человечески могу.

Он скупенько рассказал, что прошел по всем лагерям:

— По колено в крови, бывало, ходил...

Лет восемь назад он отбыл последний срок и... жить негде, жить не на что, на работу никуда не принимают, прописки не дают. Бродил по Москве, не зная, куда прислонить голову — с вокзалов гнали, с отчаяния решился, пришел на Красную площадь и направился прямо в Спасские ворота Кремля. Его остановила охрана:

— Куда?

— К Никите Сергеевичу Хрущеву. Не пропустите — здесь лягу, идти мне некуда. Или берите обратно, откуда пришел.

Лечь ему под Спасскими воротами не позволили, забрать обратно не решились — за старую вину отсидел, новой еще не приобрел. Его начали передавать с одной охранной инстанции в другую, и везде он твердил одно:

— Хочу встречи с Никитой Сергеевичем. Кроме как у него, правды не найду.

Раскаявшийся преступник, жаждущий ступить на путь добродетели, еще во времена, когда рыскали «черные вороны», вызывал симпатии, прошел косяком по нашей литературе, выдавался за образец высокого человеколюбия: «Ни одна блоха не плоха!» Жестокость редко обходится без сентиментальности. И это-то помогло Шурке Шубурову. Охранные органы прониклись сочувствием настолько, что доложили о нем, бывшем воре, желающем стать честным советским гражданином, Хрущеву. А уж тот кинул через плечо: помочь! И Шурку ласково, почти с почетом отправляют в главный город той области, где он родился, там его ждет квартира, предоставляется работа. Но...

— Съедают. Не могут простить — Хрущев мне помог.

Нельзя не верить — теперь все, что связано с ниспровергнутым главой, вызывает недоверие и вражду. Нельзя и забыть, что сидел с ним за одной партией, шрамик на скуле — не след лагерной жизни, помню его с детских времен.

Но как и чем помочь? Я не Хрущев, кинуть через плечо — помогите! — не могу. Но есть какие-то знакомые в Кирове, не попробовать ли действовать через них?

— Знаешь, я без копейки. А здесь жена и дети...

У меня в эту минуту в кошельке только двадцать пять рублей. Договариваемся о встрече — выясню, заручусь поддержкой, отправишься обратно, ну, а о деньгах на дорогу не беспокойся.

Друг детства, натянув свою кепочку, уходит от меня.

Через час я в Колонном зале, встречаюсь с писателем из Кирова, на помощь которого рассчитываю. Он уже знает о появлении в Москве Шурки Шубурова, Шуркина жена нашла его на совещании, пожаловалась на безденежье, взяла... двадцать пять рублей.

Жена с детишками на следующий день приходит ко мне на дом, но меня не застаёт. Мои домашние, как могли, обласкали ее, посадили за стол, умилялись детишками, снова дали денег.

А спустя еще день или два я получаю по почте извещение — явитесь к следователю в одиннадцатое отделение милиции, что находится рядом с ГУМом.

Следователь милиции, молодой человек со значком юридического вуза в петлице, объявляет: Шубуров арестован в ГУМе — залез в карман. Мелкое воровство осложняется воровским прошлым.

— Провинция, — не скрывает следователь своего презрения. — В ГУМе стал промышлять. Масса народу, толкучка — удобно, а не знает, что где-где, а уж тут-то следят всюду — не развернешься. В его кармане найдены деньги — восемнадцать рублей, указывает на вас — дали вы.

— Дал.

Я рассказываю о нашей встрече, подписываю протокол, прошу следователя: не нарушая законности, проявить снисходительность и человеческое понимание — двое детей на руках и, вполне возможно, вернуться на

прежний путь вынудила его травля, которой он подвергался в родном городе.

Следователь обещает мне, но без особого энтузиазма:

— Правд же, мало чем могу помочь. Схвачен на преступлении, заведено дело — не прикроешь. Разрешите, я распишусь на повестке, иначе вас отсюда не выпустят.

И действительно, милиционер с монументальной фигурой и сумрачной физиономией, стоящий у выхода, придирчиво и подозрительно оглядывает меня с головы до ног. Не то место, где оказывают доверие.

Я чувствовал себя пакостно, словно Шурка попытался обворовать не какого-то неизвестного покупателя в ГУМе, а меня. Зачем ему это было нужно? Какие-то деньги он имел, голодным не был, знал, что скоро встретимся, мог рассчитывать на мою помощь.

В толкучке прохожих на людной Октябрьской улице, неся досаду и недоумение, я вдруг подумал: Шурку уж наверняка не раз уличали, как меня с украденным хлебом, и он снова и снова повторял тот же номер. Значит, не проникался к себе самоубийственным презрением — проходило мимо, ничуть не задевало.

Жизнь учит через малое сознать большое: через упавшее яблоко — закон всемирного тяготения...

А чему я, собственно, удивляюсь: из многих миллионов только один человек оказался столь чутко, что заметил в упавшем яблоке всемирно масштабное. Мне доступно такое? Ой нет.

Все люди сходны друг с другом, никто не может похвастаться, что имеет больше органов чувств, принципиально иное устройство мозга, любой про себя может сказать: «Ничто человеческое мне не чуждо». Но как эти люди не похожи, как по-разному они глядят на мир, различно чувствуют, различно поступают.

Никак не проникнемся азбучным: личность по-своему воспринимает мир.

Сколько личностей — столько миров!

Хотелось бы знать: а как случай у обледенелого колодца подействовал на дядю Пашу? Изменился ли он после своего палачества? Может, стал садистом или, напротив, казнит себя за содеянное?

Навряд ли, скорей всего остался прежним. Если уцелел на войне, то теперь он уже почтенный старик. Прожил жизнь, родные и знакомые, наверно, не считали его злым человеком.

Во мне обнаружилось нечто мое личное лишь после того, как я, голодный, столкнулся из-за полбуханки хлеба с голодными товарищами.

Кто я таков? Каковы мои личные качества? Я это могу узнать только тогда, когда соприкоснусь с окружением, почувствую на себе его влияние.

Бессмысленно говорить о личности, отрывая ее от окружающей среды. Без нее личность просто не проявится.

А для любого и каждого самой существенной частью окружающей среды является его человеческое окружение, всегда каким-то образом построенное.

Каждый реагирует на него по-своему, не похоже на других.

И каждый находится от него в зависимости.

Зависимость еще не значит обезличивание. Наоборот, влияние человеческого окружения и открывает уникальные особенности отдельного человека.

Ты среди масс порождаешь меня. Я в числе прочих — тебя.

До сих пор мы рассматривали случаи, когда массы дурно влияют на личность. Однако бывает же и наоборот:

В конце августа 1947 года я возвращался из своего села, где проводил каникулы, снова в институт. В Кирове — пересадка на московский поезд.

Еще страна не улеглась после войны, еще продолжали возвращаться и эвакуированные, и демобилизованные, и партии вербованных рабочих катили — одни на восток, в Сибирь, другие — на запад, в разрушенные войной области, и соединялись разбросанные семьи, и началось уже бегство из голодных деревень, и потоки командировочных... Великая страна кочевала, заполняя вокзалы пестрым народом, спящим вповалку, мечущимся, голодающим, напивающимся, страдательно мечтающим об одном — о билете на нужный поезд!

К окошечку билетной кассы выстроилась огромная, через всю привокзальную площадь, очередь, тревожно колышущаяся и в то же время обреченно терпеливая, охваченная зыбкими надеждами. Все надеяться не могли — очередь слишком велика, билетов выбрасывалось слишком мало. Растянутый хвост гудел от сдержанных голосов, там сочинялись легенды: «Могут пустить «Пятьсот веселый», дополнительный поезд с товарными ваго-

нами, тогда-то уедем все...» Творили легенды и тут же опровергали их: «Пятьсот веселый» в столицу?.. Не ждите, Москва «веселые» поезда пропускает стороной». Хвост очереди шумел, с легкостью отказывался от надежд, а голова — отрешенно молчалива, замороженно неподвижна. Здесь в счастливой близости к закрытому окошечку кассы стояли те, кто выстрадал это счастье несколькими сутками вокзальной жизни, кто в этой очереди коротал бессонные ночи, много раз впадал в отчаяние, истерзан, изнеможен, держится из последних сил, полон сомнений, не верит уже в удачу. Очередь через всю пасмурную, мокрую от дождя площадь — парад ватников, брезентовых плащей, шинелей со споротыми погонами, платков, кепок, меховых не по сезону шапок, громоздких мешков, чемоданов, вместительных, как сундуки, сундуков, приспособленных под чемоданы.

Наконец голова очереди, стоявшая вблизи окошечка в отрешенном окоченении, вздрогнула, подалась вперед, и дрожь прошла по всей длинной очереди, подавив смех, смыв улыбки, оборвав на полуслове разговоры. Касса открылась! И перекатный ропот от начала в конец, удивленный и недовольный — кассирша вывесила цифру мест, предназначенных для распродажи. Роптать не было ни нужды, ни смысла, без того каждый знал — на всех не хватит. И ропот быстро сменился деловым шевелением.

Середина очереди, ее обильное туловище, выслала незамедлительно вперед своих делегатов-добровольцев, чтоб досматривали и не пускали ловкачей, желающих просочиться к заветному окошечку. Сразу же среди пятка решительных делегатов, в те минуты, пока они шагали к голове, выделился атаман — дюжий парень, кубаночка венчает рубленую физиономию, напущенный чуб, нахальные глаза, золотой искрой зуб во рту.

— Стройся! Стройся по порядку! — напористым старшинским тенорком начал командовать он. — Вы, гражданочка, стояли гут или только приклеидись? А то мы можем и за локоток. У нас быст-ра!..

Но ему сразу же пришлось почтительно отступить перед плечом с малиновым погоном, перед фуражкой с малиновым верхом — железнодорожный милиционер с дремотно недовольным лицом бесцеремонно растолкал очередь и кивнул молодой женщине:

— Сюда!

Втолкнул ее третьей от окошечка.

Женщина была нищенски одета, из просторного, с мужского плеча, затасканного ватника тянулась тонкая, незащитная шея, щеки в нездоровой зелени, запавшие глаза в сухом беспокойном блеске, руки зябко прячутся в длинные рукава.

— Правонарушителей опекаешь, браток? — понимающе осведомился парень в кубанке.

Милиционер не счел нужным повести в его сторону даже бровью, все с тем же дремотным недовольством на лице, выражающим, однако, убежденность в своей силе и величии, удалился.

Парень долго и оценивающе изучал женщину, слепо глядящую перед собой, наконец авторитетно пояснил:

— Лагерная шалава, из заключения. Стараются сплавить быстрее, чтоб не шманала на вокзале.

— А выгодно, братцы, быть жуликом.

— Заботятся.

— Мы тут четвертый день околачиваемся, нас бы кто за ручку подвел.

С головы к хвосту по всей очереди потек недоброжелательный говорок:

— Попробовать тоже... авторитет заработать.

— Попробуй, тогда на казенный счет отправят.

— Только не в ту сторону, куда целишься.

— Это чтой там случилось?

— Да партню лагерных девок поставили в очередь.

— Ну-у, теперь нам еще сидеть.

— За нас лагерные сучки поедут!

— Ах, мать-перемать! Нет жизни честному человеку!..

А парень в кубаночке ораторствовал, подогревал:

— Чей-то билет ей достанется! Может, мой, может, твой!.. Я за родину кровь проливал, а она державе пакостила. Зазря бы в лагерь не сунули. И вот ее берегут, а на меня плевать!..

Женщина молчала, напряженно распрямившаяся, с вытянутой из ватника бледной тонкой шеей, худое лицо безжизненно замкнуто, глаза прячутся в глазницах, только в неестественно вскинутых плечах ощущалось — все слышит, переживает враждебность.

Наконец два человека, стоявшие впереди нее, не участвовавшие в осуждении, получили свои билеты, с резвостью исчезли. Женщина пригнулась к окошечку

кассы. И все кругом замолчали, только ели глазами ее спину в 'объемистом ватнике, уже не находили слов, чтоб выразить свою неприязнь и обиду. Даже парень в кубанке только сплюнул в сердцах.

Но что-то случилось возле окошечка, женщина задерживалась, волновалась, сдавленно объясняла.

— Ну, что там? Бери да проваливай! — не выдержал парень.

Мужичонка с лисьей физиономией и тяжким сидором на горбу, который, однако, не мешал прыткой подвижности, сунулся сбоку, прислушался и откачулся в ликовании:

— А у нее, ребятушки, денег-то нету! Торгуется — на билет не достает!

Парень в кубанке победно из-под чуба оглядел свое окружение, расправил плечи и крикнул уже по-начальнически:

— Пусть проваливает! Эй, кума, чисти место!

Женщина послушно откачулась от кассы, серое в нездоровую зелень узкое лицо, плавающие в глубоких глазницах глаза.

— Не выгорело! — Парень показывал радостно золотой зуб, выпячивал грудь, чувствовал себя героем. — Сходи-ка с ручкой к тем, кто привел. Может, отвалят.

И женщина с трудом разлепила бледные губы:

— Смейся!.. К детям еду, сама больна... Нету денег, откуда?.. Сколько было — хранила, двое суток уже не ела... Смейся!

— Вот, вот, пожалуйста, а я пожалею, — парень, показывая золотой зуб, картинно поворачивался в разные стороны, ждал поддержки.

Но на этот раз кучная голова очереди не отозвалась, все угрюмо отворачивались. Отворачивались, не хотели знать чужой беды. Минутная неловкая тишина. Женщина грязным рукавом ватника досадливо смахивала слезы. И мужичонка с большим сидором глядел на нее, конфузливо мялся, покрывал.

Из-за его спины — «ну-кося, расшарашил!» — вынырнула старушка, развязала платочек, скупенько заковырялась в нем сухонькими пальцами, протянула бумажку.

— Сколь не хватает-то! Немного, чай?.. Возьми, милая, может, еще кто даст. Больше-то не могу...

Старушка совала бумажку женщине, та слабо отмахивалась:

— Не, бабушка, что уж...

— Да бери, бери! Стыдного нет. Не все же без сердца — поймут...

Мужичонка с сидором решительно крикнул, с досадою полез за пазуху.

— И правда, девка, с миру по нитке — голому рубаха. Я тоже вот к детям еду, с гостинцами... Да бери ты, коли дают!

Женщина глядела в землю и не шевелилась, над впалыми щеками проступили два вишневых пятна. Чей-то густой решительный бас взорвался за платками и кепками:

— Чего вы как нищенке суете! Пройди кто по очереди да собери! Не откажут!

Парень в кубанке с размаху хлопнул себя по коленке:

— Вер-на! Организация нужна!..

Он сорвал с себя кубанку, достал из кармана пятирублевую бумажку, повертел ее перед толпой — любуйтесь, что жертвую! — шагнул к старухе.

— Кидай, бабуся, свой рублишко! И ты, дядя!.. Граждане! Кто сочувствует... Граждане! Не обременяя себя, так сказать, по мере возможности!.. Каждый может оказаться в стеснительном положении... Спасибо!.. Тронут!.. Еще спасибо...

Очередь уставших, издерганных людей, только что накаленных недоброжелательством, только что презиравшая эту приведенную милицией женщину, завидовавшая ей, считавшая едва ли не врагом, теперь охотно бросала в подставленную кубанку смятые деньги.

А женщина смотрела вниз, щеки ее цвели пятнами и блестели от слез.

Парень, раздумываясь, посверкивая зубом, прижимая кубанку, прошествовал к окошечку кассы, обернулся к очереди.

— Прошу кого-нибудь сюда — для контроля! Хотя бы ты, дядя, проследи: не для себя, пользуясь случаем, только для нее!.. Чтоб не было неприятных недоразумений, чтоб честно и благородно до конца!

И опять из-за платков и кепок прокатился давящий бас:

— Бери и себе заодно, раз так! Что уж, всех одним билетом не спасешь!

— Нет, я честно и благородно до конца!.. Ни в коем разе!

Женщина стояла, уронив вдоль тела рукава ватника, и плакала.

Парень в кубанке достал билет, сел в поезд. И что — стал другим, уже не хамовитым по натуре, а чутким? Наивно думать. Он остался прежним.

Но если он окажется в таком человеческом устройстве, которое заставит его не от случая к случаю, а год за годом поступать отзывчиво, не хамовито, то можно ли сомневаться, что отзывчивость у него превратится в привычку, привычка — в характер. Изменится личность.

Люби ближнего своего, не убий, не лжесвидетельствуй!.. Пророки и поэты, педагоги и философы тысячелетиями на разные голоса обращались к отдельно взятому человеку: совершенствуйся сам, внутри себя!

Я бы рад самоусовершенствоваться — любить, не убивать, не лгать, — но стоит мне попасть в общественное устройство, раздираемое непримиримым антагонизмом, как приходится люто ненавидеть, война — и я становлюсь убийцей, государственная система выдвигает диктатора, он сажает и казнит, заставляет раболепствовать, я вижу это и молчу, а то даже славлю — отец и учитель, гений человечества! В том и другом случае лгу и не могу поступить иначе.

Благие призывы моралистов ко мне: совершенствуйся! Они давно доказали свое бессилие.

Мы все воедино связаны друг с другом, жизненно зависим друг от друга — в одиночку не существуем, — а потому самоусовершенствование каждого лежит не внутри нас: мое — в тебе, твоё — во мне!

Не отсюда ли должна начинаться мысль, меняющая наше бытие?

1975—1976

ДЕНЬ, ВЫТЕСНИВШИЙ ЖИЗНЬ

1

Эшелон в последние сутки гнал без остановок. Сейчас он ползет по рельсам, ощупывает колесами стык за стыком, стык за стыком — тягостно долго. Но вот тор-

мозной скрип, лязг буферов — встал! В набитой теплушке смачный басок возвещает:

— Приехали!

Приехали не куда-нибудь, а на фронт.

У каждого из нас путь к фронту наверняка не прямой, а с загибами.

Я окончил школу за полтора часа до начала войны. В два часа ночи мы, переставшие быть десятиклассниками, разошлись с выпускного вечера, в три тридцать, как известно, немецким войскам был отдан приказ перейти нашу границу — «час Ч» по их планам.

В двенадцать дня это стало известно всем. Полчаса потребовалось ребятам нашего класса сбежаться к школьному крыльцу, полчаса мы митинговали друг перед другом, еще через полчаса с торжественно патристическими физиономиями вступили в военкомат: «Требуем немедленно отправить нас на фронт!» Военком до обидного легкомысленно отнесся к нашему похвальному патриотизму: «Отправим, не засидитесь».

Мои товарищи не засиделись, всех их быстро направили в училища — кого в пехотное, кого в танковое, кого даже в авиационное. У меня врачи обнаружили черт-те что, астигматизм — плоховато, оказывается, вижу правым глазом. Военком посочувствовал: «Попробую тебя в интендантское». Меня это «попробую» возмутило до глубины души: «Портянки считать? Ни за что! Пойду рядовым».

И целых два месяца ждал.

Отправили по первому снежку с партией парней из дальних деревень пешком с котомочкой до станции. Свои восемнадцать лет я встретил на пересыльном пункте. И верилось тогда — до фронта рукой подать.

Но... «Со средним образованием шаг вперед!» — в дивизионную школу младших командиров.

На головокруглительно высоком берегу реки Вятки горделивый старинный собор. В нем в три этажа — едва не до купола — дощатые нары. В нем незримо присутствует дух великого Суворова, бросившего в свое время неосторожную фразу: «Тяжело в учении, легко в бою!» А потому у нас ежедневно строевые занятия, время от времени изнурительные броски по сто километров и больше и не слишком обременительное обучение воинскому мастерству.

Учимся прямо на нарах, там, где спим. Помкомвзвода простуженным голосом читает Устав караульной

службы, косит начальственным глазом — кто дремлет?

— Курсант Тенков! И шо я казав?

Еще не проснувшись, оказываешься в стойке «смирно», руки по швам, только не по-уставному на коленях — на нарах не вытянешься во весь рост по форме.

— Один наряд вне очереди!

Отметок в школе не ставят, знания поощряются нарядами. В ночном карауле чаще всего стоят те, кто не освоил Устав караульной службы.

По военному времени срок подготовки младших командиров сокращен. Через два месяца мы прикалываем к полевым петлицам сержантские треугольники — в часть! Теперь-то на фронт?.. Нет, погоди. У части пока есть только номер, самой части не существует. Повезли на формировку за Вологду. Делим черные, свинцово-тяжелые сухари, хлебаем вместо супа мутную водичку, промерзаем до костей на ночных часах, еле таскаем ноги и мечтаем: скорей бы на фронт, обрыдло!

В очередной раз среди ночи поднимают по тревоге, ведут на станцию, нас ждет эшелон. Наконец-то!

Черной ночью минуем Москву, в великом городе ни одного огонька. Настраивались на дальний путь, а высаживают очень быстро — под Тулой. Фронт здесь был, но в прошлом году далеко ушел. Осталась разгромленная усадьба Ясная Поляна, у входа подбитый немецкий вездеход, продырявленные пулями бочки из-под горячего. А уже всю весна — ярая грязь на дорогах и захлебываются соловьи. Потомки тех соловьев, которых слушал Лев Николаевич Толстой, когда писал сцену смерти Хаджи-Мурата. Нам же не до соловьев — мокро, холодно, кружим, не понять, зачем, по толстовским местам, месим грязь, спим в полях по ометам соломы.

Новая станция, новый эшелон — вот теперь-то уж без обмана на юг, там большие бои. Куда нас бросят, под Харьков или под Ростов?..

И крепко пригревает весеннее солнышко, бойко стучат колеса. На разъездах нагоняем другие эшелоны, солдаты высыпают из теплушек, появляется обшарпанная балалайка. Эх!..

Барыня, барыня, барыня-сударыня!..

Топчут кирзовые сапоги шлаковую земельку между путями.

Но далеко не доехали до Харькова, тем более до

Ростова, как поскущнели сводки Совинформбюро — немец прорвал фронт. Колеса теплушек застучали медленнее, на какой-то станциюшке загнали нас на запасные пути — прочно застряли.

Наступило лето, пока мы наконец тронулись...

— Приехали!

Загромыхали отодвигаемые двери, толкаясь, переругиваясь, похохатывая, сыплются солдаты из теплушек. Вздвигаются залиvistые голоса помкомвзводов:

— Пе-р-рвый аг-невой! Выгружаться!

— Вта-арой аг-невой!..

— Взвод управления, строиться! Быс-стр-ра!

Мутно-голубой, неохватно плоский мир. Тяжело отдувается паровоз, за ним хвост — пыльно-бурые вагоны, платформы с зачехленными пушками. Рельсы вперед, рельсы назад, а вокруг пустота, ни намек на какое-либо строение, ни кособокой будки, ни объездных путей, только затуманенная предрассветная степь да пепельный купол неба. Дымчатые дали загадочны, распахнутый мир безучастен к нашему приезду. Хоть какое-нибудь шевеление, хоть бы ветерок подул. Не по себе от покоя, война идет!

Но гремят копыта коней по сходням, суетятся ездовые, покрикивают огневики:

— Р-раз-два! Взя-ли!

Пушки покачивают зачехленными пламегасителями, степенно сползают вниз.

Все-таки приехали. Война где-то рядом.

2

Пушки к бою едут задом,
Это сказано давно.

С царским почетом, попарно цугом шесть лошадей тянут одно длинноствольное семидесятишестимиллиметровое орудие. А их шестнадцать, четыре батареи, восемь огневых взводов — солидно выглядит колонна дивизиона. Нахохлившись, торчат на конях ездовые, орудийные расчеты, как воробы, тесно на лафетах и зарядных ящиках, а взводы управления — разведчики и связисты — пешком. Марш! Марш!

Дорога как бы скачет по степным волнам, появляется на гребне, тонет, вновь появляется, чем дальше, тем тоньше, призрачней, пока не растворится в зыбкой про-

сини. Ездовые впадают в дремоту, кони шагают сами, подшевеливать не надо, и стволы орудий важно кивают чехлами: марш, марш!

А я оглядываюсь назад, поражаюсь ясному спокойствию неба за спиной. Оно еще не подрумянено, еще не пробилась лучи солнца, не подпалили закраину неба, но скоро, скоро оно займется... Замечаю, оглядываются и другие. На то, что было...

У каждого за спиной дом, мать, отец, братья, сестры, либо жена, либо девчонка, с которой целовался у калитки. Я с девчонкой у калитки пока не целовался, еще не успел. Но дом за спиной есть. Он в далеком, далеком отсюда селе Подосиновец, окна выходят на травянистый пустырь, на старую, со сквозной колокольной церковь, на грозово-синие лесные заречные дали. Глава и законодательница в доме мать, она всегда командовала отцом, мной, моим младшим братишкой. Теперь под ее началом только брат. Отец был комиссаром в гражданскую войну, в эту его призвали сразу же, на второй день. И вот уже восьмой месяц от него нет писем... Пусто в доме, неуютно матери, жалуется на брата — непослушен. Есть еще одна живая душа, рыжий кот, гуляка и лиходей, давит соседских цыплят, промышляет по кладовкам...

Оглядываемся назад, на свое прошлое, но даже поезда, который нас привез, уже нет, спешно отбыл, чиста степь. Порвано с прошлым. Марш! Марш! К Линии Фронта!

Мы встречались с теми, кто уже успел побывать возле Нее, жадно расспрашивали, но эта Линия, пересекающая теперь нашу страну от Черного моря до Ледовитого океана, так и осталась загадкой из загадок. Никому не по силам было рассказать о Ней. Скоро Ее сами увидим. Она там, где небо смыкается со степью, но как ни размашиста степь, а часа за два пересечем Ее. Тянут кони пушки, мы идем.

Вбивая в слежавшуюся пыль тупые короткие ноги, шагает наш помкомвзвода Зычко, из пухлой спины растет крутой, как булыжник, подбритый затылок. Время от времени Зычко оборачивается всем сбитым корпусом, хозяйски озирает нас недремлющими совиными очами.

— Пыд-тя-нысь!

Так, для порядку, никто не отстает. После долгой жизни в тесной теплушке приятно размяться по свежему занимающемуся утру.

С ленцой, вразвалочку выступает Сашка Глухарев, рослый разведчик. С него хоть картину пиши образцово-показательного бойца — комсоставский ремень туго стягивает тонкую талию, гимнастерочка заправлена без морщинки, на широком плече небрежно болтается карабин, на бедре шашка, на ногах не кирзачи, как у всех нас, а яловые, гармошкой, еще не тронутые пылью сапоги. И лицо у Сашки внушительное, треть его уходит на квадратный подбородок с тщательно выбритой ямкой посередине. Даже Зычко остерегается командовать Сашкой, а сам командир дивизиона майор Пугачев при встрече здоровается с ним за руку.

Как всегда, рядом с Сашкой Чуликов, тоже разведчик, но совсем другого покроя. Поход только начался, а он уже в запарке — мотня галифе сползла до колен, сапоги с широкими голенищами воют нескладно со свисающей шашкой, острый нос из-под каски напряжен. Спотыкающийся на каждом шагу Чуликов — студент из Москвы, и никто лучше него не делает расчеты для стрельбы: без всяких таблиц мгновенно соображает в уме и никогда не ошибается. Сашка опекает Чуликова и забавляется им.

— Чулик, у тебя баба была?

— Пошел к черту!

— Нет, серьезно, сколько их перебрал за жизнь?

— Не считал.

— Так много? Со счету сбился!

— Отстань, жеребец!

— Отстаю, Чулик, отстаю. Ты вон каков, со счету сбился. Где мне за тобой угнаться.

Плечо в плечо со мной телефонист-катушечник Ефим Михеев, над костистым носом кустистые пшеничные брови, закрывающие глаза. Молчун, хозяйственный мужичок-кулачок, Ефим частенько выручает меня по мелочам. Отвалилась пуговица от гимнастерки, потерялась звездочка с пилотки, нужна чистая тряпочка для подворотничка — все появляется из его вовсе не объемистого вещмешка. По армейской разнарядке я его прямой начальник, но он зовет меня сыном, а я его батей. Мне никогда не приходится ему приказывать, да и просить тоже. Батя раньше меня соображает, что нужно выполнить, и выполняет на совесть.

Сейчас к нему липнет Нинкин — тоже мой телефонист, тычет под костистый нос ножичек с наборной ручкой.

— Вещь али не вещь? Взгляни.

Ефим молчит, не смотрит.

— За одну ручку осьмушку отвалят. Мастер делал. Ефим молчит.

— А я с тебя на пять заверток табачку прошу. Грабь, пока не раздумал.

Ефим выдавливая ухмылочку.

Нинкин мал ростом, суетлив, физиономия смуглая, нос с горбинкой, густые, сросшиеся над переносицей брови: «Меня мама с цыганом прижила». Наверно, так оно и есть. Сейчас Нинкин в подозрительно замасленной гимнастерке, потасканные галифе с аляповатыми заплатами на коленях, да и вместо сапог стоптанные башмаки с обмотками. А ведь на формировке всех обмундировали в новенькое. И уже можно не сомневаться, запасной пары белья в мешке Нинкина нет. Все он изловчился сменить, пока ехали к фронту, на самогон да «на закусь».

Степь вздрогнула, шевельнулась, зарумянилась полосами, старчески покрылась морщинами. Все заоглядывались, все, даже ездовые на конях. И на медных лицах радостные розовые оскалы. Краешек солнца, оторвавшись на пядь, висел над землей. Багровый глаз изумленно взирал на нас. И даже взбитая на дороге пыль зацвела.

Но это происходило у нас за спиной, а там, куда мы шли — марш! марш! — упрямо держалась угрюмая просинь, ночной неразвезанный осадок. Солнце подымется вверх, привычно прошестует по небу, и закатится оно там. Но мы опередим его, там будем много раньше. Вкрадывается тихая до ужаса мысль: кто-то из нас не доживет до заката. Идем в бой, боев без жертв не бывает.

Уверенно вбивает короткие ноги в дорогу помкомвзвода Зычко. С ним у меня старые счеты, еще по дивизионной школе — и там был моим помкомвзвода, постоянно гонял по нарядам.

Красавец Сашка Глухарев легко несет себя по земле, еле поспевает за ним путающийся в шашке Чуликов.

Нинкин пристаёт к бате Ефиму:

— Три завертки табачку. Грабь, жила!

С ними на марше и я.

Кто-то из нас... И никто почему-то не обмирает от неизвестности. Идем в бой.

Возле нас вспыхивает веселье...

Сзади натужно вызревает солнце, на дороге зашевелились тени, степь улыбочиво рдеет местами, высокими взлобками, низинки же, как озера, заполнены тающими сумерками. И тронулся ветерком воздух, прогладил по степи, в ней серым козликом заскакало перекасти-поле, спутанный клубок колючек. Радостен белый свет, прекрасна выпавшая тебе жизнь.

Огневики не выдержали, попрыгали со своих насестов — приятней шагать, чем трястись на лафетах. Они сразу внесли оживление в колонну, заметили отчаянно воющего со своей шашкой Чуликова.

— Эй, разведка, продай селедку!

Это избитый повод для шуток, но вовсе не безобидный для разведчиков. По старой традиции разведчикам в артиллерии на конной тяге положены кавалерийские шашки. Их выдали, а коней нет. Шашки старые, в облезлых ножнах, тупые, как доски тяжелые, что стволы противотанковых ружей, украшеньице. Что может быть нелепее, чем кавалерист без коня. Конями же в походах пользуются орудийные расчеты, не снабженные шашками. Кому досада, кому забава.

Приятель крикнувшего участливо спрашивает:

— И зачем тебе, Вася, селедка?

— От мух отмахиваться.

Огневики ржут, разведчики помалкивают.

— Вынь клинок, фараон, чё зубы скалят.

— Ой, ой! Разбежимся. Кто из пушек стрелять будет?

— Они селедками немецкие танки порубят.

— Как бы не затупились.

— Наточат. Эвон у Зычко зад, что жернов.

Зычко вышагивает, выставив грудь, презрительно воздев подбородок — бог и царь в своем взводе, над разудалыми огневиками он власти не имеет. Но Чуликова смутила столь наглая дерзость, в очередной раз спотыкается о злосчастную селедку и...

— Ох-ох! Не порежься!

— Га-га-га!..

Все грохнули — растянулся.

Смеемся мы, связисты, смеется Сашка, смущенно улыбается подымающийся Чуликов. Ему сочувствуют:

— Сестричка-то с норовом, солдатик.

Один Зычко хмур и важен, топчет дорогу, не обращает внимания на веселье.

Высокий тенор полудурашливо-полувсерьез заводит:

Солдатушки, бравы ребятушки,
Кто же ваши сес-стры-ы?..

Несколько бодрых голосов охотно подхватывает:

Наши сестры — сабли востры,
Вот кто наши сес-стры-ы!..

Пожарно разгораясь, пошло, пошло по колонне. Вступают и те, кто вдали, в веселье не участвовали:

Наши гости лезут сюда в злости.
Раз-зомнем им кос-сти-и!

Без спешки, уверенно выступают в ременной оснастке кони, качаются стволы орудий. Степь все румянится и румянится, молодеет, яснее и раздвигается небо, к нему несется счастливо-заносчивый — трын-трава! — вызов:

Наши пушки — тоже не игрушки.
Грянем в наши пуш-шки!

И я, безголосый, самозабвенно пою. Легок мой шаг, просторно в груди, высоко держу голову, радость жизни распирает меня. Впереди война, кого-то из нас ждет смерть, идем ей навстречу и — трын-трава, все нипочем. Знать, правда, есть что-то сильнее смерти.

Первое серьезное открытие в наступающем дне.

4

Дорога оживилась. Только что шли одни, вольно шагали — марш! марш! — и не заметили, как стало тесно. То и дело слышится скачущая по колонне команда:

— Принять вправо!.. Вправо принять!..

Нас обгоняют танки, устрашающе высокие «КВ», обдают пылью, бензиновой гарью, натруженным теплом, земля дрожит, до того тяжелы ходячие крепости. Они в лязге и грохоте исчезают вдали, будут раньше

нас. Давай, родимая силушка, выручай страну, а мы поможем: «Наши пушки — тоже не игрушки...»

— Принять вправо!

Нагруженные грузовики один за другим. Уступи мотору, конная тяга! Ездовые усердствуют кнутами:

— Вороти, сатана! Тудить тебя в селезенку!

— Принять вправо!

Новые машины жмут нас на обочину. На каждой какое-то сооружение, укрытое брезентом, похоже на складные пожарные лестницы. Что ж, все может быть, где стреляют, там и горит. Только что-то чересчур многовато пожарных машин... А по колонне уже летит почтительное:

— «Катюши»... «Катюши»...

Эге, еще те пожарники — не тушат, а жгут. Под Москвой припекли немца. Таинственное оружие, в тылу о нем ходят дивные сказки, дух захватывает.

«Катюши» тоже раньше нас будут на месте. Тесно на дороге, сила идет, берегись, фриц!

Солнце уже высоко, жжет сквозь гимнастерку, от пыли першит в горле, во фляжке у пояса вода, однако терпи. До Линии Фронта шагать да шагать...

Но через несколько шагов фронт вдруг оказался рядом, прямо над каской.

С неба упал тягучий моторный вой, приглушенная очередь. На дороге легкий сбой, солдаты натыкаются друг на друга, задирают лица.

— Эх, мать честна! «Мессер» «кукурузника» давит.

Висит в стороне над степью самолетик — два крыла этажерочкой, растопыркой колеса. Он отчаянно стрекочет, но это ему мало помогает, ползет, буксует в воздухе. А возле самого солнышка, коршуньи темный, разворачивается другой самолет. Подставился на секунду солнцу, словно похвастался — я вовсе не темный, я целиком серебряный, — ринулся с занебесной высоты на стрекочущего тихохода...

Кони равнодушно тянули пушки, а люди заморожены застыли, запрокинув каски.

Медлительный «кукурузник», видать, совсем обезумел, лег на крыло, повернул навстречу.

Не ругань, короткие выдохи с дороги:

— Куд-ды?!

— Смерти ищет!..

Косо падающий убийца выпустил туманные, как паутина, нити. С запозданием злой пулеметный перестук...

— У-ух!!! — обвальный вздох.

Промах. Убийцу с ревом занесло далеко в конец степи, и там, гневно стеная, с натугой стал разворачиваться. «Кукурузник», усердно стрекоча, пытается удирать, жмет к земле. Но где ему, буксующему. Хищнику тесно в просторном небе, рыча от натуги, он снова начинает падать. Тихоход неподатливо трудится над степью и... почти на месте поворачивается, успевает нырнуть под паутинную полосу трассирующих пуль. На земле рождается несмелое веселье:

- Мастак, едрена Матрена!
- Сердит кот, да и мышка ловка.
- Опять, гад, круто берет.
- Авось с маху врежется.
- Вот ба...

Но в землю врезался прижатый «кукурузник», видно было, как он игрушечно перекувырнулся среди степи. «Мессер» с победным ревом низко прошел над жертвой, не подымаясь вверх, косо пересек степь, завис впереди над дорогой. В моторный гул вплелась длинная ожесточенная очередь.

— Наломает дров, сволочь!

Кони последней батареи невозмутимо тянули пушки, качались длинные зачехленные стволы. Никто не тронулся, все вслушивались, вглядывались. Самолет удалялся, побоище впереди затихало.

— Напакостил и смылся.

— Чего наши молчали? На бреющем шел, в упор бей.

— Из трехлинеек? У него брюхо бронированное.

— А «кукурузник»-то не горит. Не видать дыму.

— Поди, и летчик цел.

— Гляньте, не оттуда ли спешат?

По степи к дороге, то исчезая, то выныривая, прыгал «виллис», болотно-зеленый, пятнистый, сумасшедшая лягушка.

— Давят всюю.

— Раненого спасают.

— Шибко раненного с бережением бы везли.

— Ужо увидим. Похоже, мимо проскачут.

— Пошли, братцы, догонять пушки.

Прошли совсем немного, впереди показался «виллис», требовательно сигналив, обойдя по обочине порожнюю полуторку, проскочил мимо, обдав пылью. На заднем сиденье, втиснутый между двух ярко-зеленых гимнастеров, человек в кожанке, белым марлевым лбом вперед. Из широкого марлевого обруча мечущаяся на ветру волна волос.

— Дев-ка!.. Летчик-то — дев-ка, ребята!

— Фриц с бабой воевал.

— Ловко она с ним танцевала.

— На одинаковых бы машинах им встретиться, кто б сверху был, кто б внизу лежал?

— Умотала молодца с брюхом бронированным... на спичечной коробке.

— Жива, любушка, жива! Сидит, не валится.

— Женский пол, что кошки, живуч.

И долго не могли успокоиться. Огневики, связисты, разведчики спешили за удалившимися пушками, оживленно беседовали, на ходу творили легенды:

— Шибко-то худо про «кукурузник» не думайте, он вроде волка воздушного, по ночам охотится. Вылетит вот такая Дуняша, когда потемней, мотор выключит и планирует над немецкими окопами, а сама фонари вешает...

— Фонари? Куда?..

— На воздух, дерево, на воздух. На парашютиках фонарики. Спускаются себе и светят, хоть иголки собирай внизу. А что выше их, не проглядишь, глаза слепят. Летит себе поверху Дуняша, выглядывает огневые точки противника. Каски торчат, пулемет на бруствере — все видно. Белой ручкой Дуняша кап на них противотанковую гранатку — были да нет, мокрое местечко на память.

— Ну и брехлив. Тебе б вместо собаки дом стеречь.

— Поползаешь по передовой, поверишь и не в такое.

— Эй, чтой-то дымит впереди!..

Вдали по дороге лениво полз в небо неопрятно черный дым.

— А гад с бронированным брюхом пустил-таки петуха, — подосадовал рассказчик о Дуняше с белой ручкой.

Никто ему не ответил, лишь прибавили шагу.

Горел танк «КВ», один из тех, что шли мимо меня, и земля дрожала. Он теперь не выглядел мощным — ходячая крепость, — посреди дороги громоздилась гора копотно-черного металла, из щелей сочился грязный дым, в его жирных клубках купалось тускло-красное солнце. Угарно воняло жженой резиной.

Солдаты топтались, отстраненно разглядывали, было известно, экипаж спасся, а сам горящий танк явно не вызывал сочувствия.

— Из пушки, что ли, «мессер» шарахнул, иль от пули загорелся?

— Эти «КВ», жестяные хоромины, от спички горят.

— Велика Федула, да дура.

— Новые танки, вот те хвалят.

— Хороши кони в заводе, да на пашне их нет.

В стороне от чадающего танка убитая лошадь, рыжая и ребристая, на обочине перевернутая повозка, по щетиистой пыльной траве раскидано армейское барахло — коробки с пулеметными лентами, сиреневое трикотажное белье... Были, наверное, и убитые, и раненые, их успели прибрать. Поразбойничал молодец с бронированным брюхом.

На лоснящемся жеребце вырос возле пушек командир дивизиона майор Пугачев в косо сидящей каске, автомат на шее, бронзовое лицо, широкие плечи, зычный голос.

— Вправо с дороги! Побатарейно в степь! Интервал триста метров!

Сворачиваем не только мы, но и машины, и обозы — подальше от опасной дороги.

Буро-ржавая степь до удушья пахнет распаренной полынью. Сквозь подметки сапог чувствую, как круто спеклась земля. Давно уже сорвал с головы накалившую каску, пилотка насквозь мокра от пота, пытаюсь поймать лбом ветерок, но воздух недвижим, лишь плавится от зноя, колеблет степные дали. И режет плечо ремень вдруг потяжелевшего карабина.

Горящий «КВ» и солдатские осуждающие разговоры нежданно-негаданно отравили меня. Всегда свято верил в нашу силу, с восторгом смотрел в кино, как слитно маршируют наши войска: одна нога шагает вперед — тысячи с ней, подымается одна рука — с ней в едином взмахе тысячи. И я, мальчишка, незаметно живу-

щий в далеком от Москвы, ничем не прославленном селе, всей душой там, в общем марше. Тысячи таких сел, миллионы таких, как я, весь советский народ как один человек. Мои войска шагают, мои танки идут. Самые мощные, самые грозные из них — «КВ», больше всех ими восторгался, больше всех в них верил. Счастье было встретить их на дороге — идут к фронту, будут там раньше нас, надежно прикроют, со мной сила! А не прошло и получаса, как один «КВ» вышел из строя, горит, не дошел до фронта. Мои старшие товарищи, оказывается, ничуть не удивлены: грозные «КВ» от спички горят, «велика Федула...». Немцы здесь, в глубине страны. Мы сильны, верю в то, не могу сомневаться, но какая же сила тогда прет на нас?..

Мучительные мысли — «КВ», моя надежда, мой старый кумир, подвел меня. Без мучений с кумирами не расстаются

— Воз-дух!

Мучительные мысли разом вылетели из головы.

Одни ездовые закричали, заулюлюкали, нахлестывая лошадей, без нужды заворачивали их в сторону. Другие скатывались с конских спин на землю, растерянно приседали, задирали головы. Огневики рассыпались по степи, стаскивали карабины. Я тоже сорвал карабин, припал к горячей полынной земле, жадно вглядываясь в небо. Лишь один майор Пугачев не покинул седло, замер на жеребце посреди степи.

Самолет шел прямо на нас, самолет-одиночка с неровным, монотонно качающимся звуком мотора. Не спеша, не снижаясь и не набирая высоту, он рос на глазах и странно преображался, с каждой секундой становясь все диковиннее. Это был не один самолет, скорей два, сросшихся воедино. Два туловища на одном просторном крыле! Во сне не приснится...

Все держали наизготовку карабины, жалкое оружие против воздушного нападения. Но никто не стрелял, забыли, смотрели, замороженные, снизу. И самолет не проявлял угрозы, плыл ровно, с безразличным равнодушием, на одной ноте, на одной высоте.

Странное сооружение пронесло над нами свой раздвоенный хвост, казалось, не обратив на нас, на наши пушки никакого внимания, презрительно позволяя глазеть на себя. И мы изумленно глазели с распахнутой земли на невиданное чудо, забыв об опасности.

И только, когда оно удалилось, раздалось несколько

бестолковых выстрелов вслед да неподалеку от меня кто-то витиевато матерно выругался с явным облегчением.

Повскакали, возбужденно заговорили:

— Чтой это, братцы?

— Огорожа у немцев летает.

— И зачем им такой урод?

Но в солдатской массе всегда найдется сведущий, и уж он не утаит. Через минуту разнеслось:

— Слышь, Фока Вульф какой-то.

— Рама. Корректировщик.

— По какой надобности?

— По доглядыванию.

— Гляди, не жалко, только вниз не плюй.

— Э-э, деревня! Он вот глянул и уже доносит — полоротые с пушками по степи идут. Жди коршунов, они не спустят.

— От гад раздвоенный. Убираться надо скорей отсюда.

— Эг-ге! А это еще чего?..

Под наши сапоги на спаленную траву начали ласково ложиться белые листки. Синее небо было заполнено лениво кружащимися блестками.

— Листовки!

— Письмецо от милашки.

— В любви, поди, признается.

С охоткой хватали, с любопытством вчитывались.

На скупом кусочке папиросной бумаги под растопыренным орлом, сидящим на свастике, как на яйце, подслеповатый текст:

«Спеши спасти свою жизнь!

Жидаы и коммунисты ведут тебя к гибели. ШВЗ — штык в землю!

Эта листовка является пропуском при переходе к нам в плен».

Раньше пуль до меня донесся голос врага. Он не только возмутил меня, он поразил своей откровенной тупостью. С оскорбительной спесивостью предлагает — «Спеши спасти свою жизнь!» — и рассчитывает, что сразу послушаюсь, воткну штык в землю. От отца уже восемь месяцев нет писем. Он убит. Ими! ШВЗ — штык в землю. Как же, сейчас... И эта бесцеремонная грубость — «жидаы и коммунисты» — должна мне нравиться? И непристойная игра на простачка — пропуск даем, пользуйся... До чего же, оказывается, глуп мой враг.



Родилось брезгливое к нему презрение. А уж того, кого презираешь, бояться нельзя.

Кто скажет, какими неуловимыми приметами питается наша интуиция? Не с этой ли первой немецкой листовки моя мальчишеская слепая вера в победу превратилась в убеждение?

Нинкин подкатил к бате Ефиму.

— Не скаредней же ты немца. Ась? Он мне бумажку дал, а ты, что ль, табачку пожалеешь?

И Ефим полез за кисетом.

— Ну и оторва ты.

Выстроились в походную колонну, снова двинулись по степи в полынном дурмане, под сатанеющим солнцем. Вдали погромыхивало, не я один невольно поглядывал на край неба — не выползет ли тучка, не нанесет ли дождя? Небо было чисто, дали прозрачны. Погромыхивает... Марш! Марш! Мы слышим войну.

6

Встретились первые раненые. У перегревшегося грузовичка с откинутым капотом двое в скудной тени кузова на корточках. Один баюкал руку на перевязи, у другого в марлевой шапке с охватом до подбородка голова, сверху петушиным гребнем грязная пилотка. Оба ярко белоглазые, иконно черноликие, дремуче заросшие, братски похожие друг на друга.

Их бесцеремонно обступили.

— Отвоевались, мужички.

— Подождешь, так вернемся, встретимся. Нас быстро заштопают.

— Тебе голову чинить будут али новую выдадут?

— Голова цела, уха нет.

— Немец-падла откусил?

— Осколочком сбрило.

— Не горюй, поросычье пришьют.

За табачок — по закрутке на брата, все из того же неистощимого кисета бати Ефима — раненые повели: позавчера тут задавили на немца, отбили два хутора, впереди по дороге торчит немецкая пушка и пушкарь при ней, полюбуется.

Новость понесли дальше, и каждый при этом стеснительно скрывал затаенную надежду: а вдруг да... большое-то начинается с малого, с каких-нибудь отбитых назад двух хуторов.

Никаких хуторов в обзоре не было видно, степь да степь кругом, а пушка без обману торчала за первым же взлобком. Она косо завалилась на обочине, тоскующе целилась коротким стволом в нашу незавоеванную сторону. И он при ней в пыльной лебеде, рослый, соломенно-рыжий парень в мундирчике незнакомого цвета жирной, с прозеленью болотистой грязи. Из задранных штанин высывались тощие, с голодными лодыжками ноги в сползших носках... Первый из врагов перед нами воочию.

Я лелеял в себе мстительное чувство, заранее подогревал его — не этот, так похожий на него убил моего отца. Отцу теперь бы исполнилось пятьдесят лет, он был грузен, страдал одышкой, прошел через две войны, отличался прямотой, честностью, горячо верил во всемирную справедливость. Для меня не существовало более достойного человека, чем мой отец. Могу ли я не ненавидеть его убийцу?! Я стоял над врагом и испытывал только брезгливость... Но брезгливость не в душе, брезгает мое телесное нутро, а в душу просачивается незваная, смущающая жалость. У этого парня было все-таки небронированное брюхо, коли лежит в лебеде. Так далеко шел, чтобы умереть до тошноты некрасивой смертью. Помню отца, не забыл, но ненависть не накаплиет.

Все кругом, как и я, хмуро молчали. И только один Нинкин сердито сплюнул.

— Тьфу! Падаль.

Но и в его голосе не было силы, выдавил из себя по обязанности.

Первым Ефим, за ним все отвернулись, двинулись догонять пушки. Я вырвался из отравленного воздуха, дышал с наслаждением, прочищал легкие. Кто сказал, что труп врага сладко пахнет? Столь же отвратительно, как и любой другой труп.

Среди погромыхания уже отчетливо слышались путанные выстрелы — из края в край, перегораживая степь между нами и ними.

В застойно жарком воздухе над нашими головами что-то прошуршало, пришепetyвая, что-то невидимое, шерстистое. Бравый Сашка Глухарев, шагавший перед мной, удивленно повел запрокинутой каской и вдруг поспешно осел. Далеко за колонной ухнул и покатился по степи взрыв.

— О-он... — выдохнул Сашка, затравленно глядя на меня.

Странно, образцовый солдат Сашка Глухарев был испуган, даже не пытался скрывать того передо мной. И я, постоянно ему завидовавший, почувствовал тщеславное превосходство, не удержался, чтоб показать его, обронил с пренебрежением:

— Шалый снаряд... — И для пущей убедительности добавил чужие, давно слышанные слова: — Кидает в белый свет, как в копеечку.

— То-то, что шалый... По-шальному вот вкатится.

У Сашки был слабый, вылинявший голос, а на чеканной физиономии вплоть до могучего подбородка свинцовый оттенок.

Через минуту он пришел в себя, снова приобрел осаночку — грудью вперед выступал, небрежно придерживая на плече ремень карабина, но голос так и не стал прежним, Сашкиным, усмешливым. Он словно оправдывался передо мной:

— Сдуру влепит, а ты лежи в лопухах, как тот немец.

Ах, вот оно что! Им, Сашкой, всегда все любовались — видный, ладный, загляденье. И такому красивому вдруг — в лопухах! Любого другого легко представить, но только не его. Сашка привык отличать себя от других — ладный, загляденье, — а вот шальной снаряд разницы знать не знает, для него все равны, что Сашка, что Чуликов. Вспаникуешь, коли сильно себя любишь.

А Чуликова рядом не было. Он всегда держался Сашки. Я невольно стал искать глазами по колонне... Не сразу узнал его — не та походка, шагает со свободной отмашкой, даже мотня штанов, похоже, не очень болтается.

— Эй, Чулик!

Он обернулся. Его узкое лицо всегда было потухше серым, тонкие губы в кисленькой складочке, сейчас же потно румяно, а глаза блестят.

— Где твоя селедка, Чулик?

Ноздри тонкого носа дрогнули в хитрой, затаенной улыбочке.

— Какая селедка? — невинное удивление.

— Забыл, как с ней миловался?

— Вид оружия — селедка? В современных войсках? Тебе померещилось, сержант.

— Давай, давай поиграем в дурочку.

Он приблизил ко мне свои блестящие глаза, они неожиданно лукаво-карие, хохотнул счастливо.

— Даже Сашка селедку бросил, а уж он-то ее любил. К фигуре шла.

Не слишком-то почтительные слова. Бравому Сашке сейчас не по себе. Чуликов весел и самостоятелен. Все кругом выворачивалось наизнанку.

Мы только еще подходили к фронту, а люди уже менялись.

Изменился ли я?..

7

Мы выехали на истоптанную бахчу. Вбитые в пыль узорные листья, и кое-где чугунно темнеют не налившиеся, с кулак арбузы.

Мы выехали на бахчу, и в воздухе запели пули. Сколько я читал о свистящих над головой пулях, герои книг слушали их без содрогания, но подразумевалось — нужна сила воли, чтоб без содрогания, нужно мужество. Теперь не в книгах, не в кино, исполнилось наяву — над моей головой свистят пули, и вовсе не зловеще, на удивление нежно, застенчиво. Мне нисколько не страшно, даже весело, и никакой силы воли не прилагаю, получается само собой. Может, я исключительная натура, из тех, кто вообще не ведает страха? Но со мной рядом никто не страшится, хотя пули занимают всех, задирают вверх небритые подбородки, оживленно переговариваются:

— Птички божии, не наслушаешься.

— Петь пой, да не клюй.

— Эти пеночки поверху летают. Услышим еще и низовых, что позлей.

Нехитрое пророчество сбылось через несколько шагов. Внезапный, взхлеб яростный визг, я ныряю каской вперед, в смущении поспешно распрямляюсь. Распрямляются и другие, озадаченные и тоже смущенные. Сашка Глухарев отряхивает с колен пыль, прячет лицо.

— Она самая, низовая пташечка.

— Целы?..

— Вроде бы никого.

Наигранное конфузливое веселье, но что-то остается на солдатских физиономиях, что-то одинаковое для всех,

какие-то несвойственные прежде складочки и морщинки. Даже у Чуликова...

Он неожиданно возмущается:

— Это глупо!

— Что, умная голова?

— Пулям кланяться.

— А ты сейчас не кланялся?

— То-то, что кланялся. Зачем? Пуля летит быстрее звука. Ту, что клонет, мы не услышим.

— Ходи себе гоголем, а я уж на всякий случай поклонюсь. Голова не отвалится.

— Ничего, ребята, оклемаемся, пообвыкнем.

— Ежели успеем.

Но спокойно шагают кони в упряжке, тянут себе пушки, не остерегаются. Только ездовые уже не сидят на них верхом, соскочили вниз, ведут передних в упряжке под уздцы, так все-таки ближе к земле, надежнее. Пока никого еще не зацепило, никто не ранен.

Появились первые окопы, из них торчат каски. Закрылась в прокаленную землю пехота, лица черные от въевшейся окопной пыли, сверкают зубы да белки глаз. Устроились они, однако, по-хозяйски — брустверы замаскированы травкой, кое-где накрыты плащ-палатками, чтоб не сыпался песочек вниз, и торчат из канавок бойниц вороненные стволы ручных пулеметов. А позади окопов даже противотанковая пушечка-«сорокапятка», обвешена, опять же для маскировки, растрепанными арбузными плетями. Бахча обрела суровый фронтовой вид.

Но это лишь задворки фронта, если наши кони с пушками идут дальше. И поют «верховые пеночки», и по сторонам ухают снаряды, а бой впереди, наше место где-то там, ближе к роковой Линии, что пересекает страну, она означена выстрелами.

Шуточки внезапно замолкают. Лицо каждого теперь устремлено вдаль. Даже цыганистое лицо Нинкина, трепача и безобидного ловчи́лы, сейчас, право же, невысшленно строго. Неизвестность подошла вплотную, от нее уже нельзя отмахнуться, нельзя обманывать себя, что не замечаешь. Неизвестен зловещий мир, в который ты вступил. Растрavляюще неизвестна твоя судьба — абы скоро, абы нет, будешь, не будешь? И неизвестно, как все обернется, новыми страданиями или искуплением от них... Убеден, в эти минуты великое ощущал не только я, мальчишка с претензией на культуру, но и Ефим Михеев, и Нинкин — все. Каждый на свой лад.

Людям не свойственно терпеть неизвестность. Если они не в силах были что-то объяснить, то спасались самообманом. Неведомо, что там за пределами жизни каждого, а потому придумали рай и ад. Неведомо, когда и как кончится бытие рода людского, и вообразили себе Страшный суд. Пусть жуткий ад, пусть беспощадный суд с ужасами светопреставления, но только не неизвестность. Она противна природе, несовместима с человеческим духом. Но бывают критические моменты, когда она, неизвестность, столь близка и столь зрима, что уже не спрячешься от нее за самообман, принимай как есть. Тогда каждый отмечает в себе случайное и наносное, обращается к одинаково тревожному для всех, главному, великому...

После окопов мы с конями и пушками оказались одинокими в необъятной степи. Обманчивое одиночество. Степь только с виду ровна и необжита. Она капризно складчата, и едва ли не каждая ее складочка потаенно населена. Куда-то же делись шедшие по дороге обозы, машины, «катюши» и эти грозные с виду и не слишком надежные «КВ», собраты сгоревшего. А дорога гнала силу сюда и вчера, и позавчера, всех укрыла ровная степь, всем нашлось в ней место. Найдется и нам. Но пока мы до него не добрались, пока ни с кем не связаны, ни с кем еще не сроднились, блудные дети. Не терпится сродниться, тогда неизвестность перестанет быть мучительной.

Натыкаемся на окопно-земляночный городок, не спеша шествуем мимо этого скудного степного оазиса — марш, марш! А в нем своя жизнь: млеют на солнце часовые, кучка солдат, голых по пояс, умываются. Они благодарно гогочут, звонко шлепают друг друга по спинам, увидев нас, прерывают веселое занятие, смотрят, окликают:

— Эй, артиллерия, бог войны! Заворачивай, перекурим!

Наши стряхивают завороченность, охотно отзываются:

— Прикурка не для вас. Немцу везем!

— Не ожгитесь, божьи ангелы. Он тоже дает прикурить!

Даже лошади пошли веселей, даже ездовые полезли на конские спины, хотя здесь «верховые пеночки» поют назойливей и чаще срываются на злобный визг. Марш! Марш! Бодро взяли вверх по выжженному

склону, под повизгивание «пеночек» прошли открытый плоский перевал, скатываемся на рысях вниз.

А внизу тесно скучились несколько спешившихся конных. Вижу среди них рослого командира дивизиона майора Пугачева, вижу командира своего взвода лейтенанта Смачкина. Он невысок, наш лейтенант Смачкин, подобран, у него слегка кривые — кавалерийские — ноги в мягких сапожках из выгоревшей плащ-палатки и пузырящаяся каска на голове, и автомат с биноклем на шее.

Сашка Глухарев переглядывается с Чуликовым, Чуликов со мной, я с батей Ефимом — здесь! Балка не балка, долина не долина, просто малозаметная вмятина на обширном теле степи — наше место.

— Марш! Марш! — кричат вдохновенно ездовые.

Кони на рысях гонят пушки. Последние метры марша.

8

Лейтенант Смачкин стал командиром нашего взвода уже после формирования, по пути к фронту. С разведчиками он успел как-то познакомиться, провел несколько занятий, экзаменовал, а проэкзаменовав, оставил в покое. И никто не мог сказать, что он за человек, взводный, строг или добр, толков или нет? «Дураком вроде не назовешь, а так кто его знает...» Нас, связистов, Смачкин просто не замечал. Связистами занимался Зычко, «наш фетфебель», как звал я его, за глаза, разумеется.

Зычко жил вместе с нами, из одного с нами котла получал кулеш в котелок, лежал на одних нарах в теплушке, раздавал наряды, следил за чистотой подворотничков, за надлежащей заправкой и выправкой, за ухоженностью карабинов, за бодростью духа и, уж конечно, за дисциплиной, которую понимал не иначе как беспрекословное повиновение своей особе. За все время всего раз или два он показывал нас Смачкину. Тот появлялся перед строем, влитый в длинную кавалерийскую шинель, в фуражке с черным околышем, свежесвыбритый, рассеянный, не замечающий усердно тянувшегося перед ним Зычко.

После «здравствуйте, товарищи бойцы» один и тот же вопрос: «Жалобы и претензии есть?»

Жаловаться себе дороже, пришлось бы иметь дело

с Зычко, а тот не спускал: «Бога святого и батьку риднаго вам замещаю!»

Сейчас на нас налетел Смачкин, обожженный солнцем, пропыленный, внушительно вооруженный — автомат «ППШ» на шее, пистолет «ТТ» на поясе да еще бинокль и беспокойно болтающийся планшет на боку.

— Со мной пойдут: Чуликов, Глухарев, Тенков, Михеев и еще... ну, хотя бы Нинкин! Макарыч, ты как, выдержишь? И бегать, и на брюхе ползать придется.

Диво дивное, держался от нас в стороне, а на вот, и в лицо, и по фамилиям всех знает: батю Ефима, надо же, по отчеству величал, Макарычем. Даже я Ефима по отчеству не знал.

— Разведчики берут стереотрубу и треногу. Связисты — телефон и по катушке на брата. Карабины и саперные лопатки с собой. Вещмешки и противогазы оставить здесь.

Разведчикам надлежит выбрать НП, нам, связистам, протянуть до него связь. На огневой остается Зычко, он уже уверенно распоряжается — кому рыть щели, кому тянуть кабель от батареи к батарее, кому отправляться в обоз за резервными катушками. Я Зычко уже не подчинен, сам Смачкин меня к себе призывал.

Идем по прямой, Смачкин изредка сверяется по компасу, ведет нас к какой-то, только ему известной точке. НП обычно располагается на самой передовой. Пока мы не обоснуемся, пушки слепы, а потому спешим. За моей спиной повизгивает несмазанная катушка, связь тянем прямо на ходу. Скрипит катушка, выбрасывает на сухую траву кабель...

Поле пшеницы. Оно, по-степному бескрайнее, остается от нас в стороне, мы задеваем лишь угол. Но даже за малый путь по нему, за каких-нибудь сотню — полторы шагов успеваем увидеть, как жестоко изранено это величавое поле, все в рубцах от колес машин, повозок, гусениц танков, черные подпалины возле рваных воронок. Израненное поле продолжало, однако, зреть, налившиеся колосья прижимались по-солдатски к земле. Я срываю на ходу колос, разглядываю. Выросший в лесном краю, таких хлебов я еще в жизни не видел. Каждое зерно янтарно-прозрачно, как слеза доисторического животного, превратившаяся в драгоцен-

ный камень... И никто эти драгоценные зерна уже не соберет — спалят, вытопчут...

— Урожайный год ноне. Страсть, — говорит Нинкин.

Батя Ефим глухо роняет:

— Война клятая!

А Смачкин торопит издали:

— Ножками, ребятки, ножками! Пушки наши молчат.

Мы работаем ножками, сгибаясь в три погибели. Теперь уже стреляют кругом — и впереди, и сзади, и с боков. Где-то неподалеку упорно погромыхивает, вдали гневается басовитый пулемет. И пули тоскующе стонут по непролитой крови, стонут и яростно визжат. Иногда россыпью громкий треск по земле, то немец пустил очередь разрывных. Завывая, проходят над нами дружной стаей мины и — кррак! Кррак! Кра-раррак! — вперегонки лопаются за спиной.

— Шевели ножками!

А гимнастерка насквозь промокла от пота, каска на голове раскалена, коснись, обжигает руку. Ломит плечо от катушки, и сильно мешает ненужный карабин.

После очередной пробежки Смачкин объявляет:

— Минутный перекур!

Мы мешками падаем на землю. Вправо в выжженном степном западке — минометная батарея. Должно быть, та, что погромыхивала в стороне. Громыхает и сейчас, минометы размеренно бьют.

— Ждите. Выясню обстановочку, — приказывает Смачкин, низко сгибаясь, бежит к минометчикам.

Благостно отмякает измученное тело. Только солнце нещадно жжет, от него не спрячешься. Нинкин канючит у Ефима:

— Под богом ходим. Не жилься. Убьет вот, и табачок в запас не понадобится.

Я наблюдаю за минометчиками, они нам сверху хорошо видны. Минометы, как самоварные трубы, стоят в ряд на короткой дистанции друг от друга. Возле каждого из них дружная работа — одни подносят ящики, вскрывают их, другие выхватывают из ящиков мины, кидают третьим, те ловят, заученно скупым движением опускают в трубу. «Огонь!» Миномет плюется и приседает, а над ним уже занесена новая мина... Деловито, без суеты шуруют, как кочегары у паровой топки. А ближе к нам под штабелем пустых ящи-

ков и совсем мирная картина — под минометные выстрелы обедают, обрабатывают котелки ложками, усердно жуют, с ленцой болтают, кто-то, уже отваясь, всласть смакует сигарочку. Вот, оказывается, как воюют — без паники, без надрыва, не на «ура», шуруют и хлеб жуют. Просто. Меня до зависти поражает такая налаженная, обжитая война — не столь уж и страшен черт, как его малюют. И мы приспособимся...

Смачкин возвращается к нам на четвереньках, нарушает наш покой:

— Пошли. Тут уже недалеко.

Выскакиваем на раскатанную степную дорогу и натываемся на такое, чего никак не ждали. Со всех сторон стреляют, пули ноют в воздухе, пули стригут по траве, мы двигаемся перебежками, низко гнемся, поминутно падаем, а посреди дороги тяжелая повозка, пара коротконогих лошадемок, дремотно понутившись, отмахиваются хвостами от слепней. И дюжий парень-повозочный в мешковатой обмундировочке, с опущенным кнутом в руке стоит, не таясь, во весь рост, с надеждой на распаренной физиономии встречает нас.

— Заплутался, братцы. Свою батарею никак не найду.

— Вот увидят да всадыт, и вовсе к богу в рай закатаешься.

— Чего уж... — вяло отмахивается кнутом повозочный. — Знать бы, куда податься... Девяносто пятая полковая... Срочно мины доставить приказано.

— Минометная батарея? Так ты мимо проехал.

— Энтих я видел, энти не наши.

Его невнимание к пулям заражает и нас, распрямляемся, переминаемся, глядим с осуждением и сочувствием.

Давящий — до терпеть нельзя — вой. Возрос и обрубился. На миг тишина. Предсмертная — ни мысли, ни дыхания. И земля рвется к небу.

— С дороги! Ложись!

Крик Смачкина настигает меня в косом, стелющемся, диковинном прыжке, краем глаза успеваю уловить рвущихся с места лошадей. Гремя катушкой, карабином, шмякаясь на жесткую землю, путаясь в оснастке, переворачиваюсь раз, другой, ползу вслепую подальше от дороги, зарываюсь лицом в полынь. А позади рвется и рушится: грохот — вой... грохот, грохот — вой, снова грохот и снова вой, но уже не столь ожес-

точенный, напористый... И взрыв на удалении, и тишина.

Освобождаюсь от полынного удушья, подымаю голову. В степи, задрав головы, несутся лошади, груженую повозку кидает из стороны в сторону. За ней, далеко отстав, бежит парень-повозочный, размахивает руками... Жив курилка.

В воздухе надо мной явственный шепот, косноязычный, убеждающий меня в чем-то. Ближе, настойчивей, сердитей — шлеп! Рядом с моей рукой на земле осколок, черный, рваный, потерявший силу. Будь он в силе, не только руку, полголовы бы снес, и каска не помогла б... Тянусь к нему — ах, черт! — горячий.

— Быстро все ко мне! — совсем близко голос Смачкина.

Мы сползаемся. У Сашки Глухарева лицо странно костистое, глаза слепые, глубоко запали. Остальные словно виноваты — невзначай нашкодили, только батя Ефим, как всегда, сурово-серьезен.

— Вперед! — нетерпеливо приказывает Смачкин.

— Нет! — возражаю я. — Связь надо проверить, товарищ лейтенант.

Смачкин с досадой крикает.

— Давай быстренько. Там ждут, а мы путаемся...

С помощью Ефима торопливо присоединяю телефон к кабелю.

— «Фиалка»! «Фиалка»!..

Не успеваю сообщить, что связи нет, как, кряхтя, подымается Ефим.

— Перебило на дороге. Пойду пошарю концы.

Дорога пристреляна, и за ней сейчас наверняка пристально следят, только покажись, снова ударят. Мне кажется, что батя идет на верную смерть. Остановить, пойти самому?.. Но, пока я колеблюсь, Ефим уползает, оставив во мне едкое чувство вины.

Все как один, приподнявшись, вытянув шею, следим за удаляющимися подметками сапог Ефима. Он, даже пластаясь на животе, сохраняет степенность, не торопится. В глазницах Сашки рядом со мной тоска, столь угрюмая, что даже пугает меня. А Чуликов звонко произносит:

— Вот так-то...

На него удивленно оглядываются, он смущается.

Ефим подполз к самой дороге, задержался, поворо-

чал каской вправо-влево, не спеша перебрался и исчез на другой стороне.

Его долго нет, я страдаю.

— Товарищ лейтенант, разрешите помочь ему.

— Лежать!

Концы перебитого кабеля могло разбросать взрывом, не так-то просто их отыскать в траве. Я понимаю, бессмысленно толкаться там вдвоем, буду только мешать бате, но ждать и страдать свыше моих сил.

— Товарищ лейтенант!..

— Лежать!

Наконец-то каска Ефима показывается над дорогой. Я хватаюсь за трубку.

— «Фиалка»! «Фиалка»!..

«Фиалка» сразу же отзывается невозмутимым голосом Зычко:

— Оце добре, «Василек»! Вже на мисте?..

— Больно скоро. Просто проверка. — Я теперь могу себе позволить говорить с Зычко на равных. И он, похоже, это понимает, не обрывает меня начальнически.

Снова двигаемся короткими перебежками — рывок на десяток шагов, падение, секунда, оглядки, вновь рывок... Рядом со мной с обстоятельной старательностью бежит и падает Ефим. У меня не проходит ощущение: я что-то оставил на дороге, что-то такое, из-за чего следует вернуться. Батя Ефим рядом, батя цел и невредим, что мне еще?.. И вспоминаю — линия-то через дорогу не перекопана! Мало ли какого дурака на повозке снова занесет туда, зацепит за кабель, оборвет... Но остановить Смачкина я не решаюсь. Пушки молчат, пушки ждут нас на НП.

9

Трудно сейчас представить ручей, бегущий в раскаленной степи. Но и в ней бывает весна, тают снега. Не один, а, должно быть, несколько ручьев, сливаясь здесь, пробуровили бочажок, и вода кружила в нем, ища выхода. Бочажок давно высох и густо зарос высокой травой с сизыми метелками, мы удобно устроились в нем.

Мы, связисты — батя Ефим, Нинкин и я, — тесно друг к другу вокруг подключенного к кабелю телефона. Смачкин с Чуликовым и Сашкой Глухаревым отправились выбирать место для НП — их, разведчи-

ков, дело. Пока не выберут, мы не нужны, наслаждаемся законным отдыхом.

Шагах в двадцати — тридцати, совсем рядом, траншея стрелкового взвода. Это и есть самый передний край фронта, за ними уже никого из наших нет, за ними нейтральная полоса, ничейная земля, а дальше противник. День в разгаре, в самом разгаре и бой.

Только издалека кажется, что передовая охвачена трескучим пожаром. Вблизи пожара не чувствуешь, идет работа. Слева бьет короткими нервными очередями пулемет, на отдалении справа второй, но никак не нервно, не частит, с явной прикидкой и примеркой. Еще реже вступает третий, как раз напротив нас, зато заводится надолго, обстоятельно, вероятно, не ручной, а станковый. И винтовочные выстрелы не беспорядочны, а набегающими вспышками — кто-то хлопнет раз, другой, и сразу двое или трое поддержат его, разбежится быстрый говорок на всю длину траншеи, постепенно увянет до нового звонкого выстрела...

Для нас скрыта жизнь этого кусочка фронтового края. Изредка над траншеей проплывет каска, не спеша, с покачиванием в такт шагов. Нет-нет да донесутся выкрики, ничуть не сполошные, так, по необходимости:

— Остапенко!.. Где Остапенко? Младший лейтенант зовет!

В двух местах копают, остороженько выбрасывают наверх рыжую глину.

Эти чудо-богатыри, что первыми встречают напирającego противника, те, на кого с надеждой смотрит вся великая страна, которых поддерживает мощный тыл с многочисленными пушечными батареями, танковыми соединениями, колоннами машин, обозами, подсобными подразделениями, стараются быть как можно неприметнее, зарываются в землю. Для них мир выше бруствера враждебен. Здесь не слышно тоскующих пуль, здесь пули неистово яростны, жалят черствое тело степи, брызжут сухими комьями, с треском рвутся в траве — немцы часто бьют разрывными.

Пули визжат и над нами, но теперь и мы неплохо укрыты, в сухом травянистом бочажке нас не продувает. Правда, по сторонам, там и сям, садняще лопаются мины, но авось — бог не выдаст, свинья не съест — прямым попаданием не всадят. Как мало, од-

нако, надо солдату — минутку покоя и углубление в земле. И еще чтоб не грызла душу забота.

Я прирос к телефонной трубке, постоянно выкрикиваю:

— «Фиалка»! «Фиалка»!..

Мне отвечают:

— «Фиалка» слушает...

Связь есть, и это, право, удивительно. Наш выброшенный на бегу кабель проложен в нарушение всех правил — не по кратчайшей прямой, с разными загибами, без выбора места. И ни на минуту не забываю о дороге, кабель там лежит наверху, не перекопан... Все-таки забота грызет, отравляет покой, но...

— «Фиалка»! «Фиалка»!..

— «Фиалка» слушает...

— Порядочек!

Я не телефонист-катушечник, а радист. Нет, конечно, не классный, а ускоренной военной «выпечки», на ключе работаю слабовато. Да в полевой артиллерии не так уж это и важно, тут некогда возиться с морзянкой, кричи в микрофон. Зато никакой тебе проволоки, никаких пудовых катушек и проклятых порывов, выкинул антенну, повернул ручку настройки: «Фиалка»! «Фиалка»! Летит твой голос через степь над дорогами и оврагами, сквозь пули и снаряды... Не оснащен еще наш дивизион радиостанциями.

Но не мечтай попусту и не отравляй покой, насладись минутой. Она скоро кончится, а что будет потом, бог весть. Быть может, нам и не придется больше вот так блаженствовать вместе. Напустив на глаза брови, распустив на лице задубевшие складки, отдыхает батя Ефим. Ерзает, подергивается беспокойный Нинкин — продувной черный глаз с искрой, тонкий, строгого рисунка нос с горбинкой, сквозь коросту пыли проглядывает свежая смуглота подвижной физиономии. А ведь Нинкин-то красив!.. Меня захватывает острое чувство братства. К Нинкину тоже.

— Ты кем на гражданке был, Нинкин?

Он ничуть не удивляется моему вопросу, словно даже ждал его.

— Ты, сержант, спроси, кем Нинкин не был.

Ефим-молчун хмыкает и отверзает уста:

— В начальстве ходил, разе не видно.

— А что? Был. Не долго, конечно, три дня всего.

— Ужли?.. Кем?

— Заготовителем! — отчеканивает Нинкин. — Ты, елка дремучая, поди, и слова-то такого не слыхивал.

— А три дня почему? — интересуюсь я.

— День-ги!.. — вздыхает Нинкин. — Век с ними не лажу. А тогда мне три тысячи отвалили с хвостиком на закуп кожсырья. Пропил, говорили... Да разве можно столько сразу пропить и живу остаться. Пропил я, сержант, совсем чуть-чуть — хвостик. А три тысячи приятели хорошие вынули. Ну и вышло — три дня работал, три года получил. Повезли Нинкина лес валить...

— Во! — удивился Ефим. — Уметь надо.

У Нинкина на чумазой личине заодно блестят глаза, редкозубый рот до ушей — доволен неудавшейся высокой службой. Кто как жил раньше — самая распространенная тема при редком армейском досуге. Только об этом и говорили на нарах дивизионной школы, на привалах в походах, в теплушках во время пути. И не было случая, чтоб кто-нибудь непохвально отозвался о своем прошлом. Все сладко ели, широко гуляли, любили с выбором баб и даже неудачи, вроде нинкинской, вспоминали с умилением. Несчастных не было и в помине, жили в счастливом времени, в счастливейшей стране.

И я тоже был неправдоподобно счастлив, хотя и не решался тем хвастаться. Ну кого удивишь, что никогда не думал, как появлялся обед на столе, и та одежда, которую носил, и книги, какие запоем читал. Кого удивит, что мне пришлось жить в селе, где вплотную протекают не одна, а две речки, кругом просторные леса, молочные туманы под луной и раздольные закаты по вечерам. А золотые окуни, попадавшие мне на переметы, а ядренные рыжики осенью по пожням... Кого этим удивишь, если не пил и не веселился наудалую, не сходился с женщинами, не ездил по большим городам, не сорил там деньгами. Высмеют. Я ревниво оберегал свое прошлое немудреное счастье.

Повизгивают сторонние пули, у пехотинцев в траншее захлебывается станковый пулемет, давит, должно быть, огневую точку противника.

Ефим вздыхает.

— Да-а... Хоть и пустяковая жизнь, но и та хороша. Нинкин обижается.

— Пустяко-вая-а... Ты-то что видел в своей жизни, мужик?

— Работу видел. Я с девяти лет в работе, что конь.

Нинкин не успел восторжествовать. Истеричный вопль, рвется мина! На меня сверху обрушивается что-то грузное, вминает в землю. Секунду не смею дышать. Придавивший груз заворочался, едва не ломая мне кости, жалобно помянул бога-мать, втиснулся между мной и Ефимом. Из наползшей каски серый нос и угловатая тяжелый, темный от щетины подбородок — Глухарев Сашка. Он плотно прижат ко мне, и я ощущаю, как крупно дрожит его сильное тело.

— Ты не ранен?

Сашка лишь беззвучно оскалился. Выпрастываюсь, тянусь к телефону, вызываю:

— «Фиалка»! Мы отключаемся.

— Об... об-божди!.. — стонет Сашка и вдруг вскипает: — В-вы! Припухаете тут, а я тащись за вами на карачках! Там снайпер бьет, тут мины... Чуликова он бережет! Чуликова, видишь ли, убить может, а меня ему не жаль, я отпетый!.. Чуликов-то в армии без году неделю, а я кадровую ломал!..

Сашка кричит, но в голосе бессилие. Я обрываю его:

— Цел? Тогда веди.

— Убьют меня, ребята! Чую, убьют...

Нинкин хохотнул.

— За мои штаны держись. Я заговоренный.

Ефим начал подыматься.

— Э-э, семи смертям не бывать, одной не миновать. Давай, парень, по обмятой дорожке. Мы за тобой по одному.

Затравленно отвернувшись, Сашка через силу зашевелился, длиннорукий, нескладно костистый, словно старая лошадь, полез наружу.

Сначала пехотная траншея отступала от нас косо, как бы нехотя, но скоро словно провалилась под землю. Мы одни, открытые противнику, ползем по полого вздымающемуся куску степи. Впереди Сашка, я за ним. Движения у Сашки судорожные, но не бестолковые, пластается, приспособляясь к каждому бугорку, каждой вмятинке, даже к растрепанным полынным кустикам. Я повторяю в точности его путь, волоку за собой разматывающуюся катушку — третью, последнюю из взятых. Похоже, нас не замечают, пули проходят стороной, мины рядом не падают.

Но пологий подъем кончается, впереди крутой ровный рыжий склон, на самом верху торчит густой бурьян.

Сашка залег, не двигается. Я осторожно подползаю к нему вплотную. Он не глядит на меня, прерывисто дышит.

— Там... наши. В бурьяне, — сквозь сведенные челюсти, невнятно.

— Что ж, рванем, — говорю я. — Ждут...

— По этому месту снайпер бьет, сука.

— Хочешь, я первый?..

— Сси-ди! — цедит Сашка.

И вдруг срывается по-звериному, на четвереньках, быстро, быстро! Я не успеваю пошевелиться, как он скрывается в бурьяне. Резкий свист, фонтанчик пыли у самой заросли. Сашка цел.

Я напружиниваюсь для броска, но крепкая клешня стискивает мой сапог.

— Повремени, сынок... — голос Ефима.

— Но Сашка-то проскочил.

— А ты ляжешь... Тот там сейчас наизготовочке, пусть развеется.

Ефим придвигается, держит меня, собрав на лбу складки, вздернув кустистые соломенные брови, внимательно изучает склон. Впервые без помех вижу его глаза, они молочно-голубенькие, с острым, точечным зрачком.

— Скинь для начала метров пятнадцать кабеля, чтоб катушка не тормозила, — советует Ефим.

Послушно спускаю с катушки кабель метр за метром, стараюсь подавить нетерпение, а сам мысленно вновь и вновь пробегаю по склону.

Где-то далеко-далеко, на той, запредельной стороне враг-невидимка. Он не знает о моем существовании, но ждет меня. Он не может испытывать ко мне злобы, но собирается убить. И кого убьет, он никогда не узнает. Все это так странно, я никак не могу вообразить его человеком — с лицом, с телом, с руками, держащими винтовку с оптическим прицелом. Он нечто, бесплотный дух смерти. Вот только бы знать, моей или не моей?..

— Что, пора?.. — спрашивает шепотом.

Ефим помолчал, подышал и выдохнул:

— Давай!

Дремотный мир воспрянул, хищно кинулся на меня, зашумел, закружился. В центре его я, неистовый, сам на себя не похожий. Вне этого взбесившегося мира лишь путаная заросль — к ней, к ней! Врываюсь и падаю в

жесткие, колючие объятия, поспешно ползу, зарываюсь все глубже и глубже.

Я так и не знаю, успел ли тот, бесплотный, послать в мою сторону пулю!

10

Сюда, наверно, когда-то сгоняли пасшийся по степи скот — на высоком взлобке продувало, не так мучали слепни и оводы. На унавоженной земле поднялся бурьян и даже торчало несколько искривившихся кустов терновника. Стояла прежде и саманная сторожка, от нее остался лишь кусок шершавой стены, затянутый все той же колючей травой.

На месте бывшей сторожки и обосновался НП, обвалившаяся стена скрывала стереотрубу на треноге. Это пока, на первое время. Смачкин и Чуликов наметили границы окопа. Предстояло пробить его в захрясшей земле, а внизу саманной стены выбрать окно в длину стереотрубы, тогда уж с той стороны сам черт не обнаружит наблюдательный пункт.

Все складывалось благополучно — Ефим с Нинкиным проскочили вслед за мной, я подключил телефон, «Фиалка» отозвалась. Смачкин, сбросивший с себя каску и автомат, пилотка на затылке, гимнастерка расстегнута, лицо запаренное, отрывисто командовал:

— Чуликов, к телефону за трубку! Связистам рыть окоп!.. — И вдруг спохватился: — А лопата?.. Глухарев, где штыковая лопата?..

Оказывается, посылая за нами Сашку, Смачкин наказал завернуть к пехотинцам, выпросить у них большую лопату, лучше две. Пробивать окоп нужно под стеной, а там утоптаный пол бывшей сторожки, он как железный, малыми лопатками не пробьешь.

Сашка, сцепив мощные челюсти, тускло глядя мимо Смачкина, выдавил скупое:

— Минометный обстрел...

— Ну и что?

— Не пробраться было к пехоте.

— Ты пробовал?

Поигрывая желваками, Сашка молчал. Смачкин разглядывал его выбеленными глазами.

— Не первый год в армии, Глухарев, знаешь, за невыполнение приказа в боевой обстановке наказание одно...

— Стреляйте. Так даже лучше, терпеть не надо.

И снова Смачкин внимательно ощупывал сутулящегося Сашку стеклянным взглядом.

— Вот как бывает — дохлую ворону за орла принимали... Нинкин!

— Я, товарищ лейтенант!

— Добудешь?

— Попробую, товарищ лейтенант!

— А если откажут: самим, мол, надо?..

— Украду, товарищ лейтенант!

— Иди, Глухарев, землю долбить. Выручай, Нинкин.

На НП началась работа. Чуликов завладел телефоном, Смачкин стереотрубой, переговариваются, похоже, даже не соглашаются друг с другом. Ай да Чуликов! Спорит, и лейтенант не ставит его на место. Спор кончается тем, что они меняются местами — Чуликов прилипает к стереотрубе, а Смачкин ведет озабоченные разговоры с огневой... Связь есть! Пока есть.

Согнувшийся Сашка ожесточенно бьет землю, крупный, угловатый, прячет лицо, не подымает головы, гимнастерка мокра на лопатках. Мы с Ефимом ковыряем без азарта — пол сторожки крепче камня, нужна кирка, чтоб взломать его, ну хотя бы штыковая лопата. Нинкин, если повезет, обернется за полчаса, никак не раньше. Но с тех пор, как он ушел, минут двадцать уже утекло.

Громкий голос Чуликова заставляет нас с Ефимом перегляднуться — начали! Чуликов снова у телефона, выкрикивает заклинания. Для нас они непонятная тарбарщина: квадрат, азимут, прицел... все пересыпано цифрами. Но на огневой у пушек началась горячка... Только бы не подвела связь! Наша линия ненадежна...

Сашка продолжает долбить с глухой яростью, а мы бросаем лопатки, приподымаемся, тянем шеи, вглядываемся в степную рыжую даль, жадно ждем.

Степь полого скатывается к овражку, неровно рваному, капризно изгибчивому, заросшему густо кустарником и низенькими корявыми деревцами. Должно быть, это и есть та самая, рассекающая страну Линия Фронта. У нас она выглядит так, в других местах, разумеется, иначе. За овражно-кустарниковой Линией степь снова нехотя ползет вверх до мглистого горизонта. И там она спеченно ржава, неохватно пуста, однако я-то знаю, какой обманчиво безжизненной может казаться степь. Где-то в ней скрыты ошетилившиеся окопы, наведенные на нас пушки, минометные батареи, танки... Смачкин с

Чуликовым что-то разглядели, иначе какой смысл им передавать заклинания.

— Летят званые!.. — сообщает Ефим.

Через нас в знойно-синем воздухе с угрожающим шорохом потекла невидимая река. В великую игру вступили и наши пушки. А я вместе со Смачкиным, Чуликовым, Ефимом, блуждающим на стороне Нинкиным и горбачающимся над землей Сашкой начал свою войну.

Посреди потусторонней степи беззвучно вызрели грязно-белые грибы-дождевики — один, другой... много! Беглый огонь едва ли не всех наших батарей. Понеслись сглаженные расстоянием перекатные взрывы.

Смачкин, скорей озабоченный, чем торжествующий, оторвался от бинокля, Чуликов, приподнявшийся от телефона, снова взялся за трубку. Началось все сначала — переговоры и заклинания. И новый широкий поток над нами... Только бы не подвела линия, только бы не услышать: «Связи нет!»

Согнувшись, долбит землю взмокший Сашка Глухарев, никого не видит, ни на что не обращает внимания. Принимаемся за работу и мы с Ефимом. А Нинкина все нет. Что-то долго он несет лопату.

— Пожалуй, я сползаю... — говорю я Ефиму.

— Куда?

— Взгляну на склон. Не застрял ли там Нинкин.

Ефим хмурится, лезет за кисетом, не спеша сворачивает сигарку.

— Взгляни, только не нарывайся.

Продираюсь ползком в колючем бурьяне, походя поправляю кабель. Он местами висит на спутанной траве — ухнет рядом снаряд, даже не осколком, а взрывной волной может порвать. Эта нехитрая забота отвлекает меня от беспокойного предчувствия...

Кустики бурьяна редеют, земля поддается на уклон, осторожно раздвигаю высохшие плети и... взгляд упирается в каску.

Он не дотянул двух шагов, всего двух! Он лежал вдоль кабеля, уткнувшись лицом в рыжую проплешину среди чахлой травки, рука отброшена в сторону на черенок лопаты. Гимнастерка коробом на спине от черной крови, от этого он кажется горбатым. Каской ко мне — рукой дотянись. Встреча.

— Нин-кин... — без надежды зову я.

Но откинутая рука землиста, ногти на ней уже синие.

А небо ослепительно яростное, под ним усталая от

жары степь. День уже перевалил за половину, но еще далеко до заката. Мы вместе с ним встречали восход солнца. Первый...

Только жестоким усилием заставляю себя продвигаться вперед, тянусь к лопате. Непреодолимо содрогание живой плоти перед зримой смертью...

Никто не обратил внимания на мое возвращение. Сашка Глухарев с прежним ожесточением стучал саперной лопаткой. Ефим сидел за телефоном. Смачкин и Чуликов были в мыле, уже сами не хватались за трубку, а выкрикивали со стороны заклинания, Ефим повторял... Сейчас гул в небе не прекращался, тупые взрывы утрамбовывали степь за овражной линией. Некому удивляться, что я держу в руках штыковую лопату и что Нинкина рядом нет.

Нинкину не везет даже после смерти — запоздало узнают, между делом легко переживут. Остаются в памяти павшие герои, но их единицы, а война тысячами тысяч уносит незаметных. Кто потом вспомнит, что рядовой связист Нинкин погиб при исполнении задания, которое никак нельзя назвать особо важным или даже значительным — достань лопату?

Я торчу с этой лопатой, добытой ценой жизни. Сашке удалось расковырять лишь угол окопа, НП не оборудовано.

— Вот... — протянул я Сашке.

Он с трудом поднял голову, уставился на лопату, медленно повел глазами в одну сторону, в другую, и на грязной мослоковатой физиономии проступил ужас.

— Да, — сказал я мстительно, — лежит на склоне.

Сказал и пожалел. Сашка отвернулся, плечи обвалились, широкая, пятнисто-мокрая спина обмякла. Он хотел бы, да не может быть другим, врожденный порок сильнее его. Я ударил ниже пояса.

— Ладно уж, передохни, я порою.

— Т-ты!!—Сашка развернулся, кинулся на меня, выхватил лопату. — Ид-ди ты к... — зло, захлеб выругался. В это время раздалось то, чего я давно ждал:

— Связи нет!

Смачкин повернул ко мне опаленно-медное лицо.

— Вот так, сержант. Двигай!

Чуликов расстегнул ремень, в гимнастерке распоясской блаженно растянулся под треногой.

— Будем загорать, товарищ лейтенант... Что там о снарядах говорили?

Пристраиваясь к Чуликову, Смачкин ворчал:

— Ни черта не понял. На полуслове оборвалось... Везут... Почему везут?.. Не могли же весь запас выпустить... Да потеснись ты! Не по чину развалился...

До чего же уютно на НП, здесь даже пули вроде бы поют высоко. У самой передовой, а война стороной обтекает. Так не хочется отрываться от своих, но связисту на фронте часто приходится воевать в одиночку.

Еще раз пришлось встретиться с Нинкиным. Мимо него я скатился вниз, счастливо не замеченный снайпером. И сразу же забыл... Да, забыл Нинкина и потом почти не вспоминал о нем. Многих пришлось мне оставить в войну — на обочинах дорог и в развороченных окопах, у речных переправ и на разбитых улицах Сталинграда, на зеленых лугах под малоизвестным местечком Батрацкая Дача. Нинкин из них был вовсе не самый мне близкий. И только спустя несколько десятилетий он стал всплывать в памяти каждый раз, когда мне приходилось останавливаться у могилы Неизвестного солдата. Он, первый из мною потерянных, — Нинкин.

11

Кабель тянется через степь, несложное хозяйство, оно вышло из строя, и я отвечаю за него. Кабель тянется через степь, уводит меня в тыл.

Я прополз на животе каких-нибудь триста метров и понял, что миновал опасную зону, поднялся на ноги. Меня уже не увидят из немецких окопов, ни снайпер, ни пулеметчик не возьмут на мушку, может настичь лишь шальная пуля, а от шальной прятаться бессмысленно. Никто мне не говорил, где тот рубеж опасного и безопасного, я сам его определил. И никто не учил меня, как угадывать по свисту мины, далеко она упадет или близко. Ни в одном уставе этого не записано. Но я угадываю, рождается свист, я иду, свист нарастает, не знаю, где именно взорвется мина, знаю только, не рядом со мной. Слышу взрыв и даже не оборачиваюсь в его сторону. Но вот свист с некоторым давлением, не спешу падать, он еще должен показать себя... Показы-

вает, близко не близко, однако на всякий случай припадаю к земле, мина коварна, ее осколки разносятся по поверхности, поражают издали. Снаряд бьет сильней, но не столь опасен, выносит вверх и земляное крошево, и осколки. Иногда нарастающий свист резко обрывается — немедленно падай, вжимайся, только это спасет тебя от близкого взрыва.

Всего несколько часов я на войне, но уже мною себя обстрелянным солдатом настолько, что начинаю верить в свою неуязвимость. Особенно здесь, отступая от передовой. Здесь визжат пули, рвутся мины и снаряды, но для меня это уже тыл.

Вот наконец-то и памятная дорога. Пустынно и тихо, кругом безжизненная степь, накаленная за долгий день солнцем, как гигантская сковорода. Кажется, давным-давно мы были тут, мы, новички, сгибавшиеся от страха. На дороге рвались снаряды, и мы ничком лежали в стороне, не надеясь остаться в живых. А с каким ужасом я провожал батю Ефима, возвращающегося на страшную дорогу, не надеясь увидеть его в живых. Смешон теперь детский перепуг. И рваные воронки у дороги сейчас ничуть не портят дремотной картины.

Мое чутье меня не обмануло — порыв линии был здесь. На укатанной колее следы гусениц — прошел танк, зацепил кабель. Секундное дело стянуть концы кабеля, срастить их с перехлестом. Если дальше кабель в порядке, то связь уже есть, пушки могут стрелять. Но нужно перекопать дорогу, загнать кабель в землю, иначе он при любой оказии будет рваться, особенно ночью, когда тут наверняка начнется оживленное движение. Я вынимаю из чехла лопатку, опускаюсь на колени...

Дорога пристреляна. С какого-то далекого немецкого НП вооруженные биноклями и стереотрубами наблюдатели наверняка и сейчас следят за ней. Но я теперь достаточно прозорлив, чтоб страшиться. Навряд ли батареи откроют огонь по одному человеку, но даже если и откроют... Как только завоют снаряды, я перемахну в кювет, осколки в нем не достанут, а прямое попадание едва ли...

Земля дороги красна, как кирпич, как кирпич, тверда, врубаюсь в нее, выбиваю кусочек по кусочку, не поддается. А степь — пышущее пекло, и каска раскалена, и гимнастерка жестяно ломка от соли, я даже разучился потеть, вся влага из меня выжата. Хочу пить, давно изнемогаю. Котелок воды — мечта о невозможном. Бью,

бью кирпичную землю, кирпичного цвета пятна плывут перед глазами... Вот оно, начало моих воинских подвигов!

За все время на фронте я ни разу не был в рукопашной, всего раз или два по случаю выстрелил в сторону противника, наверняка никого не убил, зато вырыл множество землянок и окопов, таскал пудовые катушки и еще более тяжелые упаковки питания радиостанции, прополз на животе несчитанные сотни километров под взрывами мин и снарядов, под пулеметным и автоматным огнем, изнывал от жары, коченел от холода, промокал до костей под осенними дождями, страдал от жажды и голода, не смыкал глаз по неделе, считал счастливым блаженством пятиминутный отдых в походе. Война для меня, маменькиного сынка, неусердного школьника, лоботряса и белоручки, была прежде всего тяжелый и рискованный труд, труд до изнеможения, труд рядом со смертью.

И никогда не ведал, что преподнесет мне новая минута...

Из дальнего угла безжалостно знойного, чистого неба поплыл размеренно качающийся звук. Я еще не успел обратить на него внимания, как бешено заквакали зенитки—ближе, ближе, все яростней, все осатанелей, пятная синеву быстро отцветающими одуванчиками. Сначала разглядел я лишь легкие прорези в небе, неровный пунктир. Он рос, ширился, призрачные прорези на небосводе становились материальными, обретали форму. Завороженный, я глядел и не смел шевельнуться. Качающийся моторный гул крепчал, в нем проступало утробно-басовитое, угрожающее. Самолеты двигались прямо на меня медленно, уверенно, упрямо, не обращая внимания на одуванчиковую метель вокруг... Прямо на меня! Ошибки быть не могло. И уже различались линейные кресты на крыльях.

С усилием на секунду оторвался, оглянулся на залитый солнцем степной мир. Обреченный мир. Никого в нем нет. Никого, кроме меня!

Я сорвался с дороги, дальше, дальше в сторону, но куда спрятаться—плоская земля доверчиво распахнута враждебному небу. Но, кроме нее, родной земли, нет спасения, и я упал, однако краем глаза воровски выглядывал—не пройдут ли мимо, не пренебрегут ли мной, ничтожным? Нет, не блажь, не сон, прямо надо мной заваливался набок передний самолет, неестественно громадный, с отточенно серебряными на солнце

крыльями. Он заваливался, и водопадно-гневный рев обрушился на меня. Я уткнулся лицом в душную колючую полынь...

А в ней, полыни, свой покойный травяной мир, своя потаенная жизнь — по сухой былинке мечтательно полз жучок, мелкий, но хвастливо-нарядный, позолоченно-черный.

Вверху же творилось невероятное — надсадный рев, истощающее завывание, жуткий шабаш злых машин. Не вижу их, не хочу видеть, но не могу не слышать. Одна тень, другая скользнули по мне. Надо мной! Над моею открытой спиной! Велико мое тело, и земля не пускает его в себя. Ползет перед глазами жучок, позолоченный монашек, никуда не торопится, ему нет дела до шабаша в небе. Он мал! Он скрыт! Не собирается гибнуть вместе со мной...

Вот в рыке и вое проступил невнятный слабенький свист. Она! Сброшена... Мой конец. Тонкий свист оборвется — меня не будет.

С грохотом колыхнулась земля и не успела встать на место, как новый сотрясающий грохот. Все кругом стало ломаться, раскалываться, биться в истерику, свет померк, а кусок степи, обнятый мною, корчился в конвульсии. На мгновение проскальзывало затишье, зыбкое, как солнечный зайчик. Оно не успевало родить надежды — снова вой, обвальный грохот, конвульсии земли. Еще, еще, еще!.. Хватит! Больше уже невозможно! Но еще, еще... Я ослеп, я оглох, я перестал себя чувствовать, смирился с концом.

Затишье, столь же неверное, как и прежде. Грохот, не столь давящий, удаленный. И пауза. Она тянется и тянется. Лишь перекатное урчание моторов да шемящий звон в ушах. Кусок обнятой мной степи снова стал земной твердью. А в потаенном травяном мире недоуменно застыл на полпути знакомый позолоченный жучок, вслушивается, поводит усиками. Он явно жив... Похоже, и я...

Долго лежу в изнеможении, отдыхаю в заповедном мирке, успеваю даже проводить золоченого монашка до вершины былинки, тихо порадоваться его победе. Наконец набираюсь сил, приподымаюсь на подламывающихся руках...

Я ждал — мир разрушен, верил — увижу вывернутую наизнанку землю, где чудом уцелел лишь жалкий клочок, который я по-сыновьему прикрывал своим телом.

Милость спасения выпала нам двоим — жучку-монашку и мне.

Но, на удивление, мир во все стороны был цел, даже ни единой новой воронки рядом — раскаленная, с плывущим вверх волнистым воздухом степь, дорога, а на ней, как утверждение покоя, забытая мною саперная лопатка. Где же тогда происходило светопреставление? Да было ли оно? Не пригрезилось ли мне в страшном кошмаре?

Я добросовестно закончил свою работу, упрятал в землю кабель. Вернувшийся к жизни, я снова почувствовал изнурительность жары и мучительную жажду... Благодатно прохладный котелок воды! Но придется терпеть до огневой. Тем более что с нее никто не вышел мне навстречу, а должны бы выслать. Двинулся дальше по кабелю.

Еще не сделав и сотни шагов, я прозрел, где именно было светопреставление!

Немецкие самолеты бомбили знакомую минометную батарею.

В пологой ложинке метались, возбужденно и зло кричали солдаты, ставили опрокинутые минометы, перетаскивали и складывали в штабели ящики, лихорадочно, в несколько лопат раскапывали заваленные щели. И все это вокруг величественно безобразной, глыбасто-рваной глубокой воронки. Несколько зияющих воронок по склонам. У одной в стремительно бегущей позе убитый, зеленая гимнастерка перехлестнутая портупеей, должно быть, командир.

Ближе ко мне заросший рыжей щетиной санинструктор обрабатывал раненого. Болтался распоротый, тяжелый от крови рукав, вызывающе сияли белые бинты на черной руке. Санинструктор кричал с неестественным надрывом:

— Кучкин! А Кучкин! Слышишь меня?

Раненый Кучкин мотал пыльной, коротко стриженной головой, не отвечал.

— Оклемаешься, Кучкин! Ничего, что пришибло! Оклемаешься, брат! А рана твоя пустяковая, Кучкин!.. Шевельни пальцами! Шевельни, говорю!.. Во! Шевельт-ся!!

Я не смел приблизиться. В моей помощи тут никто не нуждался, справлялись сами. И какой я помощник, до сих пор чувствую слабость в коленках. А еще считал себя обстрелянным — неуязвим, не боюсь.

Санинструктор суетился и почти восторженно орал над пыльной макушкой раненого:

— В санбате живо поправят, будешь как новенький! И снова таскай плиту, Куч-кин!..

Возле раненого стоял котелок с водой, почти полный. Нет, я не решился попросить — счастливый у потерпевшего, здоровый у раненого. Ну нет!

А ведь здесь не было светопреставления. Погром — да. Но люди продолжали деятельно жить. Кто знает, сколь много может вынести человек?..

Я уходил, а надрывный крик санинструктора провожал меня:

— Кучкин! А Кучкин! Повезло тебе, братец! Месяц прокантуешься. Может, и два!..

12

На огневой все смешалось. Орудийные расчеты на руках — р-раз-два, взяли — выкатывали с позиций на открытые места пушки, цепляли к ним зарядные ящики, Ездовые, мешая друг другу, подавали задом лошадей, лошади сбивались в кучу, путались в построениях. Запаренные командиры не по-уставному кричали на орудийщиков, орудийщики на ездовых, ездовые на коней — крепкие выражения, толкотня, хлопанье кнутов, ржание, острый запах конского пота. Не отступление, нет, и не паника перед противником, срочный приказ — сниматься на новое место, ближе к передовой.

Словно из-под земли вырос Зычко, охомутан шинельной скаткой, карабин на плече, вещмешок за спиной — готов к походу, — скуластое лицо бронзово и непроницаемо.

— Бачишь оцей кабель? По нему до хозчасти... И швыдче, швыдче! Возьмешь две полные катушки тай разом обратно. Отсюда потянешь связь к новой огневой. Чув?.. Повторить приказание!

— А НП?..

— Яки тобі НП? Пушки сьмаються, НП тоже.

— Как же они связь смотают? Нинкин убит. Старик Ефим с тремя катушками надорвется.

Зычко цепко взял меня за пуговицу, притянул вплотную, жарко дыхнул.

— О себе гребтуй, хлопец. Война не маты ридна. Шо був добреньким, забудь. Спасибочки говори — не назад гоню к пулям, а в тыл, от пуль подале. Минутку да выгадаешь.

— Может, сам сходишь?.. В тыл-то, от пуль по-
дальше. А я навстречу бате связь мотать стану.

— Па-ав-та-рить приказание, сержант Тенков!

— Где здесь напиться?

— В хозчасти напоят.

В тыл, подальше от пуль. Хотя какой уж тыл — хоз-
часть рядом, рукой подать. А пуль здесь хватает, воздух
стонет от них. Пожар на передовой, похоже, разгорает-
ся не на шутку.

Развернутой неровной цепью идет по степи мне на-
встречу часть пополнения. Свеженькие. Они на добрых
полдня позже нас вылезли из теплушек, только-только
приближаются к фронту.

Впереди, заломив утопающую в каске голову, бой-
цовски выставив узкую грудь, вышагивает лейтенант.
Он весь новенький, как только что отчеканенный дву-
гривенный. Гимнастерка, ремень, кобура пистолета, кир-
зовые голенища сапог — все нескладно топорщится, все
не притерлось. Видать, сразу бросили из училища сю-
да, ничуть не старше меня годами. На круглой свежей,
еще не тронутой степным загаром физиономии так и
впечатано: «Видите, мне все нипочем!» Слишком отчет-
ливо, слишком наглядно, чтобы быть правдой. Навер-
няка жадно ловит посвист каждой пули, гадает, какая
ближе, какая дальше, несет в себе нетаящую глыбу
страха, но грудью вперед, молодецкато несет свое «мне
все нипочем». Изредка, шевельнув плечиками, оборачи-
вается, петушиным голосом отечески подбадривает:

— Вперед! Вперед! Не отставать, братцы!

За ним солдаты, пожилые и молодые, на одно лицо,
усталые.

Дюжий, глубоко сутулящийся парень натужно высту-
пает на полусогнутых. Он почему-то ошарашенно глядит
на меня и неожиданно опускается на корточки. Крупные,
раздавленные работой руки с силой сжимают между ко-
лен винтовку, конец штыка замысловато выписывает в
воздухе нехитрое откровение. Из-под пузырящейся кас-
ки синяя тоска усталых глаз — доверчиво мне в зрачки,
в дно души. И тихий, с придыхом, недоуменный, стра-
дающий вопрос:

— И зачем?.. Ну, зачем люди воюют? А?..

Я, старожил фронта, обремененный шестичасовым —
не менее! — опытом, побывавший на передовой, на вся-
кий манер обстрелянный, я выпрямляюсь, чтоб не пока-

зять усталости, величаво марширую мимо, не снисхожу до ответа.

Да он и не ждал его...

Война есть, никуда не денешься, размышлять о ней поздно. Умей бороться — да, с ней, да, против смерти, да, за жизнь.

Нет, не тогда в моей зеленой, не созревшей до осмысления голове родились такие слова. Слова появились теперь, спустя с лишком сорок лет. Но навряд ли они и сейчас передают хотя бы приблизительно тот биологический иммунитет против отчаяния, возникший у меня в первые фронтовые часы. Он, иммунитет, оказался куда действеннее сознания. Мое сознание и до сих пор пасует перед роковым вопросом, вырвавшимся у встречного парня с винтовкой...

13

Нагруженный катушками, я вернулся на покинутую огневую, там меня ждал Ефим. Он потемнел, усох, стал морщинистее, брови выгорели, выглядели седыми. Кажалось, так давно расстались, что у бати наступила глубокая старость — как есть дед, прокопченный, жилистый и еще более замкнуто мудрый. Но мы оба живы и снова вместе.

Время, в которое мы теперь окунулись, не схоже с обычным, здесь минуты равны мирным неделям, часы — годам. А потому и встречи необычны, впечатляющи — ну-ка, изменились, но целы, могли б и не свидеться, уже подарок.

— Как ты там с тремя катушками справился?

— Справился. Я семижильный... Пошли, что ль?

Косматое солнце перевалило на сторону немца, висело над степью и уже не палило с прежней силой. Через степь из края в край гремющий поток, крутая кипень выстрелов и скачущее эхо взрывов. В небе, не затихая, шелестят снаряды — к нам, к нам, партия за партией, без отдыха.

Мы ползем по ровному полю, подминая под себя спелые хлеба, окруженные сатанинскими всплесками рвущихся пуль. В гуще пшеницы разрывные пули не столь и страшны, они больше пугают, действуют на нервы, для них даже встречная соломинка, тем более налитой колос, уже препятствие — рвутся, встречая их на пути. Но немцы-то били не только разрывными... Мы ползли,

тянули за собой кабель, жались к бугристой земле, не смели поднять головы. Противник разошелся к вечеру.

Наши пушки встали на прямую наводку. Стать на прямую — значит, бросить вызов: играем в открытую! Кругом равнина, впереди лиловые дали. Орудийные расчеты торопливо работали лопатами, бросали красную глину, вкапывали пушки. У наиболее усердных над пшеницей торчат лишь стволы с настороженными пламегасителями.

Но здесь что-то случилось... Идут работы, мелькают лопаты, растут рыжие отвалы — и что-то замороженное, сковывающее в воздухе. Нет привычной в таких случаях суеты, никто не бегает, никто не кричит, голосисто не командует, молчаливый, сурово-сосредоточенный азарт.

А в стороне, у одной из пушек, за невысокой насыпью, в углублении, тесной кучкой батарейный комсостав во главе с командиром батареи старшим лейтенантом Звонцовым всматриваются в окрашенную косыми лучами солнца немецкую сторону, жадно курят, тихо переговариваются. Да и солдаты, те, кто не держит лопату, поползали вперед, тянут шеи.

— Что там? — спросил я Зычко.

У Зычко уже открыта по-уставному глубокая щель, в ней телефон, он сам на дежурстве у трубки, выкликает цветочки — «Ландыш», «Тюльпан», «Ромашка», батареи нашего дивизиона, среди них проросла незнакомая мне «Береза», должно быть, пехотная часть, которую мы поддерживаем. Все-таки Зычко расторопен — только что заняли позиции, а он уже со всеми связан, вот и мы с Ефимом принесли ему конец от «Жита», хозяйственников дивизиона.

Зычко ответил мне не сразу, скупой и сурово:

— Танки...

— Немецкие?

— Нет, дядины.

И я вскинулся, Зычко не посмел остановить меня начальническим окриком.

Возле командирской кучки — почтительно в стороне и так, чтобы быть под рукой, — сидит на корточках вестовой Звонцова Галушко. Я пристраиваюсь к нему.

Идут танки... Я ждал, увижу напористый марш, поднятую пыль, сверкающие гусеницы, грозно качающиеся башни с наведенными орудиями, но впереди унылая бескрайняя степь, накаленно ржавая, с тенистыми западками. Странно: путаное кружево выстрелов во всю ширь,

шорох летящих снарядов вверх, перекатно прыгающие взрывы и полный покой там... у них, в глубине. Вспухает одинокий взрыв, ватно-нечистый ком дыма вяло валится на сторону.

У Галушко острое птичье лицо, тонкие губы сплюснуты в ниточку, ноздри поигрывают, узкие глаза блестят. Он видит, я нет.

— Где? — выдыхаю я.

— Да вон высыпали... — кривится Галушко. — Еще те поганочки.

Пыль, башни, наведенные пушки... Посреди степи, словно пеньки вразброс на поляночке. И это танки? Греются на солнышке, не двигаются. Пыль, башни... Как они далеко от нас!.. Я отметил для себя самый крайний пенек на солнечной полянке и стал считать: один, два, три... После десятка сбился. Решил считать сначала, с крайнего. И не нашел его на месте — «пенек» незаметно переместился и чуточку подрос. Они двигались и исподтишка росли.

— Ждем, чтоб приблизились? — спросил я.

— Ждем, чтоб провалились к чертовой матери.

— Раз идут в открытую, встретим.

— Чем?

И я вспомнил разговор на НП.

— Снарядов до сих пор нет?

— Снарядов полно. Шрапнельные... Фугасные везут. Улита едет, когда-то будет. К ночи?.. Так танки раньше здесь будут.

Мы молчим. Даже мне понятно, что шрапнель для танков — что горох. Молчим, глядим в степь. Танки двигаются лениво-лениво, но двигаются, не стоят. А солнце еще не село, не скоро опустится ночь...

— Эх-ма! — вздыхает Галушко. — Шрапнелью запаслись. Шрапнель в гражданскую работала, теперь броню проломи.

В командирской группе оживление, передают друг другу бинокль, вглядываются, перекидываются скупыми фразами:

— Кто там пылит?

— Мотоциклисты, похоже.

— Курочки с цыплятками...

Оторвались от лопат даже орудийщики.

И я наконец улавливаю розовый клубочек пыли у переднего танка — «с цыплятками»...

— Товарищ старший лейтенант, разрешите!..

Над командиром батареи Звонцовым нависает командир орудия Феоктистов. Звонцов мешковат, приземист, гражданский животик выползает из-под ремня—пришел из запаса, был где-то старшим бухгалтером. У Феоктистова на мощном теле не бойцовски курносая, бабьи мягкая физиономия. Он из кадровых, считается лучшим наводчиком дивизиона.

— Разрешите, накормлю шрапнелью!

Звонцов медлит, уставившись в даль, качает каской.

— Откроем себя, Феоктистов. По нам ударят, а ответить нечем. Лучше помалкивать.

— Одним снарядом, товарищ старший лейтенант... Всего одним! Обещаю накрыть.

Молчание. На Звонцова со всех сторон выжидающие взгляды. А пыльное облачко в степи вытягивается, распухает, озарясь багрянцем. Мотоциклистов не группа, раз-два, и обчелся, а целая колонна.

— Один выстрел засечь не успеют, товарищ старший лейтенант!

— Ладно! Один снаряд, только один!

Орудийный расчет без команды бросает лопаты, деловито становится к пушке. Не пригибаясь, широким шагом, вздрагивая от нетерпения, приближается Феоктистов, на ходу роняя приказания. Жарко вспыхивает в руках заряжающего медная гильза, проглатывается затвором. Феоктистов припадает к прицелу, долго колдует...

А в глубине степи красный стелющийся дымок, словно занимающийся пожар.

Изрытый и вытоптаный кусок поля за орудийными распорками напоминает немую сцену из «Ревизора» — кто в какой позе с раскрытым ртом. Ждут выстрела.

Феоктистов распрямляется, негромко командует:

— Аг-гонь!

Пушка содрогается. Выстрел не успевает отзвучать, взметается дружный вопль. В степи над пожарищем нависает сизое облачко, расползается... Багряная змейка пыли круто сворачивается, ползет обратно, ныряет за ближайший танк, оставляя после себя розовое марево.

— Умыл!

— Одним снарядом!

— Тютелька в тютельную...

— Ай, мастер парень!

А танки равнодушно ползут. Я не из зорких, но уже начинаю различать их башни. В бинокль, должно быть, видят и наведенные на нас орудия. Восторженный гово-

рок быстро вянет, орудийщики снова берутся за лопаты.

С визгом распарывается небо, в поле за нами взмывает вверх поток земли, от грохота закладывает уши.

— По укры-ы!..

Не командирски тонкий голос Звонцова тонет в новом, опрокидывающем мир взрыве. Поднявшееся на дыбы поле на секунду закрывает солнце. И, не давая вздохнуть, надвигается сверлящий вой. Я падаю, но успеваю заметить, как оживает пушка Феоктистова, вскидывает стволом, словно норовистый конь... А дальше уже ни видеть, ни слышать, ни ощущать ничего не могу. Где-то близко надо мной небо перемешивается с черствой глиной. Изредка куций просвет в сознании, и тогда ливневый ропот падающего земляного крошева, зловещее шипение блуждающих сверху осколков, едкий газ, забивающий горло, деревянная голова... А затем вновь тупой толчок земли в грудь, мешанина во вселенной, небытие...

Очередной просвет затянулся. Не верю блаженной тишине и вжимаюсь. На каску, на спину сыплется земля, но уже не рокошущим ливнем, реденько. Зашуршал, зашепелявил воздух — снаряды не к нам, а над нами, дальше в тыл, значит, нас считают достаточно наказанными, решили оставить в покое. Боязливо подымаю голову, кручу ею, передергиваю плечами, шевелю одной ногой, другой, проверяю себя — цел ли? Вроде цел, нигде ничего, вот только голова деревянная.

Вокруг меня восстание из мертвых — возятся, отрываются, лезут из щелей, диковато оглядываются. Рядом, как из преисподней, вырастает каска, пепельное лицо со знакомыми чертами — Зычко. Каким-то манером я оказался у его щели. Знать бы, свалился б в гости, пережидали б судный час в компании, даже если б это и не нравилось хозяину. Зычко тоже очумело отрывается, сердито прокашливается.

И уже возникают первые голоса:

— Всего раз плюнули, а его, гада, прорвало.

— Пошли жалобу, чтоб повежливей...

Живы. Право, чудо.

И...

— Лямзина!.. Санинструктора Лямзина!.. Феоктистов ранен!

Орудийщики ползком и на четвереньках обступают лежащего Феоктистова. Пушка с задраным стволом завалилась набок. Сгибаясь и прихрамывая, спешит

командир батареи Звонцов без каски и пилотки, с оголенной лысиной.

Зычко отмыкает уста:

— Разнесут нас здесь. Живы не выберемся.

Он впервые попадает в переплет, для меня уже и такое не в новинку. Хотя, что и говорить, веселого мало — в чистом поле, на виду у противника, снарядов нет. Спасти может только ночь, а солнце пока что висит над землей, не скоро еще сядет...

— Танки скрылись! — крик то ли удивленный, то ли радостный.

С усилием распрямляюсь во весь рост, вглядываюсь в немецкую сторону. Совсем недавно различал уже их башни, сейчас рдеющая степь пуста и мотоциклы тоже не пылят. Из-под земли выползли, в землю ушли. Но где-то здесь, неподалеку, неизвестно, двигаются ли тайком или выжидают до времени?

— Не маячь. Хочешь, чтоб снова набросали? — цедит Зычко. Он по грудки в земле и, похоже, не собирается вылезать.

Слышу за спиной тяжелое дыхание. Появляется Звонцов, по-прежнему без пилотки, на лысине царапина. Отдуваясь, присаживается на корточки, провесив животик, житейски доброе, простовато полное лицо озабочено, и что-то потустороннее в нем — нас не видит, вглядывается в себя.

— Свяжитесь с хозвзводом. Пусть срочно высылают подводу... Вывезти Феоктистова. — Выныривает из себя, строго глядит на нас, объявляет: — В грудь осколочное!

Зычко ныряет в щель, хватается за трубку:

— «Жито!» «Жито!» Я «Фиалка»!.. Не тебя зовут! «Жито» прошу... «Жито»!.. «Жито»!.. Не отвечает «Жито», товарищ старший лейтенант.

— Наладить! Чтоб подвода была! Срочно!.. Ранение тяжелое!

Каска Зычко медленно вырастает из земли. Из-под каски на меня холодные совиные глаза.

— Сержант Тенков!.. — приказным, с гнусавинкой голосом.

Господи! Всему есть мера. Весь день он торчал у телефона, бегали, ползали, таскали катушки мы. Война не мать родная, да! И он командир — тоже да. Но нельзя же забывать, что командуешь людьми. Чуть-чуть раздели с ними непосильное. Подмени на один раз, если

есть совесть... Совиные глаза. «О себе гребтуй... Шо був добреньким, забудь!» Я вдруг почувствовал себя неподъемно тяжелым, словно весь из железа. И заржавел — не шевельнуть ни рукой, ни ногой.

— Голубчик, пожалуйста, побыстрей, — голос Звонцова никак не приказной. — Постарайся, голубчик... В грудь ранен...

Не могу не откликнуться.

— Есть постараться, товарищ старший лейтенант!

А Зычко опускается в щель, слышно, как озабоченно продувает там трубку.

14

Связь прекратилась после артналета, значит, порыв должен быть где-то рядом, но я ползу и ползу, а кабель цел, уводит меня от своих. Пулеметные очереди с треском рвут воздух, мир кругом распарывается по швам, такое ощущение, что вот-вот образуют прорехи и в них проглянет мир иной, голубой и прохладный, не похожий на наш сумасшедший.

Миновал бывшую огневую. Ископанная, истоптанная ложбина, валяются разбитые ящики от снарядов, пустые артиллерийские гильзы, оставленные впопыхах противогазные сумки, обтирочная ветошь — заброшенность. После нее двигаюсь уже не ползком, однако и не распрямляюсь во весь рост, перебежками, со скачками и нырками. Противник не унимается, похоже, сатанится еще больше. В воздухе звучит незатихающая струна, заряженный пулями воздух ноет.

Скоро и овражек, где спрячется наш хозяйственный тыл — ряды повозок с поднятыми дышлами и оглоблями, кони, привязанные к грядкам, лениво слоняющиеся повозочные, дымит на отшибе полевая кухня. Все очень смахивает на воскресный рынок в селе — возле войны кусочек заповедного мира. В прошлый раз я даже позавидовал: живут же люди! Скоро... Но кабель цел, почему же нет связи?

Это сразу выяснилось, как только я оказался на краю овражка. Первое, что увидел, — повозочный на коленях. Скатывал солдатик на земле шинель и не дождался, уткнулся головой в скатку, замер в молитвенной позе. А рядом запряженная в повозку лохматая лошаденка, распустив губы, понуро дремлет в оглоблях. За ней же без криков, воплей, матерщины в смятенной по-

давленности идет работа. Солдаты хозвзвода, «стариковская команда», бестолково тычутся, волочат мешки, бидоны, ящики кидают в повозки, нахлестывают лошадей, отъезжают, цепляются в тесноте. В самой середине сутолоки задранное колесо опрокинутой двуколки. Мечется багроволицый старшина, пухлая спина в ярко-зеленой комсоставской гимнастерке туго стянута портупей, из породистых, гроза подчиненных, но и он не кричит, а только налетает то на одного, то на другого «старичка», шипит. И по оврагу разбрызганы черные воронки...

Мне жутко от глухой паники тыловой «стариковской команды», даже старшина здесь потерял голос. Им не до меня, не до кого на свете, кричи, требуй — никто не услышит, надо действовать самому. Раненный в грудь Феоктистов лежит на огневой...

Повозочный в молитвенной позе, дремлющая вислогубая лошадь... Их все забыли, они в стороне от паники. Я огибаю убитого, карабкаюсь на повозку. Там несколько лопат и туго набитый вещмешок хозяина. Торопливо выбрасываю и мешок и лопаты, хватаюсь за вожжи.

— Н-но! — на всякий случай вспоминаю бога и мать. Это у меня получается не очень-то убедительно, но лошадь понимает, послушно разворачивается к крутому склону, с привычной добросовестностью влегает в хомут.

— Давай, родненькая, давай! — умоляю я.

И лошадь выносит меня наверх. На открытом степном юру я деревенею. Только теперь мне открывается, на какое безумие я решился. Я бы не добрался сюда, если б не прижимался к земле. Земля-спасительница укрывала, сейчас оторван от нее, поднят над ней, выставлен под пули. Здесь пока, хотя и веет в лицо алчно стонущий ветерок, еще не столь опасно, а вот дальше... Там, дальше, я не смел поднять головы, а теперь буду вознесен, не уцелеть под свинцовым ветром...

В цветном пыльном мареве на немецкой стороне садится солнце, натужно раздувшееся, гневно красное. Край земли не принимает его, оно даже сплющилось от усилий... Я гоню лошадь прямо на солнце. Она настороженно прядет ушами, неуклюже рысит, старается. Больше выжать из нее не могу — не на скаковых.

— Н-но, милая! Н-но, хорошая!..

Гремит и трясется повозка, лязгают мои зубы то ли от толчков, то ли от страха.

А вот и бывшая огневая, на рысях скатываемся вниз, лошадь останавливается — мол, приехали, — я перевожу дух, не в силах гнать ее дальше. Покинутое место, взрытая земля, остатки брошенного хлама, пусто и тихо, тихо. И сюда в низинку уже вкрадываются призрачные сумерки. Где-то наверху, в самом конце степи, заходит солнце, что стоит мне переждать, пока оно не зайдет. Опустится темнота, и тогда... Тогда никто меня не увидит, спокойно доеду, останусь жив. Спросят: почему так долго? Отвечу: хозвзвод попал под обстрел, еле удалось выбить подводу... Поверят, не упрекнут.

Но Феоктистов... Я его знаю со стороны, он же меня не знает совсем... До чего простой выход — Феоктистов умрет, я буду жить. Звонцов просил: «Голубчик, пожалуйста, побыстрей».

В сердцах хлещу вожжами.

— Пш-шла! Ночевать пристроилась!

Лошадь качком трогается...

Солнце зашло наполовину. Между ним, багровой горбушкой, и землей мутная проточина неба. Когда-то давным-давно был восход и я гадал, увижу ли закат... Вижу его, пока вижу!..

Визжат и давятся пули, некоторые оставляют бледные сполохи в помутневшем воздухе — это трассирующие... Посреди войны нас двое — я и она, живое доверчивое существо, настороженно прядущее ушами. Страдальчески радуюсь, что вижу закат. Пока вижу...

— Н-но, славная! Н-но, родная!

Она старается, громыкает подо мной нескладная телега, трясет меня.

От грядки повозки брызжет щепы, срикошетившая пуля воет истерическим басом. Жив я, жива она.

— Н-но, красавица!..

Копыта мерно и тупо бьют по комковатому полю, косясь с шелестом обметают ступицы колес. Солнце скрылось незаметно, стеснительно. Степь нахмурилась, потемнела. Над ее далеким, сумеречно-синим краем сухое полыхание, а выше над ним на полнеба прозрачно-нежный, зеленый просторный разлив. Чуть-чуть осталось до темноты! Как перетянуть через это чуть-чуть? Как до конца доглядеть закат?..

Нас двое в обезумевшем мире. Только двое! Я и она, родная мне, единственная.

— Милая-хорошая! Давай!

Она старается, трясусь на повозке и гадаю: кого раньше, ее или меня? Встречный воздух настолько опасен, что страшно дышать. Тлеет закат. Пока вижу, пока дышу...

Совсем рядом давятся пули, зло кусают многотерпеливую, равнодушную землю.

Кого раньше, ее или меня?..

...Ни ее, ни меня. Мы на рысях подкатываем к батарее, нас обступают, а я сижу и никак не могу пошевелиться, одеревенел. Снизу заглядывает мне в лицо Звонцов, мясистый нос, широко расставленные глаза. Он, похоже, не очень-то мной доволен — заставил долго ждать, — но, приглядевшись, не произносит ни слова. За его спиной молчаливо сутулится батя Ефим.

Я ломаю свою одеревенелость, неловко сползаю вниз.

Кучно обступив, на туго растянутой плащ-палатке орудийщики подносят Феоктистова. Из-под наброшенной шинели торчит задранный подбородок.

Меня трогают за плечо.

— Почему нет связи?

Зычко в надвинутой до скул каске, оттеснивший Ефима.

— Линия цела... — мой голос вял и бесцветен. — У хозяйственников погром.

— Спрашиваю: пач-чему нет связи?

— Пошел к черту, — говорю я, не в силах сердиться.

— Сержант Тенков! Как разговариваете?!

Звонцов оборачивается к нам.

— В чем дело?

— Связи нет, товарищ старший лейтенант. Вот был послан в тыл и не наладил.

— Кое-что наладил... Ладно, ночь впереди, отладите и связь.

Зычко подтянулся перед командиром батареи.

— Разрешите мне сопровождать раненого? Усе сам выясню.

— Что ж... — согласился Звонцов. — Только побережнее, дорогой, не гоните, не растрясите...

Стоявший рядом Ефим хмыкнул. Я, не отмякший после поездки, не удивился ни просьбе Зычко, ни хмыканью Ефима.

Связь с «Житом» восстановилась сразу, как только подвода с раненым Феоктистовым отъехала от огневой.

А еще через полчаса «Жито» сообщило: подвода с раненым прибыла, по пути убит сопровождавший, лошадь сама пришла в расположение хозвзвода. Гадал ли Зычко на пути: кого раньше?.. Их было уже трое, пули пощадил лошадь и впавшего в беспамятство Феоктисова...

Неисповедимы пути твои, господи. Зычко устрасила открытая позиция — в чистом поле, на виду у противника, Зычко всегда был обстоятелен и расчетлив. Тут просчитался...

С наступлением сумерек мы снова снимались. Ездовые пригнали упряжки, на этот раз без спешки, без гвалта и суеты подцепили пушки.

— Марш! марш!

На левый фланг. Там к утру ожидалась танковая атака. Ночью будут поставлены и снаряды, фугасные и бронебойные, в избытке.

Две пушки отправили в тыл — феоктисовскую и одну из третьей батареи. Потери дивизиона в первый день.

На новом месте меня поджидал уже Сашка Глухарев. Он сообщил: Смачкин подготовил НП, приказал тянуть к нему связь. Зычко не было, распоряжаться приходилось мне. Я оставил на огневой Ефима, сам взялся за катушку. На этот раз НП было близко, всего в каких-нибудь пятистах метрах.

Наступила ночь.

15

Звезды обнимают степь. Они здесь низкие, пристальные. Небо торжественно распахнуто, а земля темна, скрытна. Люди на ней прячутся друг от друга, друг друга сторожат, а потому рады свалившейся темноте. Целый день ты пресмыкался на животе, был земляным червем, теперь можно из земли вылезти, встать на ноги, распрямить спину, развести плечи, и недремлющий враг не увидит, что ты принял гордый человеческий облик.

Но и в самое глухое время не будь слишком доверчив. Темнота спасительна и ненадежна, та и другая сторона подозревают козни, и это вызывает их на разговор. В черной потусторонней бездне коротко пролает пулемет: не сплю, сторожу! Басовито гроыхнет в ответ наш: тоже бдим, не сомневайся! Вскинутся автоматчики, сварливо переругнутся. И среди звезд небесных появляются звезды иные, одна за другой по ранжиру — цепочки



трассирующих пуль. Уйдут вглубь, заблудятся, не оставят следа. Идет ночная беседа, значит, тихо на фронте, война отдыхает. Не спугни этот отдых.

Наш НП вплотную к стрелковым окопам. Я так и не встретился на ночь глядя со Смачкиным. Он свалился и спит, не дождался даже, когда мы подтянем связь. Хорошо знал Зычко и как мало этого человека: где рос, как жил, кто его родители, имел ли друзей, что любит, что ненавидит?.. Сегодня ворвался в мою жизнь, нет, близким не стал — дистанция между нами! — а вот родным, пожалуй. Не представляю без него своего завтра. Странно сводит людей война — роднит практически незнакомых. Едва знаком с Чуликовым, а были рядом несколько месяцев, и сегодня он для меня еще большая загадка, а расставаясь, помнил о нем, разведет судьба, останется в памяти. Вот Сашка Глухарев, напротив, стал далеким, будет ли рядом, нет ли, безразлично. И сидит сейчас за телефоном возле спящего Смачкина мой связист, заменивший убитого Нинкина, знаю его с зимы, но каков он, сказать не могу, и, как нас свяжет завтра, тоже не ясно.

Рассыпаны низкие звезды над степью. Сама степь, накаленная за день, отдает сейчас живое тепло. Я один на один с ночью...

Из соседнего окопа тишком, осторожненько вылезли двое пехотинцев, уселись на закраешек против бруствера, сложили руки на коленях, замерли — две бесплотные тени. Уж этих-то я никогда не встречал, не разгляжу во мраке их лиц, не ведаю их имен, но и они в эту минуту мне братски родны. Как я, они не знают, останутся ли живы, как я, устали, как я, счастливы неподвижностью.

И, чтоб скрепить случайное братство, я говорю:

— День прожили, а ночь наша, до утра доживем.

Но они не пошевелились, молчат — тени, не люди.

— Эй! Что не спите, полуношники?

Молчание. Наконец запоздалый отклик:

— Ты нам, парень?

— Что не спите, спрашиваю? Завтра немец рано разбудит.

— Мы ведь не слышим. Оглушило нас в окопе.

Тут уже замолкаю я.

— Мне еще кой-чего долетает, вроде через стенку. А мой кореш что пень совсем. Даже и говорит спотыкаясь.

Вот и побеседовали... Плывет звездная ночь, перебраиваются передовые. Сидят по соседству отрешенные тени.

Неожиданно на немецкой стороне вскипели выстрелы, гулко заработал крупнокалиберный пулемет. Всколыхнулись и наши. Сквозь звонкий переполох доносится глухой стук мотора, знакомое в нем. Невысоко в воздухе вдруг вызрел тугой сгусток света, накаленно белый, повис там, за нейтральной. Ночь от света вздрогнула и сгустилась, а звезды отпрянули. Второе яростно накаленное тело в воздухе, третье... Не падают, висят, даже отсюда я вижу обнаженную колкую шершавость степи. Молотит, не переставая, крупнокалиберный, захлебываются автоматы, а всю эту путаную трескучую россыпь укатывает и трамбует неторопливый машинный звук. Тюк — далекий взрыв. Тюк!.. Тюк!.. Он, «кукурузник»! Видать, не сказки рассказывают, что работает по ночам. Выше яркого света летает над немецкими окопами девица, капает с белой ручки — тюк, тюк... Развешенные фонари медленно опускаются, а стук мотора становится все глуше и глуше — закончила дело и уходит... Фонари ложатся на землю и гаснут один за другим.

Отпрянувшие звезды снова занимают свои места в небе, но передовая растревожена, трассирующие пули уже не плывут стройно вверх, плещут по сторонам режущими молниями. Мои незадавшиеся собеседники не спеша лезут в окоп, я не хочу вниз, вытягиваюсь на теплой земле.

Немцы кидают в нашу сторону ракеты, янтарно-желтые и переливчато-зеленые. Степь морщится, неприязненно поеживается на их свету. Ракеты не долетают до нас, конвульсивно догорают в тощей траве.

Из нашего окопа высовывается мятая, распolzшаяся пилотка, за ней следом узкое бледное, спросонья подслеповатое лицо Чуликова.

— Это ты, сержант?.. Минуточку...

Пилотка ныряет вниз, Чуликов показывается с плащ-палаточным свертком.

— Смачкин приказал тебя накормить, а я, прости, заснул... Наверно, не помнишь, когда и ел.

Когда-то в давнем прошлом. Я даже забыл, что людям положено питаться, что на меня идет армейский паек, несколько раз испытывал мучительную жажду и не чувствовал голода.

С шуршанием разворачивается плащ-палатка, передо мной появляется котелок.

— Ложку дать?

Я лезу за голенище.

— Своя цела.

— Как принято говорить в хорошем обществе: приятного аппетита... Я, сержант, вырос в хорошем обществе — ходил в консерваторию, слушал Баха, пытался решить теорему Ферма.

— Для экзаменов, что ли?

— Для экзамена. Триста лет математики его держат и все до одного срезаются.

— Ты тоже срезался?

— Тоже. Пошел добровольцем. Сейчас у Смачкина задачки решаю. Они попроще.

В котелке холодная рисовая каша и нещедрый кусок мяса. Мясо явно с душиком, меня от него поташнивает, ем через силу.

Злой визг со всхлипом, хлестко бьет земля с брusters. Шальная пуля чуть-чуть не дотянула, я даже не успел вздрогнуть. Рисовая каша забита землей. Прячу ложку в сапог, котелок швыряю в степь.

Чуликов огорчается:

— Вот тебе и приятного аппетита. Мои хорошие манеры не ко времени, сержант.

Котелок с мясом я выбросил, а тошнотный душик остался, висит в воздухе.

— Чем-то пахнет. Тебе не кажется? — спрашиваю я.

— Тут вчера, говорят, до рукопашной доходило, лоб в лоб сходились. Ну и остались на нейтральной полосе и наши, и немцы... Ветерок-то от них повернул... Завтра все заново. Велик день пережили, велик!

К нам в окоп заглядывает переливчатая звезда, одна-единственная из многих тысяч.

Велик день за спиной...

Да неужели только сегодня мы выскочили из теплушек? Нет, нет, в незапамятные времена, где-то в самом начале моей жизни колеса под нами отстучали по последним стыкам и чей-то смачный бас возвестил: «Приехали!» Помню, оглядывал ровную степь, искал глазами фронт. Был молод, был глуп, смешон сейчас для себя — взрослого.

День, только день! Но сквозь него не разгляжу прошлого, скрылось вдаль. Там осталось много счастливых лет. Да, была из года в год школа с ее ма-

ленькими тщеславными радостями и огорчениями — надо же, на экзаменах двойку математичка влепила, как переживал! Да, из года в год повторялись каникулы — костры в ночном у реки, старая мельница с гнилой плотинкой, под которой жила щука-дубасница, многие ее видели, все за нею охотились, никто не поймал. Да, было, было! Но какая это жалкая горсточка в памяти по сравнению с бесконечным днем.

«Приехали!» В седой древности прозвучал голос. От него до этой мерцающей звезды — век. Кто-то его не дотянул, сорвался — Нинкин, Зычко... Дотянул ли Феоктистов?.. Я дотянул этот век, но сильно постарел и утратил прошлое. Чуликов, наверное, тоже. Теоремой Ферма занимался... Какой чепухой мы жили. Жили?.. А может, просто грезится? Есть день, вытеснивший жизнь, и ничего больше.

Завтра все заново.

Одинокая звезда заглядывает в окоп. Увижу ли ее снова?

1984

ДЕНЬ СЕДЬМОЙ

1

Степь, степь... раскаленно-спекшаяся, полынно-душистая, старчески морщинистая — родная сестра бесплодной пустыни. Пять дней мы защищали неприветливый кусок степи. Их пушки и наши пушки взбаламучивали небо шуршащими, переливчатыми потоками. Огневики оглохли от чужих взрывов и своих выстрелов. Шли танки, но были остановлены, заповедной линии не пересекли. В воздухе шипели разгулявшиеся осколки, язвили, захлебываясь, черствую землю пули. «Фиалка»! «Фиалка»!.. Немота в ответ, выбрасывайся из окопа под свинцовую поземку... Осколок мины порвал мне кирзовое голенище сапога, а пуля задела верх пилотки — в спешке забыл каску в окопе, — на сантиметр ниже, и я бы лег посреди степи на вечный отдых. Пять дней, столь же долгих, как день первый, слились в один ревущий бой с глухими ненадежными перепадами по ночам. Утром шестого зловещее затишье... Оно тянулось и тянулось под вялую перестрелку, предвещая недоброе.

В полдень родился тревожный слухок, пополз из окопа в окоп: севернее нас немцы прорвали фронт, вышли к Дону. А на юге они давно уже перешли Дон. От часа к часу слух креп. И еще раз зашло солнце на той, враждебной стороне. В сумерках приказ: «Побатарейно сниматься!» На этот раз не смена позиций — отступление.

И вот новый день, день седьмой — мы в пути...

Лейтенант Смачкин, Чуликов и я при батарее Звонцова. В ней только два орудия. Одно, феокистовское, подбито в самый первый день. Во время танковой атаки потеряли второе. Под прикрытием кустов его вытащили на руках на прямую наводку. Оно неистовствовало от силы полчаса, немцы обрушили огонь тяжелой артиллерии. Из всего расчета уцелели лишь трое, пушка сгорела в кустарнике.

Степь, степь... Она еще окружает нас, но мы уже не ощущаем ее своей, скоро здесь затопают чужие сапоги, зазвучит чужая речь. А просторное небо над степью и вовсе враждебное, не наше. Немецкие самолеты хозяева в нем, могут появиться в любую минуту. Земля нас не прячет, небо нам грозит, в солнечном пекле бредут люди.

Степь, степь... Все, что прежде пряталось в ней, вылезло наружу. Но не видно вытянувшихся походных колонн, куда ни кинь глазом, нет сплоченности, мелкие кучки сторонятся пробитых дорог, рассеяны по спаленным просторам. Повзводно, поотделенно, реденькими цепочками тащится усталая пехота. То там, то сям трясутся подводы, пылят в одиночку машины.

Наши батареи пробираются самостоятельно. Командир дивизиона майор Пугачев указал маршрут — к точке на берегу Дона, там соединимся воедино. Сам Пугачев при четвертой батарее, единственной сохранившей все свои орудия. Звонцов для связи послал к ним востового Галушко, тот не вернулся... И где-то отбившийся от меня батя Ефим. И Сашка Глухарев тоже где-то... Не смей скучиваться, дробись, старайся казаться меньше, чем есть, не привлекай к себе внимания. Небо над тобой вражеское, земля под ногами пока еще не их, но не твоя. Спешь к Дону, за могучей рекой спасение!

Звонцов и Смачкин шагают рядом. Звонцов враскачку, с отдышкой несет свой животик, щеки обвисли, глаза запали, но идет, как все, отказывается сесть на зарядный ящик. Смачкин пропечен до черноты, угловат и

резок в движениях, взгляд выбеленный, затаенно яростный, даже поступь выгнутых легких ног какая-то ожесточенная, словно пинает полынную землю.

Между ними давно уже тянется спор, Смачкин в нем нападающий:

— Вы старше меня, Звонцов. Да, по возрасту и по званию! Но это еще не значит — ответственнее. Вы в мирное время занимались делом, работали на экономику, по сути, кормили и себя, и таких, как я. А я, Звонцов, военный, причем династический. Мой дед, штабс-капитан Смачкин, служил царю. Мой отец, сорвав погоны поручика, служил революции, командуя полком. И меня страна облекла в военную форму, учила, предоставляла льготы, ковала оружие. Не паши, Смачкин, не воздвигай заводы, а охраняй спокойствие наших границ. Только для этого ты и существуешь. И кадровый военный, вспоенный и вскормленный лейтенант Смачкин жив, позорно не исполнив того, чего от него ждала страна.

Пыхтя и отдуваясь, Звонцов нес на опавшем лице выражение снисходительной скуки: ей-ей, капризы мальчика надоедливо.

— В чем же дело, Смачкин? У вас пистолет на поясе и автомат на шее. Воспользуйтесь тем или другим. С красивой декламацией передо мной и солдатами.

— Не считайте меня опереточным олухом, старший лейтенант Звонцов!

— Вы просто еще не вышли из романтического возраста, Смачкин.

— Победа или смерть, да, были нашей романтикой, но теперь это трагическая необходимость. Велика страна, а отступать некуда. Или вы считаете, что мы должны бежать от немца за Волгу, в Сибирь?!

— Отступление часто приводило к победе, смерть — никогда.

— Ха! Никогда?.. Не существовали на свете Фермопилы, не гибли во имя победы Сусанины?..

— Гибли, чтоб живые совершили победу. Речь у нас идет о стране — ее победа или ее смерти! Очнитесь, что за одурелый фанатизм.

— Вы-то на что рассчитываете, Звонцов?

— Как вы знаете, я скучный бухгалтер-экономист по профессии, а потому рассчитываю, что мы добьемся — в нашем активе окажется больше самолетов, больше танков и пушек, чем у противника. Рассчитываю на техническую силу, а не на число самоотверженных трупов.

И Смачкина прорвало:

— Что это, циничное издевательство или нелепая шутка, старший лейтенант? Бухгалтерский расчет — больше самолетов, больше танков... Да! Да! Хотелось бы! Но вы знаете, два десятилетия мы пытаемся догнать Германию. Проклятая страна технически далеко впереди нас. Рассчитываете обскákat ее за месяцы?.. Даже одного месяца у нас нет — завтра они будут у Дона, через неделю-две выйдут к Волге, а за Волгой Урал... Уже сейчас наши промышленные районы у них, а если приберут Урал — вот вам ваши экономические расчеты! Вы прекраснóдушный фантаст, Звонцов! И не один я сейчас дозреваю до жертвенности. Оглянитесь, Звонцов, какие хмурые лица у ваших солдат. Они не додрались, им тоже не по себе.

Огневики, тянувшиеся за двумя пушками, грязные, заросшие, в пятнистых от пота заскорузлых гимнастерках — выходцы из ада, — смотрели в землю. Ни обычных шуток, ни разговоров, каждый замкнут в себе, каждый думает об одном — за спиной напористый враг, опьяненный удачами, сознающий свою силу. Что для него жалкая кучка измотанных солдат с двумя пушками? К Дону, к Дону! За Доном спасение. А дальше что?.. Нет никого, кто бы не задавал себе этот вопрос. А вопрос громаднóй, не солдатский, самое высокое командование навряд ли сейчас знает на него ответ. Что будет?..

Звонцов с раскачкой вышагивал, глядел сквозь сутулые спины артиллеристов в степную даль, глаза запали, щеки обвисли и рот сплюснут в жесткой складке.

— Фантастика?.. — после тягостного молчания заговорил он. — Не один вы так думаете, Смачкин. Так думают и они: мол, затравленному ли медведю в берлоге заломать охотника — фантастика! Самонадеянное заблуждение. Не медведя обложили, а народ на своей земле. Двухсотмиллионный народ на бескрайней земле, едва ли не самой богатой на планете. Нам есть откуда взять силы, Смачкин. Сказка об Антее отнюдь не фантастика, мы в свое время доказали это Наполеону.

— Вы что думаете, я не верю в силу нашего народа? — возмутился Смачкин. — О том только вам и толкую: если все двести миллионов дозреют до жертвенности, кто устоит перед нами!

— Мы в разное верим, Смачкин. Вы — в «жертвую собой», я — «сохрани себя» для деятельности. Вы рас-

считываете на самоотверженную смерть, я — на самоотверженное созидание.

Смачкин передернулся и не ответил.

Ездовые пошевеливали усталых коней, над моей головой качается зачехленный пламегаситель, идут рядом почерневшие люди. А вокруг залитая солнцем, слепящая степь, по ней, куда ни кинь взгляд, всюду кучками солдаты. Отступление... Не первое в эту войну.

Со мной Чуликов. Он несет карабин, как Смачкин автомат, повесив на шею. Карабин гнет его тощее тело, галифе сползли мотней к коленям, тяжелые сапоги отстают от ног. Он все-таки слаб, невынослив, тянет через силу. Но, похоже, сам не замечает усталости — узкое серое лицо сосредоточенно, мохнатые от пыли девичьи ресницы опущены, а ноздри тонкого облупившегося носа вздрагивают, — что-то переживает про себя. Я негромко окликаю его:

— Чулик!

Он вздрагивает, взмахивает ресницами.

— Что?

— Ты слышал Смачкина?

— Слышал. Думаю.

— Считаешь, он прав?

Навесив над карабином жеваную пилотку, он молчит, тянет по полевой траве тяжелые сапоги. Смачкин для него и бог, и старший брат. Вряд ли он примет сторону старшего лейтенанта Звонцова. Но что-то медлит Чулик с ответом, не роняет решительное «да».

Наконец заговорил:

— Знаешь, когда я уходил в армию, вдруг вспомнил о моем дяде...

Я сержусь, какое мне дело до его дяди.

— Только не крути, Чулик. Отвечай прямо: да или нет?

— Обожди, не сразу... Мой дядя — инженер-строитель. Очень даже крупный. Только... Как бы тебе сказать, в последнее время его от всего отстранили... А теперь вот стал нужен...

— Ну и что? Я же о Смачкине тебя спрашиваю, не о дяде-строителе.

— А то сообрази — специалисты нужны. В разгар войны. Значит, срочно что-то широко строят. Не карамельные же фабрики, наверняка военные заводы, самолеты выпускать, танки...

— Ага! Прав все-таки Звонцов, не Смачкин!

— Смачкин тоже. Позовет меня — умру! Пойду, не отстану. Без жертв не обойтись. Надо же время, чтоб технику поднять, выпустить самолетов и танков больше, чем у противника. Ну, а пока придержи его с тем, что есть. И задержать надо у Дона, ни на шаг дальше. Велика страна, а отступать некуда.

— Как, по-твоему, долго его держать придется?

— Не знаю. Может, год, а может, и два даже. Война быстро не кончится.

— Не доживем, — вздохнул я.

— Не доживем, — согласился он. — А хотелось бы...

Ездовые машут кнутами — марш, марш... Горький путь целинной степью, под злым солнцем, под враждебным небом. Кони с потемневшими крупами тянут пушки, теперь их только две, от батареи осталась половина.

Солнце давно уже перевалило за полдень — самое пекло. Но в душном, густо полынном воздухе что-то сдвинулось, просочилась невнятная свежесть, коснулась липкого лица. И солдаты поднимают головы, ловят смутную прохладу, жадно вглядываются в даль. Степь по-прежнему буро-ржавая, одурающе слепящая, по-прежнему она источает из себя трепетно-жидкие волны воздуха, колеблющие горизонт, однако уже чувствуется живительная близость реки. Могучий Дон где-то тут, прячется в обширном степном теле. Кони зашагали бодрее.

Как легкий озноб перед приступом малярии, как ропот листвы перед бурей, возник знакомый до отвращения звук. Каждый ждал его, каждый надеялся — судьба смиляется, авось не сбудется. Бредущие солдаты очнулись, зашевелились, затравленно стали оглядываться назад, в маревую воздушную толщу. Авось... Нет, не пригрезилось — размеренно качающийся звук моторов из блекло чистого неба. Перед самым Доном, вблизи от спасения!..

Мы тоскливо переглянулись с Чуликовым, его узкое лицо натянулось, отчетливо проступили кости скул. Переглянулись, ничего не сказали, отвернулись друг от друга.

А кони шагали, и ездовые, напряженно торча на их спинах, махали кнутами — марш, марш! И, обреченно сутулясь, продолжали идти люди. Звук же креп, уплотнялся, не утрачивая своего размеренного качания.

Самолеты двигались боевым порядком — три звена

косяком, по три машины в каждом — на умеренной высоте. От нас они были чуть в стороне, и мы, не переставая идти, лишь недружелюбно косились в их сторону. А под ними на земле возникала вялая суета — цепочки солдат рассыпались, залегли, скрывались, но не от тех, кто проглядывал степь с воздуха.

Самолеты презрели земную суету, проследовали дальше, унося с собой колеблющийся хвост звука...

Звук еще не совсем развеялся, еще что-то от него призрачно витало в небесах, как в отдалении, приглушенно и вязко, заголосила сирена, подхватила другая. Над кромкой степи мошкаринная толчея. И тупой удар, второй, третий, нутряное рычание, снова, снова, долбящий удар за ударом...

Из степной выжженной закраины, из недр земли начал нехотя подыматься на дыбы темный зверь. Он рос, гущел на глазах, с ленцой расправлялся и наконец застыл в угрожающей неподвижности.

Мы шли прямо на этого тяжелого дымного зверя. К нему тянулись рассеянные по степи кучки отступающих солдат, к нему мчались, тряслись повозки. Так властно тянет к себе ночной костер рассеянных мотыльков.

До сих пор все мы стремились к Дону бездумно — скорей бы, скорей, превозмогая усталость! Берег Дона — спасение, у берега широкая вода, можно спрятаться за ней. Никто, похоже, заранее не задумывался, что нам нужен не просто Дон, не его бесконечный берег, а лишь одно-единственное место на нем. Одно на всех — переправа!

Над переправой вздыбился черный зверь.

Мы идем прямо на зверя. Он медленно, медленно заваливается на сторону, растекается.

Переправа горит. Идем к ней, иного пути у нас нет, свернуть некуда...

2

Там, где ровная степь круто обрывается к реке, тесно сбилось беспорядочное машинное стадо — грузовики, фургоны, бензовозы, гусеничные трактора с тупорылыми гаубицами на прицепе и пара приземистых танкеток, и затертый в середине, недоуменно торчащий над всеми вооруженными башенками пыльно-громоздкий «КВ», и стиснутые подводы. Мы с двумя длинностволь-

ными пушками на конной тяге на самых задах разгоряченного табора.

Над табором качается стена копотного дыма, поднебесно величаясь, как Вавилонская башня. Она то закрывает солнце, заставляет его натужно багроветь, то освобождает, возвращая ему раскаленную косматость.

Между машинами, в тесном хаосе пышущего жаром металла беготня — затянутые в портупей командеры, танкисты в промасленных комбинезонах и теплых шлемах, солдаты разных возрастов, разного обличья, одни налегке, в растерзанных гимнастерках, другие закомутаны шинельными скатками, втесался даже бестолковый пэтэзровец с длинным, мешающим всем противотанковым ружьем на плече. У всех воспаленно красные физиономии и одинаковое выражение — скорей! скорей! Куда скорей? Это никому не ведомо — куда бы ни было, но скорей! Мечутся, сталкиваются, не задерживаясь, поспешно отскакивают, не замечают друг друга, без крика, без брани, молчком.

Стремительная затравленность сразу же проступила на обгорелом лице страстотерпца Смачкина, однако сам он в метания пока не ринулся, стоял с автоматом навтыжку, смотрел на суматоху стылыми белыми глазами. Не ринулся, но вот-вот...

Звонцов спокоен, оттянутый пистолетом ремень скашивает на сторону навешенный животик, большие пальцы рук запущены за ремень, короткие ноги в покоробленных кирзовых сапогах широко расставлены, щеки отвисли, глаза запали, однако усталости не показывает, придиричиво, не спеша озирается. За его спиной сгрудились огневики, угрюмо-черные, выжидающие.

— Лейтенант Смачкин, — тихим, будничным тенорком, но с приказной интонацией, — срочно разведать наших, кто уже здесь. Сразу же соединиться. А я прогуляюсь. Уточню обстановку.

Смачкин приободрился, кинул руку к пилотке.

— Есть!

— И, пожалуйста, не нахлестывайте себя. Без галопчика, Смачкин, без галопчика.

— Есть без галопчика, товарищ старший лейтенант! Чуликов, со мной!

Мне немного обидно — Смачкин позвал только Чуликова, меня забыл. Но утешение пришло тут же.

— Расчетам стоять у пушек, не отходить ни на шаг. Ездовых отрядить за водой — самим напиться и напоить

коней. А вы, голубчик сержант, будете при мне. Пилотку поправьте, гимнастерку заправьте и карабин на плече держите с достоинством, чтобы видели — блюдем и помним себя... Вот так-то! Пошли к печке поближе.

Горели на пробитом в гребне берега спуске сцепившиеся автомашины. От них остались лишь черные остовы, но снизу продолжали хлестать закрученные языки пламени, даже глинистая земля вокруг полыхала. Должно быть, под кучей малой металлических скелетов находилась автоцистерна с какой-то маслянистой жидкостью. Оттого-то над плещущими языками пламени, казалось, прямо из воздуха рождался дегтярно густой, курчаво обильный дым. Он, бунтуя, вздымался и отравлял подбережный воздух угарной химической вонью.

Пожарище загораживало путь к реке. Но если б оно даже и не загораживало, то навряд ли кто из машинного стада на краю степи мог протиснуться вниз. Приречная полоса, стиснутая водой и падающей кручей, была до отказа забита вправо-влево, пока хватало глаз. Кони, трактора, пушки, броневики, повозки, машины, машины, и все захлестнуто густым человеческим потоком, нервно пульсирующим, кружащим, муравьино беснующимся, глухо гомонящим. И так уже неуправляемо, а сверху по крутому склону сыплются и сыплются вырвавшиеся из степи пехотинцы. Лишь бы добраться до воды, а там будет видно, как дальше.

Река под нами величаво просторна и нежно-голуба до застенчивости. Ее лижет ветер, оставляет синие языки. То тут, то там среди возникающей ряби вспухают и опадают кипенные, зеленовато-белые столбы. Немцы обстреливают переправу. А она вот, на виду — волосяно-тонкая нить на раздольной воде, настолько прозрачная, что вдали не просматривается, только чувствуется. К ней подвешен паромчик, то ли дремлет, то ли движется, не уловить куда. И до чего же он мал — накрой ладошкой. А тот берег маячит невнятной зеленью, надсадно вымечтанный и недоступный.

Нет, все-таки не дремлет паромчик, медленно — ох, медленно! — ползет оттуда сюда. Сколько же он черпнет из этой густо замешанной человеческой каши? Накрой ладошкой — совсем ничего, за год не вычерпает.

— Мда-а... — произнес Звонцов. — Путь к спасению сквозь игольное ушко... Что ж, спустимся в преисподнюю.

По-стариковски побряхтывая, он неуклюже полез по осыпающемуся склону.

Я не успел сделать и нескольких шагов, как кто-то, упавший с неба, налетел, сбил, подмял меня. Мы одновременно вскочили на ноги.

— Ослеп, что ли? — выругался я и сразу осекся, увидев, что ржаво щетинистое, губастое лицо действительно слепо, вытаращенные с горячими белками глаза ошалело глядят на меня. Не только я, никто для него не существует. Секундная встреча — и он исчез...

— Держись, мальчик, за меня, не то враз ототрут, — озабоченно посоветовал Звонцов. — В этом веселом хороводе друг друга потом не отыщешь.

Сбегавшие мимо нас по круче в одном месте вдруг резко шарахнулись в сторону. Звонцов, медленно спускавшийся впереди, остановился, выдохнул.

— В-вот он-но...

Там, где склон становился положе, ровным рядом лежали солдатские тела, бок о бок, плечо в плечо. Одни с головой накрыты шинелями и плащ-палатками, известково стертые лица других направлены вверх людской перекатной суетою — за реку, к тому далекому берегу, от которого их теперь уже отделяло не только заполненное текучей водой пространство.

Звонцов кивнул мне — пошли. Мы осторожно стали их обходить. Я старался не вглядываться, но все равно замечал судорожно сведенные кисти рук, мазутно-темные пятна крови на гимнастерках.

Медлительно, с напором, рыком, резкими гудками пробивались в потоке гуськом три броневика. Они возглавляли теснящуюся пеструю колонну — зенитная установка на грузовике, короткоствольное самоходное орудие с бронированным плоским лбом и дальше машины, машины...

Броневики увязли в плотной толпе, обступившей причал. Толпа бы, может, и раздвинулась перед броневым напором, но дальше длинные зачехленные стволы пушек. Точно таких, как наши. Но из-за стволов видны были и кабины тракторов, значит, не наши, не на конной тяге.

Теснящаяся колонна остановилась, во всю ее длину прокатилась гневная волна гудков, в отдалении захлебнулась — машинам приходится смириться, непреодолимо.

В стороне от причала, почти у самой воды, застрял

зеленый фургон с выцветшими красными крестами по бокам. На его подножке, возвышаясь над толпой, неистовствует женщина в белом халате, светлые волосы рассыпались по плечам, запрокинутое лицо искажено криком:

— Товарищи! Товарищи! У нас раненые! Расступитесь! Дайте проехать тяжелораненым!..

Ее рвущийся крик мечется над плотно сбившимися пилотками, касками, торчащими стволами винтовок. Толпа у причала не умещается на берегу, часть ее влезла в воду по колено, по пояс. И в воде эта толпа столь же оцепенела, столь же колюча от стволов и штыков.

— Люди же вы!.. Я врач! У меня умирающие! Помогите проехать!..

Я оглянулся на Звонцова и оскорбился — он не обращал внимания на крики женщины, он интересовался полковником. Этот полковник был внушительно рослым, как и полагается, в твердой фуражке с малиновым околышем, с четырьмя шпалами на малиновых петлицах, сверкал начищенными пуговицами и пряжкой широкого комсоставского ремня. У него эдакая ласковая сутулость в пухлой спине, лицо полное, вальяжно гладкое, с крупным добродушным, слегка вислым носом. Ему, наверное, не приходилось даже повышать голоса, так как всегда был окружен подчиненными, которые на лету хватали каждое его слово, старались услужить, притягивали к почтительному вниманию, ни в чем не испытывали нужды, и представить его в окопе или в прифронтовой тесной землянке невозможно. Сейчас он потерянно одинок в гуще чужих, не обращающих на него внимания солдат, несмело топчется, тоскливо озирается, и ласковая сутулость подчеркивает подавленную беспомощность.

Кричала женщина в растерзанном белом халате:

— По-мо-ги-те!..

Звонцов выставил перевешивающийся за ремень животик, шагнул к полковнику, выгоревший, пыльный, с изрытым обожженным лицом.

— Товарищ полковник...

К нему, похоже, обращались здесь не впервой, он невнимательно уставился поверх мятой пилотки Звонцова.

— Нужна ваша помощь...

Полковник пристально оглядел Звонцова от пилотки до покоробленных, не по-уставному расставленных сапог.

— Что вам нужно от меня, старший лейтенант?

— Ваши внушительные петлицы, ваш представительный вид. Ваше высокое звание. Остальное я сделаю сам. Сейчас подойдет паром и вы будете на нем. Эй, товарищ боец! Сюда!

Пробежавший мимо рослый парень с болтавшимся автоматом на шее вздрогнул и остановился, гримаса бессмысленной стремительности на потном лице сменилась надеждой, чеканя шаг, приблизился, расправил плечи, глаза преданно прыгают со Звонцова на полковника...

А женщина продолжала кричать с подножки санитарного фургона.

Звонцов выдернул из кружащегося потока еще трех автоматчиков, вынул из кобуры пистолет.

— Двое справа, двое слева. Автоматы на изготовку! По моей команде стрелять вверх голов. Но только по моей команде, без самодеятельности... Вы, сержант, со мной!.. Товарищ полковник, разрешите, пойду впереди вас...

С пистолетом в руке Звонцов, а рядом с ним с навешенным карабином, за нами приосанившийся полковник, по бокам автоматчики со вскинутыми автоматами.

— Дорогу!.. Дорогу!..

Сметая толкущихся на пути солдат — к санитарному фургону. Женщина, увидя нас, замолчала, растрепанная, бледная, напряженно вытянувшись.

Звонцов поставил автоматчиков по бокам радиатора, полковник между ними, я впереди со Звонцовым, сжимая в потных ладонях карабин.

За фургоном, у самой воды, на изрытой гальке между двумя солдатами в расклевещенных шинелях лежал молодцеватый лейтенант — изумленно вздернутые брови на чистом лбу. В воде застывшая толпа, толпа перед нами.

Звонцов обернулся к автоматчикам.

— Автоматы к бою! Вперед!.. Дорогу раненым!.. Дорогу раненым!..

Но жмущаяся к причалу плотная толпа не дрогнула, лишь ближние диковато оглядывались, пытались вжаться глубже.

— Ог-гонь!

Грохот автоматов за моей спиной был неожиданным, до потемнения в глазах силен, я едва сдержал желание присесть. Толпа — пилотки, каски, вещмешки, торчащие

винтовки со штыками и без штыков — колыхнулась, зашаталась, стала разваливаться, таять перед нами.

— Дор-ро-гу раненым! Дор-ро-гу!.. Быст-ра!..

Рычал позади мотор идущего вплотную за нами фургона, молчаливо расступалась толпа.

— Дорогу раненым!

Впритык к бревенчатым сходням причала привалился гусеничный трактор. Возле него нас встречал плечисто приземистый командир, небритое лицо сумрачно. Он не спеша поднес ладонь к фуражке.

— Товарищ полковник, прошу извинить, не смогу сдать назад. Разрешите пропустить первое орудие, а уж за ним раненых.

Полковник не без важности кивнул малиновым околышем — разрешаю.

Растрепанная женщина в халате, все еще стоявшая на подножке, снова заволновалась:

— Полковник, вы благороднейший человек! Буду вас помнить, пока жива... Всем вам, всем спасибо... У нас восемнадцать раненых...

Звонцов вложил пистолет в кобуру, козырнул полковнику.

— Честь имею.

— Куда же вы? — удивился полковник.

— К пушкам... Не могу же я их бросить... Пошли, сержант, пока не причалил паром. Хлынут — не выберемся.

А паром уже был близко, нагонял на берег, на стоящих в воде солдат волну, и толстый канат над нашими головами натужно вздрагивал.

Полковник тяжело качнулся на Звонцова.

— Черт возьми, лейтенант! За кого вы меня принимаете?

— Старший лейтенант.

— Ладно, ладно! Зовите меня Виктором Павловичем.

— Звонцов Василий Семенович, к вашим услугам.

— Идемте, Василий Семенович. Выбираться из мышеловки будем вместе с вашими пушками.

— Товарищ старший лейтенант, а мы?.. — подал голос один из автоматчиков.

— Доставьте раненых на тот берег.

— Есть доставить. На руках вынесем!

А позади на подножке фургона стояла женщина в белом халате, смотрела нам вслед.

Поднявшись до половины крутого склона, мы остановились, повернулись к причаливающему парому. Сверху было видно, как обслуживающий паром солдат приготовился бросить чалку.

Толпа перед причалом разрослась, густо выплеснулась с берега в воду. В воде нервное шевеление, а на суше люди спаялись в одно настороженное тело, даже, казалось, колебались в едином дыхании, напряженном, затаенном в своем ожидании. И внутри этого тела, вдоль сбитой колонны пушек, тракторов, машин — неустойчивое оцепление, лицом к лицу вплотную перед грозно замершей толпой.

Запахавшийся Звонцов стянул с головы пилотку, вытирал скомканным платком поцарапанную лысину, глядел вниз, болезненно морщился. Рядом устало сутулился полковник, поводил из стороны в сторону крупным вислым носом, грустно помаргивал.

Паром вздрогнул, ударившись о причал, под его бортом в воде началась кипучая давка. Толпа же на берегу качнулась, без усилий смяла оцепление. Машины угрожающе зарычали, голубой газ поплыл над месивом касок, пилоток, скаток, винтовок. Передний трактор тронулся, таща за собой пушку, завалился на заметно осевший паром. Зеленый фургон с ранеными втиснулся за ним на сходни, и только тогда тронулась сжатая толпой колонна с моторным рыком среди солдатской кипени, раздвигая ее, увлекая ее. Ни выкриков, ни надрывной ругани, только немой штурм с берега и воды.

— Все в порядке, можем идти, — объявил Звонцов, натягивая на лысину пилотку.

Полковник ответил ему покорным вздохом.

У гребня обрыва, на съезде два трактора растягивали обгоревшие остовы машин. Прокопченные солдаты суетливо возились в черном дыму. Их командир, ломко-долговязый, деловито топтал чадающую землю обутыми в широкие кирзачи ногами-ходулями и дирижировал. Взмах руки — кто-то подхватывал конец троса, нырял с ним в стелющийся дым, новый взмах — рискованно накренившийся на склоне трактор натягивал трос, а командир, работая сапогами, уже спешил к тем, кто в клубах сажи орудовал лопатами...

Я заметил, как переглянулись Звонцов с полковни-

ком, удовлетворение скользнуло по их лицам, вызвало и у меня легкую отраду — оказывается, есть и такие, кто занят делом, не самоспасением.

Однако осознать эту отрадность я не успел. Наверху за близким от нас гребнем взмыли крики — паническое разноголосье, раздались выстрелы, взревели моторы. Над нами, по самой закраине, пронесся грузовик в клубах пыли, вихляя кузовом, рискуя сорваться вниз. И сверху посыпались растерзанные солдаты, стреляя вверх из автоматов, падали, катились мимо нас по круче, вопили:

— Нем-цы!.. Нем-цы!!

На дымящемся куске дороги долговязый командир махал руками, что-то надрывно кричал.

Дремавшие машины ожили, зарычали, разноголосо засигналили, полезли друг на друга.

— К пушкам! — Звонцов, падая на четвереньки, полез вверх.

Я за ним, осыпая землю, цепляясь руками, работая коленями. За своей спиной слышал тяжелое посапывание полковника.

Никаких немцев не было. Из степи вышел взвод разведчиков в буро-желтых пятнистых маскхалатах. Поди знай, кто принял их за противника...

В батарее не хватало нескольких ездовых, но пушки и расчеты не только были целы, Смачкин привел к нам вторую и третью батареи. Не было четвертой, с ней шел штаб дивизиона с майором Пугачевым.

Внизу у причала еще метались суматошные крики: «Немцы!» По реке плыл перегруженный паром — к заветному берегу. Здесь же, в опустевшем, переворошенном таборе там и тут торчали подавленные кучки, молчали, вслушивались в шум внизу, чего-то ждали.

Появление солидного полковника в фуражке с ярким малиновым околышем в сопровождении пожилого старшего лейтенанта решительного вида вызвало легкое оживление — не несут ли они что-либо спасительное? Одна кучка за другой потянулись к нашим пушкам.

Смачкин едва успел доложить Звонцову, что четвертой батарее вместе с Пугачевым на переправе нет, «вдоль и поперек все излазали», командиры прибывших батарей только подступали, пытливо косясь на полковника, как образовался тесный круг — лейтенанты, стар-

шины, солдаты, всех занимает полковник, у всех несмелая надежда на лицах.

С полковником на моих глазах происходило странное — под взглядами собравшихся ласковая сутулость спины исчезла, мягкое лицо окрепло, на нем проступила властность, взгляд неломкий, явно смущающий людей.

— Товарищ старший лейтенант! — громко обратился он к Звонцову. — Не кажется ли вам, что самое время побеседовать по душам?

Звонцов с ходу уловил преобразование полковника, сразу же подтянулся, построжавшим голосом согласился:

— Самое время!.. Поближе, товарищи, поближе, не стесняйтесь... Прошу вас, товарищ полковник.

Переглядки, шорох, легкая толкучка — круг сдвинулся. Выставив пухлую грудь, запустив под ремень большие пальцы рук, полковник с прищуром приглядывался, выжидал полного спокойствия.

— Перепугались? — негромко, с издевочкой.

Выжидающее молчание в ответ.

— Еще как! При ясном солнышке мерещиться стало... Слышите?.. — кивок твердой фуражки в сторону реки. — А впереди ночь. Ночью у страха глаза велики. Спасти нас может только порядок!.. Как избавиться от страха?..

— Занять оборону, — подсказал стоящий с боку Звонцов.

— Верно! — отозвался чей-то голос.

Полковник грудью развернулся к Звонцову.

— Товарищ старший лейтенант! На вас возлагается организация обороны.

— Слушаюсь! — взлетевшая к пилотке ладонь.

Я испытал невольную досаду, так быстро и так легко Звонцов признал старшинство полковника. А тот напористо продолжал:

— Прошу исполнять каждое приказание командира обороны. Я сейчас постараюсь привести сюда начальника переправы. Если он сам не в состоянии установить порядок, то пусть выполняет то, что мы от него потребуем!

И вокруг растревоженно загудели:

— Правильно! Возьмем за воротник.

— Сами хозяева!

— Товарищ полковник, возьмите с собой человек

двадцать с оружием, начальник переправы может и не подчиниться...

— Справлюсь с ним один, без оружия... Старший лейтенант, действуйте, я пошел...

— Командиры батарей, к пушкам! Средний и старшинский комсостав, ко мне!..

Через десять минут зарычали тягачи гаубиц, кони потянули в степь наши пушки. Среди машин беготня, руготня, команды:

— Отряд бензocolонны, строиться!

— Где интендантская команда, черт их возьми!

— Лопаты взять! Лопаты! Прикладами, что ль, окапываться будете?

Смачкин со Звонцовым намечали линию обороны, представляли в степи батареи, о нас с Чуликовым забыли. Мы сидели на истоптанном, с кучками конского навоза месте отбивших пушек, млели на солнце, не смели уйти в сторону, забиться в тень под машину — вдруг да понадобится.

— А полковник-то мужик серьезный. Где вы такого отца-командира нашли?

Чулик обгорел, что головешка, только нос лакированно красный, устало взмахивает ресницами, кисленько печалится.

— Бог послал, — ответил я, не вдаваясь в подробности.

— Бог?.. Гм... Бог, похоже, прибрал нашего Пугачева вместе с четвертой батареей.

— Вдруг да все-таки они успели переправиться?

Чуликов скривился.

— Пугачев бросил свой дивизион, три батареи? Не похоже!

— Угодил под бомбежку?

— В степи вроде никого не бомбили. Мы бы слышали. Только переправу.

— А что, если они подкатали как раз под налет?

— Но не изошли же они дымом без остатка. Хотя бы пушки покалеченные остались. Ничего похожего мы здесь не видели.

Замолчали над загадкой.

— Среди подошедших батарей ты батю Ефима не видел?

— Не видел, — покачал головой Чуликов.

Запечалился и я.

С ветерком обрушился на нас Смачкин:

— Чуликов! Со мной вниз, набирать резервы!.. Тенков! Сторожи полковника, как появится, бегом к Звонцову. Ждут его не дождутся.

4

Полковник появился не скоро. Смачкин с Чуликовым успели обернуться, привели с собою человек тридцать, вооруженных автоматами и ручными пулеметами. Пополнение, не задерживаясь, прошло в степь занимать оборону.

В узкой тени трехосного грузовика кто на раскинутой плащ-палатке, кто прямо на земле, прижимаясь к пыльным скатам, — пестрый командный состав во главе со Звонцовым. Появился даже какой-то незнакомый мне майор, должно быть, интендант. Мы с Чуликовым на солнышке в сторонке.

Полковник привел с собой того самого долговязого, который перед началом паники командовал на пожарище.

— Знакомьтесь, товарищи, комендант переправы капитан Климов.

Комендант походил на выбракованную артиллерийскую лошадь — костляво громоздок и понур. Он нескладно сел на корточки, выставив в стороны острые колени, уронил руки, уронил голову в бурой от копоти фуражке и, казалось, задремал. Его угловатое, под цвет вылинявшей гимнастерки лицо было безучастным.

Отчитывался Звонцов, с напорцем говорил и настоятельно косился на безучастного капитана.

— ...Выставили на позиции четыре гаубицы и семь орудий «семидесятишести». Выдвинули в степь пикеты, всех появляющихся пехотинцев задерживаем, направляем в оборонительную цепь. Сделали первую вылазку вниз, набрали около взвода боеспособных людей, добыли шесть пулеметов. Резервы, можно сказать, практически неисчерпаемые. С земли переправу обезопасим, а вот с воздуха...

Полковник кивал фуражкой, глядел в сторону, старательно не замечал невнимательности коменданта переправы. Но как только Звонцов замолчал, он шумно заворочался, требовательно спросил:

— Капитан Климов, вы все слышали?

— Слышал, — равнодушно отозвался тот.

— И чем порадуете?

Капитан с усилием распрямился, обвел всех темными глазами.

— Не пойму, зачем я вам нужен. У меня горсточка саперов. Был для поддержания порядка придан заградотряд, но... испарился — первыми же поскакали на паром. Я бессилен, а у вас, похоже, собирается какая-то сила. Ну так не медлите, пользуйтесь ею. Здесь сплоченные берут верх — оттесняют лезущих, ставят оцепление, дожидаются паромов и... Могу только пожелать вам счастливого пути.

— А не можете ли вы, ответственный за переправу, воспользоваться нашей силой? Предлагаем, берите! — вкрадчиво произнес полковник.

Костистые плечи капитана вяло пошевелились, изображали пожатие.

— От вашей силы паром вместительней не станет и быстрее оборачиваться — тоже. Из него и так выжимается сверхвозможное — что ни рейс, то рискованная перегрузка. Сами видели...

— Ну, а если мы поможем сделать то, чего не сделал заградотряд, установить порядок?..

— Что изменится? Только то, что какие-то части переправятся быстрее других.

— Уже кое-что.

— Мало, полковник. Хотелось бы переправить всех.

— Как это сделать?

— Подарите мне лесу.

— Лесу?..

— Да, кубометров тридцать — сорок бревен и еще досок на настил. У меня перекинута через Дон вторая нитка, дайте лес, и за одну ночь, даже быстрее сколочу второй паром. Это была бы уже ощутительная помощь.

В разговор ворвался Звонцов.

— В полутора километрах отсюда хутор. Всего в полутора километрах!.. Почему вы не организовали туда колонну машин с теми, кто сейчас отирается у причала, не разобрали дома?..

Капитан тускло повел глазами, презрительно скривился.

— Дома здесь, надеюсь, заметили, построены из самана — глины с навозом и соломой. Даже на матицы кладут слеги. Развалив весь хутор, нам удалось бы набрать несколько возов жердей, да и то гнилых.

Наступило недружелюбное молчание. Полковник горбился, глядел в землю. Звонцов хмурился и тоже прятал глаза. Выгоревше-серый капитан в закопченной фуражке торчал на солнцепеке, словно каменный степной истукан.

— Зачем лес? Есть хороший материал! — Это рядом со мной прокричал Чуликов.

Капитан повел в нашу сторону запавшим виском, а за спиной Звонцова всколыхнулся Смачкин.

Чуликов вскочил на ноги — выбившаяся из-под ремня гимнастерка, сползшие с тощего зада мешковатые штаны.

— Раз, два, три... — задрав острый подбородок, считал он. — Отсюда вижу девять автоцистерн. А сколько их под берегом?.. Снять с них цистерны — и в воду! Скрепи попрочней, будет паром. Пушки понесет, даже tanks...

Тревожно гудело человеческое скопище под обрывом, все ели глазами капитана. Тот снял фуражку, начал вертеть ее в руках, наконец с сомнением обронил:

— Танк, паренек, весит сорок тонн, а то и поболе.

— Танки не подымет, пушки повезет. Все помощь.

И снова молчание с тревожным подбережным гулом.

— А чем крепить? Тоже ведь лес нужен, — трезвый голос из командирской кучки, кажется, майора-интенданта.

Капитан вертел в руках фуражку.

— М-да... Положим, лес для крепежа я наскребу. А вот доски для настила... Прямо на цистерны пушки не выкаташь, продавятся.

— С грузовиков борта поснимаем. Хватит! Хоть два ряда стели.

Руки капитана сосредоточенно мяли фуражку, на него смотрели, затаив дыхание. Он решительно натянул фуражку, поднялся.

— Товарищ полковник, пошлите людей вниз — все автоцистерны, все порожние грузовики гнать к тому месту, где вы меня поймали. — Резко повернулся к Чуликову. — Коль уж ты, паренек, такой башковитый, пойдем пораскинем мозгами: что, как, сколько?.. Эх, успеть бы!..

Ответил Звонцов:

— Считай, уже вечер. Ночью немец не сунется. Ночь наша.

Ночь была совсем не похожа на тягостный, унизительный день. Чуть скраденная сбоку луна освещала обрывистый берег в оползнях, в тяжелых наплывах, резко складчатый, хмуро морщинистый. Под ним, величавым, в жидком растворе лунного света и зябкого тумана темная копошащаяся масса — машины, подводы, неутомимо спующие люди. У беспокойной переправы изменился даже голос. Сейчас напористое гудение едва ль не на одной ноте, упрямо пробиваются в тесноте машины, текут слившиеся голоса, утробное шевеление — растревоженный улей, в нем можно уловить и гневные интонации.

Спустившийся вниз полковник с помощью всего трех-четырех помощников повыдергивал из толпы, сгрудившейся у причала, рослых парней — «Вы, вы, вы, ко мне! Товарищ боец, к вам обращаются!..» — собрал отряд, навел оцепление, стал хозяином переправы. Артиллерийские батареи, бронетранспортеры, грузовики, фургоны уже не лезли напролом, командиры соединений толпились возле полковника, добивались места в очереди. И только солдатня по-прежнему атаковала с воды причаливающий паром, прорывала оцепление. Но молчком, упрямым натиском. Ожесточенных битв, какие случались днем, уже не возникало.

Накал у причала поостыл еще и потому, что теперь каждый (до последнего, затерянного в толпе солдата) знал — в степи на подходе к переправе стоит оборонительное заграждение с наведенными пушками, противник внезапно не нагрянет. Там распоряжался Звонцов.

У Смачкина отобрали Чуликова, и он уже не отпускал меня от себя. По примеру полковника мы из числа мечущихся тоже сколотили отряд автоматчиков. В нашу задачу входило раздвигать по сторонам брошенные повозки, теснить машины — через растянувшуюся переправу вдоль реки прокладывалась трасса, по которой двигались автоцистерны и порожние грузовики в распоряжение капитана Климова.

Нам повезло — освобождая затор, случайно наткнулись на два высоких фургона-близнеца, они оказались дивизионной ремонтной мастерской во главе с младшим лейтенантом-воентехником, с десятком слесарей-механиков, с сохранным оборудованием и, что важно, со сва-

рочной установкой. Их тоже направили к капитану Климову.

Весть о строительстве нового парома разнеслась по переправе еще до наступления ночи. Измаявшиеся в бездельной толкотне солдаты хлынули к строительству, каждый желал предложить свою помощь, заработать себе место на первый рейс. Наплыв добровольцев оказался столь велик, что Климову пришлось выставить ограждение, иначе работа бы захлебнулась.

Едва появлялась очередная автоцистерна, как к ней кидались десятки людей. Лязгал металл, ухали кувалды, раздавались торжествующие крики: «Р-р-рраз-два! В-взя-али!..» Рвали на клочья ночь судорожные, слепяще голубые огни сварки. По обрыву прыгали, кривлялись гигантские тени, возносились в черное небо, раскатывались по черной глади натужные голоса: «Ры-аз-два!.. П-шла! П-шла! Ще р-раз!» И всплески стаскиваемых в реку сваренных секций, и вразнобой говорок топоров, и вырванные из ночи дерзкими вспышками белые фигуры людей в дегтярной воде, и бледная недоуменная луна свыше, и слитная толпа оттесненных зрителей, забывших об опасности. Лихорадочный труд, заражающий надеждой.

Фантастическая ночь. Каждый раз, попадая к строительству, я пьянел и каждый раз изумленно вспоминал: буйная ночь рождена рядом со мной выкриком Чуликова. Где он сейчас?.. Где-то тут, мне недоступный, внутри звенящей, гремящей, слепящей вспышками, многолюдной фантазмагории... Должно быть, и Смачкин изумлялся вместе со мной, но скрытно, не показывая того.

После полуночи Смачкин отпустил автоматчиков — капитан Климов получил все, что могла дать переправа, в нашей помощи больше не нуждался.

— Посидим в затишке, поостынем...

Только сейчас мы почувствовали, что ночь знобяще прохладна. Слева подмывающий шум строительства, справа гомон у причала — подошел в очередной раз паром. И замороженная речная гладь прямо перед нами, таинственно бескрайняя, скрыт мраком другой берег. Тихий Дон...

На границе света и мрака вырос, помаячил, осел зеленый столб, прокатился и канул взрыв. Шальной снаряд не нарушил покоя могучей реки. Тихий Дон... Плышет из вечности в вечность. Днем он готов был принять

и нас в свои объятия, днем Звонцов произнес безнадежные слова: «Путь к спасению сквозь игольное ушко...» Слышу победоносное гроыхание кувалд — и сквозь игольное ушко сможем! Не обессудь, Тихий Дон...

Но рядом Смачкин. В столь редкую отдохновенную минуту от него тянет, как от малярийного больного.

— Неласково встретит нас тот берег, — роняет он.

— Почему?

— Побитых хлебом-солью не встречают.

— Побитые, да недобитые, — возражаю я. — Сквозь игольное ушко от немцев уходим.

— То-то, сквозь игольное... До крови ободранные.

— А все-таки целы, лейтенант.

— Це-лы?.. А где Пугачев? Где четвертая батарея? Что мы без них?

— Что-то там случилось, мы же с вами не виноваты в том.

— Не виноват только победитель, дружок.

— Все равно за несчастье Пугачева с нас не спросят.

— Спросят. И будут правы.

— Н-не пойму.

— Растолкую на пальцах. Сколько пушек мы доставим на тот берег? Две с нашей батареей, две с третьей, три со второй — семь орудий, больше половины потеряли. Вот если б сохранилась четвертая батарея с ее четырьмя орудиями — одиннадцать! Это все же дивизион. И нет командира, нет штаба. Нас расформируют, мальчик. Считаю, как отдельная боевая часть мы уже перестали существовать.

— Но мы живы, живы! Значит, будем драться!

Смачкин горько хмыкнул.

— До каких пор нам обещать себе — будем?.. И сколько можно мириться, что еще одна боеспособная часть перестала существовать?

— Так что же делать, товарищ лейтенант?

Он задумался и не сразу ответил:

— Да-а... Да-а... Что? Могу ответить только одно: наша земля горит, должны гореть и мы. Гореть, парень, а не глеть!

От этого ответа мне как-то ясней не стало.

— А! Толочь воду в ступе... Пошли.

Смачкин торопливо поднялся.

Я лез за ним, спешащим вверх по обрыву, и пытался заставить страдать себя за несчастье Пугачева. Хотелось

воспылать душой, и как можно горячее, но майор Пугачев был для меня всегда столь недоступно высок и могуществен, что мог вызвать лишь почтительность, а никак не сострадание и упреки. Вместо Пугачева ко мне вломился Ефим. Со щемящей отчетливостью я представил себе — никогда не увижу его насупленных бровей, не услышу его глуховатый голос. Припомнилось, как он схватил меня за ногу, когда вслед за Сашкой Глухаревым я собирался проскочить под снайпером. Словно клещи наложил: «Повремени, сынок...»

А внизу под берегом вперепляс, весело перестукивались плотницкие топоры, крепили воедино сваренные секции. Веселый перестук обещал жизнь.

СОДЕРЖАНИЕ

ПОВЕСТИ

Кончина	5
Чистые воды Китежа	226

РАССКАЗЫ

* Пара гнedyx	322	25
* Хлеб для собаки	347	20
Параня	367	
Донна Анна	388	
Охота	417	
На блаженном острове коммунизма	476	
Люди или нелюди	504	
День, вытеснивший жизнь	552	
День седьмой	611	

ТЕНДРЯКОВ Владимир Федорович
КОНЧИНА

Приложение к журналу «Дружба народов»

Оформление «Библиотеки» Г. Метченко

Редактор Е. Бережная

Художественный редактор И. Суслов

Технический редактор Е. Медведева

Корректор Т. Низамова



ИБ № 1456

Сдано в набор 14.08.89. Подписано в печать 02.03.90. Переиздание.
Формат 84×108^{1/2}. Бумага кн.-журн. Гарнитура «Литературная».
Печать высокая. Печ. л. 20,0. Усл. печ. л. 33,60. Усл. кр.-отг. 33,60.
Уч.-изд. л. 35,58.
Тираж 265 000 экз. (3-й завод 200 001—265 000).
Заказ 62. Цена 2 р. 60 к.

Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР»,
103798, ГСП, Москва, К-6, Пушкинская пл., 5.

Типография изд-ва «Таврида» Крымского обкома КП Украины,
333000, г. Симферополь, ул. Генерала Васильева, 44.

Тендряков В. Ф.

УЗЗ

Кончина: Повести. Рассказы. — М.: Известия, 1990. — 640 с., ил.

Повести и рассказы известного советского писателя Владимира Тендрякова, вошедшие в этот сборник, опубликованы после его смерти. Их объединяет высота нравственной и общественной позиции, которая всегда была свойственна этому автору.

4702010200—020

074(02)—90

—59—90 подписное

ББК 84Р7

**В 1990 году
издается 15 книг
библиотеки
«ДРУЖБЫ НАРОДОВ»**

- Н. Байтемиров.** Сито жизни. Романы. Перевод с киргизского.
- А. Бек.** На другой день. Романы. Повесть.
- Э. Бээкман.** Возможность выбора. Романы. Перевод с эстонского.
- О. Бокеев.** Человек-Олень. Повести. Рассказы. Перевод с казахского.
- И. Волгин.** Последний год Достоевского. Роман.
- В. Гроссман.** Жизнь и судьба. Роман в 2-х томах.
- В. Дрозд.** Солнцеворот. Романы. Повесть. Рассказы. Перевод с украинского.
- А. Калинина.** Как ты ко мне добра. Роман.
- Г. Канович.** Козленок за два гроша. Роман.
- В. Маканин.** Отдушина. Повести. Роман.
- А. Рыбаков.** 35-й и другие годы. Роман. Книга вторая.
- В. Тендряков.** Кончина. Повести. Рассказы.
- С. Турсун.** Три дня одной весны. Роман. Повести. Рассказы. Перевод с таджикского.
- А. Эбаноидзе.** ...Где отчий дом. Романы.

**В 1990 году
издается 7 книг
розничной серии**

«БИБЛИОТЕКА СОВЕТСКОЙ ПРОЗЫ»

- В. Ажаев. Вагон. Роман. Повести. Рассказы.**
Ч. Айтматов. Плаха. Роман.
Д. Ахуба. Благословите нас, горы! Роман.
Повести. Рассказы. Перевод с абхазского.
А. Битов. Пушкинский дом. Роман.
В. Быков. Карьер. Повести.
Проба личности. Сборник фантастики.
А. Соболев. Якорей не бросать. Роман.

